ВОЛЬФГАНГ ЛЕОНГАРД

Революция отвергает своих детей

ВОЛЬФГАНГ ЛЕОНГАРД
Революция отвергает своих детей

Вольфганг Леонгард

Революция отвергает своих детей

ВОЛЬФГАНГ ЛЕОНГАРД

РЕВОЛЮЦИЯ ОТВЕРГАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ

Все цитаты из советских источников даны в переводе с немецкого

Russische Ausgabe Condor-Verlag GmbH., Karlsruhe
Русское издание — Кондор-Ферлаг, Карлсруэ

ПРЕДИСЛОВИЕ

15 мая 1949 года я должен был читать лекцию в Высшей партийной школе СЕПГ. В большом лекционном зале сидели курсанты с блокнотами и ждали доцента. Они ждали напрасно.

— Где товарищ Леонгард?

Меня искали в моей квартире в Высшей партшколе. Меня там не было. Лекция была отменена. У некоторых уже возникло подозрение, которое передавалось шепотом: «Может быть Вольфганг скрылся?»

Секретарю школы было поручено осмотреть мою берлинскую квартиру. Это тоже ни к чему не привело. Вскоре не осталось сомнений: Вольфганг Леонгард бежал.

Известие о моем бегстве скоро стало предметом общего обсуждения. В школе царило большое возбуждение. В то время из советской зоны бежало еще мало крупных функционеров СЕПГ. Большей частью бежавшие принадлежали раньше к социал-демократам. Теперь же бежал ответственный работник СЕПГ, который принадлежал к германской коммунистической партии и — к тому же — прибыл из Москвы. К этому прибавилось еще нечто. До сих пор о каждом случае побега деятелей СЕПГ на Запад — западно-берлинская пресса давала обстоятельные сообщения. О моем бегстве подобного сообщения в западной прессе не появилось. В Западном Берлине обо мне знали столь же мало, как и в Восточном Берлине.

Куда же делся Леонгард?

Может быть он в Югославии? Это предположение высказывалось с очень большой осторожностью.

Неделя проходила за неделей. О доценте Леонгарде ничего не было слышно. Его исчезновение оставалось загадкой.

В эти дни всеобщего волнения я сидел в Белграде и писал объяснение для сообщения по радио, одновременно подготовляя брошюру о политических причинах моего бегства из советской зоны.

Я покинул Восточный Берлин 12 марта и прибыл в Белград 25 марта после трудного и напряженного пути.

Спустя четыре недели я прочел в белградской радиостудии мое заявление против резолюции Коминформа и в пользу югославских коммунистов, которые летом 1948 года отделились от Москвы, чтобы идти к социализму своим независимым путем.

После того, как я определил свои позиции, после того, как мое заявление передавалось 22 апреля Белградской радиостанцией на двенадцати языках, и было на следующий день опубликовано во всех югославских газетах, руководство СЕПГ не могло больше молчать.

Через четыре дня, 26 апреля 1949 года в центральном органе СЕПГ «Новая Германия» („Neues Deutschland") было сообщено о моем исключении из партии. Непосредственно вслед за этим в Высшей партийной школе развернулась лихорадочная деятельность. Одно собрание следовало за другим. Все курсанты были досконально проверены в индивидуальных беседах. Но и это нашли недостаточным. Спустя короткое время пришла директива: класс, который вел Леонгард ликвидируется и все курсанты распределяются по другим факультетам. Все предложения, которые я, как доцент, делал в отношении будущей деятельности курсантов, будут обращены в свою противоположность. Так, например, если я рекомендовал одному из курсантов после окончания школы работать в научно-исследовательском институте, то теперь он мог быть уверен, что будет послан на практическую партийную работу в провинцию.

Воспитанный в Советском Союзе доцент Ганс Абрагам, который сам себя называл «твердым большевиком», читал доклады об «уроках», которые должна почерпнуть Высшая партийная школа из «случая Леонгарда». То и дело созывались собрания, на которых те, кто имел со мной более близкие отношения, должны были выступить с самокритикой. При этом были вытащены на свет курьезные примеры такого рода: на одном товарищеском вечере я употребил слово «Коминформ», в то время, когда официально это должно было звучать как «Информационное бюро коммунистических и рабочих партий». Так вот, видите ли, обозначение «Коминформ», употребляют, мол, только поджигатели войны ...

Подобные обвинения высказывались теперь в дискуссиях, длившихся часами, как доказательство моего враждебного отношения к партии. Каждый оратор до изнеможения подчеркивал, что только недостаточная бдительность помешала своевременно меня разоблачить.

Все это происходило потому, что я дал прочесть некоторым доцентам и курсантам партшколы материалы югославских коммунистов. Как должно было бояться руководство СЕПГ этих материалов, если оно было вынуждено прибегать к таким исключительным мерам ...

Тревога в руководстве СЕПГ была понятной. Впервые бежал функционер, который провел десять лет в Советском Союзе, там вырос, был воспитан и политически обучен.

В этой книге описываются все мои впечатления и переживания за время десятилетнего пребывания в Советском Союзе (1935—1945) и за время моей четырехлетней деятельности в центральном аппарате руко-

водства СЕПГ (1945—1949); в этой книге рассказывается о советских школах и университетах, о студентах и комсомольцах, о первых днях войны, заставшей меня в Москве, и о жизни в военное время в Караганде; об обучении членов иностранных компартий в школе Коминтерна и о Национальном комитете «Свободная Германия», а также о «группе Ульбрихта» в мае 1945 года; о первых шагах советской политики в послевоенной Германии, о построении советско-зональной государственной системы и о партии, которая сегодня как государственная партия определяет в советской зоне судьбу восемнадцати миллионов человек.

Эта книга родилась, однако, не только из стремления рассказать о некоторых мало известных сторонах сталинской системы и советской политики в Германии, а главным образом из желания показать людям несоветского мира, что думает и чувствует новое поколение обученных партийных деятелей восточного блока, к каким оно приходит решениям и в чем проявляется его критическое мышление. Я пытаюсь при этом, вполне сознательно, так описывать встречи и дискуссии, события и переживания, как они тогда воспринимались, оценивались и продумывались. Только таким образом, кажется мне, станет западному читателю понятно, что означает для человека разрыв со сталинизмом, если он вырос на теориях этого учения. Мое решение — результат многолетнего мучительного процесса сомнений и оправданий, угрызений совести и построения теорий для ее успокоения. Но когда решение принято — возврата больше нет. Тогда даже в состоянии тяжелого внутреннего конфликта, человек неудержимо движется к решающей грани, переход которой окончательно срывает пелену сталинизма с облика мира в его душе.

ГЛАВА I

В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Наступил наш последний вечер в Швеции — 18 июня 1935 года. Мы прошли еще раз по улицам Стокгольма. Несколько друзей моей матери, немецкие эмигранты, как и мы, проводили нас до парохода, который должен был доставить нас в финскую гавань Турку.

«Счастливо добраться до Москвы», желали нам друзья на прощанье. О поездке через Финляндию я мало что помню. Я был настолько полон ожидаемого приезда в Советский Союз, что все остальные впечатления стерлись из моей памяти.

На следующий день мы с моей матерью сидели в постепенно пустующем поезде, приближавшемся к советско-финской границе. В вагоне, кроме нас, никого не было. К нам подошел проводник.

— Через четверть часа мы на границе. — Он назвал трудно для меня выговариваемое название станции, в незнакомом слове было много у, ü и i. Это была в то время финская пограничная станция. Сегодня, после территориальных потерь Финляндии, она, вероятно, имеет русское название.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ

Мы стояли немного растерянные на пустом вокзале. Один железнодорожный служащий охотно дал нам справку.

— Между последней финской и первой русской станцией существует местное сообщение. Поезд придет, примерно, через полчаса. От советской пограничной станции — прямое сообщение до Ленинграда.

Для моей матери это не было первым путешествием в Москву. Она приезжала в Советский Союз в 1921 году. Во время Первой мировой войны она принадлежала к Союзу

Спартака и в 1918 году вступила в коммунистическую партию. Некоторое время она работала как референт прессы в советском торговом представительстве в Германии. В 1925 году моя мать вышла из компартии Германии и принадлежала после этого к независимым левым. После прихода Гитлера к власти она работала нелегально до начала 1935 года в Берлине, а потом отправилась в Швецию.

А я? Я был тогда юношей тринадцати с половиной лет и радовался возможности попасть в Советский Союз. Я вырос в Берлине, посещал школу имени Карла Маркса, принадлежал с конца 1931 года к «Юным пионерам», детской организации германской коммунистической партии. Осенью 1933 года я был отослан моей матерью в Швецию. Там я попал в шведскую школу-интернат и скоро научился свободно говорить по-шведски.

С матерью я встретился снова в начале 1935 года. Надо было решать — куда нам отправиться.

Нелегальная группа в Берлине, к которой принадлежала моя мать, была разгромлена и ее члены арестованы. Гестапо искало мою мать. Было ясно, что она не может вернуться в Германию, но разрешение на пребывание в Швеции было ограничено. Я еще оставался в Вигбихольме, когда моя мать начала оживленную переписку, чтобы найти нам новое место жительства.

Однажды днем, когда мы гуляли в чудесных окрестностях Стокгольма, моя мать посвятила меня в свои планы.

— Ты теперь уже молодой человек, — начала она, — и я хотела бы с тобой поговорить о нашей дальнейшей жизни.

Я кивнул головой и сделал серьезное лицо, как все тринадцатилетние мальчишки, с которыми разговаривают, как со взрослыми.

— Я не хочу принимать какое бы то ни было решение без твоего согласия. Дело обстоит так, в Швеции мы не можем остаться, так как я не могу здесь получить никакой работы. Я отсюда писала друзьям и знакомым. У нас две возможности. Мы можем поехать в Англию. Там, в Манчестере, у меня есть хорошие друзья. Ты сможешь посещать английскую школу и до тех пор, пока в Германии нацисты остаются у власти, учиться и жить в Англии. Это — одна возможность.

— А другая? — спросил я.

Моя мать на минуту задумалась.

— Мы можем поехать в Советский Союз.

— Я за Советский Союз, — сказал я с уверенностью.

Мой ли ответ повлиял или другие обстоятельства, я не знаю, но поездка в Советский Союз была решена.

В то время мы не знали, насколько роковым для нас оказался этот выбор. Разве могла моя мать предполагать, что примерно через полтора года она будет арестована НКВД, и исчезнет в советских концлагерях на двенадцать лет, откуда она сможет вернуться в Берлин только в 1948 году.

Я тоже не мог тогда знать, что проведу десять лет в Советском Союзе, что мне предстоит обучение в школе Коминтерна, воспитывающей иностранных партийных работников, и что однажды я порву с системой, в которую верил с детских лет.

Но всё это — в далеком будущем . . .

А пока . . . В солнечный июньский день 1935 года — мы ждали на финской пограничной станции поезда, который должен был нас доставить в Советский Союз.

Небольшой состав прибыл точно. На паровозе и на тендере я увидел серп и молот, наш знак, который я до этого видел только на знаменах во время демонстраций. Я был очень взволнован. Из будки машиниста выглянул кочегар, который нам дружески кивнул.

— Это ваш поезд, — сказал финский железнодорожник, — он доставит вас к советской пограничной станции Белоостров.

Мы ехали не быстрее, чем на лошади. Однако, уже через несколько минут мы были на границе. Из окна был виден большой гранитный блок.

С одной стороны стоял финский пограничник, с другой — красноармеец, первый красноармеец, которого я видел в жизни. На его шапке горела советская звезда с серпом и молотом, а в руке он держал тесно прижатую к себе винтовку со штыком.

Несколько человек в военной форме и в штатском подошли к нам. Это был советский пограничный контроль. В здании вокзала они открыли наши чемоданы и начали проверять. К одежде и продуктам они не проявляли никакого интереса. Но с особой тщательностью были проверены книги. Мы привезли с собой почти одну только коммунистическую литературу, но они брали каждую книгу в руки и некоторые даже перелистывали.

Наконец проверка закончилась. Как только мы сели в

ленинградский поезд, раздался сигнал и мы тронулись в путь. Поезд был переполнен, но нам с готовностью помогли найти место.

Пассажиры с любопытством разглядывали нас. Можно было догадаться, что они говорят между собою о нас, но я не понял ни одного слова. С нами никто не разговаривал.

В Ленинграде у нас была продолжительная остановка. Здесь всё выглядело гораздо беднее, чем в Стокгольме. Дома были далеко не в таком хорошем состоянии как там, а люди — просто плохо одеты. Я видел много босых ребятишек. Такая картина была мне не знакома, она подействовала даже на меня угнетающе. Но скоро я все забыл, так как это совсем не походило на образ, созданный моею мечтой.

В Москву мы выехали ночным поездом. После волнующих впечатлений этих дней я крепко заснул. Когда я проснулся — мы были уже в Москве.

Москва . . . Город, где я должен был провести столько лет, ставший для меня впоследствии вторым родным городом.

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ИМ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА

Мы приехали не по приглашению «Интуриста», не в составе делегации. Поэтому наш приезд не вызвал никаких торжеств или официальных приветствий, не было также приготовленных комнат в отеле. Но нас все же ждали несколько друзей, которые раньше знали мою мать.

С вокзала мы поехали через всю Москву на улицу Грановского 5, на частную квартиру одной знакомой. Квартира, — это слишком громко сказано, так как она состояла всего из одной комнаты. Здесь были обсуждены планы нашей жизни в Москве. Моя мать прежде всего думала обо мне.

— Мальчику нужна школа, но он не знает ни одного слова по-русски. — Нам ответили: — Это не обязательно. В Москве имеется две школы для иностранцев — английская и немецкая, кроме того твоему сыну везет: немецкая школа как раз с 1 сентября получает очень хорошее помещение в доме №12 на ул. Кропоткина.

— Разве в Москве есть немцы? — спросил я изумленно.

Моя новая знакомая рассмеялась. — Ну, конечно! В Москве живет несколько тысяч немецких и австрийских

эмигрантов, в том числе много шуцбундовцев (Schutzbündler), участников восстания против Дольфуса в феврале 1934 года, которые после поражения бежали в Москву. Здесь имеется немецкий клуб, одна немецкая газета („Deutsche Zentral-Zeitung") и «Издательство иностранных рабочих», которое издает много книг на немецком языке.

Так началась наша московская жизнь.

Найти квартиру оказалось очень трудным делом. Первое время мы скитались по знакомым, пока, наконец, не нашли меблированную комнату. Моя мать искала работу, а у меня было много свободного времени, так как было время школьных летних каникул.

— Не хочешь ли посмотреть метро — спросили меня уже на второй день. Метро как раз за несколько недель до нашего приезда — 15 мая было сдано в эксплуатацию и все гордились этим достижением. Метро тогда настолько стояло в центре внимания, что меня почти повсюду спрашивали — ездил ли я уже в метро. Вскоре стали расспрашивать — как мне нравится метро и начинался обстоятельный разбор его достоинств. Только раз я встретил одного шутника, который сказал:

— Было бы хорошо, если надземная Москва хотя бы на одну десятую была так хороша, как подземная.

Замечание было вполне справедливым, так как несоответствие потрясало.

В то время ориентироваться в Москве было не легко. Никакого плана города не было. У моей матери сохранился еще план 1924 года, но он нам мало помогал. За истекшее время многие улицы были переименованы и, кроме того, общая картина города сильно изменилась — строились новые дома и сносились старые. Поэтому мы очень обрадовались, когда во всех книжных магазинах появились новые планы. Разочарование последовало незамедлительно: план города, который мы могли купить в июле 1935 года, был таким, каким он должен быть . . . в 1945 году. Мы даже не знали, как к этому отнестись. Моя мать удивленно спрашивала: — Зачем мне план города 1945 года, если я хочу пройтись по Москве 1935 года.

— Но совершенно ясно, зачем, — отвечали ей. — В начале июля опубликовали 10-летний план генерального строительства Москвы. Для того, чтобы сделать его популярным

теперь выпустили планы на 1945 год. А как Москва выглядит сегодня, и так каждый знает.

Когда мы отправлялись гулять, то брали теперь с собой оба плана. Один показывал какой была Москва 10 лет тому назад, а другой — какой она должна быть еще через 10 лет.

Этот случай с планом города был типичным для того времени: 1935 год в Советском Союзе был переходным годом. Революция и гражданская война, даже план первой пятилетки отошли уже в прошлое; годы чисток и массовых арестов, пакт Сталин—Гитлер и война с Финляндией были еще в будущем.

К началу 1935 года были отменены последние продовольственные карточки и на седьмом съезде советов было объявлено о разработке более свободной и демократической конституции.

— Самое тяжелое теперь позади . . . Будет, несомненно, всё лучше и лучше . . . Политическая система станет теперь более демократической, это видно уже по проекту новой конституции, — в таком тоне велись в основном разговоры в этом году.

Только немногие из наших знакомых не разделяли этого оптимизма.

Уже в первые недели после нашего приезда я все время слышал одно имя: Киров. За несколько месяцев до нашего переселения в СССР, 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Сергей Киров, член Политбюро. За убийством Кирова последовала волна массовых арестов. В отличие от прошлых арестов, жертвами этой чистки были партийные большевистские работники, а не беспартийные специалисты и лица, принадлежавшие раньше к другим партиям.

Когда речь заходила о Кирове, в подтексте часто чувствовался страх.

— Что меня больше всего тревожит в деле Кирова, — говорил один наш знакомый, — это роспуск «Общества старых большевиков». Еще недавно слово «старый большевик» было для нас почетным, а принадлежность к этому обществу — наградой. А 26 мая Общество было распущено без всякого политического обоснования, а здание его конфисковано.

Об этом событии первое время много говорили. Был даже анекдот:

— Вы слышали? Последняя контрреволюционная организация распущена!

— Какая же?

— Общество старых большевиков.

Это была шутка, но горькая шутка.

Так приходилось мне, тринадцатилетнему, интересующемуся политикой юноше, слушать много разговоров, оптимистических и пессимистических высказываний, тогда, перед большой чисткой 1936-38 гг., когда еще можно было кое-что говорить свободно.

1 сентября 1935 года я был принят в немецкую школу имени Карла Либкнехта в Москве. Хорошее современное четырехэтажное здание школы с солнечными классами, принадлежало к числу тех 72-х новых школ, которые были построены в Москве в 1935 году. Внешне оно выглядело как любое современное школьное здание в Западной Европе. Но когда я в него вошел, я с удивлением увидел в одном из углов большую статую Сталина. На цоколе можно было прочесть:

Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики! *Сталин*

У главного входа в школу висел другой лозунг. Белыми буквами на красном полотне красовались слова:

Учиться, учиться и еще раз учиться!
Ленин

Я явился к директору, товарищу Желаско, чтобы закончить формальности по вступлению в школу. Войти в курс школьных занятий было трудно, так как советская школьная система резко отличается от школьных систем других стран. Обязательное обучение в Советском Союзе начинается только с семилетнего возраста. Имеется единая школа, в которой первые семь классов обязательны для всех, в то время как 8-й, 9-й и 10-й классы посещаются только теми, кто готовится к поступлению в высшие учебные заведения (вузы).

— По советской школьной системе ты пойдешь в 6-ой класс, — сказал мне директор.

Немного с опаской, замедляя шаг, я поднялся по лестнице. Учитель представил меня как нового ученика. Ученики с любопытством разглядывали меня и шепотом обменивались мнениями между собой.

Все еще немного смущенный, я сел на свое новое место. Над моей партой висела стенная газета. Когда я осмотрелся, я заметил у всех школьников пионерские галстуки. Я еще раз посмотрел вокруг себя. Вправо, впереди меня сидела девочка, у которой не было галстука. Она была единственной без галстука.

Преподавание шло на немецком языке, но по советским учебникам. Учителя были главным образом немецкие эмигранты, которые подобно нам эмигрировали в Советский Союз через Швецию, Францию или Чехословакию.

Учебный план и содержание предметов полностью соответствовали русской школе. Все учебники, даже по математике и физике, были слово в слово переведены с русского. Если вначале я нашел большое внешнее сходство с моими предыдущими школами, то через несколько дней я уже заметил большую разницу. В этой школе от ученика требовалось много больше, чем в тех, в которых я раньше учился. Нам задавали много на дом и надо было напрягаться, чтобы выполнять задания. Мы почти ежедневно занимались русским языком. Вторым иностранным — был английский. Особое внимание обращалось на математические и естественные науки. Как раз в 6-ом классе проходили алгебру, геометрию, физику, а вместо рисования — черчение. По истории мы проходили античный мир, по географии — «Географию капиталистических стран» (подразумевались все страны, кроме СССР), при этом касались также хозяйственной структуры и политического состояния в отдельных странах. По литературе мы одновременно проходили русскую и немецкую литературу. Один раз в неделю у нас было «Обществоведение», предмет, в котором преимущественно рассматривалось политическое развитие и государственное устройство в Советском Союзе. Позже обществоведение было заменено изучением Конституции. Учет успеваемости был более строгим по сравнению с предыдущими школами, где я учился. Каждый ответ, каким бы незначительным он ни был, отмечался не только в классном журнале учителя, но и в так называемом дневнике, который оставался на руках ученика и каждую неделю родители должны были его подписывать. В конце каждой четверти бывало короткое повторение пройденного; своего рода промежуточные испытания. Учебный год заканчивался очень подробными экзаменами по всем предметам, письменно и устно.

Я СТАНОВЛЮСЬ СОВЕТСКИМ ПИОНЕРОМ

Нас все время подгоняли с учебой. Ученики, получившие плохую отметку или замечание — так назывался у нас выговор за недисциплинированное поведение — должен был давать объяснение перед классным собранием. После краткого вступительного слова учителя, провинившегося ученика староста класса или учитель спрашивал:

— Как это у тебя получилось, что ты схватил плохую отметку?

Если ученик пытался как-то оправдаться, его сейчас же прерывали особо активные ученики.

— Получить замечание — это позор, но затем еще и оправдываться — это уже просто недостойно.

Это была низшая ступень столь распространенной в Советском Союзе критики и самокритики.

Нам постоянно напоминали о крайней необходимости поддерживать строгую дисциплину. Мы должны были быть не только сами дисциплинированными, но и бороться за улучшение дисциплины. Нам всегда говорили, что имеется два рода дисциплины. Одна — в капиталистических странах, основанная на страхе, подавлении и подчинении, другая — в СССР, — это добровольная, сознательная дисциплина во имя строительства социализма. Сознательный и добровольный характер советской дисциплины подчеркивался проведением соревнований в школе, при котором побеждал тот класс, у которого оказывалось меньше замечаний и плохих отметок. В соревновании и в борьбе за улучшение дисциплины решающую роль играла пионерская организация.

По истечении двух недель ко мне подошла одна ученица.

— Не хочешь ли ты стать пионером?

— Конечно, но это не нужно. Я уже был пионером в Берлине с 1932 года.

— Твое членство в Берлине здесь недействительно. Ты должен вступить заново.

— Хорошо. Где я могу записаться?

— Ты здесь не можешь просто записаться. Если ты готов вступить, я запишу твою фамилию в список и тогда ты будешь принят во время сбора отряда. Вожатый будет произносить слова торжественного обещания, которые ты должен повторять. После этого ты получишь галстук.

Некоторое время спустя эта церемония состоялась. Весь пионерский отряд был выстроен в школьном зале. Во главе отряда стоял знаменосец. Раздалась барабанная дробь. Пионервожатый начал произносить слова торжественного обещания:

«Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом моих товарищей торжественно обещаю . . .»

Мы повторяли вслед за вожатым.

«. . . верно и храбро служить делу рабочего класса, хранить священные заветы Ленина, быть всегда примером и исполнять все обычаи и обязательства юных пионеров».

После этого на нас торжественно надели галстуки и передали зажим для галстука с изображением пламени костра и словами: «Будь готов! — Всегда готов!» Это было русское пионерское приветствие — уже известное мне.

И пионерский галстук и зажим имели символическое значение. Три конца красного платка это — партия, комсомол, пионеры. На зажиме пять поленьев означали пять частей света, а три языка пламени — III Интернационал.

Последнее, правда, с некоторого времени в официальном объяснении символики не упоминалось.

Мы учили биографии Ленина и Сталина и историю советских пионеров. Мы узнали, что первые пионерские отряды возникли в 1922 году, а с 1926 года стала выходить «Пионерская правда» — газета юных пионеров.

Организация юных пионеров объединяет детей от 11 до 16 лет и насчитывала в 1935 году 10 миллионов членов. Задача пионеров, как нам говорилось, состоит в том, чтобы быть опорой школы, укреплять дисциплину, поддерживать учителей и воспитывать чувство ответственности по отношению к социалистической родине.

В прошлом у пионерской организации имелись опасные уклоны. Левый уклон выражался в стремлении передать руководство школой пионерской организации. Нам объяснили, что это было не только очень опасным, но и враждебным партии взглядом, так как совершенно недооценивалось значение школы. Имелся еще и правооппортунистический уклон. Он был не менее опасен, так как заключался в намерении влить пионерскую организацию в школьное управление, а это означало бы ее самоликвидацию. Эти опасные уклоны были, однако, пресечены постановлением в апреле 1932 года

«Об осуждении правого и левого уклонов в пионерской организации».

Мы изучали явления и события, которые на первый взгляд казались одинаковыми, но воспринимались и оценивались совершенно различно — в зависимости от того происходили они в капиталистических странах или в СССР.

Уже через короткое время нам вошло в плоть и кровь, что повышение цен на продукты в капиталистических странах является «новым признаком усиления эксплуатации рабочих», а повышение цен на продукты в СССР, наоборот, является «важным вкладом народного хозяйства в дело строительства социализма». Ветхие дома на Западе были для нас доказательством «низкого уровня жизни трудящихся», а ветхие дома в Москве — «пережитками прошлого». Любые явления осуждались или приветствовались нами в зависимости от того, где они происходили.

Такой образ мышления был так глубоко впитан всеми нами, в том числе и мной, что я в течение многих лет не представлял себе возможности мыслить иначе.

ДЕТСКИЙ ДОМ №6

Летом 1936 года произошло событие, которое изменило ход моей жизни. Я жил с матерью в меблированной комнате в доме №26 на улице Горького. Владелец комнаты находился в командировке на Игарке, в маленьком городке на севере Сибири. Строительство и развитие городка шло очень быстро. Инженер возвращался теперь домой и мы должны были освободить комнату.

В течение многих недель мать пыталась найти другую комнату, но ее поиски были напрасны. Некоторые ей отказывали, узнав что мы немцы, другие не хотели сдавать комнату женщине с четырнадцатилетним сыном. Поэтому мать прежде всего беспокоилась о моем устройстве. Однажды она пришла домой обрадованная.

— Я нашла для тебя что-то очень хорошее. Тебя примут в детский дом №6, в дом детей австрийских шуцбундовцев. Там тебе будет очень хорошо.

Мать не ошиблась.

Дом находился в Калашном переулке №12, в центре города, между Арбатской площадью и Никитскими воро-

тами. Детдом помещался в большом, по московским условиям роскошном, немного мрачном доме, который принадлежал раньше одному богатому московскому купцу.

Детский дом № 6 предназначался для детей шуцбундовцев. После неудачи февральского восстания 1934 года в Австрии, в Советский Союз прибыли не только сотни борцов, но и много детей, родители которых погибли во время восстания.

8 августа 1934 года (этот день ежегодно торжественно отмечался в детском доме), специальный поезд с австрийскими детьми прибыл на советскую границу. Торжественные приемы следовали один за другим. Все советские газеты давали подробное сообщение по поводу прибытия австрийских детей. Пионерский лагерь Артек в Крыму, самый лучший в Советском Союзе, пригласил детей провести первое лето в Крыму.

Потом они отправились в Москву, где им было предоставлено в постоянное пользование просторное помещение в доме № 12 в Калашном переулке. В доме жили не только дети австрийских социал-демократов и шуцбундовцев, но и дети некоторых немецких коммунистов.

Этот приют под простым названием «Детский дом № 6», нельзя было, однако, сравнивать с обычными детскими домами в СССР. Питомцы этого дома находились почти в таком же привилегированном положении, как и делегации, которые на короткое время приезжали в СССР. Одежда для них изготовлялась в особых мастерских. Питание приготовляла австрийская кухарка. Дом имел собственный автобус, на котором воспитанники доставлялись в школу и обратно, им же пользовались для всякого рода поездок. Дом имел собственную амбулаторию, которой заведовала женщина-врач, немка. Она наблюдала за здоровьем детей. Каждое утро у детей проверялась температура.

Куда бы ни появлялись дети шуцбундовцев, они всюду встречали восторженный прием. На все премьеры в оперу, на оперетты и другие театральные представления давалось столько билетов, что порою их даже нельзя было полностью использовать.

Заведующим детдомом был немецкий коммунист Бейс. Учителями были немецкие и австрийские эмигранты и частично молодые русские, которые свободно говорили по-не-

мецки. Они были тщательно отобраны Центральным Комитетом ВЛКСМ.

Уже два года существовал этот дом, когда я 26 сентября 1936 года переступил его порог. Времена многочисленных приемов были позади. Автобус был отобран и мы должны были ходить пешком. Ежедневная проверка температуры была прекращена. Обильная и разнообразная еда была понемногу упрощена — хотя она все еще оставалась гораздо лучшей, чем у русских детей. Приглашения еще поступали, но не так часто как в первый год. Заведующий немец был заменен русским — Семеновым.

В это время в доме находились дети от 8 до 16 лет. Питомцев первых четырех классов называли по-австрийски «гшроппен»; ученики 5-го и 6-го класса, уже были средними; а мы — 7-й, 8-й, 9-й классы — старшими. Наш детдом все еще считался показательным. Природные способности воспитанников стремились развивать и помогали раскрытию данных. Музыкально-одаренным давали специальные уроки; для интересующихся игрой на сцене был организован театральный кружок под руководством Вайленда Родда — негра, который эмигрировал в Советский Союз и принимал участие, как актер, в советском фильме «Цирк» и в других фильмах. Существовал также литературный кружок и нередко у нас бывали немецкие писатели, эмигрировавшие в СССР. К нам часто привозили иностранные делегации. Нередко нас посещали представители австрийской или немецкой секции Коминтерна, а в дни торжеств: 1 мая, 7 ноября или на Новый год приезжал Копплениг, генеральный секретарь коммунистической партии Австрии, или Вильгельм Пик. Кроме официальных праздничных дней, у нас были свои собственные праздники. Каждый год торжественно праздновались 12 февраля в память восстания шуцбундовцев и 8 августа — день прибытия в СССР. В дни этих торжеств лучшие ученики — это понятие было у нас довольно растяжимым — получали ценные награды, далеко превосходившие награды, которые получали советские дети. Нас приглашали на все большие праздники, которые устраивались в это время в Москве, как «почетных юных гостей». Всегда нас встречали аплодисментами. Особенно большой радостью для нас были поездки по каналу Москва—Волга.

В политическом отношении мы также обладали некото-

рыми особыми правами. На стенах висели лозунги, отличавшиеся от стандартных советских лозунгов, как-то: приветствия антифашистским борцам в Австрии и Германии или испанским интернациональным бригадам. Рядом с портретами Ленина и Сталина можно было видеть не членов Политбюро ВКП(б), а портреты Иоганна Копленига, Димитрова, Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика.

В то время нас хорошо знали в Москве. Мы были лучше одеты, чем остальная молодежь, и когда вечером выходили гулять, то не раз слышали от прохожих: «смотри, это дети шуцбундовцев!». Мы переживали счастливое время — не зная по существу, как жилось в этот период остальной молодежи в Советском Союзе. Учителя и русский заведующий относились к нам исключительно доброжелательно. Когда мы выражали те или иные наши желания, мы могли быть уверенными, что в пределах возможного они будут удовлетворены.

У нас был также свой Совет, который мы сами выбирали; он обладал правом совещательного голоса по всем вопросам. Нашей единственной постоянной связью с внешним миром была «Библиотека иностранной литературы» в Столешниковом переулке, в 15 минутах ходьбы от нашего дома. Она помещалась в маленькой церкви, которая была закрыта с первых лет революции. Здесь имелись немецкие, английские, французские, испанские и итальянские книги. Почти каждый день я ходил с моими друзьями на несколько часов в читальный зал. Наряду с классической немецкой литературой там было также много новых книг: Томаса Манна, Генриха Манна, Франца Верфеля, Макса Брода, Стефана Цвейга, Якова Вассермана, Арнольда Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Эмиля Людвига и, конечно, всех авторов-эмигрантов, симпатизирующих Советскому Союзу, — Фридриха Вольфа, Анны Зегер, Иоганна Р. Бехера, Эриха Вейнерта, Бодо Узе, Фрица Эрпенбека, Вилли Бределя.

Эта читальня сперва казалась нам раем, но скоро я узнал и ее теневые стороны. Когда я получил в руки книгу Травена, я с глубоким изумлением увидел, что целые абзацы закрашены особой тушью. Все попытки прочесть затушеванные места, — например, держа страницы против света, — оказывались напрасными. Затушевка была технически превосходной. Эта своеобразная форма цензуры применя-

лась не только по отношению к книгам, но также к газетам и журналам. Цензура распространялась также на книги членов германской коммунистической партии и сочувствующих ей авторов. В читальном зале, кроме советских газет имелись также «Красное знамя» („Rote Fahne“) из Чехословакии, «Парижский листок» („Pariser Tageblatt“) или «Новая международная сцена» („Die neue Weltbühne“). Даже в этих чрезвычайно дружественных к СССР изданиях, некоторые абзацы нельзя было прочесть, так как в них сообщалось о событиях, которые не отмечались в советской прессе.

Мы, старшие, уже тогда интересовались не только литературой, но и политикой. Это совсем не удивительно. Ведь в Советском Союзе вся жизнь сильнее пропитана политикой, чем в любой другой стране. Почти нет вопросов, которые бы ни рассматривались с точки зрения политики. Кампании, собрания и демонстрации сменяли друг друга.

В большинстве западных трудов, посвященных Советскому Союзу высказывается сожаление о людях, которые принуждены жить и условиях подобной политизации. В отношении большинства населения это, вероятно, справедливо, но не в отношении всех, потому что как раз среди молодых людей очень многие живо интересуются политическими проблемами.

Большинство из нас «старших» в детском доме — следовательно, 14—17-летние юноши—совсем не хотели ждать, пока теми или иными политическими вопросами займутся в школе или в комсомоле; мы уже в наше свободное время, занимались вопросами марксизма-ленинизма. Когда заканчивались наши школьные работы, мы набрасывались на политическую литературу—сочинения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Никто нас к этому не принуждал, никто не призывал нас к политическому образованию. Это было наше собственное стремление, наша собственная заинтересованность. Скоро вошло в привычку, что мы, «старшие», дискутировали о прочитанном во время наших прогулок по Москве.

О том, какие в это время начинали разыгрываться события в СССР, мы в нашем доме в Калашном переулке не имели никакого представления. Но в СССР трудно жить беззаботно; нет такого уголка, где можно спрятаться от невзгод жизни. Это относилось и к нам.

АРЕСТ МОЕЙ МАТЕРИ

Когда меня поместили в детский дом №6, моя мать переселилась в маленькую каморку, ее нельзя было назвать комнатой. Она помещалась в одном старом доме вблизи Никитских ворот. Даже название «каморка» было слишком громким, так как в действительности это была часть прихожей, отделенная деревянной перегородкой. Но и за нее моей матери пришлось упорно бороться.

Один или два раза в неделю я встречался с матерью. Мы ходили с ней по Москве. Это было счастливое время. Хотя мне очень нравился мой детский дом, но я каждый раз радовался всем сердцем встрече с матерью, возможности беседовать с ней. В конце октября 1936 года, спустя несколько недель после моего переселения в детский дом, мы бродили в один из дождливых дней по улицам Москвы. Я грыз леденцы, купленные в моем любимом магазине «Восточные сладости» у Никитских ворот.

— У меня к тебе, мама, большая просьба, — сказал я.

— В чем дело, мой мальчик?

— Видишь ли, самое сложное для меня — черчение. Мы должны до послезавтра сделать особенно трудный чертеж, а у меня ничего не получается.

Мать обещала уже к следующему дню изготовить чертеж. После этого мы должны были быстро расстаться, чтобы я не опоздал в детдом. Я оглянулся. Мать все еще стояла, сумку и мой чертежный рулон держала под мышкой, ласково махала мне рукой. На следующий день я стоял в условленном месте наших встреч. Матери не было. Я ждал. Прошло десять минут, четверть часа, полчаса. Мать не приходила. Я решил пойти к ней домой, в ее маленькую каморку.

— Может быть она заболела, — подумал я.

Я был встревожен. На мой звонок один из жильцов открыл мне дверь, странно посмотрел на меня, но пропустил. Я побежал по коридору и удивленный остановился перед примитивным деревянным запором. Дверь была заперта, кроме того я заметил две печати: одну на двери, другую на перегородке. Я ничего не понимал. Тем временем открылась дверь соседней комнаты.

— Что ты хочешь? — спросили меня.

— Я хотел видеть мою мать, она ведь здесь живет.

— Твоей матери здесь больше нет.

— А где же она?

— Она уехала.

— Да как же так? Разве она ничего не оставила мне?

— Нет, она ничего не оставила. Она неожиданно должна была уехать. Может быть в командировку и скоро снова вернется. Иди спокойно домой.

Я пошел домой обеспокоенный, раздумывая по дороге. Я уже достаточно долго пробыл в России, чтобы не знать что такое командировка: неожиданное служебное задание, проведение определенной работы в другом месте. Но от кого могла получить моя мать командировку? Когда она вернется?

В детском доме мои беспокойные мысли понемногу рассеялись. Возможно, что ее послали куда-нибудь преподавать иностранный язык . . . каким-нибудь командирам армии. Тогда наверное она не может об этом писать, — успокаивал я себя и, наконец, засел за свой чертеж.

Проходили недели. Я еще несколько раз ходил на «квартиру» к матери, и каждый раз мой взгляд с грустью и тревогой останавливался на запечатанной двери. Жители соседних комнат сначала относились ко мне дружелюбно, потом косились.

— Зачем ты все время приходишь? — спросил строго, почти зло, один сосед. — Мы же сказали тебе, что твоя мать в командировке. Как только она вернется, она даст тебе о себе знать. Ты не должен постоянно сюда бегать.

С того раза я больше туда не ходил. Тем временем я повидался со знакомыми моей матери. Они тоже говорили мне, что мать в командировке, но никто не знает, — где она.

— Я слышал, что она в Тифлисе, — сказал один знакомый.

— Почему же тогда она мне не пишет?

— Бывают командировки, когда писать нельзя, — ответил он.

Я это понимал, так как уже давно об этом слышал, поэтому я больше не расспрашивал.

Скоро произошли новые события, которые вырвали меня из спокойной жизни детского дома.

В январе 1937 года начался процесс «троцкистского параллельного центра», якобы заговорщической организации, к которой принадлежали такие руководящие партийные деятели, как Пятаков, Радек, Сокольников и Серебряков.

До этого нам представляли их, как образцовых большевиков. «Немецкая центральная газета» („Deutsche Zentralzeitung“), писавшая так же, как и «Правда», почти исключительно об успехах социалистического строительства и помещавшая фотографии новых индустриальных объектов и передовых колхозов, теперь разразилась ругательствами и громила на своих страницах «троцкистских шпионов», «диверсантов», «предателей родины», «реставраторов капитализма».

Уроки по обществоведению были сейчас же приспособлены к новым требованиям и посвящались исключительно происходящему процессу. Мы узнали, что те, которых мы до сих пор считали образцовыми партийными руководителями, на самом деле были шпионами, агентами и диверсантами. Они вели переговоры с фашистской Германией и с Японией с целью передать Украину Германии, а Дальний Восток — Японии, и стремились к восстановлению капитализма в стране.

Обвиняемые, как говорили нам, — уже в течение ряда лет, даже десятков лет, были вредителями, врагами народа и агентами, но умело обманывали свое окружение. Изображая из себя образцовых руководителей партии, они в действительности саботировали планы производства, организовывали взрывы и пожары, выполняли диверсионные мероприятия, устраивали железнодорожные катастрофы, а тем, что они намеренно заражали продовольственные и санитарные пункты, они несли смерть рабочим и крестьянам. Одновременно они подготовляли террористические группы с целью убийства руководителей партии и советского правительства.

30 января 1937 года процесс закончился. Пятаков, Серебряков и другие обвиняемые были приговорены к смертной казни, а Сокольников и Радек — к десяти годам тюрьмы. В газетах печатались снимки собраний на предприятиях и в колхозах, на которых все присутствующие поднимали руки за смертный приговор обвиняемым. На больших демонстрациях несли плакаты с лозунгами: «Расстрелять бешеных фашистских собак», «Враги народа должны быть стерты с лица земли!»

Мы не могли тогда полностью охватить значение этих процессов. Мы продолжали жить, как на счастливом острове. О массовых арестах того времени мы не имели никакого представления. Мы по-прежнему ходили на занятия, читали книги и дискутировали. Единственное, что мы замечали, что на уроках обществоведения, на собраниях в школе и в самом

детдоме очень много говорилось о бдительности, о «врагах народа», об «агентах» и об их вредительстве.

Большая волна арестов началась осенью 1936 года, но только поздней весной 1937 года, когда и от нас этого нельзя было больше скрыть, мы поняли, что происходит в стране.

Волна арестов не миновала и немецкой школы имени Карла Либкнехта. С марта 1937 года начались один за другим аресты учителей. Сначала исчез наш немецкий учитель *Гершинский*, коммунист, в юности посещавший школу им. Карла Маркса в Берлине (в Нойкельне) и приехавший в Советский Союз после 1933 года. За ним последовал наш учитель истории и географии Люшен, тоже воспитанник школы им. Карла Маркса. Наконец, был арестован и учитель по математике и химии Кауфман.

Так обстояло дело не только в нашем классе, но и во всей школе. Немногие учителя, которые остались, валились с ног от усталости, так как должны были распределять между собой все уроки арестованных преподавателей. Но они страдали не только от усталости, но и от страха. Каждый знал, что завтра может придти и его черед. Они потеряли внутреннюю уверенность, что ученики, конечно, заметили, и учителям с большим трудом удавалось доводить урок до конца. Иногда страх ставил их в глупое положение.

Однажды во время урока обществоведения наш учитель восторженно и горячо говорил о демократическом характере советской конституции и о морально-политическом единстве советского народа. Он решил увенчать все сказанное известной фразой Сталина:

«Тем, кто попытается напасть на нашу страну, будет дан уничтожающий отпор, чтобы у них пропала навсегда охота совать свое свиное рыло в наш советский огород!»

В конце этой фразы учитель обмолвился и громко воскликнул:

«. . . чтобы у них навсегда пропала охота совать свое советское рыло в наш свиной огород!»

Некоторые ученики прыснули, а другие, в том числе и я, сидели как парализованные. Что будет дальше? Что произойдет?

Через несколько секунд учитель заметил свою ошибку, побелел весь и затрясся. С большим трудом он закончил свой урок. Всем нам было его очень жалко. Мы знали, что это означает его конец, так как ясно было, что об этом случае

он должен сам сообщить партийной организации. Несколько дней спустя он исчез. Мы его никогда больше не видели и ничего о нем не слышали. Даже на наши экзамены легла тень арестов. В одно июньское утро весь наш класс собрался на письменную работу по немецкому языку. Как всегда на экзаменах, мы были немного взволнованы при появлении учителя. Он сначала проверил по списку присутствующих, а затем объяснил нам нашу экзаменационную задачу.

— Я прочту вам сейчас отрывок из книги антифашистского писателя Георга Борна. Вы должны содержание отрывка переложить своими словами. Вам дается на это три часа и вы можете спокойно работать.

С этими словами он раскрыл свой портфель, чтобы достать оттуда книгу Борна. Неожиданно на нескольких скамьях раздался шепот.

— В чем дело?

Один ученик встал.

— Товарищ учитель, мой отец мне говорил, что Георг Борн на этих днях арестован, как враг народа.

Лицо учителя посерело. Дрожащими руками он положил книгу обратно в портфель, начал рыться в нем, просмотрел ряд других книг и быстро совал их обратно. Наконец, он достал книгу Киша, который жил в то время в Мексике и потому можно было надеяться, что Киш не разоблачен как враг народа.

Учитель взял себя в руки и немного успокоился:

— Я хочу перед вами извиниться за серьезный недосмотр. Разумеется мы не будем опираться на книгу врага народа, которого ждет справедливое наказание. Вместо этого я вам прочту репортаж Эгона Эрвина Киша, а вы его затем расскажете своими словами.

Он прочел нам отрывок. Его голос все еще изредка немного дрожал. Он боялся больше, чем мы, сдававшие экзамены.

Как раз в дни экзаменов, в июне 1937 года, проходила самая сильная волна чисток.

В начале июня мы, а с нами все советское население, были поражены необычайным событием: профессор Плетнев, один из наиболее знаменитых людей в медицинском мире, был обвинен в изнасиловании советской гражданки Б. Это сообщение вызвало особое удивление, так как о сексуальных извращениях советская пресса обычно молчала, а на

этот раз были описаны все обстоятельства изнасилования, даже до таких деталей, что профессор искусал ей грудь. «Правда» подчеркивала, что именно из-за этих укусов гражданка Б. осталась инвалидом на всю жизнь.

Непосредственно за этим последовали обычные резолюции разных медицинских институтов против «насильника» и «садиста» Плетнева. Было объявлено о предстоящем открытом процессе. Его напряженно ждали. Однако, в течение целого года о Плетневе ничего не было слышно. Вместо этого в те же дни появился новый лозунг, который можно было прочесть ежедневно в газетах или услышать на собраниях:

«Советские органы госбезопасности становятся крепче и могущественней. Пусть дрожат шпионы, диверсанты и убийцы! Советские органы госбезопасности еще покажут на что они способны!»

Немногим позже, 11 июня 1937 года появилось сообщение о раскрытом заговоре, которым руководил Начальник Генерального штаба маршал Тухачевский и семь генералов Красной армии. Названные лица, занимавшие высокие командные посты в армии, старые большевики, партийные государственные деятели, обвинялись как шпионы иностранных держав, они вели в армии якобы подрывную работу с целью ослабить армию и даже желали поражения Красной армии, чтобы вернуть власть помещиков и капиталистов.

За последние месяцы мы привыкли уже ко многому, в том числе и к процессам, постоянным угрозам и ругательствам по адресу «смертельных врагов», «агентов», «врагов партии», «врагов народа», «шпионов», «двурушников», «предателей», «диверсантов», мы привыкли к постоянным призывам к бдительности. Но сообщение о раскрытии заговора Тухачевского превзошло все, что было до сих пор. Из шести страниц «Правды» от 12 июня 1937 года, пять были посвящены только этому событию. Единственный раз в истории советской прессы каждая страница газеты начиналась с призывов, напечатанных самым крупным шрифтом.

Шпионов, презренных наемников фашизма, предателей родины — к расстрелу!

Таков был заголовок первой страницы. На второй странице таким же шрифтом:

Шпионов, нарушителей военного долга, предателей родины и Красной Армии — к расстрелу!

Третья страница озаглавлена:

Шпионов, которые хотели расчленить нашу родину и восстановить в СССР власть помещиков и капиталистов — к расстрелу!

На четвертой странице:

Шпионов, осуществлявших акты саботажа, подрывая мощь Красной Армии — к расстрелу!

На пятой странице:

Шпионов, стремившихся к поражению Красной Армии — к расстрелу!

Передовица газеты была озаглавлена:

«Изменникам за шпионаж и измену родине — расстрел!» Она кончалась словами, пестревшими теперь повсюду: «Советские органы госбезопасности еще покажут на что они способны!»

Вся газета была заполнена резолюциями, в которых требовался немедленный расстрел и сыпались на головы обвиненных оскорбления и проклятия.

Но поток массовых «требований народа» опоздал. В маленьком примечании сообщалось, что Тухачевский и обвиненные вместе с ним командиры Красной армии расстреляны.

Хотя это событие не затронуло нас непосредственно, но отразилось и на нашем детском доме. В день, когда Тухачевский был приговорен к расстрелу, к нам пришел один воспитанник дома, который не принадлежал еще к группе «старших», так как ему шел только четырнадцатый год, он был бледен.

— Что мне теперь делать? Я совершил что-то ужасное!

— Что же ты сделал?

— В экзаменационной работе нам была дана тема о Красной армии, и я в ней особенно отметил роль Тухачевского.

— В твоей работе?

— Да. Но еще хуже! — Я закончил работу словами: под руководством Сталина и Тухачевского Красная армия победила в гражданской войне и непобедима также сегодня! Что теперь из всего этого выйдет?

К счастью с ним ничего не случилось, но в эти дни, даже в детском доме, в особенности среди старших, у многих были озабоченные лица.

Однажды вечером нас собрали всех вместе и обрадовали сообщением:

— Этим летом мы едем на отдых в Крым, в Гурзуф.

Для нас это было спасением. В тот же вечер со мной произошел случай, который в то время остался для меня совершенно непонятным. Один педагог детдома подошел ко мне, серьезно на меня посмотрел и, не произнеся ни слова, дружески пожал мне руку. Я ничего не понял. Что он хотел?

Вся неделя была полна приготовлениями к отъезду. Накануне отъезда ко мне снова подошел тот же учитель, но на этот раз он был более веселым.

— Теперь опять все в порядке, — сказал он и похлопал меня по плечу.

— А что такое? Было что-нибудь?

Он ответил нерешительно.

— Было одно дело . . . но теперь все разъяснилось. Не вешай головы, укладывай свои вещи, мы едем в Крым.

В живописно расположенном курортном месте на Черном море, в Гурзуфе, в наше распоряжение предоставили прекрасное здание и для нас начались чудесные дни. Среди изумительного ландшафта Крыма, под пальмами и у прохладного моря, все события последнего месяца казались нам тяжелым сном. Мы верили, или надеялись, что все скоро войдет в свою колею и к нашему возвращению в Москву все будет опять хорошо, как это было несколько месяцев тому назад.

Прошло около трех недель отдыха в Крыму и я вдруг заболел. Я лежал в комнате для больных под наблюдением нашей докторши-немки, которая жертвенно о нас заботилась. Мне уже стало лучше, когда она однажды подошла к моей кровати:

— Вот, возьми. Тебе открытка пришла, — сказала она.

С волнением я стал читать почтовую открытку. Она была послана на адрес детского дома. Это была открытка от моей матери! Отправителем был: «Л. П. Шор, Чибью, Коми АССР». Была еще отметка, «К.Р.Т.Д. 5 лет».

Только теперь я понял, что случилось. Для меня это было ударом: моя мать арестована! Мне было известно, что ЛП обозначает «лагерный пункт», а КРТД — русское сокращение — «контр-революционная троцкистская деятельность».

Я понял теперь, почему комната матери была опечатана, а соседи отнеслись ко мне недоверчиво и рассказывали о «командировке». Они хотели меня успокоить.

Я вдруг осознал всю жестокость положения: в то время как моя мать была уже 10 месяцев под арестом и жила теперь в ужасных условиях за Полярным кругом, я находился в привилегированном детском доме Советского Союза и наслаждался отдыхом под пальмами в Крыму.

Нехотя, против воли принимал я теперь участие в выездах в Симферополь, Ливадию или Ялту, в посещении замков и дворцов или в прогулках в горы. Все время перед моими глазами вставал образ моей матери, и я с грустью думал все время о ней — что вот в эту минуту, сейчас, делает она там?

О получении открытки, об аресте и ссылке моей матери я никому не рассказывал, но я был убежден, что директор дома и педагоги узнали об этом.

Тогда я вспомнил о странном поведении учителя незадолго перед нашим отъездом. Может быть это имело какое-то отношение к аресту матери? Я попытался еще раз поговорить с ним на эту тему, но он уклонился от разговора. Только годом позже я узнал причину его поведения. В то время была арестована не только моя мать, но и родители еще 8—10 воспитанников нашего дома. И от НКВД пришло распоряжение о том, чтобы все дети, у которых арестованы родители покинули наш дом и были помещены в один из детских домов НКВД. В тот день и подошел ко мне учитель, чтобы на прощание пожать мне руку; сказать об этом он не мог. Несколько дней спустя решение НКВД было отменено. Нам разрешили остаться в нашем доме и тогда обрадованный педагог вторично подошел ко мне и сказал, что все теперь в порядке.

Я еще и сегодня не знаю — кому мы обязаны нашим спасением. Может быть приказ был отменен из-за вмешательства Коминтерна?

Во всяком случае мы были спасены. Нас миновала тяжелая участь попасть в один из детских лагерей НКВД, которые существовали тогда для детей арестованных. Мы на много лет были разлучены с нашими родителями, но от худшего судьба еще хранила нас. Единственное, что у нас теперь осталось: наш детский дом, который стал для нас родиной, семьей и защитой. Но что, если наш дом будет распущен?

РЕШЕНИЕ ПЕРЕЙТИ В РУССКУЮ ШКОЛУ

После шести недель отдыха в Крыму, во второй половине августа мы вернулись в Москву. На следующий же день директор пригласил нас, старших, в свой кабинет для особой беседы.

— Товарищи, вы все уже окончили седьмой класс и мы должны с вами серьезно поговорить о вашем будущем. Вы теперь уже все хорошо владеете русским языком и я прошу вас подумать — не лучше ли будет для вас, если вы уйдете из немецкой школы им. Карла Либкнехта и поступите в русскую школу. Разумеется, что никто принуждать вас не будет. Через несколько дней мы можем снова об этом побеседовать.

Некоторые из нас тотчас же решили поступить в русскую школу, другие, — в том числе и я, — колебались. Правда, я уже хорошо знал русский язык, но все же не так, как немецкий. Если бы дело было только в языке, то я предпочел бы остаться в немецкой школе. Но мне было ясно, что предложение Семенова, хотя он этого и не высказал, было сделано из политических соображений. Вероятно, остальные рассуждали точно так же, потому что, когда через два дня мы снова собрались в кабинете директора, все высказали желание учиться в русской школе.

С 1 сентября 1937 года 12 старших воспитанников пошли в русскую школу. Нас распределили по различным школам. Другие: «младшие» и «средние» временно остались в немецкой школе им. Карла Либкнехта.

Я попал в 93-ью московскую школу, которая находилась в маленьком переулке недалеко от Арбатской площади. Как многие московские школы, 93-ья была расположена в хорошем современном здании. Здесь тоже можно было восхищаться прекрасным оборудованием школы.

Учителя и ученики отнеслись к нам очень дружелюбно и по-товарищески. Они нам помогали, если каких-то сложных вещей по-русски мы не могли сразу понять. Ни одного раза не проявили они к нам какой-либо враждебности.

Несмотря на то, что мы уже хорошо понимали русский язык, вначале было не легко учиться. Последние три класса советской школы посещались, прежде всего, теми, кто хотел позже идти в высшую школу. Учебный материал в пределах 8—10 классов давался очень насыщенно, в последние три года требовали особенно много. Я и сегодня еще убежден, что

в советских школах дается не меньше знаний, а возможно и больше, чем в большинстве школ Западной Европы и Америки, хотя, конечно, очень многое преподавалось односторонне. У нас не было ни латинского, ни греческого языка — преподавался только один иностранный язык, — но в других областях, и в особенности в области естественных наук, требования были очень высокие.

Хотя по количеству отраслей знания 8-й класс органически приключался к 7-му, по некоторым дисциплинам имелись все же изменения. Математика делилась только на три раздела: алгебра, геометрия и тригонометрия. Физика и неорганическая химия продолжались, а уроки по географии были большей частью посвящены экономической географии СССР. По биологии мы проходили анатомию и физиологию человека. На уроках по истории мы занимались историческим развитием народов СССР, которое начиналось не с событий русской истории, а с государства Урарту, с 9—6 века до Р. Х., которое существовало там, где сейчас находится Армения. В преподавании истории в 1937-38 гг. особое внимание уделялось эпохе Ивана Грозного, так как в оценке именно этого царя произошли большие изменения. Неожиданно для многих, он теперь прославлялся как прогрессивный правитель и объединитель России. Говорилось, что до этого времени он неправильно расценивался в реакционных исторических трудах и ему несправедливо дали имя Грозного. Особенно подчеркивались его прогрессивные стремления к созданию государственного единства и его борьба с изменниками России. Особое внимание уделялось и «Опричнине», которая носила эмблему: собачья голова и метла. Собачья голова — чтобы выслеживать изменников, а метла — чтобы очищать Россию от внутренних врагов.

В 8-м классе не было уроков ни по Конституции, ни по обществоведению, ни по другим политическим дисциплинам. Вместо этого два раза в неделю мы проходили «военное дело». При этом мы занимались военными упражнениями, вопросами гражданской воздушной обороны и защитными мероприятиями от воздушных атак. Черчение становилось с каждой неделей все сложнее и доставляло мне особенно много неприятностей. Между тем, значение этой дисциплины особенно подчеркивалось вероятно потому, что не без основания предполагалось, что ученики в дальнейшем попадут в высшие технические учебные заведения (втузы).

Тенденция готовить нас к высшей школе была несомненной и в этом отношении проводился целый ряд мероприятий. Так, начиная с 8 класса нас приглашали в так называемые «Дни открытых дверей» в различные высшие учебные заведения. В эти дни прерывалась обычная жизнь высшей школы: профессора, доценты, ассистенты и представители от студентов находились в нашем распоряжении, чтобы объяснять кончающим десятилетку школьникам, чем занимаются в данной высшей школе. Таким образом проводилась вербовка для того или иного института и одновременно это облегчало школьникам будущий выбор специальности. Я тоже посещал в «Дни открытых дверей» вузы и уже выбрал себе тот вуз, в котором хотел учиться дальше.

Наш переход в русские школы привел скоро к тому, что некоторые из нас начали и между собой говорить по-русски. Это был первый шаг на пути к нашей советизации и русификации, которые всё сильнее ощущались с 1937 года.

В начале 1938 года был сделан второй шаг: немецкая школа им. Карла Либкнехта была распущена. Ввиду ареста учителей, директора школы Желаско и его преемника Крамера, продолжать занятия в школе было дальше невозможно. Теперь и остальные австрийские и немецкие дети перешли в русские школы.

Наш дом стал все больше походить на русские детские дома. Правда, нас еще навещали представители австрийской и германской секций Коминтерна, мы слушали доклады об антифашистской борьбе в Германии и Австрии, или о событиях в Испании, но все чаще у нас стали появляться русские докладчики, которые должны были знакомить нас с политическими проблемами Советского Союза.

Мы учились рассматривать все вопросы с политической стороны или, как мы выражались, «с принципиальной точки зрения» и привыкали оправдывать все то, что делает Советский Союз, даже самое из ряда вон выходящее, даже то, что по существу противоречило идеям социализма.

Вначале многие воспитанники нашего дома писали письма родителям или родственникам в Австрию, но с течением времени эти связи ослабевали. Мы все реже думали об Австрии и Германии, и все больше и больше о Советском Союзе. В первое время на наших собраниях в доме говорилось о Советском Союзе как нашей «второй родине». В дальнейшем слово «вторая» было отброшено и постепенно мы

начинали себя чувствовать так, будто Советский Союз — наша единственная и настоящая родина.

В наших разговорах между собой наименования Австрия и Германия встречались все реже и реже. Воспоминания тускнели. Мы стали молодыми советскими людьми, которые по национальности были немцами или австрийцами, но по своим мыслям и чувствам принадлежали Советскому Союзу.

Так, за время с 1934 по 1938 год наш детский дом приобрел совсем иной облик. К тому же он перестал, по существу, быть детским. Незаметно «младшие» превратились в «средних», «средние» в «старших», а те, кто были уже «старшими» — никак не подходили к «детскому дому». По вечерам, в субботу и воскресенье у нас устраивались танцы и посторонний посетитель вряд ли признал бы в танцующих парах — воспитанников детского дома.

Еще недавно наши педагоги и ночные дежурные сестры должны были улаживать ожесточенные детские драки, теперь они стояли перед другими проблемами, так как большинство воспитанников нашего дома поддались очарованию первых любовных увлечений. Но мы для этих самых счастливых лет юности «выбрали» себе плохое время!

КАК ВЫГЛЯДЕЛА БОЛЬШАЯ ЧИСТКА ИЗ ОКОН ДЕТСКОГО ДОМА

Аресты все еще не прекращались. После нашего возвращения из Крыма, в конце августа 1937 года, они даже усилились. Осенью 1937 года было превзойдено всё, что было раньше.

Для меня теперь не было необычным, когда я, придя к кому-либо из знакомых, обнаруживал опечатанную дверь или другую семью, которая вселялась на жилплощадь арестованных. «Арест» . . . это еще несколько лет тому назад звучало так страшно и было редким исключением, а теперь это стало совершенно обычным явлением. По дороге в школу я видел почти ежедневно зеленые машины, которые везли арестованных*). Все чаще мы слышали об арестах ведущих

*) Под понятием «зеленые машины» автор, видимо, подразумевает «Черный ворон». — Прим. переводчика.

деятелей Коминтерна, которых до этого ставили нам в пример. Однажды ночью исчез не только учитель школы им. Карла Либкнехта, но и редактор «Центральной немецкой газеты» („Deutsche Zentralzeitung“) и сотрудник «Клуба иностранных рабочих». Мы всё время узнавали о новых арестах в доме эмигрантов и среди шуцбундовцев. Лица школьных учителей и воспитателей в детском доме, лица докладчиков из Коминтерна были отмечены постоянным страхом, в котором они жили.

Те, кто еще не был арестован — они называли иногда самих себя «оставшиеся» — держали себя по-разному.

Большинство было охвачено психозом страха; они вели себя, как загнанная дичь, непрерывно следя за правильностью своих поступков, чтобы избежать ареста.

Но что было правильно?

«Самое главное теперь, — думали многие, — вообще по возможности избегать каких-либо высказываний на политическую тему, даже если ты уверен, что это отвечает линии партии. Молчание, молчание и еще раз молчание, это — заповедь переживаемого часа».

«Сегодня нет ничего опаснее молчания, — думали другие, — это только вызывает подозрение, что у тебя есть задние мысли и вообще ты враг народа. Как раз в сегодняшней обстановке особенно важно быть активным и по всем вопросам ежедневно выражать свое мнение в духе передовиц «Правды».

«Нельзя знать, кто завтра будет арестован как «враг народа», так что лучше всего ни с кем теперь не раскланиваться и полностью себя изолировать», — так рассуждали многие.

«Надо именно теперь быть со всеми, как можно любезнее. Надо вести себя так же, как и раньше, держать себя так, будто вы не замечаете происходящей чистки. Ничто так не опасно, как уединение и изоляция», — рассуждали другие.

— Самое важное теперь — проверить свои книги. Все книги, содержание которых не полностью отвечает генеральной линии партии, нужно тотчас же сжечь, — говорили одни.

— Нет ничего более опасного в эти месяцы чистки, как сжечь хотя бы клочок бумаги. Это будет сейчас же замечено другими жильцами и тогда скажут, что вы жгли документы и автоматически заподозрят в вас шпиона. Лучше

десять враждебных партии книг в книжном шкафу, чем клочок сожженной бумаги в печке, — возражали другие.

Но все эти споры были абсолютно ни к чему.

Арестовывали и тех, кто был нем, как рыба, и тех, кто при каждом удобном и неудобном случае восторженно и громко цитировал передовые «Правды».

В руки НКВД попадали и те, кто тотчас после работы шел домой и никуда не высовывал носа, и те, кто придерживался принципа ничего не замечать и вести себя как прежде.

Чрезмерно осторожные, сжигавшие половину своей библиотеки (в том числе и разрешенные книги), арестовывались так же, как и другие, которые вообще не топили печей из страха, что могут подумать, будто они хотят сжечь документы.

Рецепта такого поведения для невинных людей, чтобы в их невиновность поверили, просто не существовало. Даже в нашем детском доме стало в то время известно, что 99% арестованных никогда ничего не совершили против советского государства и советской власти. Поэтому при всем своем желании они не могли на допросах в чем-то сознаваться. Но НКВД это не смущало. Как мне тогда рассказывали, НКВД находило что-нибудь абсолютно безобидное, почтовую открытку из-за границы, например, и строило на этом обвинение. Или НКВД узнавало, что кто-то был в кафе «Националь» в то время, когда там, на много столов дальше, сидел иностранный дипломат. Такой безобидный случай, при известной фантазии, мог быть раздут, как участие в заговоре против Сталина.

Среди тех, кто не был еще арестован, обсуждался тогда еще один вопрос: нужно ли отказываться от фантастических обвинений в преступлениях и от подписи подобных показаний, или же надо помогать следователю в составлении таких историй и их подписывать, хотя бы для того, чтобы показать свою добрую волю?

Мнения моих знакомых расходились.

— Я никогда ничего против советской власти не предпринимал, и если я буду арестован, так не подумаю сознаваться в преступлениях, которых я не совершил. Я ничего не буду говорить и ничего подписывать, — таково было одно мнение.

— Аресты не имеют ничего общего с виной или невиновностью. Отказ в признании никому не поможет. Наобо-

рот, при этом наказание становится строже и никто от этого не выигрывает, — было противоположное мнение.

— Я попытаюсь уже сейчас придумать правдоподобную историю, чтобы облегчить задачу НКВД и, быть может, получить более легкий приговор, если буду арестован.

Несколько дней спустя я встретил одного очень неглупого знакомого, который незадолго перед этим беседовал с одним человеком, имени которого он, понятно, не назвал. Тот был арестован НКВД и через некоторое время освобожден.

— Мне кажется, что я нашел решение, — сказал мне мой знакомый. — К допросу надо подготовить совсем сумасшедшую историю, которая, однако, могла бы быть воспринята следователем, как чистосердечное признание, но в то же время столь глупую, чтобы при первой же проверке стала ясна вся ее неправдоподобность.

— Как же должно выглядеть такое признание?

— Я для себя еще не придумал такой истории; я еще размышляю. Но тот человек привел мне пример. Так, один химик сознался на допросе, что он продал Службе Безопасности нацистов одну важную химическую формулу. Его, конечно, сейчас же спросили — что это за формула? Он написал: $H^2 SO^4$. Его признание было принято.

— Невероятно!

— Видишь ли, за это время арестованы многие образованные сотрудники НКВД, и поэтому среди следователей теперь много неопытных деревенских парней, которым можно подобные вещи рассказывать. Имеются еще более невероятные случаи! Знаешь ли ты историю о Ленинградском порте?

Я ответил, что не знаю.

— Один человек признался, что он замешан в важном заговоре против военного флота. У него, вместе с другими, был план бросить в Кронштадтскую гавань камни, чтобы тем самым повредить флоту и военной гавани.

— Ну, и что дальше?

— Его присудили к 8-ми годам, а без признания — он получил бы, вероятно, 10-12 лет. Кроме того, он уверен, что при пересмотре приговоров, на что он надеется, он будет в первых рядах освобожденных.

Это была невообразимая ситуация. Люди, живущие при диктатуре и активно с нею борющиеся, стараются обычно при допросе ни в чем не сознаваться и возможно больше от-

рицать, чтобы получить меньшее наказание, а тут я сам был свидетелем длинных бесед серьезных людей, которые никогда ничего против советской системы не делали, но тщательно и серьезно размышляли, в чем бы они могли признаться после ареста.

Тогда же, как всегда в такие времена, всплывали самые дикие слухи.

— Ежов будет скоро смещен, — шептали с надеждой. А в октябре разнесся слух, что 7 ноября 1937 года, в 20-летие Октябрьской революции, будет объявлена большая амнистия и все арестованные будут освобождены.

7 ноября наступило. Амнистия была объявлена, но лишь нескольким сотням уголовников, которые не имели ничего общего с чисткой. Слухи же о снятии страшного наркома внутренних дел скоро смолкли, так как Ежов остался и его стали превозносить больше, чем когда-либо раньше.

Дольше всего держались слухи о маршале Блюхере, главнокомандующем Особым Дальневосточным военным округом. О Блюхере еще раньше рассказывали, что в 20-х годах он много раз бывал в Китае и работал совместно с тогдашним вождем китайской революции — Сун Ят-сеном. Когда были введены маршальские звания, он был в числе первых пяти, которые его получили. Он занимал, как главнокомандующий Особым Дальневосточным военным округом, исключительное положение. В 1937 году он принадлежал к тому высшему составу суда, который приговорил маршала Тухачевского к смертной казни. Однако после этого, как теперь передавали шепотом, он тотчас же вернулся на Дальний Восток. Вслед за этим появились новые слухи:

— Маршал Блюхер не участвует, — шептал мне радостно один знакомый. — В Дальневосточном военном округе не проводится никакой чистки.

— Вообще никаких арестов?

— Нет, какие-то есть, конечно, но это только обычные аресты, а не то, что у нас здесь делается.

— Да как же это вообще возможно?

— А почему это не должно быть возможным? В его руках там верховная власть и он этого просто не допускает. Ах, если бы можно было попасть во Владивосток! — Его глаза засветились при этой мысли.

— Но я думаю, что сейчас же заметят и тогда, безусловно, еще здесь до отъезда арестуют.

Этот слух о маршале Блюхере скоро рассказывался в новом, более расширенном изложении:

— Недавно НКВД решило арестовать непокорного маршала Блюхера. Для этой цели был снаряжен специальный поезд с энкаведистами. Как только они пересекли границу Дальневосточного округа, поезд окружили специальные войска маршала Блюхера. Была даже стянута артиллерия. Энкаведисты сдались. Теперь они сидят во Владивостокской тюрьме! Молодец маршал Блюхер!

Мне уже тогда казалось, а теперь я в этом твердо убежден, что все эти слухи были лишь желанной мечтой. Это был последний луч надежды в отчаянной ситуации. Но постепенно и эти слухи блекли, так как вскоре кругом заговорили, что маршал Блюхер арестован. Он как сквозь землю провалился. В советской печати и на собраниях его больше не упоминали.

Аресты продолжались беспрерывно. Люди становились к этому все более равнодушными. Они относились к арестам, как к природной катастрофе, которую нельзя предотвратить.

Более того, в эти страшные времена рассказывались анекдоты; может быть потому, что все равно ничего нельзя было изменить.

Два москвича Иван и Павел, встречаются на улице Горького.

— Как живешь, Павел? — спрашивает Иван.

— Как тебе сказать, Иван . . . Как в автобусе.

— Как в автобусе?

— Ну, да. Как в автобусе. Одни сидят, а другие трясутся.

Наиболее распространенным был анекдот: «В 4 часа утром», — намек на аресты, которые происходили главным образом в это время.

— В 4 часа утра раздается стук в дверь квартиры, где проживают пять семей.

Все тотчас вскакивают с кроватей, но никто не решается открыть дверь. Все стоят у дверей своих комнат и дрожат. Стучат сильней.

Наконец один из жильцов, Абрам Абрамович, решается открыть входную дверь.

Слышно, что он о чем-то говорит с человеком за дверью.

Потом он оборачивается к дрожащим соседям, товарищам по несчастью, и его лицо сияет: «Не беспокойтесь, товарищи. Ничего не случилось! Это только наш дом горит . . .»

ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ

Я давно уже не был единственным в детском доме, у кого была арестована мать. Другие воспитанники за это время тоже получили письма или открытки от арестованных родителей. Понемногу развязывались языки и один признавался другому, что его мать или отец арестованы, а порой, случалось и это, были арестованы оба.

Как это ни странно, но мы все реагировали одинаково: каждый знал, что его мать или отец невиновны. Но мы были уже настолько по-советски воспитаны, что в наших оценках исходили не из чьей-то отдельной судьбы, — даже если дело шло о наших невинно осужденных родителях. Ни у кого из нас, десяти молодых людей, у которых были арестованы родители, этот личный удар не вызвал тотчас же оппозиции против советской системы.

Инстинктивно мы отталкивали от себя мысль, что массовые аресты 1936-38 годов прямо противоречат нашим идеалам социализма. Мы пытались убедить себя, что дело идет лишь о загибе, о чрезмерной заостренности нужных и правильных по существу мер.

Как-то вечером мы снова сидели все вместе в нашем доме. Разговор начала молодая девушка, отец которой был арестован НКВД и сослан на 10 лет.

— Мне кажется, что все дело можно лучше всего объяснить на примере. Представим себе, что у кого-то из нас в руках яблоко, которое он очень ценит, так как оно — единственное. На этом яблоке появилось гнилое или даже ядовитое место. Если он хочет спасти яблоко, то ему надо вырезать плохое, больное место, чтобы оно не заразило весь плод. Вырезывая больное место он, вероятно, захватит большую площадь, чтобы осталась только действительно здоровая часть. Возможно, что так обстоит дело и теперь при партийной чистке.

Другой из нас согласился с ней:

— Конечно, в Советском Союзе существует какое-то количество шпионов, агентов и диверсантов. Возможно, что

советские власти только знают о том, что такие люди есть, но не знают точно — где и кто они. И вот для того, чтобы действовать с уверенностью и спасти советское государство, приходится волей-неволей арестовывать и невинных. Для арестованных невинно это, конечно, очень болезненная операция, но разве это, если взглянуть принципиально, не оправдано, когда речь идет о спасении единственной социалистической страны в мире?

— В конце концов дело идет об историческом процессе, — заметил третий. — Я как раз сейчас прочел несколько книг о Французской революции, главным образом о диктатуре якобинцев. Тогда тоже происходили судебные процессы и казни, которые с формально-юридической точки зрения, возможно, были несправедливыми, но зато они способствовали победе революции.

Но он натолкнулся на возражение.

— Ты привел очень опасный пример. Не ослабила ли якобинская диктатура, благодаря процессам и революционному террору, свою собственную базу и, тем самым, не привела ли, вольно или невольно, к победе контрреволюции?

Дискуссия продолжалась еще некоторое время.

Мы пытались «исторически» объяснить нынешнюю чистку; в эти дни можно было видеть многих «старших» нашего детского дома, склонившихся над всевозможными книгами из времен диктатуры якобинцев. Мы настолько были увлечены этим занятием, что в шутку называли себя «Клубом 1793 года».

Вечерами я с друзьями — большей частью с двумя-тремя — ходил гулять на берег Москвы-реки и мы горячо обсуждали проблемы Французской революции. Но эти дискуссии мало продвинули нас вперед.

Человеку Запада трудно себе представить, как беспомощны мы были в наших дискуссиях! Ведь мы знали только официальные сообщения о процессах. Мы никогда не слышали ни одного слова возражения или критического замечания. У нас не было никаких газет, кроме «Правды», никаких книг, кроме тех, которые отвечали «линии» партии, у нас не было никакой возможности слушать на эту тему какие-либо комментарии по радио из-за границы. Мы не знали, что за границей все ведущие газеты занимались обсуждением этих процессов и массовых арестов, не знали, что по этому поводу было написано много книг, в которых развива-

лись различные теории по поводу процессов. В наших дискуссиях и мыслях мы были полностью предоставлены самим себе. Кроме того, даже в нашем узком кругу, мы не обо всем могли говорить открыто и применяли язык намеков, сравнений и примеров.

Мы все время старались найти чистке оправдание, чтобы сохранить наш идеал, нашу веру в Советский Союз, как в первую страну социализма. Может быть,—говорили мы себе, — существуют неизвестные нам причины, которые вызывают необходимость этих процессов и массовых арестов. Может быть, обвиняемые и не являются «субъективно» никакими шпионами, но «объективно» мешают построению социализма.

Не говорил ли сам Маркс о насилии, как о повивальной бабке истории. И разве не могло быть, что некоторые из арестованных действительно шпионы, но для этого не имеется еще достаточно данных и потому все наркоматы и службы должны быть подвергнуты чистке. Не идет ли в конце концов речь о защите первого социалистического государства в мире?

Некоторые из нас видели в происходящих событиях историческую необходимость. Возможно, что причины этих событий, нам неизвестные, были настолько важными, что они не могли быть объяснены сверху.

В это время я случайно получил хорошую книгу американского коммуниста Джона Рида — «Десять дней, которые потрясли мир». Джон Рид описывает революционные дни ноября 1917 года, которые он сам пережил в Петрограде. Я с удивлением заметил, что в этой книге Сталин вообще не упоминается, в то время, как все те, которых теперь судили и приговаривали, как «шпионов» и «агентов», описаны в книге ведущими людьми революции.

Тогда я еще раз сравнил газеты с сообщениями о процессах. Нет, это не может быть правдой! Невозможно представить, чтобы те самые коммунисты, руководившие Октябрьской революцией, с 1917 года стоявшие во главе партии и приведшие русских трудящихся к победе над белогвардейцами и иностранными интервентами, возглавлявшие социалистическое строительство — были бы, начиная с двадцатых годов, империалистическими агентами и иностранными шпионами.

Чем дольше длились аресты, тем все более критическими

становились мои мысли. Целыми вечерами я ломал себе голову над происходящими событиями и искал ответа.

Чистки привели меня к тому, что некоторые события я стал рассматривать более критически и они немного поколебали мою веру и слегка остудили мое рвение, но они еще не привели меня к внутреннему разрыву с советской системой. Это были лишь первые серьезные сомнения. Мой разрыв со сталинизмом произошел только через десять с лишним лет.

АРЕСТЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

В один прекрасный весенний день, в марте 1938 года, после обеда, мы — маленькая группка — так увлеклись разговором, что ушли последними из столовой. Когда мы шли через прихожую, вдруг открылась наружная дверь, вошли двое в штатском и начали медленно подниматься по ступенькам.

— Энкаведисты, — шепнул мне сосед. Но мне этого и не нужно было объяснять.

Как раз в это время в вестибюль вышел из класса наш педагог, австрийский шуцбундовец Карл Цехетнер вместе с одним учеником. Они заметили прибывших.

— Ну, Карл, берегись, сейчас они тебя заберут, — пошутил ученик.

— О таких вещах не шутят! Разве ты не знаешь, что советская власть не арестовывает невиновных. — Ответил Цехетнер, пытаясь придать твердость своему голосу.

Энкаведисты подошли к педагогу.

— Мы ищем Карла Цехетнера, — сказал один из них ледяным голосом по-русски.

— Это я, — еле слышно ответил он.

— Вы арестованы по приказу органов НКВД!

Карл Цехетнер ничего больше не сказал. Даже не обернувшись, он последовал за обоими к выходу. Затем мы услышали только шум мотора отъезжающей машины.

Случись это несколько месяцев назад, это вызвало бы большое волнение, поток дискуссий, разговоров и предположений. Теперь, в начале 1938 года, это событие было принято почти равнодушно. Мы не получили никакого объяснения от директора. Имя Цехетнера просто больше не упоми-

налось. Единственным следствием этого ареста было лишь то, что многие стали еще осторожнее, чем раньше.

Через несколько дней в спальне «старших» между двумя самыми старшими — им было более чем по 17 лет — возник острый спор.

— Слышали, арестован Р.! Это тот самый, кого мы часто видели в клубе иностранных рабочих, — сказал один из нас, только что вошедший в спальню.

Один из самых старших вскочил, пошел в класс и вернулся со своей записной книжечкой.

— Что ты там делаешь? — окликнул его 17-летний Рольф Гайслер. Он был сыном одного саксонского коммуниста из Пенига.

— А это ты сейчас увидишь, — ответил тот. Он взял свою ручку и тщательно зачеркнул в записной книжке фамилию и адрес арестованного Р., так что ничего нельзя было прочесть. Он пристально еще раз посмотрел на страницу и остался, видимо, недоволен. Он взял бритву и вырезал страницу.

— Надо быть осторожным, — сказал он, как будто извиняясь.

Рольф Гайслер презрительно рассмеялся.

— Ты — мелкий торгаш, жалкий трус. И ты смеешь еще называть себя коммунистом! Таких трусливых мещан, как ты, я просто презираю. Ты никогда не будешь борцом!

— Это не имеет ничего общего со страхом. Это непреложный закон осторожности и бдительности.

Между ними завязался горячий спор. В заключение «осторожный» крикнул моему другу Рольфу:

— Ты подожди, мы еще посмотрим, кто из нас двоих будет первым арестован — ты или я!

После этого несколько необычного разговора в спальне детского дома мы разошлись спать.

Ранним утром, около 4 часов, мы были разбужены громким стуком в дверь. Два человека в штатском вошли в нашу спальню, как к себе домой. За ними стояла с напуганным и потерянным лицом наша ночная дежурная сестра.

— Здесь находится Рольф Гайслер? — громко спросил один из вошедших.

— Да, я здесь, — спросонья ответил Рольф по-немецки, но когда он увидел двух пришедших — повторил по-русски.

— Вы арестованы по приказу органов НКВД, — услышал

я вторично стереотипную фразу, которая всегда говорилась при арестах.

— Где ваши вещи?

Рольф Гайслер показал на ночной столик, стоявший рядом с кроватью.

— Есть у вас оружие?

— Но, дорогие товарищи, здесь же . . . детский дом, — вмешалась ночная сестра.

— Вас не спрашиваем.

— Есть у вас оружие? — спросили Гайслера еще раз.

— Нет.

— Хорошо. Укладывайте ваши вещи! Но все, что у вас есть кладите на стол.

За это время мы совершенно проснулись. При последних словах нас охватил страх, так как накануне вечером мы выдумали себе забаву, ведь мы были еще полудетьми; один из нас, хорошо чертивший, изготовил из линолеума штемпель с фантастическими почтовыми и денежными знаками. С помощью этого штемпеля была отпечатана дюжина марок и денег для игры.

В этот момент Рольф Гайслер выложил их на стол. Каждый из нас думал одно и то же: энкаведисты никогда не поверят, что все это сделано просто для игры. Они повернут это дело как раскрытие «тайной организации».

Именно так и случилось. Как только Рольф выложил на стол штемпель и марки для игры, оба энкаведиста обменялись многозначительными взглядами.

Тем временем Рольф Гайслер оделся и уложил в чемоданчик кое-что из своего белья.

— Прежде, чем идти, потрудитесь написать свою фамилию на каждом листке бумаги.

Один за другим подписал Гайслер все свои письма, школьные тетради, записные книжки и рисунки. Очередь была за маленькими игральными марками-фишками.

Один из нас попытался объяснить:

— Товарищи, это . . .

— Мы вас не спрашиваем. Замолчите!

Через несколько минут процедура закончилась.

Рольфа Гайслера забрали. Мы снова услышали стук выходной двери, шум мотора. Мы больше никогда ничего не слышали о Рольфе Гайслере.

В то время, как в детском доме происходили аресты,

страну снова лихорадили большие процессы. Теперь это был процесс так называемого «право-троцкистского блока». Как число обвиняемых, так и тяжесть приписываемых им преступлений превосходили все, что было в предыдущих процессах.

Главными обвиняемыми были: известный партийный теоретик Николай Бухарин, член Центрального Комитета и Политбюро с 1917 года, главный редактор «Правды» и многолетний член Исполнительного Комитета Коминтерна, и старый большевик Рыков, народный комиссар внутренних дел в первом советском правительстве 1917 года и председатель Совнаркома СССР после смерти Ленина. По мере восхождения Сталина к власти Рыкова все время оттесняли на задний план и, наконец, деградировали до наркома связи. Но и с этого поста он был снят 27 сентября 1936 года без всяких объяснений, после чего о нем ничего не было слышно.

Особенным парадоксом было то, что на скамье подсудимых сидел бывший глава НКВД Ягода, который раньше сам инсценировал подобные процессы. Он был смещен со своего важного поста наркома внутренних дел еще осенью 1936 года и назначен наркомом связи после Рыкова. Этот пост вообще считался в то время первой ступенью к аресту. В апреле 1937 года было сообщено о его снятии со злополучного наркомата, а когда в середине мая появилась маленькая заметка, что имя Ягоды снято с железнодорожного моста между Волочаевском и Комсомольском, каждому пионеру стало ясно, что многолетний глава НКВД и генеральный комиссар государственной безопасности арестован. Теперь, в марте 1938 года он оказался в роли обвиняемого.

Кроме того на скамье подсудимых сидели три бывших народных комиссара и три наиболее известных медицинских светила. В числе них — профессор Плетнев, тот самый, которого в июне 1936 года обвинили в изнасиловании одной советской гражданки и в том, что он прокусил ей грудь. Однако на этом процессе это дело не упоминалось. Теперь Плетнев обвинялся в том, что он в сообщничестве с профессорами Левиным и Казаковым убил, по распоряжению Ягоды, писателя Максима Горького, бывшего главу НКВД Менжинского и члена Политбюро Куйбышева.

Остальные обвинения также далеко выходили за рамки предыдущих процессов. Подсудимые обвинялись в организа-

ции заговора против Ленина, еще в 1918 году, и в шпионской деятельности в пользу иностранных разведок с начала двадцатых годов. Они будто бы вели переговоры с фашистской Германией об отделении Украины от СССР, а с Японией об уступке ей дальневосточных областей. Кроме того, их целью было отдать Польшу Белоруссии, среднеазиатские республики — Великобритании, а Грузию, Армению и Азербайджан тоже отделить от СССР, так как обвиняемые стремились к расчленению Советского Союза и восстановлению господства помещиков и капиталистов.

Но, видимо, и этих обвинений было недостаточно. Обвиняемым приписывалась еще подготовка заговора с целью подрыва советской оборонной промышленности и организации столкновений военных транспортов на железных дорогах.

Долголетний советский нарком сельского хозяйства Чернов занимался будто бы вредительством в области коневодства, что вызвало падеж 25 000 лошадей. Он, кроме того, давал распоряжения о прививке свиньям рожи и чумы, задерживал поставку яиц в Москву и рекомендовал бросать стекло и гвозди в запасы масла.

Старым большевикам и соратникам Ленина бросалось обвинение не только в сотрудничестве с Гестапо и японской разведкой, но также и в работе с другими иностранными разведками. Так, например, советскому наркому внутренних дел и генеральному комиссару государственной безопасности инкриминировалось одновременно сотрудничество с немецкой, японской и польской разведками; нарком внешней торговли Розенгольц будто бы сотрудничал с 1923 года с германским генеральным штабом, с 1926 года с Интеллидженс сёрвис; бывший глава советского украинского правительства Раковский — с 1924 года сотрудничал с английской разведкой, с 1934 года — с японской. А советский нарком финансов Гринько с 1932 года одновременно работал в пользу немецкой и польской разведок.

Соответственно этим «обвинениям» советская печать позорила подсудимых сильнее, чем когда-либо. Вышинский называл подсудимых не только, как обычно, «бандой шпионов и преступников», а еще и «проклятыми гадами» и «зловонными кучами человеческого дерьма». Главного обвиняемого — Бухарина, которого Ленин однажды назвал «любимцем партии», Вышинский обзывал «проклятой помесью лисы и

свиньи». В своей заключительной речи Вышинский требовал, чтобы подсудимые были расстреляны как «бешеные собаки».

Последовали обычные массовые собрания, на которых требовалось «выразить свое мнение» по поводу процесса.

С каждым днем росло число резолюций, в которых требовалась немедленная смертная казнь. В газетах печатались фотографии собраний, на которых было видно, что в знак согласия все подымают руки.

15 марта 1938 года был объявлен приговор: бывшие руководители партии и государства — Бухарин, Рыков, Ягода, Крестинский, Розенгольц, Чернов, Гринько, а также два врача — Левин и Казаков и несколько других подсудимых осуждены на расстрел, а бывший глава украинского правительства Раковский и профессор Плетнев — на 20 лет тюремного заключения.

На следующий день два часа обычных занятий в нашей школе были отменены. Мы должны были «прорабатывать» процесс и приговор. Наша учительница сделала введение в дискуссию, в котором она, конечно, твердо придерживалась сообщений о процессе и появившейся в связи с ним передовой «Правды». В заключение она предложила нам — как это всюду делалось в эти дни — «выразить свое мнение». Результат, разумеется, известен заранее. Один за другим несколько учеников выразили свое отвращение к преступникам и изменникам, с точным соблюдением официальной терминологии. Затем они выразили благодарность органам безопасности и Верховному Суду за то, что они освободили советский народ от этой накипи.

— Кто-нибудь хочет высказаться? — спросила учительница.

— Да, — раздался из задних рядов голос одного из учеников. — Я хотел бы добавить, что я не совсем согласен с приговором.

На мгновение класс застыл от ужаса. Все обернулись, чтобы взглянуть на говорившего. Всем казалось, что его судьба решена.

Что он — сумасшедший? — думали многие из нас.

Особенно заволновалась, разумеется, учительница. Ведь она была ответственна за всё, что происходило в этот час. Она уже хотела, было, помешать ученику говорить дальше, но неожиданно передумала. Возможно, что она вдруг поня-

ла, что ее могут заподозрить в «замазывании» дела и в связи с этим обвинить в «оказании объективной помощи врагу народа».

Ученик продолжал.

— Я внимательно, от начала до конца, следил за процессом, и нахожу правильным, что эти враги народа, вредители и шпионы приговорены к расстрелу, но, честно говоря, мне совершенно непонятно — почему трое обвиняемых не присуждены к смертной казни, а получили всего по 15—20 лет тюрьмы. Надо было бы расстрелять также Плетнева, Раковского и Бессонова.

Говоривший был вполне интеллигентным учеником и принадлежал к лучшим в классе. Он говорил с чувством внутренней убежденности — он верил процессам!

Учительница облегченно вздохнула. Правда, то, что он высказал — было отклонением, но отклонением сравнительно безопасным. Она еще раз подвела итог дискуссии и сделала замечание слишком ревностному ученику:

— Товарищ Вышинский четко указал, что не все преступники несут одинаковую ответственность, и наказание должно определяться индивидуально. Кроме того, нам не к лицу критиковать решение Верховного Суда СССР, который вынес приговор после зрелого размышления. И можно твердо сказать: то обстоятельство, что между главными виновниками и менее виновными сделано различие, служит новым примером справедливости нашего советского правосудия.

МЫ ПОТРЯСЕНЫ ПАКТОМ ГИТЛЕР—СТАЛИН

С окончанием процесса «право-троцкистского блока» — самого большого и последнего из трех процессов в годы чистки с 1936 по 1938 год, — аресты, однако, не прекратились. Осенью 1938 года на протяжении нескольких недель прокатилась особенно широкая волна арестов. Но в конце 1938 года в «Правде» появилось коротенькое сообщение, что Ежов освобожден от обязанностей наркома внутренних дел и на его место назначен Берия.

Страшная кампания уничтожения закончилась. Почти не было ни одного учреждения, в котором по одному или по несколько раз не арестовывали бы всех руководителей. Мил-

лионы людей, в том числе сотни тысяч специалистов, получивших образование благодаря своему трудолюбию, находились теперь в лагерях Сибири, Казахстана или Дальнего Востока.

В особенности велико было число жертв среди старых большевиков и бойцов гражданской войны. Почти все прежние соратники Ленина были арестованы.

Из 7 членов ленинского Политбюро Томский еще в начале чистки (в конце 1936 года). покончил самоубийством в тюрьме НКВД. Зиновьев, Каменев и Рыков были расстреляны во время чисток. Троцкий вскоре (летом 1940 года) был убит в Мексике агентом НКВД.

Бухарин и Пятаков, которых Ленин в своем завещании, написанном 25 декабря 1922 года, называл, «наиболее способными головами среди молодого поколения», были расстреляны НКВД.

Из 21 члена ЦК коммунистической партии 1917 года исчезло во время чисток 16 членов. Часть из них была расстреляна. Трое умерли естественной смертью и только двое остались в живых — Сталин и Александра Коллонтай.

7 ноября 1937 года, когда чистка достигла своего апогея, — праздновалась 20-ая годовщина победоносной Октябрьской революции и образования первого советского правительства. Из 15 членов этого первого советского правительства 9 народных комиссаров были уже арестованы НКВД; Троцкий в это время находился за границей в изгнании; четверо умерло до чистки. И только один член первого советского правительства с ноября 1917 года пережил чистку: это был Сталин.

Не менее велики были потери в верховном командовании Красной армии. Из пяти маршалов Советского Союза трое пали жертвами чистки: Тухачевский, Блюхер и Егоров. Такая же судьба постигла известнейших советских генералов.

Начальник Главного политического управления Красной армии и заместитель наркома обороны Гамарник покончил жизнь самоубийством.

Но чистки никак не ограничивались одной верхушкой. Опустошения в отдельных союзных республиках, в местных государственных и партийных органах, в особенности в рядах партии, были еще более значительными. За очень малым исключением старые большевики, и в том числе все те, кто

в своей молодости боролись с царским режимом и уже тогда пережили ссылки, находились теперь снова в тюрьмах или лагерях.

Это была наиболее жестокая кампания уничтожения, которая когда-либо в каком-либо государстве имела место.

Разгром этот особенно коснулся проживавших в Советском Союзе иностранных коммунистов. За немногие месяцы в аппарате Коминтерна было арестовано больше деятелей, чем их было арестовано за 20 лет всеми буржуазными правительствами вместе. Перечисление одних фамилий заняло бы целые страницы.

Поэтому мы упоминаем только некоторых членов ЦК германской коммунистической партии, которые стали жертвами чисток: Август Крейцбург, Герман Шуберт, Гуго Эберлейн, Герман Реммеле, Вилли Леов и Ганс Киппенбергер. Подобную же судьбу испытали: Вернер Гирш, бывший главный редактор газеты «Красное знамя» („Rote Fahne"), Вилли Коска, генеральный секретарь Красной помощи Германии (Rote Hilfe Deutschlands) и Курт Зауерланд, главный редактор журнала «Красное строительство» („Roter Aufbau") и, вместе с ними, сотни немецких коммунистов, которые думали, что они нашли убежище в Советском Союзе.

На рубеже 1938-39 года кровавая чистка прекратилась так же внезапно, как и началась.

Сегодня я нахожу удивительным, как быстро люди в Москве, в том числе и я, могли стереть в памяти воспоминание об этом ужасе. Мы, действительно, слишком много пережили за все эти страшные месяцы. Наши чувства, вероятно, притупились.

Через несколько недель после снятия Ежова об арестах говорили только в редких случаях.

Слухи и «рецепты» исчезли сейчас так же быстро, как они и появились два года тому назад.

Только случайно в разговорах всплывали краткие воспоминания о «ежовщине», — как в Москве именовали эти годы чисток. Порой казалось, что разговор идет о событиях, которые принадлежат уже истории и происходили сто лет тому назад.

Лето 1939 года мы проводили в Ейске на Азовском море, как гости Военного училища. Ейск был городом военных. Штатских почти не было видно. Мы повсюду встречали лю-

дей в военной форме, у которых на шапках стояли буквы «В.М.А.У. имени Сталина». Таинственное сокращение означало «Военно-Морское Авиационное Училище». Это было необычайно большое училище и поэтому казалось будто весь город состоит лишь из курсантов и военных летчиков ВМАУ.

Нас разместили в хорошем здании на окраине города. Оно находилось не около берега моря, но ВМАУ предоставило нам автобус, ежедневно возивший нас к морю и обратно.

После страшных лет чистки этот отпуск казался нам особенно чудесным. Мы, наконец, действительно отдыхали, хотя и не были совсем освобождены от наших обычных занятий.

За время каникул мы готовились к вступлению в комсомол. Каждый второй день после обеда мы собирались вместе на занятия с нашим политическим руководителем Игорем Сперанским. Нетрудно отгадать, чем мы занимались — Историей ВКП(б). Книга появилась осенью 1938 года и я уже, разумеется, внимательно прочел ее. Теперь, во время каникул, проходила вторая «проработка». (Позже мне пришлось еще три раза ее прорабатывать).

В середине августа мы были приглашены на праздник во Дворец культуры ВМАУ. Доклад о международном положении, как обычно, был заостренно направлен против фашизма и фашистской Германии. В конце докладчик добавил:

— Товарищи! В этом зале находятся наши заграничные гости, дети немецких и австрийских антифашистов, которые сражались против ужасной гитлеровской диктатуры!

Мы сделались центром внимания. С этого момента мы стали известными на весь Ейск. Это были чудесные времена. Наши хозяева нас часто навещали и спрашивали — всем ли мы довольны?

За нами ухаживали, как в первые годы нашего пребывания в детском доме.

Через три дня Игоря Сперанского, нашего политического руководителя, вызвали днем в город.

— Поезжайте спокойно купаться, меня сейчас вызвали в город. Я вернусь только к вечеру.

— А что случилось?

— Понятия не имею, но вряд ли что-нибудь важное.

Веселые и радостные мы отправились купаться и уже с полчаса как были дома, когда неожиданно вернулся наш политруководитель и взволнованный бросился к нам:

— Крайне важное известие! — воскликнул он запыхавшись, — я получил в Ейске оттиск газеты, выходящей завтра.

— Что случилось?

— Мы заключили с Германией пакт о ненападении.

Все уставились на него с открытыми ртами.

Мы могли ждать чего угодно, только не этого. Мы ведь внимательно следили за прессой и были убеждены, что несмотря на все трудности переговоров скоро будет заключен договор о союзе с Англией и Францией против фашистского агрессора.

Политруководитель Игорь прочел официальным торжественным голосом содержание пакта между Советским Союзом и фашистской Германией. После первых фраз мы еще думали, что дело идет лишь об обязательствах взаимного ненападения. Но Игорь читал дальше статьи договора. Растерянно прислушивались мы к его словам:

«Правительства обеих договаривающихся сторон будут и в дальнейшем находиться в связи и консультировать друг друга с целью взаимной информации по вопросам, касающимся их взаимных интересов.

Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-либо группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны».

Это был не только пакт о ненападении, но полная перемена всей советской внешней политики! Взаимная информация по поводу «общих интересов» с гитлеровским правительством? Никакого участия в каких-либо группировках держав, которые направлены против Гитлера? Это могло означать лишь одно: окончательный отказ от всех форм борьбы против фашистской агрессии!

Мы сидели растерянные и молчаливые. Мы были поражены, как громом.

Молчание прервал самый молодой из нас — Эгон Дирнбахер.

— О, как жалко, теперь мы, несомненно, не увидим фильм Чаплина «Диктатор».

Маленький Эгон правильно оценил положение. Заключение пакта, как мы убедились в ближайшие дни, тотчас же отразилось на внутриполитической обстановке.

Мы не могли дискутировать, ибо никто, в том числе и наш политический руководитель, не знал, чем объяснить заключение пакта.

— Несомненно завтра в печати появятся обстоятельные комментарии, — успокаивал он нас, — завтра я поеду в райком партии и тогда смогу узнать обо всем более обстоятельно, а вечером мы сможем провести детальную дискуссию.

Но для такой дискуссии времени уже не оказалось.

«НАШ ДЕТСКИЙ ДОМ РАСПУЩЕН!»

На следующее утро, в первый день после заключения пакта, наш политруководитель разбудил нас совсем рано:

— Только что получена телеграмма из Москвы. Мы должны немедленно возвращаться.

— Уже сегодня?

— Да. Я узнал уже, что через два часа мы можем выехать через Ростов в Москву.

В московском поезде нас одолевали мрачные мысли. Что означает этот внезапный отъезд? Как сложится наша жизнь после заключения пакта с фашистской Германией?

Мы напряженно ждали приезда в Москву, чтобы узнать что-либо определенное.

Нам не пришлось долго ждать.

На вокзале нас встретила группа воспитанников дома. Они проводили отпуск в других местах и успели вернуться раньше.

— Наш дом распущен! — это было первое, что мы от них услышали.

Едва ли какое бы то ни было другое известие могло меня так потрясти. Детский дом — он был для нас всем: нашим жилищем, нашей жизнью, нашим защитником, нашим другом. И теперь нас лишили всего. Мы неожиданно очутились в пустоте, и едва ли могли себе представить нашу дальнейшую жизнь.

— Что будет со всеми нами?

— Мы тоже еще этого не знаем. Сегодня после обеда все должно решиться.

С тяжелым сердцем ехали мы с вокзала в наш дом в Калашном переулке №12. Там все выглядело, как после побоища: упаковщики мебели, маляры, жестяники бегали по дому, упаковывали, ремонтировали. Все наши вещи были сложены в зале. Некоторые из нас уложили уже свои вещи и стояли готовые к отъезду, не зная куда. Другие беспомощно

и грустно бродили по дому, который много лет был *нашим* домом.

Какие-то заседания были уже проведены, но казалось никто не знал, что с нами теперь будет. На наши вопросы педагоги лишь беспомощно пожимали плечами:

— Мы знаем так же мало, как и вы. Директор ведет переговоры.

Когда директор откуда-то вернулся, последовал приказ: всем собраться в большом зале. Сейчас откроется собрание!

В сравнении с другими собраниями, проходившими в этом зале, нынешнее никак нельзя было назвать торжественным. Мы сидели на мешках и ящиках или стояли, прислонившись к стене.

Как обычно, началось с политического введения.

Наш директор объяснял нам заключение пакта. При этом он подчеркнул, что западные державы отказались вести переговоры на основах равенства. Они хотели так использовать Советский Союз, чтобы он воевал в интересах западных империалистов. Великий Сталин разгадал, однако, эту игру. Благодаря немедленному заключению пакта с Германией созданы условия, при которых Советский Союз может и дальше жить в мире и продолжать свое строительство.

После этого вступления директор начал говорить о нашем доме:

— В связи с новой внешнеполитической обстановкой будет и у нас проведена известная реорганизация.

Под формулировкой «известная реорганизация» надо было понимать роспуск нашего дома.

Директор знакомил нас с новой генеральной линией коротко, холодно и бессердечно. Он уже не старался психологически облегчить нам переход на новое положение. У меня невольно создалось впечатление, что мы «списаны со счетов».

— Все воспитанники дома, еще не окончившие 7-го класса, будут направлены сегодня днем в русский детский дом «Спартак». Старшие могут пойти на предприятия, которые и позаботятся тогда о жилище. Желающие окончить десятилетку будут вместе с младшими переданы в русский детский дом и должны будут подчиняться тем же порядкам, которым подчиняются воспитанники русского дома.

За полчаса все было решено. Еще в тот же день 40 воспитанников было отправлено в детский дом «Спартак». Вне-

шне различие между двумя домами казалось не столь большим. Здание было немного меньше, но во всяком случае вполне хорошее.

С робостью и неохотой вступили мы в новый дом. Тут же при входе нам приказали:

— Всем тотчас собраться в зал! — Это звучало не очень приветливо.

Подавленные, стояли мы в зале, когда туда вошел высокий, суровый, темноволосый человек:

— Построиться в одну шеренгу! — строго скомандовал он. Такой тон не был обычен для нашего прежнего дома.

Внутренне протестуя, мы исполнили приказание.

Как удары дубинкой сыпались на нас его распоряжения:

— Никто не имеет права уходить из дома без разрешения педагога!

— Школьные задания будут проводиться под наблюдением педагогов! Все должны подчиняться установленному порядку этого дома. Старшие тоже не должны рассчитывать на особое положение. Курить строжайшим образом воспрещается, даже вне дома и во дворе! Каждый, кто курит, должен сейчас же в этом признаться и сдать свои папиросы. Кто этого не сделает, понесет строгое наказание.

Нам было уже по 17, 18 и даже 19 лет, и у некоторых, в том числе и у меня, в кармане находились «Дукат» или «Казбек». В нашем прежнем доме никогда не запрещали старшим курить.

— Я еще раз требую от вас добровольно сдать папиросы. Повторяю, кто этого не сделает, будет строго наказан, — воскликнул угрожающе директор.

Кто-то из нас сдал первый. Против своей воли один за другим мы последовали его примеру.

Затем нам показали спальную.

Мы с ужасом смотрели на простые железные кровати тесно прижавшиеся друг к другу. Никакого сравнения с нашим старым домом!

«Сюда, конечно, не приведут иностранных делегаций» — насмешливо подумал я.

Вечером мы ужинали. Незачем говорить, что это был плохой ужин.

Но меня не столько угнетало изменение материальных условий, как стеснение моей индивидуальной свободы: необходимость строго подчиняться правилам, требующим, на-

пример, получения разрешения на каждую небольшую прогулку.

Некоторые из наших младших готовы были плакать.

— Здесь нехорошо. Все совсем другое, не сравнить с нашим домом!

— Я никогда не думал, что разница между нашим и русским детским домом так велика.

Подошла последняя неделя августа 1939 года.

Детский дом №6, приют для детей австрийских шуцбундовцев и немецких эмигрантов просуществовал 5 лет. Я провел в нем 3 года. В течение всего этого времени мы знакомились с Советским Союзом, но знакомились с позиций молодых людей, которые жили в привилегированном доме, не знали никаких материальных забот и вели жизнь, стандарт которой был значительно выше среднего уровня жизни советских граждан. Правда, мы вместе с ними пережили страшные годы чистки, но даже чистка не коснулась нас в той мере, в какой коснулась она людей, работавших в других учреждениях и организациях.

Теперь внезапно всем привилегиям наступил конец. Заключение пакта о ненападении с фашистской Германией и роспуск нашего дома превратили нас за одну ночь в обыкновенных молодых людей Советского Союза. А всего прошло только две недели с тех пор, как мы пользовались особым автобусом Военного училища для поездок к морю и были предметом особого внимания сотен офицеров на торжественном собрании.

Может быть, этот эпизод поможет западному читателю понять, почему в Советском Союзе, — и в этой книге, — политические события занимают такое большое место, а личные переживания отступают часто на задний план. Как могло бы быть иначе в стране, где политические события так непосредственно вторгаются в личную жизнь каждого? Я пережил начало огромной волны арестов, когда мне было 14 лет. Она меня оторвала от матери. В 15 лет я пережил аресты наших учителей и педагогов, показательные процессы и дикие обвинения против лиц, которые еще незадолго перед этим ставились нам в пример. Когда мне исполнилось 16 лет, я был свидетелем ареста в нашей спальне одного из воспитанников детского дома. И вот теперь на восемнадцатом году жизни я понял, что судьба нашего детского дома зависела от внешнеполитического договора с другой великой державой.

ГЛАВА II

Я СТАНОВЛЮСЬ СОВЕТСКИМ СТУДЕНТОМ

— Если в течение пяти дней вы сумеете поступить в какое-нибудь учебное заведение или на работу и найдете квартиру, мы не будем препятствовать вашему уходу из детдома. В противном случае вы останетесь здесь и будете подчиняться общему распорядку, — сказал мне строгим тоном заведующий «Спартака».

Мое решение было принято: я ни за что не хотел оставаться в этом мрачном русском детдоме «Спартак». Я стремился вырваться из него, как из смирительной рубашки. Итак, я бросился на поиски учебного заведения, которое принимало бы окончивших девятый класс и обеспечивало стипендией и квартирой.

МЕНЯ СПАСАЕТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС

— К сожалению, мы больше никого не принимаем. Курс укомплектован, и мы уже в августе отказывали кандидатам, — ответили мне в Московском учительском институте, помещавшемся в старом здании около станции метро «Кировская».

Я показал мою «Похвальную грамоту» отличника.

— Может быть нам удастся сделать для вас исключение. Придите послезавтра.

Послезавтра — был последний день срока, назначенного мне заведующим.

На обратном пути из учительского института я зашел в наш бывший детдом в Калашном переулке. Теперь там жили русские дети. Но нас не смогли всех быстро рас-

сортировать, поэтому оставшимся австрийским и немецким детям были отведены две комнаты. Мне сказали, что я тоже могу там на время поселиться, если институт не предоставить мне сразу же места в общежитии.

Наконец, наступил пятый день моей отсрочки. С натянутыми нервами я вошел в здание учительского института.

— Мы совещались относительно вас. Мы вас все же примем.

Обрадованный, чувствуя себя уже студентом института и избавленным от общежития «Спартака», я собирался высказать горячую благодарность. Но моя радость оказалась преждевременной.

— Вам придется подождать по крайней мере неделю, прежде чем будут окончены все формальности и вы сможете получить от нас официальную справку о вашем принятии.

Еще неделю! Так долго я не мог ждать. Заведующий ни за что с этим не согласится. Я должен иметь что-нибудь в руках. Справку! Сейчас же. В этом мое единственное спасение.

— Может быть вы хотите на подготовительный курс? Тогда, конечно, мы примем вас сразу же, но вы потеряете целый год. В тот момент мне было все равно. Главное — выбраться из русского детдома!

Я даже не знал толком, что это за подготовительный курс, но слова «примем вас сразу же» решили все.

Через несколько минут я получил долгожданную справку: «Настоящим подтверждается, что тов. В. Леонгард зачислен курсантом подготовительного курса Московского учительского института иностранных языков».

С сияющим лицом я покинул институт и через полчаса был уже в детдоме. Вскоре я предстал перед заведующим. Он попытался изобразить на лице любезность и даже поздравил меня.

Затем я распрощался с немецкими и австрийскими друзьями из бывшего детдома номер 6, с которыми провел годы моего детства и которые оставались теперь в «Спартаке». Они, как и заведующий, пожелали мне всего наилучшего, но в их словах было куда больше теплоты и искренности.

Так началась в сентябре 1939 года моя жизнь студента подготовительного курса Московского учительского института иностранных языков.

Одногодичные подготовительные курсы были в то время очень распространены в Советском Союзе. Целью их было подготовить кандидатов для вузов и познакомить будущих студентов с рядом специальных предметов, еще до поступления в эти вузы. По окончании года надо было сдавать экзамены, которые являлись одновременно вступительными экзаменами в вуз. Так как я был теперь курсантом подготовительного курса, можно было надеяться, что через год, т. е. в сентябре 1940 года, я буду принят в Московский учительский институт иностранных языков — МУИИЯ.

Занятия велись не в институте, а в помещении одной из школ в центре Москвы в послеобеденные и вечерние часы. Хотя мы и были уже почти студентами, занятия подготовительного курса напоминали школьные. Как и в школе, занятия проходили по определенной программе, с классными работами и домашними заданиями. Мы получали отметки и сдавали массу экзаменов, как это принято во всех советских школах. Более половины учебного времени посвящалось изучению английского языка. Второстепенными, но также обязательными предметами были: русский язык, русская литература и история. Я был рад, что отделался, наконец, от математики, физики, химии и черчения и мог заняться только интересующими меня предметами.

На подготовительном курсе мы подвигались систематически, но очень медленно. Первые три-четыре месяца мы занимались исключительно фонетикой, ибо правильному выговору придавалось большое значение. Все диктовки писались международными транскрипционными знаками. Много времени уделялось выговору фонетических знаков, мы упражнялись перед зеркалом и должны были точно представлять себе положение языка по отношению к нёбу. Только во втором полугодии мы перешли к изучению английского алфавита и правописания.

По западноевропейским понятиям подобный учебный метод может показаться слишком скучным, но он обладал тем неоценимым преимуществом, что при переходе к первым английским текстам курсанты имели уже исключительно хороший выговор. Это было единственным способом преподавания иностранного языка в стране, где почти невозможно было услышать английские радиопередачи, увидеть английские или американские фильмы, где английские или

американские книги были малодоступны и где, конечно, было совершенно невозможно встретиться с английскими или американскими туристами. Одним словом, метод преподавания был продиктован советской действительностью.

Меня особенно интересовал курс истории, который после заключения пакта о ненападении с Германией, подвергся значительным изменениям. Еще год тому назад победа Александра Невского над немецким рыцарским орденом в битве на Чудском озере в апреле 1242 года считалась важнейшим событием русской истории. Теперь же, после заключения пакта с Германией, эта битва упоминалась лишь мимоходом. Зато делался упор на историческое значение внешней политики Петра Великого, способствовавшего созданию прусского государства в 1701 году и заложившего тем самым фундамент тесного сотрудничества между Пруссией-Германией и Россией, который сегодня опять... Далее следовало уже известное описание исторического значения пакта между Советским Союзом и Германией.

После заключения пакта нельзя было не заметить перемен и в других областях. Так в библиотеке иностранной литературы вместо эмигрантских газет стали появляться нацистские газеты. Многие антифашистские романы, написанные немецкими эмигрантами, исчезли с полок. Слово «фашизм» вообще перестало теперь упоминаться в советской печати. Как будто никогда никакого фашизма и не было.

Внутриполитические перемены наступили сразу же по заключении пакта. Уже вечером 23 августа 1939 года с экранов всех советских кинотеатров были сняты известные тогда антифашистские советские фильмы «Профессор Мамлок» (по пьесе Фридриха Вольфа) и «Семья Оппенгейм» (по роману Лиона Фейхтвангера). В тот же вечер были сняты со сцены пьесы антифашистского содержания, в том числе и пьеса «Матросы из Катарро», хотя в ней речь шла о матросском восстании в 1918 году, направленном против австро-венгерской монархии.

Театральные цензоры исходили, очевидно, из принципа, что излишняя осторожность помешать не может.

Когда 1 сентября гитлеровское нападение на Польшу открыло дорогу Второй мировой войне, официальная установка гласила, что обе стороны ведут империалистическую войну и что Советскому Союзу, благодаря его гениальной

внешней политике, удалось сохранить нейтралитет. Через несколько дней рассказывали уже первый просоветский анекдот:

— Ты слышал о новом подъеме нашей авиационной продукции?

— Нет. Как так?

— Вчера в воздушных боях над Западной Европой было сбито 12 немецких и 8 английских самолетов.

— Какое же это имеет отношение к нашей авиационной продукции?

— А то, что у нас стало на 20 самолетов больше.

17 сентября 1939 года, когда Польша была уже почти полностью сломлена гитлеровскими войсками, было объявлено о вступлении советских войск в Польшу.

Повсюду, — конечно, и в нашем институте, — состоялись в этот день массовые митинги, на которых «разъяснялось» это мероприятие советского правительства. «Для защиты жизни и собственности братских народов Западной Украины и Западной Белоруссии», — гласила официальная мотивировка причины вступления советских войск в Польшу. А ведь еще несколько недель тому назад Советский Союз заявлял, что готов защищать Польшу от гитлеровского нападения.

Польский поход закончился быстро. 28 сентября было объявлено, что кроме пакта о ненападении с Германией заключен договор о дружбе и соглашение о новой границе на бывшей польской территории.

После заключения договора о дружбе официальная партийная линия в отношении «империалистической войны, ведущейся обеими сторонами», осталась неизменной.

Но мы уже давно научились подмечать малейшие изменения в газетах и по радио и не могли поэтому не заметить, что немецкая сводка военных действий давалась на первом месте, а соответствующие комментарии из Англии и Франции — на втором. Выдержкам из речей Гитлера отводилось в «Правде» больше места, чем выдержкам из речей Черчилля. Из этого нетрудно было заключить, что тенденция официальной пропаганды склонялась больше на сторону фашистской Германии, чем на сторону западных держав.

ВСТУПЛЕНИЕ В КОМСОМОЛ

Последние внешнеполитические события усилили мои сомнения в отношении многих явлений советской жизни, но они все же не потрясли моих принципиальных позиций. Поэтому не было никакого противоречия в том, что как раз в это время я решил вступить в комсомол. Я совершенно искренне хотел стать примерным комсомольцем. Уже раньше я много читал о комсомольцах, об их героических подвигах во время революции и гражданской войны, в годы первой пятилетки. Особенное впечатление на меня произвела книга Николая Островского «Как закалялась сталь», тот самый комсомольский роман, который так влиял на советскую молодежь, по которому молодежь равнялась в минуту сомнений, из которого она черпала уверенность, силу и энергию.

Вскоре комсомол должен был праздновать 21 год своего существования. 29 ноября 1918 года «Первый всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи» принял резолюцию о своей солидарности с коммунистической партией и постановил создать «Российский коммунистический союз молодежи». Сокращенное наименование — «комсомол» быстро привилось среди молодежи.

Годы гражданской войны были героическими временами комсомола и, одновременно, периодом его бурного роста. Число членов возросло с 22 000 при его основании в ноябре 1918 года до 400 000 к началу 1920 года. В те времена комсомол не был политически едино-направленной организацией, все члены которой обязаны были бы придерживаться утверждаемой сверху «линии». В те времена он был живым революционным союзом молодежи, в котором существовали различные оппозиционные течения.

Так, например, в 1920-21 годах возникла оппозиция в комсомоле Украины, стремящаяся основать собственный независимый украинский союз молодежи. Это течение опиралось на так называемых «боротьбистов» — сильную правую группировку в большевистской партии Украины. Боротьбисты стояли за независимый от Москвы особый социалистический путь развития Украины.

Еще интереснее было течение так называемых «молодых синдикалистов» в комсомоле, опиравшихся на «рабочую оппозицию» Шляпникова. Эта оппозиция восставала против

усиливающейся централизации народного хозяйства и государственного аппарата, против руководства социализированных предприятий назначенными государством директорами. Она требовала рабочего самоуправления. Управление социалистических предприятий она хотела передать рабочим советам, деятельность которых должна была контролироваться производственными советами. Эта концепция во многом походила на систему рабочих советов, введенных четверть века спустя в Югославии, после ее разрыва с Москвой.

Конечно, в 1939 году, когда я вступил в комсомол. эти оппозиционные течения и споры считались «опасными уклонами», разгромленными в свое время комсомолом. Сегодня они вообще не упоминаются.

После смерти Ленина, в январе 1924 года, организация продолжала быстро расти (в октябре 1924 года число членов доходило до 700 000 человек, а в мае 1928 достигло двух миллионов), но одновременно она теряла свой революционный порыв. Самостоятельные побуждения, течения и взгляды пресекались «сверху». Зависимость от партии усиливалась, особенно после того, как Сталин заявил, что «комсомол — инструмент партии, орудие партии».

Когда в 1928 году началась первая пятилетка, казалось, что комсомол способен еще на мощный подъем. Комсомольцы, как и в гражданскую войну, являли образцы рвения, энергии и мужества. Десятки тысяч комсомольцев участвовали в строительстве гигантских индустриальных центров на Днепре, на Урале и в Сибири. На Дальнем Востоке вырос целый город, построенный комсомольцами и названный в их честь Комсомольском.

В середине тридцатых годов — комсомол насчитывал тогда около четырех миллионов членов — наступил, как и во многих других областях жизни, переломный момент.

Программа, отражавшая по форме и содержанию революционные ленинские времена, была изменена. Идеи революции, интернационализма и борьбы за угнетенных всех стран были оттеснены на задний план. Их место заняли понятия «советского патриотизма», «сознательности» и «бдительности».

Социальное происхождение потеряло свое былое значение при приеме в комсомол. Решающим фактором стала лояльность по отношению к системе. Воспитательные задачи комсомола были усилены: политучеба, спорт и военное де-

ло, помимо этого — литературные кружки, музыкальные выступления и танцевальные вечера. Однако новый лозунг о «счастливой жизни советской молодежи» продержался недолго. Вскоре начались большие чистки 1936-38 годов, которые произвели опустошения и в комсомоле.

Даже долголетний генеральный секретарь комсомола Косарев не был пощажен. Александр Косарев — тогда ему было 35 лет — вступил в комсомол сразу же после его основания в 1918 году. В 16 лет он принимал участие в обороне Петрограда и провел затем всю гражданскую войну на фронтах. По возвращении он был сначала избран секретарем Бауманского райкома комсомола в Москве. В 1926 году он стал секретарем московского комитета ВЛКСМ, а с марта 1929 года возглавил комсомол в качестве первого секретаря ЦК ВЛКСМ.

Сокрушительный удар ежовской тайной полиции настиг его незадолго до конца чисток. Косарев и его ближайшие сотрудники из руководства комсомола были обвинены в двурушничестве, «моральном разложении» и заклеймены как «враги народа», пытавшиеся «подорвать работу комсомола».

Когда я осенью 1939 года вступил в комсомол — в его рядах насчитывалось 9 миллионов членов. Чистки остались далеко позади.

Более года я подготавливался к вступлению в комсомол. Я изучал программу и устав, читал важнейшие труды Ленина и Сталина и, конечно, «прорабатывал» Краткий курс истории ВКП(б).

Когда я, наконец, почувствовал себя готовым к вступлению, я подал заявление в первичную организацию комсомола. В заявлении я, как полагается, высказал свое желание вступить в комсомол и обосновал его политически.

Несколько дней спустя я сидел среди русских комсомольцев, внимательно меня разглядывавших.

— Теперь мы рассмотрим заявление о приеме товарища Леонгарда, — сказал секретарь и прочел мое заявление.

В комнате наступила тишина. Я чувствовал себя как на экзамене.

— Лучше всего, если товарищ Леонгард расскажет нам сначала свою биографию. Я прошу товарищей слушать внимательно, а затем задавать вопросы.

В торжественно-официальной обстановке я должен был

рассказывать русским комсомольцам мою, несколько необычную, биографию.

Год или два тому назад, во время чисток, я никогда не был бы принят в комсомол. Ни один комсомолец не нашел бы в себе мужества проголосовать за принятие человека, который провел детство в Германии и мать которого была арестована НКВД. Теперь же, осенью 1939 года, положение полностью изменилось. Я смог спокойно рассказывать свою биографию.

— Будут какие-нибудь вопросы к товарищу Леонгарду? — спросил секретарь.

— Какие общественные нагрузки ты выполнял?

— В течение года я был редактором школьной стенгазеты и два года членом редколлегии стенгазеты в детдоме.

— Как обстоит у тебя дело с учебой?

— В 1935/36 школьном году, в 6-ом и в 9-ом классе я был отличником, а в 7-ом и 8-ом классах учился на «хорошо».

Никто не упрекнул меня в более слабых показателях за 1937-38 годы. По всей вероятности у других было то же самое. В годы чисток общий уровень понизился.

— Проработал ли ты историю ВКП(б)?

— Я готов ответить на вопросы из этой области.

Но вопросов не последовало. Было очевидно, что ни у кого не было охоты углубляться в эту осточертевшую всем тему. Вместо этого последовали обычные вопросы о комсомоле.

— Назови важнейшие обязанности каждого комсомольца.

Я отвечал согласно уставу: «Важнейшие обязанности каждого комсомольца:

изучать труды Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, неустанно повышать свою политическую грамотность и разъяснять марксистско-ленинское учение широким массам молодежи, выполнять решения ВКП(б) и комсомола, активно участвовать в политической жизни страны;

показывать пример социалистического отношения к труду, охранять социалистическую собственность, бороться с нарушениями социалистической законности;

овладевать научными и техническими знаниями, участвовать в культурной жизни, заниматься физкультурой и

спортом, быть готовым отдать все свои силы, а если понадобиться, — жизнь, защите социалистического отечества;

активно участвовать в работе комсомольской организации, аккуратно посещать комсомольские собрания, быстро и точно выполнять задания организации, доводя всякое начатое дело до конца».

— Кто может быть принят в комсомол?

— «В комсомол принимается молодежь в возрасте от 15 до 26 лет, признающая программу и устав организации, работающая в одной из его организаций, подчиняющаяся всем постановлениям союза и аккуратно уплачивающая членские взносы».

— На каком организационном принципе основан комсомол?

— «Комсомол основан на принципе демократического централизма. Это означает выборность всех руководящих органов и подчиненность нижних органов верхним, подчинение меньшинства большинству и периодическую отчетность комсомольских органов перед своими комсомольскими организациями».

— Хорошо, этого достаточно, — сказал секретарь. — Еще вопросы будут?

На минуту воцарилась тишина.

— Раз вопросов больше нет, перейдем к голосованию. Кто за прием Леонгарда в комсомол, прошу поднять руки.

Все присутствующие подняли руки. Это, однако, еще не означало, что я уже принят в комсомол.

— Наше предложение пойдет теперь в райком комсомола. Они тебя известят, когда ты должен будешь туда явиться.

Две недели спустя меня вызвали в райком комсомола. Секретарь райкома задал два-три вопроса и сказал, как полагалось, несколько слов о чести быть принятым в комсомол, об оказанном мне доверии и о моем долге оправдать это доверие. С серьезным, почти торжественным выражением лица он передал мне маленькую темносерую книжку с надписью:

Всесоюзный Ленинский Союз Коммунистической Молодежи (ВЛКСМ).

Я тоже ответил обычной формулировкой, что приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Но я говорил волнуясь, с искренней убежденностью.

Западному читателю это может показаться странным:

ведь моя мать была арестована, я пережил аресты моих учителей и друзей и, разумеется, давно заметил, что советская действительность совсем не походила на ее описание в «Правде». Но я как-то отделял эти вещи, в том числе и мои личные впечатления и переживания, от моих принципиальных политических убеждений. Существовало как бы два плана, две плоскости: в одной были текущие события и мои личные переживания — о них я зачастую мыслил критически; в другой — находилась та большая «линия», в которую я «с принципиальной точки зрения», и, несмотря на сомнения, не переставал верить.

Думаю, что очень многие комсомольцы проводили ту же грань, и что подобный образ мышления был типичен. Конечно, были и такие, что вступали в комсомол не по убеждению. Вскоре мне это стало ясно, ибо теперь я постоянно принимал участие в собраниях и заседаниях и при этом знакомился с различными комсомольцами. По-моему, их можно было бы разделить на четыре категории:

Начнем с «энтузиастов». — Это молодые люди, полные активности и инициативы, работающие в комсомоле с воодушевлением, преданностью и жертвенностью. Они не ломали себе головы над политическими проблемами и почти не замечали политических противоречий и внезапных поворотов генеральной линии. Для них комсомол был единственной возможностью раскрытия их молодых сил. Мне часто казалось, что какое-нибудь другое движение или организация, могущая предоставить им те же возможности, в равной степени смогла бы привлечь эту молодежь.

Затем — другой тип комсомольцев, к которым принадлежал тогда и я. Эти вступали в организацию по политическому убеждению и тяготели к программным вопросам и политическим дискуссиям. Комсомольцы эти были тоже активны, правда, не в такой степени как «энтузиасты». Они видели противоречия и нередко испытывали серьезные сомнения, но в ходе сложного процесса мышления пытались найти всему объяснение и оправдание.

Третий тип — «карьеристы» — состоял, главным образом, из сыновей и дочерей партийных, государственных и хозяйственных активистов. Они хотели достичь положения в жизни и часто говорили об этом открыто. Комсомол был для них лишь трамплином, помогающим сделать быструю карьеру.

И, наконец, я натолкнулся, к моему удивлению, на тип, который я бы назвал «привычно-равнодушным комсомольским типом». Это та молодежь, для которой вопрос вступления в комсомол не был сопряжен с умственными процессами. Они вступали потому, что вступали другие, потому, что в комсомоле были их друзья и подруги, потому, что «так полагалось». Этот тип я встречал, в основном, среди девушек, но не только среди них.

В общей сложности я был членом советского комсомола в течение шести лет. Прошло много времени, пока я настолько сдружился с некоторыми комсомольцами, что мог открыто высказывать им мои еретические мысли. И тогда к моему великому изумлению оказалось, что я был далеко не одинок. Постепенно я познакомился с комсомольцами-оппозиционерами. К сожалению, я должен отказаться от подробностей, чтобы не повредить лицам, о которых идет речь.

Один из моих друзей-комсомольцев называл себя анархистом. Другие были марксистами-ленинистами. И именно потому, что они принимали учение Маркса и Ленина всерьез, они находились по многим решающим вопросам в оппозиции к системе. Так, например, они были против всемогущества НКВД и против чисток в рядах старой большевистской гвардии. Как-то раз одна комсомолка прочла мне рукописное стихотворение, ходившее по рукам в этих кругах. Это был революционный призыв к свободе. Позже я слышал о рукописном романе оппозиционно настроенного комсомольца. Роман назывался «Путешествие Гулливера в страну, где стены имеют уши» и давался на прочтение только самым надежным товарищам.

СЮРПРИЗЫ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

В октябре 1939 года мы прочли в «Правде», что Финляндия отклонила предложение Советского Союза заключить договор о взаимной помощи. Советский Союз, как нам было сказано, просил Финляндию отодвинуть границу у Ленинграда на 30 км и выразил готовность возместить Финляндии территориальные потери в пятикратном размере.

Занятая Финляндией позиция казалась мне непонятной. Как и все простые советские граждане, я был лишен иных источников информации. Я ничего не знал о дебатах в фин-

ском парламенте, почти ничего о позиции, занятой Западной Европой и Америкой в этом вопросе. И, конечно, не имел ни малейшего представления об опасениях финнов, боявшихся, что договор может стать началом конца финской суверенности — как это оправдалось несколькими месяцами позже на примере Латвии, Литвы и Эстонии.

Атаки против Финляндии в «Правде» становились все острее. Во второй половине октября речь шла уже не о «финском правительстве», а о «главарях», «зарвавшихся авантюристах». Имена финских политических деятелей обильно снабжались самыми презрительными эпитетами.

Взрыв произошел 29 ноября. Советские войска перешли финскую границу. Официально было сообщено, что финские войска совершили «ряд провокационных нападений» на советскую границу. Но никто этому всерьез не верил, даже «стопроцентные» советские патриоты. Если в разговоре с ними я употреблял официальную формулировку о «финском нападении», то ответом зачастую служило многозначительное подмигивание. На ответ такого рода я и впоследствии наталкивался не раз.

Через несколько дней после начала русско-финской войны, с барабанным боем было сообщено о взятии первого финского города — Териок и о создании «финского народного правительства» во главе с Куусиненом. Свежеиспеченное правительство обратилось с призывом к финскому народу и приготовило уже знамя для воинской части, которая первой вступит в Хельсинки.

Но после первого быстрого рывка и взятия Териок советские части застряли перед линией Маннергейма. Пошли слухи о больших потерях и «маленькая кампания Ленинградского военного округа» превратилась в настоящую войну. Нам это казалось невероятным: великая и непобедимая Красная армия, прославляемая как самая сильная в мире, вела войну с маленькой Финляндией, насчитывающей всего лишь три с половиной миллиона жителей!

Еще более странным, чем затянувшаяся позиционная война, был хаотический беспорядок, возникший на транспорте и в снабжении. Уже в первые дни войны пассажирские поезда стали приходить с большими опозданиями, а то и вовсе выпадали из расписания. Через несколько дней после начала войны перед хлебными магазинами в Москве появились очереди. Многие продукты вообще исчезли.

«Если при «столкновении местного значения» с маленькой страной возникает такая дезорганизация, — говорили москвичи, — что же произойдет, если Советский Союз вынужден будет вести настоящую войну против большой державы?»

Эта озабоченность отражалась в шутке, которую рассказывали шепотом:

Еще ничего нет,
А уже ничего нет.
Что же будет,
Когда что-нибудь будет?

Прошло три недели с начала войны. «Ко дню рождения Сталина война кончится» — можно было услышать вначале. Но 21 декабря — день рождения Сталина — прошел, а война все не кончалась.

Наступила весна. Ежедневно на первой странице «Правды», в левом нижнем углу, мы читали сводку Ленинградского военного округа. В ней говорилось лишь о взятии «укрепленных точек». Названия населенных пунктов не упоминались, ибо населенные пункты давно уже не брались.

Хотя война и была непопулярна, большинство моих друзей верило в то, что она будет доведена до победного конца. Ведь, существовало, в конце концов, новое финское «народное правительство», а члены официального финского правительства считались «убийцами», «бандитами» и «фашистами». Поэтому казалось невероятным, что Советский Союз может с этим правительством вести какие-нибудь переговоры.

Каково же было наше недоумение, когда 12 марта 1940 года был внезапно заключен мирный договор с Финляндией. По этому договору Советский Союз получил Карельский перешеек и город Выборг, в некоторых других местах граница была слегка изменена в пользу Советского Союза. Наконец, Советский Союз получил в аренду полуостров Ханко. Но эти результаты не оправдали первоначальных ожиданий.

Мирный договор был заключен с теми самыми финскими вождями, которые еще недавно считались «зарвавшимися авантюристами»! Снова были созваны повсюду митинги, на которых окончание войны приводилось как доказательство миролюбивой политики Советского Союза и его вождя Сталина. Как обычно, в конце собрания объявлялось,

что докладчик готов отвечать на вопросы. На этот раз вопросы были.

— Мне непонятно, товарищ докладчик, — услышал я голос одного студента. — Уже несколько месяцев существует финское народное правительство. В договоре оно не упоминается. Что же с ним?

Докладчик был явно смущен.

— На этот вопрос я в настоящий момент ответить не могу. В официальных заявлениях об этом ничего не говорится, но я уверен, что наше советское правительство предпримет в этом отношении нужные шаги.

От знакомого, работавшего на одном из предприятий, я узнал, что вопрос этот задавался и у них. Докладчик, сам рабочий, вышел из положения куда проще:

— Ах, да, народное правительство! Куда же оно запропастилось? На собрании агитаторов нам о нем ничего не сказали!

Очевидно подобные вопросы задавались на многих собраниях, потому что через несколько дней статья в «Правде» упомянула, что в связи с советско-финским договором возникло новое положение и что народное правительство самораспустилось.

Так мимоходом была решена судьба финского «народного правительства». Война кончилась, и о нем предпочли поскорее забыть, ибо советско-финская война 1939-1940 гг. вылилась в одно из величайших политических и военных поражений Советского Союза.

Во время войны я не раз говорил с друзьями, с которыми уже во времена чисток осторожно обменивался мыслями. Они называли причины советских неудач:

— Красная армия не была подготовлена к военной кампании.

— Военные силы Финляндии были недооценены.

— Политические надежды, связанные с созданием «народного правительства», на деле не оправдались.

— В результате чисток, массовых арестов генералитета, высшего и среднего комсостава Красная армия была дезорганизована и ослаблена.

Я и сегодня убежден, что именно в этом кроются причины неудач советского военного командования в Финляндии в 1939-40 году.

Много лет спустя, уже на Западе, мне довелось услы-

шать мнение, что Советский Союз намеренно вел войну в Финляндии вяло, чтобы ввести внешний мир в заблуждение и создать там впечатление собственной военной слабости. Я считаю такое мнение глубоко ошибочным. Именно тогда, после начала войны в Европе и после союза с Германией, Советский Союз, как никогда, был заинтересован в том, чтобы продемонстрировать свою силу. Более чем когда-либо было для него важно считаться сильнейшей державой, рассматриваться равноценным партнером Германии, укреплять свою позицию единственной не принимающей участия в мировой войне страны, чтобы требовать и добиваться концессий.

Ясным признаком того, что финская война показала действительную, а не фиктивную слабость Красной армии является и ее реорганизация, начавшаяся через несколько месяцев после окончания финской войны. Не остановились даже перед тем, чтобы арестованных командиров вернуть из лагерей и вновь назначить на командные должности.

В начале мая 1940 года Ворошилов, много лет бывший наркомом обороны, был смещен. Его место занял маршал Тимошенко.

Для высшего командного состава армии и флота были вскоре введены новые воинские звания. В начале июля были усилены меры наказания за дезертирство и самовольную отлучку, строже стали следить за обязательным отданием чести, было введено новое положение о жалобах и арестах.

Наконец, осенью 1940 года, существовавший с 1925 года воинский устав был заменен новым, более строгим. В нем особо подчеркивалась необходимость безоговорочного исполнения приказов начальников. Неисполнение приказов приравнивалось к преступлению.

Период от весны до осени 1940 года был, однако, знаменателен не только реорганизацией Красной армии. Это было также периодом усиленного подчеркивания дружбы с национал-социалистической Германией.

МОСКВА В ГОДЫ ПАКТА ГИТЛЕР—СТАЛИН

Сенсация, произведенная пактом о ненападении от 23 августа 1939 года и договором о дружбе от 28 сентября, постепенно забылась. Жители Советского Союза, а в их числе и я, привыкли к «новым обстоятельствам». Мы уже считали

отсутствие антифашистских фильмов и книг за нечто само собой разумеющееся. Постоянно повторялось, что Советский Союз сумел, благодаря своей гениальной мирной политике, остаться вне конфликта. Более или менее открыто говорилось даже о том, что война между западными державами, с одной стороны, и гитлеровской Германией и Италией, с другой, может принести Советскому Союзу только пользу. Распространялись анекдоты и каламбуры, иллюстрировавшие то блестящее положение, в котором находился Советский Союз, единственная великая держава, не участвующая в войне.

— Угадайте, кто выиграет войну? — спросил нас как-то в институте студент, родители которого были видными партийцами. Он изредка преподносил нам новейшие — всегда просоветские — анекдоты.

Подойдя к доске, он написал столбиком латинскими буквами имена государственных деятелей воюющих стран: Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, Chiangkaishek и Mannerheim.

Смеясь, он обернулся к нам:

— Ну, кто из них выиграет войну?

Мы понимали, что это шутка, но никто не решался ответить. Еще потом забот не оберешься . . .

— Да это же совсем просто!

Прежде, чем мы успели опомниться он снова подошел к доске и подчеркнул третью букву каждого имени. Продолжая смеяться он показал нам неожиданный ответ:

MU**S**SOLINI
HI**T**LER
CH**A**MBERLAIN
DA**L**ADIER
CH**I**ANGKAISHEK
MA**N**NERHEIM

С начала 1940 года ходили слухи, что скоро отношения с Германией станут еще теснее. Поговаривали даже о возможности военного союза между Германией и СССР и многие москвичи этому верили.

В середине февраля 1940 года было восторженно встречено заключение нового экономического соглашения между гитлеровской Германией и СССР. Статьи об империалистических планах мирового господства Англии и Франции че-

редовались с пространными выдержками из речей Гитлера. 26 февраля 1940 года — эту дату я запомнил точно — «Правда» преподнесла удивленным советским читателям страницу, на которой, рядом с пространными выдержками из речи Гитлера, красовалась подробная статья о Коммунистическом манифесте.

Все чаще на страницах советской печати ответственность за войну возлагалась на Англию и Францию. «Шесть месяцев длится война за мировое господство, развязанная английскими и французскими империалистами. Но англо-французские империалисты не смогли осуществить своих планов передела мира. Чтобы выйти из тупика, они готовятся к новым авантюрам, стремясь превратить теперешнюю империалистическую войну в новую мировую войну», — писала «Правда» в начале марта 1940 года. И эта новая «линия» вдалбливалась в головы советского населения на бесчисленных собраниях.

В начале апреля «Правда» опубликовала длинные выдержки из так называемой «Белой книги министерства иностранных дел» гитлеровского правительства, снабдив их сочувственными комментариями. Оправдывалось даже нападение Гитлера на Данию и Норвегию: «Мероприятия Германии в этом деле были необходимы . . . Утверждают, что Германия действиями в Скандинавии нарушила принципы международного права, превратив пакт о ненападении с Данией в клочок бумаги . . . Однако, сегодня, после того, как Англия и Франция сами нарушили суверенитет скандинавских стран, нанеся вред интересам Германии и вызвав тем самым ее контрмеры, издавать лицемерные вопли о правомерности или неправомерности немецких действий означает не что иное, как ставить себя в смешное положение».

Теперь уже нельзя было сомневаться в том, что официальная линия сошла с позиций абсолютного нейтралитета; сближение с гитлеровской Германией становилось с каждым днем нагляднее.

В первые дни после заключения пакта политика абсолютного нейтралитета пользовалась всеобщим одобрением. Произошедшие же теперь перемены вызывали у многих сомнения. В одном московском вузе некий студент осмелился даже открыто высказать общие сомнения.

Это произошло после лекции по марксизму-ленинизму на тему о справедливых и несправедливых войнах. Доцент гово-

рил о различии между войнами справедливыми и несправедливыми. Справедливые войны не могут быть войнами завоевательными, это освободительные войны во имя защиты народа от внешнего нападения, против попыток порабощения, или же во имя освобождения народа от капиталистического рабства или колониального гнета. В противоположность им, несправедливые войны носят завоевательный характер. Они способствуют захвату чужих стран, порабощению других народов. Он проанализировал различные известные из истории войны и закончил лекцию указанием, что задачей марксизма-ленинизма является анализ характера каждой войны и соответственно с этим определение своего отношения к ней.

Как обычно, после окончания лекции лектор предложил студентам задавать вопросы. Один из студентов попросил слова:

— Товарищ доцент, несколько дней тому назад Германия начала военные действия против Дании и Норвегии, которые, как сообщила «Правда», были необходимы. Каков же характер этих военных действий? Можно ли назвать их справедливой войной? Следует ли тогда считать, что Норвегия и Дания ведут несправедливую войну?

Зал замер.

Доценту было явно не по себе. Но он вышел из положения, заявив, что к подобным проблемам нельзя подходить формально и схематически, что их надо рассматривать во взаимосвязи с большими историческими процессами. Попытка квалификации на справедливые и несправедливые войны в данном случае была бы ненаучной постановкой вопроса, и что поэтому не может быть прямого ответа на подобный вопрос.

В то время, как среди студентов, да, вероятно, и в других слоях населения, высказывались сомнения в правильности «линии», я не без удивления констатировал, что новая линия по отношению к фашистской Германии влияла на общественное мнение и в другом направлении. Так, проходя как-то утром мимо газетного киоска, я услышал разговор двух скромно одетых мужчин. Они рассуждали о войне в Западной Европы.

— А все же Гитлер молодец, он им наведет порядок в Европе, — сказал один.

— Он перебьет всех французских и английских империа-

листов и поджигателей войны, — согласился с ним собеседник.

В другой раз меня спросили:

— Как вы думаете, существовали ли вообще нацистские концлагери, о которых раньше так много говорилось или, может быть, это было пропагандным враньем английских и французских империалистов?

В то время я мало вращался в немецких эмигрантских кругах. Только раз мне довелось поговорить с поэтом-коммунистом Эрихом Вейнертом, будущим председателем Национального комитета «Свободная Германия». С его дочерью Марианной я дружил еще с детства и часто навещал ее в новом Доме писателей в Лаврушинском переулке. Я спросил Эриха Вейнерта, какой должна быть позиция немецких антифашистов в связи с создавшимся положением. Вейнерт, как человек он был мне всегда симпатичен, — заговорил о «полностью переменившейся ситуации», о «новых задачах» и «новых перспективах», которых мы себе раньше и не представляли.

— Пакт о ненападении и договор о дружбе в сентябре 1939 года, — сказал он, — это только начало и, безусловно, нужно считаться с возможностью усиления сотрудничества с Германией.

Подобное мнение я слышал нередко в первой половине 1940 года. Многие пророчили военный союз с гитлеровской Германией, некоторые говорили даже о возможности совместных военных действий против «западных империалистов».

10 мая 1940 года Гитлер вторгся в Бельгию, Голландию и Францию. С большим интересом следили москвичи за боями во Франции. Перед газетными киосками стояли длинные очереди людей, терпеливо ожидавших утренних газет или единственной московской вечерней газеты — «Вечерняя Москва». Большинство читало газету молча, воздерживаясь от каких-либо комментариев — сказывалась привычка, приобретенная в годы чисток. Тем ярче мне запомнились те редкие случаи, когда доводилось услышать откровенное мнение москвичей.

Так, один интеллигент сказал мне однажды:

«Нападение Гитлера на Францию вызвало среди московской интеллигенции резкую перемену настроений. Пока война шла в Польше и Скандинавии, большинство было рав-

нодушно, некоторые даже сочувствовали Гитлеру. Но это переменилось, когда произошло нападение на Францию. Постепенно растет антипатия к Гитлеру, не столько из любви к Англии, сколько из сочувствия к трагической судьбе Франции. Ибо очень сильна духовная связь многих интеллигентов с Францией».

Среди студентов я тоже слышал аналогичные высказывания, но не берусь судить насколько перемена настроений затронула другие слои населения.

15 июня 1940 года советские газеты сообщили о взятии Парижа немецкими частями. Купив газету, я поехал в трамвае на Таганскую площадь. Рядом со мной сидел старик, с виду крестьянин, приехавший навестить кого-то в Москве.

— А ну-ка, молодой человек, что пишут в газете о войне во Франции?

— Немецкие войска заняли Париж.

Он радостно захлопал в ладоши:

— Гитлер им теперь покажет, этим французам!

Никто из присутствовавших не стал ему возражать.

Через несколько минут я был свидетелем другой сцены у газетного киоска. Мальчик еврейского типа, лет четырнадцати, развернул газету и, волнуясь, стал читать сообщение о взятии Парижа.

— Париж взят! — горестно воскликнул он и слезы показались у него на глазах. Затем он побежал домой, вероятно, рассказать, печальную новость родителям.

Так по-разному реагировали тогда москвичи.

26 июня 1940 года на первой странице «Правды» появился призыв Центрального совета профсоюзов с предложением об увеличении рабочего дня на предприятиях с семи до восьми часов, а в учреждениях с шести до восьми. Рабочий день для подростков от 16 до 18 лет, у которых был до сих пор шестичасовой рабочий день, тоже должен был быть увеличен до восьми часов.

Вместо «шестидневки» профсоюзы предлагали ввести опять семидневную неделю*).

Профсоюзное руководство не ограничилось, однако,

---

*) В то время в Советском Союзе, в отличие от других европейских стран, неделя состояла из пяти рабочих дней с последующим «выходным днем». Название дней недели были отменены и они обозначались: «первый день, «второй день» и т. д.

предложением об удлинении рабочего дня и рабочей недели, оно предложило еще и отмену свободы выбора места работы. В обращении стояло:

«Центральный совет советских профсоюзов считает необходимым запретить самовольный уход с места работы рабочим и служащим государственных, кооперативных и коммунальных предприятий, а также самовольный переход из одного предприятия в другое или из одного учреждения в другое».

Было ясно, что за профсоюзными «предложениями» последует правительственное постановление.

Соответствующее постановление было опубликовано уже на следующий же день. А потом, задним числом, была организована кампания «единогласного» одобрения этих мер.

Все «предложения» профсоюзов — увеличение продолжительности рабочего дня до восьми часов, переход на семидневную неделю и запрещение самовольного ухода с работы — были отражены в постановлении Президиума Верховного совета.

Параграф пятый точно определял положения о запрете перемены места работы:

«Рабочие и служащие за самовольный уход из государственных, кооперативных и коммунальных предприятий и учреждений будут предаваться суду и караться, по приговору народного суда, тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев».

Не только рабочим грозило тюремное наказание, но и директорам предприятий, недостаточно строго следящим за выполнением постановления.

Хотя новый закон нас непосредственно не затрагивал, на подготовительном курсе было созвано общее собрание. Нам было сказано, что закон от 26 июня должен служить нам стимулом для усиленной учебы. Мы тоже «приветствовали» и, конечно, единогласно.

Вскоре закон был дополнен приказом наркомата юстиции от 22 июля 1940 года, согласно которому опоздание на 20 минут квалифицировалось как прогул и каралось «принудительно-воспитательным трудом» по месту работы сроком до шести месяцев, с удержанием до 25 процентов заработка.

«Двадцатиминутный закон» имел невероятные последствия. От воспитанников нашего бывшего детдома, работав-

ших на предприятиях, я узнавал, что там происходило. Это было ужасно. Транспортное сообщение было настолько плохим, что опоздания свыше 20 минут происходили и без всякой вины со стороны рабочих. Но никакие доказательства не помогали. Директора предприятий сами дрожали от страха. Число предававшихся суду и приговаривавшихся к «принудительно-воспитательным работам» непрерывно росло.

Несмотря на трагичность положения, в Москве появился новый анекдот об этом законе:

— Ты слышал уже, что Большой театр сгорел до тла?

— Как же это возможно? А что же делала пожарная команда?

— Пожарная команда сидит в тюрьме.

— В тюрьме?

— Да, она прибыла на место пожара через 20 минут и не была допущена к горящему зданию. Теперь пожарники приговорены к принудительно-воспитательным работам и сидят в тюрьме.

Волна арестов на основании нового закона приняла вскоре такие размеры, что суды не успевали справляться с делами. Поэтому указом президиума Верховного совета от 10 августа 1940 года было постановлено, что судопроизводство по вопросам нарушения трудовой дисциплины должно впредь вестись народными судами без участия присяжных заседателей.

Эти события находились в центре внимания жителей Советского Союза, переставших на время интересоваться другими вопросами. Разгром Франции, воздушная война над Англией, захват советскими войсками прибалтийских стран и их превращение в «союзные республики», занятие Бессарабии и Северной Буковины, все это поблекло перед «борьбой против прогульщиков, лентяев и дезорганизаторов».

В памяти у меня осталось единственное событие этого времени, находившееся вне сферы общих интересов — смерть Троцкого.

24 августа во всех советских газетах было опубликовано на видном месте краткое сообщение о смерти Троцкого. Со ссылкой на американские газеты сообщалось, что на Троцкого было совершено покушение. «Один из его приверженцев» проломил ему череп. Троцкий умер в больнице в Мексике.

Все советские газеты ограничились этим кратким сооб-

щением. Только «Правда», центральный орган партии, посмертно поносил ленинского соратника в длинной статье под заголовком «Смерть международного шпиона». Статья была полна ругательств и исторических фальсификаций. «Троцкий был уже с 1921 года агентом иностранных разведок и международным шпионом», — значилось в ней. Статья «Правды» о председателе Петроградского совета 1917 года и создателе Красной армии заканчивалась словами: «Бесчестно окончил жизнь этот достойный лишь презрения человек. Он ляжет в могилу, отмеченный каиновой печатью международного шпиона и убийцы».

В тот же вечер, гуляя, я встретил знакомого шуцбундовца*), работавшего на одном из предприятий. Невольно мы заговорили о смерти Троцкого.

— Был ли это действительно его приверженец? — высказал он мысль, которая возникла и у меня при чтении сообщения. Но оба мы не имели ни малейшего понятия о событях, приведших к смерти Троцкого. Продолжая прогулку, мы подошли к тумбе для афиш, на которой был наклеен большой плакат, возвещавший о народном гулянье в Парке культуры.

— Знаешь, что говорят наши рабочие? Что будто бы народное гулянье устроено по случаю смерти Троцкого.

Я ничего не ответил. Несмотря на окончание чисток, было опасно говорить на эту тему.

Но мне показалось знаменательным, что в августе 1940 года, через 13 лет после исключения Троцкого из партии и 11 лет после его высылки из Советского Союза, нашлись рабочие, не верившие официальной версии о смерти Троцкого и убежденные в том, что Сталин способен отпраздновать смерть этого революционера, устроив народное гулянье.

В ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Летом 1940 года закончился подготовительный курс. Быстро прошли заключительные экзамены.

Несколько дней спустя, волнуясь, я сидел в помещении приемной комиссии Московского педагогического института на Метростроевской 38. Это было большое старое трехэтаж-

*) Член Шуцбунда (Союза обороны) — организации австрийских социал-демократов. (Прим. переводчика).

ное здание, находившееся на полдороге между станциями метро «Дворец Советов» и «Парк культуры». От студентов я слышал, что здесь раньше помещалось учебное заведение, в котором учился Гоголь и другие русские писатели.

— Итак, вы окончили подготовительный курс учительского института. Почему же вы не хотите поступить туда? — спросили меня.

— Мне очень хочется учиться именно в вашем институте.

Председатель приемной комиссии засмеялся.

— Ну, посмотрим, что можно будет сделать. Вы готовы сдавать у нас вступительные экзамены?

— Да, конечно. Когда?

— Нет, так быстро это не делается. Заполните сначала эту анкету и принесите ее завтра. Там посмотрим.

Это была очень подробная анкета, с целым рядом вопросов о родителях. На вопрос относительно моей матери я написал столь обычный в те времена ответ: «арестована органами НКВД». Это была общепринятая формулировка. Но предварительно я справился у знакомого студента:

— Что, если я напишу об аресте матери, не помешает ли это мне? Есть ли на этот счет особые правила?

Студент сухо засмеялся:

— Как будто ты один можешь этим похвастаться! Сегодня это в порядке вещей. Если бы приемные комиссии обращали на это внимание, то пришлось бы все вузы позакрывать.

Другой студент пояснил:

— В 1937 и, частично, в 1938 году все анкеты, в которых указывалось, что родители арестованы, отмечались крестиком. Говорили, что в этих случаях экзамены были особенно строгими. Но вскоре от этого отказались, чтобы члены приемных комиссий не узнали о размерах бедствия, о том, какой достигла силы прокатившаяся волна арестов.

Оба студента оказались правы. Председатель приемной комиссии с полным безразличием пробежал глазами графу анкеты, где говорилось об аресте моей матери.

— Через две недели вы можете сдавать экзамены, а пока вы получите справку и можете питаться здесь. Когда сдадите экзамены — поселитесь в студенческом общежитии.

Я радостно распрощался. Последующие дни прошли в привычной уже подготовке к экзаменам. В середине августа

пришло короткое письмо: «Настоящим подтверждается, что товарищ Леонгард зачисляется на первый курс Московского государственного педагогического института иностранных языков». Через несколько дней после этого я устроился в студенческое общежитие.

Во всех вузах Советского Союза каждый студент мог получить место в общежитии. Нашему институту принадлежало общежитие в Петроверигском переулке 6-8. Здание занимал раньше КУНЗ — Коммунистический университет народов Запада. После ликвидации КУНЗа оно было передано Институту иностранных языков. Мы помещались по двое и по трое, в зависимости от размера комнаты. В сравнении со многими другими студенческими общежитиями это было исключительной привилегией.

1 сентября 1940 г. мы, новички, впервые пошли в институт и нас распределили по трем факультетам: на немецкий, английский и французский. Я выбрал английский факультет. Лекции по педагогике, психологии, истории педагогики, марксизму-ленинизму и военному делу были общими для всех факультетов. Кроме того нам читали лекции по английской истории, английской литературе, фонетике и грамматике английского языка и по языкознанию. Эти лекции посещались, конечно, только студентами английского факультета.

Как только нас распределили по факультетам нам сообщили подробный учебный план. Посещение лекций было обязательным и строго контролировалось. Ежедневно мы ходили на 2-3 лекции, причем, лекции в советских вузах длятся 90 минут. Помимо этого небольшими группами велись практические занятия по фонетике, грамматике и т. д. Студенты каждого семестра были разделены на 12 подгрупп по 15-20 человек в каждой. В этих маленьких группах проводились семинары, которые можно только с оговоркой сравнить с семинарами в университетах на Западе. Это были скорее обыкновенные уроки, почти как школьные. И опять нам приходилось сдавать массу экзаменов. Каждый из нас получил студенческую книжку с фотокарточкой (которую мы обязаны были носить при себе и показывать при входе в здание института) и так называемую «зачетную книжку», в которую вносились отметки за испытания и экзамены. В советских вузах после каждого семестра бывает два вида экзаменов: сначала — так называемые «зачеты», которые сдаются по

каждому предмету отдельно; отметок за них не ставят. В зачетную книжку заносится только «сдал». Студент имеет право по истечении известного промежутка времени повторить зачетный экзамен, если он не сдал его сразу. Но это как бы предварительный экзамен. И только когда студенг сдаст все зачеты и может показать профессору свою зачетную книжку с отмеченными в ней сданными зачетами, он допускается к «настоящим» экзаменам. Экзамены по важнейшим предметам происходят в конце семестра. Экзамены строже зачетов, сдавать их можно только один раз и за них ставят оценки. В сравнении с западными университетами контроль учебной и экзаменационной системы советских вузов кажется мне четким, строгим и организованным.

Еще одно отличие от университетов других стран заключается в очень далеко идущей специализации. Конечно, в крупнейших городах Советского Союза существуют университеты с различными факультетами. Но преобладающей формой вузов является не университет, а «институт» с очень подробным, специализированным учебным планом. Так, например, в Советском Союзе не существует общих «высших технических школ», зато имеются высшие технические учебные заведения в отдельных областях техники, например, «Институт холодильного машиностроения», «Институт сигнализации», «Институт цветных металлов» и т. д.

Эта узкая специализация советских вузов была продиктована необходимостью в кратчайший срок вырастить кадры специалистов во всех областях, а особенно во всех отраслях народного хозяйства. Бесспорно, что Советский Союз этой цели добился. Большое число студентов (которое во время войны уменьшилось, но потом, по сравнению с 1940 годом, снова увеличилось) служит гарантией постоянного притока высококвалифицированных специалистов во всех областях. Правда, подобная система высшего образования приводит к тому, что оканчивающие вузы достигают исключительных специальных знаний за счет общеобразовательного уровня.

По окончании вуза каждый студент обязан проработать минимум 2-3 года по специальности. Обычно, сразу же после сдачи государственных экзаменов выпускники направляются на производство.

Я был удивлен превосходным оснащением института. Помимо больших аудиторий и прекрасной библиотеки, в ин-

ституте были «кабинеты» по отдельным предметам — психологический, педагогический, фонетический, исторический и литературно-исторический. В кабинетах находилась специальная научная литература по этим предметам. Там же можно было нередко встретить декана факультета или его сотрудников, охотно дававших консультации.

Предметом особой гордости института был «Марровский кабинет», целиком посвященный советскому языковеду Николаю Яковлевичу Марру. Труды Марра расценивались тогда как высшее откровение языкознания и в кабинете помещалась его статуя, размерами выше человеческого роста. Его учение было столь же неприкосновенным, как труды Сталина. Оно считалось наукой о языке, основанной на марксизме-ленинизме и нанесшей смертельный удар буржуазному языковедению. В отличие от буржуазных представлений Марр рассматривал язык как часть надстройки, развитие которой может быть понято только во взаимосвязи с развитием общества. Человечество создало язык в ходе трудового процесса и в определенных общественных условиях, поэтому язык меняется по мере того, как изменяются условия и формы социальной жизни.

Тогда никому из нас и присниться не могло, что спустя десять лет великий неприкосновенный Марр будет развенчан Сталиным с такой же силой, с какой нам приходилось хвалить его теперь.

В Московском институте иностранных языков училось в те времена 2 500 человек — 2 440 девушек и 60 юношей. На весь Советский Союз это был вуз с наибольшим процентом студенток. Поэтому в московских студенческих кругах его называли в шутку «Институтом благородных девиц». Но, помимо «благородных девиц», он был еще известен и иностранными студентами. В нем учились сыновья и дочери эмигрантов, работников Коминтерна или советских дипломатов, живших долгое время за границей.

Вскоре я нашел друзей не только среди русских студентов, но и среди иностранных. Так я подружился с поляком, сражавшимся в Испании в Интернациональной бригаде, с молодой американкой, с кореанкой и с одной русской студенткой, долгое время жившей в Харбине, где ее родители служили в управлении Китайско-Восточной железной дороги.

Да и со многими бывшими учениками немецкой школы

им. Карла Либкнехта смог я отпраздновать в институте радостную встречу.

Несмотря на некоторые особенности, наш институт был типичным советским вузом. Как и повсюду мы должны были, наряду с учебой, заниматься так называемой «общественной работой» — главным образом принимать участие в комсомольских и партийных собраниях (ряд студентов был уже в партии). Комсомольские собрания в институте были такими же вялыми и нудными, как и всюду. Обычно обсуждались всякие практические вопросы: кто как учится, как выполняет взятые на себя обязательства соцсоревнования и т. д. Политические темы затрагивались лишь в канун больших праздников: 1 мая, 7 ноября или 23 февраля — день Красной армии. Но тогда мы выслушивали только стандартные доклады, которые в эти дни читались на всех предприятиях и во всех учреждениях. В политическом отношении мы, комсомольцы, пользовались единственной привилегией — прослушивать доклады дважды . . .

Еще менее активны были так называемые «массовые организации», в которые, конечно, входили все комсомольцы.

Это был, в первую очередь, «ОСОАВИАХИМ» — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству. Там обучали парашютному спорту в специальных аэроклубах, стрельбе, «ПВХО» — противовоздушной и химической обороне и многому другому.

На практике, однако, наше участие в этой организации сводилось к уплате членских взносов и к обязанности прослушать 3-4 раза в год доклад о противовоздушной обороне.

Деятельность МОПРа — Международной организации помощи борцам революции, поддерживавшей многих эмигрантов, в нашем институте, да и в других местах, заключалась лишь в том, что 18 марта, в День Парижской коммуны, объявленном «Днем МОПРа», созывалось по этому поводу собрание. 18 марта 1941 г. у нас выступил Вильгельм Пик с обзором международного положения.

Третья массовая организация, в которой я, как и все комсомольцы нашего института, состоял, был Союз воинствующих безбожников.

Эта организация тоже полностью утратила свое значение. С одной стороны, уже в конце тридцатых годов, а еще явственнее во время войны, политика по отношению к церк-

ви переменилась. С другой стороны, для нас, комсомольцев и студентов, эта организация была лишней. Мы выросли вне религии, с этими вопросами совершенно не сталкивались и о них вообще не задумывались. По крайней мере я за 10 лет жизни в Советском Союзе не встретил в кругу моих знакомых ни одного человека моего поколения, который не был бы атеистом.

Весной 1942 года — тогда я уже не жил в Москве — нам коротко и ясно, не вдаваясь в подробности, объявили, что Союз воинствующих безбожников распущен.

В печати об этом решении не сообщалось. Просто с весны 1942 года Союз больше не упоминался. Это вполне отвечало советской манере: курс политики сегодняшнего дня внезапно объявлять далеким прошлым и толковать историю по-своему. Но на этот раз был даже сделан шаг вперед — о Союзе воинствующих безбожников вообще больше нигде не говорилось (даже в новейших изданиях советской энциклопедии), не упоминалось и что эта организация когда-либо существовала!

БУДНИ СОВЕТСКОГО СТУДЕНТА

Итак я стал одним из 600 000 советских студентов. Мой день проходил, как и у любого другого студента.

До обеда я ходил на обязательные лекции и принимал участие в семинарах. Обедал я в студенческой столовке. В студенческое общежитие я возвращался обычно поздно вечером.

Наше общежитие, хотя оно и считалось одним из лучших в Москве, было, в сравнении со студенческими общежитиями других стран, довольно примитивно. В комнатах находились маленькие простые шкафы, в которых висели наши шубы и стояли валенки. Все остальные наши скромные пожитки хранились в чемоданчике под кроватью. Зимой в комнатах бывало очень холодно, и нам не раз приходилось заниматься вечерами в шубах. В такие вечера единственным спасением был котел (к сожалению, не всегда горячий), из которого мы брали кипяток для заварки чая. Хотя пользование электроприборами в общежитии запрещалось, у некоторых студенток были маленькие примитивные нагревательные приборы.

Постепенно я перестал отличаться одеждой от других студентов и никто, пожалуй, в те времена не признал бы во мне иностранца.

Обучение было тогда еще бесплатным. Кроме того, каждый студент получал государственную стипендию, которая с каждым курсом (в Советском Союзе «курс» равняется двум семестрам, т. е. учебному году) повышалась. В то время стипендия выплачивалась в размере от 140 рублей на первом курсе до 280 рублей на последнем.

Этого хватало на удовлетворение самых необходимых жизненных потребностей, на невысокую квартирную плату в студенческом общежитии и, в основном, на питание. Купить одежду на стипендию можно было только при строжайшей экономии. Это удавалось лишь очень немногим студентам и для меня по сей день осталось загадкой, как это им вообще удавалось.

Но студенты ухитрялись как-то выкручиваться. Некоторые получали посылки из деревни от родных или знакомых; другим помогали деньгами родители или городские друзья. Немалая часть студентов подрабатывала физическим трудом, например, очисткой тротуаров от снега, переводами и частными уроками иностранных языков. В условиях нормированной, я бы сказал, почти школьной системы учебы это отрицательно отражалось на успеваемости студентов.

Большинство иностранных студентов, в основном дети эмигрантов, регулярно получали от МОПРа дополнительно 200 рублей. Таким образом, мы имели по 340 рублей в месяц, но даже при такой сумме я еле сводил концы с концами. Русские студенты-сироты, выросшие в детдомах, тоже получали небольшую дополнительную помощь, но меньшую, чем мопровская. Однако мы не замечали материальных трудностей. Мы были так увлечены учебой, что не придавали значения вопросам личного благосостояния, тем более, что за исключением небольшого привилегированного слоя, все население испытывало те же трудности.

В то время меня беспокоило иное. С той поры, когда в начале 1939 года закончилась большая чистка, я думал, что прошли и страшные времена сексотства и доносительства. Я считал их неотъемлемой частью периода чисток. Но вскоре мне пришлось убедиться в противном.

Я дружил с одной студенткой. Не буду ее описывать, потому что она все еще живет на Востоке. Она принадлежа-

ла к тем немногим людям, с которыми я мог говорить откровенно. Во время наших долгих прогулок в Парке культуры или вдоль Москвы-реки мы беседовали с ней на самые разнообразные темы, интересующие молодежь всех стран; иногда мы говорили и о вещах, угнетавших нас в Советском Союзе. Подобные разговоры были для нас обоих жизненной потребностью.

Однажды, встретив меня в коридоре института, она шепнула:

— Володя (так меня называли в Советском Союзе), нам нужно будет сегодня вечером поговорить наедине очень серьезно.

С нетерпением ждал я вечера.

Сначала она взяла с меня обещание:

— Обещай мне, что ты никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не расскажешь о том, что сейчас услышишь от меня.

Я пообещал (и обещание это сдержал).

— Обещай мне также, что ты никогда не выдашь своим поведением, что знаешь мою тайну.

После того, как я дал и это обещание, она сказала прерывающимся голосом:

— Уже несколько дней, как я работаю на НКВД. Меня вызвали и дали подписать бумажку, что я обязуюсь сообщать все сведения, которые от меня потребуют, и не буду никому говорить о моей деятельности. Мне дали задание регулярно писать донесения о некоторых студентах. Для этой работы я получила другое имя, которым и должна подписывать донесения.

— О чем же ты должна сообщать? О враждебных высказываниях против партии?

— Не только об этом. Об этом много не напишешь. Я должна сообщать обо всем, что эти люди мне будут рассказывать. Обо всем, что, хотя бы косвенно, имеет отношение к политике.

— Я тоже в твоем списке?

— Нет, пока еще нет. Но я убеждена, что они меня спросят и о тебе. Мне сказали, что это только начало и что потом я получу другие задания. Не знаю, смогу ли я тогда умолчать о твоих высказываниях. Не думаю. Так что прошу тебя, начиная с сегодняшнего дня, не говорить со мной на политические темы.

Я посмотрел ей в глаза. Она была грустна, грустна потому, что отказалась от откровенных разговоров со мной, приносивших и ей такое облегчение. Чувствовалось, что обязанность работать на НКВД лежала у нее камнем на сердце. Я это ясно ощущал, но после ее рассказа я знал также, что у нее не было другого выбора. Отказ от сотрудничества поставил бы ее под подозрение, возможно даже привел бы к ее аресту.

То, что она рассказала мне о том, как ее завербовали, рассказала со всеми подробностями (я не хочу их приводить здесь, чтобы не навести НКВД на ее след) было, вероятно, наибольшим проявлением дружбы, какое мне довелось когда-либо встретить в жизни.

Как ни был я подавлен ее рассказом, меня ужаснуло и другое. По-видимому она была не единственной. Были, значит, и другие студенты и студентки, которые доносили в НКВД обо всех разговорах в институте и общежитии!

Много ли было таких? Мысленно я обвел взглядом круг знакомых мне студентов и студенток. Кто из них мог донести в НКВД? Никого из моих знакомых я не считал на это способным. Но можно ли быть уверенным? Мог ли я, например, подумать, что эту студентку заставят писать донесения в НКВД? А какая гарантия, что не заставили других моих знакомых? Найдут ли они в себе мужество сказать мне, нарушив тем самым данное ими обязательство хранить глубокую тайну? Мне стало жутко. Любое, даже самое незначительное, политическое замечание может попасть в еженедельные письменные донесения и быть передано в НКВД. Я не был, правда, настроен антисоветски, но разве не вырывались и у меня иногда замечания, несозвучные «линии»? С этого дня я решил быть еще осторожнее, во всех политических разговорах придерживаться «линии», по возможности скорее переводить разговор с политических тем в «нейтральную» плоскость.

ЗАКОН ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1940 ГОДА

Я уже четыре недели учился в институте, когда утром 3 октября 1940 года внезапно наступил крутой поворот во всей студенческой жизни.

Кто-то, случайно вставший раньше, принес газету и барабанил теперь в двери, крича: «Стипендии отменили!»

— С ума спятил, дурак! — сказал мой товарищ по комнате, но все же стал быстро одеваться. Я последовал его примеру. Когда мы вышли в коридор, нарушитель спокойствия был уже окружен группой студентов. Держа в руках «Правду», он вслух читал постановление президиума Совета народных комиссаров СССР о введении платы за обучение в старших классах школ и в вузах.

«Принимая во внимание подъем материального благосостояния трудящихся», — начал читать он. Такое вступление не предвещало ничего хорошего.

Сначала речь шла о введении платы за обучение в трех последних классах десятилетки. Затем следовал удар, направленный на нас.

«За обучение в высших учебных заведениях СССР устанавливается следующая плата:

а) В высших учебных заведениях, находящихся в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик — 400 рублей в год;

б) В высших учебных заведениях, находящихся в других городах — 300 рублей в год;

в) В музыкальных, художественных и театральных высших учебных заведениях — 500 рублей в год.

Плата за обучение в данных учебных заведениях должна вноситься равными частями дважды в год: к 1 сентября и к 1 февраля.

Примечание: Плата за первое полугодие 1940/41 школьного года должна быть внесена не позже 1 ноября этого года».

У присутствующих вытянулись лица. Не только потому, что вообще была введена плата за обучение, но прежде всего из-за того, что первый взнос нужно было сделать до 1 ноября.

— Только 27 дней времени! — сказал кто-то. Это звучало безнадежно.

Мы уже прикидывали в уме как можно съэкономить часть стипендии, чтобы внести деньги, как последовал следующий удар: тем же постановлением отменялись наши ежемесячные стипендии. Впредь они должны были выдаваться только студентам-отличникам.

Были созваны обычные собрания, на которых обосновывались «изменения в порядке распределения стипендий —

как гласила официальная формулировка — и введение платы за обучение».

Собрание в институте прошло обычно. Когда докладчик закончил, ему аплодировали. Затем спросили, все ли ясно, нет ли вопросов, не хочет ли кто-нибудь выступить. Желающих не нашлось.

Несколько дней спустя один студент рассказал мне, что в каком-то из московских вузов с докладом о новом законе выступил заместитель наркома народного образования. После доклада ему задали вопрос, как можно согласовать новый закон с 121 статьей конституции СССР.

Вопрос был из щекотливых, ибо, действительно, 121 статья конституции СССР гарантировала бесплатное обучение во всех учебных заведениях СССР, «включая высшие учебные заведения».

Заместитель наркома ответил, что обоснование мероприятия содержится в самом законе и что статья конституции будет изменена в соответствии с новым законом. Так оно и случилось, — кстати, это был не единственный случай, когда в СССР издавались законы противоречащие конституции.

Но студенты после 2 октября думали не о том, противоречит ли закон конституции или нет, а о том, что им делать.

Введение платы за обучение одновременно с упразднением стипендий практически лишало возможности многих детей рабочих и крестьян продолжать учение.

В эти дни я видел много заплаканных лиц. Со многими студентами мы распрощались навсегда.

Особенно тяжело мне было расставаться с одним маленьким рыжим студентом. Он был выходцем из бедной крестьянской семьи, занимался с крайним упорством и усидчивостью, радуясь, что станет учителем старших классов.

И он был далеко не единственным. Все больше и больше студентов, родители которых принадлежали к беднейшим слоям населения, покидали институт. В сущности, оставались лишь сыновья и дочери привилегированного слоя, офицеров и прочих «ответственных».

Большинство иностранных студентов и все русские, выросшие в детских домах, к «привилегированным« не принадлежали. Поэтому мы думали, что и нам придется распрощаться с институтом. Но несколько дней спустя русским

студентам пообещали помощь из детских домов. Тем временем мы, иностранные студенты, обивали пороги МОПРа, который нам не раз уже помогал. Вскоре мы с облегчением узнали, что нас не бросят на произвол судьбы, МОПР обещал внести 400 рублей платы за обучение и продолжать выплачивать нам ежемесячную поддержку.

Возвращаясь сегодня мыслями в прошлое, я вспоминаю не только грусть расставания со многими институтскими друзьями; мне становится ясным, что этот закон означал новый шаг в развитии сталинской системы.

Чтобы попасть на высокую должность в Советском Союзе, надо окончить вуз. До 2 октября 1940 года все одаренные и способные дети рабочих и крестьян могли, независимо от материального положения родителей, кончить десятилетку и попасть в вуз. Таким образом все возможности были для них открыты, что тогда и подчеркивалось постоянно советской пропагандой. После 2 октября до высоких постов могли, как правило, добраться лишь те, чьи родители сами занимали эти высокие посты. Круг замкнулся: правящий бюрократический слой, образовавшийся с конца двадцатых годов и укрепивший свою власть ликвидацией «старой гвардии» во время чисток 1936-38 годов, начал ограждать себя от проникновения «посторонних» и сделал, таким образом, первый шаг к передаче своих привилегий и должностей по наследству.

АКЦИИ НЕМЕЦКИХ ЭМИГРАНТОВ СНОВА ПОДЫМАЮТСЯ

В конце ноября 1940 года, спустя полтора года после заключения пакта о ненападении с Германией и через несколько недель после поездки Молотова в Берлин, в Москве неожиданно снова вспомнили о немецких эмигрантах.

После расформирования нашего детдома мы редко виделись друг с другом; большинство бывших воспитанников его работало на предприятиях, некоторые были все еще в одном из русских детдомов, другие учились в вузах. Многие женились на русских девушках и полностью обрусели.

Тем сильнее было мое удивление, когда в конце ноября 1940 года, через несколько недель после возвращения Молотова из Берлина, я получил приглашение на собрание в ЦК

МОПРа. Я очень обрадовался, надеясь, что таким образом увижусь со старыми друзьями.

В 8 часов вечера я отправился в дом МОПРа. Встреча была радостной, ибо я действительно встретил многих друзей из бывшего детдома номер 6, а также многих австрийцев и немцев, детей эмигрантов, живших с родителями на частных квартирах. Почти все были комсомольцами. Все говорили по-русски, многие даже лучше, чем по-немецки.

Времени для приветствий, разговоров и воспоминаний было, однако, мало, так как вскоре нас пригласили в большой зал. Официальная часть собрания началась речью одного австрийского работника Коминтерна:

«Товарищи! Мы созвали вас, чтобы восстановить связь. Сегодняшнее собрание не будет единичным. Мы будем собираться впредь каждый понедельник вечером для политучебы. Все присутствующие будут разбиты на группы для занятий на семинарах. В наши обязанности входит не только присутствовать каждый понедельник на собрании и выслушивать доклады, но и читать указанную литературу, принимать участие в работе семинаров.

Особенно же я хочу обратить ваше внимание на то, что эти занятия будут происходить в узком кругу и, по понятным причинам, распространяться о них не следует».

Мы уже сравнительно долго жили в Советском Союзе, чтобы нам было достаточно подобного указания — мы не рассказывали нашим русским друзьям о посещении курсов. Очевидно курсам придавалось большое значение. Так, например, те, кто работал на предприятиях в вечернюю смену, по понедельникам освобождались — указание наверняка шло свыше — без объяснений их руководителям на предприятиях для чего это нужно.

Я тоже не говорил с русскими студентами о наших специальных курсах. Но сам я не переставал об этом размышлять. Уже самый факт, что впервые за полтора года немецкие и австрийские товарищи в Москве были созваны, казался мне признаком того, что, может быть, отношения с гитлеровской Германией не были такими гладкими, какими они все еще казались в то время.

Никакого ухудшения отношений по советской печати заметно не было. Все сообщения иностранных газет, которые могли бы как-то повредить отношениям с Германией, немедленно резко опровергались. Поездка Молотова в Берлин бы-

ла подана как большое событие и широко комментировалась. В середине ноября «Правда» опубликовала задним числом фотографию Гитлера с Молотовым, снятую во время переговоров.

На наших курсах по понедельникам в ЦК МОПРа вначале тщательно избегались все темы, затрагивающие текущее международное положение и отношения между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Помимо обязательной проработки истории ВКП(б) — на курсах мне пришлось проходить ее в третий раз — мы изучали основы марксизма-ленинизма и слушали лекции по истории немецкого рабочего движения.

Уже на второй лекции выступил Вальтер Ульбрихт, которого я до сих пор знал только по имени. Он подробно разбирал революцию 1918 года, но ни словом не упомянул об актуальных вопросах борьбы с фашизмом. В другой раз мы присутствовали на докладе о характере мировой войны. На основании официальной точки зрения на различие между справедливыми и несправедливыми войнами нам и теперь еще — в конце 1940 года — пытались доказать, что обе стороны, как Германия и Италия, так и Англия и Франция, ведут несправедливую империалистическую войну. Только весной 1941 года я смог уловить легкое изменение «линии». В одной из лекций Вальтер Ульбрихт говорил о том, что характер войны может измениться в ходе ее течения и что подобные случаи не раз бывали в истории. В зале царила глубокая тишина, ибо подобных утверждений нельзя было найти в те времена в советских газетах. «Этот факт — объснил Ульбрихт — приобретает особенное значение в связи с нападением Германии и Италии на Югославию и Грецию. Здесь мы находим элементы, в особенности в случае с Югославией, которые позволяют заключить, что эти два народа ведут в известной степени справедливую оборонительную войну против внешней агрессии».

Хотя формулировки Ульбрихта и были очень осторожными, хотя он и не произнес слова «фашизм» — запрещенного в период советско-германского пакта о ненападении — указание было для меня достаточно ясным.

Прошло несколько недель. Деликатные темы больше не затрагивались.

В понедельник 16 июня 1941 года мы, как обычно, собрались на очередной вечер в здании ЦК МОПРа. В этот ве-

чер снова выступал Вальтер Ульбрихт. После полуторачасового доклада было объявлено, что можно задавать вопросы. Последовал ряд вопросов по докладу Ульбрихта, который, насколько мне помнится, не имел прямого отношения к текущему моменту. Но так как постепенно, в ходе беседы, мы перешли и к злободневным вопросам, один из слушателей спросил:

— Товарищ Ульбрихт, иностранные газеты все чаще пишут об опасности немецкого нападения на Советский Союз. Правда, эти сообщения категорически опровергаются советской печатью, но хотелось бы узнать об этом более подробно.

Однако Ульбрихт не поддался на этот вопрос. Он только вкратце повторил официальные опровержения и заключил словами:

— Это слухи, распространяемые с провокационными намерениями. Никакой войны не будет.

Через шесть дней по приказу Гитлера началось наступление на Советский Союз.

ГЛАВА III

НАЧАЛО ВОЙНЫ В МОСКВЕ

На черной доске института висело объявление: «Общее собрание студентов английского факультета по случаю 1 мая состоится в актовом зале вечером 30 апреля».

Я пришел в актовый зал незадолго до начала собрания. Все были в хорошем настроении, оживлены и веселы. Весна 1941 года была прекрасной. Наши девушки были разодеты, все радовались двум предстоящим дням отдыха.

Казалось, что целая вечность отделяла нас от периода чисток. Да и закон от 2 октября казался уже историей.

Президиум занял свои места. В него входили: руководитель факультета, кое-кто из преподавателей, партийные и комсомольские секретари из наиболее активных, которых хотели особо отметить.

Как всегда был избран почетный президиум. Его состав предложил председатель собрания. Перечень имен шел в точно установленном порядке. Такие имена как Сталин, Молотов, Ворошилов и другие, мы встречали аплодисментами. Когда председатель назвал имя Сталина мы, как положено, встали с мест и, как положено, аплодировали дольше, чем при перечислении имен других вождей.

В этот день доклад читал советский командир, наш преподаватель военного дела.

Выступление докладчика было построено по обычному плану. Сперва он рассказал об успехах Советского Союза в области экономики, в промышленности и сельском хозяйстве, в области обороны и культуры. Потом мы услышали о расцвете культуры и успехах во всех областях жизни автономных республик. В подтверждение приводились бесконечные цифровые данные. Конец доклада был посвящен международному положению. Нам поведали об империалистической войне в Европе и о мудрой политике Сталина, благода-

ря которой Советский Союз не был втянут в войну. Но докладчик указал на опасность возможного расширения военных действий.

Так как Советский Союз не принимал участия в этой войне, то студенты отнеслись к докладу довольно безразлично. Возможно, что у большинства мысли были уже заняты предстоящим вечером, который должен был начаться после официальной части.

И вдруг докладчик подчеркнуто медленно и отчетливо произнес:

— Вчера вечером было получено известие, что немецкие войска высадились в Финляндии.

Дальнейших разъяснений не последовало.

После окончания доклада некоторые студенты остались, чтобы поделиться впечатлениями.

— Когда я услышала эту фразу, — сказала одна студентка, — у меня по спине мурашки забегали.

Всем нам было как-то не по себе. Мы смутно почувствовали приближение опасности.

На следующее утро мы собрались перед институтом на демонстрацию. В этом году я участвовал в шестой раз на первомайской демонстрации в Москве. Вчерашнее было забыто. Пока нам раздавали транспаранты с лозунгами и с изображениями вождей, мы шутили и пели.

Лозунги по всей стране были одинаковые. Незадолго до праздника в «Правде» публиковались нужные партии лозунги.

Часа через два мы проходили колоннами по Красной площади. «Да здравствует мирная политика Советского Союза!» — неслось из репродукторов. «Мир! Мир!» Никогда еще эти слова не повторялись с такой настойчивостью.

Шедший рядом со мной товарищ, который, как и я, интересовался политикой, прошептал: «Что-то носится в воздухе» . . . Он обладал тем острым чутьем, которое позволяло многим в Советском Союзе делать из малейшего признака или намека далеко идущие выводы.

У нас впервые появилось сомнение в прочности и нерушимости пакта с Германией, о которых нам беспрерывно твердили. Еще совсем недавно нам говорили на одной из лекций: «Существует два вида брака. Один основан на любви, другой — на расчете. Наш пакт с Германией можно сравнить с браком по расчету. В этом нет ничего умаляющего. Из-

вестно, что браки по расчету часто бывают прочнее и длительнее, чем браки по любви».

7 мая вышел указ, назначавший Сталина, официально занимавшего лишь пост генерального секретаря партии, председателем Совета народных комиссаров. Молотов, бывший до сих пор формально главой правительства, был назначен его заместителем.

В начале июня повсюду проходили обычные собрания в связи с выпуском нового государственного займа. Официально участие в займе считалось добровольным. Каждый мог по собственному усмотрению устанавливать размер своего вклада. На самом же деле уже давно вошло в обычай участвовать в займе в размере месячного оклада.

Подписные листы появились и в нашем институте. Перед фамилией каждого была уже вписана та сумма, которую он «добровольно» вносил. Нам оставалось лишь подписаться. Сумма автоматически удерживалась из наших получений. За это нам выдавали государственные облигации, сроком на 20 лет.

На этот раз подписка на заем проходила под лозунгом «дальнейшего развития мирного строительства».

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС

Июнь 1941 года. В начале месяца мы вступили в период экзаменов. Почти во всех комнатах нашего общежития до поздней ночи горел свет.

Все наши разговоры вертелись вокруг экзаменов. Мы настолько ушли с головой в вопросы фонетики, латыни, педагогики, английской истории и литературы, в вопросы марксизма-ленинизма и военного дела, что в течение этих недель почти не следили за политическими событиями. Но совершенно от них отгородиться нам не удалось даже в этот горячий предъэкзаменационный период.

Одна из студенток, встретив меня в институте, начала со мной разговор, боязливо осмотревшись по сторонам:

— На советско-финской границе красноармейцы получили приказ удалить со своей формы знаки принадлежности к воинским частям. Такие приказы издаются только тогда, когда существует опасность военного столкновения.

Я отнесся скептически к ее сообщению.

— Почему на советско-финской границе? Ведь Финляндия только что проиграла войну с Советским Союзом. Не будут же финны теперь нападать на Советский Союз?

— Но, может быть, Финляндия хочет напасть вместе с Германией? Это сообщение точное, — продолжала она. — Брат моей подруги — офицер и находится там. Ты только не смей никому об этом говорить!

Этот разговор меня встревожил. Неужели на самом деле существует опасность войны? Я думаю, что в то время я был не единственным человеком в Советском Союзе, размышлявшим над этим вопросом.

Спустя несколько дней наши опасения были рассеяны. Газета «Правда» от 8 июня опубликовала на первой странице сообщение о советско-финских отношениях. В сообщении говорилось, что несмотря на то, что Финляндия не выполнила всех обязательств торгового договора с Советским Союзом, Сталин принял решение в кратчайший срок предоставить в распоряжение Финляндии добавочно к отправленным уже товарам 20 000 тонн зерна.

Как и многих других, это сообщение снова настроило меня оптимистически.

В Москве рассуждали так: «Не будут же посылать в Финляндию 20 000 тонн зерна, если чувствуется непосредственная опасность нападения Финляндии на Советский Союз».

Через несколько дней, направляясь к станции метро Дзержинская, я заметил, что в подвалах некоторых домов ведутся строительные работы. Вначале я этому не придал никакого значения. Но когда на следующий день я побывал в других районах Москвы, я увидел, что подобные работы ведутся во многих местах. Конечно, я не был единственным, кто это заметил. И опять по городу поползли слухи.

— Вы уже видели? Строят бомбоубежища . . .

— Абсурд, это строят склады.

— Я вам говорю, это готовятся к противовоздушной обороне.

— Какие глупости! Просто строятся зимние склады для картошки.

Так в первой половине июня по всей Москве бродили тревожные и успокаивающие слухи. Сообщение о поставке 20 000 тонн зерна Финляндии прекратило разговоры о финском нападении. Но те, кому удавалось слушать иностран-

ные радиопередачи, выражали теперь свои опасения в отношении гитлеровской Германии.

С одним из таких людей у меня был следующий разговор:

— В Англии утверждают, что Гитлер готовится к войне с Советским Союзом. — Он поспешно добавил: — но, конечно, это английская пропаганда! Они явно хотят посеять недоверие между нами и Германией.

В то время пакт с Германией был выше какой-либо критики.

Большинство людей, с которыми я разговаривал в те дни в Москве именно так и считали: «враждебная пропаганда».

А те, немногие, которые продолжали сомневаться и тревожиться, окончательно успокоились 14 июня 1941 года. В этот день — за восемь дней до начала войны! — все советские газеты опубликовали на видном месте сообщение, что слухи о будто бы ухудшившихся отношениях между СССР и Германией не имеют никаких оснований. В этом сообщении подчеркивалось, что Советский Союз, верный своей политике мира, не нарушал и не намерен нарушить советско-германский договор о ненападении. Поэтому все слухи о том, что Советский Союз готовится к войне с Германией являются не чем иным, как провокационной выдумкой.

Дальше следовало заявление, которое в истории международных отношений останется единственным в своем роде. Советское сообщение не ограничилось тем, что еще раз подтвердило верность Советского Союза договору о ненападении. В сообщении опровергались также все ходившие слухи о военной подготовке Германии. Естественно, что именно эта часть сообщения привлекла самое пристальное внимание.

В ней утверждалось, что по данным, имеющимся в Советском Союзе, Германия так же твердо придерживается условий пакта о ненападении, как и Советский Союз. С советской точки зрения слухи о существующем будто бы намерении Германии нарушить этот договор, слухи о готовящемся нападении на Советский Союз лишены всякого основания. По всей видимости, — говорилось далее в сообщении, — перегруппировка немецких войск, происходящая после балканского похода в восточной и северо-восточной части Германии, как следует полагать, зависит от причин, не имеющих ничего общего с отношениями между Германией и СССР.

В это утро никто к экзаменам не готовился. Студенты толпились в вестибюле общежития перед «Правдой», вывешенной, как обычно, на стене. Настроение было превосходное. Все бесконечно обрадовались, что самые страшные предположения не оправдались. Строились планы на летние каникулы.

22 июня — последние экзамены. И тогда отдых, отдых, отдых . . .

Я разделял всеобщую радость. У меня еще не было твердых планов, как провести каникулы, но не это было главным, главное — что все опасения оказались беспредметными! Лишь бы выдержать экзамены, а тогда можно по-настоящему отдохнуть!

ВЫСТУПИТ МОЛОТОВ!

Вечером 21 июня мы сидели с моим товарищем по комнате, польским студентом Бенеком Гиршовичем, над нашими книгами. На следующий день предстоял последний экзамен.

Вдруг послышался стук в дверь.

— Кого это еще чорт несет? — возмутился Бенек.

Мы не переносили, когда нам мешали во время подготовки к экзаменам. Стук упорно продолжался. За дверью послышался полупросительный, полутребовательный голос:

— Откройте!

Тот, кто стоял за дверью, по-видимому не был студентом. Я раздраженно рванул дверь. Передо мной стоял маленький человек с большим свертком не то бумаги, не то картона под мышкой.

— Товарищи студенты, я бы вам не помешал заниматься, но меня прислало управление института, чтобы наладить маскировку окон в вашей комнате.

Он завозился около окна, прибил какую-то планку и прикрепил к ней бумагу. Мне стало не по себе. Но Бенек, участник испанской войны, оставался спокойным. Он даже спросил с улыбкой:

— Да разве мы в такой опасности?

Маленький человек махнул рукой:

— Помилуйте. Это лишь общие меры предосторожности. У нас обстановка мирная, но в Западной Европе война-то в полном разгаре. Эти меры предосторожности так, на всякий случай.

По всей видимости это было официальное объяснение, которое он уже давал и в других комнатах. Через несколько минут маскировка была сделана.

Бенек не стерпел:

— Ну, посмотрим, как она действует. В Барселоне у нас тоже были такие приспособления.

Мы начали развлекаться, спуская и подымая маскировку, которая стала новым украшением нашей комнаты.

Вскоре эта игра нам надоела. Но ни я, ни Бенек и никто другой из студентов не поверил бы в этот вечер, что надвигается настоящая опасность. У нас были другие заботы: завтра был день последних экзаменов в этом учебном году!

Все это происходило 21 июня 1941 года. До поздней ночи мы были заняты подготовкой к экзаменам.

На следующий день, 22 июня, многие студенты встали спозаранку. Многие поставили будильники на пять и шесть часов утра, чтобы использовать последние часы перед экзаменами для проверки своих знаний. Мы с Бенеком были другого мнения, — он согласился со мной, что самое важное перед экзаменами — сон. И мы решили проспать до девяти часов.

Однако нам это не удалось. Рано утром поднялась взволнованная беготня по коридору.

— Проклятые идиоты! Не дают выспаться перед экзаменами, — пробурчал в полусне Бенек.

Я его поддержал и прибавил еще смачное русское ругательство. Однако, беготня все усиливалась. Ни о каком сне нельзя было больше и думать. Мы не успели встать с постелей, как кто-то начал ломиться в нашу дверь.

— Будет выступать Молотов! Полчаса назад об этом передали по радио и с тех пор непрерывно повторяют. Говорят, что будет важное сообщение, — прозвучал за дверью взволнованный голос одного из студентов.

— Когда же он выступит?

— В 12 часов, — послышалось в ответ из коридора.

Мы посмотрели на часы, было 9. Оставалось еще много времени, и мы пытались сосредоточиться на предстоящем экзамене. Но из этого ничего не получалось.

Казалось, что время движется невероятно медленно. Наконец, мы услышали объявление:

«Говорит Москва. Мы передаем выступление замести-

теля председателя Совета народных комиссаров Советского Союза, народного комиссара иностранных дел Советского Союза, Вячеслава Михайловича Молотова».

После короткого перерыва мы услышали голос Молотова.

«Граждане и гражданки Советского Союза, — начал он торжественно и серьезно, — сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо требований и без объявления войны немецкие войска перешли границу нашей страны и бомбардировали Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и ряд других наших городов. Вражеские налеты и артиллерийский обстрел ведутся также с румынской и финской территорий. Это неслыханное и вероломное нападение на нашу страну не имеет примеров в истории цивилизованных стран. Нападение на нашу страну произошло несмотря на то, что существовал договор о ненападении между Советским Союзом и Германией и несмотря на то, что советское правительство точно выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну произошло несмотря на то, что в течение всего времени существования этого договора немецкое правительство ни разу не предъявляло каких-либо требований к Советскому Союзу. Ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз ложится тем самым полностью на фашистских правителей Германии».

Когда впервые после двух лет по московскому радио вновь прозвучало слово «фашистский», мы невольно вздрогнули. Помолчав несколько секунд, Молотов продолжал свою речь:

«Теперь, когда свершилось нападение на Советский Союз, советское правительство отдало приказ нашим войскам оказать сопротивление этому разбойничьему нападению и выгнать немецкие войска с территории нашей родины.

Эта война не была нам навязана немецким народом, немецкими рабочими и крестьянами, немецкой интеллигенцией, страдания которых мы понимаем, она была нам навязана кликой кровожадных фашистских правителей, которые поработили французов, чехов, поляков, сербов, норвежцев, датчан, греков и другие народы».

После этого Молотов остановился на одном историческом примере, к которому многие потом неоднократно прибегали в течение всего первого периода войны.

«Не впервые наш народ имеет дело с зазнавшимся вра-

жеским захватчиком. В свое время наш народ ответил на поход Наполеона против России Отечественной войной. Сперва последовало поражение, а потом и полный разгром Наполеона. То же самое произойдет с зазнавшимся Гитлером, который начал новый поход на нашу страну. Красная Армия и весь наш народ вновь ведут победоносную Отечественную войну за нашу родину, за честь и свободу».

Выступление Молотова было самой короткой речью, которую мне приходилось слышать в Советском Союзе. Он закончил ее призывом к советскому народу:

«Граждане и гражданки Советского Союза! Правительство призывает вас сплотиться еще теснее вокруг нашей славной большевистской партии, нашего советского правительства и нашего вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Молотов окончил свою речь, однако смысл ее содержания с трудом входил в наше сознание. В наших ушах еще звучали его слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы сидели окаменев, не в состоянии охватить значения случившегося. Мы вышли с Бенеком из комнаты, нас тянуло к людям. В соседней комнате разговаривали несколько студентов и мы подсели к ним. Настроение у всех было подавленное и тревожное. По радио передавали военные песни и марши, но они никак не гармонировали с нашим внутренним состоянием.

В комнату вошла одна студентка. Громко и энергично, почти радостно, она заявила:

— Ну, теперь мы повоюем!

— Нет никакой причины радоваться, — последовал ответ одного из нас, — война всегда приносит с собой ужасы и страдания.

Мы вновь умолкли. В этот момент я ощутил, насколько я сросся с Советским Союзом. Я начал размышлять о том, что многое из того, что было построено за эти годы будет разрушено, что война потребует бесчисленных человеческих жертв, что развитие страны будет приостановлено и многие достижения будут уничтожены. Меня удручало это сознание. Несмотря на все свои критические мысли и оппозиционные настроения, я продолжал восторгаться строительством в Советском Союзе и известие о войне подавило меня. Должно быть мысли и чувства остальных студентов мало отличались от моих. Постепенно мы начали приходить в себя.

Мы прервали давящее молчание и начали, нерешительно и задумчиво, высказывать разные предположения.

— Теперь настанет конец гитлеровскому фашизму. Теперь Гитлеру придется расплачиваться за свою захватническую политику в Европе.

— Наверно наши войска немедленно войдут в Польшу.

Но было высказано и скептическое мнение:

— Борьба будет очень тяжелой. Надо считаться с тем, что Гитлер продвинется к Западной Украине и к Западной Белоруссии, и что его наступление сможет быть остановлено лишь на старых границах Советского Союза. У нападающего всегда более выгодное положение.

Но это мнение вызвало возражение всех присутствующих. Начиная с 1936 года нас беспрерывно убеждали в том, что повторение интервенции 1919-1922 гг. теперь уже невозможно. На всех собраниях нам доказывали, что в случае нападения на Советский Союз, Красная армия отобьет агрессора и разобьет его на его собственной территории. Уверенность в этом настолько вошла нам в плоть и кровь, что войну на советской территории мы себе просто не могли представить.

Один из наших студентов задал вопрос, который в этот день наверно задавался везде, где речь шла о войне:

— А что будет теперь делать Англия?

Наши мнения разделились. Одна из студенток начала утверждать, что теперь мы будем вместе с Англией бороться против Гитлера. Но после двух лет советско-германского пакта эта мысль казалась почти невероятной.

Послышалось скептическое возражение. Один из студентов сослался на полет Гесса в Англию:

— Никакой настоящей войны между Германией и Англией до сих пор не было. Зато теперь они совместно пойдут против Советского Союза.

Но с этим предположением мало кто соглашался. Большинство нашей студенческой группы считало, что у нас образуется общий фронт с Англией против Гитлера.

— А наши экзамены! — воскликнула вдруг одна из студенток.

Напоминание об экзаменах вернуло нас к проблемам нашей обычной жизни. Мы вышли из общежития. На улицах бродили толпы людей. Москва напоминала потревоженный муравейник. Магазины были переполнены. Все бросились

делать закупки, помня, что в России война сопровождается всегда голодом. Мы были политически сознательными комсомольцами и отнеслись к этим закупкам отрицательно. Продавец папирос посмотрел на меня с удивлением, когда я попросил у него лишь одну пачку. Все остальные покупали десятки пачек.

В нашем институте настроение было значительно спокойнее. Комсомольские работники обходили студентов, призывая нас не поддаваться панике и спокойно продолжать наши занятия. Мы даже были оскорблены немного и ответили, что мы это понимаем и без них.

Перед дверью в экзаменационную стояло несколько студентов в ожидании вызова. Мы поддались царящей вокруг атмосфере и вскоре наши экзамены были позади. С какой радостью еще несколько дней тому назад я выбежал бы из экзаменационной комнаты, отпраздновал бы окончание экзаменов и строил бы планы на лето. Теперь мои мысли шли в другом направлении. Я думал только об одном: есть ли новости о войне?

Но новостей не было. Война началась в четыре часа утра. Сейчас было четыре часа дня. Прошло уже двенадцать часов с начала военных действий, но радио ничего не передавало о событиях на фронте.

По всему городу были установлены громкоговорители, разносящие повсюду слова Молотова и звуки маршей. От времени до времени дикторы читали призывы к борьбе против фашизма. Я бродил по Москве — как и большинство людей в этот день. Когда я пересекал Театральную площадь, из репродуктора послышались слова: «Эти фашистские варвары . . .» В этот момент я услышал рядом со мной иронический голос, который сказал по-английски: «Ну, наконец-то, и они стали антифашистами». Я быстро пошел дальше, так как знал, что оказаться рядом с иностранцем было опасно, даже если этот иностранец мог стать нашим союзником. Московское радио по-прежнему не давало сводок о военных действиях и по городу поползли самые разнообразные слухи:

«Агрессоров отбили от наших границ».

«Немецкие дессантные войска сброшены под Киевом».

«Красная армия преследует немцев на польской территории».

И все время возникал вопрос: Как поведет себя Англия? Ответ на него мы получили, наконец, в последних известиях.

Перед началом передачи известий московское радио дало выдержки из речи Черчилля о совместной борьбе против Гитлера. Мы облегченно вздохнули. В нашем общежитии, да верно и по всему Советскому Союзу, почувствовался прилив оптимизма.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

В утренних газетах были напечатаны жирным шрифтом новые лозунги:

«Советский народ могуч и сплочен, как никогда».

«Под руководством великого Сталина советский народ разгромит коварного врага».

«С именем Сталина мы побеждали, с именем Сталина мы победим».

Начиная с 23 июня, впервые после двухлетнего перерыва, в кинотеатрах снова начали показывать антифашистские фильмы. Перед кинотеатрами были развешены громадные афиши, объявляющие показ таких фильмов, как «Профессор Мамлок» (по пьесе Фридриха Вольфа) и «Семья Оппенгейм» (по роману Лиона Фейхтвангера). Газеты впервые упомянули и о движении сопротивления в странах, оккупированных Гитлером.

Наконец, появилась первая сводка. Оптимистические слухи, возникшие в первые дни войны, не оправдались. Мы услышали то, чего мы меньше всего ожидали: война шла на советской территории. В сводке сообщалось, хотя и в несколько туманной форме, что немецким войскам удалось «в отдельных местах продвинуться на 10-15 километров».

Одновременно с лозунгами и с первой сводкой о военных действиях было дано и официальное название начавшейся войны. Это была: «Великая Отечественная война советского народа». В первый момент я насторожился. Правда, такая формулировка не была для меня полной неожиданностью. Я ведь был свидетелем того, как за последние годы постепенно менялась советская пропаганда, вытесняя понятия революционного интернационализма и все больше подчеркивая советский патриотизм. Но я все же думал, что война будет названа хотя бы антифашистской освободительной войной, чтобы этим подчекнуть общие цели всех, находящихся под нацистским рабством, народов. Названием «Отечественная война» ее цели как бы ограничились интересами

Советского Союза, вернее даже — интересами России. Чувствовалось стремление провести параллель между Отечественной войной с Наполеоном в 1812-13 гг. и сегодняшней войной. Возможно, что, с точки зрения советского руководства, поддержку народных масс для ведения войны можно было получить, только подчеркивая значение отечества.

Но как и у большинства жителей Советского Союза, тревоги первых дней войны вытесняли из моей головы размышления над политическими формулировками.

В Балтийских республиках, в Белоруссии, в Карело-Финской и Молдавской союзных республиках, по всей Украине и в 13 областях РСФСР, в том числе в Московской и Ленинградской, было объявлено военное положение. На этих территориях военные власти получили право проводить все необходимые для обороны работы и мобилизовать для этих целей население.

Не только в западных округах, но и в Архангельске, на Урале, в Сибири, на Волге и на Кавказе был объявлен приказ о мобилизации возрастных групп от 1905 до 1918 года рождения.

В Москве и в Московской области начали проводить самые необходимые мероприятия противовоздушной обороны. Все дома должны были быть затемнены, а бомбоубежища приведены в порядок. Все театры, кино, клубы и парки, все рестораны, кафе и магазины (в Москве многие продуктовые магазины торговали до 24 часов) должны были закрываться в 22 часа 45 минут.

Во время войны были отменены все существующие правила об отпусках. Отпуска заменялись денежной выплатой. Руководители предприятий и учреждений получили право вводить сверхурочные часы, оплачиваемые в полуторном размере.

В нашем вузе, как и везде, в этот вечер проводилось комсомольское собрание, посвященное началу войны. Большое помещение, в котором проводились собрания нашего Института, было переполнено. Мы сидели в напряженном молчании. Казалось, что возродилось настроение времен революции и гражданской войны, о котором мы читали в комсомольских книжках. «Для комсомола настало время оправдать доверие . . .», услышали мы с трибуны. Мы это понимали и каждый из нас был готов доказать свою жертвенность. От руководителей нашей комсомольской организации мы

узнали, что часть наших комсомольцев были сегодня утром уже направлены на строительство новых очередных линий метро. Строительство должно было быть закончено в кратчайшие сроки, чтобы создать добавочные бомбоубежища для московского населения.

На собрании выступало несколько комсомольцев. Они часто употребляли слово «вероломно». В своих выступлениях они неоднократно подчеркивали, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз, нарушив договор о ненападении. В словах выступавших чувствовалось возмущение этим вероломным нападением и твердая воля отбросить назад вторгнувшегося агрессора.

Это чувство было искренним даже у тех, кто относился критически к режиму и был настроен оппозиционно. Оно было искренне даже у тех, чьи родители находились в заключении в сталинских лагерях. То, чего Сталин не мог полностью добиться ни террором, ни пропагандой, было достигнуто теперь благодаря Гитлеру. В эти дни 1941 года большинство людей в Советском Союзе видело в правительстве подлинных представителей своих интересов.

Рядом со мной стояла студентка, с которой у меня уже не раз бывали оппозиционные разговоры: она мне прошептала:

— На этот раз всё это действительно совсем иное.

В конце собрания несколько студентов запели «Интернационал» и, подхваченный всеми, он мощно зазвучал по всему залу. Мы вернулись в наше общежитие внутренне взволнованные. В эту ночь, с 23 на 24 июня, мы проспали только несколько часов. Нас разбудили сирены. В репродукторах голос диктора медленно повторял три слова, которые впоследствии нам пришлось слышать не раз: «Граж-дане! Воз-душ-ная тре-во-га!»

В эту ночь мы услышали эти слова впервые. До нашего сознания не сразу дошел их смысл. Совсем еще сонный я вскочил с кровати. Мой друг, участник испанской войны, ворчал:

— Проклятие! Я уже успел отвыкнуть. Прошло ведь два года с тех пор, как мы в Барселоне слышали нечто подобное.

Захватив наши противогазы, мы спустились в бомбоубежище. Это был простой подвал — один из тех, которые не успели оборудовать под убежище. И таких было еще боль-

шинство. Сперва было все тихо. Потом мы услышали вдали гул моторов и залпы зениток. Для нас все это было необычайным и волнующим. Как обычно в таких случаях, нашлись и среди нас «знатоки» военного дела. По звукам моторов они «узнавали» типы самолетов. Я отнесся к ним с недоверием. Довольно странно, что они называли только те типы самолетов, которые были знакомы нам по урокам военного дела.

Единственный, кто давал вразумительные объяснения, был мой товарищ, участник гражданской войны в Испании. Его авторитет рос буквально на глазах. Продержался он, однако, только до следующего утра. Утренние газеты сообщили, что ночная тревога была учебной. Проверялась подготовка к противовоздушной обороне в столице. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Трудно было скрыть, что в этой области почти ничего не было сделано. Видимо, даже высшее руководство партии и правительства не ожидало, что война начнется в июне 1941 года. Надо было наверстывать упущенное время: организовывать систему ПВО, создавать санитарные отряды и группы местной противовоздушной обороны, приспосабливать подвалы для бомбоубежищ, формировать части воздушной защиты, проводить затемнение и маскировку.

Работа закипела. Через несколько дней облик Москвы изменился. Самые высокие здания города, как, например, здание Совета министров и находящаяся напротив него огромная гостиница «Москва», до сих пор сверкавшая белизной, были перекрашены в маскировочные цвета. Мостовые главных улиц запестрели раскраской, создающей впечатление, что вы идете по крышам маленьких домов. Такие «крыши» появились также на главных площадях города, например, на площади Революции и на Театральной площади. В некоторых местах были даже разложены деревянные макеты таких крыш. Москва-река была перекрыта дощатыми щитами, чтобы лишить вражеских летчиков возможности ориентироваться.

Метро превратили в огромное бомбоубежище, соорудив вдоль всех линий помосты из досок. Для этой работы потребовалось всего несколько дней. Большинство жителей Москвы могло быть защищено от налетов в туннелях метро, тем более, что глубина московского метро достигала 16—35 метров. Только станция «Кировская», находящаяся на самой большой глубине, была закрыта для населения. Она была от-

ведена под бомбоубежище для членов дипломатического корпуса и для лиц привилегированного слоя.

С наступлением темноты над Москвой подымались огромные воздушные шары, так называемые «аэростаты воздушного заграждения». Рассказывали, что между ними были протянуты проволочные сети, создающие весьма действенное заграждение против вражеских самолетов.

Утром 24 июня было вывешено объявление, призывающее всех комсомольцев собраться в вузе для выполнения особого задания. Секретарь нашей комсомольской организации повел нас в «Дом ученых» на Кропоткинской улице. «Дом ученых» явно перестал служить своему прежнему назначению. В нем собрались тысячи комсомольцев, многие с газовыми масками, большинство одетые в тренировочные костюмы.

Секретарь райкома комсомола был встречен бурными аплодисментами. Он обратился к нам с кратким словом:

— Товарищи! Районный комитет комсомола призывает вас выполнить особое задание. Сегодня утром были получены новые транспаранты и плакаты. Их надо развесить по улицам города. Выполнение этого задания решено поручить комсомольцам города Москвы.

С поразительной быстротой мы разбились на группы, получили клей, лозунги и плакаты, а также указания каждой группе, в какой части города она должна работать. Выданный нам пропагандный материал был различного типа. На транспаранте был написан большими буквами основной лозунг того периода:

Наше дело правое.
Враг будет разбит.
Победа будет за нами.

Плакаты были большого размера и по своему содержанию значительно интереснее. На одном из плакатов был нарисован договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией. Договор как бы охранял советских граждан, изображенных на этом плакате, занимающимися под его защитой мирным трудом. Но за договором на плакате был нарисован нацист, пронзающий его штыком и ранящий советских людей.

Еще более выразительным мне показался другой плакат. До сих пор я не встречал еще в Советском Союзе такого впе-

чатляющего плаката и, по-моему, за все военные годы не было больше создано плаката такой пропагандной силы. На заднем плане плаката была изображена тень Наполеона и в эскизном наброске гибель французской армии при переправе через Березину. Передний план плаката занимала резко очерченная карикатура Гитлера. В левом верхнем углу стояла цифра — 1812, а в правом нижнем — 1941. Текст плаката состоял из четырех слов: «Так было — так будет».

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОПАГАНДЕ

Вскоре после начала войны был издан приказ о сдаче всех частных радиоприемников. Собственникам радиоприемников давался срок в 48 часов, в течение которых они должны были сдать свои аппараты в ближайшее почтовое отделение, при этом на радиоприемник выдавалась расписка.

Перед почтовыми отделениями образовались длинные хвосты. Люди терпеливо ожидали своей очереди для сдачи приемников. На расписках значилось, что радиоприемники будут возвращены по окончании войны. Но в это мало кто верил. Большинство было убеждено в том, что больше никогда не увидит своих радиоприемников. Приемники сваливали под открытым небом во дворах почтовых отделений.

Одновременно с этим вышло распоряжение, запрещающее выключать репродуктор в общежитиях, в учреждениях и на заводах.

Эти постановления не противоречили друг другу. Примерно так же, как и сегодня, в 1941 году радиоприемники были доступны только определенной части населения. Но зато во всех учреждениях, в студенческих общежитиях, в рабочих клубах и в других общественных местах висели маленькие, черные, веерообразные репродукторы, передававшие исключительно программы близлежащих радиостанций. Это была самая распространенная форма радиослушания в Советском Союзе (впрочем, такой она осталась и до нынешнего дня).

После того, как были конфискованы все частные радиоприемники, стало возможным обслуживать всех советских граждан одинаковыми для всей страны программами и информациями. Как правило, советские радиостанции ограничивались дословным повторением передач московского ра-

дио, добавляя к ним лишь короткие программы местного значения. Такая система гарантировала централизованную пропагандную обработку всего населения. Советское правительство было теперь более, чем когда-либо, заинтересовано в укреплении такой системы. С первых же дней войны пропагандная работа приняла невероятный размах.

Можно просто поражаться, с какой быстротой менялось содержание пропаганды. На вооружение были взяты национальное чувство, патриотизм и идея Отечественной войны. Одновременно из пропагандного словаря исчезли такие понятия как «партия», «социализм» и «коммунизм».

Но эти изменения не были, как часто предполагают, только следствием обусловленной временем тактики. Происходило вполне логичное развитие тех идеологических изменений, которые начались уже в предвоенные годы. Когда в песнях или статьях затрагивалась тема возможного нападения на Советский Союз или будущей войны, то до 1935 года она всегда развивалась в классовом понимании, с упором на то, что война перерастет в революцию. Но постепенно такое понимание войны начало оттесняться понятием советского патриотизма, не исчезая, однако, еще полностью из пропагандного обихода. Во время конфликта с Японией, летом 1938 года, когда в течение нескольких дней шли пограничные бои у озера Хасан на Дальнем Востоке, советская пропаганда еще сливала в одно оба понятия. Официальный лозунг тех дней звучал: «За родину, за коммунизм».

Слияние понятий родины и коммунизма продолжалось вплоть до 1941 года. Внедрению этой пропагандной линии служила, в частности, кинокартина из времен гражданской войны, которая совершенно по-новому раскрывала борьбу Красного флота в 1918-1919 гг. В отличие от предыдущих картин на подобные темы, царский адмирал был в ней показан не как отрицательный, а как положительный персонаж. Согласно сценарию этого фильма, царский адмирал служит, несмотря на свое классово чуждое мировоззрение, верой и правдой Красному флоту. Несмотря на разницу во взглядах, у адмирала создаются товарищеские, почти дружеские, отношения с комиссаром, присланным для наблюдения за ним. Оба проявляют во время боев одинаковую храбрость. Оба покидают тонущий крейсер последними; адмирал со словами: «за отечество», комиссар со словами: «за коммунизм».

После начала войны наступил новый этап в развитии

пропаганды. Единственным содержанием пропаганды стали, почти без исключения: отечество, родина, русская земля, патриотизм. Это новое направление в пропаганде появлялось не только в печати и в радиовещании, но, пожалуй, больше всего в пропаганде, рассчитанной на зрительное восприятие, как, например, плакаты.

Для этой цели уже в первые недели войны было создано так называемое «окно ТАСС». (ТАСС — сокращенное название телеграфного агентства Советского Союза). «Окно ТАСС» объединяло группу советских художников и писателей, поставивших свой талант на службу пропаганде военного времени. Работа этой группы была направлена на создание новых плакатов с соответствующими надписями и на выпуск иллюстрированных серий. В этих сериях каждая иллюстрация сопровождалась короткими и доступными стихами. Примером для этого послужило «Окно РОСТа», созданное во время гражданской войны самыми известными партийными писателями и художниками, среди которых был и поэт Маяковский.

Почти ежедневно выпускался новый плакат или новая серия иллюстраций. Оригиналы вывешивались на Кузнецком мосту, одной из главных улиц Москвы. Лучшие произведения издавались отдельными оттисками или использовались в печати. Поражало обилие творческих идей в этой группе писателей и художников, а также то впечатление, которое производили ТАССовские плакаты. Они сыграли немалую роль в советской пропаганде военных лет, воздействуя часто на таких людей, на которых длинные и тяжеловесные статьи «Правды» не производили никакого впечатления. Иллюстрированные серии выгодно отличались непосредственностью, а часто и своей сатирой от блеклого, бедного содержания многих ура-патриотических статей.

Спустя несколько недель на экранах появились старые кинокартины, приспособленные, однако, к требованиям сегодняшнего дня. Не без удивления я смотрел на новый вариант самой известной советской кинокартины «Чапаев». Этот фильм шел с 1934 года. Он кончался тем, что советский герой гражданской войны гибнет при попытке переплыть реку Белую под Уфой, сраженный пулеметной очередью отряда белых. Теперь концовка фильма была изменена. Вражеские пули не настигают Чапаева, он переплывает реку, выходит на противоположный берег и произносит такие слова: «Как

мы в гражданскую войну разбили белых, так мы и теперь добьем нашего смертельного врага — немецкий фашизм».

Этот немного странный метод добавлять к уже законченным картинам новые сцены был также применен к известной пьесе «Парень из нашего города». В этой пьесе и в одноименном фильме показывается судьба молодого советского парня, участника гражданской войны в Испании. Он попадает в плен к нацистам, где его расстреливают после допроса, учиненного ему немецким генералом. Этот фильм также шел теперь в новом варианте. Нацистский генерал также допрашивает молодого советского гражданина. Но, в отличие от первого варианта, парню удается бежать и он встречает нацистского генерала уже как пленного Красной армии.

Советская пропаганда уделяет немалое внимание перебежчикам из германской армии, появившимся в первые дни войны. Об этом мы узнали на собрании немецких эмигрантов через несколько дней после начала войны. Перед открытием собрания, которое происходило в здании ЦК МОПР, чувствовалась общая напряженность. Мы знали, что обычные политзанятия для немецких эмигрантов, были отменены. Руководитель занятий ограничился коротким вступлением.

— Слово имеет товарищ Ульбрихт.

Ульбрихт произнес краткую речь. Он говорил о преступлениях фашизма, о серьезности положения, о необходимости отдать все свои силы победе над фашизмом. Потом он заявил:

— Прошло только несколько дней после начала войны, но уже сегодня я могу вам сделать радостное сообщение: 22 июня первый немецкий солдат перешел на сторону советских войск.

Эта новость была встречена бурными аплодисментами. С напряженным вниманием мы слушали дальше.

— Этот солдат находился со своей частью в Румынии, на реке Прут. В ночь с 21 на 22 июня его части был объявлен приказ о наступлении на Советский Союз. Узнав об этом, солдат немедленно покинул свою часть, переплыл реку Прут, чтобы сообщить Красной армии о предстоящем нападении на Советский Союз.

Мой сосед прошептал:

— Если нашелся немецкий солдат, который перешел на сторону Советского Союза еще до начала военных действий,

то можно себе представить, что будет твориться, когда война разовьется по-настоящему.

Через несколько дней об этом немецком солдате (его звали Альфред Лисков) узнал весь Советский Союз. Его поступок был упомянут в первой сводке, а в «Правде» были помещены его фотография и заявление. В нем говорилось: «Я уже давно являюсь противником гитлеровского режима. Узнав о предстоящем нападении, я решил перейти на сторону Красной армии. Еще за день до нападения на Советский Союз никто не верил в возможность такого вероломного поступка. Можно себе легко представить, как немецкий народ отнесется к этой безумной авантюре».

Два дня спустя стало известно, что в Киеве приземлился немецкий самолет Ю-88. Команда самолета, состоявшая из четырех человек — унтер-офицер Ганс Герман из Бреславля, наблюдатель Ганс Крац из Франкфурта, старший ефрейтор Аппель из Брно, радист Вильгельм Шмидт из Регенсбурга — сообща приняли решение спуститься на советском аэродроме. Их заявление было напечатано во всех советских газетах. В нем говорилось, что, летая уже больше года вместе, участвуя в налетах на Лондон, Портсмут, Плимут и на другие английские города, они часто задавали себе вопрос: «Почему Гитлер воюет против всего мира? Зачем он несет всем народам Европы смерть и разрушение? ... Когда Гитлер объявил войну России мы решили действовать. 25 июня мы сбросили бомбы в Днепр и приземлили наш самолет под Киевом».

На следующий день на сторону советских войск перешла еще одна команда немецкого самолета.

Известия о немецких перебежчиках нас окрылили и в первые военные дни немецкие эмигранты были полны надежд и ожиданий. Как мне потом довелось узнать, советские органы также питали большие надежды на влияние пропаганды среди наступающих немецких войск. В первые недели войны в типографии «Искра Революции» в день печаталось иногда до двенадцати различных листовок на немецком языке. Правда, говорят, что их содержание было подчас весьма слабым и вызывало нередко только смех среди наступающих немецких солдат.

Весьма скоро обнаружилось, что мечты, зародившиеся в первые дни войны, были обманчивы. Чем скорее продвигалась немецкая армия, тем реже появлялись перебежчики.

Это привело к свертыванию пропаганды, обращенной к немецкой армии, и основное внимание было направлено на чисто военные вопросы. Для гражданского населения Москвы это означало, в первую очередь, развитие и укрепление противовоздушной обороны.

МОСКОВСКАЯ ПВО

На пятый день войны в нашем вузе и в студенческом общежитии были сформированы местные отряды ПВО. Санитарные отряды и отряды по поддержанию порядка состояли исключительно из девушек. Все студентки были включены в отряды пожарной службы. Наши отряды были сформированы в течение нескольких минут. Каждую вторую ночь дежурство падало на наш отряд. Нам дали следующие указания:

— С девяти часов вечера вы должны стоять на крыше. Зажигательные бомбы должны быть немедленно обезврежены. Более точные указания вы получите завтра после обеда от вашего инструктора.

Такой была наша первая инструкция и это, несмотря на то, что война длилась уже целую неделю.

На следующий день к нам явился молодой человек и представился нашим инструктором. От него мы получили дальнейшее уточнение наших задач:

— Сперва вы должны проверить, все ли убрано с чердаков, имеется ли там достаточно ящиков с песком, достаточно ли лопат и баков с водой, а также нужных инструментов. Ваша задача — дежурить на крыше и при попадании зажигательных бомб быстро хватать их щипцами и тушить в ящике с песком.

В том же духе был и ряд других его советов, которые он сам, видимо, получил только накануне. На этом закончился наш инструктаж.

Все чаще мне приходилось убеждаться, насколько мало было сделано для противовоздушной обороны на случай войны. Но несмотря на явную импровизацию, или, может быть, именно благодаря ей, у нас все наладилось сравнительно хорошо.

За несколько часов мы очистили чердаки нашего общежития и расставили там ящики с песком, лопаты и баки

с водой. Нам выдали противогазы. Мы раздобыли большие щипцы, при помощи которых должны были тушить зажигательные бомбы. Через несколько дней мы даже установили на нашей крыше маленькую будку укрытия для наблюдателя.

Время не ждало. Уже на второй день после сформирования отрядов противовоздушной обороны была объявлена первая воздушная тревога. Затем они следовали регулярно. Но первое время ни один немецкий самолет не достигал города. Начали уверять, что в Москве объявляют тревогу, как только самолеты показываются над Смоленском. Со спокойной душой мы взбирались на свои крыши, проверяли нашу боевую готовность и были в прекрасном настроении, уверенные, что и впредь ни одному немецкому самолету не удастся прорваться к Москве.

Такое положение длилось до 22 июля. Вечером этого числа я был свободен от дежурства. Когда дали тревогу, я находился примерно в пятнадцати минутах ходьбы от студенческого общежития.

Впервые я переживал воздушную тревогу вне общежития. Беспрерывной вереницей люди тянулись ко входам в метро. С полным равнодушием я последовал за толпой, которая стремилась к станции метро «Дзержинская». Внизу уже тысячи людей расположились на платформе.

Прошли полчаса, час, наконец, два часа, а отбоя все еще не давали. Вдруг по туннелю прошел слух, что на этот раз дело не шуточное, что над Москвой появились немецкие самолеты. Через несколько минут мы ощутили первые взрывы бомб. Они были отдаленные и слабые, но уже не могло быть сомнения: немецкие самолеты прорвали зенитные заграждения и сбросили первые бомбы над Москвой.

Вдруг раздался сильный взрыв. Даже здесь, в глубоком подземелье, мы ощутили сотрясение. Спящие люди повскакивали с мест, женщины начали кричать. Во мгновение ока сотни людей оказались на ногах, готовые куда-то бежать. Последуй еще один взрыв — паника была бы неизбежна. И в переполненном туннеле метро она принесла бы, пожалуй, не меньше жертв, чем самая сильная бомба.

— Куда вы собираетесь бежать? — прогремел вдруг сильный и убеждающий мужской голос.

Его поддержал другой не менее мужественный голос:

— Остановитесь! Здесь самое безопасное место!

Люди начали успокаиваться и занимать свои места. Панику удалось прекратить.

Это было первое боевое крещение для населения Москвы. В эту ночь, с 22 на 23 июля, произошло то, что еще так недавно казалось невероятным: над Москвой были сброшены бомбы.

НЕМЕЦКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

По всему фронту, от Белого до Черного моря, немецкие войска продолжали наступать.

В первые недели советские сводки были весьма неопределенными. Только в самых редких случаях давались названия населенных пунктов. Как правило, в сводках упоминались только «направления» и «районы», в которых шли бои. Карт с указанием линии фронта не существовало.

Однако по указанным «направлениям» и «районам» было легко установить, насколько быстро продвигалась немецкая армия. Никаких объяснений такому быстрому продвижению не давалось.

30 июня, т. е. через восемь дней после начала войны, был создан под председательством Сталина, Государственный комитет обороны СССР. Кроме Сталина в Комитет входили: Молотов, Маленков, Ворошилов и Берия. Государственный комитет обороны фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Каждый гражданин Советского Союза, весь аппарат партии и комсомола, все государственные органы и вся армия были обязаны беспрекословно выполнять все решения и приказы Комитета обороны. Вскоре после создания Государственного комитета обороны им был издан приказ о назначении маршала Ворошилова командующим Северо-Западным фронтом, маршала Буденного — Юго-Западным, а народного комиссара обороны маршала Тимошенко — командующим Западным фронтом.

Эти назначения временно подняли настроение в народе. Часто мне приходилось слышать такое мнение:

— Первое время ушло на подготовку и на организацию. По-настоящему война начинается только теперь. Скоро наступит перелом в положении на фронте.

Но перелом не намечался. Немецкая армия продолжала наступать.

3 июля, в 6 часов утра, по радио передали выступление Сталина. Это была его первая речь после начала войны. Мне приходилось слышать Сталина уже раньше. Однако на этот раз я с трудом узнал его голос.

Начало речи не могло не удивить. Вместо привычного обращения «Товарищи», Сталин начал словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Воины нашей армии и флота! Друзья мои, к вам обращаюсь я».

Слова Сталина прозвучали, как заклинание. И уже этих слов было достаточно, чтобы понять, что положение гораздо серьезнее, чем мы рисовали его себе по данным сводок Совинформбюро. Быстрое продвижение немецких войск Сталин объяснял неравными условиями для СССР и гитлеровской Германии. Эти условия были особенно выгодны для Германии и особенно неблагоприятны для Советского Союза, поскольку в Германии уже была проведена мобилизация, войска находились в полной боевой готовности и ждали только приказа, чтобы начать наступление. В то же время, СССР должен был сперва провести мобилизацию, а затем только смог перебросить войска к границам.

Сталин призывал советских людей отрешиться от «благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства». Сталин призывал перестроить работу на военный лад, защищать каждую пядь советской земли, укреплять тыл Красной армии, производить больше оружия и боеприпасов, организовать беспощадную борьбу против дезертиров, паникеров и распространителей слухов. Сталин далее заявил, что нужно немедленно, не взирая на лица, предавать суду Военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны. Сталин особенно упирал на то, что в случае вынужденного отхода частей Красной армии все ценное для народного хозяйства должно быть отправлено в тыл, а «все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должны безусловно уничтожаться». В конце своей речи Сталин призвал граждан во всех городах, которым угрожает опасность нашествия врага, создавать в помощь Красной армии отряды народного ополчения.

Сталин никогда не был пламенным оратором. Он всегда говорил медленно, спокойно и по-деловому, взвешивая каждое слово. Но теперь, слушая его речь, мы испуганно переглянулись. С такой неуверенностью, так запинаясь, Сталин

раньше никогда не говорил. Яснее, чем быстрое продвижение немцев, яснее, чем сводки с фронта, речь Сталина нам показала, в каком положении находился Советский Союз в начале июля 1941 года.

Прошло только две недели с начала войны, а немцы заняли уже Литву, почти всю Латвию и Эстонию, большую часть Белоруссии и Западной Украины. Немцы продвигались быстрее, чем это могли предполагать в день объявления войны даже самые неисправимые пессимисты.

По Москве пошли тревожные слухи. От одной студентки мы узнали, что немцы объявили о переходе на их сторону сына Сталина. Шепотом она нам рассказывала:

— Говорят, что он выступал у них по радио, передал содержание своих разговоров с отцом и призывал к борьбе против диктатуры Сталина.

Передавая нам эти сведения, она поспешила этот слух осудить. Мы же раздумывали над этим сообщением еще довольно долго. И не потому, что этот слух на нас подействовал — мы непоколебимо верили в победу Советского Союза. Нас тревожило, что подобные слухи могут иметь опасное влияние на политически неподкованных людей.

В наших опасениях мы не были одиноки. 7 июля президиум Верховного совета издал указ о том, что каждый, распространяющий ложные слухи, вызывающие волнения среди населения, может быть приговорен Военным трибуналом к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет, если законом не предусматриваются более суровые меры наказания.

Если не считать маскировки главных улиц, площадей и зданий, постройки бомбоубежищ и аэростатов воздушного заграждения, жизнь в Москве до середины июля мало изменилась. Парки культуры были наполнены тысячами москвичей, отдыхавших там после своей работы. Магазины и рестораны работали, как в мирное время.

Паника с закупками прекратилась на третий день после объявления войны, поскольку снабжение товарами продолжалось в привычных рамках.

Но эта нормальная обстановка внезапно изменилась 14 июля. В этот день весь город был на ногах. Перед всеми киосками, ресторанами и столовыми стояли длинные очереди, пожалуй, еще более многочисленные, чем в первый день войны.

Проходя мимо такой очереди, тянувшейся метров на триста, я спросил молодого человека, стоявшего последним:

— Что случилось? Почему такое творится?

— Спеши закупать! С завтрашнего дня вводятся продовольственные карточки. Ты разве не читал об этом в газетах?

Я вытащил из кармана последний номер «Правды», но ничего в нем не нашел. Парень поучающе сказал:

— В «Правде» ты ничего не найдешь. Об этом объявлено только в местных газетах.

Простояв в очереди час, я сдался: за это время очередь почти не продвинулась.

Продовольственные карточки действительно были введены на следующий день. Но в значительно большей степени, чем это мероприятие, меня волновали вести с фронта. Продвижение немецких войск продолжалось.

— Годами мы голодали, во всем приходилось себе отказывать, терпели лишения — все уходило на строительство, на оборону страны. А теперь? Не прошло и нескольких недель, а немецкие войска уже подходят к Ленинграду, Смоленску, Киеву . . . — так с горечью говорила мне одна пожилая русская женщина.

Я ей ответил, как отвечали в те дни все «сознательные» комсомольцы:

— Отступление только временное. Немецкие войска были к войне подготовлены, а Советскому Союзу пришлось мобилизацию проводить после начала войны.

Но события следующего дня заставили призадуматься и нас, комсомольцев.

17 июля в Красной армии снова был введен институт комиссаров при командирах.

В школе, в комсомоле, в институте мы много слышали о военных комиссарах. Нам всегда объясняли, что институт военных комиссаров был временным мероприятием, необходимым в период гражданской войны. В те времена Красная армия не имела еще достаточного количества надежных командиров. Институт военных комиссаров был необходим для обеспечения политическим руководством бывших царских генералов и офицеров, а частично и для наблюдения за ними. Когда в Красной армии был создан кадр своих надежных командиров необходимость в комиссарах отпала.

Однако через три недели после начала войны опять возникла необходимость в институте военных комиссаров. С большим вниманием я ознакомился с содержанием указа о его восстановлении.

В указе говорилось, что военный комиссар является «представителем партии и правительства в Красной Армии», который «наряду с командиром несет полную ответственность за выполнение войсковой частью боевых задач».

Военные комиссары были обязаны строго контролировать выполнение приказов вышестоящих командиров и немедленно сообщать Верховному Командованию и правительству о тех командирах, которые своими поступками пятнают «честь Красной Армии». Военные комиссары были обязаны вести беспощадную борьбу против трусов и дезертиров и с корнем вырывать всякую измену.

Эти фразы я перечел несколько раз. До сих пор мы не знали никаких подробностей о положении на фронте. Но теперь мы с волнением задавали себе вопрос: что же творилось на самом деле в войсках, если военные комиссары получили прямой приказ вести борьбу против изменников, паникеров и дезертиров?

20 июля был издан новый неожиданный для нас указ: Сталин назначался народным комиссаром обороны СССР. Бывший народный комиссар был назначен его заместителем. Еще неделю тому назад маршал Тимошенко упоминался как народный комиссар обороны.

Однако ни создание Государственного комитета обороны, ни назначение командующих фронтами, ни введение института военных комиссаров, ни назначение Сталина на пост народного комиссара обороны СССР не привели к изменению положения на фронте. Немецкая армия продолжала свое наступление и подходила к Смоленску.

В конце июля в Москве началась подготовка к эвакуации детских домов, яслей, музеев, а позднее и заводов. Все чаще встречались колонны грузовиков, направлявшихся к вокзалам, и по городам России потянулись длинные товарные составы поездов, двигавшихся в восточном направлении.

Призывы вступать в народное ополчение нам только подтверждали, что положение становится все более серьезным. В народное ополчение призывались не только студенты, но и преподаватели. Народное ополчение не имело никакой серьезной подготовки для ведения современной войны.

И все же на него возлагалась задача остановить движение гитлеровских танков. Часто можно было видеть на улицах Москвы отряды народного ополчения, как правило одетых в гражданское и вооруженных одними ружьями. Среди населения шли разговоры, что их отправляли в таком виде прямо на фронт. Я думаю нет надобности подчеркивать, что отряды народного ополчения были так же не в состоянии остановить движение противника намного превосходящего его силами, как немецкое ополчение (фольксштурм) не смогло остановить наступления войск союзников весной 1945 года.

В течение этих недель мы настолько были заполнены проблемами войны, что наши прежние критические и оппозиционные настроения потеряли свою остроту. Главной задачей для нас всех была борьба с фашизмом. Сомнения нас не мучили. Недавний трагический период показательных процессов и массовых арестов мало кем вспоминался. Большинство знакомых мне комсомольцев и студентов искренне желало победы Советского Союза над Гитлером. Правда, с этим желанием переплетались надежды на более свободную и независимую жизнь в СССР после победы.

Но мы настолько были воспитаны в духе сталинской системы и настолько проникнуты сталинской идеологией, что нам не приходило в голову отрицать основы этой системы. Наши желания ограничивались тем, чтобы в рамках существующей системы — другую мы себе в те времена просто не могли представить — жить свободнее и непринужденнее и иметь возможность более тесного духовного общения с другими странами. Однако уже в ближайшие дни я понял, насколько далеки мы были от осуществления даже таких скромных надежд. Вместе с молодым австрийцем Гансом Гансличеком, бывшим воспитанником нашего детдома №6, работавшим теперь специалистом на московском автозаводе им. Сталина, я был приглашен в гостиницу «Люкс» австрийским работником Коминтерна Вилли Финком. Как сотрудник Коминтерна, Вилли Финк имел возможность ознакомления с иностранной печатью, в том числе и с нацистскими газетами.

За чаем зашел разговор о последних налетах на Москву. Вилли Финк, читавший также «Фёлькишер Беобахтер», передал нам, что нацистская печать, сообщая о полетах, дала описание грандиозных пожаров в Москве. Мы рассмеялись — при таких незначительных налетах «грандиозных» пожаров

просто не могло быть. Эти сообщения особенно понравились Гансу:

— Об этом я должен обязательно рассказать ребятам на заводе, пусть посмеются над такими глупостями.

Разговор перешел на другие темы, но Вилли Финк чем-то был заметно обеспокоен. При прощании он нас попросил:

— Пожалуйста, никому не рассказывайте о том, что нацистская печать пишет о пожарах в Москве.

Нам его просьба была понятной. Мы знали, что сотрудникам Коминтерна запрещалось передавать посторонним что-либо из прочитанного ими в иностранных газетах. И все же просьба Финка меня неприятно поразила. Получилось, что нельзя было говорить о самых безобидных вещах, которые к тому же могли принести только пользу для поддержки просоветских настроений.

Вечером я узнал об аресте нашего соседа по комнате в общежитии, студента — немца с Поволжья. Вскоре после этого я встретил двух девушек из Берлина, Герду и Кэту, дочерей коммунистического писателя Альберта Готоппа. Обе плакали. Оказывается их отец, автор книги «Рыболовный катер ХФ 13», эмигрировавший в Советский Союз и переживший все чистки, был арестован органами НКВД . . .

Две недели спустя мы пошли с двумя студентками в кинотеатр «Ударник». В фойе мы увидели выставку снимков из английских и американских кинофильмов с изложением содержания и фотографиями главных актеров — факт, который еще несколько месяцев тому назад был просто невозможен. Эти снимки заполняли всю стену фойе.

Нас это приятно поразило, мы обрадовались даже такому незначительному нарушению нашей изоляции.

Выросшие и воспитанные в Советском Союзе, мы привыкли замечать даже самые, казалось бы, маловажные перемены и делать из них далеко идущие политические умозаключения.

Мы начали с большим интересом рассматривать снимки из западных кинокартин.

— Все-таки смотреть на такие картины доставляет удовольствие, — сказала одна из моих спутниц.

Я ее поддержал, добавив:

— Может быть, такие снимки — первые ласточки?

Почувствовав, что мысли у нас одинаковые, мы осторожно начали переходить к более откровенному разговору.

Шепотом девушка начала делиться со мной своими взглядами:

— Какое счастье для нас, что мы порвали с Гитлером, что мы ведем войну против него на стороне Англии, а позднее, возможно, присоединится еще и Америка. Может быть, после победы над Гитлером кое-что измениться и у нас.

— Я тоже надеюсь, что после войны . . .

Я не успел закончить свою мысль.

Вторая студентка, которая начала уже после первых наших слов испуганно оглядываться, прервала нас умоляющим шепотом:

— Тсс-сс . . . Тише . . . прошу вас, перестаньте об этом говорить . . .

И вновь я ощутил двойственность нашего положения. Ведь мы страстно желали победы Советского Союза над Гитлером. Мы ведь не были против системы! Но почему тогда нам, троим московским студентам-комсомольцам, нельзя было говорить о том, что после победы над Гитлером жизнь может стать немного свободнее?

На следующий день, 14 августа, в «Правде» было напечатано следующее сообщение:

«Несколько дней назад нашими войсками был оставлен Смоленск».

«Несколько дней назад» — это обозначало, что немецкие войска были уже за Смоленском и шли на Москву.

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

1 сентября 1941 года занятия в нашем институте начались.

Правда, многие студенты, даже девушки, были уже призваны в армию или в народное ополчение. Оставшимся вменялось в обязанность во время войны еще больше, чем в мирное время, отдавать все свои силы занятиям. Но не так это было просто сосредоточиваться над вопросами английской филологии или сравнительного языкознания, когда немецкие войска окружали Ленинград и продвигались к Москве. И все же я старался как можно серьезнее относиться к своей учебе.

Вечером 14 сентября в нашу комнату в общежитие заявился милиционер. Меня это мало взволновало. Я знал, что

политические аресты проводятся исключительно чинами НКВД. Но когда милиционер, вынимая из своего кармана какую-то бумагу, начал пристально смотреть на меня, я забеспокоился.

— Это вы, товарищ Леонгард, студент Московского государственного педагогического института иностранных языков?

Отрекаться не имело смысла.

— Вам надлежит явиться завтра после обеда в четыре часа в участок милиции. Подпишите повестку.

Участок милиции был похож на цыганский табор. В прихожей стояло человек сто-сто пятьдесят. Судя по лицам, эти люди дожидались уже часами. Это были, главным образом, немецкие эмигранты, многие из них — с женами и детьми. В короткий срок я обнаружил среди толпы немало знакомых.

По очереди семьи вызывали к начальнику участка. Но поскольку приходили все новые люди, число ожидающих не уменьшалось.

Шепотом передавалась новость, что на время войны немцев должны были переселить в Кзыл-Орду. Отправки должны были начаться уже в ближайшие дни. Исключений не предвиделось.

— Неужели комсомольцы тоже должны ехать? — спросил я.

— Ехать должны все, — было мне отвечено, — даже те, кто стали членами русской компартии. Исключение делается только для нескольких сотрудников Коминтерна.

Началось гадание: а где же находится Кзыл-Орда?

В Казахской Советской Социалистической Республике. Но где же находится Казахская Советская Социалистическая Республика?

Блистая нашими свежими географическими знаниями мы, молодые, давали объяснения: «Казахстан — это вторая по величине союзная республика в СССР, она простирается от Волги до китайской границы, от Сибири до Киргизской и Узбекской Советских Социалистических Республик.

— Да, но все же, где же находится Кзыл-Орда?

— Единственное, что я могу сказать, это то, что Кзыл-Орда принадлежит к числу четырех или пяти самых больших городов Казахстана. Кзыл-Орда — казахское слово, по-русски оно обозначает: красная орда.

Название этого города не способствовало успокоению наших старших товарищей.

Меня вызвали часа через два. За столом, заваленным бумагами, сидел начальник участка. Около него хлопотали двое помощников. Нелегкая им досталась работа — осилить эту неожиданно на них свалившуюся задачу переселения огромного количества людей. Сравнительно любезно для такой обстановки начальник быстро задал несколько вопросов:

— С каких пор Вы живете в Советском Союзе?

— С 1935 года. С 1936 года я находился в детском доме «шуцбунда», а в 1940 году я стал студентом.

— Где Вы учитесь?

— В Московском государственном педагогическом институте иностранных языков.

— Вам придется прервать Ваше учение. Мы получили указание переселить в Кзыл-Орду на срок войны всех живущих в Москве немцев. Это лишь необходимая мера предосторожности. После окончания войны Вы сможете опять вернуться в Москву.

Тем временем его помощник взял мое удостоверение личности и вернул его с большой красной печатью, на которой значилось, что владелец этого удостоверения имеет право проживать только в Кзыл-Ординской области, Казахской ССР.

Вскоре выяснилось, что подобную пометку получили все.

Итак, мы вскоре встретимся в Кзыл-Ординской области Казахской Советской Социалистической Республики!

День отъезда в Кзыл-Орду нам должны были сообщить заблаговременно. Нам разрешалось брать с собой мебель и багаж весом до 1000 кг. Молодые рабочие и студенты только улыбались над такими указаниями. Ведь наше имущество можно было легко уложить в один-два чемодана!

В течение многих дней переселение в Кзыл-Орду было главной темой разговора среди немецких эмигрантов. Немедленно возникли слухи, что Коминтерном или представительством немецкой компартии в Москве составляются списки тех товарищей, присутствие которых в Москве считается необходимым.

Я тоже решил попытать свое счастье. Из работников Коминтерна я близко знал только троих: редактора на Московской радиостанции Ганса Мале, представителя австрий-

ской молодежи Вилли Финка и молодую сотрудницу Коминтерна Лею Лихтер, работавшую при Гитлере в западной части Германии в первой совместной подпольной группе католиков и коммунистов и занимавшейся теперь немецкой молодежью в Москве.

Мне удалось связаться с Леей.

— Тебе везет. Поскольку тебя хотят использовать при Московском радио, тебя внесли в список тех товарищей, которые получат разрешение остаться. Список был сегодня подписан и на днях тебя уведомит об этом милиция.

Через несколько дней я действительно получил уведомление и с радостным чувством отправился в милицию.

Начальник милиции прочел бумагу, тщательно сверил ее с каким-то списком и молча забрал мое удостоверение личности, на которое еще несколько дней тому назад была поставлена печать о высылке.

Я ликовал, но начальник милиции не проявлял никакой радости. Он передал удостоверение своему помощнику с указанием выдать мне новый, на этот раз без злополучной печати.

Но тут же он начал меня уговаривать:

— Вы сейчас получите новое удостоверение, дающее вам право оставаться в Москве во время войны. Но на Вашем месте я бы не использовал этого права. Может случится, что через несколько недель Вам все равно придется покинуть Москву, но на сей раз в более тяжелых условиях. Я бы Вам сделал такое предложение. Поезжайте с Вашим новым удостоверением, иными словами уже на добровольных началах, с тем транспортом, на который Вы записаны. По прибытию в Кзыл-Орду Вы предъявите Ваши документы начальнику транспорта и у Вас будет возможность выбрать себе самому местожительство, где Вы одновременно сможете продолжать учение.

Такое предложение было неожиданным, но оно мне показалось вразумительным.

Тем временем начальник милиции просмотрел мое личное дело.

— Вы учитесь в Московском институте иностранных языков? Разве Ваш институт не эвакуируется? — спросил он меня.

— Насколько я знаю, его должны перевести в Казахстан, в Алма-Ату.

— Видите, как все удачно складывается. Вы можете проехать с транспортом до Кзыл-Орды, а оттуда двигаться дальше на Алма-Ату.

Доводы начальника милиции меня убедили. Возвращаясь в студенческое общежитие я принял решение. Имея свое новое удостоверение личности я не подлежал насильственному переселению. Но я мог ехать с транспортом добровольно. Из города Кзыл-Орда я смог бы продолжить свой путь к тому месту, куда будет переведен мой институт. Запретить мне никто не сможет, поскольку я не принадлежал больше к группе, предназначенной к переселению.

Все казалось ясным, как Божий день, и в этот сентябрьский день 1941 года я твердо был уверен, что произойдет так, как описал мне начальник милиции. Я и не подозревал, какие горькие разочарования мне придется испытать уже через несколько недель.

Несколько дней спустя мы получили извещение, что день нашего отъезда назначен на 28 сентября. Наступило время прощаний и сборов. В институте царила возбужденная атмосфера, так как переселению подлежало не малое количество студентов.

В назначенный день, в шесть часов утра, подъехали два грузовика. Мы начали сносить наши вещи. У входа в общежитие собрались наши друзья. Мы обнялись с моим другом и товарищем по комнате, с польским участником испанской гражданской войны Бенеком. С тревогой мы оба думали о будущем, не теряли однако надежды на новую встречу. Но наша надежда не осуществилась. Вскоре его эвакуировали в еще более отдаленные места, чем меня. Он попал в самый крайний угол юго-восточной части Киргизии.

Грузовики двинулись, раздались прощальные приветствия.

Мы начали медленно удаляться от студенческого общежития, которое за этот год успело стать для меня настоящим домом. Мы ехали по Москве, — два грузовика, нагруженные ящиками и чемоданами, увозили немцев, направляемых на поселение в Кзыл-Орду.

Я предполагал, что нас везут на вокзал. Но я ошибся. Мы выехали в предместье города и остановились перед длинным составом, состоящим из 80 товарных вагонов. Кругом стояли и сидели уже сотни людей со своими мешками и че-

моданами. Вокзала не было. Его заменял деревянный забор, которым на большом расстоянии были огорожены пути.

У входа стоял милиционер, неприветливо потребовавший пропуск. Сидящий рядом с шофером показал какую-то бумагу и нас пропустили.

Не успели мы вылезти из грузовиков, как к нам подошел человек, одетый в форму, и отдал приказ:

— Быстро разгружайте ваши вещи и садитесь в вагоны. Никто не имеет права покидать огороженный район без особого разрешения.

Только теперь я осознал свое настоящее положение: я с ужасом понял, что меня лишили свободы.

ГЛАВА IV

ССЫЛКА В КАРАГАНДУ

Обнесенный забором и охраняемый стражей товарный вокзал в Москве походил в этот день, 28 сентября, на муравейник. Каждые 10-15 минут подъезжали все новые и новые грузовики с немцами, которых высылали из Москвы.

В эти самые тяжелые дни, когда германская армия продвигалась к Москве, когда ощущалась острая нужда в каждом вагоне и каждом грузовике, на это дело нашлось достаточное количество и грузовиков, и поездов, и обслуживающего персонала.

Перед товарным составом взад и вперед прохаживалась охрана.

— Чего вы торчите здесь? Садитесь в поезд!

Мы прошли вдоль всего состава в надежде хоть где-нибудь пристроиться. Но люди в битком набитых вагонах, прижатые друг к другу как сельди в бочке, завидя нас издали, кричали:

— Мест нет! Ни одного местечка!

Военные, охранявшие состав и следившие за порядком, опять появились перед нами:

— Вы все еще не в поезде?

— Невозможно, товарищ командир, вагоны все переполнены.

На военных это не произвело ни малейшего впечатления.

— Мы вам сейчас места отыщем!

Офицеры пошли с нами. И тут мы обнаружили кое-что, чего раньше не заметили: не только вокзальные помещения, но также и весь состав имел вооруженную охрану, состоящую из красноармейцев и офицеров. И для них было уже достаточно одного слова вокзального начальства.

Сдавленные со всех сторон немцы уже не протестовали. Они только тихо постанывали. И получаса не прошло как мы, и прибывшие после нас, были втиснуты в вагоны. Сесть нам, конечно, было негде. Мы стояли и ждали, что же будет дальше . . .

ПОЕЗДКА В НЕВЕДОМОЕ

В нашем небольшом товарном вагоне находилось почти пятьдесят человек. Люди всех возрастов, всех профессий, всех социальных слоев: от малоквалифицированного рабочего до профессора, создавшего себе крупное имя работами в области телевидения. Здесь можно было увидеть восьмидесятилетнего старика и трехлетнего ребенка. За исключением нескольких немецких эмигрантов, никто из моих спутников не бывал в Германии; большинство из них не знало даже немецкого языка. Они были такими же русскими, как любой из москвичей. Среди нас находились две или три домработницы, родившиеся в республике немцев Поволжья, которых привезли в Москву еще детьми.

Потом я понял, почему всех этих людей так внезапно сделали «немцами» и теперь везли в направлении Кзыл-Орды. Дело в том, что в январе 1939 года в Советском Союзе была произведена перепись населения. Рядом с графой «подданство» была графа «национальность». Ее можно было заполнить по собственному усмотрению: либо по традиции предков, либо по чувству принадлежности к какой-либо национальной культуре.

Многие советские граждане, не задумываясь, вписывали в эту графу «немец» или «немка». Им и в голову не могло придти, что это когда-то решит их судьбу. Теперь эти люди, не знавшие ни одного немецкого слова, сидели в товарном вагоне как «немцы» и ехали навстречу неизвестному будущему . . .

Я присоединился вскоре к «настоящим немцам»: это были немецкие коммунисты, которые боролись в Испании в интернациональных бригадах и после победы генерала Франко эмигрировали в 1939 году в Советский Союз. Теперь они в качестве «неблагонадежных» немцев, заняли места в этом составе . . .

Среди них была жена писателя-коммуниста Альберта

Готоппа и его две дочери — Кэта и Герда; дочь коммуниста Альфреда Зикерта — Ирмгард Зикерт. Ее отец сражался в рядах интернациональной бригады, а во время этой войны был интернирован в Швейцарии. Ирмгард прибыла в Советский Союз еще в 1934 году и училась, как и я, в институте иностранных языков.

В этот первый вечер у нас было довольно унылое настроение. Три испанских бойца начали было петь шумные, веселые песни.

— У вас, кажется, несмотря на все — хорошее настроение, — заметил кто-то.

— Это юмор висельников! — последовал ответ одного из певцов.

Я хорошо понимал, что творилось в их душе. В течение десятков лет они, не щадя сил, верно служили партии, рисковали жизнью в боях в Испании, а теперь в переполненном товарном вагоне их насильно везли в отдаленные районы Средней Азии.

Я задумался и над своим собственным положением. Вчера еще московский студент, сегодня сидел я в вагоне под стражей и, покинув Москву, расставшись с друзьями, направлялся в дальнюю Кзыл-Орду . . .

Как это ни странным покажется западному читателю, но я не чувствовал ни ожесточения, ни злобы. Наоборот, я стремился это переселение даже как-то оправдать.

Конечно, говорил я сам себе, это весьма неприятно, когда меня, честного комсомольца, отправляют как «неблагонадежного» в охраняемом товарном вагоне в Среднюю Азию. Разумеется, думал я, это бесконечно тяжело, особенно для тех товарищей, которые всю свою жизнь служили партии и, вот, теперь, в виде благодарности получили за это ссылку . . . Но, в сущности, разве можно было в эти трагические дни приближения нацистских войск иметь достаточно времени для справедливой классификации благонадежности каждого из нас?

Мы медленно тащились по российским равнинам. Часто подолгу стояли на перегонах. Впрочем, времени у нас было достаточно.

Первые города, до которых мы добрались, были Ряжск и Моршанск, юго-восточнее Москвы. Они в какой-то мере производили мирное впечатление.

Но вскоре картина изменилась. На шестой день нашего

путешествия мы прибыли в Пензу (около 550 километров к юго-востоку от Москвы). Здесь повсюду — на вокзале, на лестницах, на улицах и площадях — сидели и лежали тысячи людей — беженцы и эвакуированные из западных областей России. Несмотря на приказы и требования немедленно расселять этих людей по домам, местные власти были не в состоянии справиться с нахлынувшим потоком эвакуированных. Поэтому люди вынуждены были оставаться просто на улице, утешая себя надеждой, что вот-вот представится возможность втиснуться в какой-нибудь поезд, который повезет их дальше на восток.

Но это была тщетная надежда. Поезда приходили в Пензу переполненными. Люди жили на вокзале и под открытым небом неделями, пока, наконец, их не размещали в колхозах близлежащих сел и деревень.

Поздно вечером поехали мы дальше по направлению к Сызрани и Куйбышеву, глубокой ночью мы прибыли в Куйбышев. Я хотел было выйти из вагона, но наш состав стали переформировывать.

Охрана, обычно довольно равнодушная, на этот раз возбужденно сновала взад и вперед.

— Вагоны оставлять запрещено!

— А воды принести можно?

— Нет, нельзя выходить даже за водой. Никто не смеет выйти из вагонов, пока мы стоим на этой станции. Нарушителей приказа ждет суровое наказание.

Спустя несколько недель, когда мы уже жили в Средней Азии, нам стала известна причина такой строгости в Куйбышеве: в это время здесь полным ходом шли приготовления к переезду из Москвы правительства, министерств и иностранных посольств.

Вместе с ними прибывали в Куйбышев только сотрудники этих учреждений и очень немногие привилегированные лица.

После того, как мы миновали Куйбышев, наша поездка приобрела более ускоренный темп, и мы воспряли духом. Многие сидели, склонившись над картами . . . Было ясно, что существует только одна возможность попасть из Куйбышева в Кзыл-Орду: двигаясь в юго-восточном направлении через Чкалов, Актюбинск и Аральск.

Все чаще наши разговоры касались будущей жизни в Кзыл-Орде.

Однажды мы остановились на путях восточнее Куйбышева и простояли много часов подряд. Нам снова разрешили выходить из вагонов. Когда я прогуливался вдоль нашего состава, я вдруг заметил на одном из вагонов надпись: «Челябинск».

— Челябинск? Но ведь он совсем в другой стороне!

Я побежал к моему вагону и сообщил о своем открытии. Все головы снова склонились над картами. На Кзыл-Орду мы должны были бы ехать в юго-восточном направлении, а Челябинск находился от нас к северо-востоку.

Мы спросили у сопровождавшей нас охраны:

— Мы, ведь, едем в Кзыл-Орду? Это точно?

Охранник неуверенно кивнул головой.

— Что же означает тогда надпись: «Челябинск»?

— Не знаю, не могу сказать! — Это было сказало таким тоном, который мне, прожившему в Советском Союзе уже шесть лет, был достаточно понятен.

В течение ночи мы ехали в северо-восточном направлении и находились теперь в Бугуруслане, в Башкирии. С Кзыл-Ордой это не имело ничего общего.

До сих пор мы ничего не знали о Кзыл-Орде, но нам по крайней мере было известно, куда мы едем. Теперь мы даже этого не знали.

Наша дорога буквально становилась дорогой в неизвестность.

На семнадцатый день пути вдруг всё в нашем длинном товарном составе пришло в движение. «Мы в Казахстане» — послышалось где-то, и в одно мгновение весть об этом пронеслась через все восемьдесят вагонов нашего поезда.

На одной маленькой станции мы увидели под русским названием станции надпись по-казахски. Снова стали рассматривать карты.

Действительно, находились мы между западно-сибирским городом Курганом и городом Казахской ССР Петропавловском. А к вечеру мы прибыли в этот первый большой казахский город со старинным русским названием — Петропавловск.

Кто-то при этом припомнил, что Петропавловск был когда-то узловым пунктом для караванов, ходивших от Бухары и Ташкента. Здесь товары сгружались и затем их отправляли по железной дороге в Россию. Но прошлое нас сейчас не интересовало.

Мы впервые увидели здесь казахов. Почти у всех были черные, как смоль, волосы, темные глаза, желто-коричневый цвет лица и форма глаз, типичная для монгольских народов. Бросалась в глаза их своеобразная походка и сравнительно короткие ноги при длинном туловище.

От Петропавловска мы поехали на юг. Так как железнодорожная линия была проложена только до озера Балхаш, наша поездка должна была оборваться где-то между Петропавловском и этим озером.

Стало заметно теплее. В Петропавловске прицепили к составу еще несколько открытых площадок с заржавевшими машинами. Мы сидели на этих площадках, загорая под октябрьским солнцем и разглядывая окрестности. Но в них ничего интересного не было. Мы ехали по равнине. Она была гладкой, как мраморная доска, без единого холма или котловины. Так шли часы и дни . . .

В северном Казахстане можно было видеть только одно дополнение к однообразному пейзажу: слева и справа от полотна — деревянные заграждения в несколько метров высоты. Они тянулись на многие километры.

— Для чего здесь эти заграждения? — спросили мы у железнодорожника в одном небольшом селении.

— А это защитные заграждения против снежных заносов. Главным образом, против буранов.

— Что же, здесь бывает много снега?

— Зимой выпадает здесь очень много снега, снег лежит высотой до 8, 10 и даже до 15 метров. Иногда поезда, несмотря на все меры по снегоочистке, не ходят в течение дня и больше.

— Ничего себе — перспективы! — сказал один юный студент и выразительно свистнул при этом.

Но мы не были угнетены. Морозы и метели казались нам еще такими далекими. Сейчас пригревало солнце и впервые нам давали достаточно еды.

На двадцать второй день нашего путешествия, в пять часов утра, поезд остановился. Охранники забегали, зашумели. Все двери были открыты.

— Приехали! Всем выходить!

Мы бросились к выходу. Перед нами была голая степь... Ни дома, ни дороги, ни дерева, ни куста.

Мы стали расспрашивать нашу охрану. Никакого ответа.

И только через час мы узнали, что находимся вблизи небольшого селения Оссокаровка, почти в 120 километрах севернее Караганды.

Итак, мы, наконец, добрались до конечной цели нашего путешествия.

СЁЛА БЕЗ НАЗВАНИЙ

Мы стояли в нерешительности около своего эшелона. Тем временем был выгружен наш багаж. Понемногу становилось всё светлее, и вдалеке мы могли уже различить очертания Оссокаровки.

Вскоре подъехали крестьянские подводы. В некоторые из них были впряжены лошади, но большинство телег имели в упряжке быков и . . . верблюдов. Я не верил своим глазам: верблюды — в упряжке крестьянских подвод!

Начальники охраны взволнованно сновали взад и вперед. Через несколько минут явился наш охранник со списком в руках.

— Подойдите-ка все поближе, я сообщу сейчас порядок распределения. Все будут размещены в близлежащих населенных пунктах.

С этими словами он начал читать список.

Но что это? Я не слышал ни одного названия местечка или деревни. Слышалось только: «поселок № 5, поселок № 12, поселок № 8, поселок № 24» . . .

Очевидно, здесь не было никаких селений. Это были поселки без названий; они имели только номера . . .

Вдруг я услышал мою фамилию:

— Леонгард — поселок № 5.

Скоро это перечисление окончилось.

У меня опять появилось неприятное чувство, как тогда, при отъезде из Москвы, но оно было связано, в первую очередь, с мыслями о судьбе моих друзей и спутников. Я, в конечном счете, имел еще паспорт и при том без пресловутых штемпелей о высылке. Осторожно вытащил я из бумажника свой паспорт. Он был сейчас единственной вещью, которая еще связывала меня со свободой.

Когда в начале нашей поездки я разговаривал с ответственным за эшелон, он меня заверил, что все будет в порядке. Теперь я решил ему об этом напомнить.

— Товарищ начальник эшелона! Вы знаете, что у меня нет предписания о высылке и что я выехал сюда только по предложению начальника милиции того района Москвы, в котором я жил. Он мне совершенно определенно сказал, что отсюда я буду иметь право уже свободно ехать дальше. Мне бы хотелось теперь получить свои вещи, с тем, чтобы поехать в Алма-Ату.

Мне казалось, что еще никогда моя судьба так не зависела от ответа одного человека. Однако я был твердо уверен в неоспоримости своего права.

Но произошло нечто невероятное.

— Всё это меня не касается. Я с этим не имею ничего общего. Если ваши данные верные, Вы сможете на месте объяснить все обстоятельства. А сейчас вы обязаны следовать в поселок, в который Вас определили.

— Товарищ начальник! Взгляните на мой паспорт! Он заново оформлен в Москве 21 сентября 1941 года и в нем нет никаких пометок об ограничении.

Он издевательски рассмеялся.

— Ну что ж, в Москве, значит, вам просто забыли поставить штемпель. Это и здесь довольно быстро можно исправить, — стоит же в вашем документе, что вы — немец.

Не было никакого смысла продолжать разговор. Я решил пока подчиниться, но по прибытии в «поселок №5», снова попытать счастья. Правда, теперь уже я не имел больших надежд на успех.

Мы погрузили наши вещи на подводы, посадили женщин и больных, а сами пошли рядом. Это была гнетущая картина. Вереницы утомленных и истощенных людей, после двадцати двух дней пути в переполненном эшелоне молча тащились по просёлочной дороге . . . Куда? Зачем? . . Чтобы поселиться в тех местах, где десять лет тому назад размещали на жительство раскулаченных крестьян, обреченных на долгое изгнание.

Молчали и наши кучера. Казалось, они нас не замечали.

— А далеко этот поселок №5?

— Ах, нет, сынок, не так далеко. Километров двадцать пять, пожалуй. К вечеру будем уже там, а то и раньше.

Мы стали расспрашивать. Наш возница заговорил о колхозе.

— Колхоз? Я думал, что здесь живут высланные кулаки?

Он ответил, растягивая слова. Эта манера говорить присуща русскому крестьянству.

— Да-а, мы были кулаками, но теперь мы, вроде как колхоз . . .

— Как это так — «вроде»?

Возница, сам бывший кулак, начал рассказывать, как в 1930 и 1931 году раскулаченных крестьян высылали из Украины и Центральной России и направляли в эти места.

Он говорил так равнодушно и безучастно, что можно было подумать, что речь идет о вещах, происходивших в далекие-далекие времена, где-то на другом конце земли.

— . . . Тогда здесь вообще ничего не было. Были просто воткнуты в землю колья и на них маленькие дощечки с надписью — поселок №5, №6 и так далее. Мужиков привели и сказали им, что теперь они сами должны думать о себе. Мужики стали копать землянки. В первые годы много поумирало от голода и холода. Ну, а затем начали понемногу ставить хаты из глины, и тогда стало легче.

— Ну, и что же дальше?

— Да, ничего. Потом мы получили приказ — колхозы основать.

— От кого же был приказ? От местных советов?

Крестьянин отрицательно покачал головой.

— У нас здесь никаких местных советов не было и нет.

Я невольно улыбнулся. Крестьянин, видимо, не в своем уме. Он не знает, что говорит. В Советском Союзе повсюду имеются местные советы. Но уже вечером я должен был признать, что крестьянин был всё-таки прав.

Мы трусили рысцой за нашими подводами. После двадцати двух дней езды в товарных вагонах шагать целый день по степи было не особенно приятно. Но напряженность ожидания: «что будет дальше?» была сильнее, чем усталость.

В поздний послеобеденный час мы увидели вдали нечто похожее на человеческие жилища.

Скоро мы поняли, что это маленькие хатки, построенные не из камня или дерева, а из какой-то коричневой массы. Окошек никаких не было. Каждый такой «домик» имел только одно отверстие, которое зимой, как мы позже узнали, попросту чем-нибудь затыкалось.

Когда мы, наконец, подошли, нам было сказано, что мы должны явиться к начальнику.

Так как нам долго пришлось ожидать, мы стали бро-

дить вокруг и заговаривать с местными жителями. Почти все были русские, несколько украинцев и татар, ни одного казаха.

К нам подошли несколько крестьян.

— Ах, так это вы. А мы вас поджидали. Мы сразу подумали, что вас, немцев, тоже сюда пришлют.

Напрасно некоторые из нас, в том числе и я, пытались им объяснить, что мы — антифашисты и противники Гитлера. Крестьяне только посмеивались:

— Немец остается немцем.

Может быть они понимали истинное положение вещей лучше, чем мы сами?

Здесь говорили удивительно прямо и открыто. Я до сих пор никогда еще, живя в Советском Союзе, не слыхал, чтобы люди так свободно и без страха выражали свое мнение. Скоро нам стало ясно, что многие из сосланных кулаков и по сей день остались врагами власти.

Наши объяснения не принимались ими всерьез. Они, по-видимому, продолжали считать нас сторонниками Гитлера.

— Ну, как? Далеко уже продвинулся ваш Гитлер вперед? Как вы думаете, придет он сюда освобождать нас?

Меня бросало и в жар и в холод. Подобного я еще нигде в Советском Союзе не слыхал. Мы снова и снова пытались объяснить крестьянам наше положение. Но они только отмахивались, добродушно смеялись и приговаривали:

— А вы пробудьте здесь пару годочков, вот тогда увидите.

После обеда мы отправились к начальнику. Он жил в большом доме, единственном в поселке. Мы сидели возле дома на голой земле и терпеливо ждали приема.

Настроение у всех было различное. Немцы Поволжья, например, воспринимали случившееся с ними не особенно трагически: жили в колхозах и попали в колхоз. Что может еще случиться? Жили — маялись и дальше будем маяться.

Труднее было положение немецких эмигрантов и тех немцев-коммунистов, которые в свое время боролись в Испании, а также высококвалифицированных специалистов. Инженер по телевидению, несколько профессоров и эмигранты с большим унынием думали о своем будущем.

Нас поочередно вызывали в дом. Мы получали ордер с фамилией крестьянина, к которому нужно было явиться.

Колхозники были обязаны принимать вновь прибывших. В случае каких-либо недоразумений надо было немедленно ставить в известность начальника — коменданта поселка.

Но недоразумений не было. Колхозники покорно принимали нас к себе. Им было ясно, по какой причине все это происходит и кто проводит распределение немцев по жилищам.

Ожидая вызова, я крепко держал в руке мой непроштемпелеванный паспорт. Я знал, что вот в этом доме, у этого начальника решится моя судьба. Удастся вырваться отсюда или нет? Это был мой последний шанс.

Что, если этот начальник будет вести себя так же, как начальник эшелона?

Но я не терял еще надежды. Вполне понятно, что начальник эшелона был заинтересован в том, чтобы всех людей доставить по назначению. Но начальник поселка, по моему расчету, мог бы предпочесть, чтобы здесь хотя бы одним человеком стало меньше. После такого размышления мне становилось легче и положение уже не казалось столь безнадежным.

Наконец, вызвали и меня.

— Товарищ начальник! Я хотел бы сразу же обратить Ваше внимание на то, что я к этому транспорту не имею никакого отношения. Я поехал только лишь на основании предложения начальника московской милиции. Вот мой паспорт. Он выдан в Москве. Вы видите сами, что на нем нет штемпеля о высылке. Я хотел бы завтра, или самое позднее — послезавтра, ехать дальше в Алма-Ату, где находится мой институт и я просил бы вас поэтому не определять меня на жительство.

Он посмотрел на меня без особенного интереса.

— Ну, хорошо. Тогда мы вас можем вычеркнуть из списка. И без того здесь слишком много.

Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе, что мой вопрос решится так просто и быстро! Я вышел из приемной бесконечно обрадованный.

До сих пор мои мысли были направлены на то, чтобы не остаться в этом кулацком поселке. Только бы прочь отсюда. Теперь же, когда я имел эту возможность, я начал понимать всю сложность этого дела: я должен был сначала суметь отсюда выехать, потом ехать еще тысячи километров до Алма-Аты и всюду у меня будут требовать удостоверения

и документы. Разумеется, у меня на паспорте нет штемпеля о высылке, но зато там черным по белому написано: «немец». И еще одно: мне явно не хватит денег. Когда я выезжал из Москвы у меня было несколько сот рублей. Для меня, студента, это были тогда большие деньги. В сущности же это была ничтожная сумма.

Но все это меня не обескураживало. Я твердо решил осуществить эту поездку. Мне было девятнадцать с половиной лет, я был здоров, бегло говорил по-русски и был полон почти легкомысленного оптимизма.

Я провел еще несколько дней в поселке № 5. На ночлег я устраивался то у одного, то у другого колхозника. Спал на чердаке, завернувшись в пальто. К этому я уже привык во время нашей долгой поездки. Перед отъездом я отправился искать покупателя на мои носильные вещи. Единственное, что я мог предложить, было мое демисезонное пальто и брюки.

После долгой торговли с одной крестьянкой-татаркой мы сошлись в цене. Я получил не так много. Четверть этой выручки я должен был заплатить крестьянину, который повез меня на железнодорожную станцию Оссокаровка.

С бьющимся сердцем подошел я к окошку кассира, чтобы купить билет на Караганду. Железнодорожник мельком взглянул на мой паспорт и незамедлительно выдал мне билет. Четыре часа спустя я был уже в Караганде.

ПРИЕЗД В КАРАГАНДУ

Неужели это — Караганда, город, насчитывающий четверть миллиона жителей, новый промышленный центр первой пятилетки? Маленькое, грязное деревянное здание вокзала. Оно было немногим больше, чем маленькая станция Оссокаровки.

Выйдя из вокзала, я увидел грязные, плохо вымощенные, кривые улицы и маленькие, ветхие домишки. Все было покрыто темносерой угольной пылью. Дышать было трудно. Подавленный, я медленно шел вдоль улиц. Конечно, мне приходилось и в Москве видеть нищету, видел я, как нуждается население и в ряде промышленных городов. Но за время моего пребывания в Советском Союзе такой безотрадной картины я еще нигде не встречал. Я невольно вспомнил Дже-

ка Лондона — его описание импровизированных поселков золотоискателей во время «золотой лихорадки». Но и это сравнение, пожалуй, было недостаточным.

Через несколько минут после того, как я вышел из вокзала, я встретил на своем пути первые землянки, покрытые толстым картоном или досками, или же слоем земли, толщиной в полметра. Крыша землянок поддерживалась несколькими столбиками.

Это было гнетущее зрелище. Я успокаивал себя тем, что это временное явление, совершенно неизбежное при быстром возникновении промышленного города, и что без этого нельзя обойтись, особенно теперь, в военное время.

Еще мне бросилось в глаза, что на улицах было много людей монгольского типа, но это безусловно не были казахи. Я начал подсчитывать и установил, что, приблизительно, каждый пятый имел такую наружность. Позже я узнал, что помимо казахов и русских, в Караганде живет большое число китайцев и корейцев. Все они были переселены в Караганду из дальневосточных пограничных областей в начале тридцатых годов.

Чем больше я присматривался к городу, тем меньше я видел шансов здесь устроиться. Никаких вузов, никаких техникумов — одни землянки, ветхие деревянные лачуги и только кое-где сравнительно приличные, многоэтажные здания правительственных учреждений, построенные из камня и побеленные. Никогда еще разница между жалкими лачугами жителей и великолепно выглядевшими в этом окружении зданиями не казалась мне столь резкой.

Вдруг я обнаружил новенький автобус, который среди этой нужды и бедности произвел на меня глубокое впечатление. Я поспешил к нему:

— Куда вы едете?

— В новый город! — И с этими словами был дан сигнал к отправке.

Мы давно уже миновали последние землянки и ветхие домишки, но нового города все еще не было видно. Я оглянулся на пассажиров автобуса. Эти люди были одеты много лучше, чем те, которых я до сих пор видел в Караганде.

Через полчаса езды я увидел на значительном еще расстоянии море света. Когда мы подъехали поближе, моему удивлению не было границ. Мы ехали по хорошо асфальтированным улицам, мимо прекрасного парка. Я увидел совсем

новые четырех- и пятиэтажные дома, ярко освещенные...

Я осторожно спросил у кондуктора:

— Извините, пожалуйста, — не смогли бы вы мне посоветовать, где бы я мог переночевать?

Он засмеялся:

— В гостинице, конечно!

— В гостинице?

Я посмотрел на него недоумевающе. После всего, что я пережил за эти последние недели, слово «гостиница» показалось мне сказочным.

— Конечно, здесь есть гостиница, и если вы имеете командировку, то вас сейчас же там примут...

Когда я вошел в гостиницу, я изумился еще больше. Она была обставлена с большим комфортом — ковры, цветы, кругом беззаботно прохаживались хорошо одетые люди. Робкими шагами подошел я к столику швейцара.

— У вас есть командировка?

— Да, пожалуйста, вот она.

Я был уже подготовлен к этому вопросу и показал мою бумажку от ЦК МОПР из Москвы. На ней было написано, что ЦК МОПР просит оказать содействие товарищу Леонгарду в его переселении в Алма-Ату. Это была не очень-то хорошая командировка: МОПР не принадлежал к сильным организациям. Да и, кроме того, если точно разобраться, Караганда никак не находится на прямой дороге: Москва — Алма-Ата. Но всё же это была командировка...

— Хорошо. Вы можете получить постель.

Мне это казалось почти невероятным. После четырех мучительных недель получить возможность спать в настоящей постели в настоящей гостинице! Но чудеса на этом не закончились. Спустя несколько минут я узнал, что в ресторане гостиницы можно даже поужинать. Я использовал эту возможность и ознакомился с элегантно отделанным рестораном, с маленьким оркестром и обильным меню.

Все было так, как в мирное время.

Контраст между старой частью Караганды, глиняными хижинами ссыльных кулаков и тем, что я увидел здесь, был поразительным.

В ресторане сидели очень хорошо одетые люди, по-видимому, партийные руководители или крупные советские администраторы, прибывшие сюда в командировку. Почти все

они были русские. Только за одним столиком сидели два казаха.

Гостиница и ресторан ничем не отличались от гостиниц и ресторанов для командированных в любом русском городе. Но когда подали чай, я заметил первую местную особенность. Чай был не в стаканах или чашках, а в мисках без ручек. Их называли здесь «пиалами». При чаепитии пиала поддерживается снизу четырьмя пальцами. Я быстро к этому приспособился и пил чай, как настоящий казах.

На следующее утро я совершил первую прогулку по «новому городу». Мое первое впечатление не изменилось. Весь город состоял из прекрасных, четырехэтажных домов с электрическим светом и водопроводом. Название «новый город» было, конечно, некоторым преувеличением. Это был еще не город, а скорее большой поселок, свидетельствующий, что здесь растет большой город. От одного конца до другого можно было пройти за пятнадцать минут.

В середине города находилась площадь, на которой был выстроен самый большой дом. Это был обком партии. Помимо здания обкома я обнаружил новое кино и здание НКВД. Областной и городской советы помещались в домах, значительно меньших по размеру. Остальные здания, видимо, были жилыми домами.

Внезапно я остановился перед длинным двухэтажным зданием, построенном в современном стиле. На вывеске при входе я прочел три слова: «Карагандинский учительский институт». Я радостно распахнул дверь. Быстро разыскав секретариат, я показал там свою московскую студенческую книжку.

— Если вы хотите, то можете завтра же приступить к занятиям. Занятия начинаются в 9 часов. Но вам предварительно нужно урегулировать один вопрос: получить разрешение на жительство в Караганде.

У меня вытянулось лицо. По части получения документов я имел довольно печальный опыт. Но меня тут же успокоили:

— Мы вам дадим справку, что вы приняты в институт и что вы можете жить в нашем студенческом общежитии, если вы получите разрешение. Это вообще совсем легкое дело.

По дороге в милицию я уговаривал себя быть мужественным и не терять уверенность в успехе. В отделении милиции толпились уже десятки казахов и эвакуированных, ожи-

давших разрешения, в котором нуждался и я: разрешение на жительство и бланк на прописку.

После нескольких часов ожидания я выслушал разъяснение:

— Сначала вы должны принести разрешение из райсовета «нового города».

Пришлось идти назад в «новый город». В райсовете тоже была очень большая очередь. Наконец, дождался и я.

— Мы не можем, к сожалению, дать вам разрешение, так как для этого предварительно требуется согласие горсовета.

Значит теперь в горсовет. Здесь сотрудник тщательно рассматривал мои документы: паспорт, удостоверение ЦК МОПР, документы Московского института иностранных языков и справку учительского института в Караганде о зачислении меня в студенты.

— Да-а, но . . , — медленно произнес он, — все же необходимо, чтобы мы получили положительное заключение от обкома партии.

Через несколько минут я был уже у здания обкома. От дежурного я узнал, что по моему вопросу я должен обратиться в отделение агитации и пропаганды, так как оно разрешает все дела, связанные с деятельностью МОПР и эмигрантов.

Дальнейшее разыгрывалось уже иначе, чем в этот злополучный день в милиции и в советах. Два партийца внимательно и сочувственно выслушали меня. Возможно у них было больше времени и уверенности, и меньше забот . . . Они задавали мне вопросы, пока не узнали от меня всего, — как я попал в Советский Союз, о годах в детдоме № 6, о моем вступлении в комсомол, моей учебе в Москве, об обстоятельствах моего переселения и о моем желании учиться в Караганде и что для этого — мне нужен бланк на прописку.

— Не беспокойтесь, мы это урегулируем.

— Значит я могу теперь получить от вас соответствующую бумагу?

— Справка вам не нужна. Вы можете спокойно уже сегодня переселяться в ваш учительский институт, а сюда зайдете еще раз в ближайшие дни.

После шестилетнего пребывания в Советском Союзе я на собственном опыте впервые познакомился со взаимоотношениями партийного аппарата и государственных учрежде-

ний. Я понял, что иногда одна фраза, брошенная партийным руководителем, за которой следует телефонный звонок, значит больше, чем четыре официальных документа государственных учреждений.

Партийный руководитель оказался прав.

Когда я пришел в учительский институт, меня пригласили к директору.

— Все в порядке. Только что товарищ из обкома звонил . . .

В УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ

Итак я получил новую студенческую книжку. Секретарша отвела меня в студенческое общежитие.

С первого взгляда мне стало ясно, что счастливые времена учебы в привилегированном Московском институте иностранных языков миновали окончательно. Там мы жили вдвоем-втроем в комнате, здесь же в одном зале размещалось почти двадцать студентов. Шкафов не было. Вещи нужно было хранить в чемодане или в пакете под кроватью.

Историю мы изучали по официальным учебникам, изданным для всех учительских институтов Советского Союза. Но в институтской библиотеке можно было, однако, достать так называемые «Лекции для слушателей Высшей партийной школы при ЦК КПСС». Они были по материалу много богаче, чем учебники вузов. Эти «Лекции» не поступали в продажу. На них стоял штемпель: «На правах рукописи». Их рассылали только по адресам отдельных институтов . . .

Студенты института были сыновья и дочери кулаков, сосланных в 1930-1931 годах в Карагандинскую область. Со времени начала коллективизации прошло двенадцать лет. И теперь, когда кулаков уже не было, когда главным врагом считались «троцкисты», дети раскулаченных получили право на образование. Большинство из студентов были еще маленькими детьми, когда вместе с сосланными родителями они попали в эти края. На их долю выпало тяжкое детство. Страшные вещи пришлось им пережить . . .

С первых же дней я подружился с несколькими студентами. Из разговоров я узнал, как они вместе с родителями были выброшены из собственных домов и дворов, как их высадили в пустынной местности и бросили на произвол судьбы. Они были беззащитны и обречены на гибель от хо-

лода и голода. Много времени прошло, прежде чем родители смогли соорудить из глины хижины для жилья. В дополнение ко всему этому, детям кулаков в первые годы ссылки приходилось испытывать еще и моральное угнетение. Это было начало тридцатых годов, когда в Советском Союзе нелегко было расти детям раскулаченных крестьян.

Как-то, в минуту откровенности, один студент рассказал мне о жизни в первые годы ссылки:

— Когда еще поселки только строились, к нам часто приезжали верхом на лошадях партийные руководители. Если они рычали на нас или издевались и ругались — это еще было хорошо. Но иногда они являлись с нагайками, и каждый, кто стоял на их дороге, мог это почувствовать. Они били нагайками даже играющих детей. Мы стали осторожными. Если приезжал из города кто-то чужой — мы прятались по домам.

Он рассказывал об этом без всякой горечи, будто речь шла о давно прошедшей грозе. Он пояснил мне:

— Ты должен понимать, что это были горячие дни раскулачивания и многие наши партийцы зарвались. Но эти перегибы были позже осуждены партией. При таком огромном социальном перевороте, как коллективизация, такие вещи, конечно, могли происходить.

Я с ним соглашался . . . Мне ни разу не пришла в голову мысль, как это поразительно, что молодой советский человек, которого сравнительно недавно били нагайкой по лицу, еще пытается оправдать своих мучителей. И прежде, и теперь я со многими говорил о коллективизации, но среди моих новых товарищей-студентов, переживших столько страданий, я не находил ни одного, который «принципиально» не стоял бы за коллективизацию.

Большинство моих коллег отправлялись в конце недели «домой», то есть в поселки, которые на дальнем и близком расстоянии были расположены вокруг Караганды.

Когда студенты возвращались обратно, они нередко поругивали своих родителей. Не раз приходилось мне слышать:

— До сих пор они этого не понимают! Я много раз пытался объяснить им, почему нужна была коллективизация, но старики никогда этого не поймут!

Сыновья и дочери кулаков, посланные сюда детьми, с течением времени превратились в сталинистов.

Конечно, вполне возможно, что тот или иной притво-

рялся и лицемерил, высказывая свою приверженность и любовь к сталинскому режиму. Однако большинство моих здешних коллег-студентов думали так же, как я и как многие мои друзья юности в Москве, родители которых стали жертвой чисток 1936-1938 гг.: судьба отдельных семей трагична, и, конечно, несправедлива, но, принципиально, советскую власть нужно поддерживать и поэтому оправдывать все ее мероприятия.

В нашем институте учились не только студенты-казахи и дети раскулаченных, но также сыновья и дочери высокопоставленных лиц в партии или в государственном аппарате. Сын прокурора, например, и дочь секретаря партийной организации нашего института. Оба всем своим поведением ясно давали понять, что они прекрасно сознают положение, занимаемое их родителями. Особенно терпел от них один очень способный доцент, читавший курс по всеобщей истории. Я как-то спросил одного студента:

— Почему, собственно, эти студенты так настроены против него?

— Наш доцент, ведь, тоже, вроде, как ссыльный, — прошептал он мне.

— Ссыльный?

— Не в полном смысле этого слова, — он финн. Во время советско-финской войны 1939-1940 гг. многие финские семьи из Ленинградской области были переселены сюда. Прибыл и он в Караганду и должен, конечно, быть теперь очень осторожным.

Спустя несколько дней я сам смог убедиться, что финскому доценту, действительно, приходится не легко. После каждой лекции доцент был обязан называть литературу, относящуюся к затронутым темам. При этом он очень четко должен был делить ее на две группы: классики марксизма-ленинизма, относящиеся к прорабатываемой теме, и, отдельно, — источники.

Однажды, когда доцент перечислял литературу, он, видимо, не совсем четко провел такое разделение. Он назвал какое-то сочинение Плеханова.

Вдруг его прервал сын прокурора:

— Принадлежит ли этот труд Плеханова к числу классических произведений марксизма-ленинизма или он относится к источникам?

Казалось бы, обыкновенный вопрос, но и его содержание

и тот резкий тон, каким он был задан, заставил всех нас съежиться и насторожиться. На мгновение у доцента кровь бросилась в голову, но он удивительно быстро овладел собой.

— Само собою разумеется, что этот труд Плеханова принадлежит к источникам. Я хотел бы, кстати, использовать этот удобный случай, чтобы со всей определенностью еще раз подчеркнуть, что в рубрику классиков марксизма-ленинизма входят только произведения Маркса, Энгельса, Ленина, но, прежде всего, в первую очередь, в нее входят произведения товарища Сталина. Выдержка из сочинения Плеханова указана к данной лекции потому, что ряд трудов Плеханова нам полезен и содержит правильные положения. Об этом отчетливо сказал товарищ Сталин в своей большой речи от 6 ноября 1941 года.

Мы все облегченно вздохнули. Наш доцент с поразительным искусством преодолел этот опасный риф. И даже чрезмерно ревностному прокурорскому сынку не оставалось ничего иного, как наклонением головы выразить свое согласие с доцентом, который так удачно закончил свой ответ ссылкой на речь Сталина.

Сколько таких рифов он уже обошел и сколько их предстоит ему еще миновать!

Без сомнения, не легко было ему работать, имея ярлык «ссыльного доцента».

Я ВСТРЕЧАЮ УЛЬБРИХТА В КАРАГАНДЕ

Не предчувствуя ничего дурного, я выходил однажды утром из лекционного зала, как вдруг ко мне подошла секретарша института. Она была очень взволнована.

— Только что звонили из милиции. Вы должны сейчас же туда явиться.

— В милицию?

Немного обеспокоенный, но не зная за собой никакой вины, пошел я в Михайловку, где находилось отделение милиции.

— Вы должны лично явиться к начальнику милиции!..

Начальник милиции, казах, смотрел на меня зло и угрожающе.

— Вы — этот самый немец Леонгард? — проворчал он,—

я ставлю вас в известность, что вы должны покинуть Караганду в течение 24 часов.

Я был, как громом поражен. Разве мое пребывание здесь и прописка не были оформлены с согласия обкома партии? Разве постановление о выселении, изданное в сентябре 1941 года, относящееся лишь к Москве и другим большим городам в западной части Советского Союза, распространялось теперь на все города страны?

— Куда же я могу тогда поехать, если я должен оставить Караганду? Могу я получить разрешение ехать в Алма-Ату?

— Куда вы поедете — мне все равно. Все города для немцев закрыты. Вы можете и в Карагандинской области избрать любой пункт для местожительства, но за исключением самого города. Поезжайте лучше всего в один из поселков возле Оссокаровки, там, кстати, уже много немцев.

— Товарищ начальник! Я состою в комсомоле уже несколько лет. Я имею согласие на пребывание здесь со стороны товарищей из отделения агитации обкома. Они сами содействовали моей прописке и сообщили, что всё уже урегулировано.

Лицо начальника милиции стало еще озлобленней:

— Я это знаю. Но я вам уже сказал, что постановление о высылке распространяется на всех немцев. Если вы по истечении 24 часов еще останетесь в Караганде, то это будет означать противодействие власти и за это вы будете отвечать. Теперь вам понятно это?

Мне это было понятно.

Но я хотел сделать еще одну, последнюю попытку. Я направился в здание обкома партии и прошел в отделение агитации и пропаганды, к тем дружески настроенным ко мне партийцам, которые уже один раз помогли мне.

— Мне только что объявили в милиции, что я должен покинуть Караганду в течение 24 часов.

Лицо у говорящего со мной партийца было очень серьезно.

— Да, товарищ Леонгард, это общее положение. Мы здесь ничего, к сожалению, сделать не можем.

Он, казалось, сам не чувствовал себя так уверенно, как при первом моем посещении. Очевидно и обком партии не был всесилен.

— Не вешайте головы, товарищ Леонгард. Возможно, и

даже весьма вероятно, что в ближайшее время будет решен вопрос о правовом положении немецких политэмигрантов. Может случиться, что для них будет сделано исключение. Как только вы выберете себе какое-либо местожительство, сообщите нам ваш адрес. Мы вас с большой готовностью известим, в случае, если для вас откроется какая-либо возможность. Но пока мы ничего не можем сделать.

Итак, положение было абсолютно безвыходным. В течение 24 часов, — а теперь оставалось только 23 часа — я должен был оставить Караганду, распрощаться с моим маленьким учительским институтом, моими новыми друзьями и товарищами по институту. Я твердо знал: если уже сам обком партии не мог ничего для меня сделать, то было совершенно бессмысленно обращаться еще к кому бы то ни было.

Автобус в старый город отправлялся только вечером. Запаковать мои вещи и поехать туда на вокзал не требовало много времени. В моем распоряжении был еще почти целый день.

Расстроенный и подавленный блуждал я по «новому городу». Без всякой определенной цели я забрел в универмаг, единственный крупный магазин. Перед прилавком стоял высокий мужчина в меховых сапогах выше колен, в меховой шапке и в теплом, тоже на меху, пальто. Он выглядел почти как исследователь Арктики. Когда я услыхал его голос, мне показалось, что я его уже где-то встречал. Подойдя поближе к нему, я услышал, как «полярник» говорит по-русски, но с немецким акцентом.

И в этот момент я узнал его.

Это был Ганс Мале, один крупный партиец, с которым я познакомился на курсах в Москве, в ноябре 1940 года. После начала войны он много раз выступал по московскому радио. Я бросился к нему:

— Ганс, это чудесно, что ты здесь! Как ты сюда попал?

Он тоже обрадовался нашей встрече, но на мой вопрос ответил как-то уклончиво:

— Я здесь проездом. Вместе с несколькими товарищами мы намереваемся пробыть в этих районах несколько дней. Ну, рассказывай-ка, что ты делаешь тут?

— Я выехал 28 сентября с эшелоном высланных. В середине октября прибыли мы на станцию Оссокаровка, в 120 км севернее Караганды. Мы были распределены по окрестным колхозам. Но так как я не имел на паспорте штемпеля о

высылке, то я прибыл сюда. Теперь я учусь в учительском институте.

— Так что, хоть у тебя, по крайней мере, всё в порядке?

— К сожалению, нет, Ганс. Как раз сегодня стряслась со мной беда. Меня вызвали в милицию и там объявили, что я должен оставить Караганду в течение 24 часов. Я вообще не знаю теперь, что я должен делать.

— Ну, значит, мы прибыли во время. Самое лучшее — ты пойдешь со мной. Я тебя представлю товарищу Ульбрихту и другим товарищам.

Ульбрихт в Караганде? Что он делает здесь, в Караганде, в декабре 1941 года?

Разумеется, я не стал задавать вопросов; я жил достаточно долго в Советском Союзе, чтобы знать, что о партийных делах не полагается расспрашивать. Нужно ждать, пока тебе об этом не сообщат.

Через несколько минут, мы уже подходили к гостинице, единственной в городе, в которой я провел первые дни в Караганде.

Перед зданием стояли 5-6 человек, одетых так же, как и Ганс Мале.

Лично я не знал никого из них. Мне было знакомо только лицо Ульбрихта. Я его знал с того времени, когда он читал нам на курсах в Москве лекции, которые я слушал с осени 1940 года и по июнь 1941 года.

Ганс Мале подвел меня к Ульбрихту, который равнодушно протянул мне руку и что-то пробормотал, что, вероятно, означало «добрый день». Всем своим видом он будто хотел показать, что встреча немецких эмигрантов в декабре месяце 1941 года в Караганде является самым обыкновенным делом.

Меня представили затем одной партийке, которая назвала себя Лотте Кюне. Я услыхал тогда это имя впервые. Только спустя четыре года я узнал, что она была женой Ульбрихта.

Мы продолжали стоять перед гостиницей. Тем временем подъехали два американских *джипа*. Видимо, эти партийцы собирались через несколько минут уехать. Они задали мне несколько вопросов о жизни эмигрантов, расселенных здесь. Я отвечал им коротко, в телеграфном стиле, о знакомых мне товарищах и об их тяжелой судьбе. Но они без особого интереса слушали мой рассказ и вопросов больше не задавали.

Судьба ссыльных немецких товарищей, казалось, нисколько не интересовала этих представителей руководства коммунистической партии Германии.

Отсюда я сделал вывод, что они прибыли сюда не ради немецких эмигрантов.

— А ты в Караганде живешь?

— Да, до сегодняшнего дня . . . Я учусь здесь на историческом факультете учительского института. Но сегодня я получил категорическое требование оставить Караганду в течение 24 часов.

Ульбрихт только махнул рукой:

— Это будет устроено. Мы проведем в ближайшие дни совещание всех наших товарищей в обкоме и ты также будешь приглашен.

Партийцы уселись в американские джипы . . .

Днем я был вызван в обком. Товарищ из отделения агитации и пропаганды встретил меня с сияющим лицом.

— Всё в порядке. Вы можете спокойно оставаться в Караганде. В ближайшие дни здесь состоится совещание всех немецких эмигрантов, которые теперь находятся в Карагандинской области. Так как вы уже живете в городе и учитесь здесь, то вы можете здесь же и остаться. Все эти вопросы будут обсуждаться на совещании.

— Могу ли я узнать, когда состоится конференция?

— Предположительно, 22 декабря, как только товарищ Ульбрихт и другие товарищи вернутся из поездки в лагерь военнопленных . . .

Лагерь военнопленных? Я слышал об этом впервые. Итак, из-за этого прибыли сюда Ульбрихт и другие товарищи. Я раньше понятия не имел, что где-то здесь, поблизости от Караганды, имеется лагерь военнопленных. Но и в течение моего дальнейшего десятимесячного пребывания в Караганде я так и не смог узнать, где этот лагерь находится и сколько в нем живет пленных.

Этот случай не является чем-то особенным. В Советском Союзе часто бывает, что люди, даже годами живущие в каком-нибудь городе, ничего не знают о некоторых учреждениях, которые находятся в этом городе или в его окрестностях; а к таким учреждениям, о которых молчат, относятся, конечно, лагери для заключенных и лагери военнопленных.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭМИГРАНТОВ

Конференция немецких эмигрантов открылась 22 декабря 1941 года в Карагандинском обкоме партии. В тот день было немало радостных встреч со старыми знакомыми и друзьями. Я встретил здесь трех испанских борцов из нашего эшелона, мою подругу Ирмгард Зикерт, двух дочерей немецкого писателя Альберта Готоппа, арестованного сейчас же после войны, и других эмигрантов, с которыми я ехал в поезде. Все они теперь жили в районе Оссокаровки. Тут же я смог отпраздновать встречу с моими друзьями из детдома № 6, которых я уже давно не встречал. Они жили здесь дольше, чем остальные, так как прибыли сюда из Москвы еще первым транспортом.

Понемногу в вестибюле обкома собралось около 50 эмигрантов. Нас пригласили в зал заседаний.

Это была своеобразная картина: в этом прекрасно отделанном зале до сих пор бывали только хорошо одетые русские и казахские партийцы; но на этот раз, впервые в истории Карагандинского обкома, зал был наполнен исключительно немцами. Было страшно смотреть, как сильно изменились немецкие эмигранты.

Несколько недель пребывания в Караганде уже наложили на них отпечаток страданий, нужды и забот. Нам, молодому поколению, было гораздо легче перенести принудительную эвакуацию, голод и ужасные условия жизни, чем старшим товарищам.

Неискушенный наблюдатель никогда не подумал бы, что здесь сидят немцы. В это время наступили сильные холода и термометр показывал 40° мороза. Немецких эмигрантов уже нельзя было отличить от русских ссыльных. Они натягивали самые невероятные одежды, одну на другую. Все, что они имели, было ими надето на себя. Но мы не знали, что через несколько недель станет еще холоднее . . .

В зал заседания вошли несколько руководителей отдела агитации и пропаганды обкома, а с ними и Вальтер Ульбрихт.

Конференция была открыта. Один из представителей обкома в начале конференции объявил по-русски, что обком партии созвал на это заседание всех «товарищей политэмигрантов», — как он сказал, — для того, чтобы обсудить некоторые политические, а также и иные вопросы. Он высказал

радость, что товарищ Ульбрихт присутствует на собрании и предоставил ему слово для доклада.

Вальтер Ульбрихт поднялся на трибуну. Он был спокоен, самоуверен и держался так, как будто в последние месяцы ничего особенного не случилось. Я невольно вспомнил о 22 июня, когда я слушал его на курсах в Москве в последний раз. Не прошло с тех пор и шести месяцев, но как много за это время изменилось, сколько произошло событий . . .

Германские войска захватили Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, заняли большую часть Украины, окружили Ленинград, даже Москва почти на три четверти была окружена. Миллионы людей были эвакуированы, все население Республики немцев Поволжья и все немцы, жившие разбросанно по Советскому Союзу, были принудительно переселены, и вот теперь, только спустя полгода после начала войны, немецкие эмигранты встречаются здесь, в Караганде!

Вальтер Ульбрихт в своем докладе ничего нового не сказал. Он ограничился повторением того, что ежедневно печаталось в советских газетах.

Строго придерживаясь тогдашних официальных тезисов, он объявил, что в Германии создалось тяжелое экономическое положение, что в ней не хватает сырья и, преимущественно, горючего. Он заявил, что Германия Гитлера вынуждена будет скоро отступать. Ульбрихт сообщил далее о растущем движении сопротивления в завоеванных Гитлером государствах и об усиливающемся недовольстве в самой Германии.

В заключение Ульбрихт указал еще и на то, что нападение японцев на Пирл-Харбор и вступление США в войну против держав оси решительным образом изменило соотношение сил, и притом не в пользу Гитлера. Но мы это знали и сами из советских газет.

Только в последней части своего доклада он сообщил нам о том, чего мы еще не знали. Он сказал о работе в лагерях военнопленных, которая уже была начата в последние недели. По его словам, эта работа должна быть в будущем усилена с той целью, чтобы политически перевоспитать военнопленных и превратить их в антифашистов.

Потом он вытащил из кармана какую-то рукопись и воскликнул:

— Здесь воззвание 158 немецких военнопленных!

Он читал выдержки из этого воззвания, которое он на-

зывал важнейшим документом, и пояснял его абзац за абзацем.

Ульбрихт кончил доклад. Ему, как обычно, аплодировали. Но можно было заметить, что многие эмигранты не следили за докладом. Переутомленные, голодные и измученные, вряд ли они годились для политических дел, требовавших нормальных условий для работы.

В заключение было объявлено, что после общего обеда в ходе дальнейшего заседания будут обсуждены некоторые практические вопросы жизни эмигрантов в Карагандинской области.

Встречи с друзьями, доклад и, главное, надежды, что нынче, при втором обсуждении, будут урегулированы все практические вопросы, подняли общее настроение. Мы были приглашены на хороший, даже обильный обед. И сервировка стола и сам обед находились в резком противоречии со всеобщей нуждой и нашим обычным голодным существованием.

Как может быстро изменяться настроение! Уже во время обеда, казалось, были позабыты тяжелые переживания последних недель, голод, холод и унижения. Люди вспоминали о жизни в Москве или о комических эпизодах во время переезда. Нельзя было поверить, что эта жизнерадостная компания несколькими часами раньше прибыла в обком озабоченная, удрученная и унылая.

Мы ожидали с нетерпением продолжения обсуждения, которое, как мы надеялись, изменит наше положение в Караганде.

Вальтер Ульбрихт и два руководителя отделения агитации и пропаганды, которые отнеслись ко мне так дружелюбно (но которые, увы, как я по опыту узнал, не обладали большим влиянием), а также секретарша областного МОПРа начали обсуждение практических вопросов.

Один из работников обкома в коротком вступлении указал на общую ситуацию, на непередаваемые страдания советского народа, на большие трудности, на неизбежность жертв и на необходимость терпеливо и стойко переносить все лишения. Хотя трудности и велики, а средства крайне ограничены, — объявил он, — но обком и в это трудное время сделает все зависящее от него, чтобы как-то смягчить долю немецких политэмигрантов. Было бы очень желательно, если бы была создана постоянная связь политических эмигран-

тов с областным комитетом МОПР. МОПР мог бы безусловно помочь политическим эмигрантам по мере возможностей.

Из этих слов мне сразу стало ясно, что он лично сочувствует нам от души и искренне сожалеет, что вне его власти сделать что-либо большее для нас. Его ссылка на МОПР, который, как я знал, никак не являлся влиятельной организацией, мне это полностью подтвердила.

Сделанный им акцент на переживаемую советским народом нужду был в нашем кругу совершенно излишним. Никому из нас не пришло бы в голову высказывать какие-либо трудно исполнимые желания. Мы все отлично знали, как тяжело приходится в это время советскому народу и никто из нас не собирался предъявлять какие-либо особые претензии.

Нас вызывали поочередно. Каждый должен был назвать свой адрес и место работы, сообщить о своих пожеланиях и коротко доложить о своих затруднениях.

Только сейчас я понял, как я дешево отделался . . .

Сообщения товарищей были потрясающими. Председатели колхозов и бригадиры унижали их, ругали и издевались над ними.

Им дали обидные клички, часто их били. Во многих случаях их намеренно зачисляли на меньшие пайки, хотя они имели право на большие. При попытке пожаловаться или отстаивать свое право на основании положения о снабжении им говорилось:

— К вам, немцам, это не относится. Будьте довольны тем, что вы вообще что-либо получаете.

Многие из эмигрантов получили в поселках самые плохие жилища с дырами и трещинами на потолке и на стенах. Они не защищали от ледяного ветра и буранов.

Эмигранты сообщали об этом спокойно и деловито, без ненависти и ожесточения. Можно было только удивляться дисциплинированности эмигрантов и тому, как спокойно относились они к своей участи.

Желания их были весьма скромны. Большинство из них просили только защиты от несправедливостей по отношению к ним. Для этого было бы вполне достаточно одного телефонного звонка или короткой записки из обкома.

Просили также о присылке вещей, одеял, мыла и продуктов. Мы все получали тогда, — кроме тех, кто выполнял какую-либо особую работу, — только 400 граммов сырого

хлеба на день. Высушенным этот хлеб весил всего 200-300 граммов. Больше ничего не было: ни жиров, ни сахара, ни мяса. В то время как оседлые жители давно имели связь с деревней, с жившими там друзьями и родственниками, мы, немецкие эмигранты, прибывшие в совершенно новые для нас края, оказались в особенно тяжелых условиях.

Все эти просьбы, особенно просьбы крайне нуждающихся в помощи — стариков и больных, а также ветеранов испанской войны, несмотря на трудное тогдашнее положение, можно было бы выполнить. Не только ответственные партработники, но и каждый из нас знал, что в каждом городе Карагандинской области, как и повсюду в Советском Союзе, существуют «закрытые распределители», «закрытые рестораны», «закрытые магазины», к которым прикреплялись определенные круги привилегированных работников. Каждый из нас знал, что и в это тяжелое для советского населения время, в закрытых распределителях и магазинах все продукты питания имелись в изобилии.

Разумеется было бы возможно что-нибудь оттуда выделить для МОПРа. Тем самым было бы облегчено существование тем товарищам, которые десятки лет участвовали в рабочем движении и рисковали своей жизнью в Испании.

Но о закрытых торговых точках не упоминалось. Их словно и не существовало. Они относились к числу тех вещей, о которых не говорят . . . И так как официальные лица сами о них не говорили, то о них не смели упоминать и политэмигранты.

Скромные материальные просьбы о помощи и пожелания закончились тем, что МОПРу было предложено по возможности позаботиться об эмигрантах и удовлетворить просьбы особенно нуждающихся.

Было понятно, что это—простая отговорка. Все понимали, что такая слабая организация, как МОПР, в это время не сможет обеспечить кого-либо ни одеждой, ни питанием.

Чем дальше шло обсуждение, тем становилось яснее, что положение эмигрантов, собственно, ни в чем не может улучшиться . . .

Без сомнения, в этом не были виноваты уже известные читателю два работника обкома, которые для нас были бы готовы многое сделать. Но обстоятельства были, очевидно, сильнее них.

Последним, — возможно потому, что я был самым мо-

лодым, — выступил я. Я выразил свое желание в двух фразах: продолжать учебу в учительском институте и жить в Караганде. Это желание было удовлетворено:

— Это можно сделать. В ближайшие дни ты сможешь получить прописку в милиции и учиться дальше в учительском институте.

После краткого заключительного слова собрание эмигрантов было закрыто. Всем нам стало ясно, что нам придется еще долгое время влачить свое существование в Карагандинской области и что нынешнее положение политэмигрантов из Германии в этой местности определяется не решениями местных партийных органов, а предписаниями «официальной линии» сверху. Только большие перегибы могли быть — в перспективе — устранены.

Те большие надежды, которые таились у многих перед началом совещания, развеялись. Но мы все достаточно долго жили в Советском Союзе и понимали, что нам оставалось не жаловаться, ко всему привыкать и в самых тяжелых и неприятных случаях видеть что-то обнадеживающее. . . Одни думали, — «мы теперь имеем опять связь с партией», другие, — «нас теперь будут чаще вызывать на совещания».

Этого не случилось. Декабрьская конференция была единственным обсуждением, на которое были приглашены высланные сюда немецкие эмигранты.

Из всех участников этой конференции я больше никого позже не встречал, исключая лишь Ирмгард Зикерт, которая вернулась в Германию в 1949 году и работала на средне-германской радиостанции, а затем в министерстве иностранных дел Восточной Германии.

Не исключена и такая возможность, — она даже весьма вероятна, — что многие товарищи, которые десятки лет служили честно партии, остались навсегда в Карагандинской области, если они, конечно, не умерли от страданий и лишений.

Принудительное переселение немецких эмигрантов в Советском Союзе официально в восточной зоне Германии никогда не упоминалось. Только один раз сообщила газета «Нейес Дейчланд», центральный орган Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), 12 декабря 1952 года, о смерти немецкого художника Генриха Фогелера: «Скончался в Караганде, куда он был эвакуирован в попечительных целях из Москвы» . . .

Тот, кто был участником принудительного переселения и проживал в Карагандинской области, знает достаточно хорошо, что означало это «попечительство».

МОЯ ЖИЗНЬ В «НОВОМ ГОРОДЕ»

После конференции должна была начаться моя будничная жизнь в Караганде. Конференция была хорошим для нее стартом. Хотя о конференции ничего в местной газете «Социалистическая Караганда» не писалось, о ней, однако, были информированы не только все партийные руководители, но и все доценты учительского института.

Для меня это было чувствительным облегчением. Уже через день после конференции меня спросили директор, секретарь партийного комитета института и несколько доцентов о том, нравится ли мне институт, доволен ли я лекциями и нет ли у меня каких-либо предложений.

Непосредственно за этим я был взят на учет как комсомолец в местном райкоме комсомола. В институте мне дали нагрузку — быть ответственным секретарем МОПР, а на одном из торжественных собраний (очень частых в институте) я был выбран даже в президиум.

Внезапное изменение моего положения стало для меня в скором времени еще ощутимее. Спустя несколько дней после конференции я вышел как-то пройтись по «новому городу». Вдруг я услыхал топот бегущей рысью лошади. Бричка проезжала вдоль главной улицы. Я мимолетно взглянул на нее. И вдруг меня охватило страшное смятение: в бричке сидел тот самый начальник милиции, который меня несколько дней тому назад выселял из Караганды. — «Если вы через 24 часа не покинете Караганду, то . . . понятно вам это?» — его слова еще раздавались в моих ушах.

Что же мне сейчас надо было делать? Бежать? Нет, не было смысла . . . От начальника милиции не убежишь . . .

Я остановился, взволнованный, в ожидании, что же сейчас произойдет. Между тем бричка приближалась. Мои нервы были напряжены до предела . . . Бричка остановилась. Начальник милиции сошел с нее и направился ко мне, дружески улыбаясь.

— Товарищ Леонгард, нравится вам здесь, в Караганде?

Я от всей души хотел бы, чтобы вы чувствовали себя в «новом городе» хорошо.

Я онемел. Еще недавно он на меня рычал и выгонял из города, а сейчас он беспокоится о моем благополучии!

— Да, мне очень нравится Караганда и я чувствую себя здесь хорошо.

— Меня это очень радует.

— А скажите . . . можно ли мне будет в ближайшие дни придти к вам, чтобы поговорить о прописке?

Он дружелюбно отмахнулся.

— Ах нет, товарищ Леонгард, это совсем необязательно, чтобы вы из-за этого беспокоились. Я завтра утром пошлю кого-нибудь в ваш институт с бланком на прописку.

Через короткое время, все самое тяжелое осталось позади. Меня приглашали на различные собрания, вежливо меня приветствовали. Я имел, для того времени, редкое для немца счастье: меня не рассматривали как враждебного иностранца.

Но по существу, мой случай был исключением.

В других городах и населенных пунктах таких эмигрантских конференций не было, и потому многие немецкие эмигранты в это военное время переживали не только материальные лишения, но и моральные мучения.

Им помогало очень мало, когда они говорили, что они — немецкие коммунисты, которые боролись уже во времена Веймарской республики против нацистов и эту борьбу продолжали потом в подполье и в Испании. Тем не менее, их всё же нередко ругали «немцами», издевались над ними, делали их ответственными за гитлеровские бесчинства, хотя они в продолжение всей своей жизни боролись против национал-социалистов.

Однажды я получил приглашение — каждое воскресенье утром, в 10 часов, посещать доклады, которые делались для ограниченного круга лиц в обкоме партии.

Это мне показалось чем-то новым. Иногда, при разговорах с партийными людьми, мне бросалось в глаза, что некоторые из них, казалось, знают больше, чем они могли почерпнуть из советских газет и журналов. Но мне были неизвестны источники этой информации. Теперь, думал я, я смогу раскрыть эту тайну, так как, очевидно, и в других городах существует такое же положение, как в Караганде.

Помимо официальных обычных собраний в Караганде (как и повсюду в Советском Союзе), на которых говорились

такие вещи, которые печатались в газетах, — в обкоме партии, по утрам в воскресенье, читались рефераты для избранного круга лиц и сообщались действительно интересные факты, а также давались инструкции. Участники этих совещаний получали всякий раз специальное приглашение, которое они должны были предъявлять при входе в обком. Контроль был строгий.

На этих собраниях регулярно присутствовало около восьмидесяти человек. Это были лица, хорошо политически подкованные и занимающие важные посты.

Рефераты были на высоком уровне. Без банальных, общих мест. Затрагивались нередко проблемы международного значения, вроде, например, положения в Южной Америке. . .

Я охотно ходил на эти собрания. Меня всегда интересовала политика и, кроме того, было известной привилегией быть приглашенным сюда. Помимо всего, я мог бы здесь узнать вещи, которые для простых смертных оставались скрытыми.

До сих пор, если не считать короткого обучения на курсах весною 1941 года, я принадлежал к той подавляющей массе населения, которая знала о событиях лишь то, что печаталось в «Правде».

Теперь я стал знать немножко больше. Позже мне стало ясно, что этот источник информации был только первой ступенькой и что существовали еще несколько ступенек. Но чем важнее были информации, тем уже был круг посвященных.

Когда я теперь исподволь передумываю многие вещи, виденные и пережитые мною в Советском Союзе, то мне думается, что вот такая ступенчатая градация между незнающими, информированными и знающими очень много, была одной из важнейших особенностей сталинской системы.

Путем такого деления на ступени информирования создавалось чувство какой-то кастовости, неразрывно связанное с иерархическим построением советского общества, рождалось чувство спаянности в определенных кругах партийных руководителей на том или ином уровне. Без сомнения, такая сплоченность отдельных ступеней была важна для режима. Не следует забывать, что в Советском Союзе вся печать и радио имеет единое руководство сверху, и потому огромная масса населения лишена полноты и объективности информации и узнает лишь то, что соответствует видам и желаниям власти . . .

Но тогда я еще не думал об этих вещах. Я слушал жадно доцентов, и по временам у меня появлялся вопрос, откуда знают они то, что они нам преподносят: ведь ни в газетах, ни в журналах об этом ничего не говорится. На этот вопрос я смог получить ответ лишь спустя год . . .

С осени 1941 и до весны 1942 года в Караганде, как и повсюду в стране, проводились большие сборы одежды и обуви для красноармейцев, находящихся на фронте. Сборы эти были тяжелым делом для населения Караганды, где зима была так сурова. В середине декабря температура упала до минус 40, в конце декабря — до минус 50, в январе — до минус 55, а в течение нескольких дней термометр показывал даже минус 58°.

Казахстан оставался в значительной мере пощаженным войной и даже в 1942 году производил впечатление края, живущего в мирных условиях. Вследствие отдаленности Казахстана от фронта здесь не было, в течение всей войны, даже затемнения: в «новом городе» по ночам ярко горел свет, как в мирное время.

Но зато влияние войны сказалось здесь в другом отношении: в питании.

С питанием приходилось так тяжело, как еще никогда в моей жизни. С декабря 1941 года в лавках по карточкам можно было получить только хлеб. Хотя на продуктовых карточках и были талоны на сахар, масло, мясо и другие продукты, но их сюда не доставляли. Мы, студенты, получали ежедневно 400 граммов хлеба и два раза в день суп, разумеется, без мяса, но с крошечным добавлением подсолнечного масла, отвратительного по вкусу.

Руководители партийного, советского и хозяйственного аппарата в это тяжелое время не чувствовали никакого недостатка в продуктах. Они жили, как в мирное время, так как получали все необходимое в «закрытых магазинах».

Кроме этих закрытых «торговых точек» для особо привилегированных, существовали магазины для инженеров, офицерских жен и других групп среднего «повышенного снабжения», которых нельзя было поставить на уровень снабжения масс, но и нельзя было приравнять к снабжению руководителей в закрытых распределителях.

Прочее население было вынуждено само снабжать себя. Некоторым удавалось это — с помощью знакомых и друзей в деревне, где всё же что-то еще было. Некоторые эвакуиро-

ванные, прибывшие большими семьями, имели возможность послать кого-нибудь из членов своей семьи в отъезд, чтобы там «организовать» какие-либо продукты. Были и одинокие эвакуированные, прибывшие с солидным запасом денег в Караганду. Они были в состоянии платить по тем невероятным ценам на черном рынке, которые здесь установились.

Мне, лично, приходилось особенно тяжело. Я прибыл сюда, как новый поселенец, не имевший никаких связей, и вынужден был жить исключительно на карточный рацион. Правда, кое-кто из дружелюбно ко мне относившихся и имевших «связи» совал мне кое-что в руки. Но это не могло существенно изменить мое положение. Эту большую готовность оказать помощь, которую мне пришлось испытать на личном опыте жизни в России, я высоко ценю и всегда об этом с благодарностью вспоминаю. Тем не менее, я часто мысленно возвращаюсь к ужасам того голодного времени, которое невозможно забыть.

НЕГР И «ГУБЕРТ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Однажды утром, после конца лекций, я шел по улицам «нового города». Я был голоден и подавлен. Вдруг я издали увидел негра.

Негр? Это мог быть только Вейланд Ротт. Дело в том, что Вейланд Ротт был единственным негром в Советском Союзе. Насколько я знаю, он в тридцатых годах эмигрировал из Америки в Советский Союз, воодушевленный теми надеждами и тем идеализмом, которые многих воодушевляли в то время по отношению к Советскому Союзу. Он прекрасно пел и танцевал современные танцы — он снимался в известном советском фильме «Цирк» и в некоторых других фильмах. Иногда он писал статьи или выступал с речами — вероятно, тексты этих речей он составлял не сам, а получал их готовыми. Он говорил о преследовании негров в Америке и о счастливой жизни в Советском Союзе. Я познакомился с ним в Москве и чувствовал к нему симпатию.

— Подумай, какая радость, — сказал он мне на своем типичном, ломаном русском языке. — Негр и немец встречаются, и где? В Караганде!

— Что ты делаешь в Караганде? — спросил я его с удив-

лением. Я не мог себе представить, что и негра принудительно переселили в Караганду.

— Я здесь в турне с несколькими артистами, мы дадим в Караганде концерт. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Мы все живем в отеле и ты сможешь пообедать с нами.

— Я охотно пойду с тобой, но обедать в отеле я не могу. С начала января ресторан открыт только для проживающих в отеле, и кроме них в ресторан никого не пускают.

Он рассмеялся.

— Ничего, мы все устроим.

У входа в ресторан стояли, невзирая на контроль документов, длинные очереди. Иногда, хотя и очень редко, посторонних посетителей пускали в ресторан после того, как обеды проживающим в отеле уже были выданы. Надежды попасть в ресторан было мало, но, тем не менее, многие люди ждали у входа, иногда по несколько часов.

Когда негр, его коллеги и я подошли к отелю, перед ним с поспешностью распахнули дверь. Вслед за негром бросились некоторые из ожидавших, в надежде проскочить внутрь вместе с толпой. Но швейцар строго крикнул:

— Только те, кто вместе с негром.

Он захлопнул дверь передо мной. Через окно в двери я видел, как мой черный друг усиленно размахивает руками. На своем своеобразном русском языке он кричал: «Молодой товарищ принадлежит к моей группе». Тут смягчился даже строгий швейцар. Дверь снова открылась.

— Друга негра просят пройти в столовую.

Все посмотрели на меня с уважением. Швейцар повел меня в столовую. С изумлением я почувствовал всю влиятельность моего друга.

— Это все же должно быть очень приятно кататься по Советскому Союзу, будучи единственным негром.

— Да, люди ко мне необычно дружественны. Часто мне не приходится стоять в очереди, так как меня охотно пропускают вперед — у парикмахера, на вокзале или в магазинах.

Но скоро я узнал, что его жизнь имела и свои теневые стороны, которые зависели от внешнеполитического положения.

Когда отношения между Советским Союзом и Америкой были натянуты, он не мог справиться со всеми поступавшими к нему предложениями, — его всюду приглашали

петь и танцевать, его звали на банкеты и приветствовали, как представителя порабощенных негров Америки. Когда же отношения с США улучшались, становились хорошими или дружественными, негру приходилось исчезать, подобно тому, как должны были исчезнуть немецкие эмигранты после заключения пакта с гитлеровской Германией. Тогда для него наступали трудные времена — в такие периоды подавление негров замалчивали с такой же последовательностью, с которой об этом подавлении говорили в период вражды с США. Как раз в это время США предоставили Советскому Союзу ссуду в размере 10 миллиардов и казалось, что отношения улучшаются с каждым днем. Для моего негра настали трудные времена. Непосредственно после того, как была получена ссуда, ему заявили, что он больше не должен исполнять негритянские песни. Затем ему вообще запретили петь американские песни. Теперь он пел только советские песни по-русски, как любой другой певец. Банкеты и приемы отошли в прошлое.

Между прочим, концерт в Караганде прошел с большим успехом, слушатели долго аплодировали и громко вызывали негра (он, действительно, очень хорошо танцевал и пел). Очевидно, «новая линия» в негритянском вопросе еще не проникла в сознание слушателей.

Вначале мне казалось, что в Караганде я нахожусь в самом далеком и забытом уголке земли. Но постепенно у меня начало создаваться впечатление, что я живу в мировом центре. Первым появился генеральный секретарь германской компартии Вальтер Ульбрихт. Затем я встретил единственного, проживающего в Советском Союзе, негра. Несколько дней спустя в Караганду прибыл знаменитый Алексей Стаханов. Правда, он уже давно не был шахтером — его назначили директором одной из крупнейших шахт Караганды и он получил задание добиться решительного «переворота» в работе всего угольного бассейна.

Наконец, однажды, когда я, в один весенний день 1942 года, бродил по улицам, ко мне подошел оборванный, одетый в лохмотья молодой человек. Я отказывался верить своим глазам — неужели это было возможно? Это был Губерт «в стране чудес». История Губерта Лосте начинается в 1934 году. В то время он был маленьким мальчиком, сыном шахтера из Саарской области. Даже в самых смелых мечтах он,

наверное, не мог себе представить того, что ждало его в ближайшие годы.

В январе 1935 года население Саарской области должно было путем плебисцита решать вопрос — присоединяться ли к гитлеровской Германии или предпочесть положение, бывшее до тех пор («статус кво»), — что означало бы дальнейшее пребывание под мандатом Лиги Наций. В это время «Правда» послала в Саарскую область одного из самых известных советских журналистов, Михаила Кольцова, который почти ежедневно помещал в газете статьи о положении в Саарской области.

Однажды Михаилу Кольцову пришло в голову усыновить маленького мальчика из шахтерской семьи. Имя мальчика было Губерт Лосте.

Об усыновлении тотчас же узнали в Советском Союзе. В газетах помещали фотографии мальчика и подробно описывали условия, в которых он жил.

После плебисцита Михаил Кольцов, вместе со своим воспитанником, вернулся в Советский Союз. Приезд мальчика из саарской рабочей семьи в Советский Союз был отмечен триумфальным приемом. Он не знал куда деваться от торжественных приемов и банкетов. Все газеты печатали его фотографии и рассказывали о нем в длинных статьях. Где бы он ни появился, всюду сообщали о его приезде. Его таскали с одного собрания на другое, он постоянно сидел в президиуме — порой его было еле видно за цветами, которые стояли на столе президиума. Дома ему тоже жилось хорошо — он жил у своего приемного отца Михаила Кольцова, который в то время занимал не только крупное положение, но и пользовался большим влиянием. Михаил Кольцов был членом партии с 1918 года, уже в 1920 году был сотрудником «Правды», продолжительное время работал в народном комиссариате иностранных дел. С 1934 года он был членом редколлегии «Правды» и, кроме того, — редактором сатирического журнала «Крокодил». Ему было нетрудно обеспечить маленькому мальчику из шахтерской семьи хорошую жизнь и было понятно, что тринадцатилетний мальчуган чувствовал себя прекрасно.

Но это было лишь началом его карьеры. К тому времени все переживания Губерта в Советском Союзе были старательно записаны, включая и славословия и восторженные речи, которые он очень охотно произносил. Записанные впе-

чатления и восторженные выступления Губерта были собраны и изданы книгой, получившей заглавие «Губерт в стране чудес».

Книга была быстро расхватана и Губерт стал еще более популярным. Его пригласили в Кремль, где его принимали маршалы Буденный и Тухачевский. Школам, кино и театрам для молодежи присваивали имя «Губерт». Огромные изображения маленького, рыжего, круглолицего и веснушчатого Губерта носили даже во время шествий и демонстраций. Он, действительно, чувствовал себя так, как будто бы находился в стране чудес.

Но скоро счастливая жизнь Губерта совершенно неожиданно оборвалась. Его покровитель, Михаил Кольцов, был арестован, как «враг народа», и звезда Губерта начала закатываться. Его изображения исчезли, театрам для молодежи присвоили другое название. Книга «Губерт в стране чудес» была изъята из всех книжных лавок и библиотек и Губерт, которому тем временем исполнилось четырнадцать лет, совершенно не знал, что ему делать дальше. Для него, конечно, было вдвойне трудно привыкать к жизни обыкновенного мальчика после того, как он был приучен к жизни маленького народного героя.

Благодаря посредничеству друзей, которые еще не были арестованы, он, наконец, попал в наш детдом № 6.

Он превратился в воспитанника нашего детдома. Постепенно он привык к новой жизни и подружился с некоторыми воспитанниками, в том числе и со мной. Через год или два он примирился с тем, что из «Губерта в стране чудес» он превратился в обыкновенного Губерта Лосте.

Едва он успел, однако, привыкнуть к жизни в нашем детдоме, как его постиг в августе 1939 года новый удар. После того, как был заключен пакт с гитлеровской Германией, наш детдом был ликвидирован. Уже для нас это было тяжелым ударом — тем более для Губерта, которому предстояло пасть еще ниже, хотя он только что успел примириться со своей новой жизнью.

Это случилось в августе 1939 года. Теперь же была весна 1942 года. Два с половиной года я не видел Губерта и не знал, что с ним случилось. И вдруг он появился — изголодавшийся, оборванный. Он был похож на маленького бродягу.

Хотя я сам едва ли выглядел в то время намного лучше, я был потрясен тем, что увидел знаменитого Губерта в таком состоянии.

Невольно он обратился ко мне по-русски.

— Зачем ты говоришь по-русски, со мной ведь ты можешь говорить по-немецки.

Он рассмеялся печальным смехом.

— Я уже совсем отвык от этого. Я уже давно ни с кем не говорил по-немецки.

Он сразу снова перешел на русский язык и рассказал мне свою историю. Как и всех других немцев, его вызвали осенью 1941 года в милицию и уже с первым транспортом отправили в Караганду. Тех немцев, которые вошли в наш транспорт, расселили целыми группами. Первый же транспорт был распределен еще более сурово — Губерта совершенно одного отправили в далекую деревню Карагандинской области и уже через день после приезда он был прикреплен к одному из колхозов.

— Что же ты делаешь в колхозе?

— Меня сделали пастухом.

Я посмотрел на него — он стоял передо мной грязный, оборванный и вставлял в речь русские ругательства. Только его на редкость живые глаза и веснушки напоминали прежнего Губерта «в стране чудес».

Однако он, как и я, не жаловался на свою судьбу. Для нас было естественно, что в Советском Союзе люди могли стремительно падать с высоты занимаемого ими положения. Иногда бывало и наоборот.

Я хотел подробнее побеседовать с ним, но, к сожалению, нам этого сделать не пришлось.

Губерт вдруг схватился за голову:

— Боже мой, я ведь не могу так долго задерживаться. Меня сюда послали за покупками, и я могу лишь на несколько часов покидать колхоз. Если я не вернусь вовремя, могут быть большие неприятности.

Я понял его, и мы расстались.

С сожалением я посмотрел вслед моему приятелю из детдома №6, который когда-то был героем советских пионеров, а теперь превратился в оборванного пастуха. Раньше его принимали в Кремле, а теперь он боялся бригадира маленького колхоза в северном Казахстане.

Впоследствии я несколько раз пытался разыскать его, но все мои усилия были напрасны. Знаменитый Губерт «в стране чудес» затерялся окончательно.

ТАИНСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

Полгода я пробыл в Карагандинском учительском институте. Лишь в конце мая 1942 года мне удалось осуществить первоначально намеченное путешествие в Алма-Ату для посещения моего института, который был туда эвакуирован.

Я едва ли бы поехал, если бы предвидел, что меня ожидало. Мне предстояло проехать пятьсот километров на поезде через «голодную степь» в Балхаш — новый город, возникший вблизи одного из самых крупных медных рудников Советского Союза. Затем мне суждено было совершить путешествие по озеру Балхаш — при этом наше судно попало на мель, запасы продовольствия кончились и я был близок к голодной смерти. Наконец, мы добрались до Карашагана — маленького местечка на юго-восточном берегу озера Балхаш — оттуда, на переполненном грузовике и при палящем зное, мы ехали через пустыню Сары-Ишик-Отрау до станции Лепсы на железнодорожной линии Турксиба, всего в ста километрах от китайской границы. Когда же я, наконец, на десятый день путешествия прибыл в Алма-Ату, выяснилось, что институт уже переполнен и что больше никого не принимают. И снова — длительное путешествие из Алма-Аты по знаменитому Турксибу, на этот раз в северном направлении — в Новосибирск, где я был вынужден жить на каменном полу вокзала среди тысяч других пассажиров. Мое питание состояло из 300 граммов тяжелого сырого хлеба в день. Лишь неделю спустя я смог отправиться дальше — в Петропавловск, и через Петропавловск я доехал, через тридцать три дня с начала путешествия, снова до Караганды.

Цель, которую я себе ставил, я не достиг. Тем не менее, я никогда не раскаивался в том, что в самый разгар войны совершил такую поездку через Казахстан и Сибирь. За этот месяц я больше посмотрел и узнал о Советском Союзе, чем за несколько лет, проведенных в Москве.

Эта поездка подтвердила некоторые мои догадки и укрепила во мне то, что я начал понимать уже раньше. Я по-

видал огромные заводы, с помощью которых отсталая аграрная страна превращалась в промышленную державу, но одновременно я увидел, что для людей на этих огромных предприятиях не делается ничего или очень мало.

Я лишний раз имел возможность убедиться в той огромной разнице, которая существовала между привилегированными директорами, администраторами, инженерами и некоторыми рабочими-стахановцами, с одной стороны, и массой простых рабочих, с другой.

Я посмотрел Турксиб, эту длинную железнодорожную линию из Туркестана в Сибирь, но я видел, одновременно, неописуемую нищету населения времен войны. Советская пропаганда старалась и старается объяснить те лишения, которые вынужден был терпеть народ во время войны, сваливая всю вину на нацистскую систему и развязанную Гитлером войну. С другой стороны, в некоторых записках немецких военнопленных нищета населения приписывается исключительно советской системе, без учета положения военного времени.

Мне кажется, что правда находится, примерно, посередине. Несомненно, что условия войны значительно увеличили нищету населения. Но и до войны люди жили совершенно не так, как могли бы жить при условии, если бы лишь малая часть той энергии, которую направляли на постройку огромных промышленных сооружений и на обеспечение привилегий небольшой кучки избранных людей, была направлена на благо трудящихся.

Во время моего путешествия меня всякий раз поражало дружелюбие советского населения, его готовность помочь другому человеку. Конечно, и в Советском Союзе встречаются, как и в любой стране, жестокие люди и эгоисты, но большинство мужественно переносит свою судьбу и помогает тем, кто нуждается больше них. Во время этой поездки я еще сильнее, чем раньше, проникся симпатией и уважением к людям, живущим в Советском Союзе. Мне кажется особенно важным подчеркнуть это именно сегодня, ибо, к сожалению, на Западе немало таких людей, которые совершенно несправедливо переносят свое отрицательное отношение к советской системе на население Советского Союза.

Меня всякий раз потрясает, когда я встречаюсь с людьми, которые свысока смотрят на «русских» только потому, что они порой вначале бывают несколько беспомощны пе-

ред некоторыми достижениями западной цивилизации. Очевидно при этом забывают, что эти люди обладают в значительной мере качествами, которые должны были бы внушать уважение людям на Западе.

В конце июня 1942 года я снова вернулся в Караганду. Куда же теперь идти? В учительский институт? Но ведь там я уже заявил о моем уходе.

Поэтому я решил, для начала, явиться к моим друзьям в областном комитете МОПРа. Секретарша МОПРа удивилась, увидев меня снова.

— Что же, товарищ Леонгард, не вышло дело в Алма-Ате?

Я печально кивнул ей в ответ.

— Хотите теперь остаться в Караганде?

— Да, я думаю, что это будет лучше всего.

— Какое удачное совпадение. Мы получили согласие на новое кадровое место для инструктора МОПРа на Карагандинский район. Этот инструктор должен специально заняться политэмигрантами. Уже предлагали взять вас на это место, но, к сожалению, вы были в отъезде. А теперь я сразу предложу обкому партии назначить вас.

Я был еще совершенно подавлен путешествием. Передо мной вставали виды озера Балхаш, голод на судне, ночной поход через пустыню, Карашаган, путешествие в Лепсы, отчаяние, которое я испытал в учреждениях прекрасного города Алма-Ата, Турксиб, дни проведенные на вокзале в Новосибирске и жуткое возвращение в переполненном поезде.

Я задержался с ответом и, очевидно, секретарша МОПРа неверно поняла мое молчание. Она думала, что я колеблюсь.

— Как инструктор, вы будете обсуждать все дела со мной, и, в случае моей отлучки, будете меня заменять. Жалование будет составлять 500 рублей в месяц и мы будем искать вам жилье.

Только тогда я понял, что мне предлагали. Я радостно согласился.

Уже на следующий день я получил ответ: «Обком согласен с вашим назначением и для вас имеется жилье».

Секретарша повела меня по проспекту Ленина, где мы остановились перед красивым, новым четырехэтажным домом.

— Это здесь.

Меня привели в большую кухню. К кухне была при-

строена маленькая, боковая комната, в которой было достаточно места для кровати, стула и маленького ночного столика.

Сегодня мне такое жилье показалось бы убогим. Но тогда оно вызвало во мне чувство радостного удивления.

До того времени я никогда не жил в Советском Союзе один в комнате. В московском студенческом общежитии мы жили всегда вдвоем или втроем. В Карагандинском учительском институте нас было около 20 человек в комнате. Во время моих путешествий я был счастлив найти место в каком-нибудь помещении, где люди спали вповалку. И вдруг мне предоставили одному отдельную кухонную нишу!

Через два дня началась моя работа «инструктора» Карагандинского областного комитета МОПРа.

— Так вот, товарищ Леонгард, там ваш письменный стол. Он, правда, немного мал, но авось его вам хватит. Я уже положила вам все дела, может быть вы их для начала прочтете.

Я все еще был не совсем уверен:

— В чем же будет, собственно, моя работа?

— Вы будете опекать немецких политэмигрантов Карагандинской области.

Она передала мне список 58 немецких эмигрантов. В списке были указаны возраст, место рождения и адреса мест работы. Кроме того, я получил папку, в которой находились копии выданных удостоверений и имевшей до сих пор место переписки.

— Ваша задача будет состоять в том, чтобы находится в постоянной переписке с немецкими политическими эмигрантами. Вы должны быть в курсе дела, в чем они нуждаются, и выдвигать предложения, как мы можем им помочь. Если они будут нуждаться в удостоверениях, вы можете их выписывать и давать мне на подпись. Кроме переписки я предложила бы, чтобы вы в скором будущем совершили поездку по Карагандинской области, чтобы на месте посетить товарищей. Одновременно вы могли бы заняться существующими на местах организациями МОПРа. Как только мы получим продукты питания, мыло или текстиль, вы должны будете принять на себя их распределение между немецкими эмигрантами, причем в первую очередь нужно снабжать наиболее нуждающихся.

Я с усердием занялся моей новой работой, прочел все

документы и составил план, в какой последовательности посещать товарищей. К сожалению, у нас не было ничего, что мы могли бы раздать, но я собирался после поездки составить список тех вещей, которые были наиболее необходимы политэмигрантам, чтобы хоть потом иметь возможность подать товарищам сколь возможно спешную помощь.

Дни проходили очень быстро. Я постоянно вспоминал конференцию эмигрантов в декабре 1941 года и старался сделать все, чтобы помочь товарищам. Я был глубоко удовлетворен тем, что я не только получил какую-то работу, но что это была работа, которая казалась мне насущно необходимой. До сих пор я смотрел на Караганду, как на временное местопребывание, теперь же я надеялся остаться тут подольше.

Однако через короткий срок суждено было наступить событиям, которые снова резко изменили мои планы.

Прошло примерно три недели со дня моего назначения на должность инструктора МОПРа. Ясным летним утром я шел, ничего не подозревая, на место моей работы.

Едва я успел войти, как секретарша МОПРа передала мне телеграмму:

— Вот это касается вас.

Я прочел: «Товарищ Леонгард должен немедленно прибыть в Уфу. Вилков».

Уфа? Я знал, что Уфа, столица Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, находится примерно на три тысячи километров на запад от Караганды — следовательно мне предстояло новое далекое путешествие. Уфа? В этом городе находилось руководство Коминтерна и эмигрантское руководство германской компартии. Через несколько минут секретаршу МОПРа вызвали по телефону. Разговор был коротким.

— Вы должны сейчас же явиться в отдел кадров обкома партии.

Снова, как в ноябре 1941 года, я пошел на поиски по зданию обкома. На этот раз меня направили к одной из партийных секретарш отдела кадров.

— Меня зовут Вольфганг Леонгард. Меня только что вызвали сюда.

Она коротко и испытующе взглянула на меня.

— Нам телеграфировали из Уфы. Вы должны немед-

ленно прибыть туда, — сказала мне партсекретарша строгим тоном.

— Там вы, прежде всего, явитесь в Центральный комитет МОПРа. Оттуда вас направят дальше. Лучше всего, если вы поедете, как можно скорей. Билеты и дорожный паек вы получите завтра утром у нас.

Это было все.

Она также ни слова не сказала о том, почему я должен ехать в Уфу и кто такой этот легендарный Вилков. Я, конечно, знал, что о таких вещах спрашивать не полагается.

Еще за несколько недель до этого я несказанно обрадовался бы тому, что меня вызывают в Уфу. Я радовался этому и теперь, но моя радость, была несколько испорчена. Ведь я нашел работу, квартиру и друзей и все это я должен был покинуть, как раз в то время, когда я ко всему этому привык. Но делать было нечего. Я был воспитан в строгой дисциплине и передо мной была лишь одна задача — как можно скорее попасть в Уфу.

Сегодня я знаю, что в те дни произошел решительный поворот в моей жизни. Мне предстояло познакомиться с Советским Союзом с совершенно новой точки зрения. В те дни меня приняли в сословие партаппаратчиков.

Тогда мне было еще неясно, что это означает. Лишь позднее я начал ощущать, что я был освобожден от всех тягостных затруднений и превратностей, которые мне до того приходилось переживать. Мне уже не нужно было ночевать на вокзалах, не нужно было бороться за право прописки, не нужно было бегать по учреждениям и терпеть голод. Но одновременно мне суждено было понять, что жизнь партаппаратчика имела и свои теневые стороны — эта жизнь означала постоянный контроль и самоконтроль, по сравнению с которым моя прежняя жизнь — жизнь рядового человека в Советском Союзе, могла почитаться почти свободной.

Поезд из Караганды уходил поздно вечером. Мы снова ехали через пустыни Казахстана, которые мне суждено было видеть в последний раз. Мы ехали на север до Петропавловска и оттуда на запад до Уфы. Это был тот же путь, который я проделал в ноябре 1941 года под охраной в качестве принудительного переселенца. Теперь поезд шел в противоположном направлении. Для меня это было больше, чем географический поворот. Мы ехали в Уфу. В Уфе находился Коминтерн.

ГЛАВА V

В ШКОЛЕ КОМИНТЕРНА

В 1941 году осенью Коминтерн был эвакуирован из Москвы в Уфу. Уфа, столица Башкирской АССР, расположенная в 1200 км от Москвы, не принадлежала к тем главным городам, куда шел поток эвакуации. Правительственные инстанции и дипломатические миссии нашли себе убежище на Волге — в Куйбышеве. Значительная часть промышленных предприятий была эвакуирована из западных областей России в Новосибирск и Челябинск; таким образом, эти города во время войны являлись основными промышленными центрами. Важнейшие научные архивы, самые ценные картины и музейные экспонаты в начале войны были перевезены в Томск. Алма-Ата и Ташкент в военные годы были центрами эвакуированных работников искусства и науки. Уфа расположена несколько в стороне и, быть может, как раз по этой причине туда и направился Коминтерн.

В первые месяцы войны, когда немецкие армии продвинулись до Ленинграда и Москвы и заняли большую часть Украины, Коминтерн в сильной степени утратил свое значение.

В начале 1942 года это положение изменилось.

Немецкая армия была отбита от Москвы и застряла под Ленинградом. Это дало Советскому Союзу возможность передохнуть и использовать эту передышку не только для формирования новых воинских частей, но и для наступления в политическом плане.

Большую роль играла политработа, проводившаяся в лагерях военнопленных. Уже с конца 1941 года проводились совещания с теми военнопленными, которые — большей частью по искреннему убеждению, а иногда и из оппортунисти-

ческих соображений — готовы были подписать воззвания и декларации, направленные против Гитлера*).

Политработой в лагерях военнопленных руководили большей частью работники Коминтерна. Таким образом Коминтерн отнюдь не был отставлен с начала войны, как нечто бесполезное, но, наоборот, с начала 1942 года получил новые задания.

Многие эмигранты, еще осенью 1941 года насильственно переселенные как «ненадежные иностранцы», были теперь снова привлечены к политической работе.

Когда я приехал в 1942 году в Уфу, вся эта картина мне еще не была вполне ясна. Город выглядел так же, как и другие города Советского Союза в военные годы; переполненные вокзалы, толпы изнуренных, изголодавшихся, несчастных беженцев.

УФА — ГОРОД КОМИНТЕРНА

К внутреннему карману моего пиджака была приколота английской булавкой, чтобы не потерять, маленькая бумажка, от которой теперь все зависело. На этом клочке бумаги стоял адрес Центрального комитета МОПР — инстанции, в которую я должен был обратиться.

Приблизительно через полчаса я нашел здание с вывеской: «Центральный комитет МОПР».

Секретарша смерила меня недоверчивым взглядом. По-

---

*) В 1942 году самыми значительными воззваниями военнопленных в Советском Союзе были следующие: Декларация первого совещания 876 румынских военнопленных (25 января), Декларация солидарности 176 германских военнопленных с «Воззванием 158-ми» (13 февраля), Воззвание финских военнопленных к народу и армии Финляндии (18 февраля), Декларация первого совещания венгерских военнопленных к австрийскому народу и к австрийским солдатам германских вооруженных сил (27 марта) и Декларация солидарности 1393 румынских военнопленных в «Воззванием 876-ти» (29 апреля). Затем последовал еще «Протест 115 германских военнопленных против жестокости немецких войск в оккупированных советских областях» (4 июня 1942) и вслед за ним воззвание 61 итальянского военнопленного в лагере № 99 к «Солдатам экспедиционного корпуса в России и солдатам итальянской армии» (25 июня 1942).

сле годичного пребывания в Казахстане мой вид, очевидно, не внушал особого доверия.

— Я приехал по вызову, из Караганды. Я должен явиться к товарищу председателю.

Секретарша сразу стала любезнее. Как видно, я был уже не первым человеком, вызванным неожиданно из Караганды или Сибири.

— Пожалуйста немножко подождите, товарищ.

Через полчаса я был принят председателем Центрального комитета МОПР.

На столе перед ним лежали какие-то бумаги, вероятно, мое личное дело и характеристики.

Председатель ЦК МОПР смотрел то на меня, то на лежащие перед ним бумаги, которые — я знал это — содержали обо мне точные данные. Несмотря на это, я должен был отвечать на обычные вопросы: фамилия, место рождения, дата прибытия в Советский Союз, принадлежность к комсомолу, образование.

— Как вам, в сущности говоря, жилось в Казахстане? — спросил он вдруг.

Я ответил без промедления:

— Очень хорошо. Первые недели было немного трудновато, но начиная с ноября я уже учился. Вообще в Караганде было очень интересно, я там научился многому.

Я говорил правду. Я приучился замечать в Советском Союзе все хорошее и забывать обо всем плохом. Это как бы вошло в плоть и кровь. Таким образом жизнь в Караганде осталась у меня в памяти, как приятная и интересная жизнь.

Казалось, мой ответ ему понравился. И уже дружески он заметил:

— Впервые слышу такое. Обычно только жалуются. Весьма приятно, когда люди так оптимистически на все смотрят. Товарищ Леонгард, вы были вызваны сюда Коминтерном. Здесь лишь бюро пропусков.

Он взял лист бумаги, написал фамилию и адрес и протянул мне. Я прочел:

«Улица Ленина 7, Вилков».

— Коминтерн находится в бывшем Дворце пионеров. Если вы здание Коминтерна сразу не найдете, то можете спросить, где Дворец пионеров и вам любой его укажет.

Он встал. Разговор был закончен и я сразу же отправился на поиски.

Я был очень заинтригован. Я все еще не знал, кто такой Вилков. Во всяком случае, он, очевидно, был очень влиятельным человеком, если, преодолевая все преграды, он мог вызвать к себе насильственно переселенных в Казахстан немецких эмигрантов.

По дороге в МОПР к «влиятельному незнакомцу» — Вилкову мне приходили в голову самые разнообразные мысли. Хотят ли меня использовать в качестве политработника? Быть может меня хотят послать на радиостанцию или в лагерь военнопленных? Но об этом мне могли бы сообщить и в письменной форме. По всей вероятности, думалось мне, дело связано с мобилизацией. Быть может формируется интернациональная бригада?

Между тем я уже подходил к нужному мне дому. Для Уфы это было сравнительно большое здание в том тяжеловесном стиле, который так типичен для всех дворцов пионеров, строившихся в Советском Союзе в начале тридцатых годов.

Перед домом был маленький садик. Вход украшали мощные колонны. Большие двери были обиты металлом. На здании не было никакой вывески. Абсолютно ничего не указывало на то, что здесь находился Коминтерн.

Я робко вошел в дом. В передней я встретил старого приятеля из нашего детдома № 6, Эрнста Апельта, сына одного политработника германской компартии.

Я бросился к нему.

— Здорово, Эрнст, ты что здесь делаешь?

— А я как раз тебя хотел об этом спросить.

Я ему рассказал вкратце о том, как меня насильственно эвакуировали в Караганду и о неожиданной телеграмме Вилкова с требованием явиться в Уфу.

У Эрнста Апельта был такой вид, будто он здесь уже во всем хорошо разбирался. Может быть, я от него смогу что-либо узнать.

— Скажи мне, кто, собственно говоря, этот Вилков?

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Как, ты этого не знаешь? — Вилков заведующий отделом кадров Коминтерна.

— Да, но что означает этот неожиданный вызов в Уфу? Будем ли мы направлены в специальные воинские части или предполагается что-то иное?

— В армию? Нет, не думаю. По всей вероятности, ты

попадешь в какую-либо школу, которых здесь много. Может быть, ты даже попадешь в школу Коминтерна, что было бы лучше всего.

Вдруг послышалась речь с австрийским акцентом:

— Эрнсти, иди, тебя ждут.

Апельт попрощался и ушел, хотя мне хотелось бы с ним еще поговорить.

Когда я явился к секретарше Вилкова, она, прежде всего, спросила меня, не хочу ли я закусить. Я очень этому удивился, так как такого вопроса мне уже целый год никто не задавал. Не дожидаясь моего ответа, она выдала мне маленький талон. Затем я очутился в прекрасной столовой, находившейся на первом этаже. Не успел я сесть, как ко мне подошла официантка, взяла талон и принесла мне суп, белый хлеб, мясное блюдо и сладкое. С начала войны это был мой первый обед, состоявший из нескольких блюд . . . Наевшись, я откинулся на спинку кресла в таком благодушном настроении, какого у меня давно уже не было.

Официантка снова подошла ко мне:

— Не хотите ли вы еще чего-нибудь съесть?

Я просто потерял дар речи. В середине войны, после такого роскошного обеда . . .

— . . . Разве это вообще возможно?

— Да, конечно! Вы пойдите к кассирше и попросите у нее еще один талон на еду. А я вам тем временем принесу второй обед.

Кассирша сразу же дала мне новый талон.

— Вы, вероятно, тоже из Казахстана приехали? — спросила она, улыбаясь.

Закончив второй обед, я прошел в комнату секретарши и через несколько минут был принят Вилковым. Это был крупный человек с серьезным выражением лица.

Разговор был коротким. Сначала шли обычные вопросы, на которые я так и сыпал ответы. Причем я великолепно знал, что у него имеются обо мне все данные, а он, со своей стороны, знал, что мне известно, что он обо мне знает все. Затем Вилков заговорил медленно, но решительно:

— Мы хотим предоставить Вам возможность учиться в школе Коминтерна. В ближайшие дни туда едут несколько человек. Вы заходите каждый день к секретарше. Она будет Вас держать в курсе дела. Несколько дней Вы пробудете в Уфе. Секретарша для этого сделает все необходимое.

В школу Коминтерна! Я не верил своим ушам. Только потом я сообразил, что Вилков мне не сказал, где эта школа находится. То, что мне всегда говорили лаконически лишь самое необходимое, меня, в сущности, тогда мало трогало. Со временем я узнал, что такая тактика отнюдь не была свойственна лично Вилкову, а была типичной для всей советской бюрократии.

— Товарищ Леонгард, вот адрес Вашего временного места жительства. Шофер Вас туда отвезет — сказала секретарша. — Каждое утро в 10 часов он будет за Вами заезжать и привозить Вас сюда. О дне Вашего отъезда я вам сообщу, как только мне об этом станет известно.

Когда я спускался по лестнице, мне вспоминалась долгая и упорная борьба, которую мне пришлось вести в Караганде за прописку и за право жить в студенческом общежитии. А здесь, наоборот, все идет как по маслу. Я был в восторге.

В каком-то оцепенении шел я к выходу. Меня уже ожидала автомашина. И какая! Не обычная «Эммочка» (так назывались в Советском Союзе маленькие машины М-1, которыми пользовались партработники среднего масштаба), а чудесный огромный ЗИС — автомашина крупных партработников.

Шофер открыл дверцу машины, спросил, куда ехать, и мы помчались.

Пожалуй, всего этого было многовато для молодого человека, только что вернувшегося из ссылки в Караганде!

Приблизительно через десять минут мы остановились перед чудесной новостройкой. Во всем доме нигде не было табличек с фамилиями квартирантов, стояли лишь номера. «Моя квартира» оказалась на втором этаже. Я позвонил и — не поверил своим глазам. Передо мной стояла знакомая девушка — австрийка Грета Лёбербауер из нашего детдома № 6, которую я не видел уже более двух лет.

— Здравствуй, Грета! Как я рад, что я тебя здесь встретил!

— Здравствуй, — равнодушно ответила она.

Но радость, которую я испытал от встречи с девушкой, заслонила ее безразличие. Я сразу начал рассказывать о Казахстане и о всем том, что мне пришлось пережить за несколько часов, проведенных мною в Уфе.

Между тем к нам подошел какой-то шуцбундовец. Он

поздоровался со мной, не назвав своего имени, и проводил меня в мою комнату. В комнатах было по кровати и по тумбочке и больше не было никакой мебели. Казалось, что квартира эта и предназначена только для того, чтобы давать приют на несколько дней людям, находящимся в Уфе лишь проездом.

Я опять начал с воодушевлением рассказывать. Но Грета Лёбербауер, которую я до этого времени знал как жизнерадостную девушку молчала и только иногда с безразличным видом кивала головой. Теперь мне это уже бросилось в глаза.

— Ну, как тебе все это время жилось? Что ты здесь делаешь? Что ты собираешься делать в будущем?

Она долго молчала. Потом ответила уклончиво:

— Я еще точно не знаю.

Между тем снова пришел шуцбундовец.

— Ты не должен так много рассказывать, — сказал он многозначительно, хотя и в дружеском тоне.

Я смутился и замолчал. После долгого времени, проведенного в Казахстане, я был рад снова встретить старых друзей. Но, как видно, в этом отношении мне не повезло. Апельт должен был сразу уйти, а когда-то жизнерадостная Грета держала себя холодно и замкнуто.

В скором времени я понял, что мои друзья усвоили теперь совсем другую манеру себя держать, не похожую на ту, к которой я привык. Будучи студентом и комсомольцем, я, конечно, знал, что есть много областей, о которых «не принято говорить». Но зато я мог говорить обо всем, что находилось вне этих тем. Постепенно я начал понимать, что здесь надо считаться с другими масштабами, так как очевидно, что круг тем, о которых «не принято говорить», здесь значительно шире.

Уфа могла теперь с полным правом называться «городом Коминтерна». Ведь Коминтерн был единственной крупной организацией, переброшенной в Уфу.

Для руководящих работников Коминтерна был реквизирован самый большой отель города Уфы «Башкирия», построенный в современном стиле. Здесь имели свою резиденцию генеральный секретарь компартии Испании Долорес Ибаррури; лидеры КП Германии Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт; лидеры австрийской компартии Копрениг, Фюрнберг и Фишер; здесь проживали также Андрэ Марти, быв-

ший тогда еще в большом почете, и Анна Паукер, в то время занимавшая еще руководящий пост в КП Румынии, а также представители русской компартии Мануильский и Вилков, сосредоточившие в своих руках общее политическое и административное руководство Коминтерном. Димитров, бывший в то время генеральным секретарем Коминтерна, приезжал в Уфу лишь изредка и на короткий срок. Другие руководящие работники также часто бывали в поездках — то в Куйбышев, где находились правительственные инстанции и радиостанция, то в партийные школы, которые были разбросаны по всей стране, то в лагери военнопленных, где они подготовляли или проводили совещания.

Кроме отеля «Башкирия» — резиденции руководящих работников — и Дворца пионеров — ныне ставшего рабочим помещением Коминтерна — для Коминтерна были резервированы еще два крупных здания в Уфе.

Бывший Геологический техникум на улице Ленина был превращен в жилой дом для работников среднего ранга и для семей руководящих работников.

В здании бывшей Сельскохозяйственной школы на улице Сталина, которое было далеко не таким благоустроенным как Геологический техникум, не говоря уже об отеле «Башкирия», были поселены сотрудники низшей категории и семьи сотрудников средней категории. Здесь жил как бы «пролетариат» Коминтерна: борцы испанской гражданской войны, которых по состоянию здоровья нельзя было больше использовать для политической работы; члены их семей, которые работали в разных школах или вели подпольную работу за линией германского фронта; низшие служащие и кухонный персонал Коминтерна. В этом же здании жили и те, кого в свое время вызвали из Казахстана и Сибири на политработу, но которые на практике, по тем или иным причинам, оказались непригодными для этой цели. Большинство обитателей этого дома были мало связаны с Коминтерном, а скорее имели отношение к МОПРу и получали пособие от него.

Работники Коминтерна как в жилищном, так и в продовольственном вопросе находились в очень различных условиях.

Все сотрудники, работавшие непосредственно в Коминтерне, получали еду три раза в день в рабочем помещении, в бывшем Дворце пионеров.

Руководящие же партработники, обитатели роскошного отеля «Башкирия», кроме того получали еще добавочный паек — большой сверток, который им приносился на дом.

Остальные сотрудники Коминтерна пользовались закрытым распределителем, находившемся в первом этаже отеля «Башкирия», где они столовались, а, кроме того, получали паек ударника и время от времени особые выдачи.

Таким образом положение сотрудников Коминтерна в зависимости от их политической значимости было в продовольственном и жилищном вопросе очень различно. Это была поистине иерархическая система.

СТРАННАЯ ПОЕЗДКА НА ПАРОХОДЕ

Я пробыл в Уфе уже около недели и впервые за долгое время жил так беззаботно.

Рано утром за мной заезжали, в 10 часов я являлся к секретарше, которая меня каждый раз обнадеживала завтрашним днем, получал превосходные обеды и ужины, имел хорошую комнату, а, кроме того, абсолютно ничего не должен был делать.

Время от времени я встречал старых друзей из шуцбундовского детдома или из австрийской секции Коминтерна. Все они вели себя так же, как Грета. Что они здесь делали — этого они не выдавали ни единым словом. Я пытался отвечать им тем же, но у меня это не выходило. Я долгое время был студентом, столько у меня было всяких переживаний в Караганде, так счастлив я был увидеть старых друзей, а, кроме того, ведь, я был еще новичком в «аппарате»,— так что иногда, невзирая на мои самые лучшие намерения, я начинал себя чувствовать опять свободно и становился разговорчивым.

Приблизительно через две недели секретарша сообщила мне, что на следующий день утром я еду с двумя товарищами в школу. В 10 часов утра я должен был явиться к ней.

Ровно в 10 утра я был у нее. Кроме меня в комнате было еще два товарища, но она обратилась только к одному из нас.

— Мы считаем, что было бы хорошо, если бы Вы сегодня с двумя товарищами поехали бы в школу, вот билеты.

Она передала мне запечатанный конверт. Двое других

протянули мне руку, не назвав своей фамилии. Поэтому и я не назвал своей.

— Автомашина подана. Вы можете ехать. Желаю вам счастливого пути, — сказала секретарша.

Старший группы подвел нас к шикарному ЗИСу и сказал что-то шоферу. Мне послышалось слово «пристань».

Приблизительно через четверть часа мы действительно оказались на пристани реки Белой.

— Мы поедем на этом пароходе, — сказал старший группы.

Через несколько минут пароход отчалил. Всего только десять дней тому назад я был еще в Казахстане, а теперь я сидел на пароходе с двумя спутниками, с которыми я только что познакомился и даже не знал, как их зовут.

Время шло. Мои спутники говорили мало. Умудренный опытом, я тоже больше не предавался веселой болтовне.

— Хорошая погода, не правда ли? — сказал сопровождающий нас.

— Да, — ответил я.

— Это-то в конце концов, я могу сказать, — подумал я про себя.

Большинство пассажиров, казалось, были простыми гражданами.

Отойдя в сторону, мы немного закусили.

— Благовещенск, — прокричал кто-то.

Мы наверно были в пути уже часа два-три. Многие пассажиры сошли на берег. Я посмотрел вопросительно на сопровождающего, но он отрицательно покачал головой.

Мы поехали дальше.

Часов через шесть пароход причалил снова.

— Кушнаренково, — объявили громко и внятно.

Наш сопровождающий поморщился. Ему, очевидно, не понравилось, что это место было названо. Ну, ничего не поделаешь.

— Я думаю, мы можем уже собираться, — сказал он.

Молча взяли мы свои чемоданы.

Мы сошли на берег уставшими от долгого путешествия, но нас разбирало любопытство, что же будет дальше. Что думали оба моих спутника — мне неизвестно. Они молчали, и на их лицах я ничего не мог прочесть.

На сей раз нас не ждала автомашина — быть может в

целях конспирации. Мы побрели с нашими чемоданами не в населенный пункт, а в противоположном направлении.

Кушнаренково, как я потом узнал, маленькое местечко километрах в 60-ти к северо-западу от Уфы. Железнодорожного сообщения с этим местечком не было. Летом единственным сообщением была пароходная линия, а зимой — санный путь. Это было, несомненно, идеальное место для политической школы, которая не должна была обращать на себя внимание, а ученики ее не должны были иметь никакой связи с внешним миром.

Через полчаса ходьбы мы подошли к подножью горы.

— Нам надо подняться на гору, — сказал нам сопровождающий.

Молча начали мы подниматься.

Пока еще ничего не было видно: ни селения, ни двора, ни какого-либо дома.

ШКОЛА КОМИНТЕРНА В КУШНАРЕНКОВЕ

Спустя четверть часа ходьбы, мы увидели два запущенных дома, очевидно, бывшее имение. Кроме главного здания были еще две-три постройки. Посередине — площадь. Все это выглядело заброшенным — совсем иначе, чем я представлял себе школу Коминтерна.

Я думал, что мы еще далеки от цели, когда наш сопровождающий, сделав неопределенный жест в сторону здания, сказал:

— Пожалуй мы пойдем сюда.

Перед тем, как войти, он дал последние указания:

— Было бы неплохо заявиться к секретарше.

Мы молча поднялись на первый этаж.

Оставив нас, он пошел в секретариат, откуда вышел через несколько минут и, сделав знак рукой молодому товарищу, скрылся с ним за дверью. Я продолжал ждать.

Через несколько минут он вышел и кивнул мне. Теперь, мол, твоя очередь.

Я был принят секретаршей. Снова повторились обычные вопросы и ответы.

После этой знакомой и надоевшей мне до предела прелюдии, она посмотрела мне пристально в глаза.

— В нашей школе имеются особые правила. Во-первых,

вы не имеете права покидать пределы этой школы без специального разрешения. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что неисполнение этого правила может повлечь за собой тяжелые последствия. Во-вторых, само собой разумеется, что ни в одном письме вы не имеете права делать ни малейшего намека на то, где вы находитесь. Школа Коминтерна не должна упоминаться ни в письме, ни при указании адреса отправителя.

До этого о подобных вещах мне, неопытному студенту, ничего не приходилось слышать.

— Но как же мне писать свой адрес?

— Вы должны писать: Башкирская АССР. Кушнаренково. Сельскохозяйственный техникум №101. Этого вполне достаточно*).

Она сделала паузу и снова пристально посмотрела на меня:

— А теперь о самом главном. Вы не имеете права называть кому-либо вашу настоящую фамилию, даже рассказывать о мелочах из вашей прошлой жизни. Я хочу обратить ваше внимание на то, что исполнение этого предписания крайне необходимо. Никому, даже вашим старым знакомым, вы не должны называть вашей настоящей фамилии.

Снова маленькая пауза, после чего она уже немного приветливее спросила:

— Какую фамилию вы хотели бы иметь?

— Линден.

Она записала фамилию и сказала:

— Прекрасно, значит, с сегодняшнего дня вы — Линден. Забудьте вашу настоящую фамилию и помните, что в течение вашего пребывания в школе вы носите фамилию Линден. Пока — все. Вы можете теперь пойти закусить. А после я покажу вам вашу спальню. Завтра рано утром директор школы примет вас и сообщит вам о дальнейшем.

Когда я вошел в столовую там уже никого не было. Еда была очень хорошая; правда, она не вызвала у меня прежнего восторга. «Как быстро человек привыкает ко всему хорошему»,—подумал я. В этот момент дверь отворилась и ко мне бросился мой старый друг.

— Вот хорошо, что ты здесь, — воскликнул он радостно.

---

*) Впоследствии это правило стало еще более суровым. Через несколько недель мы были вообще лишены права переписки.

Это был Ян Фогелер. В Москве мы с ним ходили в школу имени Карла Либкнехта. Он был моим одноклассником, и я к нему хорошо относился. Он был сыном Генриха Фогелера, немецкого художника из Ворпсведе, эмигрировавшего в Советский Союз, а впоследствии, осенью 1941 года, насильственно переселенного в Казахстан и умершего в начале 1942 года в результате тяжелых испытаний и нужды. Отец Яна умер более полугода тому назад и ему, конечно, об этом уже давно сообщили. Но по-видимому этот факт нисколько не изменил его политических взглядов, что часто бывало среди советской молодежи. Ян оставался ярым комсомольцем и говорил о Советском Союзе с большим воодушевлением.

Он сразу же стал рассказывать.

— Знаешь, где я был? Нет, ты даже представить себе не можешь!

Мне так и не удалось вставить хоть одно слово.

— До недавнего времени я был на фронте. Лишь очень немногим немцам это разрешалось. Я был переводчиком. Как-то раз даже при маршале Жукове. Знаешь, Жуков замечательный человек!

Он рассказывал о фронте и я все слышал: Жуков, Жуков, Жуков.

Меня это не удивило, так как и в Казахстане мне часто приходилось слышать восторженные отзывы о Жукове. Жуков пользовался настоящей, а не искусственной популярностью, особенно в армии и у молодежи; быть может это было одной из причин отстранения Жукова Сталиным в конце 1946 года.

Я слушал Яна с интересом, но мне хотелось отвести его от этой темы и узнать что-либо о школе.

Это случилось раньше, чем я ожидал, так как он вдруг опомнился и в отчаянии схватился за голову.

— Ах, да, я ведь ничего не должен рассказывать о своем прошлом. Ты, пожалуйста, больше никому не говори о том, что я тебе . . . Кстати, какая у тебя здесь фамилия, чтоб я не ошибся.

— Моя фамилия Линден, а твоя?

— Данилов, Ян Данилов.

Странно, не успел он назвать своей партийной клички, как он совершенно вдруг переменился. Он начал отвечать на мои вопросы осторожно и уклончиво.

— Школа? Ну, что особенного можно о ней рассказать. Мы разделены на группы по национальностям. Кроме отдельных занятий и семинаров по различным национальным группам, у нас бывают и общие для всех лекции. Немецкую группу ведет Класснер. Здесь его фамилия Класснер, а кто он на самом деле — не знаю.

— А есть здесь еще кто-нибудь из нашего детдома или из школы им. Карла Либкнехта?

— Гм . . . как тебе сказать. Ну, ты сам увидишь.

За несколько секунд Ян, восторженный комсомолец, превратился в партработника, полностью владеющего собой и осмотрительно взвешивающего каждое свое слово.

Вскоре в столовую вошла секретарша.

— Товарищ Линден, я хочу вам сейчас показать комнату, где вы будете спать.

Сначала она повела меня по первому этажу, где находились аудитории отдельных секций.

В конце коридора на втором этаже была старая скрипучая деревянная лестница, которая вела наверх. Дальше шел узкий проход. Секретарша показала на дверь:

— Здесь библиотека и читальня, — затем она остановилась перед последней дверью. — Это здесь. Я увидел большую комнату с пятнадцатью кроватями. Около каждой кровати была тумбочка. Посередине комнаты стоял стол. Это было вроде общежития учительского института в Караганде, с той только разницей, что там была новостройка, а здесь — старый помещичий дом. Я был несколько разочарован. После всего пережитого и виденного мною в Уфе, я представлял себе школу совсем иначе.

Секретарша подвела меня к примитивной деревянной кровати:

— Ваше место здесь. Завтра придите ко мне и я поведу вас к директору.

Я сел. С чувством изумления начал перебирать я в памяти события последних дней и в то же время с волнением думал о том, что мне принесет мое пребывание в школе Коминтерна.

Через несколько минут пришли мои товарищи по комнате. Это были испанцы.

Они кивнули мне. Один даже подошел ко мне и спросил меня по-испански:

— Испанец?

— Нет, немец, — ответил я.

И в тот же момент испугался, что быть может сказал что-то лишнее.

Я радовался тому, что буду жить с испанцами, так как в Москве у меня были друзья-испанцы и атмосфера, которая царила среди испанской эмиграции была мне больше по душе, чем среди немецкой.

Испанцы говорили громко. Я все надеялся, что встречу среди них какого-нибудь знакомого, который расскажет мне о школе. Но здесь никого не было из тех, кого я знал в Москве. Наша спальня понемногу наполнялась.

Вдруг я увидел моего хорошего друга из Москвы — Мишу Вольфа, которого несколько недель тому назад я встретил в Алма-Ате. Я хотел было уже броситься к нему с криком «Миша!», но вовремя спохватился, что у него, конечно, здесь другое имя и что даже со старыми друзьями нельзя вспоминать прошлое. Тем временем он меня тоже увидел и не спеша направился к моей кровати.

— Фёрстер, — представился он, подчеркнуто безразлично протягивая мне руку.

— Линден, — ответил я.

— Хорошо, что ты здесь. Ты наверно скоро сживешься со школой.

— Да, я тоже очень рад, что я здесь.

Больше мы ничего друг другу не сказали. Мы строго придерживались предписания, хоть это и было смехотворно, так как мы знали друг друга с 1935 года, то есть уже около восьми лет.

Мы разделись молча.

Между тем была одна свободная кровать. Меня интересовало, кто будет спать рядом со мной?

— Немец? — Миша кивнул мне головой.

Я прятал свои вещи в тумбочку и не заметил, как ко мне вплотную подошел мой сосед по кровати.

Когда я взглянул на него, то увидел, что это был Гельмут Генниз, которого мы когда-то в детдоме прозвали «Хельмерль». Это был мой лучший друг.

Хельмерль был родом из Восточной Пруссии. Его родители были партийными работниками. В течение многих лет, проведенных в детдоме, мы готовили вместе уроки за одним столом. Мы читали одни и те же книги и во время долгих

прогулок по Москве спорили часами. Я знал о его увлечениях, а он — о моих, как и полагается двум неразлучным друзьям в возрасте 14-17 лет. Мы вместе готовились ко вступлению в комсомол и были приняты приблизительно в одно и то же время. В последние годы мы виделись реже. К началу войны он закончил десятилетку.

— Цаль, Петер Цаль, — сказал он многозначительно.

— Линден, Вольфганг Линден, — был мой ответ.

Мы замолчали. Затем я робко спросил:

— С каких пор ты здесь?

— Так . . . с некоторого времени.

Встречу с моим бывшим другом «Хельмерлем», ставшим «Петером Цалем», я представлял себе совсем иначе. Но произошла она именно так. Хельмерль строго придерживался школьных правил и вообще за последние годы стал очень законопослушным, и мне не оставалось ничего другого, как тоже придерживаться школьных предписаний.

Мне так хотелось поскорее узнать, что из себя представляет школа, но уж если даже «Хельмерль» мне ничего не говорит, то ни от кого другого я наверняка ничего не узнаю.

Утром нас разбудил резкий звонок. Все быстро встали.

— Физзарядка! — крикнул мне «Хельмерль».

Все курсанты были разделены по национальным группам. Руководители групп рапортовали коротко, почти по-военному, о наличном составе. Мы в это время стояли, как по команде «смирно». Для меня все это было ново. Когда я был студентом, мы занимались военным делом лишь в немногие, специально для этого отведенные часы. А от партийной школы я этого уж никак не ожидал.

Затем мы отправились на спортивную площадку, находившуюся недалеко от главного здания.

Каждый день начинался с физзарядки, гимнастики, упражнений на турнике, бега и прыжков. Результаты тщательно отмечались — очевидно спортивным достижениям в школе придавалось большое значение.

После обильного завтрака, — контраст между прекрасным питанием и примитивными жилищными условиями бросался в глаза, — я пошел в секретариат и через несколько минут был вызван к директору. Я знал только, что его фа-

милия Михайлов — вернее, что его так надо было называть в школе.

Через некоторое время я узнал, что Михайлов — болгарин, владеющий несколькими языками, что во время гражданской войны в Испании он играл важную роль в подготовке партийных кадров, — главным образом, в подготовке политкомиссаров, — а также редактировал испанскую газету «Эль комисарио» (“El comissario“).

Михайлов во многом был похож на моих друзей из Агитпропа в Караганде и не производил впечатления крупного должностного лица или директора школы. Не было трафаретных вопросов и ответов. Разговор носил характер непринужденной беседы. Он расспрашивал между прочим о моей деятельности в комсомоле, о моем учении и даже справился, хорошо ли я перенес путешествие. И только после всего этого он перешел к теме о «школе Коминтерна», причем казалось, что он больше всего интересуется моими политическими знаниями.

— Ознакомились ли вы уже с главнейшими сочинениями классиков марксизма-ленинизма?

— Да, конечно.

— Какие книги Ленина вы уже проработали?

— В вузе и по собственному желанию я прочел ряд его сочинений: «Что делать?», «Шаг назад, два шага вперед», «Две тактики социал-демократии в демократической революции» . . .

Он прервал меня и в дружеском тоне начал задавать вопросы, один за другим, о вышеуказанных книгах.

Мне бросилось в глаза, что это не были обычные вопросы, задаваемые на семинарах в вузах. Его вопросы были так сформулированы, что по моим ответам можно было сразу судить, прочел ли я только эти книги, или я и осмыслил их. Коротко ответил я на все его вопросы. Казалось, он остался удовлетворен моими ответами. Только при одном его вопросе я запнулся.

— Против какого идеологического направления выступал Ленин в его сочинении «Что делать?»

Для советских условий это был до смешного простой вопрос. Но как раз ответ на этот вопрос никак не приходил мне в голову.

Он засмеялся.

— Да, ведь вы это сами знаете, против экономистов.

Я действительно это знал и сейчас же начал рассказывать в чем там было дело. Но движением руки он показал, что продолжать не надо.

— Вполне достаточно! Вы этими вопросами еще будете основательно здесь заниматься.

После этого он перешел на другую тему.

— Как вы знаете, это школа Коминтерна. Мы подготовляем кадры для разных стран. Готовы ли вы вести работу в Германии?

— В Германии? — Все это было для меня как-то ново и я не знал, что он под этим подразумевает. Подпольную работу? Работу среди немецких военнопленных? Политическую работу после поражения гитлеровской Германии?

— Само собой разумеется, — ответил я.

Он серьезно взглянул на меня:

— Товарищ Линден, задача каждого ученика подготовиться здесь для работы на своей родине и чувствовать свой долг по отношению к своему собственному народу. Вы должны знать, что вам придется разрешать стоящие перед вами задачи в Германии и что, в первую очередь, вы должны заниматься вопросами, касающимися Германии.

Беседа была закончена. Он мне дружески протянул руку и пожелал успеха в работе.

В ближайшие дни я узнал, что школа Коминтерна была разделена на отдельные национальные секции. Интересно указать, что в 1942 году там находились лишь партработники из тех стран, с которыми Советский Союз находился в состоянии войны, или из тех стран, которые в то время были оккупированы Гитлером: немцы, австрийцы, судетские немцы, испанцы, чехи, словаки, поляки, венгры, румыны, болгары, французы и итальянцы.

У каждой группы был свой преподаватель и представитель от учеников. Испанская группа была самая многочисленная, в ней было 30-40 курсантов. Средние по количеству учеников группы — немецкая, австрийская, судетско-немецкая и болгарская — состояли из 15-20 человек, а остальные группы были еще малочисленнее. Англичане и американцы в школе Коминтерна не были представлены вообще. Был там один югослав, которого присоединили к болгарской группе, и одна симпатичная аргентинка, жена члена аргентинской компартии; она принимала участие в гражданской

войне в Испании и теперь проходила курс учебы в испанской группе.

Преподавание велось, главным образом, по отдельным группам, составленным по национальному признаку. Только при особо важных темах назначались общие лекции для всей школы. Три группы, в которых преподавание велось на немецком языке — немецкая, австрийская и судетско-немецкая — занимались также отдельно. То, что занятия у австрийцев велись отдельно, не было удивительным, ибо тогда уже было ясно, что Австрия снова станет независимым государством. Что же касается судетских немцев из Чехословакии, то их судьба, видимо, не была еще решена, чем и объясняется создание специальной судетской группы в школе Коминтерна.

Только через несколько недель я узнал, что кроме упомянутых 12-ти групп существовала еще одна группа. Несколько в стороне от домов, в которых размещалась школа, находилось маленькое строение, которое было обнесено оградой и куда никто из нас не смел заходить. Благодаря полной изоляции никто из курсантов не знал, что в этом здании происходило и кого там обучали. Постепенно просочилась только одна информация: в этом здании обучаются корейские коммунисты. Они жили там совсем обособленно и никогда не принимали участия в каких-либо общих начинаниях.

Причину таких особых мер предосторожности не трудно объяснить. В школе Коминтерна подготовлялись лишь партработники из тех стран, с которыми Советский Союз находился в состоянии войны и из оккупированных державами оси областей. Как известно, с Японией Советский Союз до 1945 года не находился в состоянии войны. Между СССР и Японией был заключен пакт о ненападении и они поддерживали нормальные дипломатические отношения. Следовательно, обучение корейцев, которые в сущности готовились для борьбы с японскими оккупантами, должно было держаться в строжайшей тайне.

Не только студенты, которых в школе называли «курсантами», но и преподаватели имели вымышленные фамилии, так что я за все время пребывания в школе и еще много лет спустя не знал их настоящих фамилий.

Уже после 1945 года узнал я на фотоснимках двух доцентов (не считая преподавателей немецкой группы), кото-

рые за это время заняли высокие государственные и партийные посты. Так выяснилось, что руководитель польской группы в школе Коминтерна Яков Берман стал членом Политбюро Польской объединенной рабочей партии и заместителем прдседателя Совета министров Польской народной республики. Яков Берман в молодые годы был на юридическом факультете Варшавского университета и быстро выдвинулся в рядах польского революционного студенческого движения. Вскоре после этого он начал фигурировать среди руководства польской компартии. После роспуска Коминтерна, весной 1943 года, он принимал активное участие в основании Объединения польских патриотов в СССР и в организации формировавшейся тогда в Советском Союзе польской дивизии им. Костюшко. В 1944 году он был заместителем министра иностранных дел при временном правитльстве в Люблине.

Впоследствии я также увидел на фотографии в газетах руководителя австрийской группы школы Коминтерна. Это был Франц Хоннер. Еще до 1918 года он состоял в австрийской социалистической партии, а в 1920 году он перешел в компартию. После февральского восстания 1934 года он был интернирован и сидел в концентрационном лагере Вёллерсдорф. Но ему удалось оттуда бежать в Советский Союз. Во время испанской гражданской войны он был в австрийском батальоне интернациональной бригады и после падения Испанской республики в 1939 году снова приехал в Советский Союз. В мае 1943 года, когда Коминтерн и вместе с ним наша школа были распущены, он поехал в Москву и впоследствии был одним из руководителей австрийского освободительного батальона, сражавшегося в рядах югославской партизанской армии. В 1945 году Франц Хоннер был короткое время министром внутренних дел временного австрийского правительства.

О других доцентах — за исключением доцента немецкой группы — мне абсолютно ничего не приходилось слышать с тех пор, как я покинул школу. Несомненно лишь одно: доценты были высококвалифицированными работниками, принадлежали к руководству компартиями различных стран и по всей вероятности и сегодня занимают высокие посты — если за это время не пали жертвой многочисленных чисток.

Руководителем нашей группы и главным доцентом был высокий сорокалетний мужчина с тронутыми сединой висками и темными глазами, говорящий по-немецки с судетским акцентом и называвший себя «Класснер». Класснер был законченным типом интеллигента-сталинца. Он обладал чрезвычайно большими знаниями не только в области марксизма-ленинизма, истории Коминтерна и КП Германии, но и в области истории Германии и в философии. Кроме того он долгое время специализировался по балканскому вопросу. Казалось ничто не могло поколебать его холодную уверенность в себе.

Он мог бы беспощадно пожертвовать своими лучшими друзьями и сотрудниками, если бы руководство от него этого потребовало. Он себя держал под постоянным контролем и необдуманные или неточные формулировки в его устах были невозможны. Он выбирал слова предельно точно и можно было быть уверенным, что они точь-в-точь согласованы с генеральной линией.

Благодаря своему уму и интеллигентности он умел вовремя схватить малейший намек на перемену идеологического направления и соответственно с этим действовать. При перемене генеральной линии он был готов в любой день переменить свой взгляд на вещи и защищать с кристально ясной логикой взгляды прямо противоположные тем, которые он выражал накануне. Он был выдающимся педагогом и свои большие теоретические знания он целиком отдавал для того, чтобы обосновывать, пояснять и пропагандировать директивы, получаемые им сверху.

Тогда я еще не знал его настоящей фамилии; позже я узнал, что его зовут Пауль Вандель. Он был родом из Маннгейма, посещал в Москве школу им. Ленина, после чего работал в аппарате Коминтерна в качестве сотрудника Вильгельма Пика, главным образом, в балканском отделе. После 1945 года он был председателем Центрального управления народного образования и затем министром народного образования в Советской зоне Германии. В 1952 году он получил повышение и стал во главе отдела координации и контроля образования, науки и искусства. С июля 1953 года он уже — секретарь Центрального комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ — SED).

Заместителем руководителя немецкой секции в школе Коминтерна был Бернгард Кёнен, пожилой работник, в прошлом рабочий, без сомнения получивший свое образование в тяжелых условиях. С 1907 года он был членом социал-демократической партии, а в 1917 году перешел в Независимую социал-демократическую партию (USP). В 1918 году, когда вспыхнула ноябрьская революция, он был председателем совета рабочих и служащих на предприятии Лейна-Верке (Leuna-Werke).

Бернгард Кёнен оставался еще и после 1918 года в Независимой социал-демократической партии Германии, но в 1920 г. перешел в германскую компартию. Он принимал активное участие в революционной борьбе с 1919 по 1923 год, в том числе участвовал в восстании 1921 года в центральной части Германии и в недолговременном рабочем правительстве в 1923 году.

В отличие от Класснера, в нем чувствовался настоящий рабочий-революционер, не превратившийся в холодного, расчетливого сталинского партаппаратчика. Ему не всегда удавалось при поворотах в политике скрыть свои личные чувства, сразу приноровиться к новой генеральной линии, как это прекрасно мог делать Класснер.

Я никогда не забуду одной сцены. Класснер поручил мне переводить на немецкий язык важнейшие статьи «Правды» Бернгарду Кёнену и его жене Фриде (которая также была в школе Коминтерна), так как они плохо знали русский язык.

Однажды я переводил статью из «Правды», в которой речь шла об извечной совместной борьбе русских, поляков и других славянских народов против Германии.

Не колеблясь, я перевел: «Дело идет о постоянных товарищах по оружию в борьбе против немцев, гнусных, заклятых врагов славянских народов!»

Бернгард Кёнен в ужасе посмотрел на меня.

— Постой, постой, ты тут что-то неправильно перевел! Этого не может быть! Переведи еще раз!

Я прочел снова эту фразу.

Бернгард забеспокоился.

— Может быть там есть что-нибудь о немецком империализме или о господствующих классах Германии?

— Нет, Бернгард, речь идет просто о немцах.

— Но ведь этого не может быть!

Молча показал я ему это место в «Правде» и еще несколько других фраз, в которых так же шла речь о «немцах» как об извечных врагах славян.

Бернгард побледнел. Он больше ничего не сказал. Ему, старому рабочему-революционеру было не легко стать сталинским партработником, который безоговорочно должен подчиняться советским директивам.

Во время большой чистки в 1936-38 годах Бернгард Кёнен был арестован органами НКВД. В тюрьме он потерял один глаз. Благодаря чьему-то вмешательству он был выпущен, после чего он продолжал служить сталинщине.

После 1945 года Кёнен был первым секретарем обкома Социалистической единой партии Германии в области Саксония-Ангальт; в 1953 году он был назначен послом ГДР (DDR) в Прагу, что, несомненно, означало понижение.

Кроме двух наших главных доцентов — Пауля Ванделя (Класснера) и Бернгарда Кёнена, у нас была еще ассистентка, которую в школе называли Лене Ринг. Она потом была преподавательницей в Высшей партийной школе СЕПГ им. Карла Маркса и затем правой рукой Бернгарда Кёнена в обкоме города Галле.

Наша немецкая группа состояла из 18-20 курсантов. Лишь некоторые из них были старыми партийцами, принадлежавшими к германской компартии начиная с 1933 года. Среди них был «Отто» из Гамбурга и «Вилли» из Берлина (их настоящих имен я так никогда и не узнал). Оба они были раньше в Союзе Красных фронтовиков (RFB) и оба сражались в интернациональной бригаде в Испании. «Артур» — его настоящее имя Ганц Гофманн, — был в Испании политкомиссаром II-ой Интернациональной бригады. После 1945 года он был уже генерал-лейтенантом, возглавлял военизированную народную полицию и был заместителем министра внутренних дел в ГДР; Лене Бернер до 1933 года принимала участие в подпольной деятельности немецкой компартии и Коминтерна и ей приходилось выполнять особые задания даже в Японии. После 1945 года она была преподавательницей в школе при Советской военной администрации в Германии, затем работала в Обществе немецко-советской дружбы в Восточном Берлине и, наконец, в министерстве иностранных дел ГДР.

Большинство курсантов немецкой группы в школе Ко-

минтерна были, как и я, молодые люди, комсомольцы, выросшие и получившие воспитание в Советском Союзе. В школе Коминтерна я встретил много моих старых друзей из школы имени Карла Либкнехта и из детдома №6. Кроме Миши Вольфа, Гельмута Генниза и Яна Фогелера (я должен был теперь не забывать их новых фамилий «Фёрстер», «Цаль» и «Данилов»), я еще неожиданно встретил Марианну Вейнерт, дочь известного поэта-коммуниста Эриха Вейнерта, с которой я познакомился еще ребенком в 1932 году в Берлине в колонии деятелей искусства на Брейтенбахплатц. Встретил я также Эмми и Эльзу Штенцер («Штерн») — двух дочерей депутата Рейхстага от германской компартии, убитого нацистами.

В австрийской группе также было много моих друзей из нашего детдома №6; среди них — Руди Спирик, сын социал-демократа, коменданта шуцбунда, погибшего во время боев в феврале 1934 года, Тони Шлёгль из Санкт-Пёлтена, Алиса Клок, которая не преуспевала в школе Коминтерна и впоследствии должна была посещать еще одну партийную школу, и, наконец, Ганс Шейхенбергер, которого мы в детдоме из-за его наружности в шутку прозвали «негром». В школе Коминтерна он сохранил свое прежнее обаяние. Вне немецкой и австрийской группы я никого не знал. Лишь на третий день пребывания в школе Коминтерна я увидел испанскую девушку исключительной красоты, лицо которой мне показалось знакомым. Казалось, что и она меня знала. Это была Амайя Ибаррури, дочь Долорес Ибаррури, генерального секретаря испанской компартии, которая из незаметного партийного работника стала самой известной женщиной республиканской Испании и носила имя «Пассионария». После поражения испанских республиканцев она приехала с сыном и дочерью в Советский Союз. Ее сын служил в Красной армии и погиб в ноябре 1942 года под Сталинградом. Дочь же училась у нас в школе Коминтерна. Ее здесь звали Майя Руис.

Дочь Пассионарии была не единственной видной личностью среди курсантов. В нашей комнате привлек мое внимание молодой товарищ с одной рукой. Он хорошо говорил по-русски и однажды рассказал нам в спальне, невзирая на предписание, что он уже сражался на фронте в 1941 году и там потерял руку. Он был, как будто, единственным, которого не так-то легко было укротить, и он, казалось, не все

принимал всерьез. Почему-то ему предоставляли свободу действий. Меня это очень удивляло. Как только он появлялся, сразу становилось как-то веселее и свободнее и ему кричали: «Шарко, что нового?» Я с ним тоже познакомился; и вскоре он мне прямо сказал, что он — сын Тито.

ЧТО МЫ ИЗУЧАЛИ В ШКОЛЕ КОМИНТЕРНА

О том, что, собственно, мы будем изучать, я так толком и не знал, так же, как в свое время не знал, куда меня направят. Обычно нас оповещали только о серии предстоящих докладов, относящихся к прорабатываемой теме. После всех этих докладов, которые длились от двух до трех недель — иногда, правда, значительно дольше, — нам сообщали следующую тему. За 10 месяцев, проведенных мною в школе, мы проработали следующие темы: история компартии Германии, история компартии Советского Союза, Веймарская республика, фашизм, характер и ход событий Второй мировой войны, политическая экономия, диалектический и исторический материализм, история Коммунистического Интернационала, обзор истории Германии.

Каждой теме был посвящен цикл лекций, которые читались большей частью Паулем Ванделем, иногда Бернгардом Кёненом или Лене Берг; некоторые же доклады на исторические темы делала одна венгерка.

В конце каждой лекции нам говорилось, что мы должны прочесть, чтобы подготовиться к семинару. Так же, как и в советских вузах, материал для чтения разделялся на обязательную литературу, знание которой было необходимо, и на дополнительную литературу для лиц теоретически особо подкованных.

Для проработки указанной литературы составлялась группа из определенного числа курсантов. Мы обязаны были делать выписки, которые иногда проверялись. После самостоятельной работы проводились семинары, которые длились сплошь и рядом по 3 часа, а иногда и больше.

Общие лекции для всех групп происходили большей частью в библиотеке или в столовой, так как у нас не было большой аудитории. Так была назначена общая для всех тема об истории Коммунистического Интернационала. Лектором этого цикла докладов был наш директор — товарищ

Михайлов. Лекции его были во всех отношениях исключительными. Ни до, ни после мне не приходилось слышать докладов, хотя бы отдаленно приближающихся к такому высокому уровню изложения. Михайлов читал лекции по-русски и все те, кто знал русский язык, как свой родной — (а это, как правило, были представители младшего поколения) — садились в передние ряды, в то время как за другими столами доклад переводился на испанский, немецкий, французский, итальянский, румынский, чешский, словацкий, польский и венгерский языки. Так как курсанты каждой национальной группы сидели за отдельными столами, то это никому не мешало, и вся эта система перевода была блестяще организована. Семинары на эту тему вел преподаватель каждой национальной группы отдельно.

Из всех предметов самым интересным была история Коммунистического Интернационала.

Развитие коммунистических партий в каждой отдельной стране, борьба и революционные события, начиная с 1919 года, нам так ярко были представлены, что казалось, мы все это сами пережили. Восстание Спартака, борьба в Рурской области и в Средней Германии, революционные события в Польше, гигантская волна забастовок в 1920 году в Италии, захват власти Муссолини, борьба в Болгарии в 1923 году, период так называемой «относительной стабилизации» 1924-29 годов, мировой экономический кризис, захват власти Гитлером . . .

Все эти исторические события преподносили нам красочно и подробно, правда, как мне пришлось впоследствии убедиться — в сталинской фальсифицированной версии.

Подробно разбирались революционные движения в колониальных странах и в Азии: революция Кемаль паши (Ататюрка) в Турции, антиколониальные движения в Северной Африке, движение Ганди в Индии, развитие коммунистической партии в Японии и Индонезии и, прежде всего, конечно, особенно обстоятельно — развитие китайской революции.

Не всегда сам Михайлов читал доклады о Коминтерне, иногда выступали с докладами Яков Берман, Гоннер или Пауль Вандель. Они так же, как и Михайлов, особенно Берман, обладали даром изложения и умели увлечь слушателей. Это отличало их от сухих, монотонных докладчиков для «простых советских людей», которые нам всем были слишком хорошо известны.

Из тем, которые мы разбирали в немецкой группе, меня больше всего интересовала политическая и идеологическая борьба с нацизмом. Другие темы — диалектический и исторический материализм, политическая экономия и т. д. — я уже проходил в советском вузе на курсе лекций об «Основах марксизма-ленинизма», в то время как подготовка к политической борьбе с нацистской идеологией была для меня чем-то совершенно новым. Большой цикл лекций в школе Коминтерна был посвящен истории Национал-социалистической партии Германии, организации «Гитлер-Югенд» («Гитлеровской молодежи»), и другим нацистским организациям, а также биографиям нацистских вождей. Основное внимание было уделено анализу сущности нацизма и причинам захвата власти Гитлером. На основании подлинных источников мы изучали нацизм до мельчайших подробностей — расовую теорию, теорию жизненного пространства, знакомились с нацистским толкованием истории и т. д. Мы так основательно этим занимались, что когда уже после 1945 года я встретил настоящих нацистов, то с удивлением констатировал, что я гораздо лучше знаю их идеологию, чем они сами.

Я всякий раз удивлялся той относительной широте взглядов и объективности, с которыми в школе Коминтерна разбирался нацизм и нацистская идеология, да еще во время войны, которая шла не на жизнь, а на смерть. Часто кому-либо из курсантов поручалось прочесть доклад с изложением нацистских тезисов, а другие должны были с ним полемизировать и опровергать нацистские аргументы.

Тот курсант, который должен был излагать и защищать нацистские аргументы, должен был это делать предельно ясно и убедительно, так как, чем искуснее он защитит нацистскую идеологию, тем лучшую получит оценку за свое выступление.

Иногда сам Класснер брал на себя роль защитника нацистской идеологии. И он с таким уменьем преподносил все тезисы, — мало кто из нацистов мог бы это сделать с таким мастерством, — что было не так-то легко найти контраргументы.

Мы могли читать не только нацистскую литературу, но также манифесты и декларации буржуазных и социал-демократических партий разных стран, а также энциклики папы, но эта терпимость школы Коминтерна имела, конечно, свои границы. Насколько охотно нас знакомили с другими поли-

тическими идеологиями (очевидно, считая, что они абсолютно не опасны, так как никто из нас ни на секунду не попадет под их влияние), настолько строго было нам запрещено читать что-либо о коммунистических фракционных группах. Здесь прекращалась всякая терпимость. Мы слыхали такие имена как Брандлер, Тальгеймер, Рут Фишер, Маслов, Корш, Катц и имена других оппозиционеров, которые в двадцатых годах вместе со своими приверженцами вышли из германской компартии, или были из нее исключены, и основали оппозиционные организации. Но к чему стремились эти группы, каково было их направление — об этом мы ничего не знали. То же самое относилось и к фракционным группам внутри большевистской партии. Ни о «рабочей оппозиции» во главе со Шляпниковым, ни о группе «демократического централизма» во главе с Осинским, ни о троцкистах, ни о бухаринцах нам не дали прочесть из подлинников ни единой строчки. Это особенно бросилось мне в глаза во время лекций и семинаров о троцкизме.

Когда поднималась эта тема, нашего лектора, Класснера, просто нельзя было узнать. В его голосе звучала лютая ненависть. Его доклад состоял не из деловых аргументаций по существу вопроса, а из сплошной ругани (чего обычно никогда не бывало на лекциях школы Коминтерна). Затем мы получили литературу о троцкизме. Это был отпечатанный на гектографе, тщательно подобранный материал, содержащий отрицательные высказывания Ленина о Троцком (его положительные отзывы о Троцком, которых было больше, конечно, были выпущены) и выдержки из трудов Сталина. В материале не было приведено ни единого слова самого Троцкого или кого-нибудь из его приверженцев! В то время как другие семинары были действительно на высоком уровне, семинар, посвященный троцкизму, ограничивался лишь поношениями, безудержными проклятиями и агитационными призывами.

Тогда я не понимал, в чем дело, хотя причину этого, собственно, нетрудно было разгадать. Мы не должны были знакомиться с заявлениями и высказываниями фракционных групп, так как их точка зрения была для Сталина опасной. Сталинское руководство знало, что оно ничем не рискует, давая нам читать речи Гитлера или Геббельса, манифесты буржуазных партий или энциклику папы, так как оно было уверено в том, что подобное чтение не окажет на нас абсо-

лютно никакого влияния. Но книги Троцкого, манифесты антисталинских фракций, где с марксистских же позиций нападали на сталинский режим в Советском Союзе и подвергали его критике, по меньшей мере, произвели бы на нас сильное впечатление.

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ»

Наряду с политико-теоретическими занятиями, чрезвычайно много времени уделялось и актуальным вопросам. Необходимость умения «сочетать теорию с практикой» было у нас неписаным законом. Поэтому в группах часто разбирались политические вопросы современности, причем каждая группа должна была заниматься современной ситуацией и задачами сегодняшнего дня компартии в соответствующей стране.

Основным материалом для этой темы служил материал о так называемом «Совещании национальной конференции мира» в Германии, которое якобы состоялось в ноябре 1942 года в одном из городов Рурской области. Нам было сказано, что на этом подпольно организованном совещании, — в котором принимало участие около 30 человек, среди которых были представители профсоюзов, представители компартии Германии, представители социал-демократической партии Германии, один священник и несколько представителей буржуазной интеллигенции, — был выработан план прекращения войны и свержения Гитлера.

У меня лично были большие сомнения, состоялась ли в действительности эта конференция, и я был не единственным сомневающимся. Сомнения в этом вопросе были тем более обоснованными, что заявление в точности соответствовало «генеральной линии» (уже после 1945 года я узнал, что этого совещания на самом деле никогда не было. Оно и теперь в Советской зоне никогда не упоминается).

Но в те времена никто из нас не посмел высказать сомнение в реальности этого «западногерманского совещания» и принятая им «программа» служила базой для наших занятий.

«Западногерманское совещание» призывало к созданию подпольных «народных комитетов» и поэтому на семина-

рах мы тоже должны были упражняться в создании «народных комитетов».

Из всех предметов школы Коминтерна «Политические вопросы современности» был самым слабым. Почти всем участникам немецкой группы пришлось покинуть Германию еще в детском возрасте. Мы не имели ни малейшего понятия о положении в Германии вообще, и о подпольной работе на ее территории, в частности. Правда, Лене Берг после захвата власти Гитлером работала там еще полтора года, но ее сведения устарели и не давали нам никакого представления о положении в Германии 1942 года. Мы на бумаге бодро организовывали в различных городах и округах Германии подпольные «народные комитеты». Так проверялись наши организаторские способности. Но все это было чрезвычайно наивно. Обычно нам сначала давались самые важные данные о каком-нибудь определенном городе в Германии: о социальном составе, о процентном соотношении рабочих, крестьян и интеллигенции, о результатах выборов 1932 года в данном городе, о составе населения по вероисповеданию, о состоянии местного хозяйства и о количестве пережитых городом налетов.

При наличии всех этих данных, мы должны были «правильно создать» народный комитет. Это было нечто вроде головоломки, ребуса. Нужно было точно указать численный состав «народного комитета», численность отдельных категорий, т. е. входящих в него рабочих, служащих, духовных лиц, а также надо было указать, представители каких прежних партий в него войдут.

Это было нелегкое дело. Если кто-либо, создавая народный комитет, забывал включить в него священника или адвоката, то он обвинялся в «сектантстве» или «недооценке роли союзников в борьбе против Гитлера». С другой стороны, если кто-либо включал в народный комитет слишком много адвокатов и священников, то ему пришивали «оппортунизм» и «недооценку роли рабочего класса».

Интересно отметить, что как раз те, кто на серьезных политических семинарах не преуспевал, как, например, Эмми Штенцер или бывший участник «Союза красных фронтовиков» Отто из Гамбурга, в создании «народных комитетов» доходили до невероятного мастерства. А более сознательным курсантам создавать фиктивные народные комитеты, на бумаге, в городах Рурской области или Баварии, на-

ходясь в обветшалом помещичьем доме в далекой Башкирии, мешал какой-то внутренний тормоз.

Гораздо серьезнее были поставлены занятия, на которых нас обучали писать листовки. Мы должны были в течение часа составить на любую тему «политически верную» листовку. Причем нам давали далеко не легкие темы. Так, например, в начале октября 1942 года нам прочли заявление Геринга об увеличении продовольственного пайка в Германии. Нам было дано задание написать по этому поводу такую листовку, которая могла бы разбить все иллюзии населения.

Наши листовки читались вслух на особом семинаре и подробно обсуждались, после чего следовало критическое заключение преподавателя. Так как мы в составлении листовок много упражнялись и досконально их обсуждали, то в скором времени мы так набили себе руку, что легко и быстро могли на любую тему написать листовку.

Мы обсуждали не только наши собственные листовки, но и листовки, издаваемые политотделом Красной армии и разбрасываемые за линией фронта, которые мы получали. Нашей задачей было разбирать листовки Красной армии и не стесняясь критиковать их. Для меня это было чем-то совсем новым. Еще никогда в Советском Союзе не спрашивали моего мнения о чем-либо, предписанном «сверху».

Мы регулярно читали советские листовки и обсуждали их. Мы говорили, что считаем их очень слабыми. По мере увеличения количества военнопленных правильность нашего мнения подтверждалась, что в конце концов привело к полной переориентировке советской пропаганды и к созданию Национального комитета «Свободная Германия».

Зато с невероятной жадностью читали мы листовки, написанные пленными или перебежавшими германскими солдатами и офицерами. Они были написаны совсем другим языком. Особенно мы это почувствовали при чтении брошюры капитана д-ра Эрнста Гадермана под заголовком «Слово германского капитана». То же самое можно сказать и о листовке, составленной графом Генрихом фон Эйнзиделем, правнуком Бисмарка. То, что наше первое впечатление было правильным, впоследствии подтвердилось. Капитан д-р Эрнст Гадерман и граф Генрих фон Эйнзидель принимали участие в создании Национального комитета «Свободная Германия».

Нас учили не только писать листовки, но и изготовлять их в строжайших условиях подполья. В засекреченной школе Коминтерна находилось еще более засекреченное место — маленькая химическая лаборатория. В этот кабинет мы имели право входить только тогда, когда объявлялись занятия по изготовлению подпольных листовок. Эти занятия бывали два раза в неделю и проводились на русском языке. Нас знакомили со всевозможными способами изготовления подпольных листовок, начиная с самых примитивных методов (изготовление шапирографа, при помощи которого можно сделать лишь около 100 экземпляров короткого текста крупными буквами) и кончая сложнейшими фототехническими методами, которые позволяют изготовить любое число листовок и газет с рисунками и карикатурами с очень мелким, но вполне ясным и легко читаемым шрифтом.

Нам подробно объясняли каждый способ, а также разбирали вопрос, как достать необходимые для этого предметы, после чего каждый из нас должен был сам на практике изготовить листовки. Преподавание было поставлено очень серьезно, но нам запрещено было делать какие-либо записи. Мы должны были все держать в голове. Насколько мне известно, никто из нас после роспуска Коминтерна не был сразу отправлен на подпольную работу и поэтому у закончивших курс мало что сохранилось теперь в памяти от этих поистине интересных занятий, когда нас обучали вещам, которые нам так никогда и не пришлось применить на практике.

В занятия по «политическим вопросам современности», целью которых было помочь нам разобраться в настоящем положении в Германии и подготовить нас для использования в Германии, по мере надобности включались еще занятия по «текущей политике», во время которых мы занимались Советским Союзом.

«Текущая политика» не представляла какого-то обзора печати или обзора событий дня, как это можно было бы предположить, — это был подробный разбор важнейших политических мероприятий советского правительства, которые мы должны были изучать и по отношению к которым мы должны были выражать свое мнение.

В течение десяти месяцев, — от августа 1942 года по май 1943 года, — проведенных мною в школе Коминтерна, во

время занятий по «текущей политике», разбирались, в частности, следующие темы:

Образование так называемой «Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию зверств германо-фашистских оккупантов (4 ноября 1942 г.)».

Начало контрнаступления Красной армии у Сталинграда (23 ноября 1942).

«Движение Ферапонта Головатого», возникшее 18 декабря 1942 года, когда колхозник Ферапонт Головатый из колхоза «Стахановец» Новопокровского округа Саратовской области передал в распоряжение Красной армии все свои сбережения в размере 100 000 рублей, чтобы для его сына-летчика был построен самолет (Об этом, конечно, заранее подготовленном «решении», Головатый известил Сталина, за что получил от Сталина благодарственное письмо. После этого началось движение колхозников по пожертвованию личных сбережений на постройку танков и самолетов).

Введение новой военной формы в Красной армии (7 января 1943 г.) и в военном флоте (16 февраля 1943 г.) с погонами, которые после революции 1917 года были упразднены, введение маршальской звезды (28 февраля).

Победа в боях за Сталинград (3 февраля 1943 г.). В немецкой группе мы должны были еще особо обсуждать опровержение ТАСС от 13 февраля иностранных сообщений о том, что якобы взятые в плен под Сталинградом генералы будут привлечены к ответственности за их преступления на Украине. Такие сообщения, по заявлению ТАСС, «распространяются, несомненно, профашистскими элементами и являются с начала до конца выдумкой».

Сообщение об успехах Красной армии во время зимнего наступления 1942-1943 годов (3 апреля 1943 г.), когда с 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года было отвоевано 480 000 кв. километров советской территории, в том числе города Вязьма, Гжатск, Курск, Ворошиловград, Каменск, Шахты, Ростов, а также северокавказские города Краснодар, Майкоп, Ессентуки, Кисловодск, Нальчик и Пятигорск.

Советская нота от 28 апреля о разрыве дипломатических отношений СССР с эмигрантским правительством Польши (эта тема считалась настолько важной, что наряду с детальным обсуждением по отдельным группам была еще особая лекция Якова Бермана для всей школы).

Эти и еще многие другие события подробно обсужда-

лись на занятиях по «текущей политике». Каждый курсант нашей группы должен был высказаться по каждому вопросу, — даже если другими выступающими уже все самое главное было сказано.

Эти занятия должны были подготовить любого из нас к умению «политически правильно» реагировать на разные вопросы советской политики и содействовать тому, чтобы мы и при отсутствии директив сверху были способны выражать правильную точку зрения и ее пропагандировать.

«Связь теории с практикой» осуществлялась, таким образом, в двух направлениях. С одной стороны, нас приучали к применению наших теоретических знаний в той стране, где мы должны были впоследствии вести работу, с другой стороны, изучение истории ВКП(б) и разбор важнейших мероприятий советского правительства должны были послужить тому, чтобы мы в будущем не только внимательно следили за событиями в Советском Союзе, но и были в состоянии разъяснять мероприятия, проводимые в Советском Союзе, популяризировать и защищать их от нападок в любой точке мира.

Несмотря на некоторые слабые места, — как, например, занятия по «политическим вопросам современности» в Германии — в целом политическая подготовка в школе Коминтерна была прекрасно продумана и для сталинизма была очень эффективной. Мне кажется, что многие круги на Западе — в особенности в последнее время — настолько находятся в плену постоянных мыслей о войне и угроз советского правительства атомными и водородными бомбами, что они недооценивают значения прекрасно поставленной политической и идеологической подготовки кадров коммунистических партработников.

СЕКРЕТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Треть нашего учебного времени была посвящена самостоятельной работе. Мы регулярно получали необходимые материалы в библиотеке, в которой имелась, в достаточном количестве экземпляров, большая часть сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и другие необходимые пособия. Главнейшие труды существовали в нужных для школы переводах. Лишь в редких случаях мы должны были довольствоваться русскими изданиями. Тогда поручалось какому-ни-

будь молодому курсанту переводить для старших соответствующий материал.

В библиотеке были не только труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и другая партийная литература, в ней можно было получить также издаваемый гектографным способом информационный бюллетень, не предназначенный для всеобщего пользования, на котором стояло: «секретно!» или «совершенно секретно!»

Эти ежедневно выходившие информационные бюллетени, распределенные по странам, содержали важнейшие радиокомментарии и статьи из иностранной прессы. Информационный бюллетень издавался, вероятно, Коминтерном в Уфе. Каждый экземпляр бюллетеня был зарегистрирован под определенным номером, и каждый курсант обязан был расписаться в получении бюллетеня.

Когда я впервые прочел такой бюллетень, то меня как громом поразило! Конечно, мне приходилось убеждаться уже не раз, — еще на воскресных лекциях в Карагандинском обкоме, — что докладчики знали больше, чем это можно было почерпнуть из советской печати, но я не мог себе объяснить, откуда у них эта осведомленность.

Теперь я об этом узнал.

Однако в то время я еще не предполагал, что этот информационный бюллетень был лишь одним из многих. Существовал целый ряд других, которыми, с соблюдением подобных же мер предосторожности, снабжали советских высших партийных и государственных чиновников. Очевидно и в то время и сейчас в этой области существовала точная классификация в соответствии со сферой деятельности и занимаемым каждым данным работником постом, так что тут можно говорить о ступенчатой осведомленности советских партаппаратчиков.

Я еще отчетливо помню то ощущение, которое у меня было, когда мне впервые попал в руки секретный информационный бюллетень. Я испытал чувство благодарности за оказанное мне доверие и был горд своей принадлежностью к тем партработникам, которые политически настолько зрелы, что их можно знакомить и с иными точками зрения. Вероятно другие молодые работники думали и переживали примерно то же самое, и даже вполне возможно, что для многих партработников привилегия получения все более и более

широкой информации служит таким же стимулом, как титулы, ордена или материальные вознаграждения.

Издаваемый в школе Коминтерна информационный бюллетень касался исключительно заграницы, точнее говоря союзных и нейтральных иностранных государств. В нем публиковались речи ведущих государственных деятелей этих стран, которые не появлялись вообще или появлялись лишь в сокращенном виде в советской печати, важные статьи из американской, скандинавской, английской и швейцарской прессы, отчеты о съездах различных партий союзных и нейтральных государств, равно как и наиболее важные радиокомментарии. С особым удовольствием читал я высказывания швейцарского профессора фон Залиса. Интересно, что в этом бюллетене публиковались также заявления коммунистических партий, которые по внешнеполитическим причинам не могли появиться на страницах советской печати, как, например, резолюции и статьи компартии США, которая официально вышла из Коминтерна, речи и теоретические статьи Мао Цзэ-дуна, произнесенные или написанные в партизанской столице Йенане (они не могли быть опубликованы в советской печати из-за тогдашних отношений с Японией) и, наконец, в этом бюллетене можно было прочесть коммюнике партизанской армии Тито, что также не могло быть напечатано в советской прессе, ибо Советский Союз был в то время заинтересован в сохранении хороших отношений с эмигрировавшим в Лондон королевским правительством.

Часто появлялись специальные выпуски бюллетеня, посвященные определенным событиям, в которых материал о данном вопросе был чрезвычайно ясно и наглядно систематизирован. Эти бюллетени содержали в себе, таким образом, все, что должен быть знать ответственный партработник, занимавшийся международными проблемами. Так как эти бюллетени были хорошо составлены и очень интересны, то у меня вошло в привычку регулярно читать их, даже в том случае если у меня и без того голова шла кругом от количества литературы, которую нужно было непременно прочесть.

Кроме этого информационного бюллетеня, общего для всех курсантов, наша немецкая группа регулярно получала еще дополнительный бюллетень, — тоже размноженный на гектографе и, разумеется, с пометкой «секретно», — с выдержками из писем немецких солдат и офицеров родным на

родину. Эти материалы составлялись, по всей вероятности, Главным политическим управлением РККА.

Эти бюллетени имели два выпуска: в одном печатались выдержки из писем немецких солдат и офицеров на родину, в другом — выдержки из писем немецкого населения родным, находившимся на фронте.

Видимо, все письма, которые попадали во время наступления в руки Красной армии, широко использовались.

Бюллетени, размноженные на гектографе содержали также высказывания на политические темы. Здесь чаще всего встречались следующие рубрики: высказывания о войне вообще; высказывания, касавшиеся положения с питанием, бомбардировок, иностранных рабочих, находившихся в Германии; высказывания, касавшиеся отношения к военнопленным, отношения к союзникам (Италии, Венгрии, Японии и т. д.), положение в оккупированных странах.

Эти высказывания не подвергались пропагандной лакировке. Благоприятные для национал-социализма высказывания столь же старательно регистрировались, как и антинацистские. Однако, как правило, ясные и недвусмысленные высказывания редко встречались в письмах. Лишь однажды была своего рода небольшая сенсация. Так, один солдат написал своей жене домой: «Вся эта война мне предельно осточертела», а на полях стояла приписка цензора: «Мне тоже».

При каждой выдержке сообщались имена адресата и отправителя, дата и место, откуда письмо было отправлено. Это позволяло нам делать известные, хотя и осторожные, анализы настроений в разных частях Германии.

Наряду с общим бюллетенем и выдержками из писем, мы также регулярно получали бюллетень, содержавший все официальные материалы о гитлеровской Германии: декреты гитлеровского правительства, все речи Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Шпеера, Балдура фон Шираха и др., статьи Геббельса в «Рейхе», радиокомментарии Фриче и другие важные комментарии из нацистской печати, а также наиболее существенный материал из нейтральной и союзной прессы, посвященный положению в гитлеровской Германии.

Видимо мы были не единственными обладателями этих сведений, ибо, когда я впоследствии, в мае 1945 года, встре-

чался в Берлине со старшими советскими офицерами из политуправления, то я просто удивился, насколько хорошо они были информированы о Германии. По всей вероятности они изучали во время войны те же материалы.

НАШИ ВОЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Вскоре после моего прибытия в школу нам объявили, что у нас будут впоследствии и военные занятия.

Курсанты и преподаватели всех национальных групп были для военных занятий разбиты на три части. Одна из них состояла из испанцев, французов и итальянцев, другая — из немцев, австрийцев и судетских немцев и третья — из болгар, румын, чехов и словаков. Для военных занятий были назначены специальные начальники групп, в то время как преподаватели и старосты групп превращались в простых «рядовых». Почти все руководители групп и командиры «частей» были партработниками с опытом испанской гражданской войны.

Наша школа получила даже своего «начальника генерального штаба», каковым был назначен австрийский партиец — Мартин Грюнберг, который назывался в школе Феликсом Фальком. Его назначение было несколько странным; в то время ему было немногим более двадцати лет, он не обладал никаким военным опытом и не был в Испании. Правда, он прошел известную, хотя и кратковременную, советскую военную подготовку. Все остальные курсанты, которые были в Испании солдатами, офицерами и даже генералами, должны были подчиняться этому молодому партийцу. Военная подготовка состояла тогда из строевых занятий, изучения оружия и занятий по «стратегии и тактике». Стратегией и тактикой мы занимались у ящика с песком. Все тактические задачи ставились исключительно с точки зрения партизанской войны. Вернее говоря, с той точки зрения, с какой рисовалась партизанская война тому советскому офицеру, который с нами занимался. Уже после нескольких занятий у меня создалось впечатление, что то, что мы проходили у песочного ящика, столь же далеко от действительности, как и создание вымышленных народных комитетов. Серьезнее игры с песочным ящиком было изучение оружия. Требования на этих занятиях для тех, кто никогда подоб-

ными вещами не занимался, были чрезвычайно высоки. Мы должны были в кратчайший срок изучить не только обращение с ручными гранатами и минометами и с предельной быстротой разбирать и собирать револьверы, винтовки, легкие и тяжелые пулеметы, но и выучить, как по-русски, так и на родном языке, все связанные с этим делом названия.

В течение многих недель нам приходилось, кроме политических занятий, брать вечерние вспомогательные уроки по военному делу у старших товарищей. А немецкой группе такие вспомогательные уроки давал гамбуржец «Отто», который в течение трех лет сражался в Испании. Он был одним из наиболее отстающих в политических и теоретических дисциплинах, но обладал феноменальной памятью в том, что касалось названий частей любого, какого только можно себе представить, оружия. Как и все интеллектуально мало развитые люди, он широко пользовался своим превосходством в этой области, и его вспомогательные уроки были для нас пыткой. Однако у нас не было другого выбора и мы должны были пройти у него курс.

Наконец мы дошли до занятий по стрельбе, а вскоре наступил и день испытаний. Мы получили боевые патроны и должны были сдать испытания по всем названным видам оружия. В общем нужно сказать, что, неожиданно для самих себя, мы выдержали их хорошо.

Тогда начались полевые занятия, которые отнимали у нас массу времени, иногда даже все послеобеденные часы. И это из нашего так строго регламентированного времени!

Иногда в два-три часа ночи начинала выть сирена, и это значило, что через две минуты мы должны быть готовыми к полевым занятиям.

То, что занятия у ящика с песком имеют мало общего с действительностью, я понял довольно скоро. Полевые же занятия я вначале принимал всерьез.

Вскоре, однако, мой пыл остыл. Однажды я получил приказ заниматься войсковой разведкой с одним старым и опытным участником испанской гражданской войны.

Мы подкрадывались к какому-то кустарнику.

— Правильно ли так, или надо иначе? — спросил я его шепотом.

— Прежде всего, ты должен как можно скорее забыть ту военную подготовку, которую тебе здесь преподносят, — ответил он мне также шепотом.

Я растерянно посмотрел на него.

— Не спрашивай больше. Все, что мы здесь делаем, — сплошная ерунда. Я могу тебе дать лишь один совет: позабудь всю эту чепуху, ибо на войне — все обстоит совершенно иначе.

Полевые занятия имели, кстати, вскоре политические последствия. Так, отправляясь на занятия, нам всегда приходилось маршировать и петь. Пели большей частью советские или испанские военные песни. Наше же подразделение, состоявшее из людей, говорящих по-немецки, пело также немецкие песни, и у нас можно было услышать «Темно-коричневый орешек» и «Лоре, Лоре, хороши девушки семнадцати, восемнадцати лет».

В один прекрасный день наш немецкий командир заявил нам:

— Песню «Лоре, Лоре, хороши девушки семнадцати, восемнадцати лет» петь запрещено, так как это фашистская песня.

Как дисциплинированные курсанты мы постановили не петь больше фашистскую «Лору».

Вместо «Лоры» все чаще и чаще слышалась у нас песня «Темно-коричневый орешек». Однако некоторые из нас, в том числе и я, были осторожны и не слишком внятно подпевали, опасаясь, что эта песня может оказаться фашистской. Но, слава Богу, выяснилось, что «Темно-коричневый орешек» не фашистская песня.

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ОТДЫХ И «ОРГАНИЗОВАННОЕ ВЕСЕЛЬЕ»

До моего поступления в школу Коминтерна я думал, что я исполнительный и старательный студент. Однако я вскоре понял, что самая упорная учеба в советских вузах не может сравниться с учебой в школе Коминтерна. С раннего утра до обеда мы слушали лекции. После обеда, который бывал у нас поздно, нам давался неполный час свободного времени. Время до ужина заполнялось семинарами и самостоятельной работой, которая обычно проверялась старшим группы или ее руководителем.

После ужина наступало «свободное время». Но, несмотря на это, до половины двенадцатого ночи можно было встре-

тить большинство курсантов в читальне за работой. В половине двенадцатого у нас была вечерняя перекличка (впоследствии ее передвинули на одиннадцать и затем на половину одиннадцатого). После вечерней переклички официально был конец рабочего дня. Однако студентам давалось, в случае необходимости, право и дальше заниматься в читальне.

В начале нашего курса нам был прочитан доклад о морали. Принципы, изложенные в этом докладе, были столь строгими, что даже суровые педагоги старой школы озабоченно качали головами.

Прежде всего нам сообщили, что в течение всего курса ни один курсант и ни один педагог не имеют права притрагиваться к алкоголю. Даже такие праздники, как 1 мая, 7 ноября и Новый Год, не составляли исключения из этого правила. Нам дали недвусмысленно понять, что каждый, кто раздобудет хотя бы одну рюмку алкоголя, подвергнется строгому наказанию. Не ограничиваясь этим сообщением, сухой закон был еще политически и идеологически обоснован при помощи изложения общих принципов и путем запугивающих примеров. Так, нам рассказывали, как даже самые незначительные порции алкоголя послужили причиной раскрытия нелегальных групп, в результате чего товарищи отправлялись на казнь и даже более того, целые революционные движения терпели провал. Все это излагалось нам в таких мрачных красках, что можно было подумать, что революции 1918-1923 годов в разных странах Европы не увенчались успехом лишь потому, что тот или иной партработник выпил на Новый Год бокал вина.

Почти все соблюдали этот запрет в течение всего курса. Было лишь два случая незначительного нарушения этого предписания, за что, действительно, виновники были сурово наказаны.

Запрещен нам был не только алкоголь, но и близкие отношения к представительницам другого пола. Это положение было также идеологически обосновано. В соответствующем докладе нам рассказали, как одна крупная подпольная группа в Италии была разоблачена из-за того, что ее руководитель влюбился. Он должен был в четыре часа утра отправиться с поддельным паспортом на поезд в Париж и получил строгую инструкцию никого до своего отъезда не посещать. Тем не менее, он пошел к своей возлюбленной и был там схвачен полицией. Он получил пятнадцать лет каторги,

а впоследствии и другие члены его группы были раскрыты и арестованы.

Действительно, даже самые безобидные факты не оставались без последствий. Так, например, о совместных прогулках по школьному двору, если только они повторялись, сообщалось начальству, и нарушители запрета подвергались обстоятельной критике и самокритике.

Молодым товарищам в возрасте от 18 до 25 лет, — а таковых было больше половины курса, — особенно нелегко было соблюдать эти предписания. К тому же в итальянской и особенно в испанской группе учились совершенно очаровательные девушки. Право, трудно было не засмотреться на хорошеньких испанок, да еще весной, когда в открытые окна проникал запах сирени, окружавшей центральное здание нашей школы.

Один симпатичный польский курсант влюбился в аргентинку Рахиль, за это подвергся критике и самокритике и обещал «исправиться». А сын Тито Шарко, влюбившийся в одну очаровательную испанку, проявил упорство в ухаживании и был исключен из школы.

Мы были настолько перегружены учебой, что для отдыха нам оставались лишь суббота после обеда и воскресенье. В это время было разрешено делать все, что нам заблагорассудится, но запрещено было выпивать, влюбляться, покидать территорию школы, называть наши настоящие имена, рассказывать что-либо из нашей прошлой жизни или писать в письмах о нашем настоящем времяпрепровождении. За исключением этих «незначительных» ограничений, нам все было позволено: мы могли спать, гулять, играть в футбол, веселиться и петь.

Однажды в субботу после обеда мы были в особенно хорошем настроении. Молодежь из французской, испанской, итальянской групп и трех групп, в которых преподавание велось на немецком языке, собралась в одной из комнат и пела песни. Наше веселое настроение привело к тому, что мы начали петь не только, как обычно, революционные песни, но постепенно запели народные песни и даже модные песенки.

— *Оле!* — воскликнула одна молодая испанка, не предполагая, что это восклицание послужит созданию оркестра.— Кто знает еще одну песенку?

— Я! И не одну, а много! — откликнулся один из французов.

Мы все его попросили нам спеть. Он не заставил себя упрашивать и, взобравшись на стул, стал петь французские модные песенки. Моментально кое-кто из испанцев, стал подпевать припев и отбивать такт. Кто-то вынул губную гармонику, чтобы аккомпанировать французу, а другие схватили гребешки, дабы усилить аккомпанемент. Через минуту нашлись еще инструменты.

Не успели мы оглянуться, как благодаря романской стремительности у нас образовался целый оркестр. Тогда начались и танцы.

Вдруг вошел Михайлов. Его сразу окружили испанцы, что-то с необычайной скоростью говоря на своем языке. Он закивал головой. В ответ раздалось громовое ура и только тогда мы узнали в чем дело.

Оказывается нам было разрешено каждую субботу после обеда устраивать танцы под музыку импровизированного оркестра.

Наш оркестр постепенно развивался. Руководство им принял на себя, конечно, француз. Его запас модных песенок оказался поистине неисчерпаемым. Впоследствии мы узнали, что он пел в одном из парижских кафе.

Каждую субботу по вечерам мы получали в качестве сюрприза новую порцию модных песенок из разных стран, преимущественно, на французском, испанском или каталонском языке, так как у нас на курсе не было англичан и американцев, а среди немцев и австрийцев не хватало, видимо, талантов в этой области. Но зато другие страны блистали по части модных песен. Не раз случалось, что после очередного танца какая-нибудь испанка, венгерка, румынка, чешка или полька направлялась к оркестру и выступала с новой песенкой.

Кроме французского певца были в нашей среде, видимо, и другие «специалисты» как, например, Хуанита из Барселоны, которая прекрасно исполняла танго «Йо те квиеро мучо».

Все, кроме меня, были довольны, когда она пела, ибо я любил танцевать с ней, и как можно чаще, но всё же лишь сколько было допустимо, чтобы не попасть под огонь критики и самокритики.

— Где ты научилась так замечательно петь и танцевать? — спросил я ее.

— О, Линден, разве ты забыл, где мы находимся, — сказала она мне с улыбкой и, конечно, не ответила на вопрос.

Субботние танцевальные вечера были для нас прекрасной разрядкой. Это было единственное время в течение недели, когда наши мысли не были заняты политическими и военными вопросами.

Вскоре, кроме танцев, у нас начались вечера самодеятельности. На таких вечерах отдельные курсанты или целые группы выступали со стихами, песнями, танцами, небольшими театральными постановками.

И здесь наиболее активными оказались испанцы. Постепенно все были обучены испанским песням, а песни других национальностей завоевывали популярность лишь в отдельных случаях.

Возникновение нашего импровизированного оркестра и инициатива испанцев в области танцевальных вечеров имели значительные последствия.

Очевидно руководство курса осознало, что нам необходимо немного веселья и непринужденности и приняло соответствующее «решение». Вскоре было устроено общее собрание по этому поводу. Классиер произнес речь: «Опасность учебной перенагрузки . . . недопустимо, чтобы товарищи сидели до двух часов ночи в читальне . . . Перенапряжение никому не приносит пользы, необходимо и свободное время . . . нужно совместно петь . . . Надо организовать уют . . .» и т. д.

Так стали у нас «организовывать уют» в форме «товарищеских вечеров» и «дружеских встреч».

Начальство точно определяло, где и когда нужно было встретиться, и что должно было происходить на таких «уютных вечерах». Класснер по этому поводу заявил:

— Чрезвычайно важно, чтобы мы встречались и вне учебных рамок. Борьба в Германии требует от нас не только политических и организационных знаний, но и связи с немецким человеком, с его привычками и манерами. Для этого мы будем на наших товарищеских вечерах разучивать и петь хором немецкие народные песни.

Превращение теории в практику удалось на этот раз образцово. Отныне мы стали регулярно встречаться в помещении для семинаров или, в хорошую погоду, на дворе. Мы садились и ожидали дальнейших инструкций для проведения

уютного вечера. Нам недолго приходилось ждать, ибо время, предоставленное нам для уюта, должно было быть использовано с максимальной рациональностью. Не успевали мы усесться, как нам выдавали тексты немецких народных песен. Старшие товарищи неуверенно запевали, а нам, молодежи, никогда еще не слышавшей немецких народных песен, приходилось добросовестно подпевать.

Так, после разборки пулемета или после доклада о Китайской революции, мы сидели и пели:

Под карнизом крыши, под карнизом
крыши
У воробьев подрастают
птенцы,
Когда вечер наступает,
Когда вечер наступает
Все чирикать начинают:
Чик-чирик, чик-чирик!
Юлия открой окно, Юлия
открой окно!
Я жду уже давно — давно!

Пели мы дисциплинированно и с той серьезностью, которую от нас постоянно требовали. Однако здесь это, видимо, оказалось не к месту.

— Товарищи, — слушали мы указания Ванделя, — эту песню нужно петь бодрее и веселее. Как всегда мы и это указание стремились исполнить возможно скорее и «чик-чирик, чик-чирик» начинало звучать с максимальной бодростью и весельем, на которые мы только были способны.

Наконец, мы получили задание выучить тексты песен наизусть. Одним словом «уютные вечера» немецкой группы были отвратительными, и я всякий раз с нетерпением ожидал их конца, чтобы опять попасть на семинары или в библиотеку.

Постепенно мы выучили примерно дюжину немецких народных песен. Нам неоднократно заявляли, что это «укрепляет нашу связь с немецким народом». Горячо с сознанием долга накинулись мы на эту новую задачу. Однако впоследствии мне, увы, пришлось убедиться, что выученные в Башкирии немецкие народные песни мало помогли мне в связи с немецким народом, ибо, когда я в мае 1945 года вер-

нулся в разрушенный и разбомбленный Берлин, то ни один немец, с которым мне приходилось встречаться, не поинтересовался народными песнями.

Вскоре, к счастью, в отношении «уютных вечеров» была провозглашена новая тактическая линия. Согласно этой линии они не должны были исчерпываться только изучением немецких народных песен, к этому решили присовокупить рассказы старших товарищей об опыте их работы.

Так как в этих рассказах, за редким исключением, лишь ничтожнейшая часть уделялась личному опыту, то все это представляло собой не что иное, как своего рода завуалированные лекции. Несмотря на то, что мы и без этого слушали немало лекций, я был все же рад, ибо это было лучше, чем организованное исполнение народных песен.

Вскоре подобные вечера стали неотъемлемой частью нашей жизни в Кушнаренкове. Большей частью рассказывал нам о своей интересной жизни Бернгард Кёнен. Он рассказывал нам о революции 1918 года, о восстании в центральной части Германии в 1921 году, о 1923 годе, о празднованиях 1 мая, которые ему пришлось пережить в разных странах. Рассказывать все это было ему, по всей вероятности, не так-то легко, ибо ему, разумеется, приходилось подгонять описание своих впечатлений к новой политической линии и ретушировать события в том направлении, в каком они теперь трактовались. Всего этого я тогда, впрочем, еще не осознавал. Он старательно пересыпал свои личные переживания резкими замечаниями в адрес Брандлера и троцкистов, как это было предписано для лекций.

Бывало и так, что, наряду с преподавателями, и старшие курсанты делились с нами событиями из своего прошлого. Мне запомнился рассказ одного старшего товарища, который в конце 1940 года, незадолго до начала войны, попал в Советский Союз. Он официально не состоял в партии и, видимо, работал по особому заданию. В течение трех часов рассказывал он нам о том, как во время немецкой оккупации в 1940 году ему приходилось пробиваться одному, без поддержки нелегальной партийной организации, с которой он не имел права вступить в контакт.

Он между прочим был единственным членом нашей группы, который иногда позволял себе критические замечания по отношению к происходившему в школе Коминтерна, например, о военных занятиях и о Мартине Грюнберге, ко-

торый «разыгрывает из себя начальника штаба, не имея вообще никакого представления о военном деле». Он, казалось, чувствовал себя уверенно, — может быть потому, что рассчитывал на каких-либо влиятельных поркровителей. Однако он ошибся.

Несколько дней спустя его удалили из школы. Нарушил ли он указания и рассказал нам то, чего не следовало? Или же причиной были его критические замечания? Случилось ли что-нибудь с его влиятельными покровителями? Мы этого не знали.

Класснер лаконично сообщил нам, что он исключен из школы. Он к тому же якобы никогда не был действительно связан с партией и всегда был подозрительным элементом. Полгода спустя я встретился с ним в Уфе и с ужасом понял, что значит в Советском Союзе быть отверженным партией.

МОЯ ПЕРВАЯ САМОКРИТИКА

Уже летом 1942 года в Уфе я почувствовал явственную разницу между образом жизни привилегированного партработника и обыкновенного человека. Мне стало ясно, что многое, что я мог говорить и делать как советский студент и комсомолец, в моей нынешней среде не положено. По прибытии в Кушнаренково я постарался приспособиться к новому образу жизни. Дело было отнюдь не в том, чтобы ничего не рассказывать из моего прошлого или не открывать своего имени. Это выполнить, как оказалось, было не так уж трудно. Гораздо труднее было другое, о чем мне не говорили, но что я теперь должен был узнать:

Каждое слово подлежит политической оценке.

Эта фраза не так проста, она полна глубокого смысла: *Каждое* слово подлежит политической оценке.

Это было для меня совершенно новым.

Студенту и комсомольцу в Советском Союзе в «нормальные» времена — сюда, разумеется, не входят годы чисток 1936-1938 годов — было достаточно в области политики всегда следовать «правильной линии», не распространяться о том, о чем еще не писалось в «Правде» и так формулировать политические взгляды, что даже самый глупый или самый злонамеренный слушатель не мог бы их переиначить в антисоветские высказывания. Но наряду с этим были со-

вершенно аполитичные области, где можно было говорить более или менее все, что думаешь.

В первые недели своего пребывания в школе я еще не вполне усвоил разницу между моей прежней жизнью и тем, что мне теперь предстояло; касаясь «аполитичных» областей, я спокойно и непосредственно высказывал всё, что мне приходило в голову. Так же, впрочем, поступали и другие, более молодые товарищи из нашей группы.

Все мы в основном соглашались с системой. Но это не препятствовало нам, молодым ученикам, время от времени критиковать определенные явления или даже насмешничать по тому или иному поводу. Прежде же всего это не мешало нам быть в аполитичных областях полностью свободными и непринужденными, как это свойственно 20-летним молодым людям во всем мире. Но именно это и было запрещено. Именно на это обрушилась критика и самокритика, чьей первой жертвой стал я.

Нас часто вызывали на физические работы. В большинстве случаев дело касалось работ, имевших отношение к школе; иногда же нас назначали на сельскохозяйственные и иные работы вне школьной территории.

Так однажды в обеденное время объявили:

— Сегодняшние послеобеденные занятия отменяются. Наша группа назначена на разгрузку парохода.

Через полчаса мы находились на палубе судна, с которого нам предстояло отгрузить мешки с мукой. Сильный, как медведь, Отто из Гамбурга не отказал себе в удовольствии поддразнивать нас, молодых, потому что мы выносили лишь по мешку, а он шутя мог нести на себе два мешка. От его насмешек особенно страдал один малорослый, слабосильный и близорукий молодой товарищ из нашей группы по имени Стефан. Но он был достаточно смел, чтобы выступить против Отто. Вспыхнула ссора, причем силач Отто ударил маленького и слабого Стефана кулаком по лицу. Вспылив, я не скрыл своего возмущения.

На другой день пополудни нас троих известили, что вечером в 7 часов мы должны явиться к директору.

Беззаботно пошел я к директору, полагая, что Отто получит порядочную головомойку, а меня выслушают только как свидетеля. Случилось, однако, совсем иначе.

Войдя в директорский кабинет я остолбенел: там было поставлено два длинных стола. Рядом с директором Михай-

ловым сидел начальник отдела кадров, которого мы редко видели и еще реже слышали, а также одна партработница, о которой говорили, что она принадлежит к секретариату Димитрова, Пауль Вандель и, — что меня больше всего удивило, — Эмми Штенцер, девятнадцатилетняя девушка с голубыми глазами, которая путалась в вопросах политической теории, но прекрасно умела составлять на бумаге подпольные «народные комитеты».

Царила глубокая и торжественная тишина — как при допросе во времена инквизиции.

У стены стояли кушетка и три стула.

— Вы можете сесть на эти стулья, — было нам сказано холодно, почти шёпотом.

Потом снова на несколько минут воцарилась тишина. Вообще ничего не происходило. Щемящее чувство охватило меня, хотя я и думал, что разговор меня не коснется.

— Я думаю, мы можем теперь начать, — сказал Михайлов лишь через некоторое время таким голосом, которого я прежде у него не слышал.

Первым заговорил Пауль Вандель. Он еще раз восстановил в памяти весь случай, и я с удивлением должен был отметить, что эпизод с мешком муки является значительным политическим событием. Мое удивление еще более возросло, когда в докладе Класснера вина с нападавшего Отто всё более перекладывалась на подвергшегося нападению Стефана. Ему ставилось в упрек то, что он «спровоцировал» Отто.

— Кажется нужно вообще основательно обсудить замашки наших молодых товарищей, — доносился до меня голос Пауля Ванделя (Класснера). Все чаще называлось мое имя.

Тон все более обострялся, но не было никаких вспышек, никаких выкриков — это был холодный, сухой доклад с ясными и резкими формулировками.

Затем, поочередно, говорили другие. Но я с трудом улавливал слова. Вновь и вновь повторялись выражения «небольшевистское поведение», «недостаток серьезности», «зазнайство».

Я сидел, как окаменелый. Такого я еще не переживал. Хуже всего было полное спокойствие, в котором всё это разыгрывалось, паузы, во время которых не говорилось ничего, что хотя бы на одну секунду развеяло гнетущую атмосферу, царившую в комнате.

Я не мог собраться с мыслями. Что все это значило? К чему это вело? Почему мне никто ничего заранее не сказал? Что теперь будет?

С начала заседания прошел, вероятно, целый час, но еще не было сказано ничего конкретного: что же я, собственно говоря, сделал? Несмотря на это, я уже чувствовал себя почти виновным. Я чувствовал, что где-то я должно быть оступился, но тот факт, что я не знал, где именно и в чем, делал меня особенно беспомощным.

Не знал я тогда еще и того, что все это — лишь начало.

После небольшой паузы, одной из мучительных минут молчания, я услышал слова:

— Я думаю, товарищ Эмми Штерн могла бы еще кое-что добавить.

Девушка встала, но уже не так беспомощно, как на семинарах, когда она не могла отвечать на политические вопросы. Она встала самоуверенно, спокойно, с сознанием своей силы. Сама того, вероятно, не замечая она заговорила тем же деловым, холодным языком, которым говорили до нее и другие.

Перед ней лежал листок бумаги с заметками. Время от времени она заглядывала в листок и затем продолжала речь. Листок содержал пункты обвинения против меня.

Я был так взволнован, что далеко не все мог осознать. Но одно осталось неизгладимым в моей памяти и по сей день, это — тщательность, с какой были подобраны обвинения. Все, что я с первого дня моего прибытия в школу когда-либо и где-либо произнес, было добросовестно занесено на бумагу. Теперь это предлагалось всеобщему вниманию.

— 23 сентября в половине одиннадцатого утра, когда мы вышли из комнаты семинара, Линден сказал . . .

— 27 сентября, в шесть пополудни, когда мы собрались все вместе для пения народных песен, Линден сказал . . .

Все, что она говорила обо мне было настолько несущественно, что у каждого, незнакомого с атмосферой в подобной школе, могло бы вызвать лишь улыбку. С политикой все эти случаи не имели ничего общего. Вдруг Эмми возвысила голос:

— Когда был объявлен реферат об Александре Невском, Линден нам сказал, что этот вопрос его очень интересует и что он в институте истории в Караганде детально им зани-

мался. Он хотел бы знать, скажет ли докладчик что-либо новое.

Обвинители с серьезными лицами усердно делали заметки. Женщина, сидевшая за столом, многозначительно покачала головой. Очевидно сказанное по поводу реферата было особенно тяжелой виной. Перечень моих дальнейших высказываний продолжался; я судорожно старался сохранить в памяти обвинительные пункты, но вся атмосфера так на меня подействовала, что мне это не удалось.

Обвинениям, казалось, не было конца.

— Когда мы 6 октября в половине седьмого вечера возвращались с рубки дров, мимо нас прошли некоторые товарищи из испанской группы. Линден сказал при этом лесничему, что здесь есть очень хорошенькие испанки.

Сидящие за столом снова взялись за ручки; усердие, с которым обвинители делали заметки, показало мне, что и это мое высказывание имело большое значение.

Обвинения кончились. Отто сидел, развалившись на стуле. Для него, казалось, всё окончилось благополучно. Стефан, сидевший рядом со мной, бросал на меня испуганные взгляды, хотя его теперь вспоминали редко.

Один за другим заговорили женщина из секретариата Коминтерна, начальник отдела кадров и Михайлов. Обвинительные пункты, приведенные Эмми Штенцер упоминались в речах между прочим; они служили лишь исходными точками для обвинений.

Сегодня, мысленно оглядываясь на этот первый вечер критики и самокритики, мне нетрудно понять всю систему. Невинные, незначительные, абсолютно аполитичные высказывания увеличивались и искажались в чудовищных пропорциях, так что, казалось, в них можно было распознать свойства характера и политические концепции. После чего эти (никем не высказанные) политические концепции увязывались с политическими действиями (никогда никем не осуществленными) и, в конечном итоге, перед глазами рисовались ужасающие последствия.

Это происходило примерно так:

— Товарищ Линден сказал, что он уже прорабатывал вопрос об Александре Невском в Караганде. Он сказал, что его интересует, что скажет докладчик нового.

Что это означает? Это означает, что он думает, что всё уже знает, что он не находит нужным чему-либо учиться.

Налицо зазнайство, сыгравшее роковую роль в судьбе многих партработников.

Следовали примеры, трагические и ужасные примеры из нелегальной борьбы, когда работники из-за зазнайства пренебрегали мерами безопасности и испытанные товарищи, в результате, попадали в руки полиции; когда из-за зазнайства недооценивались трудности и не могли быть выполнены большие задания; дошло даже до того, что «если продумать до конца, такие работники, объективно говоря, несут долю вины за убийство испытанных товарищей и тем самым служат врагу».

Подобным же образом разбиралась фраза о хорошеньких испанских девушках в школе.

— Представьте только себе: в разгаре войны, когда идет не на жизнь, а на смерть борьба с преступным фашизмом, когда советский народ жертвует всем, чтобы победоносно закончить борьбу за свободу и независимость страны, товарищу Линдену партия дает возможность учиться в образцовых условиях и готовиться к предстоящей борьбе. Партия с полным правом ожидает, что все стремления, все силы товарища Линдена будут направлены на достижение этой цели; что каждую минуту он использует для учебы, что все его мысли будут сосредоточены на предстоящей борьбе. Но о чем думает Линден? Он думает о хорошеньких испанских девушках и ставит тем самым интересы своего «я» выше интересов партии. Такие случаи бывали и в прошлом.

Снова следовали примеры, один другого ужасней и трагичней, как работники в подполье забывали о своих заданиях из-за любовных авантюр и тем самым отдавали в руки врагу не только самих себя, но и целые нелегальные группы. Примеры из Италии, из гитлеровской Германии, из Испании Франко, из Венгрии Хорти сменяли друг друга.

И неизменно в конце подчеркивалось, что всё это — последствия зазнайских и индивидуалистических высказываний. Всё казалось настолько логичным, что я уже почти чувствовал себя виновным в совершении подобных проступков.

Впечатление было тем сильнее, что я еще никогда не переживал ничего подобного. В советской школе я всегда был примерным учеником и дважды получал «похвальную грамоту». Будучи студентом, я всегда на экзаменах получал отметки, обеспечивавшие мне стипендию.

Я еще никогда не сталкивался с критикой и самокритикой, и даже здесь в школе насчет моего поведения не было сделано ни одного критического замечания; поэтому столь многочисленные обвинения меня просто раздавили.

Наконец Михайлов, говоривший последним, закончил:

— Слово имеет товарищ Линден, — неожиданно донеслось до меня.

Помню, что как-то бессвязно я выразился в том духе, что считаю критику справедливой и попытаюсь исправиться. Это был скорее лепет, чем связная речь.

Затем следовало заключительное слово. Снова выступали многие.

Лейт-мотив был тот же: заявление Линдена это увертка. Линден вообще не затронул сути проблемы. Заявление показывает его поверхностность. Если Линден уже сейчас, в этот же вечер, делает подобное заявление, было бы преждевременным ему верить. И снова следовали примеры; примеры работников, обвиненных за какие-либо ошибки и быстро и легко признавших свои проступки, но в действительности не изменившихся и продолжавших идти по порочному пути.

Вдруг совершенно для меня неожиданно, я услышал голос Михайлова:

— Я думаю, мы можем теперь кончить.

Не было принято никакого решения, никакой резолюции. Я не получил даже никаких указаний, что же я теперь должен делать. Ужасное многочасовое заседание прекратилось столь же неожиданно, как и началось.

Настала ночь. В доме царил полный покой. Все уже пошли спать. Медленно поднялся я по скрипучим ступеням в дортуар. Часами я не мог заснуть. Я не знал, что всё это должно значить. Удалят ли меня из школы? Исключат ли из комсомола? Пошлют ли назад в Караганду?

Гораздо сильнее, чем моя личная судьба, меня волновали сознание вины и, судя по всему, безвыходное положение, в которое я попал. Я был достаточно честен, чтобы признать свои ошибки, но когда я это сделал, — то и это оказалось неверным. Я беспокойно ворочался в постели с бока на бок. Что я теперь должен делать? Никогда еще, даже в пустынях Казахстана я не чувствовал себя таким беспомощным, как этой ночью в школе Коминтерна.

На другой день снова шли обычные занятия. Ничего, казалось, в школе не изменилось. Никто, казалось, ничего не

знал о вечере критики и самокритики в директорском кабинете. Было трудно сосредоточиться на занятиях.

Но я знал, что после вечера критики и самокритики за моим поведением будут наблюдать еще тщательней, чем прежде. Поэтому я записывал лекции, но это была чисто механическая запись. Из моей головы не выходили вчерашний вечер и мысль о том, что мне еще предстоит. Мне было ясно, что вся эта история далеко не закончена.

Слева от меня сидела Эмми, совершенно невозмутимая. Внезапно мне пришло в голову, что метод ее действий — все досконально записывать — таил в себе что-то отталкивающее. Независимо от моей воли мысли мои пошли дальше. Был ли этот путь вообще правилен? Действительно ли нужно воспитывать партработников такими методами? Конечно, думалось мне, у меня много ошибок и, естественно, партия и школа не только имеют право, но и обязаны помогать мне преодолевать мои ошибки и слабости. Но должно ли это делаться таким способом? В атмосфере, более жестокой, чем при оглашении приговора? Разве нельзя было это сделать по-другому и время от времени давать мне дружеские советы?

Я ужаснулся своим собственным мыслям, но отогнать их был не в состоянии. Разве отношения в школе вообще таковы, какие должны быть между товарищами? Память подсказала другие критические мысли, посещавшие меня в периоды чисток. Снова всплыли критические разговоры. Мне стало страшно за самого себя. Если бы я высказал эти критические мысли, что произошло бы тогда?

Я решил в будущем быть много осторожнее в высказываниях и говорить лишь самое необходимое. Я буду обдумывать каждую фразу, каждое слово. Но вновь пришло сомнение:

Должно ли так быть? Честно ли это? Но как нужно тогда поступать? Как можно быть честным, когда каждое невинное, с объективной точки зрения, слово может быть истолковано, как вражеская вылазка?

Вновь я содрогнулся от своих еретических мыслей. Еще прошлым вечером мое сознание вины было вполне честным. В тот вечер и я был убежден в том, что резкая критика по моему адресу была вполне справедливой. Я действительно хотел исправиться, но заявление, которое я искренне пролепетал, было отвергнуто.

Если бы вечер самокритики прошел немного иначе, если бы моим заявлением все было очищено — «еретические» мысли, может быть, и не пришли бы ко мне, или пришли гораздо позднее. Может быть, как в случае со многими русскими и нерусскими партработниками, этот вечер способствовал бы моему превращению в безвольное и послушное орудие сталинского партийного руководства. Но так было достигнуто противоположное.

Конечно, я еще полностью отожествлял себя с системой; ничего я так страстно не желал, как победы советского оружия. Я еще твердо верил, что в Советском Союзе осуществлен социализм и что все неприятные для меня явления не были следствием системы; они, как я думал, объяснялись тем, что социалистический порядок строился в такой отсталой стране, как Россия. Я уже тогда видел эти ошибки и недостатки довольно отчетливо, но я еще не знал, что они находились в логической взаимосвязи. В то время они казались мне извращениями, допущенными местными работниками, детскими болезнями нового общества, мероприятиями, обусловленными отсталостью; они были еще для меня тогда явлениями преходящего характера.

Если вечер самокритики и не отнял у меня веры в Советский Союз, то он все-таки способствовал укреплению моего критического подхода.

Прежде всего, этот вечер привел к тому, что отныне я действительно обдумывал каждую фразу и каждое слово, тем самым сознательно умалчивая о моих мыслях по некоторым вопросам, и затаивал мои истинные чувства и взгляды.

Но в то время мое положительное отношение к сталинизму перевешивало мою критику. Что однако случилось бы, если бы меня стали преследовать дальнейшие критические размышления, которые я держал при себе и о которых я благоразумно умалчивал? Сегодня мне думается, что тогда-то и началась та дорога, которая, семью годами позднее, после тяжелой внутренней борьбы привела к тому, что я порвал со сталинизмом и бежал из Советской зоны Германии.

Утренние размышления сделали меня как-то более уверенным и спокойным. После обеда было объявлено, что в нашей немецкой группе состоится вечер критики и самокритики. Но о чем пойдет речь, сказано не было. Царило такое же настроение, как и прошлым вечером в кабинете ди-

ректора. Снова удалось напряженность и нервность всех присутствующих поднять до крайности.

Затем стал говорить Вандель.

Все повторилось с самого начала: описание случая на пароходе, переложение главной доли вины на Стефана и меня, и, наконец, главный огонь критики устремился по моему адресу.

Хотя я все уже выслушивал вторично, меня вновь словно сковало. Утренние критические мысли все более и более отступали и вскоре я почувствовал себя опять почти таким же беспомощным и виноватым, как прошлым вечером. Почти . . . все же это было не совсем так, как раньше. Уже были минуты, когда я внутренне освобождался, когда я уж не столь терялся, когда даже лезли в голову еретические мысли.

Вандель говорил, примерно, один час. Он заявил, что комплекс вопросов столь значителен, что его в рамках группы нужно еще раз серьезно обсудить. Снова последовало отожествление незначительных и невинных высказываний с политическими концепциями и действиями.

В конце своей речи он упомянул, что вчера вечером Линден сделал совершенно неудовлетворительное заявление, и что теперь долг всех присутствующих товарищей занять соответствующую позицию.

Один за другим выступали все члены нашей группы. Все текло вполне планомерно. Даже мои лучшие друзья должны были теперь меня облить грязью, и они это сделали. Содержание выступлений было точно предопределено речью Ванделя и члены группы держались указанного направления. Лишь лейтмотив несколько варьировался. Одни хотели себя обелить тем, что осуждали меня еще резче, чем это сделал сам Вандель; другие тем, что увязывали обвинения против меня с самокритикой, причем никто их на это не толкал; они обличали себя в совершении тех же ошибок. Один из студентов, желавший по дружбе меня пощадить, не упомянул меня, но пытался все случившееся разобрать «теоретически» и начал с общего рассуждения об опасности таящейся в плохих чертах характера. Но ему это не помогло. Вандель его резко оборвал и обвинил в том, что он пытается увильнуть от серьезных вопросов, вынесенных сегодня на обсуждение. Так и эта возможность осталась закрытой.

Прошло много часов.

Наконец наступил момент, когда я должен был высказаться.

На этот раз я говорил спокойнее и более по существу. Снова признал мои ошибки, но тут же заявил, что я еще глубже и серьезнее их продумаю. Первое было честно, второе, однако, тактический ход, прибегнуть к которому я чувствовал себя вынужденным. В конце концов, я по прошлому вечеру знал, что на немедленное признание ошибок смотрят косо. Вечер закончился заявлением и несколькими заключительными словами Пауля Ванделя.

И на этот раз не было принято никакого решения. Я все еще не знал, закончилось ли все этим или последуют дальнейшие меры.

Скоро однако стало ясным, что все действительно закончено. Это был первый пример критики и самокритики в нашей группе. В последующие недели и месяцы мы еще часто в нашей группе видели подобные спектакли, пока, наконец, все ученики не прошли через мельницу «критики и самокритики».

Эта первая самокритика изменила не только меня, но и других учеников нашей группы. Мы стали серьезней, и, главное, осторожней в наших высказываниях. Бурные приветствия, непринужденные рассказы, восторженные выкрики, как рукой сняло. Мы, молодежь, которой тогда отроду было от 19 до 22 лет, вели себя, как умудренные опытом старые партработники, спокойно и продуманно взвешивающие слова. Возможно, я держал себя подобно тем партработникам, с которыми я познакомился в Уфе и чье поведение еще несколько недель тому назад казалось мне необычным.

БОРЬБА С «СЕКТАНТСТВОМ»

В конце октября 1942 года всем группам было объявлено, что к нам в ближайшие дни пожалует высокий гость — член ЦК ВКП(б). Он прочтет нам доклад о международном положении.

Аудитория, в которой обычно читались общие для всех лекции, была переполнена. Как всегда, за задними столами поместились переводчики, а в первых рядах все те, кто владел русским языком так же хорошо, как и родным языком.

Что-то дало нам почувствовать, что произойдет нечто важное.

Мы не разочаровались.

Всем нам бросилось в глаза, что в этом докладе вновь и вновь подчеркивался прочный, неразрывный союз Англии, США и Советского Союза и осуждалось «сектантство». Мы были политически достаточно вышколены, чтобы распознать, что здесь дело заключалось в новой политической линии, что доклад содержал руководящие указания для всего дальнейшего обучения в школе.

Мы не ошиблись. Начиная с этого дня, все лекции и все семинары вновь и вновь указывали на грознейшую опасность: сектантство.

Читателю, плохо разбирающемуся в сталинской идеологии, я поясню, что это ничего общего, разумеется, не имеет с религиозными или иными сектами. В школе Коминтерна понятию сектантства давалось следующее определение:

«Сектантство — это политически и идеологически вредное направление в рабочем движении, отрицающее необходимость политики союза рабочего класса с другими слоями и пытающееся изолировать партию от масс».

В начале ноября 1942 года союзники высадились в Северной Африке; в середине ноября началось наступление Красной армии под Сталинградом, наступление, которому предназначалось стать переломным моментом войны. С тех пор, как произошли эти события, особенно с января 1943 года в школе не проходило ни одного дня, когда бы не громилось «сектантство».

Союз между СССР и западными демократиями не только постоянно выпячивался в школе и представлялся, как основа политики, но также подчеркивалась необходимость в каждой стране заключать союзы всех политических сил против Гитлера. На данном этапе речь идет не о достижении собственных политических целей, учили нас, а, прежде всего, о мобилизации всех политических и военных сил в борьбе против гитлеровского фашизма. Именно потому, что партия отодвинула на задний план собственные цели и проявила себя как активнейшая сила в борьбе против Гитлера, ей удастся позднее завоевать решающее влияние. Ничего нет опаснее, — вновь и вновь внушалось нам, — как выдвижение далеко идущих требований, как отрыв от возможных союзников.

Чтобы приготовить нас к борьбе против «сектантства» приводились, в качестве примеров, труднейшие ситуации и события, происшедшие много лет тому назад.

Не могу забыть семинара, посвященного теме «История китайской революции 1925-27 гг.». Мы прослушали очень интересный доклад и проводили проработку этой темы в рамках семинара. Один за другим вставали вопросы: о Гоминдане и его составе; его политических целях; о стоящих за ним социальных силах; о противоречиях внутри этих сил; об отношениях между коммунистической партией и Гоминданом и о роли Чан Кай-ши.

Во время семинара в комнату вошел Михайлов, сел рядом с Ванделем и стал прислушиваться. Любой другой слушатель нашел бы, что мы владеем темой, потому что на трудные вопросы Ванделя большей частью следовали правильные и исчерпывающие ответы; Михайлов, однако, казалось, был неудовлетворен.

Он нервно обратился к Ванделю:

— Извините, могу ли я вмешаться и поставить один вопрос?

— Ну, само собой разумеется, — ответил Вандель.

— Товарищи, вопрос не только в том, что вы обо всех этих вещах знаете; конечно и это важно. Но еще важнее другое. События в Китае с 1925 по 1927 год учат нас очень многому. Но уроки можно лишь тогда правильно понять, если самого себя перенести в тогдашнюю обстановку, чтобы научиться самому в подобных ситуациях принимать правильные решения.

Мы одобрительно кивали головами, но еще не знали, к чему он клонит.

— Вы все знаете тогдашнюю общую обстановку. Формально компартия Китая была еще в союзе с Гоминданом, но всем было ясно, что дни этого союза сочтены. Каждый день мог принести с собой разрыв. Я хотел бы вскрыть перед вами один из сложнейших вопросов в тогдашней ситуации. Тогда коммунистическая партия имела в Шанхае большое влияние среди рабочих. Больше того: у рабочих было оружие. Партия представляла собой, таким образом, в известном смысле вооруженную силу. Между тем, войска Чан Кай-ши приближались к городу. В любой день они могли в него войти. Что должен был делать руководитель компартии в Шанхае? Должен ли он был приветствовать войска Чан

Кай-ши, как союзников? Произносить приветственные речи и печатать приветственные листовки? Или он должен был призвать рабочих города оказать отпор войскам Чан Кай-ши и тем самым взорвать союз, который и без того был накануне краха? То, что я вам рассказываю — не фантазия. Это действительно имело место. Всю ночь напролет совещались шанхайские товарищи.

Михайлов встал. Сделав короткую паузу, он внезапно огорошил нас вопросом:

— Ну, а вы, что бы вы делали?

Почти целую минуту царила полная тишина.

Он так картинно обрисовал обстановку, что можно было подумать, что и он там присутствовал (что, впрочем, было вполне возможно).

Каждый из нас лихорадочно раздумывал. Это был, действительно, очень сложный вопрос. Наконец, вызвался один из нас.

— Я думаю, было бы правильным добросовестно придерживаться союза до тех пор, покамест была уверенность в том, что это настоящий союз. Но в дни, когда стало доподлинно известно, что Чан Кай-ши в любой момент может изменить общему делу и уже готовит удар, нужно было защищать партию и сочувствующих партии рабочих. Ни в коем случае нельзя было шанхайских рабочих и коммунистов выдать Чан Кай-ши, тем более, что они ведь располагали оружием и могли защищаться.

Курсанты вопросительно смотрели на Михайлова. Михайлов не проронил ни слова, даже не обвел нас взглядом, затем спросил:

— Все такого мнения?

Сразу же вызвался другой:

— Я не вполне уверен, но думаю, что несмотря ни на что руководитель шанхайских коммунистов должен был встретить войска Чан Кай-ши по-дружески, по-братски, — даже рискуя тем, что союз будет разорван самим Чан Кай-ши и что Чан Кай-ши будет таким образом оказана помощь в завоевании огромного города. Нужно было придерживаться союза для того, чтобы каждому в Китае стало очевидно, что не коммунисты, а Чан Кай-ши разорвал союз и изменил революции. Правда, это принесло бы партии на известном отрезке времени большие трудности и даже стоило бы многих

жертв, но в длительной перспективе такая политика была бы, возможно, все же правильной.

Большинству из нас это показалось все же слишком. Напряженно впивались мы глазами в Михайлова, но и на этот раз он ничего не сказал. Он молчал. Наконец, выступила Эмми, девушка, столь хорошо умевшая составлять «народные комитеты». Она лукаво улыбнулась:

— Я думаю, не нужно было останавливаться ни на том, ни на другом решении. Можно было бы сделать следующее: с одной стороны издать официальную правительственную прокламацию и дружески приветствовать наступающие войска Гоминдана; но тут же распространить листовки среди рабочих, в которых бы они предупреждались о предстоящей измене Чан Кай-ши и призывались сохранять бдительность, никоим образом не выпускать из рук оружия потому, что оно может быть потребуется для предстоящего расчета.

Сперва Михайлов устремил на нее взгляд. Затем, медленно, взвешивая слова, но довольно резко, он произнес:

— Последнее предложение неприемлемо. В описываемом случае речь идет не о вопросе тактики, но о вопросе стратегической ориентировки и товарищ Штерн должна была бы знать разницу*).

Дискуссия на этом еще не закончилась. Один за другим выступили почти все студенты нашей группы. Но ничего существенно нового они не внесли. Предлагались лишь варианты двух первых решений.

Немного спустя Михайлов встал:

— Я привел вам пример не столько по своему свободному выбору, сколько для того, чтобы показать, как иногда бывает трудно принять политическое решение. Возможно, тому или иному из вас придется со временем принимать самостоятельные политические решения. История это не только история. Если вы учите историю, то пытайтесь вжиться в

*) Разница заключается, говоря более простым языком, в следующем: стратегия занимается главными силами революции и их резервами. Она, правда, меняется при переходе с одного революционного этапа на другой, но в течение каждого данного этапа остается, в основном, неизменной. Тактика же охватывает необходимые организационные формы и виды борьбы. Здесь речь идет об установлении политической линии на сравнительно короткий период. Эта линия в пределах данного этапа или революции может много раз меняться.

ее обстановку, развивайте ваши способности принимать решения.

Наконец он перешел к тому, чего мы так напряженно ждали — к указанию, какое же решение правильно. К удивлению большинства из нас он заявил:

— Товарищи, второй выступавший в основном был прав. Общий политический союз важнее судеб единичных решений. Даже, когда союз в опасности, его никогда, ни при каких условиях нельзя разрывать первыми. Даже ценой риска частичных поражений и жертв нельзя никоим образом терять из вида стратегическую цель единства, так как на большом протяжении времени оно принесет для партии положительные результаты, если не мы, а другие отпадут от существующего единого фронта.

Так гласил михайловский ответ в конце 1942 года соответственно объявленной тогда стратегической линии. Но я все же не совсем уверен: гласил ли бы он также несколькими годами позже?

Борьба с «сектантством» проводилась не только на семинарских занятиях на тему о далеком Китае 1927 года; спустя несколько недель она дала себя знать в одном насущном вопросе современности.

Неожиданно была назначена чрезвычайная лекция для всей школы, что всегда указывало на значительное событие.

Михайлов прочел доклад против сектантства. Хотя эта тема, поистине, не была новой для нас, мы чуяли что-то необычное.

Нас недолго держали в мучительном напряжении. Внезапно Михайлов повысил голос:

— Я подчеркиваю это потому, что здесь, в нашей школе, мы всего несколько дней тому назад имели случай, показавший нам, что сектантство еще далеко не преодолено; случай настолько серьезный, что мы им должны заняться всей школой.

Всеобщее напряжение. Каждый знал, что теперь последует главное. Михайлов ждал, пока последний переводчик за последним столом не закончит своей работы.

Лишь затем он продолжил:

— Сектантство зашло в итальянской группе так далеко, что были допущены серьезные политические ошибки. На одном семинаре один член итальянской группы заявил, что уже сейчас пришло время дать указания итальянским пар-

тизанам находить верные тайники для оружия, чтобы в случае освобождения Италии англо-американскими войсками это оружие не попало бы в руки англичан или американцев.

Многие из нас были изумлены, так как подобная дискуссия казалась нам тогда музыкой далекого будущего. Советские части еще стояли под Сталинградом; союзные войска только что высадились в Северной Африке, а итальянская партизанская борьба еще не начиналась.

Однако случай в итальянской группе был принят Михайловым весьма всерьез:

— Самая большая опасность, стоящая перед нами, это сектантство, отрыв от патриотических сил, опасность изоляции партии. Исходя из этого, подобные высказывания нужно строжайше осудить, ибо они вбивают клин в единый антифашистский боевой фронт. Они ослабляют антифашистскую борьбу и объективно означают поддержку фашизма. Тот, кто считает, что итальянские партизаны должны прятать оружие от союзников Советского Союза, тот делает не что иное, как оказывает услугу Гитлеру.

Однако, примерно шесть лет спустя, за товарищами, обвиненными в «про-фашизме» была признана свыше правота их взглядов. В сентябре 1947 года на учредительном съезде Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформа) итальянской компартии было поставлено на вид как раз то, что она не спрятала оружие, а выполнила московские приказы.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА

С разборкой и сборкой автоматов, с организованным изучением немецких народных песен, с последствиями «критики и самокритики» и с борьбой против «сектантства» пришел для нас к концу 1942 год.

Лишь несколько дней отделяло нас от Нового Года. Было объявлено, что канун Нового Года будет праздноваться раздельно, по национальным группам. К тому же я случайно слышал, как Пауль Вандель нашим старшим товарищам говорил что-то об «организации новогодней встречи». Было нетрудно себе представить, во что выльется наше «празднество».

Сила моего воображения оказалась, однако, недостаточной.

Вечером в канун Нового Года мы в обычное время собрались в нашей скудной и холодной учебной комнате. Все было в точности так, как на любом семинаре. По случаю торжественного дня лишь столы были несколько иначе поставлены и покрыты скатертями. Кроме того, мы получили компот из тыквы, распределенный между членами группы. Девушки заварили чай; спиртные напитки были строжайше запрещены. Несмотря на казенную обстановку учебной комнаты и несколько странный «праздник» с компотом из тыквы и чаем, быстро создалось веселое настроение, бывшее однако неорганизованным; долго держаться оно, поэтому, не должно было.

— Я думаю, мы сейчас можем начать наш уютный вечер. Товарищи могут сесть за стол.

Мы послушно расселись, причем чувствовали себя почти, как на семинаре.

Организованная встреча Нового Года протекала планомерно.

Вандель сделал знак одному старшему товарищу, тот встал и прочел (кстати, не совсем складное) революционное боевое стихотворение. После чего он сел.

Вандель снова подал знак. Второй товарищ начал читать выдержки из книги.

Теперь уже царила атмосфера не семинара; наступила тишина, как во время лекции. Уже чувствовалась потребность делать заметки, и можно было почти с сожалением отметить отсутствие бумаги и карандашей.

После того, как второй кончил, встал третий, — на этот раз вновь со стихотворением.

Вдруг случилось нечто непредвиденное: открылась дверь. Товарищ, читавший стихи, поперхнулся.

Мы не верили своим глазам. Наш школьный директор Михайлов, напевая и приплясывая очутился в комнате. Изумленно взглянул он на нас, истуканов, важно восседавших вокруг стола. Мы же со своей стороны, как остолбеневшие, глазели на подпрыгивающего и приплясывающего директора. Первым, кто спохватился, был сам Михайлов. Оглядев нас и угощенье, он сделал серьезное лицо (что, очевидно, для немецкой группы в канун Нового Года было необходимым), подсел к столу и молча наблюдал за тем, что происходит.

Между тем, декламировавший товарищ оправился от своего шока и вновь стал читать стихи. Хотя мы уже были

очень дисциплинированы, нам все же не вполне удавалось следить за содержанием. К счастью он скоро кончил.

Теперь никто уж не знал, что будет дальше.

По всей вероятности, Вандель мобилизовал еще кое-кого из ванек-встанек; все было запланировано, только не приход директора.

Вандель и Михайлов обменялись вопрошающими взглядами.

Верность Ванделя генеральной линии была чрезмерной, судя по всему, даже для Михайлова. Увидев, что в немецкой группе и на встрече Нового Года не создалось вольной атмосферы, он вмешался и заговорил с нами, но так непринужденно, так «по-другому» и как-то человечно, как мне не доводилось слышать на Востоке ни до, ни после того.

Он заговорил об опасностях и красоте жизни революционера.

В заключение своей короткой речи он вынул коробку спичек:

— Может быть, — сказал он, — я легче поясню свои мысли и чувства с помощью примера. — Он вынул и зажег спичку. Через несколько секунд спичка сгорела и осталось лишь немного пепла.

Дружелюбно и немного задумчиво Михайлов смотрел на нас.

— Разве это не жизнь обыкновенного человека? Вначале горит небольшой огонек, затем вспыхивает и, наконец, гаснет. Остается горсточка ненужного пепла. Человек живет, работает, основывает семью, рождает детей, умирает. Его оплакивают родственники и немногие знакомые. Бесполезная, ненужная жизнь.

Но если мы обратимся к нашей жизни — жизни, полной приключений, опасностей, путешествий, тюрем, ответственных заданий, жизни в лоне семьи, называемой нами — партией, с ясной и четкой целью, как краеугольным камнем нового мира, жизни, после которой нас будут оплакивать многочисленные товарищи — разве это не совсем, совсем другое, чем какая-то там спичка?

Мы все были тронуты. Никто еще в школе так с нами не говорил.

Михайлов внимательно нас разглядывал, каждого в отдельности.

— Вспоминайте иногда мои слова, особенно, если натолкнетесь на трудности. Это помогает. Но сейчас, в канун Нового Года вы должны по-настоящему развлечься. Вы, конечно, меня извините, если я также навещу и другие группы.

С развлечениями, однако, ничего не вышло. Некоторым из нас поручили пройтись по другим группам и передать им поздравления; я должен был посетить болгарскую группу. И там, как я заметил, царило отнюдь не непринужденное настроение.

Когда я вернулся в немецкую группу, было как раз одиннадцать, но наша «уютная новогодняя встреча» уже закончилась.

Собственно я об этом не грустил. Я пошел еще немного прогуляться и искал ответа на вопрос: почему «дружеские вечера» в нашей школе были такими натянутыми и бесцветными.

Тогда я еще полагал, что это явление вызвано исключительными условиями нашей школы, не позволяющими развиваться дружбе и сердечности. Лишь позже я установил, что эти явления отнюдь не ограничивались нашей школой. Другие «дружеские вечера» важных партийных работников — в особенности, если они пробыли много лет в Советском Союзе — ничем особым не отличались от наших «вечеров».

Лишь после моего разрыва со сталинизмом я осознал, что это было неизбежным следствием самой системы, следствием критики и самокритики, заставляющей любого партработника взвешивать и обдумывать каждое слово; следствием безусловного подчинения руководству, запрета свободной дискуссии, полного отрыва от рядовых советских людей и, наконец, следствием чисток, уничтожающих все человеческое в человеке.

Новогоднее празднество имело, кстати, для некоторых из нас печальный эпилог. Уже несколько дней спустя была вновь собрана вся школа.

Выяснилось, что четыре молодых испанца достали в конце празднования Нового Года немного спиртного и приготовились было распить бутылочку. Но уже в самом начале их застали на месте преступления. Двое из них уже выпило по стаканчику, один — полстаканчика, а четвертый вообще ничего еще не выпил.

Весь этот случай уже разбирался на двух вечерах критики и самокритики в испанской группе. Там было принято

решение: четырех испанских юношей исключить из комсомола (они были комсомольцы).

Теперь случай вынесли на разбор перед всей школой, чтобы он служил предупреждением и острасткой для других. Снова шли обвинения и перечислялись примеры, уже мне досконально известные.

Одновременно испанцам указали на советских комсомольцев, — как на «светлый пример», — хотя все присутствовавшие доподлинно знали, что множество советских комсомольцев больше пили спиртного каждый день, чем четверо обвиненных молодых испанцев вместе взятых хотели выпить на Новый Год.

Исключение наших четырех испанских «алкоголиков» было официально утверждено; однако, через три с половиной месяца их вновь приняли в комсомол, так как они это время себя примерно вели.

Но не всегда репрессивные меры оканчивались столь удачно. Уже короткое время спустя я пережил случай, глубоко и навсегда врезавшийся мне в память.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ТОВАРИЩА ВИЛЛИ

В нашей группе был товарищ, лет так 35-ти, который в школе назывался «Вилли». Вилли происходил из берлинской рабочей семьи, — я думаю, что даже из Веддинга, — рано вступил в коммунистическую молодежную организацию, занимал в ней ряд должностей среднего значения и был также в боевом «Союзе красных фронтовиков». После 1933 года Вилли эмигрировал в Советский Союз.

После того, как вспыхнула испанская гражданская война он посещал школу военной подготовки вблизи Рязани — это была, насколько мне известно, самая большая военная школа для подготовки к борьбе в Испании проживавших в Советском Союзе иностранных антифашистов, — и сражался потом в рядах интернациональной бригады в Испании.

Вилли был в нашей группе на хорошем счету. С одной стороны, он уже располагал опытом старших товарищей, но, с другой, одновременно, имел способность быстрого восприятия, свойственную молодым людям. Он всем интересовался, всегда был бодрым, принимал активное участие в семинарах и был, вероятно, самым любимым в нашей группе — как со

старшими, так и с молодыми он был в приятельских отношениях.

Однажды днем мы опять прорабатывали актуальные вопросы современности.

На этот раз, однако, не пришлось составлять воображаемые «народные комитеты»; разбиралась деликатная тема: нелегальная антифашистская работа в германской армии.

С нас, молодых, пот лил в три ручья. Мы еще не были ни в одной армии. Германию мы покинули в детском возрасте. Следовательно, мы не знали ни Германии, ни армии, не говоря уже об армии Гитлера. Вопросы сыпались на нас и мы должны были так же создавать в массовом порядке нелегальные организации в гитлеровской армии, как до этого «народные комитеты» в городах и селах.

Было трудно не только потому, что мы об обстановке в германском Вермахте не имели никакого представления, — если не считать информационных бюллетеней с солдатскими письмами, — но прежде всего потому, что разбор этой темы влек за собой непременную раздвоенность: нам все время вдалбливалось, что нужно безоговорочно соблюдать конспирацию и что члены нелегальной группы не имеют права себя раскрывать, но, одновременно, наши, существовавшие на бумаге нелегальные группы, должны были показывать настоящие чудеса в своей работе.

При этом беспрестанно выдумывались примеры, в которых мы играли роль руководителей той или иной нелегальной группы, и Вандель засыпал нас вопросами:

— Что ты будешь делать, если . . .

На этот раз серия вопросов «что ты будешь делать, если . . .», казалось, вообще не имела конца.

И вот, попалась хитросплетенная задача:

В какой-то воинской части, расположенной в оккупированной области Советского Союза, действует нелегальная антифашистская организация. Небольшое подразделение этой части, в которой находится член нелегальной организации, внезапно получает приказ поджигать дома и расстреливать русских женщин и детей.

Меня бросало то в жар, то в холод, пока Вандель задавал вопрос:

— Что будешь делать ты в этом случае, как руководитель нелегальной группы?

Вандель оглядел всех и вызвал Вилли.

— Я ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не смогу нарушить принципа конспирации. Мы учили, что нелегальные организации в армии самое важное и что в особенности эти группы мы не должны никогда деконспирировать.

— Даже тогда, когда солдаты данных частей совершают позорные преступления против советского населения?

Вилли был растерян.

— Ну, я не знаю, но я думаю . . . что даже в этом тяжелом положении . . . вероятно . . . да, может быть, даже в таком тяжелом случае нельзя раскрывать нелегальные группы.

Многие, в том числе и я, молчали.

Мы при всем желании не знали, что в подобном случае нужно делать. Мы как-то чувствовали, что мы бы это узнали, попади мы сами в подобное положение, но весь этот случай был так теоретически построен, что многие решили молчать.

Сам Вандель не высказался и семинар шел дальше. Трое или четверо говорили еще на другие темы, как вдруг Вандель встал. Наступила полная тишина. Он смотрел на нас с возмущением и гневом.

— У меня создалось впечатление, что до сих пор никто в группе не заметил, что здесь произошло нечто невероятное, уму непостижимое!

Он сделал многозначительную паузу. Мы молчали· До сих пор я думал, что в политических вопросах обладаю внутренним чутьем, но теперь понял, насколько я был далек от этого. Я совершенно не представлял себе, что он имеет в виду. И вдруг мне пришло в голову высказывание Вилли. Может быть он подразумевает это высказывание? Я однако сразу же отбросил эту мысль. В конце концов, Вилли же сказал, что он точно не знает, а кроме того, это был действительно очень сложный вопрос.

Между тем Вандель продолжал. Все еще его речь носила общий характер. Он говорил о героической борьбе советского народа, о страшных зверствах нацистской армии и вдруг, как гром среди ясного неба, грянуло прямое обвинение:

— . . . и в такой обстановке, когда священный долг всех антифашистов вести борьбу с фашизмом, Вилли бесстыдно заявляет, что он во время расправы нацистов с советским населением пассивно стоял бы в стороне. Это не политическая ошибка. Это нечто худшее. Это предательство, преда-

тельство священной борьбы антифашистов, предательство первой социалистической страны — Советского Союза. Этот неслыханный случай мы со всей серьезностью разберем в ближайшие дни. Но я уже сейчас жду от каждого из вас, что он определит свое отношение к сказанному Вилли.

Снова на несколько секунд воцарилась мертвая тишина. Мы уже ко многому привыкли и имели за плечами много вечеров критики и самокритики. Но так резко еще никто никогда не говорил.

Внезапно мне бросилось в глаза, что Вандель нашего соученика Вилли ни разу не назвал «товарищем». Было ли это случайностью? Может быть Вилли уже ожидали кое-какие «мероприятия»?

Но я отогнал эти мысли. Так далеко все-таки дело зайти не могло.

Между тем уже поднялось множество рук. Я выжидал.

Один за другим курсанты произносили проклятия по адресу Вилли. Что это было за зрелище!

Сзади меня сидел мой друг Ян, всегда так восторженно говоривший о маршале Жукове. Он был единственным из молодых, имевшим кое-какое представление о жизни в армии. Он сам много месяцев был в Красной армии. У него была слабость к разбору сложных случаев и, кроме того, он был среди нас одним из самых мужественных.

Он вызвался:

— Я сам был в армии и имел касательство к службам, организующим подобные вещи. При определенных, очень редких, особых обстоятельствах может, однако, случиться, что, например, дело повернется так . . .

Вандель его резко оборвал:

— Мы здесь сидим не для того, чтобы рассказывать разные сказки, а чтобы занять позицию по отношению к изменническим высказываниям Вилли.

Но молодой, смелый Ян, был совершенно захвачен своей идеей.

— Товарищ Класснер, я хотел бы только один случай... один случай, который я лично пережил в армии . . .

Но Класснер не дал ему договорить.

— Довольно, я лишаю тебя слова.

Ян удрученно замолчал. В эти мгновения я был ему особенно признателен. Он не защищал Вилли открыто, но все же попытался как-то выгородить его.

Один за другим почти все курсанты нашей группы «заняли позицию». Уже два раза Вандель пристально посмотрел на меня, но я все еще молчал. Когда не высказавшихся оставалось только двое, Вандель назвал мое имя.

— Товарищи, никто из нас не хочет недооценивать значимости и последствий опасных высказываний Вилли, — начал я. — Но при всей серьезности, с которой эти высказыванья необходимо разобрать, нельзя, с другой стороны, недооценить и сложность поставленного вопроса. Мы все знаем товарища Вилли и знаем также, что он всегда примерно...

Я не смог продолжать. Вандель меня прервал:

— Никаких попыток затушевывания случившегося! Дело идет о принципиальных политических вопросах. Нам не нужны никакие оппортунистические замазывания.

Я замолчал. Я просто не мог его открыто осудить, хотя я доподлинно знал, что это будет мне снова стоить критики и самокритики.

Вандель ждал, но я молчал. Многие из нашей группы глядели на меня изумленно и неодобрительно. Наконец, последним, попросил слова староста нашей группы Сепп. Вместе с Вилли он сражался в Испании и в течение многих лет был его близким другом, — теперь он облил его грязью.

После короткого заключительного слова Ванделя семинар о нелегальной работе в армии был закончен.

На следующий вечер вся группа была вызвана в кабинет директора. Мы знали, что дело касается Вилли.

С ужасом думал я о том, что все мы еще раз должны будем выступать. Но к счастью до этого не дошло. Появились многие из руководства школы, чего я еще никогда до тех пор не видел. Присутствовали многие преподаватели из других национальных групп.

Почти все они выступали. Мы, ученики немецкой группы, были на этот раз лишь гостями.

Вновь пережил я то же, что на первом вечере критики и самокритики — только еще гораздо обостренней.

Бедный Вилли! Всю свою жизнь он посвятил партии и почти три года сражался в Испании в труднейших условиях. Теперь его из-за нескольких слов на семинаре обвиняли в «игре на руку фашизму», «в призыве к пассивности в борьбе с Гитлером» и в тому подобных преступлениях. Один оратор сравнил его даже с Франко.

Время от времени вспоминали и Яна и меня. Яну ставилось на вид «запутывание», а мне «оппортунистическое замазывание», но было ясно, что на этот раз мы были абсолютно незначительными второстепенными фигурами. Весь огонь критики и самокритики обрушился на Вилли.

Все это время Вилли сидел на стуле, глядя куда-то в пространство и не произнося ни единого слова.

Шли часы. Обвинения повторялись, но может быть как раз такие постоянные повторения и создавали ту невыносимую атмосферу, которая царила на подобных вечерах критики и самокритики.

Внезапно, когда мы уже было думали, что вечер подходит к концу, тон еще более обострился. Один оратор заговорил о «необходимых выводах», которые следует сделать из поведения Вилли, поскольку случай превосходит всё, что бывало до сих пор в школе. Со всей остротой должен быть поставлен вопрос о дальнейшем пребывании таких людей, как Вилли, в школе Коминтерна. Оратор не ограничился тем, что «поставил вопрос», но сразу дал и ответ.

— Для лиц, — слово «товарищ» здесь уже больше не употреблялось, — которые хотят бездейственно наблюдать за убийством советских людей и распространяют такие взгляды, для лиц, объективно становящихся на позиции поддержки фашизма, в школе Коминтерна места нет.

Такой же взгляд выразил в своей заключительной речи и Михайлов.

Этот вечер подействовал на меня, как тяжелый удар, — почти еще тяжелее, чем критика и самокритика, направленные против меня.

Я возмущался не только холодностью и бессердечием, но также и хамелеонством тех, кто обвинял Вилли и требовал его исключения из школы. Каждый из них доподлинно знал, что Вилли был чистый, верный работник и что таким же остался бы и впредь. То, что он ответил на вопрос, поставленный на семинаре, — и это знал каждый, — выражало лишь его растерянность при ответе на отвлеченное построение.

Вилли думал, что нужно строго придерживаться принципа, который внушался нам на всех лекциях по нелегальной работе, как главная и важнейшая задача, то есть при всех случаях сохранять конспирацию. За несколько слов на семинаре Вилли должен был теперь поплатиться не только

исключением из школы Коминтерна, но почти наверное и исключением из партии, поплатиться отказом от какой бы то ни было политической деятельности. Это означало, автоматически, падение в низшие слои советского населения, жизнь на положении отвергнутого партией подозрительного иностранца в каком-нибудь заброшенном колхозе или чернорабочим на удаленной от центра советской фабрике. В большинстве случаев это было лишь ступенью к тюрьме или лагерю. Это всем нам было ясно, хотя ни на собрании, ни в группе об этом не говорилось.

Официальное решение не было принято, но каждый из нас, конечно, понимал значение этого вечера для Вилли.

Сам Вилли так и не произнес ни слова. Он пошел в общежитие и стал упаковывать свои вещи. На другой день он исчез. Мне удалось еще раз заговорить с ним, когда мы остались вдвоем. Я сказал ему несколько слов утешения, но он не ответил. Ни одного слова не сорвалось с его уст.

Позже мне один курсант шепнул, что его послали в Караганду. Но я, конечно, не мог проверить, правда ли это.

Имя Вилли больше не упоминалось ни Ванделем, ни кем-либо из других преподавателей. Будто он никогда и не жил на свете. Но я его не мог забыть. Вновь и вновь возвращались мои мысли к берлинскому юноше — рабочему, который большую часть своей жизни пожертвовал партии, работая на нее в самых тяжелых условиях, но из-за нескольких слов на семинаре был выброшен, как кусок старого железа.

«КОМИНТЕРН РАСПУЩЕН!»

Со дня нашего вступления в школу Коминтерна прошло уже 9 месяцев: в середине августа 1942 года начались занятия, а сейчас был май 1943 года.

Никто из нас не знал, как долго продлится курс, потому что после окончания прорабатываемой темы всегда объявлялось о предстоящем разборе только одной следующей темы. Это делалось, вероятно, для того, чтобы в спешных случаях дать возможность отдельным курсантам или целым группам прервать учёбу.

На нашем курсе это случилось лишь однажды: в феврале 1943 года неожиданно была удалена из школы Коминтерна словацкая группа. Но, в данном случае, это не было след-

ствием критики и самокритики. Речь шла о политическом задании.

Уже по намекам, проскальзывавшим в лекциях, и по разговорам мы могли заключить, что из всех союзных с «осью» государств Словакия наиболее благоприятна для нелегальной работы. Там не только можно было надеяться на поддержку населения, но даже, как рассказывали, сами полицейские чиновники закрывали глаза на деятельность людей, направленную против нацизма.

Поэтому нас не удивило, когда в феврале 1943 года мы увидели наших словацких товарищей перед зданием школы, ожидающих саней, которые должны были отвезти их в Уфу. Конечно, ничего не говорилось о том, куда они дальше поедут. Но было ясно, что это какое-то задание, связанное со Словакией.

Позже, когда весной 1944 года вспыхнуло крупное антифашистское восстание в восточной Словакии, мы узнали, что все курсанты нашей школы принимали в нем активное участие. После 1945 года участники словацкого восстания были в новой Чехословакии в большом почете. Но долго это продолжаться не могло. Чем сильнее выпячивалась «ведущая роль Советского Союза» — особенно после 1948 года — тем настойчивей отодвигалось на задний план воспоминание о словацком восстании и об антифашистском движении в Чехословакии. Наконец, начиная с 1950 года вожди словацкого восстания Гусак и Новомеский, а также сотни других активных его участников, были обвинены в различных «уклонах» и арестованы.

Так на примере словацкого восстания еще раз можно было увидеть, что сталинизм ничего так не боится, как самостоятельного, самобытного революционного движения.

Правда сталинизм не отказывается от использования в своих целях, — то здесь, то там, — революционных событий, но как только сталинское господство укрепится, на участников самостоятельных революционных движений клевещут, бросают их в тюрьмы или . . . казнят. Даже воспоминание о собственном революционном движении не должно жить в народе; оно либо фальсифицируется, либо замалчивается для того, чтобы дать задним числом место «освободительной роли советской армии», или «ведущей роли Советского Союза», которому всё и вся должны подчиняться.

Тогда, в феврале 1943 года мы этого не могли предполагать. Мы по-дружески простились со словацкими товарищами, пожелали им всего хорошего, пожелали большого успеха и вновь углубились в свои занятия, не зная, однако, долго ли мы еще останемся в школе Коминтерна.

В этом отношении у нас была лишь одна исходная точка: лекции по истории Коммунистического Интернационала. Дело в том, что эта тема прорабатывалась не вразбивку, а параллельно с общими занятиями. Очевидно она должна была закончиться вместе с окончанием общего курса.

В середине мая мы прошли историю Коминтерна до 1934 года. Было нетрудно высчитать, что мы еще пробудем в школе по меньшей мере 3-4 месяца. От некоторых курсантов мы слышали, что во время войны курс школы Коминтерна был сокращен до одного года. Учитывая это, мы внутренне подготовились пробыть в Кушнаренкове до августа-сентября 1943 года.

Судя по всему, таков был план и школьного руководства, который, однако, «высшая сила» перечеркнула крест на крест.

Было 16 мая 1943 года. Я как раз хотел направиться на семинар во дворе, как увидел в школьном вестибюле десятки собравшихся курсантов. Я знал, что на черной доске время от времени вывешиваются объявления. Но я еще никогда не видел, чтобы перед ней стояло так много курсантов.

Заинтересовавшись, я подошел ближе.

На этот раз на доске было не короткое объявление, а текст на четырех страницах, напечатанный на пишущей машинке, который все молча и внимательно читали. Я заметил моего друга Петера Цаля, испуганно взглянувшего на меня.

— Что случилось?

— Коминтерн распущен!

— Но это невозможно!!?

— А вот, прочти.

Кое-кто, между тем, уже дочитал текст до конца. Они удалялись, не проронив ни слова.

Я и вновь пришедшие смогли теперь продвинуться вперед. Здесь, в вестибюле школы Коминтерна, я прочел на черной доске постановление о роспуске Коминтерна. Самое важное и решающее в этом постановлении было следующее:

«Весь ход событий за истекшие двадцать пять лет и накопленный опыт Коммунистического Интернационала со

всей очевидностью показал, что организационные формы объединения рабочих, установленные I конгрессом Коммунистического Интернационала и отвечавшие потребностям начального периода возрождения рабочего класса, с развитием его движения и усложнением проблем в каждой стране все больше отставали от жизни. Эти формы стали, в конечном итоге, помехой дальнейшему усилению национальных рабочих партий.

Развязанная нацистами война еще более обострила различие обстановки в разных странах тем, что она провела резкую грань между странами, ставшими носительницами нацистской тирании, и свободолюбивыми народами, объединившимися в мощной антигитлеровской коалиции.

Исходя из вышеизложенных положений, учитывая рост и политическую зрелость коммунистических партий и их руководящих кадров в отдельных странах, учитывая также тот факт, что во время настоящей войны ряд секций поставил вопрос о роспуске Коммунистического Интернационала, как руководящего центра международного рабочего движения, президиум Исполкома Коммунистического Интернационала, не будучи в состоянии из-за условий мировой войны созвать для утверждения предложения секций Коминтерна съезд Коммунистического Интернационала, позволяет себе внести следующее предложение:

Коммунистический Интернационал, как руководящий центр международного рабочего движения распускается; секции Коммунистического Интернационала освобождаются от обязательств, вытекающих из статута и резолюций конгрессов Коммунистического Интернационала.

Президиум Исполкома Коминтерна призывает всех сторонников Коммунистического Интернационала сосредоточить свои силы на всесторонней поддержке и активном участии в освободительной войне народов и государств антигитлеровской коалиции, чтобы ускорить уничтожение смертельного врага трудящихся — немецкого фашизма, его союзников и вассалов.

Подписано членами президиума Исполкома Коммунистического Интернационала:

Готвальд, Димитров, Жданов, Коларов, Копплениг, Куусинен, Мануильский, Марти, Пик, Торез, Флорин, Эрколи».

Как и другие, я не знал, что сказать по этому поводу.

Коммунистический Интернационал... Еще несколько минут тому назад это был наш высший орган!

Решение о роспуске Коминтерна в советских газетах опубликовано не было. Подписавшиеся представляли коммунистические партии восьми стран: Советского Союза (Жданов, Мануильский); Германии (Пик, Флорин); Франции (Торез, Марти); Болгарии (Димитров, Коларов); Австрии (Копрлениг); Чехословакии (Готвальд); Финляндии (Куусинен) и Италии (Эрколи — это была партийная кличка Пальмиро Тольятти в Советском Союзе). Даже находившиеся в Уфе или Куйбышеве вожди других коммунистических партий, как, например, компартии Испании (Долорес Ибаррури), Румынии (Анна Паукер) и Венгрии (Ракоши) не подписали постановления, так как 12 подписавших были в данном случае не представителями коммунистических партий их стран, а членами избранного на последнем съезде Коминтерна президиума Исполкома.

Судя по всему, решение было принято настолько быстро и неожиданно, что о нем предварительно даже не известили руководство других коммунистических партий, у них не спросили хотя бы формального согласия.

О событии, разумеется, вскоре заговорила вся школа; многие взволнованно сновали взад и вперед.

Лишь в полдень было объявлено, что Михайлов, наш директор, отправился в Уфу и вернется в ближайшие дни.

Спустя три дня Михайлов вернулся из Уфы. Сразу же было созвано общее школьное собрание с повесткой дня: «Роспуск Коминтерна».

Мы слышали уже достаточно докладов особой важности и знали, что они обычно приносили с собой знаменательные сообщения, но еще никогда напряжение не было таким сильным, как в это утро.

Михайлов начал с замечания, что он должен выступить против двух ложных толкований вопроса о роспуске Коминтерна.

Первое предположение, характерное для нацистов, это, что роспуск Коминтерна лишь трюк, маневр, а в действительности работа Коминтерна будет продолжаться.

Михайлов сказал:

— Роспуск Коминтерна не трюк, не маневр, а принципиальное решение, которое будет уже сейчас проводиться в жизнь. Каждый из вас сможет убедиться, что школа Комин-

терна, разумеется, будет распущена так же, как и отдельные другие учреждения коминтерновского аппарата. Вторая ложная теория о роспуске Коминтерна, распространяемая известными западными кругами, утверждает, что роспуск — это уступка Советского Союза его западным союзникам. И это утверждение не имеет ничего общего с действительностью. Такие решения, как роспуск Коминтерна, не зависят от обусловленных временем внешнеполитических соображений, они носят принципиальный характер.

В конце Михайлов перешел к официальному обоснованию роспуска Коминтерна.

— Подлинная причина — сказал Михайлов — заключается в основном в том, что формы Коммунистического Интернационала изжили себя. Они препятствуют борьбе коммунистических партий на общем антифашистском фронте и не отвечают больше разнообразным задачам, которые стоят перед коммунистическими партиями в различных странах.

— В первые годы после основания Коминтерна — заявил Михайлов далее — задачи коммунистов в различных странах, если не считать национальных особенностей, были в общем и целом одинаковы. Если мы сравним их с нынешней обстановкой, то найдем фундаментальное различие. Сегодняшняя задача коммунистов в Англии и Америке — поддерживать военные усилия их стран. Коммунисты Германии и Италии должны, наоборот, делать все, чтобы вызвать крушение фашизма. Коммунисты же в оккупированных странах должны стремиться возглавить весь патриотический антифашистский фронт и освободить свои страны от фашистского ига. Уже этот краткий обзор показывает, как различны задачи, стоящие сейчас перед коммунистами отдельных стран.

Михайлов заявил, что тенденция, приведшая к роспуску Коминтерна, — естественное продолжение политики, намеченной еще на VII всемирном конгрессе Коминтерна в 1935 году. После VII всемирного конгресса на ряде примеров выяснилось, что такая всеобъемлющая организация, как Коминтерн, все больше и больше становится тормозом, препятствующим коммунистам находить новые формы.

— Как вы знаете, коммунистическая партия США в ноябре 1940 года вышла из Коммунистического Интернационала, потому что, согласно закону, в Америке не могут существовать организации, имеющие свой центр за границей. Несомненно коммунистическая партия США поступила пра-

вильно, выйдя из Коминтерна. Этим она обеспечила себе возможность дальнейшей политической работы.

До сих пор Михайлов, кроме разъяснения по поводу ложных толкований, еще очень мало сказал такого, что выходило бы за рамки текста постановления. Выход компартии США из Коминтерна был в виде примера упомянут и в постановлении. Мы уже подумали было, что михайловские разъяснения сведутся к повторениям имеющихся в резолюции аргументов, как вдруг мы услышали нечто такое, чего не было в постановлении:

— Товарищи, пример компартии Америки — это только один пример противоречия между новыми задачами и устаревшими организационными формами Коминтерна. Уже много раньше мы имели подобный пример, даже, пожалуй, еще более убедительный:

Вы все знаете историю образования Социалистической единой партии Каталонии, — Partido Socialista Unificada, — которая была создана в 1936 году в результате слияния социалистической и коммунистической партий, а также целого ряда других марксистских групп, и во время испанской войны играла такую выдающуюся роль. Естественно, что после основания СЕПК возник вопрос: присоединится ли эта партия ко II или к III Интернационалу. Этот вопрос было не так-то просто решить потому, что образование такой новой партии не было предусмотрено ни II, ни III Интернационалом. Это убедительный пример того, что существование Коминтерна не отвечает требованиям новой обстановки.

После этого Михайлов говорил о желании руководства отдельных партий ослабить связи Коминтерна и даже распустить его. Напряженно ждали мы, со стороны какой же партии последовало это предложение. В резолюции ни одна партия названа не была. Ко всеобщему удивлению Михайлов заявил:

— В период после VII конгресса в 1935 году руководство отдельных партий предложило ослабление связей и даже роспуск Коминтерна. Особенно подробно об этом говорилось в одном меморандуме коммунистической партии Швеции.

Мы «ставили» на самые различные партии, но о шведской партии — никто не подумал. Что интересно, — меморандум шведской компартии не упоминался больше ни на одном из многих, последовавших за этим, семинаров на тему

«Роспуск Коминтерна». Мы поняли намёк и больше о нем не вспоминали, — хотя мне и по сей день неясно, почему шведский меморандум был упомянут в первом докладе, а затем его стали усердно замалчивать. Испанский пример и упоминание о меморандуме шведской компартии показали нам, что при разборе темы о роспуске Коминтерна мы отнюдь не будем ограничены примерами и аргументами соответствующей резолюции.

Это нам стало ясно уже через несколько минут, когда Михайлов перешел к рассказу о событиях, не упомянутых в постановлении о роспуске:

— Наконец, я хотел бы привести самый ясный и наглядный случай, ставший за последние недели животрепещущим и убедительно доказывающий, насколько деятельности коммунистических партий в отдельных странах препятствует их связь с Коминтерном. Вы все, несомненно, с большим интересом следили за просьбой коммунистической партии Англии о принятии ее в состав лейбористской партии. Вы знаете, что как раз в настоящее время этот вопрос играет исключительную роль в английском рабочем движении. Принятие компартии Англии в лоно лейбористов, несомненно, покончит с изолированностью английских коммунистов и будет способствовать их связи с массами британских трудящихся. Многие лейбористы высказались за принятие, другие — против. Одним из самых существенных аргументов против принятия является тот факт, что компартия Англии связана с Коммунистическим Интернационалом.

Мы не должны сомневаться, что роспуск Коммунистического Интернационала принесет с собой облегчение как для компартии Англии, так и для других коммунистических партий.

После этого примера Михайлов сделал исторический анализ международных объединений внутри рабочего движения, причем он особенно напирал на I Интернационал. История рабочего движения показала, по его словам, что на определенных ступенях развития международные организации — безусловная необходимость, но что в другие периоды они могут стать тормозом развития рабочих партий в отдельных странах.

— Создание I Интернационала в 1864 году было большим шагом вперед. В течение десятилетия, однако, его задача была уже выполнена. Возникла необходимость отдельные

секции его развивать в мощные рабочие партии соответствующих стран. Организационное устройство I Интернационала оказалось оковами, которые нужно было разбить, чтобы выполнить эту задачу. Точно так же и основание в 1919 году III Интернационала, международного объединения всех революционных группировок, стоящих на позициях марксизма, было тогда важнейшим событием в международном рабочем движении. Сегодня, спустя 24 года, когда почти во всех странах существуют мощные коммунистические партии, требующие для своей борьбы все большей самостоятельности, Коминтерн закончил свою миссию. Его сохранение только стесняло бы дальнейшее развитие коммунистических партий.

Одновременно Михайлов нас, однако, предупредил: не преуменьшать и не недооценивать значения Коммунистического Интернационала. Коминтерн провел замечательную работу. Его роспуск не означает, что его создание или вся его деятельность были ошибкой, это означает лишь, что на настоящем этапе должны быть найдены новые формы коммунистического движения во всех странах.

В заключение Михайлов указал, что роспуск ни в коем случае не означает отказа от духа интернационализма, который и впредь должен быть неотъемлемой частью в борьбе коммунистических партий.

— Роспуск Коммунистического Интернационала откроет коммунистическим партиям всех стран новые возможности, новые перспективы для успешного решения задач в своих странах и для ведения великой патриотической антифашистской борьбы.

Когда смолкли аплодисменты, Михайлов объявил, что он с охотой готов отвечать на вопросы и устранять неясности.

Попросил слова один молодой испанец.

— Что будет с Коммунистическим Интернационалом Молодежи? Будет ли молодежный Интернационал тоже распущен, или он будет существовать дальше?

Михайлов тотчас же ответил:

— Официального решения о роспуске Коммунистического Интернационала Молодежи еще нет, но можно почти с уверенностью сказать, что он прекратит свою деятельность. Доводы, на которых основан роспуск Коминтерна действительны разумеется и для Коммунистического Интернациона-

ла Молодежи. Как раз испанским товарищам мне не нужно напоминать, что богатая успехами молодежная организация — Juventud Socialista Unificada — «Объединенная Социалистическая Молодежь Испании» не является объединением коммунистической молодежи в обычном смысле этого слова, но представляет собой новую форму молодежной организации.

Не должно быть никакого сомнения, что в процессе борьбы с фашизмом в занятых или аннектированных державами оси странах, как, например, в Польше, во Франции, в Чехословакии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии и т. д. и, возможно, также в Италии и Германии — создастся новый тип молодежной организации, приближающийся примерно к типу Объединенной Социалистической Молодежи Испании, но, вероятно, еще более широкой и объединяющей всю прогрессивную антифашистскую молодежь. В этом случае сохранение Коммунистического Интернационала Молодежи было бы большим препятствием. Вообще же основание антифашистского молодежного комитета в Москве — это первый шаг в этом новом направлении.

— Товарищ Михайлов, что будет с журналом «Коммунистический Интернационал»? Закроют ли его? Будет ли выходить новый международный журнал? — спросил один из более старших товарищей.

Михайлов ответил, что журнал «Коммунистический Интернационал», само собой разумеется, перестанет выходить. Появится ли новый международный журнал — он еще не может сказать, но считает это вполне возможным, хотя, конечно, такой журнал будет носить другой характер.

Михайлов оказался прав. Уже через несколько недель в Москве вышел на русском и английском языках журнал «Война и рабочий класс». Позже он был переименован в «Новое время» и его издания на иностранных языках множились. Сейчас он выходит уже на девяти различных языках.

— Есть ли уже руководящие указания насчет того, как роспуск Коминтерна будет проходить в организационном смысле и когда можно ожидать роспуска нашей школы? — гласил последний вопрос.

— Роспуск учреждений Коминтерна начался сразу же после объявления резолюции. Но нужно считаться с тем, что техническая сторона потребует еще нескольких недель. Одновременно приняты подготовительные меры по роспуску

школы Коминтерна. И на это, вероятно, потребуется несколько недель. Занятия в это время будут продолжаться. Причем тему «Роспуск Коминтерна» нужно сделать центральным пунктом всех вопросов. В заключение состоятся экзамены. Будущую работу определит нашим курсантам уже не Коминтерн, а руководство партий соответствующих стран.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШКОЛЫ КОМИНТЕРНА

Роспуск Коминтерна в нашей школе был принят по-разному. Само собой разумеется не было никого, кто хотя бы косвенно высказался против роспуска Коминтерна. Но, с другой стороны, в первые дни после постановления о роспуске и даже во время доклада Михайлова было явно заметно, как различно реагировали на событие молодые и более старые курсанты.

Старшие товарищи, многие годы, даже десятилетия бывшие членами партии и даже партработниками, сидели с серьезными лицами. Еще несколько часов тому назад Коммунистический Интернационал был для них нечто самое ценное в жизни. Может быть, в этот момент они вспоминали слова Димитрова на процессе по делу поджога Рейхстага, что для каждого коммуниста: «высший закон это — программа Коммунистического Интернационала, а высший суд — Контрольная комиссия Коммунистического Интернационала». Или, может быть, они вспоминали заключительное слово, в котором Димитров заявил, что нельзя задержать колесо, «движимое пролетариатом под руководством Коммунистического Интернационала». Они, несомненно, вспоминали слова Сталина у гроба Ленина:

«Мы клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим наших жизней, укрепляя и развивая союз трудящихся всего мира — Коммунистический Интернационал!»

Нас, молодых, составлявших большую половину участников курса, событие так глубоко не потрясло. Мы выросли в эпоху, когда Коммунистический Интернационал уже давно не имел того престижа, значения и влияния как, к примеру, в двадцатые годы.

Роспуск Коминтерна казался нам логическим продолжением того, что мы выучили в школе. Больше того: между нами, молодыми, были некоторые, — принадлежал к ним и

я, — кто роспуск Коминтерна в каком-то смысле расценивал, как нечто положительное. С внутренним волнением и даже подъемом я вновь и вновь перечитывал содержавшееся в резолюции о роспуске подтверждение того тезиса, что отныне каждая партия должна идти собственным путем:

«Глубокие различия в путях исторического развития каждой отдельной страны, различный характер и даже противоречия в их общественном устройстве, разница в уровне и степени их общественного и политического развития и, наконец, различие в степени сознательности и организованности рабочих обусловливают также и различные решения проблем, с которыми сталкивается рабочий класс в каждой отдельной стране».

С удовлетворением читали мы, молодые, что победа над фашизмом «лучше всего и наиболее плодотворно сможет быть осуществлена авангардом рабочего движения каждой отдельной страны в рамках ее государства» и что партия каждой отдельной страны, — как уже сформулировал VII всемирный конгресс Коминтерна, — «решая каждый вопрос, должна исходить из конкретной обстановки и специфических особенностей каждой отдельной страны».

Эти формулировки пробудили во мне надежду, что после победы над фашизмом коммунистическая партия Германии не будет больше столь связана с СССР и по многим вопросам сможет пойти своей собственной дорогой.

Я полагаю, что молодые товарищи в других группах думали приблизительно так же. Они, конечно, были принципиально согласны с системой в Советском Союзе, но, несомненно, таили в себе желание в своей родной стране кое-что делать по-другому и лучше. Убежденный в правильности резолюции, я тогда и не предполагал, что спустя несколько лет господство Москвы над коммунистическими партиями будет еще более непосредственным и требовательным. Поэтому я и не сомневался в том, что приведенные доводы являлись единственной причиной роспуска Коминтерна. Школа Коминтерна находилась всего в 60 км от Уфы. Руководство школы повседневно было в самой тесной связи с Коминтерном. Было нетрудно догадаться, что решение о роспуске было принято буквально в одну ночь. Иначе в школе Коминтерна нас бы, несомненно, подготовили к этому шагу, хотя бы косвенным путем. В тот самый день, когда это решение было объявлено по радио, у нас была назначена лек-

ция по истории Коминтерна. Еще несколько дней тому назад нам подробно рассказывали о большом значении Коминтерна в борьбе против Гитлера.

Итак, не было никаких сомнений в том, что роспуск Коминтерна совершился вследствие внезапного решения, исходившего, вероятно, от самого Сталина, и не столько в результате исторического опыта, сколько по соображениям, продиктованным советской внешней политикой.

Двумя днями позже я прогуливался с одним из товарищей. Он был одним из немногих, относительно кого я чувствовал, что они не принадлежат к разряду «стопроцентных».

— Интересен, в сущности, этот роспуск Коминтерна, неправда ли? — сказал он, чуть-чуть подмигнув мне.

— Да, и прежде всего потому, что это решение свалилось, как снег на голову, — ответил я, строя тем самым мостик для дальнейшего, не вполне соответствующего «линии» разговора.

— Знаешь, Линден, можно говорить, что угодно, но я убежден, что это уступка Англии и Америке. Может быть, это решение и принято даже по желанию этих стран.

Начальство явно опасалось, что подобные взгляды могли втайне разделяться многими учениками нашего курса. Это также могло быть и причиной того, что тема «Роспуск Коминтерна» неделями пережевывалась на бесчисленных семинарах. Все аргументы, приведенные в решении о роспуске и в речи Михайлова, прорабатывались во всех подробностях — так, как в несоветских странах вряд ли возможно себе и представить. Каждая отдельная формулировка была разобрана и разъяснена, примеры последних лет еще раз детально проработаны, и еще раз рассказано, почему I Интернационал 70 лет тому назад, несмотря на исключительно положительное значение, спустя известное время стал тормозом в развитии рабочего движения.

Мы разбирали эту тему не только в актуально-политическом и историческом, а также и в философском аспекте.

Так как в несоветском мире, насколько я знаю, не принято разбирать актуальные политические события с философской точки зрения, то нужно уточнить, каким образом роспуск Коминтерна, то есть актуальное политическое событие, было увязано в школе Коминтерна с философскими основами диалектического материализма.

Михайлов в своем докладе провел идею, что существующая *форма* Коминтерна отстала в сравнении с *содержанием* деятельности коммунистических партий и что из-за этого возникло противоречие между формой и содержанием. Это было взято, как повод, чтобы еще раз проработать диалектическое соотношение между формой и содержанием. Согласно диалектическому материализму между формой и содержанием существует диалектическое единство, причем содержание является первичным, и ему, как определяющему элементу, принадлежит главная роль. Форма же, правда, зависит от содержания, но не является чем-то пассивным, а может, в свою очередь, влиять на содержание.

Содержание и форму нужно рассматривать в их процессе развития. До определенной стадии содержание может беспрепятственно развиваться в рамках данной формы. Но потом достигается какая-то точка, после которой старая форма становится тормозом для дальнейшего развития содержания; противоречия между ними выступают наружу и требуют разрешения, которое, наконец, приходит и состоит в том, что старая форма отбрасывается, уступая место новой.

Мы это положение, конечно, неоднократно и подробно прорабатывали, называя его для легкости 15-ым элементом диалектики, поскольку Ленин, как известно, в своих «Философских тетрадях», в которых он насчитывает 16 элементов диалектики, — соотношение между формой и содержанием поставил на пятнадцатое место: «Борьба содержания с формой и наоборот; сбрасывание формы, перестройка содержания».

Так как мы знали, что по возможности никогда не следует цитировать одного Ленина, мы на семинарах выискивали цитаты и из Сталина, согласно которым «существующая форма никогда не соответствует полностью содержанию: первая всегда несколько отстает от второго; новое содержание, в известной мере, пользуется старой формой, так что между старой формой и новым содержанием всегда существует конфликт».

Раньше диалектическую взаимосвязь между формой и содержанием мы изучали в первую очередь на примерах противоречий между развитием производительных сил и уровнем производственных отношений; мы учили, как в определенные исторические эпохи формы производственных отношений вступают в противоречие с ростом производительных

сил, превращаются в обручи, мешают дальнейшему развитию производительных сил, пока наконец это противоречие не снимается перестройкой производственных отношений. Теперь этот диалектический закон применили к резолюции о роспуске Коминтерна. И в этом случае — так нам было сказано — налицо противоречие между устаревшей формой и новым содержанием, которое должно быть разрешено ломкой устаревшей формы — организационной формы Коммунистического Интернационала. Но мне все же казалось немного сомнительным, чтобы роспуск Коминтерна мог приводиться, как пример успешного преодоления противоречия между формой и содержанием.

Тогда это было лишь сомнение. И только много позднее мне стало ясно, что характерной чертой сталинизма является искажение подлинного смысла диалектического материализма. Сталинисты не применяют законы диалектики для того, чтобы объяснить процессы внутри общества и делать отсюда определенные выводы, они опошляют эти законы, чтобы задним числом обосновывать свои политические решения или постановления.

Мы уже думали, что проблема роспуска Коминтерна исчерпывающе и всесторонне обсуждена, но 30 мая «Правда» вышла со сталинским интервью. Московский корреспондент английского агентства «Рейтер» попросил Сталина дать с советской стороны объяснение роспуска Коминтерна и спросил его, как повлияет роспуск Коминтерна на будущие международные отношения.

Сталин дал следующий ответ:

«Роспуск Коминтерна правилен и осуществлен своевременно потому, что он облегчает организацию общей борьбы всех свободолюбивых народов против общего врага — гитлеризма.

Роспуск Коминтерна правилен потому, что

а) он разоблачает ложь гитлеровцев, что Москва якобы стремится вмешиваться в жизнь других стран и их «большевизировать». С этой ложью теперь покончено;

б) он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движении, что коммунистические партии якобы в своей деятельности руководствуются не интересами своих народов, а приказами извне. С этой клеветой теперь тоже покончено;

в) он облегчает деятельность патриотов свободолюбивых стран, направленную на объединение всех прогрессивных сил каждой страны, независимо от партийной принадлежности и религиозных убеждений, в единый лагерь национального освобождения для развития борьбы с фашизмом;

г) он облегчает деятельность патриотов всех стран, направленную на объединение всех свободолюбивых народов в единый лагерь для борьбы с опасностью мирового господства гитлеризма и открывает тем самым дорогу к организации будущего сотрудничества народов на основах равноправия.

Я думаю, что все это вместе взятое приведет к дальнейшему укреплению единого фронта союзников и других объединенных наций в их борьбе за победу над гитлеровской тиранией.

Я убежден, что роспуск Коммунистического Интернационала осуществился вполне своевременно, потому что как раз сейчас, когда фашистский зверь напрягает свои последние силы, необходимо организовать общую ударную силу всех свободолюбивых народов, чтобы окончательно добить этого зверя и освободить народы от фашистского ига.

28 мая 1943 г. И. Сталин»

Хотя это интервью нам не дало ничего нового, оно опять-таки разбиралось на целой серии семинаров. На этот раз дело ведь шло не о решении президиума Исполкома, а о высказываниях самого Сталина!

Со времени роспуска Коминтерна прошло уже три недели. Мы все еще вновь и вновь обсуждали со всех сторон эту единственную тему. Наконец, настал день, которого многие из нас уже нетерпеливо ждали.

На одном общем собрании школы Коминтерна было объявлено:

— Занятия кончились. Теперь задача всех товарищей во всех группах подготовиться к экзаменам, которые состоятся в ближайшее время.

Впервые мы получили в школе Коминтерна нечто вроде «отпуска». Правда, нам раздали целые списки экзаменационных тем, к которым мы должны были подготовиться. Но когда это делать — было предоставлено на наше усмотрение. Я уже так привык к жизни, в которой была заполнена каждая минута, что последние недели подготовки к экзаме-

нам, — одновременно последние недели школы Коминтерна, — казались мне верхом свободы. В чудные, жаркие июньские дни мы имели право заниматься на свежем воздухе.

Наконец, в середине июня 1943 года началось! День за днем шли экзамены в различных группах. Наша немецкая группа вышла на испытания одной из первых.

За столом в учебном помещении сидели доценты и руководители семинаров нашей немецкой группы — Пауль Вандель («Класснер»), Бернгард Кёнен, Лене Берг («Ринг») и кроме них еще Михайлов, а также один-два доцента из других групп, знающих немецкий.

Курсантов вызывали одного за другим. Каждый должен был подойти к столу и вытащить билет с экзаменационными вопросами. Каждый билет содержал четыре-пять вопросов. Эти вопросы относились к темам, проработанным нами в школе:

1. Философия (т. е. диалектический и исторический материализм), политическая экономия и другие теоретические вопросы из области марксизма-ленинизма;
2. История ВКП(б) и история Коминтерна;
3. История немецкого рабочего движения и актуальные вопросы современной антифашистской борьбы;
4. Общая политика (в первую очередь, фашизм и обстановка в гитлеровской Германии) и основные политические вопросы борьбы с Гитлером (например, опровержение нацистской идеологии, стратегия и тактика, единый фронт, народный фронт и т. д.).

Экзамен не был особенно строгим. Может быть на испытания повлиял и роспуск Коминтерна. Но выявилось также, сколь многим нас напичкали в сравнительно короткий срок — в 11 месяцев.

В нашей группе испытания прошли без всяких инцидентов.

Только Отто совершенно запутался в определениях разницы между единым фронтом, народным фронтом, рабочим правительством и рабоче-крестьянским правительством, что Михайлова, кажется, не столько рассердило, сколько развеселило.

Примерно через 8 часов экзамен был закончен. Впервые после почти одного года нам вообще нечего было делать и мы наслаждались доставшимся нам в таком избытке свободным временем. Теперь и доценты и курсанты всех групп жда-

ли только одного: директивы об окончательном роспуске школы Коминтерна и отправки на дальнейшую политическую работу.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ В УФЕ

В один из этих необычайных каникулярных дней произошло нечто такое, что вряд ли я посчитал бы возможным несколько недель тому назад.

Завтра состоится общая экскурсия всей школы. Целый день мы будем отдыхать на воздухе, греться на солнце и купаться в реке Белой, заявили нам.

Это было впервые, если не считать трех рабочих заданий, — что мы могли покинуть территорию школы.

Итак, мы лежали на пляже, купались, загорали и были чрезвычайно рады, что могли провести хоть один такой хороший день. Но этот день на реке Белой остался в моей памяти еще и по другой причине.

Я лежал рядом с одним другом немного поотдаль от группы. Вдруг мы увидели крестьянку, приближающуюся к нам, и прежде, чем мы сообразили, как нам быть, если она с нами заговорит, она была уже перед нами.

— Вы, наверно, из этой школы, а?

Мы пробормотали что-то нечленораздельное.

— Ну да, вы, конечно, не можете сказать, но я знаю, что вы из этой школы для иностранцев. Советская власть — дура. Она дает все иностранцам, а мы должны голодать. Но все равно, тем, наверху, это не поможет. Когда вы отсюда выйдете, вы все равно за них не будете.

Мы оба переглянулись, но не сказали ни слова. Крестьянка спокойно, но ускоряя шаг, удалилась. Ее смелые слова заставили меня вспомнить, что я 11 месяцев жил в совершенно ином мире, полностью отрезанный от жизни «простых» людей. Сегодня полная изолированность привилегированного слоя партработников представляется мне одной из важных черт сталинской системы. Этой изолированностью можно объяснить некоторые особенности в мышлении и поведении сталинских партработников.

Несколькими днями позже я читал, лежа на траве вблизи школьного здания, как вдруг услышал, что меня зовут по имени:

— Линден, Линден.

— Что случилось?

— Ты должен немедленно идти к директору.

Я пошел, несколько обеспокоенный. Снова критика и самокритика? Доложил ли мой соученик о разговоре насчет роспуска Коминтерна? Но он тогда отважился пойти еще дальше, чем я!

Когда я пришел к Михайлову, там уже сидели семь человек, — товарищи из различных групп.

— Мы должны подождать еще двух товарищей, — сказал Михайлов.

Немного спустя пришли и они. Дело не походило на самокритику.

Рядом с Михайловым сидел партработник, которого я еще никогда не видел в школе.

Михайлов начал без околичностей:

— Товарищи, мы попросили вас сюда, так как выбрали для вас совершенно особую работу:

В связи с роспуском Коминтерна оказалось необходимым привести в порядок коминтерновский архив, находящийся из-за эвакуации в довольно печальном состоянии. Мы избрали вас для этой работы потому, что считаем, что вы располагаете как политическими способностями для работы в архиве, так и знанием необходимых для этой работы иностранных языков. Мне, конечно, не нужно напоминать вам о том, что об этом задании не следует распространяться. Вместе с этим товарищем вы поедете в Уфу. Я думаю, что уже завтра.

Действительно, на следующее утро на грузовике нас, десять курсантов, партработника и двух стенографисток привезли в Уфу. Все остальные остались в школе. Я не знал, увижу ли я снова когда-либо школу и что с нами будет после выполнения нашего задания.

Когда мы отъезжали, я, обернувшись, еще раз бросил взгляд на школу, где я узнал много интересного, но где я пережил также ужасные часы критики и самокритики. За 11 месяцев школа сделала из меня, откровенного и жизнерадостного студента и комсомольца — партработника, взвешивающего каждое слово.

Еще несколько минут, — и школа скрылась вдали. Я ехал навстречу ожидаемой мной с волнением работе. Это было мое первое партийное задание.

Примерно через час мы остановились. Поперек дороги был сооружен шлагбаум. За ним стояло около 50-ти человек, с надеждой смотревших на наш грузовик.

— В чем дело? — строго спросил наш провожатый.

Молодой человек приблизился к машине:

— По распоряжению правительства Башкирской Республики на этом месте задерживается каждая машина, чтобы дать возможность срочно командированным прибыть в места командировок. Каждое место должно быть использовано. Поэтому мы требуем от вас взять в грузовик еще несколько пассажиров.

Наш провожатый ничего не ответил. Спокойно и небрежно он только показал какую-то бумажку.

Между тем нас уже окружали люди, размахивавшие своими удостоверениями — совершенно, как год тому назад во время моего путешествия через Казахстан. Человек в кожанке прочел документ провожатого.

— Ах так, ну это, конечно, другое дело! — сказал он, почти извиняясь.

Решительно и резко прозвучал его голос:

— Назад! Освободить дорогу для машины!

Шлагбаум был поднят и мы двинулись дальше. Оглянувшись, я увидел на лицах людей разочарование.

По дороге в Уфу нас останавливали несколько раз, но всегда достаточно было нашему провожатому предъявить бумагу и свободное следование было обеспечено. Со своеобразным чувством вспоминал я, как мне приходилось пробираться по дорогам год тому назад.

Прибыв в Уфу, мы не направились к зданию Коминтерна. Нас поместили в гостиницу «Башкирия», гостиницу, где жили руководители Коминтерна, которых тогда уже не было в Уфе.

«Башкирия», — красивейший отель города, — новое, по башкирским масштабам прекрасно отстроенное здание. Наш провожатый ввел нас туда. Комнаты для нас были уже заказаны. Со спокойной самоуверенностью, словно он сам был директором гостиницы, наш провожатый открыл дверь в столовую и пригласил нас войти.

— Здесь вы будете завтракать, обедать, ужинать.

В комнату вошла опрятно одетая девушка и стала накрывать на стол.

Конечно, мы и в школе Коминтерна получали хорошую

еду, но то, что нам было предложено здесь, превзошло все наши ожидания.

После еды, получив хорошие папиросы, мы расселись поудобнее.

— Ну, теперь, мы могли бы, если товарищи ничего не имеют против, поговорить о работе, — сказал наш провожатый.

Мы ничего не имели против.

— Каждое утро после завтрака вас будут доставлять на машине в архив Коминтерна. Архив находится на пятом этаже одной из школ. Само собой разумеется, его строго охраняют. Вы можете входить и уходить лишь все вместе и только с этими удостоверениями.

Наш провожатый продолжал в том же вежливом тоне:

— Я думаю, было бы неплохо поехать сейчас в архив. Там я могу подробно разъяснить, что надо делать. Завтра утром вы бы могли уже начать работу. Есть еще какие-либо вопросы?

Разумеется, меня интересовало многое, — но, конечно, вопросов не было.

— Тогда все в порядке, — сказал он.

Три легковых машины стояло наготове. Мы пересекли город и остановились перед новым пятиэтажным школьным зданием. Поднявшись на пятый этаж, мы натолкнулись на часового. Показав удостоверения, мы проследовали в огромный зал, где лежало множество мешков. Мешки были длиной примерно в полтора и шириной в полметра. Похоже было на то, что их наполняли какие-то папки. Выяснилось, что в двух других маленьких комнатах тоже были навалены мешки.

Провожатый отозвал нас в угол.

— При эвакуации из Москвы не было достаточно времени рассортировать коминтерновский архив в должном порядке. Папки с архивами коммунистических партий отдельных стран были просто-напросто впихнуты в мешки. Мешки начерно занумерованы, так, что мы знаем, правда, что в таком-то мешке находится архивный материал такой-то партии. Но что именно находится в каждом мешке неизвестно. Ваша задача заключается в том, чтобы открыть и просмотреть мешки, затем перенумеровать папки соответственно содержанию и сделать для каждого мешка отдельно список, который вы продиктуете стенографистке. Таким образом

станет возможным хотя бы общий обзор содержания архива. При будущем просмотре материалов мы сможем ориентироваться по вашим спискам.

С некоторым сомнением смотрел я на множество мешков, нагроможденных в огромном зале. Нам предстояла нелегкая работа.

— Мы думаем, что весь архив надо распределить по странам. Каждый из вас получит материалы одной какой-либо партии, над которыми он и будет работать. Я хотел предложить вам следующее распределение.

Провожатый вынул лист бумаги из кармана и стал называть наши партийные клички и тут же — страны и номера мешков, которыми каждый из нас должен был заняться.

— Товарищ Линден — компартия США и половина архивного материала компартии Великобритании.

Я заранее радовался предстоящей работе. Это должно быть очень интересно — читать архивные материалы коммунистических партий!

Не отгадал ли провожатый мои мысли?

— Я должен со всей категоричностью указать, что никто, делающий здесь эту работу, не должен проронить о ней ни звука. Далее, я должен указать, что каждая бумажка, какой бы невинной она ни казалась, должна быть положена обратно в мешок, откуда она была взята. Само собой разумеется из этого зала нельзя вынести даже маленького клочка бумаги. Наконец, я должен обратить ваше внимание на то, что ваша работа заключается не в том, чтобы *читать* архивные материалы, а лишь в том, чтобы их *сортировать*. Никто из вас не имеет права прочесть что-либо из этих архивных материалов.

Даже самая строгая выучка и дисциплина не могли помешать мне мгновенно подумать: как же я могу установить содержимое целого ряда мешков, набитых документами, если эти документы нельзя прочесть? Но я остерегался что-либо сказать вслух.

НАША РАБОТА В КОМИНТЕРНОВСКОМ АРХИВЕ

Отдохнув, мы на другой день приступили к работе в архиве Коминтерна. Каждый вначале записывал и собирал мешки «своей» партии.

Уже при просмотре первого мешка я с беспокойством отметил, что задача была еще сложней, чем я ожидал.

Я натолкнулся на ужасающий беспорядок.

Было ли так же у других?

Несмотря на строгую конспирацию мы, разумеется, делились друг с другом положением дела. Единогласно все пришли к выводу, что хуже всего дела обстояли у меня. По беспорядку и хаосу компартии США должно было бы быть присуждено первое место!

В мешках моих американских товарищей находились не только целые связки кое-как сложенных, даже не положенных в папку партийных документов, но также обрывки кинореклам, старые номера «Нью-Йорк таймс», сломанные карандаши и прочий хлам, не имеющий ничего общего с архивом.

— Американские товарищи имели, видимо, чёрт знает как мало времени, если они свой архив послали в Москву в таком виде, — сказал, смеясь, один товарищ.

У британской компартии такого ужасного беспорядка не было. Здесь по крайней мере все материалы были собраны по папкам; если на папках и не значилось, что они содержат, то выглядели они все же сравнительно прилично. Но это было ничто в сравнении с архивным материалом коммунистической партии Германии! Я вообще себе не представлял ничего подобного! Материалы были не только рассортированы по папкам, но к каждой папке был приложен список содержимого.

Мы просто остолбенели от изумления при виде папки компартии Германии с листовками 1932 года. Листовки были рассортированы соответственно издававшим их районным комитетам. К каждой листовке был приложен листок бумаги с пояснением, когда и по какой причине была издана данная листовка.

— Ну, ты счастливчик! Тебе действительно мало, что делать, — сказал один из нас тому, кто сортировал материалы КПГ. Но бедняга только простонал. Он, правда, имел аккуратно заполненные мешки, но, при этом, втрое больше по количеству. Ни одна партия не посылала столько архивного материала в Москву, как коммунистическая партия Германии.

Подавленный, я вернулся к мешкам моих американских товарищей и судорожно пытался навести хоть небольшой

порядок среди нагромождения партийных документов, сломанных ножниц, старых газет, резинок и чернильных карандашей. Но хаос имел также и свою хорошую сторону: у меня была по крайней мере возможность небольшой самостоятельной работы. Я должен был все вынуть, рассортировать материалы по возможности соответственно датам и основным областям деятельности, и лишь затем вновь разложить по папкам.

Наш провожатый наблюдал за нами. Проходя мимо и заметив незавидное положение, в которое поставили меня американские товарищи, он задумчиво покачал головой.

— Так вы никогда не будете готовы. Главное, это быстро разместить бумаги по папкам, чтобы был хоть какой-нибудь порядок. Если не ясно сразу же, что к чему, пишите спокойно на папках «разное»: мы должны всю работу закончить в несколько дней.

Я последовал его совету и уже через несколько часов добился заметных успехов.

Я уже в течение многих часов напряженно работал, раскладывал, по возможности быстро, партийные материалы согласно их заголовкам, надписывал папки и снова их вкладывал в мешки, прежде чем я нарушил строгий запрет что-либо читать.

Среди различных американских газет я внезапно нашел газету, называвшуюся «Милитант». Я принял ее за буржуазную газету и уже хотел, не обращая внимания, вновь запрятать в мешок, как вдруг остолбенел: на первой странице газеты красовалась эмблема серпа и молота и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Что это, партийная газета? Но ведь в истории Коминтерна при прохождении истории американской компартии эта газета никогда не упоминалась! Хотя я и знал, как дорога каждая минута, я все же бросил на нее беглый взгляд: писалось что-то о классовой борьбе, об интернациональной солидарности, об освобождении негров.

Уже я думал, что передо мной партийная газета, как на третьей странице мне бросился в глаза крупный заголовок: «Капитуляция Раковского». Лев Троцкий.

Я не верил своим глазам: статья Троцкого! Значит это — троцкистская газета! Пакет с динамитом не произвел бы на меня большего впечатления.

Я быстро оглянулся. Вблизи никого не было. Жадно пробежал глазами статью Троцкого. Трудно передать, как я тогда был взволнован!

Раковский? Это имя я иногда встречал лишь в сочинениях Ленина и знал, что весной 1938 года он был осужден. Конечно, я уже давно сомневался в том, что жертвы чисток 1936-38 годов были «контрреволюционерами», но это сомнение было лишь интуитивное. Ничего точного я не мог узнать. Теперь я читал о судьбе этого революционера, о политической борьбе оппозиции против сталинской группы (уже одно это обозначение звучало для меня чем-то совершенно новым!), но все еще я не понимал почему Троцкий говорил о капитуляции. Потом я прочел, что Раковский признал свои «заблуждения» и солидаризировался с ВКП(б).

В моем прежнем лексиконе это обозначалось, как самокритика и признание правильности политики партии. Назвать такое поведение капитуляцией, — это было для меня открытием. Но разве Троцкий в данном случае не был прав? Разве это не было действительно капитуляцией? Но я уже потерял почти четверть часа за чтением американской троцкистской газеты и теперь должен был наверстать упущенное. Я стал работать еще быстрее, чем прежде, не теряя при этом надежды, что мне снова попадется в руки экземпляр «Милитанта». Уже в том же самом мешке я нашел и второй экземпляр. Снова быстро прочел важнейшие места. После этого у меня вошло в правило работать без пауз и лишь при обнаружении «Милитанта» три-четыре минуты отдавать чтению. Вероятно, я был не единственным, кто читал в архиве троцкистские издания.

Этот интерес объясняется просто: буржуазные газеты, попадавшиеся мне в руки во время сортировки коминтерновского архива (подобно выдержкам из буржуазной прессы в бюллетенях, читавшихся нами в школе) не могли нас существенно интересовать. Они занимались вопросами, стоявшими далеко от нашей жизни и наших проблем, употребляли определения, бывшие для нас китайской грамотой, что не могло вызвать в нас большого интереса. Троцкисты же писали нашим языком, пользовались нашей терминологией; они брали на мушку то, что и во мне возбуждало сомнение, так что мой тогдашний интерес был вполне понятен.

С каждым днем, с каждым часом я все больше и больше жалел, что работа идет так быстро. Так часто попада-

лись вещи, которые я бы с удовольствием прочел — протоколы заседаний ЦК, фракционные стычки, обоснования исключений ведущих работников; к сожалению, для прочтения этих материалов не было ни малейшей возможности. В истинно стахановском темпе должен был я раскрывать мешки, запихивать материалы в папки и делать на них надписи, вроде «профсоюзы», «разное», «партия 1921-23». С каждым днем нам все чаще повторяли, чтобы мы следили не столько за точностью, сколько за скоростью. Списки должны были помогать тому, чтобы в общих чертах знать, что находится в каждом мешке, без детального перечня.

На пятый день, когда я уже хотел запрятать целую кучу документов в папку, мне бросился в глаза примерно 24-страничный манускрипт. Неожиданно я увидел на нем собственноручную подпись Сталина. Я знал эту подпись — факсимиле ее опубликовывалось несчетное число раз. Но собственноручно Сталиным подписанный документ я еще, разумеется, никогда в руках не держал.

С интересом я рассматривал свою находку.

Дело шло о главе из одной книги Анны Луизы Стронг, в которой автор описывает свой разговор со Сталиным. Глава была написана по-английски; к ней было приложено сопроводительное письмо директора одного советского издательства. В письме стояло, что американская писательница Анна Луиза Стронг подробно описывает в своей книге один разговор со Сталиным; издательство, однако, хотело бы перед сдачей этой главы в печать запросить Сталина: не сочтет ли он нужным предложить какие-либо изменения или примечания к этой главе. Издательство позволяет себе не только переслать данную главу в английском оригинале, но и снабдить ее дословным русским переводом. Письмо издательства относилось, если я точно помню, к 1931 году.

Ответное письмо Сталина издательству занимало лишь несколько строк. Оно гласило:

«Против текста у меня нет возражений. Глава может быть опубликована в предложенной форме или с изменениями, которые пожелает внести сам автор.

Сталин».

Тогда, в 1943 г., когда культ Сталина был в зените, меня обуяло странное чувство: ведь я держал в руках письмо Сталина! Само собой разумеется я пробежал глазами главу, и еще до сих пор помню, каким необычным мне показалось,

что не было никакого письменного интервью и что иностранная коммунистическая публицистка могла в своей интерпретации описать свой разговор со Сталиным.

В 1943 году вряд ли было это возможно*).

Уже спустя 14 дней большая часть архива, хотя и поверхностно, была разобрана. После этого нам сообщили, что кроме нашей бывшей нагрузки, мы займемся и дальнейшими архивными материалами.

Опять появился перед нами наш провожатый с листом бумаги в руках.

— Товарищ Линден — архивные материалы об Албании, Бирме и Яве.

Я решился на робкое возражение:

— Но я вообще не знаю албанского, бирманского и ... каким языком говорят, собственно, на Яве?

Провожатый, смеясь, отмахнулся:

— Я тоже не знаю, но вы уж как-нибудь разберетесь.

Другие получили подобные же задания и мы, таким образом, все оказались в одинаковом положении: нам предстояло упорядочить архивы, вообще не зная соответствующего языка. Единственное, что нам помогало, были даты, имена работников, известные нам из истории Коминтерна или указания на города и события, знакомые нам по школе. Кроме того время от времени попадались некоторые документы на английском или русском языках. Это были как бы вехи, помогавшие нам находить дорогу. Все же задание в целом походило на кроссворд.

Не прошло и трех недель, как наша работа, несмотря на все трудности, была закончена.

Наш провожатый поблагодарил нас. Мы напряженно ждали, что же теперь будет с нами.

— Товарищи, мы думаем, что вам было бы хорошо еще несколько дней остаться в Уфе и отдохнуть. Вы по-прежнему будете жить и питаться в гостинице «Башкирия». Как только

---

*) Анна Луиза Стронг была в феврале 1949 г. арестована, якобы за шпионаж, и выслана из СССР. 5 марта 1955 г. «Правда» сообщала, что ее арест был несправедлив и что обвинения против нее сняты. Ответственность за несправедливый арест был возложен на «бывшее руководство министерства государственной безопасности с Берия и Абакумовым во главе».

будут закончены еще кое-какие дела, я вместе с вами поеду в Москву, и вы поступите в распоряжение ваших партий.

СЛУЧАЙНЫЙ ВЗГЛЯД НА «ОБЫКНОВЕННУЮ» ЖИЗНЬ

В Москву! Я от всей души радовался тому, что после двух богатых событиями лет вновь вернусь в столицу. А пока мы имели несколько свободных дней.

Уфа в этом году тоже изменилась. Ответственные работники с их ближайшими сотрудниками уже были в Москве. В июне 1943 года в Уфе задержались лишь «среднее сословие» и «пролетариат» Коминтерна. Все с нетерпением ждали возможности вернуться в Москву.

Первым, к кому я направил свои стопы, была моя подруга Эрика, жившая в здании, отведенном «пролетариату» Коминтерна на ул. Сталина №101. Она имела за плечами тяжелые годы, не из-за «критики и самокритики», правда, а из-за «нормальных» для Советского Союза трудностей. Моя неожиданная карьера, казалось, не радовала Эрику.

— Ну, теперь ты причислился к умным, — насмешливо заметила она.

Я снова почувствовал, как далек я стал за это время от образа мыслей «обыкновенных» людей. Но на следующий же день мне удалось наглядно изучить «другую сторону жизни».

Возвращаясь в гостиницу «Башкирия» я заметил нечто, похожее на базар. С любопытством подошел я ближе. Глазам моим представилась грустная картина. Десятки людей, большей частью одетых в тряпье, пришли сюда, чтобы выменять часть своего скудного рациона на другие вещи. Одна старая женщина, от голода едва стоявшая на ногах, держала в дрожащих руках предназначенный на обмен кусок черного хлеба; один старик хотел обменять два куска сахара на хлеб. Еще кто-то предлагал папиросы — по 6 рублей за штуку.

Безграничная бедность, увиденная мною на толкучке в Уфе, молниеносно дала мне понять, насколько хорошо провел я все это время. За несколько месяцев я почти совсем забыл, что существует такая бедность. Воспоминания о Караганде, о времени, когда я жил также плохо, потускнели.

Глубоко потрясенный, почти с сознанием вины, потому что материально мне жилось хорошо, ушел я с толкучки, и

вдруг по дороге встретил студентку, которую знал еще в Москве.

Она за это время кончила курсы медсестер, была эвакуирована в Уфу и работала в госпитале.

После нескольких слов приветствия она стала говорить о вещах, от которых у меня захватывало дыхание. Она рассказала о страданиях, которые она ежедневно наблюдала в госпитале, о молодых людях, которых изуродовала, превратила в инвалидов война. Чем дальше она говорила, тем сильнее было ее возмущение.

— Во всем виноваты вожди государств и политика и здесь и там, а бедные люди должны из-за них страдать.

Не стесняясь, она ругала всё и вся: гитлеровскую Германию, советских «вождей», политиков и генералов, «на какой бы стороне они ни стояли», и комсомол, в котором она сама состояла. Красной нитью, однако, во всех ее словах проходило сострадание к советским людям, «которые ни в чем не повинны».

Несколькими днями позже у меня была еще одна потрясающая встреча.

Когда я вышел раз из гостиницы после очередного обильного обеда, мне преградил путь осунувшийся, пожилой человек в порванной одежде.

Я уже сунул было руку в карман в поисках денег.

Вдруг он меня окликнул:

— Здравствуй, Линден.

Я обомлел от страха. Откуда знал незнакомец мою партийную кличку?

Я внимательно вгляделся в него: это был курсант нашей группы, который однажды рассказал нам весьма подробно о своей нелегальной деятельности во время оккупации во Франции и который затем вдруг, без всякого объяснения причин, был удален из школы. Это произошло уже больше полугода тому назад — и, судя по его виду, ему все это время жилось исключительно плохо.

— Скажи, есть у тебя немного хлеба?

Он умоляюще смотрел на меня.

— Нет, сейчас нет, но когда я вернусь с ужина, я тебе кое-что захвачу. Я попробую взять столько хлеба, сколько можно, чтобы не бросилось в глаза, потому что нам не разрешается . . . но ты меня извини . . . вряд ли я могу для тебя захватить что-нибудь кроме хлеба.

Он махнул рукой.

— Ах, Линден, тебе вовсе не нужно извиняться. Другие и хлеба мне не дают. Они даже не говорят со мной, большинство отворачивается и не здоровается, видя меня на улице. Если ты сможешь принести мне хлеба, я этого никогда не забуду и буду вечно тебе благодарен.

С этого времени я всегда уносил с собой хлеб, чтобы вечером, украдкой передать ему где-нибудь в укромном месте. Он каждый раз меня благодарил, но был исключительно скуп на слова. Я только узнал, что после исключения из школы он ниоткуда не смог получить помощи. Товарищ, много лет выполнявший специальные задания партии, был теперь «списан со счета» и предоставлен своей судьбе — пример железной, жестокой последовательности сталинизма по отношению к человеку, в котором он потерял нужду.

Но, несмотря на пережитое в Уфе, я все еще думал, что все зло заключается в ошибках отдельных учреждений и в пережитках русского прошлого. Слишком глубоко еще была во мне укоренена сталинистская идеология, чтобы меня заставили поколебаться подобные эпизоды и особенно бросившаяся мне в глаза в Уфе разница между тем, как живет партработник и прозябает обыкновенный человек.

Те недели июля 1943 года, которые мы провели в Уфе, были богаты волнующими событиями. Муссолини был свергнут. Италия находилась накануне выхода из войны. Все надеялись, что война приближается к концу.

21 июля нам на голову свалилось новое событие. На третьей странице «Правды» жирным шрифтом был напечатан манифест к германскому народу и вооруженным силам Национального комитета «Свободная Германия». С изумлением мы узнали, что 12 и 13 июля под Москвой состоялось совещание военнопленных немецких солдат и офицеров совместно с немецкими эмигрантами. На этом совещании был избран Национальный комитет «Свободная Германия», во главе которого стоял хорошо мне известный Эрих Вейнерт.

Заместителями председателя были майор Карл Гетц и лейтенант граф Генрих фон Ейнзидель.

Со жгучим интересом читал я воззвание и сразу же отметил, что оно было еще «шире», чем воззвание так называемой западногерманской конференции мира, о которой мы так подробно учили в школе. Штейн, Эрнст Мориц Арндт,

Клаузевиц и Йорк в этом воззвании ставились в пример, о социалистических требованиях не было и намека, о существовании немецких коммунистов вообще не упоминалось. Даже в школе на семинарах на тему «Борьба с сектантством» мы так далеко не заходили. Было нетрудно догадаться, что роспуск Коминтерна и манифест Национального комитета не были теоретическим трюком; дело шло о перемене стратегической ориентации.

Особенно ясно это можно было видеть из требований манифеста. Они были сформулированы так «широко», как только было тогда возможно с явной целью охватить все антигитлеровские силы. Цели манифеста в отношении устройства после-гитлеровской Германии ограничивались требованием сильной демократической государственности («не имеющей ничего общего с бессилием веймарской системы»), безусловной отмены всех законов, продиктованных национальной или расовой ненавистью, восстановления и расширения политических прав и социальных достижений, свободы торговли и ремесел (включая гарантию «законно приобретенной собственности»), немедленного освобождения жертв гитлеровского режима и выплаты им компенсации и, наконец, требованием справедливого и сурового суда над военными преступниками и ответственными за войну, причем, однако, обещалась амнистия «всем сторонникам Гитлера, которые своевременно порвут с Гитлером и активно присоединятся к движению за Свободную Германию».

Еще очень слабо мог я себе представить Национальный комитет, я еще не знал, что его символом был избран черно-бело-красный флаг, так как этого нельзя было заключить из сообщения «Правды». Но естественно, что я проявил горячий интерес к Национальному комитету «Свободная Германия» и ничего так страстно не желал, как работать там.

Мое желание исполнилось раньше, чем я мог предполагать.

В тот же день, 21 июля, нас созвали.

— Сегодня вечером мы выезжаем в Москву, — объявили нам.

Караганда, школа Коминтерна и работа в коминтерновском архиве остались позади. С напряжением я ждал, что мне предстоит.

На другой же день мы прибыли в Москву.

ГЛАВА VI

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»

Наконец-то в Москве! Как часто я вспоминал о ней в Караганде и Кушнаренкове.

Я покинул Москву в сентябре 1941 года в поезде с ссыльными. И вот теперь, в июле 1943 года, я возвратился выпускником школы Коминтерна, готовый приступить к политической работе.

На вокзале нас ждали автомобили. Куда нас повезут — мы не знали. Только когда мы ехали по Москве наш сопровождающий сказал нам:

— Мы едем в гостиницу «Люкс» и остановимся на время там. О вашем дальнейшем назначении вы узнаете на днях от ваших партийных руководителей.

Итак, в гостиницу «Люкс»! В этой известной гостинице на ул. Горького, бывшей Тверской, вот уже 25 лет останавливаются партийные работники и сотрудники Коминтерна. Когда я в 1940 году или начале 1941 года должен был по службе навестить кого-либо в этой гостинице, мне приходилось каждый раз проходить тщательный контроль. Каждое такое посещение было для меня целым событием, а теперь я сам там буду жить!

МОСКВА, ГОСТИНИЦА «ЛЮКС»

В конторе гостиницы у нас были отобраны документы, «чтобы урегулировать прописку в Москве». Это было сказано нам так, как будто это было самым обыкновенным делом, вместе с тем каждый из нас знал, что тысячи и десятки ты-

сяч людей месяцами дожидались разрешения вернуться в Москву.

Каждый из нас получил в «Люксе» удостоверение с фотографией, так называемый пропуск, который нужно было предъявлять при входе в гостиницу. Эта гостиница была в своем роде целым маленьким городком. Там все было устроено так, что живущим в ней не было необходимости соприкасаться с внешним миром. Наряду с закрытой столовой там были: своя прачечная, сапожная и портняжная мастерские и даже своя амбулатория — и все это только для живущих в гостинице. Все мы были прикреплены к закрытому распределителю, расположенному поблизости. Всех живущих в «Люксе» сотрудников Коминтерна, а после его упразднения — «представителей иностранных коммунистических партий» — отвозили на автобусах на работу и привозили обратно в гостиницу, так что не было необходимости пользоваться городским транспортом, к которому прибегали лишь в редких случаях. В гостинице находились также особое отделение милиции и военкомат, которые улаживали все вопросы прописки и выписки, а также, в случае призыва кого-либо в армию, предпринимали нужные шаги, чтобы добиться его освобождения. Таким образом живущим там не надо было самим ни о чем беспокоиться.

Когда я в июле 1943 года поселился в «Люксе», почти все руководящие партийные работники вернулись из эвакуации. Я часто встречал Вильгельма Пика, Вальтера Ульбрихта и Антона Аккермана, возглавлявшую в то время румынскую компартию — Анну Паукер, польского руководящего партработника и нашего преподавателя в школе Коминтерна Якова Бермана, венгерского члена политбюро Эрнё Гере и австрийских руководящих партийных работников Копленига, Фюрнберга, Эрнста Фишера, Цукер-Шиллинга и Франца Гоннера.

За завтраком и обедом в закрытом ресторане, как я немногим позже заметил, партийные работники различных национальностей были отделены друг от друга. Если кто-нибудь, например, садился за стол вместе с польскими, румынскими или итальянскими работниками, его удивленно рассматривали соседи. Особенно бросалось в глаза, что даже австрийские и немецкие работники сидели, как правило, отдельно и это считалось вполне правильным и естественным явлением.

Только мы, молодежь, которые не были так искушены в делах аппарата, часто ломали эту систему. Нужно сказать, что в это время в гостинице «Люкс» вместе со старыми сотрудниками аппарата Коминтерна находилось и много молодых работников Коминтерна. Это были, в большинстве случаев, сыновья и дочери партийных работников или эмигрантов, которые так же, как и я выросли в Советском Союзе и которых готовили к политической работе. Так жили в то время в гостинице «Люкс» несколько молодых испанцев. Они попали в Советский Союз во время испанской гражданской войны, выросли в испанском детдоме, а позже учились или в школе Коминтерна или в других политических школах. Я встретил там также несколько молодых немцев, в том числе и Петера Флорина (сына Вильгельма Флорина, вождя КП Германии, умершего в 1944 году), двух молодых канадок и еще многих других партработников различных национальностей, которые выросли в интернациональном детдоме в Иванове.

Большинство жителей гостиницы работали в институте №205, который был чем-то вроде «наследника» Коминтерна, и находился в Ростокине, по соседству с сельскохозяйственной выставкой, в огромном здании, построенном в современном стиле и изолированном от внешнего мира. В этом здании помещался Коминтерн с 1940 по 1941 год. Правда после роспуска Коминтерна изменился и характер работы. Теперь здесь велась редакционная работа по подготовке радиопередач для различных, так называемых «нелегальных», радиостанций, которых развелось тогда не малое количество. «Немецкая народная радиостанция», радиостанция «Свободная Австрия», испанская радиостанция «Анти-Франко», сюда же относились и радиопередачи для стран, оккупированных фашистской Германией.

Часть живущих в «Люксе» работали не в институте №205, а редакторами, авторами, дикторами и контролерами на службе подслушивания при московском радиоцентре, или же лекторами и инструкторами в лагерях военнопленных, но, прежде всего, в антифашистских школах. Если в конце 1941 года гостиница «Люкс» почти совершенно опустела, то теперь она снова была переполнена. На всякий случай были даже освобождены и переданы в распоряжение иностранных работников пристройки во дворе. Эти пристройки были не так комфортабельно обставлены и предназначались для со-

трудников второстепенной важности. Здесь уже не было отдельных комнат. Жили по три, четыре или даже по пять человек в одной комнате.

Я также был помещен в одной из пристроек. Несмотря на роспуск Коминтерна наша комната была сплошным «интернационалом». Я жил вместе с турком, испанцем, немцем и одним, необычайно подвижным, португальцем Феррейра. Он был в то время единственным португальцем в Советском Союзе и составлял португальские передачи для московского радио.

В то время, как все мои товарищи по комнате усердно работали, мне нечего было делать. В немецком партийном представительстве, вероятно, ожидали, пока в Москву не прибудут все участники немецкой группы школы Коминтерна.

В «Люксе» я снова встретил Ганса Мале, который был, как всегда, в хорошем настроении и весело со мной поздоровался.

— Ну что, опять в Москве? Времена Караганды прошли?

— Да, я возвратился примерно неделю назад и вот теперь жду назначения. Может быть ты расскажешь мне какие-нибудь новости?

— Простите меня, милостивый государь, но это звучит несколько странно, когда ко мне обращаются на «ты». Вы не должны забывать, что в Национальном комитете «Свободная Германия» мы не привыкли к такому тону!

Он сказал это так торжественно и настолько серьезно, что я испугался и пробормотал какое-то извинение.

В ответ он только рассмеялся.

— Это просто шутка. Встречаясь здесь, мы можем оставаться по-прежнему старыми друзьями. Хочешь посмотреть наш первый номер газеты?

Еще бы! Конечно, я этого хотел! Больше всего тогда меня интересовал этот Национальный комитет. Он дал мне первый номер газеты «Свободная Германия», и я с удивлением увидел на первой странице сверху и снизу черно-бело-красные полосы.

Я был совершенно ошеломлен.

— Скажи-ка, Ганс, эти черно-бело-красные полосы случайны или это должно служить символом?

При всей «борьбе против сектантства» я не ожидал, что

в Москве когда-либо согласятся на цвета черный-белый-красный.

— Нет, это не случайность. Движение «Свободной Германии» не просто продолжение антифашистского движения в обычном смысле, а, как ты, вероятно, уже увидел в воззвании, ставит себе цель соединить все силы против Гитлера, включая и немцев-националистов, консерваторов и, даже, национал-социалистов, если они стоят в оппозиции к Гитлеру.

Моя заинтересованность побудила его, очевидно, раскрыть больше, чем полагалось.

— Перед основанием «Национального комитета» состоялся целый ряд важных совещаний. Сначала движению «Свободная Германия» предложили черно-красно-золотое знамя, но советские друзья высказали некоторое опасение. Особенно против этого возражал Мануильский. Черно-красно-золотое знамя, говорил он, напоминает Веймарскую республику — время слабости, кризиса и безработицы и это стеснит движение. Черно-бело-красное знамя гораздо лучше, так как оно очень популярно и в офицерском корпусе вооруженных сил Германии и будет действительно способствовать расширению фронта национального движения.

Когда я уже собрался уходить, Ганс Мале задержал меня еще раз.

— Скоро будет решен вопрос твоей дальнейшей деятельности. Послезавтра должен придти пароход из Уфы и тогда будет созвано совещание всех курсантов немецкой группы школы Коминтерна. «Пароход из Уфы» был одной из главных тем разговоров в гостинице «Люкс». Каждый знал, что за этим кроется. Дело шло о возвращении последних, в свое время эвакуированных в Уфу, партийных руководителей и сотрудников Коминтерна и выпускников школы Коминтерна в Кушнаренкове.

Некоторые из нас пошли к месту причала парохода. К удивлению всех пароход пришел во время. Встреча была радостной. На палубе стоял Бернгард Кёнен и радостно махал мне рукой.

— Ну, что нового в Москве?

— Первый номер газеты «Свободная Германия». Между прочим, движение имеет свое знамя.

— Какое?

— А ну-ка, Бернгард, угадай!

Он немного подумал.

— Не думаю, что красное знамя. Вероятно, Национальный комитет решил взять черно-бело-золотое знамя.

— А вот и не угадал, — заметил я смеясь, — Национальный комитет принял черно-бело-красное знамя.

Бернгард вдруг стал серьезным.

— Ведь это абсурд. Этого не может быть. Такими вещами не шутят.

— Но я тебе говорю совершенно точно, Бернгард. У Национального комитета действительно черно-бело-красное знамя.

Бернгард рассердился всерьез. Он все еще думал, что воспитанник школы Коминтерна разрешает себе скверные шутки.

Он отвернулся от меня со злым лицом, и я не знаю, что он подумал или сказал, когда убедился, что «Свободная Германия» действительно приняла цвета знамени вильгельмовской кайзеровской империи.

Несколько дней спустя немецкие выпускники школы Коминтерна были собраны в одной из комнат гостиницы «Люкс». Совещанием руководил Ганс Мале, который в то время был ответственным среди молодых партийных работников. Мы знали, что на этом совещании должен будет решаться вопрос о нашем определении, и поэтому окружили Маля и с нетерпением ждали, что он скажет. Он хотел было уже начать с политического введения, как взгляд его упал на меня.

— Тебе совсем не надо было приходить на это совещание. Твое дело уже решено. Ты будешь работать в Национальном комитете «Свободная Германия».

Я был очень обрадован. Именно этого я и хотел. Ганс Мале протянул мне клочок бумаги, на нем стояло — «Филипповский переулок».

— Это адрес, — заметил он. — Ты должен будешь представиться там майору Пику.

До сего времени я ничего не знал о существовании «майора Пика», но меня уже давно научили не задавать ненужных вопросов. Я простился с выпускниками немецкой группы и через несколько минут уже шагал по дороге к моему новому месту работы: в Национальный комитет «Свободная Германия».

«ИНСТИТУТ №99»

После тщательной политической и пропагандной подготовки, после опубликования воззвания в существовавшей тогда газете для немецких военнопленных в СССР «Свободный голос», 12 и 13 июля 1943 года в зале Красногорского городского совета был основан Национальный комитет «Свободная Германия».

Советская пресса уделила этому событию много места — целая страница «Правды» была отведена для воззвания Комитета в русском переводе.

По ходившим тогда слухам, эмигрантские круги в гостинице «Люкс» надеялись, что в основании Национального комитета будут принимать участие, и даже войдут в его состав, некоторые высшие офицеры. Но надежды эти не оправдались. Когда 5 июля 1943 года около Курска началось немецкое контрнаступление некоторые из этих высших офицеров заколебались в своей готовности примкнуть к Национальному комитету. Таким образом в Национальный комитет вошли только немногие офицеры. Среди вошедших были: майор Гоман, сын известного гамбургского судовладельца, капитан Гадерман, основатель первой антифашистской офицерской группы в Елабуге зимой 1941/42 годов, майор Гетц, один инженер из Кёнигсберга и лейтенант граф Генрих фон Эйнзидель.

Со стороны эмигрантов туда вошли члены эмигрантского руководства КПГ: Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Вильгельм Флорин (скончавшийся в июле 1944 года), Герман Матерн, Антон Аккерман, Эдвин Гёрнле и Марта Арендзее. Вошли в него и некоторые антифашистские писатели, эмигрировавшие в СССР — Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Теодор Пливье, Густав фон Вангенгейм и Фридрих Вольф. Президентом Национального комитета оказался Эрих Вейнерт, что всех нас очень удивило.

Церемония основания Национального комитета была заснята на пленку и частично показывалась в советском киножурнале «Союзкиножурнал» во всех кинотеатрах Москвы. Я тоже ходил смотреть этот журнал и ясно чувствовал удивление советской публики, видевшей на экране своих недавних врагов в полной форме и с орденами, к которым они теперь должны относиться, как к друзьям. Вскоре после своего основания, примерно в середине августа 1943 года, На-

циональный комитет переехал из Красногорска в Лунево (около 35 км от Москвы), в бывший Дом отдыха для железнодорожников.

На протяжении всей моей полуторагодовой деятельности в Национальном комитете, мне ни разу не пришлось побывать в Луневе и познакомиться с членами Национального комитета из группы военнопленных, если не принимать во внимание нескольких случайных встреч. Я жил и работал только с немецкими эмигрантами, из которых 12 человек были членами комитета.

В первые же дни моей новой деятельности я установил, что существуют два «Национальных комитета»: «официальный» — в Луневе и «неофициальный», состоящий из нескольких эмигрантов и находящийся в здании на одной из боковых улиц, отходящих от Арбатской площади в Москве.

Это здание производило впечатление заброшенного дома. Ни одной вывески, указывающей на то, что здесь находится какое-либо учреждение. Неужели здесь действительно помещается, так широко пропагандированный Национальный комитет «Свободная Германия»? С сомнением в душе я поднялся по лестнице. Никакого указателя — ни фамилии жильцов, ни вывески учреждения . . . На четвертом этаже я увидел открытую дверь. Тут же, при входе, за столом сидел молодой советский офицер.

— Куда вы, товарищ? — спросил он меня по-русски.

Я немного запнулся.

— Собственно говоря, я ищу Национальный комитет «Свободная Германия», — сказал я нерешительно.

— Заходите, это здесь.

Озадаченный, я вошел в переднюю. Навстречу мне поднялся советский офицер в форме майора.

— Майор Пик, — представился он.

— Вольфганг Леонгард, — ответил я, так как имя Линден, отошло в прошлое.

Советский майор Пик (только позже я узнал, что он был сыном Вильгельма Пика) говорил по-немецки. Я был удивлен, так как до сих пор не встречал еще немцев в советской военной форме.

— Я о тебе слышал и очень рад видеть тебя здесь. Я представлю тебя сразу же товарищу Карлу Марону.

Майор Пик повел меня по коридору, по обе стороны которого находилось от 8 до 10 комнат. Большинство из них

было пусто. Очевидно учреждение еще только-только создавалось. В последней комнате, куда мы вошли, стояло несколько столов и стульев. За горой манускриптов и коробок с сигаретами сидел добродушный с виду и немного полный мужчина лет 40. Это был Карл Марон. Я высмеял бы того, кто мне тогда бы сказал, что Марон через несколько лет будет шефом Народной полиции в советской зоне Германии, так это к нему не подходило.

Он читал газету и предложил мне сигарету; казалось, ничто не могло вывести его из равновесия.

— Что ты здесь будешь делать, я не знаю, — заметил майор Пик. — У меня задание руководить организационной стороной устройства Национального комитета. Больше ничего. Во всем остальном держись Карла Марона.

Карл Марон рассмеялся.

— Я тоже ничего не знаю. Через несколько дней здесь будет, вероятно, уже все оборудовано и тогда ты приступишь к работе. А пока приходи каждый день в 10 часов утра и приноси с собой что-либо почитать, так как больше нечего будет делать.

Этого ему не пришлось говорить дважды, — я приносил с собой каждый день книгу Верфеля «Сорок дней Мусадаха» с увлечением читал ее и ждал, что будет дальше. Ждать мне, однако, пришлось не долго.

В невероятно, для советских условий, короткое время, пустой этаж превратился в оборудованное в современном стиле учреждение. И еще раз я смог убедиться, что советские организации могут иногда действовать очень быстро, особенно, если за ними кроется заинтересованность какой-то крупной силы, что было очевидно и в этом случае.

Майор Пик исчез и на его место появился добродушно выглядевший мужчина по имени Козлов, который скромно заявил, что готов выслушать все просьбы и желания, если они касаются технических и организационных вопросов.

Очень скоро выяснилось, что Козлов совсем не был таким маловажным лицом, каким он держал себя. Как военный партийный деятель он был уполномочен ЦК ВКП(б) взять на себя организационное руководство и поддерживать связь с советскими инстанциями.

Однажды у нас появился еще один русский, молодой неразговорчивый блондин, который не представился и говорил очень мало. Нетрудно было догадаться, что это — на-

чальник кадров. Из разговоров мы узнали, что его зовут Воробьев (во всяком случае, он так себя называл у нас). Больше нам ничего о нем не было известно, так как он, как и большинство советских начальников кадров, предпочитал улаживать дела кадров при закрытых дверях.

Между тем, все комнаты были уже заняты. Почти ежедневно прибывали новые эмигранты. Стучали пишущие машинки, писались отчеты, создавались архивы и беспрерывное движение показывало, что здесь зарождается новая важная инстанция.

Комнаты были распределены таким образом: две комнаты оставили для руководителей Национального комитета: в одной помещался Эрих Вейнерт, в другой — Вальтер Ульбрихт. В остальных комнатах находились: редакция газеты «Свободная Германия», редакция радиостанции и секретариат «подлинного» Национального комитета.

Создание и оборудование прошло без больших затруднений, если не считать одного маленького инцидента. Однажды мы услышали из соседней комнаты громкую ругань.

— Что там такое?

Карл Марон, с сигаретой во рту, равнодушно заметил:

— Это Вальтер Ульбрихт.

Выйдя в коридор, я узнал, что дело касалось письменного стола. Стол был недостаточно большим для Ульбрихта. Но инцидент был вскоре улажен. Услужливый Козлов уже вмещался.

— Извините, товарищ Ульбрихт, это просто технический недосмотр.

Мне показалось, что он при этом иронически улыбнулся. В тот же самый день у Ульбрихта стоял уже большой письменный стол.

Две других комнаты были заняты под редакции итальянской, венгерской и румынской газет для военнопленных. Комнаты были гораздо меньше и выглядели по сравнению с просторными комнатами Национального комитета, как «бедные родственники». Итальянская газета редактировалась Лонго, одним из выпускников школы Коминтерна, сыном крупного работника КП Италии.

Через несколько дней мы были вызваны к Воробьеву. Он принимал нас поодиночке. Каждый из нас получил отпечатанное удостоверение, на котором кроме имени и фамилии большими буквами стояло:

СССР

Институт № 99

— Это на случай надобности при сношениях с советскими службами и учреждениями. Если вас будут спрашивать о вашем месте работы, не называйте Национального комитета, вы работаете в «Институте № 99».

Итак, для советских учреждений мы были «Институт № 99». Кем же мы были по отношению к действительному Национальному комитету?

Только после недели моей работы я составил себе ясное представление: в Луневе, официальном местопребывании Национального комитета «Свободная Германия», находились немецкие солдаты и офицеры, которые присоединились к Национальному комитету или были даже его членами, там же они имели и свою редакцию газеты и свою радиостанцию. Вскоре за нами утвердилось название «Городская редакция» или «Городской комитет». И здесь работали исключительно немецкие эмигранты. Большинство членов Луневского Национального комитета хотя, вероятно, и знали о существовании «Городского комитета», но не были информированы о роде нашей деятельности.

Я вскоре убедился, что действительная политическая деятельность редакции выполнялась в этих комнатах, а не в официальном Национальном комитете.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»

— Ты будешь сотрудничать в газетной редакции. Завтра сюда явится главный редактор и ты должен будешь сразу ему представиться, — заметил мимоходом Марон.

— Кто же главный редактор?

— Рудольф Гернштадт.

Рудольф Гернштадт? До сих пор я не слыхал этого имени, и, так как я знал все важнейшие партийные документы, я мог с уверенностью сказать, что он еще ни разу не подписал ни одного партийного воззвания. Более того: его имя не стояло даже под воззванием к немецкому народу от 30 января 1942 года, под которым подписались все видные эмигранты. Его имени не было также под воззванием к об-

разованию Национального комитета. На следующее утро я постучался в дверь к главному редактору. За письменным столом сидел необыкновенно хорошо одетый мужчина. Жестом он пригласил меня сесть.

— Итак, вы — Вольфганг Леонгард, — начал он разговор. Я невольно сжался. В первый раз в Советском Союзе немецкий эмигрант обращается ко мне на «Вы».

— Вы работали раньше когда-либо в редакции газеты?

Он задавал вопросы с вежливым превосходством и с небольшой иронией в голосе.

— Нет, я недавно окончил политическую школу, в которой мы только слегка касались журналистики.

Я нарочно выбрал выражение «политическая школа», так как не знал могу ли я назвать школу Коминтерна этому на вид рядовому гражданину. Все это было по меньшей мере странным.

— Политические школы меня не интересуют. Я Вас спрашиваю о работе в редакции газеты.

— Нет, в редакции газеты я до сих пор не работал.

— Вы должны будете многому научиться, так как работа в редакции тяжела и ответственна. Я полагаю, что Вам ясно, что Вы должны будете начать с азов.

Гернштадт был вежлив и холоден. Во все время разговора он оставался при своем «Вы». Он не говорил ни о «борьбе за свободу немецкого рабочего класса», ни о партии. Он вел себя так, как, в моем представлении, вел бы себя главный редактор большой капиталистической газеты. Я был совершенно потрясен.

Наконец Гернштадт заговорил о моей работе.

— Вы должны будете держать связь с типографией, читать корректуру, помогать русскому метранпажу при верстке и, в первую очередь, обрабатывать все поступающие к нам информационные бюллетени.

Ежедневно прибывали целые горы материалов со службы радиоподслушивания при институте №205, наследнике Коминтерна, в которых были все сообщения и комментарии радиостанций как гитлеровского блока, так и антигитлеровской коалиции. Это были специальные бюллетени, которые я знал еще со школы Коминтерна, между ними был также и «красный бюллетень» радиопередач «Свободной Германии». Само собой разумеется, что я никому не должен был говорить о содержании всех этих бюллетеней.

Вскоре после того как я начал работу, меня позвал к себе Гернштадт:

— Нам необходимо иметь определенный материал по вопросам экономики Германии, я хотел бы Вас попросить достать этот материал. Из этого списка Вы увидите, какие именно темы нас интересуют.

Сначала я не знал, что мне делать, так как все это были специальные темы.

— Не беспокойтесь. На все эти темы у нас имеется достаточно материалов в институте №205. Вы должны обратиться к Гертруд Келлер, и она даст Вам соответствующие справки.

Гернштадт сразу же позвонил в институт №205 и сообщил Геминдеру, который был в то время начальником этого института, о моем приходе. Геминдер принадлежал тогда к высшим партийным работникам. Никто не мог пройти в институт без специального пропуска, подписанного Геминдером. Даже самый отъявленный пессимист не мог бы предположить, что 9 лет спустя, в октябре 1952 года, он будет расстрелян в Чехословакии вместе со Сланским, как «враг народа».

Переступая на следующее утро порог института №205 с пропуском Геминдера в кармане, я все еще сомневался, что мне удастся достать весь нужный материал.

Мой скептицизм оказался беспочвенным. В громадных залах института находилась исключительно богатая библиотека с обширным материалом по всем политическим и хозяйственным вопросам, аккуратно разобранная по странам и темам. Библиотека содержала все важнейшие сочинения, изданные за границей по вопросам политики и экономики. В другом зале хранились папки с вырезками из газет — тоже по странам и темам.

Гертруд Келлер подчинялся целый штаб работников, которые были ответственны за отдельные страны и области. Между ними находилось также и несколько выпускников школы Коминтерна. Беспрерывно звонил телефон. Партийные работники различных стран, редакторы так называемых нелегальных радиостанций, а также и сотрудники института №205 нуждались в материалах и различных справках. В большинстве случаев эти просьбы удовлетворялись в течение нескольких минут и материалы доставлялись через посыльного. Мой список тем никого не удивил.

— Будьте добры, присядьте в читальне. Вы получите сейчас же через нашего немецкого сотрудника нужные Вам вырезки из немецкой, союзной и нейтральной прессы по интересующим Вас темам.

И действительно через несколько минут мне было все доставлено. Я мог только удивляться богатству материала, а также полноте и точности, с которой он собирался, прекрасной организованности и быстроте доставки его.

По-видимому, институт №205 не имел недостатка ни в специалистах, ни в финансах. Всем этим он обладал как будто в неограниченном количестве. Это мое первое впечатление было подкреплено и многими моими дальнейшими посещениями института №205 в течение года*).

Почти каждую неделю я должен был туда ездить для подбора и составления материалов, необходимых для нашей газеты. Это была самая интересная для меня деятельность, так как здесь я мог получить полную картину Германии, гораздо правильнее, чем это давалось в официальной советской прессе. Кроме того атмосфера в институте мне нравилась гораздо больше, чем в редакции «Свободная Германия» в институте №99, состоявшей тогда из четырех редакторов. Вскоре я ближе познакомился с ними.

Лотар Больц писал статьи о Германии, которые в большинстве случаев шли без подписи. Он работал очень усердно, внимательно прочитывал все бюллетени с выдержками из гитлеровских газет и по этим выдержкам составлял свои статьи. Мне казалось, что он знал Гернштадта и раньше, так как у него, из всех редакторов, были с ним наилучшие отношения. Как и все, кто долго жил в Советском Союзе, он мало говорил о себе. Из его скупых рассказов я все-таки смог установить, что он был раньше юристом в Верхней Силезии и живет уже долгие годы в Советском Союзе. Он работал редактором немецкой газеты «Красная газета» („Rote Zeitung") в Ленинграде, «Немецкой центральной газеты» („Deutsche Zentralzeitung") в Москве, а также учителем немецкого языка и литературы в Новосибирске. Однако его имя не появ-

*) В Западной Германии я не видел еще такого института, который располагал хотя бы приблизительно таким количеством материала о Советским Союзе и странах восточного блока и так был бы оборудован и организован, как советский институт №205, который собирал и обрабатывал материалы о странах свободного мира.

лялось ни в одном из официальных партийных заявлений. Тот факт, что его статьи продолжали печатать в газете без подписи, наводил на мысль, что его не хотели раскрывать. В то время невозможно было предвидеть, что он станет руководителем «Национально-демократической партии» в советской зоне и министром иностранных дел ГДР.

Вторым человеком в редакции был Альфред Курелля. Он не находился постоянно в редакции, а приходил только в «особых случаях». Сам он писал мало. Очевидно его главным заданием были правка статей офицеров «Национального комитета» в Луневе, оформление газеты и выработка политической линии, которая обсуждалась в большинстве случаев в комнате Гернштадта, причем очень часто без участия остальных редакторов.

Ясно очерчена была деятельность Карла Марона. Он писал военные комментарии для газеты, которые были всегда подписаны его именем. Вся наша относительная свобода выступала в этих комментариях. Они сильно отличались от официальных советских сводок и часто содержали прогнозы, являвшиеся ценнейшим вкладом в газету.

Последним я должен назвать Эрнста Гельда, который был раньше театральным режиссером, эмигрировал затем в Советский Союз. Его подпись как «представителя немецкой интеллигенции», стояла под воззванием к немецкому народу от 30 января 1942 года. В газете он должен был взять на себя руководство культурным отделом. Он был приятным человеком и, вероятно, хорошим режиссером, но для работы в редакции был совершенно неприспособлен. Чтобы сформулировать какое-нибудь сообщение, ему требовалось столько времени, сколько Карлу Марону, для составления двух военных сводок или столько, сколько Лотару Больцу для статьи о Германии на целую полосу. Он всегда скорбел, однако, о том, что не может как следует помочь.

Несмотря на то, что Марон, Больц и Курелля вполне справлялись со своими обязанностями, редакция не представляла собой сплоченного коллектива. Нельзя было не заметить, что все нити держал в руках один Гернштадт. Каждый сотрудник редакции должен был ему приносить свои статьи, как ученики свои сочинения учителю, и получал все обратно с вычеркиваниями и изменениями без всяких объяснений. Связь шла больше через личную секретаршу Герн-

штадта, Гордееву, австрийку, вышедшую замуж в России и явно пользовавшуюся покровительством Гернштадта.

Рудольф Гернштадт о себе рассказывал мало. Прочтя его первые статьи, я был просто восхищен. Они были какими-то совершенно «другими». Когда я рассказал о своем восхищении остальным редакторам, они посмеиваясь заметили, что он был раньше иностранным корреспондентом «Берлинер тагеблат» в Варшаве. Чем он занимался в Советском Союзе было покрыто мраком неизвестности не только для меня, но и для других редакторов. Я знал только, что он был женат на красивой русской женщине, Вале, которая, как и я, училась в Московском государственном институте иностранных языков. В отличие от других редакторов, он не жил в гостинице «Люкс» и, как видно, был более связан с советскими инстанциями, чем с эмигрантским руководством КП Германии.

На протяжении многих лет, которые я до того провел в Советском Союзе, мне уже несколько раз приходилось встречаться с таким типом безличного партийного работника. Это были, как правило, люди, которые достигли высокого положения своей жестокостью. Они обычно не выделялись высоким умственным уровнем или особенной интеллигентностью. Что меня всегда удивляло в Гернштадте, это смесь западноевропейской наружности, западной манеры одеваться, западного стиля в статьях, необыкновенного ума с холодной жестокостью, которая только слабо прикрывалась подчеркнутой вежливостью в обхождении с людьми.

Сначала мне казалось, что наша газета не подлежит цензуре. Правда, для того времени это было маловероятным. Для советских условий мы и так имели относительно большую свободу, но совсем без цензуры все-таки дело не могло обойтись.

В начале сентября 1943 года Гернштадт вызвал меня к себе.

— Я попросил бы Вас отнести эти оттиски в гостиницу «Люкс» для просмотра. — Он назвал мне номер комнаты.

— Кто же должен их просмотреть?

— Спросите Эрне Гере.

Ничто другое не могло меня так удивить, как это сообщение. Я предполагал, что наша газета проходит цензуру или в 7-ом отделении Главного политуправления Красной армии, которое занималось вопросами пропаганды в герман-

ской армии, или одним из представителей ЦК ВКП(б). Теперь же выяснилось, что судьбу газеты немецкого Национального комитета решает член руководящего ядра венгерской компартии в Москве Эрне Гере.

С Гере, ему было тогда 45 лет, мне приходилось часто встречаться. Иногда он навещал и нашу редакцию. То, как к нему относился Гернштадт, показывало, что он пользовался тогда большим влиянием. У него была привычка давать важнейшие политические указания в форме беседы, часто как бы невзначай, и только в интонации слегка звучала подчеркнутость. Манера, с которой он брал в руки оттиски, откладывал в сторону целые страницы и находил сразу важные политические места, иногда с улыбкой зачеркивал какое-либо слово или заменял его другим, более метким, поражала меня всякий раз.

Те короткие разговоры, которые мы вели друг с другом, его исключительное понимание германских проблем, его тонкое политическое чутье, которое он обнаруживал при просмотре нашей газеты, хорошо сохранились в моей памяти.

Эрне Гере жил в Советском Союзе с 1923 года и играл ведущую роль в аппарате Коминтерна. Во время гражданской войны он был в Испании. Вернувшись в Советский Союз, он в течение всей войны, наряду со своей деятельностью в руководстве венгерской компартии, был не только политическим советником немецкого Национального комитета «Свободная Германия», но и играл, вероятно, важную роль при выработке политических директив коммунистическим партиям других стран. С 1945 года он бессменно принадлежал к ядру венгерского партийного руководства и занимал важные министерские посты в правительстве. Очень возможно, что Эрне Гере, которого можно считать одним из способнейших людей в стране восточного блока, и сегодня не ограничивает свою деятельность одной только Венгрией.

Во время его отсутствия у нас был другой цензор, который представлял собой полную противоположность Гере. Его звали Штумпф, что в переводе на русский язык значит «тупой», и он вполне оправдывал это имя. В противоположность той вежливой, самоуверенной, немного вялой манере, с которой Гере просматривал газету, чтобы внести небольшие поправки в важных местах, новый цензор Штумпф (который, кстати, не жил в «Люксе», а занимал маленькую частную квартиру неподалеку от Никитских ворот), брал дрожащи-

ми руками оттиски, основательно усаживался и, боязливо посапывая, принимался внимательно читать газету от первой до последней строчки. Он, вероятно, не привык читать и цензурировать статьи, которые столь расходились с официальными высказываниями «Правды». Все формулировки, которые по его мнению слишком далеко отступали от официальных, он подчеркивал и снабжал на полях вопросительными знаками. Даже оттиски статей Гернштадта он правил жестоко и многое заменял типичными формулировками «Правды». Штумпф принадлежал к тому типу боязливых бюрократов, которых все сложные проблемы доводили до головной боли. Сама идея Национального комитета с его офицерами и генералами с черно-бело-красным знаменем была ему глубоко противна. К счастью, этот слишком трусливый бюрократ не имел у нас большой власти. Нередко Гернштадт выбрасывал все изменения, старательно вносимые Штумпфом.

Скоро мне удалось установить, что за нашей газетой следят гораздо более высокие круги. Несколько раз упоминалось имя Мануильского. В этом не было ничего удивительного, так как Мануильский годами был уже на руководящем посту в Коминтерне, и во время войны, в Уфе, он принимал все ответственные решения. Но вероятно даже сам Мануильский не был нашим высшим «советником». Однажды, когда пришлось столкнуться с особенно важным вопросом в статье одного немецкого генерала, Гере, находившийся тогда как раз в редакции, улыбаясь и покачивая головой, заметил:

«Замысловатая штука!» При этом, в дальнейшем разговоре, он упомянул имя Щербакова, принадлежавшего тогда к наивысшим партийным кругам. Того самого генерал-полковника Александра Щербакова, который в 1938 году возглавил после Хрущева московскую парторганизацию и который три года спустя на XVIII партсъезде весной 1941 года вместе с Маленковым был избран кандидатом в члены Политбюро. Таким образом он принадлежал к высшему кругу советского партийного руководства. Вероятно уже в то время он занимался вопросами внешней политики. Во время войны он был начальником Главного политуправления Красной армии (ГлавПУРККА) и одновременно начальником Совинформбюро, которое ежедневно выпускало фронтовые сводки.

Он умер 11 мая 1945 года через два дня после окончания войны. Официально было объявлено, что смерть его наступила от сердечной болезни. А через 8 лет, 13 января 1953 года, объявили, что Щербакова умертвили кремлевские врачи специальными медикаментами. Это обвинение было снято через несколько недель, 4 апреля, когда арестованные врачи были освобождены.

Оставляя в стороне причину смерти Щербакова, отметим еще раз, что во время войны он занимал выдающееся положение, будучи начальником Главного политуправления Красной армии. Само собой разумеется, что он играл большую роль при решении важных военно-политических вопросов. Хотя у нас в редакции его имя упоминалось редко, можно с уверенностью сказать, что важнейшие политические вопросы Национального комитета решал он.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПЕРЕМИРИЕ

Окантованная черно-бело-красным газета «Свободная Германия», в которой так часто упоминались имена Тауроггена, Йорка, Клаузевица и Штейна, печаталась в типографии «Искра революции», которая находилась напротив нашего дома.

На протяжение всей войны здесь печатались листовки для германской армии, газеты на венгерском, румынском и итальянском языках, и, наконец, выпускаемый Иоганном Бехером немецкий журнал «Интернациональная литература», бывший в то время по значению на последнем месте. С первых же дней я увидел, что функция «человека для связи с типографией» давала возможность заглянуть в интересную и мало известную мне область деятельности Национального комитета. Я видел, какие изменения вносит Гернштадт в статьи, пускаемые в печать. Мне не раз приходилось быть свидетелем значительных изменений первоначального текста статей, внесенных, в большинстве случаев, в последнюю минуту, очевидно по настоянию высших органов.

В первые же недели после основания Национального комитета произошли значительные события.

В конце августа 1943 года в одном из первых номеров газеты на первой странице должны были быть напечатаны, в сенсационном оформлении, приветствия Национальному ко-

митету от различных лагерей военнопленных. Само собой понятно, что речь шла не о стихийных приветствиях, а о текстах, которые были продуманы и точно сформулированы в высших органах и только потом переданы «активу» в лагерях военнопленных, чтобы оттуда послать их в «приветственных письмах» в Национальный комитет.

Я с удивлением отметил, что во всех «приветственных письмах» Национальный комитет назывался *ядром будущего нового немецкого правительства,* и хотя я уже и раньше чувствовал, что Национальный комитет поддерживается высшими органами, эта далеко зашедшая формулировка меня крайне удивила.

Газета уже была готова к печати, когда меня позвал Гернштадт:

— Сообщите, пожалуйста, в типографию, чтобы не начинали печатать, и попросите последние оттиски, мне нужно внести небольшие изменения, — сказал он, как мне показалось, слишком равнодушным тоном.

Через полчаса я относил исправленные оттиски в типографию. Эти «маленькие изменения» оказались, однако, очень значительными: все указания на Национальный комитет, как на «ядро будущего немецкого правительства» были Гернштадтом вычеркнуты. И пока русский метранпаж и наборщик ругались по поводу предпринятых в последнюю минуту изменений, я раздумывал, какое же событие в конце августа 1943 года могло повлиять на внезапное разжалование Национального комитета.

Это было не единственной странностью в первые недели существования Национального комитета. Во второй половине августа у нас в институте №99 говорили, что с 1 сентября 1943 года, к четвертой годовщине начала войны, должен быть основан «Союз немецких офицеров» („Bund Deutscher Offiziere“), прежде всего, из тех офицеров среднего и высшего состава, и даже генералов, которые в июле 1943 года еще не были готовы присоединиться к Национальному комитету и для которых, как мы тогда выражались, «поставленная цель» заходила слишком далеко. К 1 сентября было все уже подготовлено для создания «Союза». Основание «Союза немецких офицеров» было внезапно отложено и о нем перестали говорить. О причинах этого не было дано никаких разъяснений.

10 дней спустя произошел новый поворот и 11-12 сентября спешно был основан «Союз немецких офицеров» под председательством генерала фон Зейдлица.

Сначала я думал, что неожиданная отсрочка продиктована техническими трудностями, но в это же время произошло третье событие, которое меня вконец обескуражило.

Это было в первой половине сентября 1943 года. Я получил от Гернштадта статью под заглавием «Перемирие — требование момента». Перемирие?! Я невольно отшатнулся. Официальный лозунг Национального комитета тогда гласил: «Свержение Гитлера и отвод немецких войск к границам Рейха».

О перемирии до сих пор не было и речи. С огромным интересом и вниманием прочел я эту статью. Слово «перемирие» попалось в ней два раза и вообще она была написана в необычном тоне. Статья не обращалась в первую очередь к генералам и офицерам — противникам Гитлера, а фактически хотя и косвенно предлагалось перемирие официальным инстанциям гитлеровского правительства. Было ясно, что такая передовица могла быть продиктована только самыми высшими органами Советского Союза. С напряжением я ожидал дальнейшего. Статья, пока что, оставалась неизмененной и уже прошла обе корректуры Гернштадта. Верстка была закончена и ночью должны были начать печатание.

Около 12 часов ночи в типографии неожиданно появился Гернштадт. За несколько минут до начала печатания он взял оттиски первой страницы и, что-то пробормотав насчет «небольших изменений», удалился.

Когда он вернулся, заголовок передовицы был изменен, все намеки о заключении перемирия были сняты Гернштадтом и заменены совершенно другими формулировками.

Всю ночь, пока я вместе с Карлом Мароном заканчивал верстку и ожидал первых готовых экземпляров, я все время думал об этих странных переменах.

Неужели действительно существовала возможность перемирия с фашистской Германией? Эти мысли я отбросил тогда, как слишком фантастичные. И только много лет спустя мне стало известно, что в первой половине сентября 1943 года в Стокгольме велись переговоры о перемирии между фашистской Германией и Советским Союзом.

По утверждению фон Клейста в его книге «Между Гитлером и Сталиным», которое мне кажется совершенно прав-

доподобным, авторитетные руководители Советского Союза питали тогда большое недоверие к своим западным союзникам и не отвергали возможности заключения сепаратного мира с фашистской Германией. Тщательно подготовленные связи, как пишет фон Клейст, были неожиданно оборваны по приказу Гитлера.

Этот подготовлявшийся контакт, который должен был состояться в первой половине сентября 1943 года в Стокгольме, и повлиял, вероятно, на политическую линию Национального комитета. Вполне понятно, что при такой ситуации Национальный комитет не мог быть представлен как ядро будущего правительства Германии. Поэтому-то, очевидно, и все указания в этом направлении должны были быть вычеркнуты. Отсрочка основания «Союза немецких офицеров» стояла, по-видимому, также в связи с этими событиями.

Подготовленная Гернштадтом статья в газету «Свободная Германия» должна была, очевидно, еще больше укрепить и подчеркнуть предложенное Советским Союзом перемирие. Вероятно сразу же после срыва переговоров было сообщено Гернштадту, чтобы он изменил свою статью. Вероятно даже, что Гернштадт, принадлежавший к числу немногих эмигрантов, поддерживавших связь с высшими советскими инстанциями, знал об этих прощупываниях возможности мира, если не все, то хотя бы часть.

Оттиск первоначального текста статьи Гернштадт взял с собой. Так и исчез этот единственный печатный документ о попытке со стороны СССР осенью 1943 года в Стокгольме войти в контакт с фашистской Германией для заключения перемирия, что известно сегодня только по мемуарам.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Оглядываясь на прошлое, я вижу, что наибольшее значение Национальный комитет имел, пожалуй, в первые месяцы его существования, примерно до конференции в Тегеране в конце ноября 1943 года. Основание «Союза немецких офицеров» 11-12 сентября 1943 года приблизило к идее Национального комитета целый ряд генералов и высших офицеров. «Союз немецких офицеров», по меньшей мере в первые месяцы его деятельности, никак нельзя было назвать

только придатком Национального комитета, наоборот, он пользовался некоторой самостоятельностью и управлялся собственным Центральным комитетом. В отличие от Национального комитета «Свободная Германия», который по замыслу должен был стать во главе целого движения, в «Союз немецких офицеров» мог просто записаться каждый офицер.

14 сентября 1943 года на общем собрании была согласована деятельность Национального комитета и «Союза немецких офицеров». Президиум Национального комитета был пополнен отдельными руководителями из «Союза немецких офицеров»: президент «Союза немецких офицеров» генерал Вальтер фон Зейдлиц и генерал-лейтенант Эдлер фон Даниельс стали вице-президентами Национального комитета. Генерал-майор д-р Корфес, генерал-майор Мартин Латман, полковники Луитпольд Штейдле и ван Ховен вошли в Национальный комитет, как представители «Союза немецких офицеров». Таким образом Национальный комитет насчитывал тогда уже свыше 50 членов.

В связи со вступлением бывших немецких генералов в Национальный комитет, возросла численность членов комитета и увеличилось его значение. А судя по частым посещениям Эрне Гере, чувствовалась заинтересованность в нем со стороны советского правительства.

На возрастающее значение Национального комитета указывало также и число приветственных писем от союзников и нейтральных государств.

В первые месяцы чувствовалась большая разница между пропагандой Национального комитета и «Союза немецких офицеров», с одной стороны, и пропагандой 7-го отдела Главного политуправления Красной армии, с другой.

В то время, как 7-й отдел в своей пропаганде призывал немецких солдат и офицеров к прекращению военных действий, ничего подобного Национальный комитет не делал, наоборот: главной мыслью Национального комитета было тогда свержение Гитлера и организация отвода немецких войск к немецким границам, чтобы иметь выгодную исходную точку для заключения мира с союзниками.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране состоялась конференция «Трех великих», которая способствовала созданию более тесных отношений между Советским Союзом и западными державами.

Из советской прессы и внутриполитической пропаганды

мы вскоре ощутили, что после Тегеранской конференции отношения с западными союзниками стали действительно лучше. Это отразилось также на политической линии и работе Национального комитета.

Уже в декабре 1943 года в городской редакции и в гостинице «Люкс» держались упорные слухи, что проводимая до сих пор политическая линия Национального комитета себя не оправдала и не соответствует данной ситуации.

Председатель Национального комитета Вейнерт заявил:

«Мы вступаем во второй этап нашей деятельности. Он требует от нас организации широкого фронта борьбы солдат, народа и Родины. Положение изменилось. Наши лозунги должны быть *своевременны*. В данный момент работа на фронте является нашей наиважнейшей задачей».

После этого Вильгельм Пик обнародовал новую политическую линию:

«Бессмысленно ждать того момента, пока в Германии найдется генерал или какой-нибудь крупный капиталист, который сможет в последний момент помешать Гитлеру закончить свое преступное дело. И, кроме того, очень сомнительно, найдутся ли вообще ответственные люди в армии или экономике, имеющие для этого достаточно силы, ведь они уже слишком многое разрешили Гитлеру. Мы должны поэтому черпать силы для спасения Германии в народе — среди рабочих, крестьян, интеллигенции. Мы должны развязать организованную борьбу немецкого народа ... Призыв, который мы направим к фронтовым солдатам, должен звучать так: прекращение военных действий, переход на сторону Национального комитета».

Этим самым смысл и цели Национального комитета были сильно изменены. До Тегеранской конференции это был орган, ставивший своей задачей воззваниями и непосредственными письмами к отдельным полководцам, заставить последних оттянуть свои войска к границе Рейха, создавая тем самым возможность для заключения почетного для Германии мира.

С новой же политической линией, взятой на вооружение с начала января 1944 года, центр тяжести лежал уже на призыве к «народному восстанию против Гитлера» в тылу страны и на пропаганде переходов на сторону Национального комитета на фронте. Национальный комитет с этого времени ограничил свою деятельность доказательствами, что военное

положение национал-социалистической Германии безнадежно и призывал солдат к прекращению военных действий. Это практически означало для каждого: сдаваться в плен и сохранить свою жизнь для создания новой Германии. В редакцию газеты все время сообщалось о переходах солдат на сторону Национального комитета. Правда в то время дело шло, в большинстве случаев, о переходах одиночек или небольших групп, как это имело место около Красноармейска и Звенигорода.

Через несколько недель на фронте произошли события, которые поставили Национальный комитет перед новыми большими задачами.

В конце 1943 года линия Днепра, на которую главный штаб Гитлера возлагал большие надежды, была прорвана на широком фронте советскими частями, которые во многих местах продвинулись далеко на Запад. Тем не менее на западном берегу Днепра по приказу Гитлера укрепилось около 10 дивизий. Было не трудно предвидеть, что все эти войска можно необыкновенно легко окружить, что и случилось в последние дни января, когда ударные клинья 2-го Украинского фронта, продвигавшиеся с юга, соединились с другими ударными клиньями, оперировавшими с севера. Таким образом в районе города Корсунь-Шевченковское, западнее Черкасс, по данным, опубликованным тогда в Советском Союзе, было окружено от 70 000 до 80 000 солдат и офицеров германской армии. По приказу свыше в специальном поезде вместе с советским генералом на фронт поехали тогда генералы фон Зейдлиц и д-р Корфес вместе с другими немецкими офицерами Национального комитета, чтобы там, на фронте, повлиять на события.

Генерал фон Зейдлиц направил генералу Либу личное письмо, а окруженные части были забросаны листовками и обращениями. Несмотря на эти пропагандные действия Национального комитета и «Союза немецких офицеров», операция эта не имела большого успеха. Нужно сказать, что условия были тогда неблагоприятными, так как выведенные из резерва и брошенные в бой германские части пробились к линии окружения и создали возможность разрыва кольца (что им действительно удалось сделать, как я узнал только спустя некоторое время от одного доверительного лица). Официально же советская пресса умолчала о прорыве окружения и объявила, что 55 000 немецких солдат пали на поле

битвы, а 18 000 сдались в плен. Газета «Свободная Германия» повторила эту советскую версию, хотя и в несколько другой формулировке. Дополнительно было объявлено, что приблизительно половина сдавшихся в плен выразила готовность примкнуть к движению «Свободная Германия». Но и это было взято под сомнение тем же доверительным лицом в частном с ним разговоре. Нельзя было не видеть, что несмотря на непосредственное участие высших членов Национального комитета и «Союза немецких офицеров», несмотря на газету, листовки и усиленную фронтовую пропаганду, движение «Свободная Германия» потерпело неудачу.

Этот факт не удалось прикрыть отдельными небольшими успехами, которые раздувались газетой и преподносились как огромные.

Весной 1944 года сообщалось о перелете унтер-офицера Гейнца Мюллера из Брауншвейга, который 5 января 1944 года приземлился на одном из советских аэродромов и рассказал, что он вместе со своими друзьями слушал радиостанцию «Свободная Германия».

— Я сразу принял решение, — рассказывал Гейнц Мюллер, — при первом же удачном случае перейти на сторону Национального комитета «Свободная Германия».

Перелету брауншвейгского бортмеханика Мюллера была посвящена статья в несколько столбцов. «На Ю-52 в Национальный комитет» — гласил ее заголовок.

Когда же в марте 1944 года в одном из небольших окружений на Южном фронте в районе Снегиревка-Березноватое 1800 солдат и офицеров сложили оружие, в нашу редакцию поступили сведения, что, действительно, в отличие от Корсунь-Шевченковского окружения, в этих частях знали о Национальном комитете довольно много.

Но это все-таки не оправдывало надежд, которые возлагались в Москве на создание Национального комитета. И только летом 1944 года Национальному комитету удалось снова поднять свой вес, но мне уже не пришлось пережить это время в редакции газеты.

ДИКТОР РАДИОСТАНЦИИ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»

С течением времени задачи «городского комитета», т. е. института № 99, так расширялись, что помещение оказалось

для нас слишком тесным. Козлову, нашему связному с советскими инстанциями, честолюбивые мысли не давали покоя. Он хотел сделать «свое» учреждение как можно удобней и просторней, хотя сам в нем никогда не работал.

— Я кое-что предприму, — утешал он нас.

Еще в мирное время в Москве было чрезвычайно трудно достать необходимое помещение, не говоря уже о дополнительной площади. Многие важные инстанции должны были годами дожидаться ордера на помещение. Теперь же, в разгаре войны, получить помещение для канцелярий казалось совершенно невозможным. Но я ошибался.

Через несколько дней Козлов возвратился сияющим.

— Мы нашли что-то особенное! — торжествующе объявил он нам.

Мы были сразу же приглашены на осмотр нового помещения и через четверть часа уже стояли перед импозантным зданием на Обуха улице № 3.

Этот дом тоже находился в центре города, недалеко от бульварного кольца трамвайной линии «А». Очевидно это был раньше особняк какого-нибудь купца или высокопоставленного чиновника. В доме были большие комнаты с высокими окнами и весь он был окружен садом. Прекрасный, по московским понятиям, въезд вел ко входу в здание. Этот дом я уже и раньше знал. До начала войны в 1941 году это был «Дом для эмигрантов». Много лет в этом здании жили, правда в очень уплотненных условиях, немецкие и австрийские эмигранты. И так как часть из них была выслана в Казахстан, а часть эвакуирована в Томск, то здание теперь пустовало.

Для наших целей оно нам показалось слишком большим.

— Неужели весь этот дом предназначен только для института № 99?

— Нет, не весь. Половина. Во второй половине будет находиться другая инстанция.

— Какая же?

Козлов в некотором смущении почесал затылок.

— Польский Комитет национального освобождения.

Его смущение было понятным. Такое «сожительство» было в политическом отношении не совсем удачным. Уже весной 1944 года намеками говорили о будущей немецко-польской границе, которая для Германии была не особенно

выгодной. Козлов, которому эта мысль была неприятна, успокаивал нас:

— Эти две инстанции будут, конечно, совершенно отделены друг от друга. В доме есть два отдельных выхода, так что вы сможете работать совершенно спокойно, не опасаясь какого-либо контакта с Польским Комитетом.

Но не прожив еще и двух недель в этом здании, мы уже читали в одной из нацистских газет, что в Москве немецкий и польский национальные комитеты, помещаются в одном здании и работают вместе. Это сообщение всех довольно сильно взволновало. Нам было не понятно, каким образом этот факт, в разгаре войны, так скоро стал известен нацистам.

В редакции, после переселения в новое здание, произошли некоторые перемены. Мы получили двух новых членов редакции: Вилли Эйльдермана и Петера Флорина.

Вилли Эйльдерман незадолго перед этим приехал из Северной Африки. Он боролся в Испании и был впоследствии интернирован в Северной Африке, затем после высадки союзников был освобожден и вступил в британскую армию, в рядах которой пробыл некоторое время. На основании одного соглашения он прибыл вместе с несколькими другими товарищами через Тегеран в Москву. Позже я встречал его как работника СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии) в Берлине; какое-то время он работал и в редакции газеты СЕПГ «Единство» („Einheit").

Петер Флорин, сын бывшего члена Политбюро немецкой компартии Вильгельма Флорина; я знал его еще раньше, так как мы вместе с ним учились в школе Карла Либкнехта и даже были некоторое время друзьями. После 1945 года я встретил его в Галле, где он был главным редактором органа СЕПГ «Свобода». Впоследствии он снова получил повышение и стал начальником отделения в министерстве иностранных дел советской зоны Германии, а также председателем комиссии по внешней политике при Народной палате.

В связи с общим расширением работы редакции привлекли и меня к исполнению маленьких редакционных работ, но это не снимало с меня обязанности делать свою прежнюю работу. Несмотря на все это, я был все-таки недоволен, так как происшедшие перемены не принесли никаких изменений в стиле работы и самодержавное господство Гернштадта продолжало довлеть над нами.

Вполне понятно, что я был весьма обрадован, когда в мае 1944 года характер моей работы внезапно изменился.

В середине мая 1944 года я встретил Антона Аккермана, тогдашнего заведующего радиоредакцией.

— Мы думаем, что было бы не плохо, если бы ты перешел к нам и работал бы диктором. Работа тебе определенно понравится. Во всяком случае она будет для тебя гораздо интересней, чем та, которой ты занимаешься в редакции газеты.

— Конечно, я с удовольствием перешел бы, но я не уверен, что Гернштадт меня отпустит.

Антон Аккерман улыбнулся.

— Если ты согласен, то можешь спокойно переходить. Я уже говорил с Гернштадтом по этому поводу.

— Из-за меня никаких задержек не будет. Для меня — чем скорее, тем лучше.

— Хорошо, тогда пойдем. Сейчас мы доберемся на машине до радиостанции и ты будешь иметь возможность на месте со всем подробно ознакомиться.

Я думал, что мы поедем к московскому радиоцентру. Вместо этого, мы поехали в противоположном направлении. Через четверть часа машина остановилась перед новым домом на Шаболовке № 34. Этот дом был также окружен садом, обнесен забором и охранялся. На проходной смотрели наши бумаги и только теперь я понял, где мы находимся. Это была первая телевизионная станция Советского Союза. Она была, насколько мне известно, построена в 1938-1939 годах и с тех пор здесь делались телевизионные передачи, правда в очень скромном объеме.

В начале войны работа на станции была прекращена и теперь ее использовали для радиопередач Национального комитета «Свободная Германия». Позже я слыхал, что из другой студии, но в том же доме, посылались знаменитые «реплики, врывавшиеся во враждебные передачи».

Мне рассказывали, что эти передачи, благодаря особым приспособлениям, настраивались на немецкие волны так, что эти реплики легко можно было вставлять. Несколько раз я слышал, что человек, бросавший эти реплики в эфир, о которых наверное могут вспомнить все радиослушатели Германии, был не кто иной, как Пауль Вандель, мой прежний учитель по школе Коминтерна.

В огромной комнате, которая была вся заставлена сложными телевизионными аппаратами, нас приветствовали инженер и его сотрудники.

Антон Аккерман и наш диктор Фриц Гейльман, бывший депутат провинциального парламента (ландтага) от КПГ в Тюрингии, ознакомили меня с работой.

— Это совсем просто, — заметил Антон Аккерман. Ты внимательно прослушай, как Гейльман читает передачи, а потом мы сделаем с тобой несколько пробных передач.

Я надеялся, что мне дадут хоть какое-то время, чтобы войти в работу, но мне сразу же сунули в руки тексты следующей передачи.

— Ну, Вольфганг, не хочешь ли сразу попробовать, — спросил меня Аккерман.

— Как, сразу в эфир?

Незадолго до следующей передачи, я поместился в студии рядом с Фрицем Гейльманом. Торопливо он дал мне еще несколько важных указаний. Через короткое время вспыхнула красная лампочка. Я услышал мелодию: «Бог, повелевший расти железу» („Der Gott, der Eisen wachsen ließ“). Этой мелодией всегда начинались наши передачи. Затем послышался ясный голос Фрица Гейльмана:

— Внимание, внимание, говорит радиостанция Национального комитета «Свободная Германия»! Мы говорим от имени немецкого народа! Мы призываем к спасению государства!

После того, как Гейльман прочел последние известия, я начал читать военную сводку.

После передачи Аккерман, дружески улыбаясь, сказал:

— Вот видишь, все идет отлично. У тебя голос создан для радиопередач. Если хочешь, можешь завтра же начинать. Первое время ты будешь читать вместе с Фрицем Гейльманом, но как только ты ознакомишься со всеми уловками, вы сможете тогда делить передачи между собой.

Так я стал диктором радиостанции «Свободная Германия».

Это была очень напряженная работа, но зато мы были прекрасно обеспечены. Дикторы, особенно, если им приходилось работать и по ночам, принадлежали в Советском Союзе к наиболее высокооплачиваемым категориям людей. Каждый из нас в здании радиостанции имел отдельную комнату для отдыха и два раза в неделю мы получали помимо питания в

гостинице «Люкс» еще добавочные продукты, именуемые пайком.

Но профессия диктора в Советском Союзе имеет и свои теневые стороны. Контроль и служба подслушивания работали исключительно четко. Малейшая оговорка строго каралась. К счастью радиостанция «Свободная Германия», единственная в СССР, находилась на особом положении: мы не были присоединены к органам контроля и службы подслушивания. Нашим радиоконтролером был Бруно Шрам, партийный работник из Берлина-Нейкёльна, который после 1933 года эмигрировал в СССР, а в гражданскую войну в Испании участвовал в сражениях. В его задачу входило записывать все технические помехи, а также наши оговорки и ошибки, в особую книгу, и показывать Антону Аккерману, который делал в ней свои пометки.

В течение целого года в наши передачи вкралось только несколько незначительных ошибок. Действительное несчастье случилось на нашей радиостанции всего один раз.

Иногда жена президента Национального комитета Ли Вейнерт заменяла нас, если кто-нибудь заболевал или должен был отлучиться. Часто случалось, что за несколько минут до передачи нам звонили и просили внести кое-какие изменения. Однажды вечером, когда на передаче была Ли Вейнерт, незадолго до начала опять позвонили и попросили ее переменить слово «фашизм» на первой странице текста на слово «национал-социализм». Сразу же после звонка загорелась красная лампочка и Ли Вейнерт протрубила в эфир:

— Говорит радиостанция национал-социализма.

Это было ужасно, и судьба Ли Вейнерт была бы решена, если бы она работала на Московском радиоузле. К счастью эта оплошность не имела для нашей радиостанции тяжелых последствий.

Перед началом передач было принято делать пробу, чтобы проконтролировать техническую проводку. Было разрешено говорить из любого текста, так как все равно это не попадало в эфир. Однажды, когда я делал подобную пробу, мне захотелось прочесть мое обращение на английском языке:

«Внимание, внимание! Говорить радиостанция Национального комитета «Свободная Германия»! Мы говорим от имени немецкого народа! Мы призываем к спасению государства».

Когда я вышел из студии, меня встретила женщина-инженер с побледневшим лицом: моя пробная фраза пошла в эфир . . .

— Что теперь будет? — прошептала она, страшно взволнованная. Мне было также не по себе. Как и все редакторы, я предполагал, — имея на это основание, — что наши передачи внимательно подслушиваются западными союзниками в Лондоне и Нью-Йорке. Что же подумает служба подслушивания в Лондоне и Нью-Йорке, когда услышит нашу передачу на английском языке?

Но самые неприятные минуты моей работы на радиостанции я пережил несколько недель спустя.

Я удобно уселся в нашей маленькой студии и уже загорелась красная лампочка, как вдруг я увидел около микрофона маленькую мышку. «Внимание, внимание, говорит радиостанция «Свободная Германия» — начал я. Мышка посмотрела на меня с интересом. Она находилась на одном уровне с моим ртом на расстоянии каких-нибудь 40 см и могла бы в любой момент прыгнуть мне в рот.

Пока я читал последние известия, мышь сидела спокойно. Медленно я начал протягивать руку к выключателю, чтобы в крайнем случае прекратить передачу. Если мышь зашевелится, я сразу же выключу.

Наконец передача окончена!

— Мышь, — закричал я и выбежал из студии. Оба инженера выскочили навстречу и мы сообща выгоняли мышь веником, в то время как по радио передавали соображения одного генерала, старавшегося доказать всю бесперспективность войны для национал-социалистов. Но и наши попытки поймать мышь были столь же бесперспективными. Однако нам хоть удалось прогнать ее веником из студии.

Работа на радиостанции доставляла мне много радости, она приносила мне также в некотором отношении и большую пользу: так между передачами я мог слушать сколько угодно и какие угодно иностранные радиостанции. Это была привилегия, которой удостаивались лишь немногие, так как с началом войны у населения были отобраны все радиоприемники.

Как только я кончал передачу, я сразу же устремлялся к приемнику, чтобы слушать иностранные радиостанции. Нацистские радиостанции меня не интересовали, в большинстве случаев я включал лондонское БиБиСи. Вскоре я открыл од-

ну союзную радиостанцию, которую я впоследствии всегда слушал — это была «Солдатская западная радиостанция» („Soldatensender West“), находящаяся где-то в Англии. Она удачно соединяла антигитлеровскую пропаганду с танцевальной музыкой. Врывавшийся среди музыки комментарий «Здесь высказывается один товарищ о текущем моменге», был всегда пропагандистски хорош. Я и тогда считал эти передачи исключительно интересным примером эффективной радиопропаганды.

АНТОН АККЕРМАН И РАДИОРЕДАКЦИЯ

Мой новый начальник Антон Аккерман был человеком совершенно иного типа, чем Рудольф Гернштадт. Он часто по-дружески справлялся о том, как мне нравится новая работа и вскоре привлек меня к совместной работе в редакции.

— Если ты хочешь, то можешь присутствовать и на редакционных совещаниях. Ты будешь тогда иметь полное представление обо всем и, может быть, скоро сможешь и сам писать статьи и комментарии.

Я, конечно, согласился, и с тех пор, вплоть до окончания войны, всегда принимал участие в заседаниях.

В отличие от самодержавного руководства Гернштадта в редакции газеты, в радиостудии существовал настоящий рабочий коллектив.

Антон Аккерман, который руководил редакцией и писал самые важные комментарии, никогда не держал себя, как начальник, но в то же время пользовался настоящим авторитетом. Он обладал, вне всякого сомнения, гораздо большими способностями, чем все его сослуживцы.

Аккерману тогда не было еще и сорока лет. Родился он в декабре 1905 года в Тальгейме, сначала принимал участие в движении молодежи, а в 1926 году вступил в коммунистическую партию. Вскоре после этого он работал в округе Плауэн/Цвикау, откуда, благодаря своим выдающимся способностям, был направлен в 1928 году в Москву для получения политического образования. В октябре 1935 года, на так называемой Брюссельской конференции он был избран в Центральный комитет и в Политбюро КПГ.

Во время гражданской войны Аккерман находился в Испании и в 1940 году вернулся в Советский Союз. Там он под-

писал воззвание коммунистической партии Германии, декларацию к немецкому народу, воззвание, выпущенное в связи с созданием Национального комитета «Свободная Германия» и был непосредственно после создания Национального комитета назначен заведующим радиостанцией.

Ежедневные военные комментарии составлял Курт Фишер, который в молодости вступил в коммунистическую партию Германии и провел большую часть своей жизни в Советском Союзе. Он не принадлежал к официальному партийному руководству и, казалось, имел мало связи с немецкой партией. Даже будучи работником Национального комитета он жил не в «Люксе». В Советском Союзе он избрал военное поприще, говорили даже, будто он окончил Академию генерального штаба Красной армии и часто выполнял, в Китае, например, особые задания. Он любил все держать в секрете и легко раздражался. Чувствовалось, что трудно ему было порой сдерживаться и подчиняться Аккерману. Мне часто думалось тогда: «Не хотел бы я быть подчиненным Фишера, если бы он имел власть в своих руках». Мои опасения оправдались. После 1945 года Фишер был назначен министром внутренних дел Саксонии, где он использовал свое положение не только для бесцеремонных преследований инакомыслящих, но и для личного обогащения и устранения противников, казавшихся ему опасными.

Большую часть коротких комментариев на другие темы составлял Фриц Эрпенбек, способный и многосторонне образованный журналист, который написал в Советском Союзе новеллу о Первой мировой войне «...но я не хотел быть трусом», и имевший большой успех роман «Основатели». После 1945 года Эрпенбек работал, как свободный журналист, в разных газетах и журналах, а впоследствии был назначен заведующим отделом «Изобразительного искусства и музыки» в комиссии по делам искусства советской зоны.

В то время как Фишер и Эрпенбек преимущественно занимались редакционной работой в нашей «городской редакции», Макс Кейльсон, — впоследствии главный редактор Берлинской газеты СЕПГ «Вперед» („Vorwärts“) и Густав фон Вангенхейм, после 1945 года временный интендант Немецкого театра, — осуществляли связь между радиоредакцией и официальным Национальным комитетом в Луневе. Наконец, в состав редакции входили Лоре Пик, дочь Вильгельма Пика, вначале составлявшая передачи, а позже принимавшая уча-

стие в редакционной работе, и Ганс Мале. Он записывал своим приемником на пластинку составленные в Луневе передачи. Для связи между Национальным комитетом в Луневе и радиостанцией на Шаболовке в нашем распоряжении находились две американские автомашины.

Актуальный материал — информация и комментарии дня — составлялись в нашей городской редакции на Обуха ул. 3, тогда как большие передачи — воззвания, декларации, комментарии конца недели—составлялись в совместной работе членов Национального комитета и «Союза немецких офицеров» в Луневе.

Система работы наших сотрудников в Луневе была различной. Иные составляли статьи по собственной инициативе, другие просили предоставить им материал для тем, согласованных с нашими сотрудниками. В общем, — насколько я мог судить по собственным наблюдениям, — работа была дружная и плодотворная. В те времена, 1943-1945 годы, все наши редакторы, и больше всего сам Аккерман, высоко ценили честную, дружную совместную работу.

Лишь в исключительно редких случаях в радиокомментарии, составленные генералами и офицерами из Национального комитета, наша радиоредакция предлагала внести некоторые изменения, которые, однако, никогда не предпринимались без согласия авторов. Это касалось также и проповедей, передаваемых в воскресные дни поочередно по нашей радиостанции: католическими военными пасторами — Кайзером и доктором Людвигом, и лютеранскими пасторами — Шрёдером и Д. Круммахером.

С продвижением советских войск, с увеличением численности немецких генералов и офицеров, попадавших в плен и примыкавших к Национальному комитету, росло число желающих участвовать в передачах. К постоянным сотрудникам радиоредакции принадлежали между прочим: генерал-майор д-р Отто Корфес, генерал-майор Мартин Латман, полковник Ганс-Гюнтер ван Ховен, майор Эгберт фон Франкенберг и Прошлитц, майор Генрих Гоман, старший лейтенант Фриц Рюкер, старший лейтенант Фридрих Рейхер, и ефрейтор д-р Гюнтер Керчнер.

Как у Аккермана, так и у других редакторов радиостанции было явное желание не навязывать нашим новым товарищам из Лунева наших воззрений, а учиться у них и в тесном контакте вести общую борьбу против Гитлера. Быть мо-

жет эта работа была бы еще успешней и сплоченней, если бы Аккерман и члены городской редакции имели полную свободу действий; все статьи газет, все радиопередачи проходили через советскую цензуру. Правда, она была далеко не так строга, как цензура официальных передач Московского радио, или передач «Немецкой народной радиостанции» (голоса КПГ), руководимой немецкими служащими института № 205, но все же каждая строчка проходила цензуру.

После окончания редакционной работы, диктор обязан был передать цензору весь материал. Я должен был каждый второй день ездить с текстами передач в нашей американской машине в Главное политическое управление Красной армии, которое находилось во время войны в большом здании на Арбатской площади. Там весь материал просматривался полковником Брагинским, заведовавшим в то время 7-ым отделением (пропаганда на языках держав «оси»). Брагинский до войны был профессором восточных языков, а кроме того прекрасно владел всеми западно-европейскими языками, и среди всех, кого я знал, был одним из образованнейших советских людей! Он, как и Эрне Гере, обладал особой способностью быстро схватывать главные факты и вся цензура длилась не более нескольких минут.

В редких случаях работу полковника Брагинского выполняла Фрида Рубинер, многолетняя коммунистка; в начале двадцатых годов она переводила на немецкий язык книги Троцкого, Бухарина и Радека (об этом она вспоминала, наверное, неохотно) и долго жила в Советском Союзе. Во время войны она была одной из немногих немок, служивших в ПУРККА. Фрида Рубинер составляла листовки и воззвания, написала брошюру «Правда о Советском Союзе», напечатанную под псевдонимом Ф. Ланг, широко распространяемую в лагерях военнопленных.

Редко случалось, что полковник Брагинский или Фрида Рубинер изменяли передачу. Статьи, составляемые нами в городской редакции, читались мною в исправленном цензурой изложении. Гораздо сложнее обстояло дело, когда требовалось изменить что-либо в комментариях, составленных генералами и офицерами в Луневе и записанных уже на пластинки.

В таких случаях нами был найден выход из положения, думаю, единственный в истории современной радиотехники. Пластинка проигрывалась до места, которое необходимо бы-

ло вычеркнуть; здесь техник острым предметом вырезал на пластинке кусочек так, что вместо слов получалось шипение. Женщина-радиотехник отмечала себе это и во время передачи давала мне знак. Пластинка выключалась мною на несколько секунд, и слушатель вполне мог подумать, что это случайная помеха.

Из всех радиостанций того времени, наша была, пожалуй, самая примитивная: маленький магнитофон и простые пластинки, вот все, что было в нашем распоряжении для передач.

Несмотря на это наши передачи часто бывали живее и интереснее официальных московских передач, не отставали они и от передач западных союзников. Я объясняю это правильной постановкой дела нашим руководителем Аккерманом, который сумел создать товарищеское содружество коллектива с членами радиоредакции в Луневе. Тогда я надеялся на то, что совместная работа с нашими новыми товарищами из Национального комитета после уничтожения национал-социалистического режима не только продолжится, но и окрепнет. Все это оказалось, однако, иллюзией — как и многое, во что я верил в 1944 году.

НАДЕЖДЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ

Через моих новых друзей в гостинице «Люкс» я скоро связался с советскими комсомольцами. В Москве я снова встретил Яна Фогелера. Жил он в «Доме правительства», в огромном здании для партработников, на берегу Москвы-реки.

У него часто собирались русские и иностранные комсомольцы. Это были, главным образом, студенты, интересующиеся литературой, философией и политикой; были между ними и студенты знаменитого «ИФЛИ» (института философии, литературы и истории), высшей школы, куда особенно стремилась попасть молодежь, но в которую принимали только после чрезвычайно строгого экзамена, выдержать который было очень трудно. Бывали у Яна и студенты педагогического и юридического факультетов, или комсомольцы, специально обученные для выполнения особых заданий (например, будущие партизаны). Наши дискуссии были очень интересны и продолжались, порою, всю ночь напролет.

Все мы жили надеждой, что победа над фашизмом вызовет в Западной Европе рождение чего-то «совсем нового», что совершится огромный общественный переворот; некоторые из нас употребляли даже слово «возрождение», надеялись на возникновение новых социалистических движений и новых социалистических государств, которые во многих отношениях должны были быть «иными», чем Советский Союз. Последнюю мысль высказывали, конечно, завуалированно.

После того, как в начале августа 1943 года впервые была отмечена салютами и фейерверками победа Красной армии под Курском и Орлом, стало обычным оповещать победы Красной армии салютами, экстренными радиопередачами, фейерверками. При особо значительных победах тысячные толпы людей ликовали на улицах в надежде на скорый конец войны, на то, что минует опасность для всех. Но вскоре люди привыкли и стали расценивать победы, как подтверждение, что война вступила в свою последнюю фазу.

В начале 1944 года, когда советские войска подошли к реке Прут — советской границе — радость населения была огромна, несмотря на то, что большая часть СССР была еще занята вражескими войсками.

По случаю перехода советско-румынской границы «Правда» опубликовала декларацию, по которой советское правительство «не преследует ни цели захвата части румынской территории, ни изменения общественной системы. Занятие Румынии советскими войсками диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника».

Среди нас, комсомольцев, шли страстные дискуссии: во что все это выльется? Румыния — монархия с капиталистическим строем и феодальным крупным землевладением. А Красная армия входит в страну с декларацией о неприкосновенности румынской системы!

Мнения были различны.

— Это лишь формальная декларация. После вступления Красной армии, конечно, все изменится, — говорили одни.

Другие возражали:

— Нужно декларацию понимать буквально. Уже при роспуске Коминтерна было сказано, что условия борьбы в отдельных странах будут зависеть от их особенностей. Если не начнут действовать румынские рабочие и крестьяне, то все останется по-прежнему.

Насколько в первые годы войны весь интерес сосредоточивался на положении на фронте, настолько с продвижением Красной армии все менялось. Люди все более начинали интересоваться политическими переменами, которые уже наступили, и переменами, которых ожидали по окончании войны.

Уже тогда думали мы часто и о Китае.

Однажды вечером в «Люксе» среди группы молодых товарищей я встретил китайскую девушку лет двадцати. Она как раз рассказывала о жизни в столице китайских партизан, — Иенани, — в которой она прожила много лет.

— Говорят, она дочь Чжоу Энь-лая, — услышал я шепот товарища. Между прочим, она рассказывала, что любой может запросто в Китае разговаривать с Мао Цзэ-дуном и Чжу-де, что они ходят в обычной солдатской форме без знаков различия и принимают участие в спортивных играх вместе с партизанами.

— В свободное время мы часто играем в воллейбол, игра известная и здесь, в России; с нами играют и Мао Цзэ-дун и Чжу-де, — говорила она.

Не высказываясь, конечно, вслух, каждый из нас мысленно невольно сравнил советского и китайского вождя и представил себе, как же это выглядело бы, если бы Сталин или Молотов начали играть с простыми солдатами в воллейбол.

Я невольно подумал: а ведь жизнь в главном партизанском городе Иенань, несмотря на все трудности, все же, пожалуй, много лучше, непринужденней, естественней, чем в Москве.

Девушка нам всем нравилась, но к сожалению, молодая китаянка скоро должна была опять уехать; я ее больше никогда не видел. Может быть, она тогда же вернулась опять в Китай.

Во время дискуссии мы все время возвращались к одному вопросу: не изменится ли жизнь в Советском Союзе после победы? Известные послабления в системе уже были ясно видны; так, например, в течение войны были освобождены арестованные генералы и офицеры, и некоторые из них заняли вновь высокие посты. Теперь в разговорах годы чисток уже слепо не защищались. Цензура в искусстве и литературе была смягчена.

В то время показывали советский фильм, в котором была интересная деталь. В одном из кадров фильма происходил разговор между партработником и беспартийным. Разговор шел об ужасах, которые несет с собой война, и беспартийный высказал мысль, что было бы прекрасно, если бы снова вернулось довоенное время. На это партработник возразил:

— Да, конечно, но полного возврата больше не может быть, и мы научились чему-то. Мы были часто слишком строги.

Когда я смотрел этот фильм, название я, к сожалению, забыл, я сразу почувствовал, какое сильное впечатление произвела на зрителей эта маленькая сцена.

Следующим симптомом послаблений нам казался тот факт, что в Москве появилось большое количество иностранных фильмов. Между прочим, шел «Багдадский вор», американский фильм «Серенада солнечной долины» и американские фильмы, описывающие жизнь в Советском Союзе, как, например, «Миссия в Москву», «Северная звезда», фильм, показывающий жизнь в советском колхозе и документальный фильм — «Поход в Россию», изготовленный американской пропагандной инстанцией.

Этот американский документальный фильм был составлен исключительно по материалам советских фильмов, но все длинноты были убраны, многое сокращено, сжато и показывался он в таком захватывающем дух темпе, что мы приходили в восхищение. Фильмы «Миссия в Москву» и «Северная звезда», напротив, вызывали в зале веселое настроение, порой слышался освежающий душу смех, потому что даже самые верноподданные сталинцы должны были согласиться, что жизнь колхозника далеко не так сладка и весела, как она показана в американских фильмах!

Тот факт, что появились иностранные фильмы, что можно было купить на русском языке журналы «Америка» и «Британский союзник» давало нам повод предполагать, что жизнь в Советском Союзе по окончании войны и во многом другом станет свободнее.

Затем, в начале июня 1944 года, была осуществлена высадка союзных войск в Нормандии. Я в этот день был свободен и находился в институте № 205. Настроение было приподнятое, радостное, все были взбудоражены. Повсюду включали западные радиостанции. Многие двери стояли настежь

и в коридоре можно было слушать последние сообщения об успешном вторжении.

В «Правде» это событие было дано под крупными заголовками; редко случалось, что события, происходившие вне Советского Союза отмечались так ярко и выдвигались на первый план.

Когда я вернулся из института в город, — там главной темой разговоров было также вторжение. Английских и американских офицеров, бывших в то время в Москве, поздравляли на улицах и в эти дни можно было видеть знак победы (Victory — V), который Черчилль сделал на Западе столь популярным.

Через два дня «Правда» опубликовала интервью со Сталиным. В нем Сталин отзывался о высадке во Франции как о «блестящем успехе наших союзников» и заявил:

«Надо признать, что военная история не знает еще такого начинания, которое по своему мощному плану, величию масштаба и мастерству проведения могло бы сравниться с этим».

В эти дни советские газеты восхваляли западных союзников, а 11 июня 1944 года в советской прессе был опубликован документ, о котором потом никогда больше не упоминалось: список оружия, доставленного Советскому Союзу его западными союзниками с 1 октября 1941 года по 30 октября 1943 года. Удивляясь, читали мы, сколько одна Америка прислала Советскому Союзу. Среди прочего было: 6 430 самолетов, 3 734 танка, 82 миноносца и маленьких подводных лодок, 206 771 автомашина, 22,4 миллиона снарядов, 87 900 тонн пороха, 245 000 телефонных аппаратов, 5,5 миллионов сапог для армии и более 2 миллионов тонн продовольственных припасов. Это была лишь часть огромных поставок США, Англии и Канады Советскому Союзу. Всюду говорили, что в связи с обнародованием списка и с образованием второго фронта, отношения между союзниками окончательно стабилизировались и после свержения Гитлера совместная послевоенная политика обеспечена.

Близкий конец войны, правительственная декларация о невмешательстве во внутренние дела отдельных государств, которые занимали советские войска, вторжение союзников на Западе, интервью Сталина о вторжении, сообщение о материальной помощи западных союзников, появление журналов «Америка» и «Британский союзник» на русском языке,

иностранные фильмы, ослабление цензуры, новый подход к «чистке 1936-1938 годов», реабилитация некоторых бывших «врагов народа» — все это давало советскому народу надежду на лучшее будущее, на что-то «другое» после окончания этой страшной войны.

МОСКВА И 20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА

Не успел я раз вернуться из студии после передачи, как зазвонил телефон. У аппарата был Курт Фишер. Взволнованно закричал он в телефон:

— Только что получено сообщение о покушении на Гитлера. Будь готов к полной перестановке радиопередач до завтрашнего обеда. Статьи будут поступать беспрерывно.

Покушение на Гитлера!

Я хотел задать ему еще несколько вопросов, но Фишер повесил трубку.

Даже начало войны 22 июня 1941 года меня так не взволновало, как это сообщение. «Наконец»! — подумал я. И в Германии началась открытая борьба против Гитлера. Война закончится, и Германия будет сохранена от оккупации. Поставленная Национальным комитетом цель была правильной, неправы были те, кто в Советском Союзе, подобно Эренбургу, смешивал в одно нацистов и немцев.

Даже русская женщина — радиотехник, не интересовавшаяся политикой, была на этот раз очень взволнована. Из передачи она поняла только одно: «Кончится война! Как это будет хорошо!»

Мы включили свой радиоприемник, чтобы послушать сообщения со всех концов света. Подробностей случившегося я еще не знал. Не знал и о неудаче покушения.

Между тем, была созвана вся редакция, и уже час спустя поступили в радиостудию первые комментарии.

Мне помнится прекраснейшая статья Фрица Эрпенбека, в которой описывалась наглядная необходимость единого действия всех противников Гитлера. В его статье социал-демократы и коммунисты призывались объединиться с прусскими генералами и сплоченной силой выступить против Гитлера, генералов убеждали не отказываться от сил, которые были согласны их поддержать.

Национальный комитет переживал волнующие часы и дни. Разумеется, мы все желали успехов участникам движения 20-го июля. Мы осознавали яснее, нежели враги Гитлера в Германии, что только уничтожение режима Гитлера руками самих немцев дает шансы на сохранение единой, независимой Германии.

Советская официальная пресса подробно сообщала о событиях 20-го июля. И раздутые сообщения вызвали у населения Москвы напрасные надежды.

Случайно на вечер того же дня, когда были получены первые сообщения о событиях 20-го июля, мы назначили комсомольское собрание. В комсомол должна была быть принята «новая». Как всегда этой «новой» ставились членами комсомола вопросы, чтобы проверить ее политические знания. На первые общие политические вопросы она отвечала, запинаясь и неуверенно.

Вдруг кто-то спросил:

— Что ты знаешь о последних политических событиях в Германии?

С большим воодушевлением она рассказала сначала в нескольких словах то, что было сообщено о событиях 20 июля в «Правде». Она все больше и больше входила в азарт и передала, как действительные факты, даже такие сообщения, которые «Правда» приводила в виде «предположений иностранных кругов».

— В Германии власть в руках нового правительства, состоящего из оппозиционных генералов и антифашистов. а в скором времени будут вестись переговоры о мире между новым правительством и антигитлеровской коалицией.

В ближайшие дни выяснилось действительное положение вещей. Разочарование увеличилось, когда стало известно, что покушение не удалось, что участники покушения и сторонники активных действий арестованы и расстреляны.

После раскрытия заговора 20 июля и расправы над заговорщиками советская пресса больше о нем не упоминала. В передачах же и в газете «Свободная Германия» мы подробно анализировали это движение.

Во всех статьях участники движения 20 июля выдвигались, как пример мужества и решительного действия, им высказывались недвусмысленные похвалы. Критические замечания ограничивались тогда тем, что участниками заговора 20 июля ошибочно «не была установлена тесная связь с во-

енными командирами, которые согласны были участвовать в перевороте». Главное внимание обращали на запасные части войск, а в действующих армиях ограничивались тем, что осторожно зондировали мнения и настроения офицеров высшего командного состава. Среди оппозиционных генералов были разногласия или, во всяком случае, неясность в вопросе «как закончить войну». Действующая армия умышленно не была втянута в это движение, чтобы не лишиться ее как силы при мирных переговорах. Эта тактика, как подчеркивалось Национальным комитетом, оказалась неверной. Если бы была установлена тесная связь с военными командирами, готовыми поддержать переворот, действия 20 июля, даже при неудаче покушения в ставке главнокомандующего, могли бы привести к успеху. Кроме того было ошибкой «ограничиться лишь связью с верхушкой административного аппарата, торговых и промышленных кругов, оставив в стороне массу населения», так как «без участия сильных групп рабочих и служащих успех был не мыслим».

Так судили тогда о движении 20 июля в Москве. Спустя же десять лет в июле 1954 года, участников 20 июля в прессе советской зоны всячески ругали и клеветали на них. Газета СЕПГ «Единство» („Einheit“) в июле 1954 года утверждала:

«Заговорщики 20 июля хотели спасти немецкий милитаризм и империализм, поскольку это было еще возможно. Их союзниками были уже тогда реакционные круги американского и британского империализма, которые совместно с реакционными монополистами и реакционным генералитетом хотели продолжать войну против Советского Союза, первого государства рабочих и крестьян». «Участники заговора 20 июля, — писал центральный орган СЕПГ, 20 июля 1954 г., — не были принципиальными противниками фашизма . . . Они были кровь от крови и плоть от плоти немецкого империализма . . . Попытка выставить себя и других заговорщиков 20 июля, как борцов против фашизма, не могла прикрыть их настоящих целей. Эти цели как тогда, так и сегодня враждебны народу и антинациональны».

Так менялась коммунистическая оценка событий 20 июля.

ВТОРЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛОВ

Но не только события 20 июля держали нас тогда в напряжении. Со вторжением союзников в июне была пробита большая брешь на западном фронте, на юге союзные войска продвигались к Италии, и в начале 1944 года началось советское генеральное наступление, которое в несколько недель разгромило центральную часть немецкого фронта и прорвало граничащие с ней фронтовые линии.

8 июля 1944 года нам сообщили, что заместитель командира 12-го корпуса Винценц Мюллер принял ультиматум Красной армии и издал личный приказ о капитуляции окруженным частям на востоке от Минска.

«Наше положение после долгих и тяжелых боев — безвыходно . . . Конец безнадежному кровопролитию! Я приказываю поэтому немедленно прекратить сражение. Приказываю на местах, под командованием офицеров или унтер-офицеров, собираться группами в 100 и более человек. Собрать всех раненых!»

Этот приказ был напечатан в газете «Свободная Германия» и читался многократно по радио.

Как у нас, так и в Луневе все были в сильном волнении. Генерал фон Зейдлиц объяснил в своем комментарии:

«Генерал Мюллер — первый немецкий генерал, который сознательно пошел против указаний и категорических приказов Гитлера; этим он спас жизнь тысячам немецких солдат для будущего Германии. Мы приветствуем этот истинно патриотический шаг этого немецкого генерала!»

Только позже узнал я от уполномоченного Национального комитета на фронте, что нами и генералом фон Зейдлицем была получена неправильная информация.

— История с капитуляцией и с известным приказом Винценца Мюллера не соответствует действительности. Винценц Мюллер, как и другие генералы, был взят в плен и только в плену составил этот знаменитый приказ, который был распространен русскими среди окруженных немецких частей.

— Да, но Винценц Мюллер был с этим согласен?

— Конечно. Это было для него большим политическим шансом. Он сразу им воспользовался. После того, как он увидел, каким его окружили вниманием, он стал уговаривать и других генералов восстать против Гитлера и так быстро стал

противником фашизма и изменил все свои взгляды, что те, кто были долгие годы антифашистами, поражались этому перерождению. Еще в октябре 1944 года он, будучи католиком, ходил к исповеди, в ноябре поступил на курсы «Антифа», а когда вернулся в декабре в Лунево, был абсолютно «верен генеральной линии партии».

В отличие от некоторых других генералов, которые после долгой и тяжелой внутренней борьбы, но искренне и честно примыкали к движению «Свободная Германия» и не действовали только как «марионетки русских», Винценц Мюллер с корыстным расчетом перешел на сторону Советского Союза. Быстрая перемена его взглядов и преданность «линии» не остались незамеченными. Вскоре после его возвращения (осенью 1948 года) он занял пост заместителя председателя национал-демократической партии и был произведен в генералы народной полиции . . .

Расстрелы и террор, связанные с событием 20 июля привели к тому, что многие генералы и офицеры, относившиеся отрицательно или нейтрально к Национальному комитету, решили отбросить свои сомнения и в дальнейшем принять активное участие в борьбе против Гитлера. Для многих эти события стали последней каплей, переполнившей чашу терпения, тем более, что они потеряли в результате террора своих друзей и знакомых.

С разгромом центральной линии фронта в июле 1944 года, в течение нескольких недель в советский плен попало еще двадцать немецких генералов. 17 из них подписали уже 22 июля воззвание к германской армии на Востоке. В конце июля в гостинице «Люкс» поговаривали о том, что и фельдмаршал Паулюс примкнет к антифашистскому движению. Наконец, 8 августа 1944 года, в день казни в Берлине фельдмаршала Вицлебена, я получил в радиостудии декларацию Паулюса. Мне бросилось в глаза, что дата его декларации была вписана в последнюю минуту: «август 44» было напечатано на пишущей машинке, число же — «8 августа» — приписано им самим от руки. В этот вечер я смог передать по радио записанную на пластинку (как и все речи генералов и офицеров в Луневе) декларацию Паулюса:

«Внимание, внимание! Говорит генерал-фельдмаршал Паулюс, бывший главнокомандующий 6-ой армией. Вы слушаете генерал-фельдмаршала Паулюса».

Это была короткая декларация следующего содержания:

«Под Сталинградом 6-ая армия под моим командованием, следуя приказу Адольфа Гитлера, героически боролась до последней возможности, в надежде, что ее жертвенность поможет высшему командованию довести войну до не совсем неблагоприятного для Германии конца. Эта надежда не оправдалась. События последнего времени сделали продолжение войны для Германии бессмысленной жертвой. Красная армия продвигается по широкому фронту и в Восточной Пруссии подошла к границе Германской империи. На западе американцы и англичане прорвали линию обороны и продвигаются вглубь территории Франции. Германия не располагает резервами ни на востоке, ни на западе; превосходство сил противника в воздухе и на море подавляющее. Положение наше безвыходно!

В это положение поставил Германию, несмотря на геройство наших вооруженных сил и всего народа, своей политикой и ведением войны Адольф Гитлер.

К тому же зверское обращение его ставленников с населением занятых нами областей, вызвало у населения этих областей ненависть и отвращение по отношению к каждому истинному солдату, к каждому истинному немцу.

Если немецкий народ не отречется сам от этих поступков, он должен будет нести за них полную ответственность. Поэтому я считаю своим долгом объявить своим товарищам по плену и всему немецкому народу: Германия должна отречься от Адольфа Гитлера. Она должна избрать себе такой государственный строй, который прекратил бы войну и дал нашему народу возможность жить и завязать мирные, дружественные отношения с нашими теперешними врагами».

На следующий день, сидя в ресторане гостиницы «Люкс», я все еще находился под сильным впечатлением этого выступления.

Год тому назад я вряд ли поверил бы, что бывший главнокомандующий под Сталинградом решится на выступление против Гитлера.

Главной темой разговора в «Люксе» была, конечно, декларация Паулюса, но мой восторг вскоре поостыл.

— Почему это не было сделано им раньше? Ведь уже 1944 год и через несколько недель Красная армия окажется на германской границе?

Эта мысль проходила красной нитью во всех разговорах.

Высадка союзных войск на западе, события 20-го июля, разгром главного фронта, декларация Паулюса — привело все в движение. Советское наступление осенью 1944 года неудержимо развивалось дальше. Все больше немецких генералов попадало в плен и, в отличие от взятых в плен ранее, они легко поддавались политической обработке: большинство из них видело безнадежность положения национал-социалистической Германии и поэтому через несколько дней они соглашались подписывать воззвания и присоединялись к движению «Свободная Германия»*).

Уже столько генералов писало в газете «Свободная Германия», что военнопленные в лагерях орган Национального комитета называли «Генеральский вестник»**). Количество присоединявшихся к движению «Свободная Германия» все увеличивалось.

27 августа движение «Свободная Германия» выступило

*) Среди генералов, присоединившихся к движению «Свободная Германия» или подписавших воззвания, могу назвать следующих: Фолькерс (27-ой армейский корпус), Гольвицер (LIII а. к.), Траут (78 кадр. див.), Гофмейстер (41-ый танковый корпус), барон фон Лютцов (35-ый а. к.), Мюллер (XII а. к.), Энгель (45-ая пех. див.), Кламмт (260 пех. див.), Гиттер (206-ая пех. див.), Беме (73-ая пех. див.), Гейне (6-ая пех. див.), Тровитц (57-ая пех. див.), Михаелис (95-ая пех. див.), Конради (36-ая пех. див.), фон Штейнкеллер (танк. гренадерская див. «Фельдгеррнгалле»), Штрекер (XI а. к.), Гель (VII а. к.), Шлёмер (XIV танковый корп.), Постель (XXX а. к.), Эдлер фон Даниельс (376-ая пех. див.), Людвиг Мюллер (LIV а. к.), Байер (153-яя учебн. див.), Бушенхаген (III а. к.), фон Куровский (110-ая пех. див.), Лейзер (29-ая пех. див.), Корфес (295-ая пех. див.), Латман (14-ая танк. див.), Недтвиг (454-ая кадровая див.), фон Дреббер (297-ая пех. див.), Вейнкнехт (79-ая пех. див.), Тешнер (LS-бригада 1), фон Эрдмансдорф (коменд. Могилева), фон Девитц, он же фон Кребс (коменд. Кишинева), Брандт (уполном. офиц. в румынском районе добычи нефти), фон Боген (302-ая пех. див.), фон Аренсторф (60-ая пех. мот. див.), Мюллер-Бюлов (246-ая пех. див.), граф фон Гюльзен (370-ая пех. див.), Френкинг (282-ая пех. див.), Линдеман (361-ая пех. див.), Гир (707-ая пех. див.), Штингль (ком. корп. в Яссах), Тронниер (62-ая пех. див.), фон Лилиенталь (генерал-интендант), Буш (главнок. в Румынии), Деболь (44-ая див.), Вульц (IV а. к.), д-р Рэсс (немецк. воен. миссия пехотных сил в Румынии), Гебб (9-ая пех. див.), Арно фон Ленски (24-ая танк. див.).

**) По-немецки игра слов: General-Anzeiger.

еще с одним воззванием, но, несмотря на усилия Национального комитета повлиять на развивавшиеся в Германии события, гибельная война продолжалась. Это не осталось без последствий. 1 октября 1944 года газета «Свободная Германия» напечатала решения западных союзников, касающиеся будущей оккупации Германии. Комментарий к ним был короток: «Что эти задачи первыми должны будут решать оккупационные войска — не звучит лестно для нашего народа. Но еще не поздно загладить хотя бы часть ошибок, сделанных нашим народом. Еще можно с оружием в руках, направленным против режима Гитлера, объединиться с союзниками для уничтожения этого постыдного режима. Осталось не много времени!»

Наконец 8 декабря 1944 года было опубликовано знаменитое «Воззвание 50-ти генералов к народу и армии». К тому времени в советском плену было уже 80 немецких генералов. Из них 50 присоединилось к «Союзу немецких офицеров» (в котором состояло 4000 членов), а тем самым и к движению «Свободная Германия». Они все подписали последнее предостережение и призыв кончить эту гибельную войну: «Немцы! глубоко озабоченные будущим нашего народа . . . в последнюю минуту обращаемся мы, немецкие генералы, вместе с сотнями тысяч солдат и офицеров из русского плена к вам, немецкие мужчины и женщины . . . Час крушения перед лицом подавляющего превосходства коалиции противников приближается. Война уже проиграна! Несмотря на это, Гитлер хочет продолжать войну.

Наш народ не должен погибнуть! Поэтому война должна быть немедленно прекращена!

Немецкий народ, восстань на подвиг против Гитлера . . .

Немцы, мужественными делами спасите честь немецкого имени перед миром и сделайте этим первый шаг к лучшему будущему!»

Миллионы экземпляров этого воззвания были разбросаны на фронте. Много недель подряд мы давали его в эфир, снабжая коротким комментарием: почему подписавшие его пришли к необходимости свергнуть Гитлера, почему они за окончание войны, а также почему они присоединились к движению «Свободная Германия».

Это воззвание 50-ти генералов к народу свергнуть Гитлера и прекратить войну, оказалось в то же время и

высшей точкой в развитии движения «Свободная Германия» и его концом.

Гитлер продолжал войну. В январе 1945 года была окружена Восточная Пруссия, отрезана Силезия, Глейвиц, Гинденбург, Алленштейн, Мариенбург заняты Красной армией. Шли бои под Бреславлем, Познанью, Кёнигсбергом. Красная армия находилась в 200 километрах от Берлина.

8 февраля 1945 года началась Ялтинская конференция. Восточная Пруссия была уже отрезана. Восточнее Берлина Красная армия находилась под Кюстрином и Франкфуртом на Одере. По обеим сторонам Бреславля советские войска на отрезке в 300 километров перешли реку Одер. Не за горами было окончательное поражение национал-социалистической Германии.

Когда 12 февраля 1945 года были опубликованы резолюции, принятые на Ялтинской конференции, Национальному комитету оставалось лишь заявить: «Мы надеемся, что безмерное, заслуженное поражение фашистской Германии пробудит в немецком народе силу, которая даст ему возможность, после безжалостной чистки своего собственного дома и при страстном желании вернуть себе доброе имя, добиться достойного существования и снова занять свое место в сообществе наций».

Было ясно, что Национальный комитет не достиг своей цели. После воззвания 50-ти генералов не было оглашено больше никаких важных политических деклараций. Я видел, что работа в газете и на радиостанции шла лишь по инерции, в то время, как все важнейшие политические решения принимались совсем на другом уровне.

НАШИ ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ

«В ближайшие дни начнется курс изучения наших будущих политических задач в Германии».

Конечно, мы часто рассуждали о будущем, о том, как все сложится, если мы сможем когда-то вернуться опять в Германию. Но до сих пор это были только одни мечты. Перспектива начать изучение наших будущих задач втянула и меня в так называемую «немецкую лихорадку», которая, главным образом, распространилась среди эмигрантов старшего поколения. Среди же молодых находились и такие, ко-

торые отклоняли разговор о Германии: «Что Германия! Я охотнее остался бы здесь», — говорили они. Некоторые из них настолько руссифицировались, что между собой говорили исключительно по-русски и давно считали Советский Союз своей родиной.

Я не принадлежал к последним, наоборот, я горел желанием вернуться в Германию, чтобы заняться там политической деятельностью. Итак, я с большим нетерпением ждал начала курса изучения наших задач и директив для Германии.

Несколько дней спустя в помещении Московского горкома партии сидело около 150 немецких эмигрантов. Там я опять встретил окончивших школу Коминтерна: Мишу Вольфа, Яна Фогелера, Эмми Штенцель, Гельмута Генниза, Марианну Вейнерт, Гейнца Гофмана и ряд незнакомых мне эмигрантов. В лекциях принимали участие и некоторые сотрудники газеты и радиоредакции «Свободная Германия».

Вступительное слово сказал Вильгельм Пик:

— Мы будем раз в неделю собираться на доклады с дискуссиями, чтобы еще раз разобрать проблемы, решение которых будет нам необходимо для будущей работы в Германии.

Первые два вечера мы слушали доклады Вильгельма Пика — об общих задачах и Вальтера Ульбрихта на тему «Целеустремленность антифашистско-демократических сил». В следующие вечера выступали: Герман Матерн — об опыте борьбы компартии Германии в период Веймарской республики; Антон Аккерман — о борьбе против фашизма Гитлера в годы 1933-1945 и о заключительных выводах; Эдвин Гёрнле прочитал доклад о сельскохозяйственных проблемах; Рудольф Линдау (в Советском Союзе он носил имя Пауль Грец) говорил об опыте ноябрьской революции 1918 года, один из докладов трактовал будущие задачи профсоюзов.

Тематика этих вечерних курсов была следующая:

Победа над фашизмом Гитлера достигнута не восстанием немецкого народа внутри страны, а внешними силами антигитлеровской коалиции. В то время, как в оккупированных Гитлером странах всюду вспыхивали восстания, в Германии их не было. Немецкий народ, судя объективно, сделал себя причастным преступлениям фашистской Германии. Из этого следует логический вывод, а именно: оккупация Германии державами антигитлеровской коалиции.

Задачи антифашистской демократической силы должны быть следующие: поддерживать работу оккупационных властей по уничтожению нацизма и милитаризма, перевоспитанию немецкого народа и проведению демократических реформ. Залогом победы над Гитлером было единство антигитлеровской коалиции, в первую очередь США, Великобритании и Советского Союза.

Нацисты без сомнения будут пытаться разбить это единство трех великих держав и посеять между ними недоверие. Такие попытки следует безжалостно пресекать.

За победой последует, несомненно, долгий период оккупации, который может длиться годы, пока опять не будут допущены германские политические партии. Задача антифашистских демократических сил — принимать живое участие в работе местной немецкой администрации, которая под надзором союзников будет выполнять свою работу.

В нашу политическую задачу не входит в данное время строить в Германии социализм или хотя бы толкать развитие в сторону социализма, наоборот, эта вредная тенденция должна быть пресечена. Германия стоит перед буржуазно-демократической реорганизацией, которая по содержанию и существу является завершением буржуазно-демократической революции 1848 года. Необходимо активно проводить эту задачу и противодействовать любым социалистическим лозунгам, так как они, в настоящих условиях, представляют собой демагогию чистой воды. При существующих условиях идея социализма была бы лишь дискредитирована.

Интересно, что на последних лекциях нас особенно подробно знакомили с тем, как именно следует отвечать на будущую критику «слева». Дело в том, что в целом ряде стран такие критические настроения дали себя знать, особенно среди рабочего класса. В Болгарии, например, это привело к сильному «полевению», которое было пресечено прямым вмешательством Димитрова.

Нам объяснили, что мы, вероятно, и в Германии натолкнемся на такие настроения и взгляды, согласно которым «пора уже вводить социализм». Придется услышать и упреки в том, что мы в Национальном комитете с бывшими нацистскими генералами образовали единый фронт. Ответом на это должно быть: «не важно, с кем мы идем, а важно, ради какой цели мы идем!».

На упрек в том, что наша совместная работа не что иное, как политика правых социал-демократических вождей после 1918 года, мы обязаны ответить: «Правые социал-демократические вожди вместе с генералом фон Эппом боролись против рабочих, а мы вместе с генералом фон Зейдлицем боролись против Гитлера. В этом большая разница».

Требования порабощенных Гитлером народов совершенно справедливы. Надо иметь мужество смотреть действительности в глаза. После всего случившегося, после невероятно жестокого с ними обращения, порабощенные народы должны требовать гарантий против повторения всех этих ужасов.

Немецкие антифашисты и демократы обязаны будут внушать своему народу необходимость признать требуемые порабощенными народами новые границы, включая границу по Одер-Нисе, а также заплатить требуемые репарации, рассматривая их как долг чести германского народа.

Оккупационные власти займут Германию, чтобы искоренить фашизм и милитаризм и принять необходимые меры для возрождения демократии в немецком народе.

Будущие мероприятия оккупационных властей в деталях еще не известны, однако можно с уверенностью предполагать, что, наряду с осуждением преступников войны, будут приняты какие-то меры против монопольного капитализма, а также проведены земельная и школьная реформы. Следовало, при самом тщательном соблюдении предписаний союзников, активно включиться в эту работу и позаботиться о последовательном проведении реформ. Земельная реформа — одна из самых значительных задач, которые мы должны будем решать в Германии. Проведение ее, однако, можно начать самое раннее в начале 1946 года. Летом 1945 года нельзя производить никаких структурных изменений в сельском хозяйстве, так как это могло бы привести к серьезным перебоям в снабжении населения. Летом этого года нужно сделать все возможное, чтобы собрать урожай и предотвратить надвигающуюся угрозу голода.

Как только будут допущены немецкие политические организации, необходимо создать массовую антифашистско-демократическую организацию под названием «Блок боевой демократии».

Такова была политическая линия, объявленная нам на

последнем курсе весной 1945 года перед нашим отъездом в Германию.

Меня в особенности заинтересовало, что в течение довольно долгого периода не предполагалось возрождать компартию Германии. В то время разговор шел только о «Блоке боевой демократии» — широкой антифашистско-демократической массовой организации. Но и эта мысль не застала нас врасплох.

В те времена в Москве очень мало можно было услышать и прочесть о коммунистических партиях в восточно-европейских странах, зато очень много — об антифашистских «блоках»: об «Отечественном фронте» в Болгарии, о «Национально-демократическом блоке» в Румынии, о «Национальном фронте» в Чехословакии и «Демократическом блоке» в Польше. Создание «Блока боевой демократии» для будущей послевоенной Германии казалось мне поэтому логическим развитием событий.

Одновременно наше внимание неизменно обращали на различие между Германией и другими, освобожденными от гитлеровской оккупации странами. В то время, как в других странах существовали сильные движения сопротивления, в Германии такого движения не было. Поэтому логика подсказывала, что политическое развитие в Германии будет, как мы тогда выражались, «хромать», коммунистическая партия в обозреваемый нами период не сможет заново организоваться и даже создание «Блока боевой демократии» — дело более позднего времени.

Различие между Германией и другими странами я ощутил особенно явно, когда я смотрел в те времена в Москве в кинотеатре «Новости дня» короткометражные фильмы об освобождении Софии, Бухареста и Праги. После них были показаны фильмы о взятии немецких городов. Разница действовала на зрителя поражающе — и это было сделано, несомненно, с умыслом. В Софии, Бухаресте и Праге видно было общее ликование, флаги, цветы; восторженные толпы людей приветственно махали красноармейцам и танцевали на улицах от радости. Видны были сцены братания между красноармейцами, партизанами и населением; счастье, радость, ликование. Затем показывали киножурнал о Германии. При просмотре его создавалось впечатление, что в Германии приходилось драться за каждый дом, все население поддерживало СС и не было ни одного противника Гитлера.

Казалось, директивы, которые мы получили весной 1945 года в Москве, логично и последовательно продолжали предыдущую политику. Тем сильнее, естественно, было мое удивление, когда лишь несколько недель спустя, в Берлине, проводились мероприятия, которые были прямо противоположны данным нам директивам.

Все чаще и чаще шли разговоры о возвращении и будущей работе в Германии. Подготовительные работы двигались ускоренными темпами. В самом Национальном комитете и в антифашистских школах составлялись меморандумы, главным образом, в области народного образования. Существовали даже уже законченные рукописи учебников истории, которые после победы над Гитлером предполагалось печатать в Германии.

Наступление шло безостановочно. Ежедневные сводки с фронта сообщали о занятии немецких городов, причем часто объявляли сначала древнеславянское, а потом уже немецкое название города. Это были дни, когда победные реляции, салюты и фейерверки над Москвой так быстро сменяли друг друга, что еженедельные наши комментарии совершенно не успевали охватывать всех событий.

Везде чувствовалась надежда на скорый конец войны. Для немецких эмигрантов это были дни надежды на скорое возвращение в Германию. Для более старшего поколения это означало возвращение на родину, которую они покинули 13 лет назад и которая, несмотря на прочтенные за это время книги и прослушанные доклады, все же оставалась в их воспоминаниях прежней Германией — периода до 1933 года. У нас, молодых, покинувших родину детьми, воспоминания поблекли. Предстоявшее возвращение было возвращением в страну, к которой мы принадлежали, но которая была для нас чем-то совершенно новым и незнакомым.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР У ВИЛЬГЕЛЬМА ПИКА

— Поздравляю, Вольфганг, ты поедешь в Германию с первой группой, — сказал мне Антон Аккерман в середине апреля 1945 года после одного из редакционных совещаний.

Уже с начала месяца многие редакторы делали свое обычное дело без особого воодушевления. Все разговоры вер-

телись вокруг возвращения в Германию. В нашей редакционной работе приходилось все время импровизировать, потому что почти ежедневно отсутствовал то один, то другой редактор. «Товарищ — на совещании» — говорил тогда Аккерман. Дело шло о последних приготовлениях к отъезду в Германию! Обсуждались технические детали возвращения. Вероятно некоторые уже знали подробности, но им, очевидно, были даны инструкции ничего не рассказывать. И возвращение в Германию было окружено той атмосферой тайны, которая мне была уже столь знакома в Советском Союзе.

Лишь во второй половине апреля нам было сообщено, что два самолета с первыми двадцатью немецкими эмигрантами в ближайшие сроки отлетят в советскую зону оккупации. Одна группа, под руководством Ульбрихта, должна была действовать в районе группы войск маршала Жукова, которая двигалась на Берлин; вторая группа, под руководством Антона Аккермана, направлялась в район действий армии маршала Конева, двигавшейся от Чехословакии к Дрездену.

Намечавшийся состав обеих групп точно не был еще известен.

Через несколько дней Антон Аккерман сообщил мне, что меня назначили в «группу Ульбрихта».

— Вас будет десять товарищей. В конце апреля вы полетите в направлении Берлина. Мы двинемся, вероятно, днем позже в район действий армии Конева. В ближайшие дни тебе скажут, куда ты должен пойти, чтобы оформить свой отъезд.

Я был, конечно, очень рад принадлежать к группе товарищей, летящих первым же самолетом; с другой стороны, мне было немного грустно, что я не полечу с Антоном Аккерманом, которого я высоко ценил. Ульбрихта я знал мало, кроме того он был мне не слишком симпатичен.

Началось беспокойное время. Как и обычно мне приходилось каждый второй день в течение суток наговаривать радиопередачи. Остальное время было заполнено проведением всех формальностей, а также совещаниями. Уже два дня спустя мы, т. е. «группа Ульбрихта», как нас теперь называли, должны были явиться к Ульбрихту.

Ульбрихт был бесстрастен, по меньшей мере так мне показалось. О возвращении в Германию после стольких лет он говорил так, как будто это было наипростейшее дело.

— Каждый из вас должен урегулировать в ближайшие дни две вещи: отдать свои советские документы соответствующему начальнику кадров и приобрести необходимые костюмы и иную одежду для Германии.

Я в то время был еще достаточно наивен и думал, что нам придется покупать новые костюмы в советских магазинах. Несколько неуверенно я обратился к одному из товарищей:

— Как же быть с одеждой? Где мы ее достанем?

Мой товарищ не мог не улыбнуться:

— Не беспокойся. Это ты все получишь в институте №205.

Мое незнание «аппарата» заметил другой товарищ.

— Я должен завтра пойти за своими вещами. Если хочешь, приходи ко мне, я работаю в институте №205. Мы можем пойти вместе в хозотдел.

— А где я тебя найду в институте?

— Меня зовут Густав Гунделах*). Ты найдешь меня в редакции немецкой народной радиостанции.

На следующий день я поехал в институт №205. Через полчаса я вместе с Гунделахом, пораженный, стоял в хозотделе. Хозотдел напоминал универмаг. Различные материи, обувь, костюмы, платья, пальто, белье, чулки — все, чего не было в военное время в магазинах, лежало здесь в большом количестве и все было весьма хорошего качества. Меня одели с ног до головы. Потом мне пришлось подписать бесчисленное количество бумажек — за каждую полученную вещь отдельно и весь список целиком с несколькими копиями.

Первая часть подготовки к отъезду была, таким образом, закончена. Теперь наступает вторая и, как мне по крайней мере казалось, торжественная часть: сдача документов. С бьющимся сердцем я отправился на другой день в комнату русского начальника кадров Воробьева. Я ожидал, что снова начнется знаменитая игра в вопросы и ответы и что предстоят серьезные политические разговоры. Но все было совсем иначе. Не было ни политических докладов, ни игры в вопросы и ответы; не было даже особенно торжественно.

— Ну, товарищ Леонгард, вы принесли все ваши советские документы?

---

*) Делегат КПГ в первом германском послевоенном парламенте (1949-1953).

— Конечно. Они все со мной.

При этом я уже вытащил все мои бумаги из кармана и положил их на стол: комсомольский билет, советское удостоверение личности, мой старый студенческий билет, зачетную книжку из института, членские билеты МОПРа и ОСОАВИАХИМа.

— Это все? — спросил начальник кадров равнодушно.

И он тут же вернул мне членские билеты организаций, которые всегда считались чрезвычайно важными, с таким жестом, будто они не стоили и бумаги, на которой были напечатаны. Только студенческие документы и комсомольский билет лежали еще перед ним. Он открыл ящик и положил их туда.

— Ну, теперь все в порядке. Желаю вам успехов в вашей дальнейшей деятельности.

27 апреля нас созвали на короткое совещание к Ульбрихту. В первый раз я увидел Ульбрихта смеющимся и приветливым.

— Мы вылетим, вероятно, 29 или 30 апреля. До отъезда мы еще побываем у Вильгельма на прощальном вечере. И еще один практический вопрос . . .

Он открыл свой портфель и вынул пачку денег, которые распределил между нами.

— Это по 1000 рублей на каждого на необходимые расходы.

Это была сумма, которая намного превышала месячный заработок рабочего. Однако раздача денег еще не была закончена.

— А теперь каждый получит еще по 2000 германских марок на первое время жизни в Германии.

Снова мы получили связанные, свежеотпечатанные дензнаки, на этот раз выпущенные американцами для оккупационной зоны Германии. Мы уже слышали про эти деньги, но видели их впервые.

Одно только оставалось еще неясным: было ли наше возвращение короткой командировкой или это «навсегда»? Я хотел было уже спросить об этом, но вдруг вспомнил, что как раз сейчас следует избегать выказывать «непартийное» отношение. Я ничего не спросил, но подумал, что дело идет о короткой командировке, и что мы через несколько недель снова окажемся в Москве.

29 апреля нас в последний раз позвали к Ульбрихту. И это совещание было совсем коротким.

— Всё ясно. Завтра в семь утра мы вылетаем. Мы встретимся в 6 часов у бокового входа в отель «Люкс» и поедем на автобусе на аэродром. Каждый возьмет с собой только маленький чемоданчик с самыми необходимыми вещами. Сегодня вечером мы приглашены к Вильгельму, — сказал нам Ульбрихт.

Квартира Пика была обставлена, как и все другие комнаты в отеле «Люкс». Единственное отличие было в том, что у него была не одна, а несколько комнат. По сравнению с квартирными условиями рядовых советских граждан и многих немецких эмигрантов квартиру его можно было назвать комфортабельной, даже роскошной. С точки зрения западного жителя она соответствовала, пожалуй, квартире квалифицированного рабочего в Западной Германии. Скромно и даже бедно была она обставлена по сравнению с виллой, в которой жил Вильгельм Пик после 1945 года в Нидершёнгаузене под Берлином.

В гостиной стоял круглый стол, за который мы и уселись. Перед каждым стояла стопка для водки. Я боялся, что всё будет протекать очень официально. Внутренне я уже подготовился к политическому докладу или «организованному веселью», как это происходило в школе Коминтерна. Но было уютно, по-дружески, не официально. По-видимому, мы находились в таком составе и на такой иерархической ступени, когда можно было провести время и без официальных заявлений и политической декламации. В течение вечера неоднократно поднимался разговор о будущей работе, но не в партийно-официальном стиле директив, а свободно, своими словами.

Потом нам налили водки.

— За будущую работу в Германии, — сказал Вильгельм Пик весело и приветливо.

— За то, чтобы и ты, Вильгельм Пик, вскоре также приехал в Германию, — сказал кто-то из присутствующих.

Он засмеялся.

— Да, да, я скоро приеду.

Мы посидели еще некоторое время, разговаривали, шутили и кто-то даже рассказал анекдот.

— А знаете ли вы последний анекдот об аресте Гитлера англичанами? — спросил вдруг Рихард Гиптнер.

— Нет, расскажи! — закричали со всех сторон.

— Но он довольно острый, — засомневался он. Он, видимо, сообразил, что в то время малейшая критика союзников, даже в самом безобидном анекдоте могла рассматриваться как политическая ошибка.

— А, чего там, рассказывай! — бросил Пик ободряюще.

— Так вот. Британские войска продвигаются все дальше и окружают главную квартиру вождя. Все ближе подходят они к комнате Гитлера и, наконец, оказываются у его двери. Распахивают дверь. Британские солдаты — впереди всех майор — идут, направляя пистолеты на Гитлера: «Именем союзных наций — вы арестованы!» Невероятно напряженный момент. Гитлер, слегка улыбнувшись, достает какой-то документ из кармана: «Очень рад познакомиться с Вами. Я агент № 2015 британской разведки. Задание выполнено. Германия побеждена».

Все рассмеялись.

— Немного нахально, но все-таки хорошо, — сказал Вильгельм Пик. И даже Ульбрихт улыбнулся.

Примерно через час мы простились. Вильгельм Пик пожал каждому из нас руку.

— До скорого свидания в Германии!

Ульбрихт еще раз напомнил нам, чтобы мы были точно в 6 часов утра у бокового входа в «Люкс».

В некотором смятении я вошел в свою комнату. События последних дней волновали и будоражили нервы. Долго не мог я заснуть. Это был мой последний вечер в Советском Союзе.

ГЛАВА VII

С УЛЬБРИХТОМ В БЕРЛИН

30 апреля 1945 года, в 6 часов утра, в одном из переулков от улицы Горького, перед боковым входом в отель «Люкс» остановился автобус. Он должен был отвезти нас — десятерых участников группы Ульбрихта — на аэродром.

Мы молча влезли в автобус. Если не считать небольшого приема по случаю нашего отъезда у Вильгельма Пика, никаких торжеств не было, так как вряд ли кто-либо знал о нашем отъезде. Мы, конечно, тоже никому ничего не говорили: привычка, которая стала частью нашей натуры. Посмотрев на нас, наверное никто из посторонних не подумал бы, что он видит немецких эмигрантов, которые после десятилетнего отсутствия возвращаются на свою родину.

Улицы были еще пустынны, когда мы ехали по улице Горького, через Пушкинскую площадь. по направлению к аэродрому. День был весенним, весь город был уже украшен к первомайским торжествам лозунгами и цветами. Несмотря на всю радость возвращения на родину, мне было немного грустно покидать Москву. С этим городом меня связывали дорогие воспоминания. Я вспомнил школу, детдом, университет, моих иностранных и русских друзей, мою подругу юности Эрику и еще одну русскую студентку, которая мне очень нравилась, чудесные прогулки по бульвару и по улице Горького, по кремлевскому парку и по берегу Москвы-реки. Однако теперь не стоило об этом вспоминать.

В автобусе завязался разговор. Кто-то из нашей группы сказал:

— У меня с собой есть вчерашний номер «Правды» с подробными данными о развитии советского хозяйства. Это нам очень пригодится для нашей пропагандной работы в Германии.

Ульбрихт при этом одобрительно закивал головой. Я же подумал: у немцев сейчас, наверное, совсем другие заботы. Через четверть часа наш автобус остановился перед зданием московского аэропорта. Как обычно, мы должны были задержаться перед воротами.

— Пропуск! — прозвучал резкий голос часового.

Ульбрихт показал ему документ.

— В порядке, — ответил часовой, пропуская.

Нас вежливо проводили к транспортному самолету, стоявшему немного в стороне. Это был американский «Дуглас», и мы разместились в нем поудобнее. Через несколько минут самолет пошел на старт.

Никто, кроме Ульбрихта, не знал, где будет посадка. Мы знали лишь, что летим в Германию и снизимся на той части германской территории, которая находится под контролем маршала Жукова. Также и все детали нашей предстоящей работы были нам не ясны. Ясно было одно: мы будем вести политическую работу, направленную против фашизма и его наследия и преследовать цель построения новой демократической Германии.

ГРУППА УЛЬБРИХТА

С большинством из участников «группы Ульбрихта» я познакомился только за последние дни.

Я не знаю кем и по какому принципу были набраны эти десять партработников, которым в первую очередь разрешили вернуться в Германию. Но, когда я сегодня вспоминаю эту группу, мне кажется, что ее состав был довольно показательным. Она полностью состояла из людей типа партработников сталинских времен.

Вальтеру Ульбрихту, руководителю нашей группы, был тогда 51 год. Он родился в Лейпциге, по профессии был столяром. Сегодня он утверждает, что он в 19 лет, то есть в 1912 году, вступил в социал-демократическую партию и начиная с 1916 года участвовал в деятельности союз «Спартак» в Саксонии. С 1928 по 1933 год Ульбрихт был депутатом КПГ в рейхстаге, а начиная с 1919 года — районным секретарем КПГ в Берлине и Бранденбурге. В 1933 году он бежал во Францию. После 1933 года состоял членом в руководстве КПГ в эмиграции в Праге. Он был во время гражданской

войны в Испании, где — как я, правда, узнал только позже — стал известным благодаря проведенной им чистке среди революционных антисталинских борцов в рядах испанской республиканской армии. После поражения Испанской республики Ульбрихт приехал во Францию, а после поражения Франции в 1940 году бежал в Москву.

Главные качества Ульбрихта: организационный талант, феноменальная способность запоминать фамилии, способность предчувствовать любое изменение политического курса и необычайная трудоспособность. Даже после самого утомительного рабочего дня он никогда не казался уставшим. Так как он был далек от теоретических размышлений и каких-либо эмоций — я редко видел его смеющимся и никогда не замечал у него каких бы то ни было проявлений чувства — он, насколько мне известно, всегда успешно проводил в жизнь директивы, получаемые от работников советского аппарата, проявляя при этом хитрость и беспринципность.

После 1945 года образцовый аппаратчик Ульбрихт, умевший передавать партработникам директивы, но совершенно не способный возбуждать в массах энтузиазм по отношению к каким-либо коренным изменениям, вначале всегда стоял на втором плане, за Пиком и Гротеволем. Однако когда начали отходить на второй план такие социальные реформы, как земельное устройство, национализация промышленности, школьная реформа, для проведения которых была необходима хотя бы пассивная поддержка широких кругов населения, и когда партаппарат приобрел значение всеохватывающего орудия власти, положение Ульбрихта стало заметно укрепляться.

Благодаря своей педантичности партработник Рихард Гиптнер, уроженец Гамбурга, стал для него ценным сотрудником. Недостаток энергии с самого начала определил его дальнейшую карьеру как партийного чиновника, а не ответственного партработника. Гиптнер лишен всякого чувства юмора. Его выдающимися качествами являются педантичность в работе и аккуратность в одежде. Кажется, что он неспособен ни на какие эмоции. Я никогда не видел его ни восторженным, ни возмущенным. Таким образом ему было легко принимать и передавать дальше решения, связанные с очередными изменениями партийного курса, так как для него это было таким же простым делом, как добросовестное подшивание соответствующих канцелярских бумаг.

Он мало рассказывал о себе, но нам было известно, что он в течение многих лет участвовал в руководстве Коммунистического Интернационала Молодежи, что он в Москве долгое время работал в аппарате Коминтерна, а потом в институте №205. В 1946 году Рихард Гиптнер стал секретарем Центрального секретариата СЕПГ, после этого он получил довольно высокое назначение в народной полиции, а в настоящее время, он руководит главным отделом «Капиталистическое окружение» в министерстве иностранных дел ГДР.

Отто Винцер, который в Москве был известен под кличкой Лоренц, в некотором отношении похож на Рихарда Гиптнера. Отличается он от него своим более развитым интеллектом, благодаря которому он не только передает директивы дальше, но и защищает их резко и агрессивно, проводит их в жизнь, ни на кого не обращая внимания, и иногда их идеологически обосновывает, хотя и не очень глубоко. Больше, чем все другие участники группы Ульбрихта, Винцер олицетворял тип холодного, безжалостного сталинского партработника, беспрекословно проводящего в жизнь любые директивы, который, благодаря своей долголетней деятельности в партаппарате, потерял всякую связь с настоящим рабочим движением и идеалами социализма и братства народов.

После 1945 года Винцер достиг вершины карьеры коммуниста. В мае 1945 года он перенял руководство отделом культуры и народного образования при магистрате города Берлина. С 1946 по 1950 год он был начальником отдела прессы и радио при Центральном секретариате СЕПГ и, кроме того, временами замещал главного редактора газеты «Нейес Дейчланд» („Neues Deutschland“). В октябре 1949 года он стал начальником личной канцелярии президента ГДР Вильгельма Пика.

В отличие от вышеупомянутых лиц, Ганс Мале, которому тогда было 33 года, сохранил еще живость характера и непосредственность, несмотря на то, что он уже давно работал в партаппарате. Он еще умел смеяться, быть веселым, разговаривать с «рядовыми людьми» и пользоваться не только партийным жаргоном, так что было видно, что он еще не разучился думать и чувствовать по-своему.

Из всех участников нашей группы он мне нравился больше всех, потому что он еще не закостенел в работе и не утратил своей естественности. На события или людей он реагировал по-своему, и поэтому, оставаясь, разумеется, в рам-

ках дозволенного, был способен к личной инициативе и самостоятельному мышлению. Летом 1945 года он был назначен директором восточноберлинской радиостанции, а позже — главным директором всех радиостанций советской оккупационной зоны. В начале 1951 года его карьера внезапно оборвалась, и только позже он снова появился на поверхности, занимая незначительный пост главного редактора газеты «Шверинер фольксцейтунг».

Густав Гунделах — также уроженец Гамбурга. Ему было 58 лет, и он был самым старшим из нашей группы. Он производил впечатление честного рабочего-партийца, который с трудом приобрел какое-то образование. По характеру он не был таким веселым, как Ганс Мале. Он был приветливым, но замкнутым человеком. Его спокойствие не было похоже на флегматичность и педантизм Гиптнера или на недружелюбную холодность Винцера. Он был прилежным работягой и положительным человеком. Летом 1945 года Гунделах был назначен председателем Центрального управления по делам труда и социального страхования в советской оккупационной зоне, а в апреле 1946 года был переброшен в своей родной город Гамбург для укрепления компартии Западной Германии. Вскоре он стал депутатом в городском парламенте, а через некоторое время занял руководящее место в западногерманской компартии. 14 августа 1949 года он был избран коммунистическим делегатом в первый, послевоенный бундестаг (германский парламент).

С Карлом Мароном, которому тогда было 44 года, я познакомился в редакции газеты «Свободная Германия» („Freies Deutschland“). Мы были с ним в хороших отношениях. Карла Марона, который был довольно полным человеком, было трудно вывести из терпения. Он умел быстро приспосабливаться к новым ситуациям и к новым областям работы и сразу схватывал суть дела. Он был компанейским человеком и обладал чувством юмора, был вспыльчивым, но легко «отходил». Этими своими качествами он приобрел себе известную популярность. Удивительным свойством была его многосторонность. После долгих лет работы в спортивных организациях, он начал писать военные комментарии для печатного органа Национального комитета. В июне 1945 года он стал заместителем главного бургомистра города Берлина, позже — председателем фракции СЕПГ в Берлинском городском совете, в ноябре 1948 года — уполномоченным по

делам экономики в восточном секторе Берлина, в ноябре 1949 года — заместителем главного редактора органа СЕПГ „Neues Deutschland", а затем генеральным инспектором и начальником Главного управления народной полиции. Во время своей быстрой карьеры Карл Марон вероятно приобрел те качества партаппаратчика, которые так характерны для Ульбрихта, Гиптнера и Винцера.

Особое положение занимал Вальтер Кёппе. Маленький, приземистый, лысый (тогда ему было 53 года). Он был родом из Берлина и говорил на настоящем берлинском диалекте. Для своего возраста и телосложения Кёппе был удивительно подвижным человеком; он мало разбирался в теоретических и политических вопросах. В июне 1945 года в личных взаимоотношениях симпатичный, но политически слабый Вальтер Кёппе стал вторым председателем парторганизации города Берлина, официально работая секретарем организации. На этом месте он, однако, долго не удержался. Вместо того, чтобы давать рабочие директивы, он все свое служебное время тратил на разговоры с берлинскими партработниками, рассказывая им из своего прошлого. В 1947 году он был назначен администратором по экономической части в Высшей партшколе имени Карла Маркса. Эта работа вполне соответствовала его практическим и организационным способностям. Через три года он был назначен руководителем хозотдела в Академии по административным вопросам в Форст-Цинна, где он находится и по сегодняшний день.

Журналист и писатель Фриц Эрпенбек из Майнца, которому тогда было 48 лет, был единственным из всей нашей группы, у кого в 1945 году еще не было назначения или определенной функции. Фриц Эрпенбек писал много и усердно и поспевал всюду и везде: на редакционные совещания газет и журналов, в Союз культуры, присутствовал при обсуждениях проблем кино, театра и изобразительного искусства. Будучи живым, восприимчивым, образованным и всем интересующимся человеком, он себя, очевидно, очень хорошо чувствовал, имея это ни к чему не обязывающее положение. Однако, чем больше укреплялась политическая система в советской зоне, тем труднее становилось вести такую свободную жизнь.

Наконец надо сказать несколько слов и о самом себе. Из всех участников группы Ульбрихта я был самым молодым: мне было тогда 23 года. Я был единственным, у кото-

рого не было долголетнего стажа работы. Вероятно меня взяли в группу Ульбрихта потому, что я вырос в Советском Союзе и меня рассматривали как представителя молодежи, которую там гораздо чаще, чем на Западе, выдвигали на руководящие посты. Очевидно для немецкой компартии спешно нужны были молодые кадры, что доказывалось сравнительно большим процентом молодых товарищей, учившихся в школе Коминтерна. Вероятно меня взяли еще и потому, что я уже 5 лет состоял в комсомоле и окончил школу Коминтерна. Я всегда очень интересовался политикой и постоянно стремился повысить свой политический уровень. Кроме того, я тогда свободно и без акцента говорил по-русски. Остальные участники группы, хотя и понимали по-русски, но говорили с трудом, делая ошибки.

Наконец, к нашей группе принадлежал еще один молодой человек, но не в качестве политического работника, а в качестве технического секретаря. Он был спокойным и молчаливым человеком (почти как начальник кадров) и редко когда участвовал в наших беседах. Работником он был хорошим. Позже я встретил его в качестве начальника канцелярии областного управления Потсдама.

Эти десять участников группы Ульбрихта были первыми немецкими эмигрантами, которые вернулись в советскую оккупационную зону Германии. Их задачей было подготовить политическую почву для дальнейшего развития режима.

НА САМОЛЕТЕ В ГЕРМАНИЮ

Первый час нашего полета прошел в молчании. Нам настолько подробно разъяснили наши задачи, что Ульбрихт не считал нужным их повторять. Спрашивать Ульбрихта о нашей будущей работе и нашей судьбе не приходило никому в голову; он бы все равно не ответил, а кроме того, мы все знали, что такие вопросы не принято задавать.

Когда я 30 апреля 1945 года летел в Германию, я честно был готов сделать все, что было в моих силах, чтобы образцово выполнить поставленные передо мной задания. Я тогда верил, что Советский Союз после разгрома германской армии, бескорыстно поможет немецким антифашистам и демократам построить новую демократическую Германию. Не была ли поддержка немецкого Национального комитета луч-

шим доказательством того, что Советский Союз был заинтересован в построении независимой Германии немецкими силами? Не была ли отправка и нашей группы до окончания военных действий еще одним доказательством желания Советского Союза действовать не как завоеватель, а как государство, готовое помочь немецким антифашистам? Не повторял ли неоднократно сам Сталин о различии, которое существует между немецким народом и нацистским государством?

Тогда я был далек от сознательной оппозиции, хотя я и не принадлежал к тем стопроцентным сталинцам, которые не думали самостоятельно, а подходили к вопросам исключительно с одной точки зрения: что лучше для Советского Союза, то правильно и необходимо. Я и сам тогда был готов выполнять все партийные директивы, но я задумывался над политическими событиями и зигзагами генеральной линии.

Во время моего десятилетнего пребывания в Советском Союзе, я многое увидел и пережил. Я был свидетелем событий и решений, которые мне нравились и были созвучными марксистской теории. Но бывали решения, с которыми я не был согласен и которые, как мне казалось, противоречили марксизму. Случались некоторые вещи, которые мне были непонятны и которые меня волновали, а кое-что мне было противным и вызывало мое полное отрицание. Я часто думал об огромной волне арестов 1936-1938 годов и о всесильном аппарате НКВД. У меня часто возникали сомнения в правильности пакта с фашистской Германией и в необходимости войны с Финляндией. Я вспоминал иногда с неприятным чувством, как после оккупации восточной Польши в 1939 году и Прибалтийских стран в 1940 году в Москву приходили длинные товарные составы с «трофейной добычей». Я помнил антирабочее законодательство 1940 года и подавление свободного мнения так же, как помнил и ужасающие формы критики и самокритики. Правда я всегда старался находить оправдание этим явлениям, — в конце концов, ведь, социалистическая революция происходила в отсталой стране и все существующие недостатки и слабости скорее нужно относить за счет общей отсталости России, чем ставить в упрек советской системе.

Когда я покидал Советский Союз, я был полностью поглощен новым и важным заданием, и я был, пожалуй, из всей группы наиболее «прогрессивным» в своем обосновании пра-

вильности режима. Я был полон надежд на то, что мы получим сравнительную свободу действий в политическом развитии дел в Германии, право проводить некоторые мероприятия по-иному, чем в Советском Союзе. Кроме того, я думал, что после окончания войны и в самом Советском Союзе произойдет изменение режима в сторону предоставления населению большей свободы.

Итак, несмотря на критические размышления, как раз в то время я был оптимистически настроен и полон надежд, я жаждал поскорее приступить к новой политической работе.

После, примерно, одночасового полета мы приземлились в Минске, столице Белорусской Республики. Этот город в то время был одним из наиболее разрушенных в Советском Союзе. С аэродрома были видны почти одни только развалины: картина была жуткой.

Вслед за нами приземлился еще один самолет. Из него вышло десять пассажиров, которые были одеты так же, как и мы и с интересом на нас посматривали.

— Это бывшие военнопленные, окончившие антифашистскую школу. Они тоже летят в Германию, в район действий армии маршала Жукова, — сказал один из нашей группы, который, очевидно, был более осведомлен, чем я.

Они стояли перед своим самолетом, а мы — перед нашим.

— Нельзя ли нам с ними поздороваться? — спросил я.

— Лучше не надо. Ульбрихт сказал, чтобы мы держались отдельно.

Я промолчал, но в моей голове уже зашевелились еретические мысли о двойственности этого положения. Или их должны были и дальше рассматривать, как военнопленных, тогда их не нужно было одевать во все новое и посылать на особые политические задания в Германию, или их уже считают своими товарищами, тогда и обращаться с ними нужно, как с равными. Тогда я отнес этот инцидент к тактическим ошибкам одной из инстанций. На самом же деле в этом примере отразилось то иерархическое расчленение, которое столь типично для сталинизма.

Из десяти пассажиров этого второго самолета мне привелось позже познакомиться с двумя: с Паулем Маркграфом, бывшим полковником и кавалером ордена «Рыцарского креста», который после «перековки» в антифашистской шко-

ле и возвращения в Германию, был назначен советскими властями полицейским префектом Берлина, и с Матеусом Клейном, бывшим пастором, который входил в Национальный комитет «Свободная Германия» и сначала работал в отделе по церковным делам. В дальнейшем он, однако, отошел от своей веры и стал настоящим сталинцем. После 1945 года он стал начальником кадров восточноберлинской радиостанции, потом ассистентом при кафедре философии в партийной школе имени Карла Маркса и впоследствии доцентом кафедры «Наука об обществе» при Йенском университете.

Через несколько минут мы полетели дальше. Мы все еще не знали, где же мы окончательно приземлимся. Мое напряжение росло с каждой минутой.

Примерно через полтора часа машина пошла на посадку. Мы спустились на маленьком аэродроме, который, по-видимому, был предназначен для аварийных посадок военных самолетов. Вокруг ничего не было видно: ни города, ни даже какого-либо здания, ничего, что хотя бы отдаленно напоминало человеческое жилье.

— Мы находимся около новой немецко-польской границы, между Франкфуртом на Одере и Кюстрином, — объяснил нам Ульбрихт.

Выйдя из самолета, мы топтались в нерешительности на месте, не зная что нам делать. Через несколько минут, однако, к нам подъехала автомашина, из которой вылез советский офицер и дружески поздоровался с Ульбрихтом. Видимо они уже раньше были знакомы.

— Все в порядке, вы скоро поедете дальше, — сказал нам офицер.

— Я только что приехал из Берлина и еду опять обратно, — прибавил он и при этом нарисовал на песке палкой план Берлина, отметив те части города, которые уже находятся в руках Советской армии.

Перспектива попасть в Берлин, который я покинул 12 лет тому назад еще мальчиком, была для меня чудесным сном.

Тем временем к нам подъехал грузовик. Советский офицер смущенно сказал:

— Извините, дорогие товарищи, что мы можем предоставить вам только грузовую машину, но это лишь на первую часть пути. Потом все вы получите легковые машины.

Когда мы ехали через деревни, мы вообще не видели людей. Или дома были пустыми, или жители не решались показываться. На некоторых домах висели красно-белые польские флаги. По-видимому там были пункты связи польских властей, — мы ведь всё еще находились вблизи границы по Одер-Нисе.

После двух часов езды мы подъехали к местечку, где находилась советская комендатура. Нас встретили два молодых советских офицера и пригласили на обед. Стол был уже накрыт. Очевидно им доставляло удовольствие принимать гостей. Мы также заметили, что им хотелось с нами поговорить.

— Надеюсь, что обед вам понравится, дорогие гости, — любезно, с ноткой почтительности в голосе, сказал один из них.

— На днях мы тут угощали польских офицеров, а теперь мы особенно рады приветствовать вас, потому что, как мы слышали, вы являетесь членами нового немецкого правительства!

Я чуть не поперхнулся, услышав эти слова. Что он сказал? Новое немецкое правительство? Около меня сидел Ганс Мале, с которым мы недоуменно переглянулись. Что же нам теперь делать? С одной стороны, нам нужно было сказать офицеру, что мы не новое немецкое правительство, а с другой стороны, мы не имели права говорить, что мы принадлежали к группе Ульбрихта. Один из нас просто сделал жест руками, давая понять, что мы «не новое немецкое правительство». Однако это только укрепило офицера в его уверенности и он стал еще любезнее и услужливее. Когда мы вышли из комендатуры, то увидели, что нас уже дожидаются американские и немецкие лимузины. Они были снабжены красными флажками и опознавательными знаками Советской армии. Шоферы были тоже одеты в советскую форму. Через некоторое время мы приехали в Кюстрин. Этот город часто упоминался в советских военных сводках, причем уже тогда его называли по-славянски «Кострцын».

Город представлял из себя сплошную груду развалин. Такие разрушения мне раньше приходилось видеть только на фотографиях или в киножурнале. Картина была потрясающей.

Во время короткой остановки Ульбрихт быстро переговорил с сопровождавшими нас советскими офицерами, а те, в

свою очередь, сказали что-то шоферам, и мы поехали дальше.

— Куда же мы едем? — спросил я нашего шофера.

— Поедем на запад, на Берлин, — сказал он ухмыляясь.

Что принесут нам ближайшие дни? Я не мог дождаться момента поговорить с «настоящим немцем», с тем, кто жил тут всегда. Я также не мог дождаться снова увидеть Берлин, посетить те места, где прошло мое детство: Граф-Гезелер штрассе в Рейникендорф-Вест, гимназию в Рейникендорф-Ост, школу имени Карла Маркса в Нейкельне и, прежде всего, район художников на Лаубенгеймер плац в Вильмерсдорфе.

Мои мысли были прерваны возгласом шофера:

— Приехали!

Мы находились в хорошеньком немецком городке Брухмюле, 30 км восточнее Берлина.

БРУХМЮЛЕ — ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АРМИИ ЖУКОВА

В то время городок Брухмюле был на совершенно особом положении. В нем находился политический штаб армии маршала Жукова. Этот штаб был под командой генерала Галаджиева, который был главой политического управления армии маршала Жукова.

Город был очищен от всех других воинских частей. Население этого маленького городка пережило все первые ужасы вступления в город советских войск, но теперь, по меньшей мере на несколько недель, находилось на привилегированном положении. В городе почти не было простых солдат. На улицах попадались только офицеры штаба Галаджиева; почти все они говорили по-немецки и основной задачей своей считали установление хороших взаимоотношений с местным населением. Здесь находилась также редакция, где составлялись листовки на немецком языке. А главное — отсюда исходили декретивы согласно новой политической линии, которая, после открытого осуждения пропаганды Эренбурга в «Правде», должна была проводиться в жизнь политотделами всех воинских частей.

В течение следующих недель я, однако, понял, что для проведения этого «нового курса» в большинстве случаев бы-

ло уже слишком поздно. В виду того, что все армейские части на протяжении лет буквально забрасывались «эренбурговской пропагандой», политработники генерала Галаджиева ничего больше изменить не могли. Вскоре после нашего приезда нас приняли сотрудники генерала Галаджиева. Так как уже наступил вечер, было решено отложить деловые разговоры на следующий день. Нас поместили в новом, специально для нас реквизированном доме.

На следующее утро — это было 1 мая 1945 года, чудесный весенний день — я проснулся с чувством такой радости, какой никогда еще не испытывал. Снова в Германии! Ничто меня не тревожило. Я еще не знал о том, что ежечасно и ежедневно происходит в Германии. Я и был в Германии и одновременно не был в ней еще. До этого утра я видел только красивые улицы, нарядные дома, освобожденных иностранцев и гостеприимную комендатуру. Больше ничего.

Сразу же утром нас созвали. Один из офицеров вручил каждому из нас какую-то бумагу. Я сразу понял, что это был важный и ценный документ. За подписью начальника политуправления армии маршала Жукова генерала Галаджиева этот документ удостоверял, что Вольфганг Леонгард является работником Главного политуправления в областях, занятых армиями 1-го Белорусского фронта.

После вручения документов нас пригласили в офицерскую столовую Главного политуправления. По врученным талонам я понял, что нам полагается паёк майора Красной армии. Одновременно каждый из нас получил большой пакет с папиросами. Какой-то офицер приветливо представился нам, как уполномоченный политического штаба, задачей которого было выполнять все наши желания. Он нам сказал:

— После вчерашних переговоров с генералом Галаджиевым товарищ Ульбрихт выехал сегодня в Берлин и вернется только к вечеру. Некоторые из ближайших сотрудников ген. Галаджиева хотели бы с вами поговорить и ждут вас сегодня в 4 часа дня.

Таким образом, все дообеденное время было в нашем распоряжении. Позавтракав, я пошел к себе в комнату. Вскоре кто-то постучал в дверь. В комнату робко вошла женщина около тридцати лет, которая смущенно сказала:

— Я должна здесь следить за порядком и чистотой. Можно у вас убрать?

— Большое спасибо, — ответил я, — это, право, не нужно, я привык делать все сам.

Когда она услышала, что я свободно говорю по-немецки, она удивленно на меня посмотрела.

— Садитесь, пожалуйста, и отдохните немного, — сказал я в надежде поговорить с «настоящей» немкой.

Она, как видно, никак не могла понять в чем дело. Являются вдруг немцы, разъезжают на автомашинах, и советские офицеры их приветливо встречают, кормят в советской офицерской столовой и помещают в доме, реквизированном для Красной армии. Мое предложение, видимо, ее испугало. Она вообще была какой-то напуганной и сразу же ушла. Невольно мне вспомнились люди в Москве во время чисток 1936-1938 годов. Однако ее поведение мне все же было не совсем понятным. Чего же она так боится? Ведь война должна скоро кончиться и тяжелые времена останутся позади. Ведь она должна этому радоваться! О грабежах, насилиях и тому подобных вещах я, правда, тогда еще не знал.

В это мое первое утро в Германии я пошел гулять с Фрицем Эрпенбеком и Гансом Мале. На прогулке, к сожалению, мы встречали только советских офицеров.

Вдруг мы опять увидели нашу «хозяйку», и на этот раз нам удалось вступить с ней в разговор. Вскоре мы перешли к вопросам, которые нас так живо интересовали: о нацистах, о войне, об окончании войны, о теперешнем положении в Германии, о русских и о будущем. К нацистам и войне она относилась отрицательно, она была рада, что скоро наступит мир.

— Только вы должны знать, в конце концов, сколько ужасов мы пережили за последние недели! — начала она, чуть запинаясь.

— Что же тут натворили нацисты? — спросил один из нас.

— Я сейчас говорю не о нацистах . . . вы себе представить не можете, что было, когда сюда пришли русские . . , — ответила она.

Так началось ее описание. Описание, подобные которому я в последующие дни и недели слышал сотнями в разных вариантах. В этот момент подошли к нам еще Винцер и Марон. Очевидно они тоже разыскивали «настоящих немцев». Женщина продолжала свой рассказ, описывая насилия, а у меня от ее слов мурашки бегали по спине. Неужели дей-

ствительно бывали такие случаи? Я был потрясен, хотя и думал, что это были единичные случаи.

Скоро наш разговор вылился в политическую дискуссию, во время которой будущий генеральный директор всех радиостанций советской зоны, будущий генеральный инспектор и начальник народной полиции и начальник канцелярии президента республики тщетно пытались убедить простую немецкую женщину в правильности наших политических убеждений. Она спокойно все выслушала, но, несмотря на интенсивную политическую обработку, которой она подверглась, не отказалась от своих убеждений, основанных на пережитом.

— Что нацисты плохие — это я и сама знаю! — ответила она почти сердито. — Но, видите ли, с русскими . . . это тоже неправильно, не то, что надо, в этом вы еще сами убедитесь!

Мы невольно улыбнулись. По дороге мы обсуждали ее рассказы. Мнения разошлись. Один из наших стопроцентных сказал:

— Чистейшая нацистская пропаганда! Она безусловно активная фашистка, возможно даже, что она принадлежит к подпольному нацистскому движению.

Другой возразил:

— Пожалуй она не активная фашистка, а просто глупая баба, которая поверила фашистской пропаганде.

Меня же ее рассказ заставил очень задуматься. Я ей поверил, почувствовав внутренне, что она говорила правду. Я старался успокоить себя, объясняя это тем, что после всех переживаний этой ужасающей войны были наверное отдельные красноармейцы в отдельных воинских частях, которые могли себя так безобразно вести.

После обеда мы были приглашены на разговор к старшим офицерам политуправления. Разговор происходил на высоком политическом уровне. Бесспорно эти офицеры были тщательно подготовлены в Москве для выполнения своих задач. Немецкую историю они знали лучше, чем многие немцы. Особенно хорошо они были осведомлены о недавнем прошлом: о политических партиях Веймарской республики, о составе парламента различных созывов, о наличии фракций в партиях, о результатах выборов в парламент, начиная с 1918 года и, конечно, прекрасно знали историю компартии Германии. Но я не знаю насколько хорошо они были знакомы с сегодняшними настроениями немецкого населения; об

этом на нашем многочасовом заседании не говорилось. Мы говорили о политике компартии в прошлом, о Брюссельском и Бернском съездах КПГ, о Национальном комитете, но больше всего — о необходимости довести до конца «буржуазно-демократическую революцию» 1848 года и о будущей судьбе Германии.

У меня временами было чувство, что наша дискуссия происходит как бы в безвоздушном пространстве и ничего или, в лучшем случае, мало общего имеет с реальной жизнью.

Вечером приехал Ульбрихт. Он провел весь день в Берлине, однако, нам он почти ничего не рассказал, объясняя это тем, что мы сами все скоро увидим.

Собрав нас на совещание, он объявил, что завтра, 2 мая 1945 года, мы поедем в Берлин, где каждый из нас получит определенный участок города для организации местного немецкого самоуправления. Нашей задачей будет отбирать подходящих сотрудников из числа местных антифашистов и демократов и организовывать новую немецкую администрацию города.

По вечерам мы будем собираться, чтобы каждый мог доложить о своей работе.

2 мая в Берлине капитулировала германская армия и в этот же день приступила к своей работе группа Ульбрихта.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С БЕРЛИНСКИМИ КОММУНИСТАМИ

Утром 2 мая проехала колонна легковых машин из Брухмюле через Каульсдорф, Бисдорф и Фридрихсфельде в центр Берлина. В ней сидели члены «группы Ульбрихта» и некоторые советские офицеры по политической части штаба генерала Галаджиева.

Медленно пробивали себе дорогу наши автомобили в направлении Лихтенберга через Фридрихсфельде. Перед нами развернулась ужасная картина. Пожары, развалины, слоняющиеся кругом голодные люди в разорванной одежде. Тут были беспомощные немецкие солдаты, не понимавшие больше, что происходит, поющие, ликующие и часто пьяные красноармейцы, группы женщин, которые под надзором красноармейцев расчищали развалины, длинные очереди людей, терпеливо стоявших перед колодцами, чтобы получить ведро воды. Все выглядели очень усталыми, голодными и измучен-

ными . . . Вся картина была в сильном контрасте с тем, что я видел в небольших населенных пунктах восточнее Берлина. Многие носили белые нарукавные повязки, в знак капитуляции, другие — красные, в знак приветствия Красной армии. Были люди более осторожные: они носили на рукаве и белую и красную повязки. Из окон свешивались белые флаги капитуляции или же красные; было видно, что они переделаны из флагов со свастикой.

Офицеры, сопровождавшие нас, направили нас в комендатуру в Лихтенберге, которая первые дни помещалась в одном из жилых домов. Последовал короткий обмен приветствиями. У коменданта работы было по горло. Офицеры приходили и уходили, коротко рапортовали о том, что происходит в данной части города. Когда мы вошли в комнату, там как раз находился советский офицер, который с возмущением, с бешенством говорил о поведении советских солдат. Так, я услышал первую жалобу о поведении красноармейцев в Берлине — жалобу с советской стороны. Комендант знал уже о «группе Ульбрихта» и явно был рад нам, ибо он надеялся получить помощь в организации немецкого управления.

— Немецкое управление? Нет, его еще нет. Но мы хотели бы Вас просить придти завтра или послезавтра, чтобы помочь нам организовать его.

Ульбрихт согласился.

Вскоре после этого мы поехали дальше. Ульбрихт распорядился, чтобы по два члена нашей группы включились в эту работу (на каждый район города). Эти люди поехали в Крейцберг, Трептов, Темпельгоф и другие районы города. Только я остался без назначения.

— Куда же я поеду?

— Ты останешься при мне, мы поедем в Нейкельн, — сказал Ульбрихт.

Через полчаса мы остановились перед большим зданием. Спокойно и невозмутимо Ульбрихт поднялся по лестнице, будто посещение первого германского управления после 12-летнего отсутствия, 2 мая 1945 года, было само собой разумеющимся фактом. Я себя так уверенно не чувствовал.

Из всего состава управления Нейкельна на месте оказался только один. «Пагель» — представился он нам и сообщил вкратце то, что до сих пор было сделано. Новые немецкие органы управления находились в отчаянном положении.

Нужно было думать о больницах и воде, свете и угле, о работах по расчистке улиц, об удостоверениях, пропусках, но главное, и прежде всего, об одном: о продуктах питания для голодающих берлинцев.

Ульбрихт и я сделали себе заметки. Через полчаса разговор постепенно перешел на политические темы. Теперь Пагель весь обратился в слух.

— Простите, кто вы такие?

— Вальтер Ульбрихт, бывший депутат рейхстага Веймарской республики, ныне работающий по организации управления Берлина.

Пагель, который представился как социал-демократ, показал нам список нейкельнских антифашистов, социал-демократов и коммунистов, которые уже были привлечены к участию в работах управления.

— Вас это будет, наверное, также интересовать — список самых активных коммунистов Нейкельна, — сказал Пагель и подал Ульбрихту другой список.

Ульбрихт бегло просмотрел его и сказал равнодушно:

— Нет, я интересуюсь только управлением.

Мы по-дружески простились.

Автомобиль отъехал. Ульбрихт назвал адрес.

— Куда мы теперь направляемся?

Ульбрихт улыбнулся.

— К товарищам, конечно. Я быстро заметил себе два адреса из списка.

Я диву давался — на этом поприще я был еще дилетантом.

Во время короткой езды я старался представить себе как сейчас проявят себя коммунисты, те, которые годами вели нелегальную работу в Германии. Об их борьбе я знал только из антифашистских романов и из отчетов «товарищей». Я с нетерпением ждал момента встречи с «настоящими товарищами из Германии».

Ульбрихт приказал остановиться перед дверьми поврежденного дома в Нейкельне. Уже при входе были слышны громкие разговоры и споры. Мы постучали и вошли. Некоторые из присутствующих были так погружены в дискуссию, что совершенно нас не заметили. Вдруг вскочило несколько человек, восклицая «Ульбрихт!». Последнего окружили. Удивление и радость отражалась на лицах товарищей. Ульбрихт, наоборот, придерживался делового тона. Он приветст-

вовал их, — мне это приветствие показалось весьма холодным, — представил меня, как своего сотрудника, и после двух или трех минут дискуссия пошла дальше, но уже под руководством Ульбрихта.

Теперь я имел возможность оглядеться кругом: мы были в просторной комнате квартиры рабочего; на столе стояла керосиновая лампа, электрического света в эти дни, естественно, не было. На стульях, на полу, на диване сидело двенадцать нейкельнских товарищей.

Вся атмосфера была совсем иной, чем на советских комсомольских или партийных собраниях. Господствовало такое настроение, которое я себе представлял, когда думал о настроении на собраниях времен Октябрьской революции или гражданской войны в России, которого я всегда желал на партийных собраниях.

Здесь чувствовалась восторженность, соединенная со здоровым реализмом. Не ожидая директив, товарищи сразу поняли, что теперь дело сводилось к тому, чтобы организовать снабжение продуктами питания и водой, удовлетворить самые насущные нужды населения, организовать действенные самоуправления, чтобы вырваться из хаоса и голода.

Со всех сторон поступали ясные, короткие предложения, потом их обсуждали, иногда даже вносились контрпредложения, и, наконец, выносились постановления. Кто-то записывал отдельные данные: фамилии товарищей, которых надо было разыскать и привлечь к работе; мобилизация рабочих сил для разгрузки продуктов питания; связь с инженерами и техниками, чтобы организовать снабжение светом, водой и газом; руководство работами по расчистке города; выдача удостоверений личности. Без повестки дня, без пафоса, без фразеологии в полчаса было сделано больше, чем на бесконечных собраниях в России.

Только поведение Ульбрихта произвело на меня неприятное впечатление, — его манера, с которой он обращался к товарищам. В то время как меня уже первые минуты этой импровизированной партийной сходки убедили в том, что мы у них могли бы поучиться, мы, приехавшие из Москвы, и не знавшие еще многого, — Ульбрихт держал себя по-начальнически.

Незаметно мы перешли с наиболее насущных, актуальных вопросов к вопросам политического характера, как-то борьба товарищей во время национал-социализма, общая по-

литическая линия настоящего и будущего. Когда дело дошло до поведения товарищей — тут Ульбрихт ожил. Один вопрос сменял другой: как он держал себя, где он был, что он делал и т. д. Безостановочно мелькали имена, которые Ульбрихт крепко хранил в памяти. Позже мне еще не раз приходилось удивляться этому феноменальному умению запоминать имена. Он ставил вопросы, правда, не в тоне полицейского допроса, но во всяком случае и не в том тоне, который я ожидал от эмигранта, после двенадцати лет снова встретившего своих товарищей, переживших время Гитлера и испытавших его террор.

Когда он изложил теперешнюю политическую «линию», то сделал это тоном, который не допускал возражений, в такой форме, что не оставалось сомнений, что политика партии определяется им, Ульбрихтом, а не берлинскими коммунистами, которые нелегально работали в труднейших условиях.

На обратном пути я обдумывал эту первую встречу с немецкими коммунистами. Не существовало ли, в сущности, два сорта коммунистов? До сих пор я имел дело преимущественно с партработниками, которые, за некоторым исключением, применяли резкую манеру обращения с людьми, без личного подхода, при постоянном повторении партийных штампов. Между тем, насколько иными оказались живые коммунисты, имевшие дело с действительностью и связанные с «простыми людьми», готовые на жертвы и полные энтузиазма, с которыми я познакомился в этот первый вечер в Берлине!

Вечером, когда члены «группы Ульбрихта» вернулись в Брухмюле, состоялось наше первое совещание. Каждый вкратце сообщил о своих впечатлениях и наш технический секретарь получил первое задание: составить протокол на основании этих выступлений в нескольких экземплярах, чтобы каждый берлинский район с самого начала имел безукоризненный отчет.

Первое совещание велось еще в сравнительно свободной форме. Но на следующий день работа должна была быть четко распределена. Каждый район города Берлина должен был посещаться одним или двумя товарищами. После нескольких дней они должны были сменяться. Нам надо было сначала выяснить общее положение, выискать в разных районах Берлина активных коммунистов, социал-демократов и беспартийных антифашистов. Собрать о них информацию,

чтобы вручить соответствующему коменданту района список кандидатов в кадры управления. Мы должны были также найти и представить кандидатуру бургомистра района и его заместителя.

С большим усердием мы приступили к работе, по подысканию антифашистов, которые были бы полезны в делах управления. При этом мы могли опираться на партработников, которых Ульбрихт или некоторые другие из нашей группы знали еще с прежних времен, или же использовать списки фамилий, которые ежедневно к нам поступали от политофицеров при комендантах районов.

— Вот список, — сказал мне Ульбрихт еще в тот же вечер, — посети этих людей и установи, кто из них может нам пригодиться.

Я посмотрел на список. На первом месте было написано: Вольфганг Харих, Берлин-Далем, Подбельски-Аллее 1. Это имя навсегда врезалось мне в память.

На следующее утро я поехал в Берлин. Накануне я ознакомился только с восточными районами города. Теперь я приехал в Западный Берлин, то есть в ту часть, которая была у меня в памяти еще с детства. Когда мы приближались к Брейтенбахплатц, я увидел издали колонию художников на Лаубенхеймер платц. Нет, я во что бы то ни стало должен на это посмотреть! Несмотря на все партийные задания!

— Можно проехать сюда, налево?

— Охотно.

Мы остановились перед номером 12 на Боннер штрассе, перед домом, в котором я жил, будучи ребенком.

Я почувствовал себя несколько виноватым: в конце концов я не приехал для того, чтобы воскрешать воспоминания. Дом мало пострадал.

Шофер улыбнулся.

— Вы здесь жили?

— Да, ребенком, в 1931 и 1932 годах. Там, в третьем этаже справа.

— Сходите туда. Мы можем сделать небольшой перерыв, и вы посмотрите на вашу бывшую квартиру.

Но я вспомнил мой список, партийное задание и вежливо отклонил предложение шофера.

Через несколько минут мы остановились перед красивой, неразрушенной виллой на Подбельски-Аллее №1. Из двух окон свешивались неизвестные мне знамена иностранного го-

сударства. Вилла, очевидно, была зданием посольства. Я представлял себе как-то иначе встречу с немецким антифашистом. Я, как и все люди долго жившие в Советском Союзе, был проникнут паническим страхом перед зданиями посольств. Нерешительно подошел я к зданию и вскоре обнаружил вывеску на немецком, английском и русском языках. На табличке стояло, что здание это является сиамским посольством — посольством нейтрального государства.

С первым немецким антифашистом я должен был встретиться в сиамском посольстве!

Войти внутрь? Я неспокойно ходил взад и вперед. Вдруг одно окно открылось.

— Вы хотите к нам войти?

— Мне сказали, что здесь живет господин Вольфганг Харих.

— Это верно. Входите.

Элегантная вилла, в которую я вошел, являла собой резкий контраст с теми условиями, которые незадолго до того я видел на Франкфуртер Аллее. Тут все выглядело так, как я и представлял себе обстановку иностранных посольств по советским фильмам.

Меня приветливо встретили и любезно проводили на первый этаж, где я был представлен Вольфгангу Хариху — молодому, хорошо одетому человеку.

— Что вам угодно?

Я рассказал вкратце о положении в Берлине, трудностях, необходимости для антифашистов выступить теперь активно. Мое задание — привлекать в новообразуемые управления активных антифашистов.

Но Вольфганг Харих сперва отнесся ко мне с некоторым подозрением.

— Теперь приходит так много людей, которые ищут контакта со мною, но которых я никогда не видел до развала. Вам должно быть понятно, что я, прежде всего, держу связь с теми, кто еще во времена национал-социализма работал в нашем антифашистском направлении.

Несмотря на первоначальное недоверие, он стал все-таки рассказывать о нелегальных группах среди берлинских студентов, о дезертирах, которым доставали бумаги.

Я жадно слушал его и вскоре мне стало ясно, что эта работа проводилась не КПГ, а другими антифашистскими кругами.

Это усилило мой интерес. Но может быть выраженная мной заинтересованность и заставила его снова насторожиться.

— Простите, пожалуйста, что я вас так прямо спрашиваю. Кто вы такой? И . . . вы пришли с каким-то заданием?

— Во время войны я был диктором радиостанции «Свободная Германия» в Москве, а теперь я нахожусь в Берлине, чтобы установить контакт с антифашистскими кругами и привлекать их к сотрудничеству в организуемых самоуправлениях.

Тут он выразил такой же жгучий интерес, как и я несколькими минутами раньше. Я не без труда парировал многие умно поставленные вопросы относительно Советского Союза. В конце концов, в мою задачу не входило в помещении сиамского посольства дискутировать о теоретических проблемах Советского Союза, мне нужно было как можно скорее найти антифашистов для самоуправлений.

— Нет, это меня не особенно интересует, — сказал Вольфганг Харих в ответ на мое предложение, — но я охотно согласен сотрудничать в области культуры, в прессе или студенческих организациях.

Мы простились. И в этот же вечер в нашем списке появилась запись:

«Вольфганг Харих, студент-антифашист, образованный, заинтересован работой в культурных организациях, в прессе и в студенческом движении».

Его желание было точно выполнено. На организационном собрании «Союза культуры» („Kulturbund“), в начале июля 1945 года, Вольфганг Харих выступил в качестве представителя студенческой молодежи. Позже он работал в редакции газеты «Теглихе рундшау» в отделе культуры, готовился в 1948 году в доценты высшей партийной школы, а сегодня является профессором восточноберлинского университета имени Гумбольдта.

В тот же день я познакомился еще со многими берлинскими антифашистами; другие члены группы в это время также устанавливали контакты.

Через несколько дней в нашем управлении района был собран своего рода «актив», состоявший по большей части из бывших членов и ответработников КПГ. Эти люди со своей стороны привлекали других антифашистов.

С каждым днем работа продвигалась вперед. Все большее число антифашистов предоставляли себя в наше распоряжение. Мы могли опираться на них при организации районных управлений города.

МЫ НАЗНАЧАЕМ БУРГОМИСТРОВ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ

В начале мая советские коменданты назначили бургомистров и районные управления. Состав их нередко бывал произволен. Коменданты, в большинстве своем не владевшие немецким языком, находились в затруднительном положении. Что же было им делать? Они разрешали вопрос по-своему (чего, однако, никак нельзя поставить им в вину): они просто назначали тех, кто выдавал себя за «антифашиста», «концлагерника» или «старого коммуниста». Один из комендантов, получив приказ о создании районного управления, вышел на улицу и первому попавшемуся прохожему, который чем-то ему понравился, он сказал, дернув его за рукав:

— Поди сюда, ты будешь бургомистром.

Его выбор был случайно удачен, человек оказался толковым.

К сожалению, так получалось не везде. Нередко через несколько дней выяснялось, что так называемые «антифашисты», «концлагерники» или «старые коммунисты» на самом деле оказывались карьеристами, бездельниками, темными личностями, а порой даже бывшими активными нацистами.

Итак, нашей обязанностью было ликвидировать недостатки в случайно возникших управлениях и назначить в руководство дельных и способных антифашистов.

Ульбрихт дал нам новые директивы. Руководство каждого районного управления должно было состоять из бургомистра и двух его заместителей (причем первый заместитель совмещал свою должность с должностью заведующего отделом кадров) и целого ряда других отделов: продовольственного, хозяйственного и социального обеспечения, здравоохранения, транспорта, отдела труда, народного образования, финансов, советника по делам церкви и др.

Заместить все эти должности в двадцати районах Берлина было крайне трудной задачей тем более, что Ульбрихт нас непрерывно торопил, заявляя:

— Не позже, чем через две недели работа должна быть закончена.

Дело же заключалось не в простом распределении должностей. Ульбрихт нам разъяснил:

— Надо составлять районные управления политически правильно. Коммунисты на должности бургомистров нам не нужны, разве что в Веддинге или Фридрихсгейне. Как правило, в рабочих районах в бургомистры следует провести социал-демократов. В буржуазных районах — Целендорф, Вильмерсдорф, Шарлоттенбург и т. д. надо провести людей, входивших в состав Центра или принадлежавших к буржуазным партиям — к Демократической или Немецкой Народной партии — желательно с докторским званием. Такой бургомистр, разумеется, должен быть антифашистом и человеком, с которым мы могли бы хорошо сработаться.

— А остальные должности? — спросил кто-то.

— Не торопитесь, дойдем и до этого. Бургомистры должны соответствовать политическому лицу берлинских районов. В Целендорфе должно быть иначе, чем в Веддинге или Фридрихсгейне. В рабочих районах надо привлекать социал-демократов или беспартийных антифашистов из рабочего класса, с которыми мы могли бы тесно сотрудничать. В буржуазных же районах следует подыскать как можно больше буржуазных деятелей. На должности заместителей бургомистров, в отделы продовольствия, хозяйственного и социального обеспечения, а также и транспорта лучше брать социал-демократов; они разбираются в коммунальной политике. В отдел здравоохранения — антифашистски настроенных врачей; для руководства почтой и службой связи — понимающих в этом деле беспартийных специалистов. По меньшей мере половину мест следует распределить между буржуазными деятелями и социал-демократами.

У нас вытянулись лица, до сих пор мы имели дело в основном с коммунистами и решительно не представляли себе откуда нам набрать столько буржуазных деятелей и социал-демократов. Ульбрихт продолжал:

— Теперь вы достаточно ознакомились с людьми. Завтра же начинайте набор в управление. Сперва подыщите бур-

гомистра; имея буржуазного деятеля или социал-демократа вам удастся привлечь и остальных.

А теперь о наших товарищах. Первый заместитель бургомистра, заведующий отделом кадров и заведующий отделом народного образования — должны быть наши люди. Затем надо найти среди коммунистов таких, которым можно полностью доверить организацию районной полиции. Это касается всех районов. В некоторых районах мы ограничимся назначением коммунистов только на эти должности. В рабочих районах как Веддинг, Фридрихсгейн, Нейкельн и Лихтенберг, вероятно, нам удастся провести одним-двумя больше.

— А советник по делам церкви?

— Тут вам также следует найти антифашистски настроенное духовенство, с ним нам непременно надо будет сотрудничать, сейчас это очень важно.

У меня создалось впечатление, что я не зря проходил курс обучения в школе Коминтерна, — передо мной разыгрывалось буквально то же самое, что и в Башкирии, где я, два года тому назад, практиковался на семинарах в деле создания комиссий, с тою лишь разницей, что здесь речь шла не о комиссиях, а о районных управлениях.

Директивы Ульбрихта вызвали горячую дискуссию и больше всего по вопросу, где и как в этот короткий срок найти такое количество представителей буржуазии и духовенства. Приблизительно через полчаса Ульбрихт прервал дискуссию. На своем классическом саксонском наречии он изрек последнюю заключительную директиву:

— Это же ясно: всё должно выглядеть вполне демократически, но по существу власть должна находиться в наших руках.

Действительно теперь всё было ясно.

Вновь последовало распределение районов. Втайне я надеялся получить район, в котором на должность бургомистра следовало назначить социал-демократа, так как в те майские дни легче было отыскать социалиста, чем буржуазного деятеля. Но судьба мне не улыбалась. Как на зло, я получил Вильмерсдорф — район, в котором требовалось провести в управление представителя буржуазного класса.

На другой день я стоял у входа в комендатуру на Берлинер штрассе, не зная еще, что нужно предпринять. С некоторыми коммунистами из Вильмерсдорфа мы уже были

знакомы, и я прикидывал стоит ли мне обращаться к ним за помощью в деле привлечения буржуазного деятеля.

Но тут меня выручил случай.

Перед комендатурой стояла большая толпа. Одно из окон нижнего этажа было настежь открыто. В комнате сидел комендант, а под окном, на улице, стояла одетая в военную форму молодая советская девушка. Собиравшиеся люди задавали множество вопросов коменданту. Ответы, однако, были мало вразумительны, перевод девушки на немецкий и того хуже. Из всего этого ничего не получалось. Не долго думая я подошел к переводчице и стал ей помогать. Через несколько минут я был уже окружен тесным кольцом жителей Вильмерсдорфа.

Один человек лет сорока пяти подошел ко мне и спросил:

— Могу ли я одну минутку поговорить с вами наедине?

Мы отошли с ним немного в сторону.

— Извините, пожалуйста, что я обращаюсь к вам с просьбой, но я успел заметить, что вы разбираетесь в обстановке и кроме того свободно говорите по-русски. Дело вот в чем: я был арестован в связи с заговором 20 июля и всего несколько дней назад вернулся из концлагеря . . .

Он показал мне свои бумаги, и после нескольких заданных мною вопросов выяснилось, что он состоял членом Демократической партии, а в период гитлеровского режима примкнул к оппозиционным кругам. Очевидно передо мной стоял оппозиционер из буржуазной среды — как раз то, что я искал!

Он задал пару толковых вопросов, на которые я ему охотно ответил, и собирался уже проститься со мной.

— Извините меня, — торопливо остановил я его, — что я так сразу обращаюсь к вам, — согласились бы вы занять ответственную должность в новом районном управлении? Мы ищем дельных антифашистов, и у меня создалось впечатление в течение нашего короткого разговора, что вы подошли бы как нельзя лучше.

Приветливо улыбнувшись, он поднял руки, как бы для защиты:

— Нет, думаю, что это не для меня. В делах управления я вряд ли пригожусь. Если же вы нуждаетесь в административных работниках, то у меня есть друг, бывший «оберрегирунгсрат» (правительственный советник), в прошлом

член Немецкой народной партии, обладающий большим административным опытом. Он был горячим противником войны и после 20 июля был арестован. Ваше предложение его, наверное, заинтересует.

— Где он живет?

— Недалеко отсюда, каких-нибудь пятнадцать минут ходьбы.

Я указал на предоставленный в мое распоряжение автомобиль:

— Вас не затруднит отправиться со мной сейчас же?

И вот мы мчимся в погоне за бургомистром района Берлин-Вильмерсдорф. Небольшой особняк, около которого мы остановились, производил впечатление запущенного. Пожилой приветливый господин, явно из «бывших», открыл нам дверь:

— Доктор Вилленбюхер, — представился он.

Завязался разговор. Минут через десять я уже решил про себя: д-р Вилленбюхер будет бургомистром Вильмерсдорфа. Он понравился мне с первого взгляда, к тому же он полностью соответствовал директивам Ульбрихта: родом из буржуазной среды, член буржуазной партии, антифашист, да еще с докторским званием, что в директивах не подчеркивалось, однако, все же учитывалось. Решившись, я обратился к нему со следующими словами:

— Могли бы вы согласиться принять на себя обязанности бургомистра Вильмерсдорфа, если оккупационные власти дадут на это свое согласие?

Он выпрямился. Казалось, что он на несколько сантиметров стал даже выше.

— Я буду считать за честь поставить на службу обществу мои скромные административные познания.

Меня вдруг поразила необычайность данной минуты: выросший в Советском Союзе какой-то двадцатилетний коммунист, всего три дня как в Германии, назначает бывших правительственных советников на пост бургомистра!

Теперь предстояла новая задача — обработать советского коменданта. Но это прошло легко. Он был чрезвычайно доволен, что его освободили от неприятной нагрузки — разыскивать в этой неразберихе подходящего немецкого бургомистра.

— Приведите-ка сюда вашего бургомистра. Мы с ним дружно выпьем и тут же его назначим, — сказал он.

Через несколько минут я был снова у Вилленбюхера. На этот раз он уже выглядел иначе. На нем был его лучший черный костюм, он не сутулился больше, появилась даже некоторая осанка. Когда мы вышли на улицу, он был приятно удивлен тем, что его уже ждал автомобиль.

Комендант, которому я заранее объяснил, что мы имеем дело с человеком, придающим значение этикету, тоже старался, как мог:

— Я очень рад, доктор Вилленбюхер, что имею удовольствие вас здесь приветствовать.

— О, я этому еще больше рад, — скромно ответил Вилленбюхер.

Мы разместились в уютном, по тем временам, помещении и комендант ради проформы задал несколько вопросов. Через несколько минут он торжественно объявил, что назначает доктора Вилленбюхера бургомистром района Берлин-Вильмерсдорф. Между тем один из адъютантов поставил рюмки и водку на стол, и комендант, подняв рюмку, уже совсем в дружеском тоне провозгласил тост:

— За успешную деятельность нового немецкого управления района Берлин-Вильмерсдорф.

Мы все были очень довольны. Комендант потому, что так легко справился с трудным заданием; доктор Вилленбюхер потому, что стал бургомистром; а я доволен был тем, что не только точно выполнил директивы Ульбрихта, но и надеялся, что мой выбор был удачен.

В тот же день мне надо было согласно директивам составить список основных функций Вильмерсдорфского городского управления (магистрата). Заместитель бургомистра и заведующий отделом народного образования были коммунисты. Руководство полицией принял старый партийный работник, на которого вполне можно было положиться. Среди остальных заведующих отделами были беспартийные, социал-демократы или члены буржуазных партий.

— Все в порядке, благодарю вас, — сказал комендант.

Районное управление Вильмерсдорфа приступило к работе.

Таким же образом были организованы управления и в остальных двадцати районах Берлина, как нами, так и теми активными коммунистами, которые нам помогали. Догова-

риваться с комендантами не составляло ни малейших трудностей. Напротив: они охотно подписывали предлагаемые нами списки, при этом приглашали нас к столу, где приходилось столько пить, что у нас шутили по этому поводу: «Назначить бургомистра — дело не сложное, а как уклониться от комендантских попоек — вот это вопрос!»

КОМЕНДАНТ КРЕЙЦБЕРГА И РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ

Через несколько дней из двадцати районов Берлина в девятнадцати задание было выполнено. Только в одном районе дело у нас никак не клеилось — в Крейцберге.

Снова мы сидели все вместе и распределяли районы. Я просил разрешения съездить еще раз в Вильмерсдорф, чтобы закончить подборку кадров и принять участие в разрешении некоторых вопросов. Но моя просьба не была удовлетворена.

— Вильмерсдорф? Ну, там все в порядке. Сейчас важен Крейцберг. Там что-то не ладится. Еще лучше, если вы поедете вдвоем, — предложил Ульбрихт и указал при этом на Фрица Эрпенбека и меня.

— Где же там районное управление?

— В том-то и дело, что нам неизвестен даже его адрес, сердито проговорил Ульбрихт.

Итак, на следующий день мы отправились в Крейцберг. Что именно там «не ладилось», мы еще не знали. Так или иначе, впереди нам предстояли всякие неожиданности. Началось с того, что в Крейцберге никто не мог нам сказать, где же находится районное управление. Стоило нам спросить об этом, как нас направляли в комендатуру.

— Мы имеем в виду не комендатуру, — отвечали мы, — мы хотим попасть в немецкое районное управление.

— А разве это не одно и то же, — отвечали нам.

Здесь было, действительно, что-то не так.

Мы решили направиться в комендатуру. Она находилась на втором этаже большого дома. Поднимаясь по лестнице, мы увидели в первом этаже надпись: «Районное управление Крейцберга». Мы только головами покачали:

— Как глупо! Немецкое районное управление и советская комендатура — в одном доме!

Мы зашли в помещение районного управления, чтобы выяснить положение дел. Вокруг стола сидело приблизи-

тельно человек двенадцать — очевидно шло заседание. Так как в то время можно было бродить повсюду, никто не обратил на нас никакого внимания. Мы уселись поодаль в углу и стали слушать. С первых же слов мы насторожились. Собравшиеся говорили по-русски!

Мы были поражены. Быть может это все же комендатура? Но тогда почему все они в штатском? И что это вообще за люди? Мы решили слушать дальше. Владея в совершенстве русским языком, мы без труда следили за ходом совещания. Больницы . . . Чистка улиц . . . Снабжение продовольствием. . . Вода . . . — сомнения не было: речь шла о проблемах, которые надлежало разрешать немецким управлениям. Вскоре был объявлен перерыв. Представившись, мы приступили к выяснению крейцберговской загадки.

— Разрешите вас спросить, не являетесь ли вы работниками комендатуры? Или, может быть, это совещательный орган при комендатуре? — спросили мы по-русски.

Человек, занимавший место в конце стола, очевидно председатель, охотно нас информировал:

— Нет, мы немецкое самоуправление, — ответил он вежливо, тоже по-русски. — Разрешите вам представить здесь присутствующих.

Все они были русские, ни одного немца среди них! Из разговора выяснилось, что все они — русские эмигранты. Вид у них был самоуверенный, — очевидно они пользовались поддержкой коменданта.

На наше, осторожно сформулированное замечание, что мы находимся в немецком районном управлении и как-то нехорошо получается, что все должности этого учреждения распределены между русскими, последовал вежливый, но решительный ответ:

— Нас сюда определил комендант. Советские коменданты имеют право назначения — не так ли?

С этим нам пришлось согласиться. Официально «группа Ульбрихта» имела право только совещательного голоса при распределении мест в немецких административных учреждениях. На практике, однако, так повелось, что советские коменданты с готовностью принимали наши предложения. Мы не падали духом; сейчас мы пойдем к коменданту, разъясним ему положение дел и предложим снять с должностей русских и назначить новое немецкое управление.

Мы отрекомендовались коменданту, как представители «группы Ульбрихта». В ответ нам не было предложено сесть, нас не приветствовали и не угощали, как это было принято; вместо этого мы услышали:

— Что вам тут надо?

— Извините, пожалуйста, но мы вам уже объяснили, что мы являемся членами «группы Ульбрихта», которая, в связи с распоряжением генерала Галаджиева, должна облегчить советским комендантам работу по организации немецких управительных органов. Скажите, вам что-либо известно о существовании «группы Ульбрихта?»

— Да, известно, но у нас уже имеется управление, и мы не нуждаемся в вашей помощи.

Мы все еще не уходили. Видать, упрямый попался нам комендант.

Не зная, что предпринять, мы закурили. Раздался окрик:

— Я не давал вам разрешения курить! В армии принято спрашивать разрешение у старшего по чину офицера.

Подобного тона я не слышал уже много лет, с самой Караганды. Ничего не поделаешь, в данном случае он был формально прав. Рассерженные, мы потушили свои папиросы и вернулись к нашему делу.

— Видите ли, товарищ комендант, мы установили, что в состав управления Крейцберга входят одни русские, в то время, как нашей задачей является организация районных управлений из немецких антифашистов и демократов.

Наши доводы не произвели на коменданта ни малейшего впечатления.

— Я блестяще сработался с моим управлением: они понимают меня, я — их. Они, по крайней мере, не говорят со мной на этом собачьем языке, которого сам чёрт не разберет. Что же касается их прошлого, то это уж мое дело, они находятся под моим неустанным надзором.

Мы не сдавались и снова повторили свои возражения, но и это не помогло.

— Ваша задача — содействовать формированию управлений, сказал он еще более резким тоном, — в Крейцберге имеется управление, которое прекрасно справляется со своими обязанностями. Я его назначил, и я намерен и дальше с ним сотрудничать. Надеюсь, вопрос ясен: ваша помощь нам не нужна.

Но мы не дали сбить себя с толку. Мы выложили на стол свои удостоверения, подписанные генералом Галаджиевым, которые комендант внимательно прочел.

— Ладно, я готов уступить, — сказал он примирительно, — через несколько минут я открою совещание с моим управлением. Вы можете присутствовать при этом и убедиться в отличной работе здешнего районного управления.

Мы охотно согласились, тем более, что предоставлялась редкая возможность присутствовать на совещании немецкого самоуправления, которое велось исключительно на русском языке.

В течение получаса мы смогли убедиться, что управление Крейцберга проделало большую работу. Заведующие отделами коротко и ясно докладывали о мероприятиях по расчистке улиц, о распределении продовольствия, о состоянии школ, ремонте больниц и т. д. Последний отчет оказался наиболее интересным.

Закончив свой доклад, заведующий отделом здравоохранения в некоторой нерешительности обратился к коменданту:

— Мне бы хотелось внести еще одно частное предложение, хотя оно касается довольно щекотливого вопроса.

— Для нас нет никаких щекотливых вопросов! Вы можете откровенно высказать всё, что у вас на душе. Мы здесь для того и собрались, чтобы обсудить какие мероприятия нужно еще провести по нормализации жизни. Говорите, пожалуйста.

— Дело касается, скажем . . . отношений, которые создались между советскими солдатами и женщинами Берлина. Явление это принимает угрожающие размеры. Об этом говорилось уже на прошлом нашем собрании.

— Зачем же опять повторяться? Ведь я вам уже сказал, что со своей стороны предпринял все возможное, чтобы это приостановить. Вы знаете, что при первом же донесении, я всегда кого-нибудь посылал на место происшествия. Когда удавалось схватить виновного, он всегда подвергался наказанию. Но вы же сами видите, что комендатура не в состоянии в течение нескольких дней положить конец этим явлениям.

— Возвращаясь к этому вопросу, я не имел намерения кого-либо упрекать и прошу вас, комендант, не поймите меня превратно. Как врач и заведующий отделом здравоохранения, я должен считаться с возможностью распространения

болезней и потому хочу сделать предложение, которое внесет порядок в эти дела.

— Что вы хотите этим сказать? — удивился комендант.

— Отдел здравоохранения мог бы оборудовать пункты, которые, находясь под строгим медицинским контролем, — в нашем распоряжении для этой цели имеется достаточное количество персонала, — могли бы предотвратить опасность заболеваний в нашем районе.

— Организовать под руководством отдела здравоохранения нечто вроде домов терпимости? Так, что ли? — с возмущением воскликнул комендант.

Напрасно пытался заведующий отделом здравоохранения еще что-то объяснить, комендант его не слушал.

— Советская армия не знает домов терпимости и никогда их не допустит. Если бы я не знал вас как усердного и исполнительного сотрудника, я вынужден был бы истолковать ваше предложение, как провокацию, как оскорбление чести Советской армии! Считаю вопрос исчерпанным и не желаю больше к нему возвращаться. Переходим к следующему пункту.

Собрание продолжалось еще два часа. За это время Фриц Эрпенбек и я соображали, что нам следует предпринять, чтобы обеспечить ликвидацию русского самоуправления в Крейцберге.

Вечером в Брухмюле мы доложили обо всем виденном. Советский офицер связи, принимавший участие в совещании, делал у себя пометки. Он пообещал нам найти меры воздействия на коменданта. Но военный комендант Крейцберга продолжал упорствовать и не позволил вмешиваться в его дела даже Главному политуправлению, недостаточно еще сильному в те майские дни 1945 года.

Прошло несколько недель, прежде чем в Крейцберге было создано немецкое управление. Я не знаю, кому именно удалось расколоть твердый крейцберговский орешек. На примере Крейцберга я увидел бессилие комендантов перед массой буянящей и ушедшей из-под всякого контроля пьяной солдатни, я увидел бессилие Главного политуправления как перед солдатской массой, так и перед самоуправством отдельных комендантов.

КОМЕНДАНТ-САМОЗВАНЕЦ — ШПАЛИНГЕР

Крейцберг был не единственным твердым орешком, который нам пришлось раскалывать. Еще больше нас взволновал другой случай. Случай, приводивший нас нередко в отчаяние, но порой вызывавший взрывы смеха. Назывался он — «дело Шпалингера».

«Дело Шпалингера» было вызвано забавным происшествием, разыгравшимся на второй день нашей работы в Берлине. Деловая обстановка вечернего совещания была неожиданно прервана сенсационным сообщением Ганса Мале. Вот его описание происшествия в Рейникендорфе.

— Вы можете себе представить — русские «освободили» сумасшедший дом в Рейникендорфе! Производя обход своего района, я случайно проходил мимо дома для умалишенных. У входа стояли советские солдаты, которые, открыв ворота, восторженно кричали сумасшедшим: «Гитлер капут, криг фертиг, ир фрей!» Сумасшедшие не двигались с места и мрачно на них смотрели. Когда солдатам это надоело, они вытолкали сумасшедших из помещения, заперли ворота и поставили караул. После обеда мне опять пришлось там проходить. Перед зданием стоял советский солдат с примкнутым штыком. Он был окружен сумасшедшими, которые в отчаянии кричали: «Пустите нас, мы хотим обратно!» И снова под восторженный клич: «Гитлер капут, вы свободны!» солдаты отгоняли их от входа.

Через несколько дней мы стали свидетелями крайне странного явления в разных районах Берлина. Нам неоднократно задавался один и тот же вопрос, получили ли мы приказ Шпалингера.

— Шпалингер? Кто такой Шпалингер? — спрашивал Ульбрихт, получив новое донесение.

Имя Шпалингера, известное вначале только в северных районах города, через несколько дней облетело и остальные. О нем стали говорить в Трептоу, Рейникендорфе, Лихтенберге и даже в Целендорфе.

Мы стояли перед необъяснимой загадкой. Были рассмотрены все списки антифашистов, но имени Шпалингера так и не нашли. Старые члены партии получили распоряжение подумать, не встречалось ли им когда-нибудь имя товарища Шпалингера, но никто ничего о нем припомнить не смог.

Ульбрихт дал нам следующую инструкцию:

— Когда разъедетесь завтра по районам, берите там на заметку все, касающееся Шпалингера, и если где-либо о нем заговорят — постарайтесь отыскать концы.

На этот раз мне не повезло — до «моего» района слава Шпалингера еще не докатилась. Тем напряженней ждал я вечернего отчетного совещания.

— Ну, что же вы слышали о Шпалингере? — спросил нас Ульбрихт, когда мы заняли свои места.

— Очень странная история, — запинаясь начал рассказывать Гиптнер. — Когда я справлялся о нем, мне было сказано, что он комендант Берлина.

Не успел Гиптнер закончить, как со всех сторон зашумели:

— И мне тоже так говорили!

— И мне тоже!

Наш секретарь и русский офицер связи все это записывали. Мы были крайне озадачены — в чем же дело? Шпалингер — комендант Берлина? Но всем известно, что комендантом Берлина является генерал Берзарин. Нам ничего не оставалось, как искать дальше.

Теперь перед нами стояла двойная задача: формировать демократические управительные органы, да к тому же еще заниматься розысками «второго коменданта» Шпалингера.

На другой день дело Шпалингера приняло новый оборот. В некоторых районных управлениях появились отпечатанные приказы, в которых примерно говорилось следующее (я цитирую по памяти):

«Жителям города Берлина!

Именем совета рабочих и солдат города Берлина я принимаю власть в свои руки.

Я приказываю:

1. Всех членов национал-социалистической партии и ее организаций немедленно арестовать.

2. Об арестах следует без промедления докладывать мне лично.

3. Улицы должны быть очищены; электричество, газ, водопровод должны быть немедленно приведены в порядок. Распределение продовольствия следует проводить по моим директивам.

Не выполнивший моего приказа подлежит суровому наказанию.

Комендант города Берлина
Шпалингер».

Поиски таинственного нового коменданта становились все лихорадочней . . . Его «приказы» приводили уже к катастрофическим последствиям. Новые районные управления не знали, чьи инструкции выполнять — наши или Шпалингера. Мы им говорили, что они должены заниматься неотложными нуждами населения: очисткой улиц, приведением в порядок электростанций, ремонтом водопровода и, в первую очередь, распределением продовольствия. Главным у Шпалингера было — аресты нацистов.

Порой создавалось впечатление, что некоторым самоуправительным органам больше были по душе приказы Шпалингера, чем наши директивы. Возникли даже специальные отделы, в которых с энтузиазмом составлялись списки имен нацистов. Некоторых это занятие настолько увлекло, что они забросили всю остальную работу. В канцеляриях не умолкая трещали пишущие машинки, и списки становились все длиннее.

Но пришел конец и Шпалингеру. Несколько дней спустя вбежал к нам один из сотрудников и взволнованно воскликнул:

— Нашли Шпалингера!

— Где? Кто он? — Посыпались вопросы.

Наш товарищ, отыскавший Шпалингера, сквозь душивший его смех, еле произнес:

— Он из Виттенау!

— Из Виттенау?

— Какую же должность он занимает?

— Никакой! Шпалингер содержался в доме для умалишенных в Виттенау и был в числе «освобожденных» советскими бойцами.

— Ну, а какое это имеет отношение к приказам?

— Прямое. Было вот как: оказавшись на улице, группа сумасшедших, а с ними и Шпалингер, отправилась осматривать соседние дома и улицы. Где-то неподалеку они набрели на единственную сохранившуюся в Берлине типографию. Там Шпалингер, видимо вдохновленный воспоминаниями событий 1918 года, стал диктовать свои приказы, которые они тут же напечатали и распространили.

Мы от души посмеялись удивительной разгадке «дела Шпалингера», но были настолько перегружены работой, что вскоре забыли о нем. Уже позже до нас дошли слухи (можно надеяться, что они неверные), будто Шпалингера арестовали русские, затем передали его англичанам, какое-то время занимавшим Рейникендорф, а когда Рейникендорф заняли французы, Шпалингер оказался во французской тюрьме.

ГЛАВНАЯ КВАРТИРА НА ПРИНЦЕНАЛЛЕЕ 80

В середине мая мы получили указание не возвращаться вечером на главную квартиру в Брухмюле, а ехать в Берлин-Лихтенберг, Принценаллее 80, где был предоставлен в наше распоряжение большой дом.

Новая главная квартира находилась на полпути между станциями метро Лихтенберг и Фридрихсфельде. Это было большое новое здание, значительно большее, чем в Брухмюле, так что каждый из нас имел теперь отдельный кабинет. Помещения нижнего этажа были оборудованы под канцелярии. Работа наша приняла более организованные формы. К нам были назначены секретарши и стенографистки, так как с каждым днем объем работы все увеличивался.

Вечерами мне неоднократно приходилось сопровождать Ульбрихта в Карлсхорст. Там велись совещания с представителями штаба Жукова, где обсуждались все детали нашей работы. Хотя Ульбрихт, в отличие от Вильгельма Пика, хорошо владеет русским языком, я должен был ему переводить. Возможно, что и некоторые советские офицеры владели немецким и обе стороны нуждались в переводе, в основном, для того, чтобы таким образом выиграть время и иметь возможность точнее сформулировать свой ответ.

После переговоров с одним из советских генералов нас попросили пройти в зал, сказав, что маршал Жуков хочет с нами побеседовать.

Маршал Жуков и Ульбрихт приветствовали друг друга так, что было видно, что встречаются они не впервые. Ульбрихт представил меня как своего сотрудника.

Нам предложили сесть, после чего я ждал разговора на политические темы. Но о политике на этот раз говорилось мало. Маршал Жуков осведомился о здоровье Ульбрихта,

спросил в Москве ли еще его жена и когда он предполагает увидеть ее здесь. В течение четверти часа беседа велась в том же духе и только после этого Жуков перешел к делу:

— За последнее время в Берлине случались вещи, свидетельствующие о деятельности нацистов, правда, не очень активной. Мне думается, немецким товарищам следовало бы в этом отношении проявлять больше бдительности.

Ульбрихт стал оправдываться.

— Товарищ Жуков, было немало случаев, когда наши товарищи подавали рапорт комендантам об активных нацистах, но коменданты их вскоре отпускали.

— Это интересно, — сказал Жуков, — я сейчас же справлюсь.

Он взял телефонную трубку и вызвал генерала Серова, ответственного в то время по делам безопасности в Берлине, впоследствии ставшего председателем Комитета государственной безопасности в СССР.

— Здесь у меня сейчас товарищ Ульбрихт, — начал он и затем передал содержание разговора. После некоторой паузы он заговорил в телефон:

— Ах так, да, да, понимаю . . . ладно.

Он повесил трубку и, не сказав Ульбрихту, что же ответил Серов, обратился к нему с вопросом, который я в тот момент меньше всего ожидал:

— А как у вас обстоит дело со школьной реформой? План ее уже готов? Вы приступили к каким-нибудь подготовительным работам?

Ульбрихт явно был озадачен. Из его ответа стало ясно, что кроме предварительных разработок в Москве, в этой области ничего не было сделано.

— Мне кажется, это очень важный вопрос и было бы неплохо, если бы немецкие товарищи поскорее взялись за это дело, — посоветовал Жуков.

Указания Жукова не остались без внимания. Назначение Отто Винцера (которого Ульбрихт без сомнения считал одним из способнейших в нашей группе) на должность руководителя народным образованием при берлинском магистрате, являлось в какой-то мере результатом этого разговора.

Между тем «группа Ульбрихта» получила пополнение; в нее вошли партработники, известные Ульбрихту по его прежней работе.

В Бритце мы неожиданно встретили 47-летнего Романа Хвалека, бывшего в течение многих лет профсоюзным деятелем в Оппельне и с 1930 по 1933 год делегатом коммунистической фракции в немецком рейхстаге.

Приблизительно в то же самое время к нам из Бранденбургской тюрьмы привезли на грузовике нескольких уцелевших бывших партработников. Одного из них — Вальдемара Шмидта, впоследствии президента восточноберлинской полиции, а в настоящее время заместителя обербургомистра, тут же включили в нашу группу. Из Западной Германии пробрался в Берлин и нашел нас Ганс Жендрецкий, впоследствии ставший долголетним председателем Объединения свободных немецких профсоюзов (коммунистических. — Прим. пер.) и первым секретарем СЕПГ города Берлина. Восторженная встреча была устроена шестидесятитрехлетнему активному партработнику Оттомару Гешке, отсидевшему в гитлеровских концлагерях 12 лет. В начале двадцатых годов он стал членом коммунистической партии, с 1924 по 1928 год членом Исполнительного комитета Коминтерна, с 1928 по 1932 год депутатом коммунистической партии в немецком рейхстаге. Когда он прибыл к нам, его тут же назначили на ответственную должность.

Наши «новенькие», только что прибывшие из тюрем и концлагерей после многолетнего заточения, не передохнув ни одного дня пожелали сразу же включиться в работу.

Мы были настолько заняты, что едва обратили внимание на капитуляцию гитлеровской Германии и празднество советских войск в честь победы над Гитлером. Как раз в этот день мы получили от Ульбрихта новое задание:

— Работа по организации районных управлений должна быть временно приостановлена. Сейчас на повестке дня формирование городского управления Берлина. Если понадобиться, мы переведем людей из районных управлений на работу в городское управление.

— Все должны принять участие в этой новой работе?

— Нет, — ответил Ульбрихт, — в этом нет необходимости. Достаточно, если этим займутся Марон, Гиптнер и Винцер; если понадобится помощь, мы привлечем еще кого-нибудь.

Мы уже думали, что никаких больших перемен не предвидится в нашей работе, но Ульбрихт дал новую инструкцию:

— Сейчас нам следует изменить тактику нашей поддержки районных управлений. Мы должны сконцентрировать наше внимание на северо-западных, юго-западных и западных районах Берлина. Приблизительно через месяц эти районы оккупируют западные союзники. К этому времени управления в них должны функционировать безупречно.

— Можно мне еще хоть несколько дней пробыть в восточных районах — это очень важно, — попросил один из сотрудников, очевидно энтузиаст своего участка.

— Нет, об этом не может быть и речи. С сегодняшнего дня никто больше не поедет в восточные районы Берлина. На них у нас времени хватит.

Итак мы взялись за районы, которые вскоре должны были оккупировать англичане, американцы и французы. Повсюду мы уже могли опереться на достаточно крепкий «актив». Наша задача заключалась теперь в укреплении уже существующих самоуправлений, в ликвидации осложнений с комендантами, в перестановке кадров, заменой слабых более сильными.

Дни и ночи я находился в постоянном движении. Я познакомился с большим количеством людей. Моя записная книжка пестрела адресами антифашистов разных направлений, а также специалистов-администраторов: техников, инженеров и других. Параллельно с нашей работой, часть нашей группы вела подготовку по созданию городского управления. Неоднократно Ульбрихт проводил экстренные совещания с Мароном, Винцером и Гиптнером.

Недавно вошедшие в «группу Ульбрихта» Мале и Маттеус Клейн тоже стали отходить от работы в управлениях. Как-то раз они сообшили нам, что в Тегеле ими был обнаружен радиопередатчик, а в Шарлоттенбурге на Мазуреналлее— управление Берлинской радиостанции и добавили, что этим стоило бы заняться. На наших совещаниях разбиралось такое количество вопросов, что на их рапорт никто не обратил особого внимания и брошенное Ульбрихтом: «Хорошо, действуйте!» Мале и Клейн истолковали как полученные ими «полномочия».

Несколько дней спустя в мою комнату ворвался Эрпенбек со словами:

— Сегодня пускаем в ход!

— Что пускаем? — спросил я, ничего не понимая.

— Радиостанцию разумеется!

Эрпенбека затянули в свою «радиостанцию» Мале и Клейн.

— А какое это имеет ко мне отношение?

— Пиши! Нам нужен текст для первой передачи. Мале и Клейн настолько заняты работой с персоналом радиостанции, что им не до текстов. К 11 часам все должно быть закончено и отправлено на станцию.

И вот, Эрпенбек и я стали диктовать стенографисткам тексты передач для Берлинской радиостанции. Перед нами лежало несколько последних номеров «Правды», ничего другого в то время мы получить не смогли. Отобрав последние известия, мы обработали их в «антифашистско-демократическом» стиле.

Уже в обед мы услышали первую передачу Берлинской радиостанции.

На следующий день нам не понадобилось составлять тексты. Мале и Клейн сообщили, что имеется прежняя редакция радиостанции в полном составе и она готова взять эту работу на себя, следуя требованиям новой линии.

Возобновление передач товарищами Мале и Клейном почти целую неделю оставалось незамеченным. И вдруг раздался крик взбешенного Ульбрихта:

— Что вы опять натворили? Советские товарищи передали мне сегодня запись Лондонской радиостанции, которая заявила, что Берлинская радиостанция уже несколько дней, как пущена в ход!

— Но я же говорил тебе об этом! — оправдывался Мале.

— Ну, ладно, — немного успокоившись, сказал Ульбрихт, — судя по лондонскому сообщению дело до сих пор поставлено было правильно. Там говорилось, что Берлинское радио, игнорируя коммунистическую пропаганду, ведет свои передачи в антифашистском духе. Вам придется за это урегулировать дело с советскими товарищами и наладить поскорее связь.

Мале и Клейн пообещали это выполнить. Радиостанция была в какой-то мере «легализирована», но зато мы лишились двух сотрудников нашей работы в управлениях — они застряли на радиостанции. И мы не удивились, узнав потом, что Ганс Мале занял должность интенданта, а Маттеус Клейн — начальника отдела кадров Берлинской радиостанции.

Кроме ежедневных совещаний, приблизительно с середины мая, по воскресным дням проводились утром большие конференции. На них присутствовало от 80 до 100 активных партработников, в большинстве своем принимавших деятельное участие в работе районных управлений.

На этих конференциях мы имели возможность шире ознакомиться с жизнью Берлина. После докладов с мест, Ульбрихт неизменно давал свои директивы.

Обстановка воскресных конференций обычно носила серьезный, деловой характер. Однако на одной из них деловое настроение было нарушено громким хохотом собравшихся. Один старый партработник из Веддинга, не утерявший еще партийного жаргона двадцатых годов, отчитывался о работе своего управления, не упомянув, однако, ни единым словом о своей должности. Ульбрихт не выдержал:

— В чем дело? Ты все время говоришь о других. Скажи же, наконец, какую должность занимаешь ты сам?

— Я советник по делам церкви.

Все застыли от удивления.

— Как это тебе в голову пришло?

— О, это совсем просто, товарищ Ульбрихт. Когда мы разбирали должности, я выбрал себе, разумеется, эту. Должен же, в конце концов, кто-то присматривать за попами. Среди них попадаются порой здорово расторопные парни.

Раздался громкий хохот. Но Ульбрихт был взбешен:

— Ты немедленно подашь в отставку! На эту должность годятся только священники. Мы должны теперь наладить деловое сотрудничество с прогрессивными церковными кругами. Мы не допустим, чтобы такие, как ты, мешали нам, внося дезорганизацию в нашей церковной политике!

Резкий тон Ульбрихта заставил смолкнуть смех в зале. А бедный товарищ из Веддинга беспомощно озирался вокруг, явно не понимая, что случилось. Такие понятия, как «прогрессивные церковные круги», очевидно, ему тоже ничего не говорили. Ульбрихт не счел нужным хотя бы коротко разъяснить старому партийцу-рабочему новую политическую линию и ограничился только окриком.

Запомнился еще один инцидент, носивший более острый характер. В этом случае дело дошло до открытого протеста многочисленных берлинских партработников против директивы Ульбрихта.

Воскресная конференция близилась к концу. Текущие отчеты были приняты, общие указания, касающиеся работы в управлениях, распределены.

— Есть еще вопросы?

— Да, есть! — раздался голос из задних рядов. — Антифашистски настроенные врачи поставили перед нами вопрос: что им следует делать, когда к ним приходят изнасилованные женщины и просят сделать им аборт. Я обещал этим врачам дать ответ. В таких случаях мы должны иметь ясную установку в отношении абортов.

Этого товарища тут же поддержал другой.

— Это неотложный вопрос. Об этом повсюду говорят. Мы обязаны дать точные указания заведующим отделами здравоохранения. Мое мнение таково, что во всех подобных случаях аборты должны быть официально разрешены.

В зале раздались одобрительные возгласы.

Ульбрихт прервал дискуссию, закричав:

— Об этом не может быть и речи! Я считаю дискуссию оконченной!

Однако берлинские коммунисты в мае 1945 года не были еще покорными рабами и дискуссию никак не считали оконченной.

Впервые в своей жизни я стал свидетелем того, что до сих пор считал немыслимым: открытого протеста против высокопоставленного партийного руководителя.

— Так дело не пойдет! Мы будем об этом говорить!

— Наш долг определить свою позицию в этом вопросе!

— Мы обязаны дать возможность женщинам рабочего класса делать аборты!

— Нельзя же всегда увиливать от неприятных вопросов!

Лицо Ульбрихта исказилось злобой.

Выступления следовали одно за другим.

Речь уже шла не только об официальном разрешении абортов. Участники конференции требовали занять по отношению к насилиям советских солдат ясную и принципиальную позицию. Нельзя больше колебаться, мы, немецкие коммунисты, обязаны, по меньшей мере, дистанцироваться от этих эксцессов, а если понадобиться и открыто осудить их.

Наконец, когда негодование немного улеглось и стало тише, Ульбрихт заговорил резким тоном:

— Я повторяю: дискуссию по этому вопросу считаю оконченной. Определять свою позицию по поводу эксцессов.

давать разрешение на аборты я категорически отказываюсь. А тем, кого это сегодня волнует, я напомню: лучше б они негодовали, когда Гитлер начал войну. Не может быть и речи, чтобы отступать перед такими настроениями. Вопрос этот считаю решенным, открытых выступлений больше не допущу. Совещание окончено.

Ворча и негодуя, выходили участники конференции из зала. Присутствующие здесь берлинские коммунисты, прошедшие многолетнюю партийную дисциплину, оказались достаточно мужественными, чтобы заявить о своем несогласии, но не были достаточно сильны, чтобы противодействовать партийным директивам. На совещаниях этот больной вопрос больше никогда не поднимался.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Однажды утром мне было сказано:

— Ты должен бросить все дела и немедленно ехать в Рейникендорф.

— Что случилось?

— Не знаю. Иди скорей вниз к Ульбрихту, у него сидит советский офицер связи, они тебе скажут в чем дело.

— Дело вот в чем, — начал советский офицер, — в Рейникендорфе появились троцкисты и среди местных коммунистов замечены троцкистские тенденции.

Я был крайне обескуражен. Сейчас, в мае 1945 года, несколько недель после окончательного разгрома гитлеровского фашизма, когда нашей основной задачей было налаживание материальной базы для населения, именно я должен разыскивать каких-то там троцкистов. Я намеревался спросить, нельзя ли с троцкистами подождать до завтра, но советский связной начал объяснять:

— Это крайне важное дело. Им интересуются на верхах и уже сегодня после обеда я должен буду представить свой отчет.

Несколько минут спустя мы уже ехали с советским офицером в Рейникендорф. Это задание меня нисколько не вдохновляло. Если уже заниматься розыском, то во всяком случае не троцкистов, а фашистских главарей.

По дороге я обдумывал, как бы мне поскорей и безболезненней выпутаться из этого дела. Моему спутнику я предложил:

— Быть может будет целесообразней пойти мне одному к нашим товарищам в управлении?

Офицер связи согласился со мной.

Прибыв в управление Рейникендорфа, я сперва отправился к заместителю бургомистра, поскольку этот пост обычно занимал наиболее активный партработник. Мне казалось настолько глупым приехать в Рейникендорф, чтобы узнавать о троцкистах, что я начал с разговора об общем положении вещей. Затем между прочим спросил:

— Наши советские товарищи слышали, что в Рейникендорфе будто бы обнаружены троцкисты и их интересует, правда это или нет. Мне кажется это сомнительным, но я хотел бы на всякий случай узнать . . .

— Ах, вот вы о чем, — засмеялся заместитель бургомистра. — Эта история уже недельной давности. Как-то собралась компания наших товарищей и один из них упомянул имя Троцкого, но все участники этого разговора сейчас же высказались против Троцкого.

— Благодарю. Значит я могу сообщить, что здесь никакой троцкистской организации или чего-нибудь подобного не существует и все дело возникло по какому-то недоразумению?

— Конечно! Этот случай действительно не имеет значения.

Мы простились с ним. Советский офицер тоже был явно доволен, что все выяснилось.

— В своем отчете я представлю дело так, как вы мне его описали, — сказал он, на что я дал свое согласие.

Но на обратном пути мне приходили в голову еще некоторые мысли. Значит какие-то товарищи, болтая между собой, упомянули имя Троцкого. Факт этот вскоре стал известен советскому командованию. Там это вызвало такой интерес, что был послан офицер связи в «группу Ульбрихта» (то есть к видному партийному руководителю), чтобы этим делом немедленно занялись.

Следующее специальное задание считалось настолько важным, что меня не послали на него одного. И это задание привез советский офицер связи.

— Дело касается очень важного и срочного задания, — начал он серьезно, — получены сведения, что на Берлинской радиостанции находятся звукозаписи, имеющие отношение к переговорам Молотова в Берлине осенью 1940 года. В настоящий момент эти ленты хранятся в секретном отделении архива радиостанции на Мазуреналлее в Шарлоттенбурге. Поскольку Шарлоттенбург, вероятно, займут англичане... мне не приходится вам объяснять насколько важно, чтобы эта запись не попала в руки наших западных союзников.

Это специальное задание произвело на нас такое впечатление, что у нас дух захватило. Офицер связи продолжал:

— Поэтому я предложил бы двум товарищам из «группы Ульбрихта» немедленно поехать со мной на радиостанцию, где мы вместе с Гансом Мале могли бы установить местонахождение этих лент. Обеспечение сохранности этого материала уже не ваша задача. Сейчас главное — найти его.

Ульбрихт на это дело назначил Гиптнера и меня; уже через полчаса вместе с офицером связи мы были в помещении радиостанции. Когда мы хотели пройти в отделение архива, нас задержали советские военные.

— В это отделение вход запрещен, — было нам сказано по-русски.

Между тем, сопровождавшему нас офицеру, после уговоров и предъявления документов, удалось поговорить с начальником специальной охраны. Офицер, если память мне не изменяет, имел голубой околыш на фуражке — признак войск НКВД. Он был неумолим.

— Мне приказано никого туда не впускать.

Наш связной что-то шепнул ему на ухо, и они удалились на несколько минут.

— Все в порядке, можем ехать обратно, — сказал он, вернувшись. — Извините, что я вас побеспокоил, но я получил это задание, как особо срочное и важное. Дело это оказывается закончено. Звукозаписи уже несколько дней тому назад обнаружены другой организацией и находятся в надежном месте.

Не трудно было догадаться о какой «другой организации» шла речь. Во всяком случае она действовала быстро — быстрее Главного политуправления Красной армии.

СОЗДАЕТСЯ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕГО БЕРЛИНА

— Вот продовольственные рационы, которые будут выдаваться с 15 мая. Карточки уже печатаются, — объявил нам Ульбрихт и вручил каждому из нас по списку.

Мы тотчас же заметили, что новое распределение, в основном, совпадает с советским. Как и там, здесь устанавливалось значительное различие в снабжении: занятых на тяжелых работах, просто рабочих, служащих и «прочих». Суточный паек хлеба колебался между 300 и 600 граммами, выдача мяса между 20 и 100 граммами, жиров между 7 и 30 граммами, выдача сахара между 15 и 25 граммами. Только выдача картофеля (400 гр в день) и месячные пайки суррогата кофе (100 гр), чая (20 гр) и соли (400 гр) остались одинаковыми для всех жителей Берлина.

Новый порядок снабжения предполагал единое управление для всего Берлина, без второго не могло быть и первого. Ульбрихт объявил нам на следующий день:

— Мы должны, наконец, определить состав берлинского горуправления. У нас уже достаточно кадров.

Это совещание было настолько неподготовленным, что мне думалось дело идет о временной мере.

— Итак, сперва обербургомистр. Я все же стою за доктора Вернера. Как вы думаете? — спросил Ульбрихт.

Марон, Гиптнер и Винцер не выразили энтузиазма.

— Не знаю, Вальтер, доктор Вернер, кажется, все же не тот человек. Да он к тому же стар, — бросил кто-то.

— Я слышал, у него порой голова не в порядке, — сообщил один из наших спецов по городским делам.

— Это ничего не значит, — заявил Ульбрихт. — Мы же будем иметь заместителя.

Этим вопрос о личности обербургомистра был разрешен. (К счастью сомнения в отношении доктора Вернера оказались необоснованными; он был еще весьма крепким человеком).

— Ну, а теперь самое важное: первый заместитель. Лучше всего, если ты этим займешься, Карл, — обратился Ульбрихт к Марону.

Марон сделал удивленное лицо. Это назначение его нисколько не обрадовало.

— Такими делами я еще никогда не занимался, — возразил он.

— Ничего, справишься, — ответил Ульбрихт.

— Хорошо, но при условии, что Вольфганг тоже будет там работать.

— Нет, Вольфганга мы не можем дать в горуправление; он пока останется здесь для разрешения текущих задач.

Так был решен вопрос и о заместителе обербургомистра. Из дальнейшего хода совещания стало ясно, что городское управление всего Берлина будет строиться по той же схеме, что и районные управления, с той только разницей, что «наших людей» (как любил выражаться Ульбрихт) в горуправление намечалось несколько больше.

Одна за другой назывались фамилии и список рос. Примерно через час каждый из нас записал на листе бумаги предполагаемый состав будущего городского управления Берлина.

«Наши люди» намечались на три важных должности, причем под «нашими людьми» на этот раз имелись ввиду не просто кадровые работники компартии Германии, но и непременно побывавшие в эмиграции в Советском Союзе. Это были Карл Марон в качестве первого заместителя обербургомистра, Артур Пик в качестве заведующего кадрами и «Лоренц» (Отто Винцер) в качестве заведующего ОНО.

К партработникам московской школы, получившим действительно ключевые посты присоединились еще два кадровых работника КПГ — Оттомар Гешке и Ганс Жендрецкий, просидевшие много лет в нацистских концлагерях. Характерно, что оба получили относительно незначительные должности (отдел труда и отдел социального обеспечения); в этом совершенно ясно сказалась неравная оценка партработников, приехавших из Москвы и остававшихся в Германии.

Третий заместитель обербургомистра и руководитель планового отдела Пауль Швенк был также в Москве в эмиграции. Когда Ульбрихт назначил его, он находился еще в Москве и, как мне потом рассказывали, был сильно удивлен этим назначением. Через несколько дней он прибыл самолетом в Берлин.

Четвертый заместитель обербургомистра Карл Шульце и заведующий отделом торговли Иосиф Орлопп шли у нас за социал-демократов. Обербургомистр доктор Вернер, второй заместитель и заведующий продотделом доктор Гермес, за-

ведующий отделом здравоохранения проф. Зауербрух, заведующий строительным отделом Шароун и заведующий хозотделом доктор Ландвер, как и пастор Бухгольц считались «буржуазными деятелями».

Руководителями отделов — «информации и связи» и «коммунальных предприятий» были назначены «беспартийные».

В магистрате оказалось, таким образом, 7 «буржуазных деятелей», 6 коммунистов, 2 социал-демократа и 2 «беспартийных». В противоположность некоторым позднейшим «надпартийным» учреждениям и организациям, берлинское городское управление в мае 1945 года не только выглядело демократически, но и в самом деле было таким, так как «представители буржуазии» и социал-демократы в нем, как я мог заключить из высказываний Марона и Винцера, были отнюдь не марионетками, но большей частью людьми, обладавшими незаурядными специальными познаниями, действовавшими самостоятельно и выступавшими с чувством собственного достоинства.

17 мая в «Теглихе рундшау» и в «Берлинер цейтунг», единственных выходивших тогда в Берлине газетах, было сообщено о создании общеберлинского управления.

В день торжественного открытия нового берлинского магистрата в частично восстановленном здании на Парохиальштрассе, зал был украшен лозунгом: «Единство антифашистов — залог возрождения немецкого народа». Тогдашний комендант Берлина генерал-полковник Берзарин просил берлинский магистрат «как можно скорее и лучше восстановить нормальную жизнь города Берлина».

В своей ответной речи новый обербургомистр Берлина доктор Вернер заявил:

— Едва ли можно найти сегодня какую-либо отрасль в хозяйственной и общественной жизни, которую не нужно было бы отстраивать совершенно наново. Гитлер сделал Берлин городом разрушений, мы сделаем его городом прогресса.

Свою речь доктор Вернер закончил словами:

— Мы благодарны антифашистским соратникам, которые еще во времена национал-социализма шли на риск ради наших идей и вели за них борьбу. Дух благородной любви и единодушия должен повеять вновь на немецкой земле. Наше антифашистское единство привело нас к первому видимому успеху, это единство — залог возрождения немецкого народа.

Слова доктора Вернера безусловно были созвучны надеждам, которые разделяли в то время все антифашисты. Слушая их, я также был тронут. Но уже в следующие дни наступили события, резко противоречившие словам доктора Вернера, полным надежды на «антифашистское единство».

РАСФОРМИРОВАНИЕ АНТИФАШИСТСКИХ КОМИТЕТОВ

— За последнее время возникли разные бюро, комитеты и организации, именующие себя Антифашистскими комитетами, Антинацистскими группами, Социалистическими бюро, Национальными комитетами или еще как-нибудь в этом роде, — сказал Ульбрихт на одном из обычных совещаний.

Эти бюро я тоже видел не раз во время моих поездок по Берлину. Я был убежден, что мы получим от Ульбрихта распоряжение войти с ними в контакт, для того, чтобы поддержать их работу.

— Мы узнали, — Ульбрихт не сказал от кого и как, — что эти бюро развели нацисты. Это камуфляжные организации, цель которых помешать развитию демократии. Мы должны сделать всё, чтобы их расформировать. Сейчас это самая важная задача. Каждый должен разузнать в своем районе, где находятся такие комитеты, и принять меры к их немедленному расформированию.

Это заявление Ульбрихта показалось мне странным, но я думал, что он располагает обоснованными данными. Кроме того такая тактика нацистов не была исключена: не призывал ли Коминтерн немецких коммунистов на VII Всемирном Конгрессе летом 1935 года вступать в нацистские организации для их разложения изнутри? Может быть, думал я, нацисты (чье влияние мы, члены «группы Ульбрихта», тогда очень переоценивали) пробуют теперь то же самое. Но уже первые непосредственные контакты с членами этих стихийно возникших антифашистских комитетов показали мне, что там сидят ни в коем случае не нацисты, а товарищи, работавшие нелегально в Германии. Скоро мне стало ясно, что здесь дело идет не о «замаскированных фашистах», а о честных товарищах и антифашистах.

По всей видимости и у других создалось такое же впечатление, так как все донесения сходились в этом пункте.

Но на Ульбрихта это не оказало никакого влияния и все попытки замолвить слово за комитеты были им отвергнуты.

— Они должны быть расформированы и притом немедленно, — резко сказал он, — мы не допустим, чтобы тут, в Берлине, повторились ошибки греческой партии. Там товарищи тоже объединялись в какие-то комитеты, а тем временем наши противники создали аппарат государственного управления.

Так как я принадлежал к тем партийным работникам, которые в политических выводах имели собственное мнение, я не мог удержаться, чтобы не заметить противоречий в аргументации Ульбрихта: сперва комитеты нужно было расформировать потому, что они якобы являлись закамуфлированными нацистскими организациями, а теперь, оказывается, потому, что ценные товарищи отвлекаются от работы в административных органах и потому, что нужно избежать ошибок греческой партии. В продолжение всей кампании против антифашистских комитетов Ульбрихт выдвигал то одни, то другие аргументы. Только одно оставалось без изменений: твердость и решительность в его директиве — антифашистские комитеты расформировать и все подобные им вновь создаваемые организации душить в зародыше.

Я уже тогда считал эти директивы неправильными, но был еще настолько дисциплинирован, что выполнял их вопреки моему внутреннему убеждению. При этом я всегда старался проводить расформирование как можно осмотрительнее и по возможности больше товарищей ввести в органы управления.

Особенно жалко мне было расформировывать блестяще работавший антифашистский комитет в Берлине-Шарлоттенбурге, бюро которого находилось тогда на Курфюрстендамме вблизи станции метро «Уландштрассе».

Над входом в дом висела вывеска: «Национальный комитет Свободная Германия», сделанная таким же шрифтом, как заголовок нашей газеты, выходившей в Москве. Даже не была забыта черно-бело-красная полоса под названием. Эту вывеску могли сделать только те люди, которые читали нашу газету «Свободная Германия».

«Национальный комитет» занимал целый этаж. Везде слышался стук пишущих машинок, суетились сотрудники. На дверях комнат, рядом с обязательной надписью «На-

циональный комитет Свободная Германия», висели такие, как, например:

«Отдел водоснабжения»
«Отдел ремонта дорог»
«Отдел электричества и газа».

На одной из дверей я обнаружил немного необычную даже для мая 1945 года надпись: «Отдел горных работ».

Все это производило впечатление очень хорошо действующего управления, компетентность которого не ограничивалась только Шарлоттенбургом.

— В какой отдел Вам нужно и по какому делу? — спросили меня вежливо.

— Я бы хотел поговорить с вашим председателем.

Человек пожал плечами.

— Это едва ли возможно. Он, как Вы можете легко себе представить, чрезвычайно занят.

Здесь не было никакого смысла прибегать к каким-либо уловкам или играть в прятки.

— Я прибыл от «группы Ульбрихта». До недавнего времени я работал в Национальном комитете «Свободная Германия» в Москве.

Меня с радостным удивлением приветствовали.

— Да это же чудесно!

Тотчас же я был принят председателем, который произвел на меня очень хорошее впечатление. Довольно быстро распространилась весть, что прибыл кто-то, прежде работавший в Национальном комитете в Москве. Вскоре собрались самые главные сотрудники.

— Мы постоянно слушали радиостанцию «Свободная Германия» и важнейшие сообщения записывали и размножали, — сказал председатель.

Я понял в течение короткой беседы, что это не было выдумкой, как случалось тогда нередко, а было действительно правдой. Все присутствующие не только знали фамилии членов Национального комитета, но и хорошо помнили некоторые радиопередачи.

— Наш Национальный комитет, основываясь на воззваниях и сообщениях вашего Комитета, применял их в Берлине, учитывая местные условия. Правда, — добавил он почти извиняясь, — генералов при этом не было. Но мы имели связь с другими кругами, связанными с событием 20 июля.

Выяснилось, что объединившиеся в этом Национальном комитете антифашисты образцово провели в жизнь нашу основную мысль — широкий единый фронт всех антифашистов против Гитлера. В руководстве дружно работали, наряду с бывшими членами КПГ и СДПГ, представители буржуазии и церкви. Председатель — бывший деятель Социалистической рабочей партии (СРП), образовавшейся в 1931 году небольшой, но активной партии, которая еще до прихода к власти Гитлера стремилась создать единый антифашистский фронт.

Непосредственно после капитуляции армии в Берлине организация, не дожидаясь ничьих распоряжений, даже наших, приступила к выполнению неотложных задач. Инженеры, техники и квалифицированные рабочие были привлечены для обеспечения снабжения населения газом, водой и электроэнергией, была организована расчистка улиц, восстанавливались больницы и школы — словом, делалось все, что было необходимо в эти дни. Под умелым и энергичным руководством комитет вскоре распространил свою деятельность за пределы Шарлоттенбургского района. Его широкие связи охватывали не только весь Берлин, но даже и другие города. С некоторыми профессорами и крупными научными работниками проводились подготовительные работы по восстановлению заводов и рудников. Политические вопросы также не были забыты. Шарлоттенбургский Национальный комитет уже создал — в середине мая 1945 года! — архивный отдел. Сюда регулярно сходились участники 20 июля, чтобы совместно составить описание событий 20 июля, охарактеризовать это движение и в кратчайший срок опубликовать свой труд.

Для меня эта встреча была незабываемой и я боялся подумать, что Ульбрихт может уничтожить и эту живую, образцовую организацию.

«Я сделаю все, чтобы помешать этому» — решил я про себя.

Своим новым друзьям я еще ничего не сказал о распоряжениях Ульбрихта.

Вечером я отчитывался на Принценаллее, причем особенно подчеркнул исключительно положительную деятельность комитета. Но все было напрасно.

— Лавочка на Курфюрстендамме должна быть закрыта, — сказал Ульбрихт.

Я еще раз заступился за своих друзей антифашистов, но это ни к чему не привело.

Ульбрихт заявил:

— Ты поедешь завтра еще раз туда и скажешь им, чтобы они прекратили свою деятельность. Нам не нужны комитеты. Если ты уверен, что среди них есть хорошие люди, то мы можем взять некоторых из них в Шарлоттенбургское управление.

Итак, на следующий день я снова поехал в Шарлоттенбург. Председатель комитета пригласил тем временем всех активных членов комитета и участников событий 20 июля. Прибыло около сорока человек. Все напряженно ожидали, что сообщит им представитель Национального комитета из Москвы. К несчастью председатель меня еще торжественно представил и во вступительном слове подчеркнул, что докладчик будет говорить о дальнейшей деятельности движения «Свободная Германия». Создалось очень неприятное положение. Внутренне я был твердо убежден, что эта антифашистская организация не только имеет право на существование, но ее деятельность должна быть всемерно поддержана, а мы, эмигранты, должны к ней примкнуть. Но этому противоречило точное распоряжение Ульбрихта: никаких организаций не допускать, а все существующие распустить. А во мне было еще слишком сильно советское воспитание, чтобы я мог подумать о невыполнении распоряжения и действовать по моему внутреннему убеждению, по моей совести.

Все же я решил распоряжение Ульбрихта выполнить как можно деликатнее и осторожнее, не обидеть антифашистов комитета и постараться по возможности многих из них устроить в управление.

Я сообщил об основании Национального комитета, о деятельности радиостанции «Свободная Германия», о нашей целеустремленности и, наконец, перешел к основной теме:

— Несмотря на неимоверные усилия, наша цель, наша кровная задача — сбросить Гитлера собственными силами — не была выполнена. Наша цель была достигнута войсками союзников. Этот факт не мог остаться без последствий. Одно из последствий заключается в том, что оккупационные силы, в данном случае советские органы власти, не разрешили в настоящее время в Берлине никаких организаций, а только дали разрешение на восстановление местных немецких административных учреждений. Я чрезвычайно сожалею, что должен вам сказать о том, что продолжение деятельно-

сти созданного вами Национального комитета в том виде, в каком он сейчас существует, — невозможно.

— Это должно означать, что наш Национальный комитет должен быть расформирован? — спросил пожилой господин, которого мне представили как профессора.

Он спросил спокойным тоном, но ясно чувствовалось, как он боится услышать «да».

— Мне в самом деле нелегко это сказать вам, ибо я только что убедился в выдающейся работе организации. Но постановление не разрешает существования какой-нибудь организации.

— Но ведь мы не какая-нибудь организация, а антифашистское объединение, которое как раз ставит себе целью активно принимать участие с немецкой стороны как в разрешении важнейших вопросов дня, так и в политическом и духовном перевоспитании в демократическом духе. Мы хотим, в конце концов, поддержать выставленные союзниками принципы борьбы с фашизмом и принципы демократического перевоспитания нашего народа, — заметил другой, на этот раз немного раздраженным тоном.

Я вполне понимал его. «Радоваться таким организациям, приветствовать их возникновение, помогать им, принимать участие в их работе должны бы мы», — подумал я.

— Я вполне понимаю ход ваших мыслей, но мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что как раз мы, антифашисты, обязаны следовать распоряжениям оккупационных сил. Я бы хотел еще подчеркнуть, что расформирование вашей организации ни в коем случае не означает прекращения деятельности каждого из вас. Ваша работа должна будет проводиться лишь в другом оформлении. Вы знаете, что теперь всюду образовываются новые антифашистские административные органы; конечно, еще не хватает способных антифашистски настроенных людей. Поэтому весьма возможно, что все вы сможете включиться в состав новых административных органов.

Теперь я снова увидел разочарованные лица и сочувствовал этим людям. Они не хотели быть административными чиновниками. Они, несмотря на разницу мировоззрений, сошлись для общей борьбы против Гитлера и объединились в тесное содружество. Теперь, после падения фашизма, они хотели и дальше вместе работать для новой Германии, объединенные в живой, деятельной антифашистской организации.

И как раз в тот момент, когда их первая цель — уничтожение фашизма — уже достигнута, их организация должна быть расформирована. Разочарование их было велико. Мое тоже.

Расформирование комитета было решено проводить постепенно. Согласившиеся на работу в административных органах должны были включиться туда. Расформирование и перестройка должны быть осуществлены в течение двух-трех недель.

— Я надеюсь, что нам дадут по крайней мере столько времени, — печально сказал мне председатель при расставании.

С тяжелым сердцем возвращался я на Принценаллее. Заседание как раз начиналось.

— Ну, как дела с этой забавной лавочкой в Шарлоттенбурге? Разогнал ты их сегодня? — спросил Ульбрихт.

В этом вопросе прозвучало все презрение Ульбрихта к инициативе, проявленной снизу.

Я доложил о ходе событий, указал на то, что они согласны на расформирование и что им надо на это от двух до трех недель.

— От двух до трех недель? Что они с ума сошли? — фыркнул Ульбрихт.

— Завтра мы пошлем туда другого товарища.

Ульбрихт послал туда одного из твердолобых аппаратчиков и не трудно было себе представить, что там произошло. Через несколько дней дело свершилось. Комитет был расформирован. Большинство его членов, разочаровавшись, отошли от политической работы и вернулись к личной жизни. С некоторыми я позже встречался. Они работали в администрации, исполняли по долгу службы свою работу, но прежнего пыла, воодушевления, инициативы в них больше не чувствовалось. Судьба Шарлоттенбургского комитета это лишь один из примеров. В то время в Берлине были расформированы десятки подобных комиссий, инициативных комитетов, возникших снизу групп. Это происходило не только в Берлине, но и во всех крупных городах советской зоны оккупации, а позже, когда административные органы почувствовали свою силу, и на территории, занятой западными союзниками.

Никогда не забыть мне короткую встречу Ульбрихта с товарищем из Бранденбурга, происшедшую в эти дни.

— Ну как там у вас с административными органами? — обратился заинтересованно Ульбрихт к товарищу, но немного сверху вниз. Товарищ коротко доложил об образовании административных органов.

— Кроме того мы основали антифашистскую организацию, — заметил он с известной гордостью.

— Как так, что вы там натворили? — раздраженно спросил Ульбрихт.

Товарищ показал отпечатанные членские книжки «Антифашистской акции», с программными требованиями, соответствующими тем, что были в Национальном комитете. Ульбрихт взбесился.

— Кто вам это позволил? Как вам в голову пришло так поступить? Ваша антифашистская акция должна быть немедленно распущена и членские книжки уничтожены! Вы должны ждать, пока придут указания из центра!

Товарищ, испуганный горячностью Ульбрихта, пробовал оправдаться.

— Но товарищ Ульбрихт, мы совсем не хотим опережать указания центра. — Он показал на членские билеты. — Мы нарочно вписали перед нашими требованиями слово «временные». Также и членские книжки называются «временными членскими билетами».

— Временные или нет, но ваша лавочка должна быть закрыта, и притом немедленно!

Позже я узнал о подобных случаях в Тюрингии и Саксонии. В Тюрингии бывшие заключенные концентрационных лагерей основали единую социалистическую партию под названием «Партии трудящихся» (ПТ). Она также была расформирована. Когда в середине июня, партии СДПГ и КПГ были по приказу сверху созданы вновь, то в них влилась лишь половина бывших членов ПТ. Другие, даже многие из активно сотрудничавших в ПТ, остались в стороне, так как не хотели возвращаться в старые партии. В Дрездене возникла организация под названием «Антифашистский народный комитет», в которой состояло от 20 000 до 30 000 человек. После того, как партии были вновь основаны, в КПГ вошло 7 000, а в СДПГ — 3 000 человек. Все остальные, готовые принять участие в «Антифашистском народном комитете», но не желавшие выбрать для себя ни одной из существовавших партий, разочаровавшись, ушли в личную жизнь. Наверное и во многих других местах были подобные примеры.

Таким образом с начала мая и до середины июня всякая инициатива, проявленная снизу, была задушена в зародыше. Тогда я считал это ошибкой в частном вопросе и пытался ее оправдать, как уже раньше пытался оправдывать отрицательные стороны Советского Союза, считая их «временными ошибками».

Только после моего разрыва со сталинизмом мне стал ясен смысл тогдашних директив против стихийно нарождавшихся антифашистских комитетов: это не были ошибки в частных вопросах, это было самой сущностью политики сталинизма. Сталинизм не мог допустить, чтобы благодаря самостоятельно проявленной снизу инициативе возникали антифашистские, социалистические и коммунистические движения или организации, ибо ему всегда бы угрожала опасность, что они выйдут из-под контроля и будут пытаться оказывать сопротивление директивам сверху. Расформирование антифашистских комитетов было не чем иным, как удушением первых зачатков возможного могущественного, самостоятельного антифашистского и социалистического движения. Это была первая победа аппарата над самостоятельным порывом антифашистских, лево-настроенных слоев Германии.

К этой основной установке сталинизма прибавились еще тактические соображения. Очевидно Ульбрихт уже во второй половине мая получил новые директивы из Москвы для подготовки восстановления Коммунистической партии Германии. Антифашистские же и народные комитеты отражали господствующее стремление антифашистов к созданию новой единой социалистической партии. Это стремление преобладало, главным образом, у тех, кто боролся нелегально или был в концентрационных лагерях.

О новых московских директивах мы узнали лишь в последующие дни.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК И НОВАЯ «ЛИНИЯ»

В начале июня нормальная работа «группы Ульбрихта» была нарушена. Однажды утром перед нашим домом на Принценаллее № 80 остановилось много больших легковых машин. Прибыли партийные деятели из Москвы: Вильгельм Пик, Фред Ольснер, Пауль Вандель, Иоганн Р. Бехер, Эдвин

Гёрнле, Марта Арендзее и другие, которых я близко не знал. Вместе с ними прибыло несколько человек окончивших школу «Антифа», которые в общем тоже считались уже руководящими работниками. Среди них мне особенно бросился в глаза Бернгард Бехлер, бывший майор генерального штаба (он был «перевоспитан» в Советском Союзе и считался полностью преданным режиму), который даже принимал участие в совещаниях по внутренним делам. Вскоре он стал министром внутренних дел Бранденбурга.

Времени для приветствий и частных бесед было не много; тотчас по приезде группы начались особые заседания, в которых с нашей стороны принимал участие только Ульбрихт. Для этих заседаний были отведены две комнаты.

Было нетрудно догадаться, что значение этих заседаний выходило далеко за пределы Берлина. Однажды, после приезда из Москвы руководящих работников, из Дрездена прибыли Антон Аккерман, Герман Матерн и Курт Фишер. Они принадлежали к «группе Аккермана», которая покинула Москву на следующий день после нас и была направлена в зону операций маршала Конева для выполнения тех же заданий, что стояли перед нами в Берлине.

Почти два дня продолжались заседания, после чего с нами поделились результатами:

— Единой социалистической партии не будет. Как КПГ так и СДПГ будут вновь основаны как самостоятельные партии.

Через несколько дней должна быть основана Коммунистическая партия Германии. Подготовительные работы по выпуску собственной партийной газеты должны быть начаты немедленно.

Образованию буржуазных партий надо всемерно содействовать. Они должны соответствовать прежней Демократической партии и прежнему Центру.

После этого должен быть организован антифашистский демократический блок новых партий.

Все силы должны быть брошены, прежде всего, на создание Коммунистической партии. Непосредственно после этого надо начать воспитательную работу.

Затем надо все силы бросить на подготовительные работы по земельной реформе. Ее надо начать проводить уже летом 1945 года.

Наш дом на Принценаллее № 80, где и раньше жизнь била ключем, стал походить на улей. Одно совещание следовало за другим; прибывали все новые автомашины для обеспечения связи руководящих работников с активом разных населенных пунктов. Фред Ольснер уже начал диктовать — на второй день после своего приезда — учебные пособия для членов еще не созданной Коммунистической партии Германии. Тотчас после основания ее все члены партии должны быть ознакомлены с новой линией.

— Самое главное теперь — это партийная учеба, — сказал Ольснер, — мы должны этим заниматься больше, чем когда бы то ни было. Уже решено, что раз в неделю будет проводиться общее собрание членов партии, посвященное исключительно учебе. Необходимо подготовить товарищей к разрешению новых задач, совсем иных, чем стояли перед партией до 1933 года.

На следующий день состоялось совещание, в котором приняли участие наиболее активные партработники Берлина, Бранденбурга, Потсдама и других городов.

— Основной задачей является теперь подготовка создания партии. Через несколько дней выйдет приказ маршала Жукова, после чего будут разрешены антифашистско-демократические партии. До этого мы должны уже заложить фундамент. Каждый день дорог. Как только будет дано разрешение мы обратимся к общественности с Учредительным манифестом КПГ, — было объявлено на этом совещании.

Создание самостоятельных коммунистической и социал-демократической партий не только противоречило директивам, полученным нами в Москве в марте и апреле 1945 года, но находилось в прямом противоречии и с резолюцией Бернской конференции КПГ в начале 1939 года. В этой последней резолюции Центрального комитета было ясно сказано, что «должна быть создана единая революционная рабочая партия Германии». Коммунистов и социал-демократов призывали тогда: «создать общую организацию для будущей единой партии рабочего класса Германии».

Я не мог не заметить, что и в других вопросах новые директивы, которые привез теперь Вильгельм Пик, противоречили тем, которые мы получили весной 1945 года. Тогда нам говорили, что политическая деятельность немецкого народа может пока развиваться лишь в рамках большого всеобщего антифашистского движения — «Блока борющейся демокра-

тии». Теперь же, напротив, говорилось об образовании политических партий.

Тогда говорилось, что земельную реформу нужно проводить не раньше начала 1946 года. Теперь же мы должны были начать проведение земельной реформы сразу же после образования партии, то есть летом 1945 года.

Еще в начале мая нам говорили, что в первом периоде могут быть разрешены лишь надпартийные антифашистские газеты. Теперь, вопреки этому, нам было дано распоряжение подготовить выпуск партийной газеты.

С прибытием из Москвы руководящих товарищей и с предстоящей организацией КПГ подготовительные работы «группы Ульбрихта» были закончены. Она уже и раньше, вследствие ухода некоторых товарищей в берлинское городское управление и появления в ней новых людей, изменила свое лицо. На одном из заседаний в узком кругу нас ознакомили с новыми заданиями. Каждый из нас получил участок работы. «Группы Ульбрихта» больше не существовало. Она выполнила свое назначение.

После расформирования «группы Ульбрихта» почти все ее члены получили высокие посты в партийном и государственном аппарате, но в их биографиях работа в «группе Ульбрихта» не упоминалась. В течение многих лет поддерживалось мнение, что основа КПГ была заложена, так же как и основа других партий, лишь после приказа Жукова от 10 июня 1945 года. Казалось не разумным, по крайней мере в первое время после 1945 года, говорить о деятельности «группы Ульбрихта», так как таким образом стала бы слишком очевидна тесная связь с московскими эмигрантами. Только семь лет спустя, в 1953 году, когда были опубликованы речи и статьи Ульбрихта, собранные под заголовком «К истории немецкого рабочего движения», это молчание было нарушено: во втором томе этого трехтомного издания помещено письмо Вальтера Ульбрихта к Димитрову, от 9 мая 1945 года, в котором можно прочесть следующее о деятельности «группы Ульбрихта» в Берлине:

«*Из письма товарищу Димитрову 9 мая 1945 г.*

В первую очередь мы сосредоточили свою работу на отборе антифашистов для областных управлений и для берлинского городского управления. Во многих областях коммунисты, вышедшие из политического подполья, отмежевывались от организующихся областных управлений. Стихийно воз-

никшие бюро КПГ, Народные комитеты, комитеты Движения «Свободная Германия» и комитеты участников движения 20 июля, которые раньше работали нелегально, теперь действуют открыто. Мы расформировали эти бюро и разъяснили товарищам, что теперь все силы должны быть сконцентрированы на работе в городских управлениях. Члены комитетов должны быть переведены на работу в управления городских районов, а сами комитеты ликвидированы. В связи с образованием управительных органов удалось привлечь к широкому объединению антифашистско-демократические силы. В некоторых районах еще сказывается замкнутость, как последствие нелегального положения. Коммунисты там еще слишком слабо наладили связь с людьми других слоев и политических направлений. Так как ни газет, ни партийной учебы еще нет, то потребуется немало времени для необходимой ориентировки товарищей.

Мы рассчитываем приблизительно через две недели после организации городского управления начать выпускать антифашистско-демократическую газету.

Ряд руководящих товарищей вернулись из тюремного заключения.

В. У.».

Это единственный документ о «группе Ульбрихта», который до сих пор был официально опубликован в советской зоне.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ КПГ

Руководящие работники привезли из Москвы не только директивы, но также и Учредительный манифест новой КПГ. Через два дня после их приезда, в одном из помещений, находившихся в нашем ведении, — если я не ошибаюсь, это было на углу Принценаллее и Гогенлоештрассе, — состоялась первая широкая встреча с партактивом. Присутствовало около 80 товарищей, которых мы в течение прошедших четырех недель привлекли к нашей работе.

Царило необычайное напряжение, так как уже распространилась весть, что в этот день будут говорить о создании новой коммунистической партии Германии. После короткого вступительного слова Ульбрихт прочел Учредительный манифест, с которым КПГ должна была обратиться в ближайшие дни к общественности. Манифест начинался с описания

последствий гитлеровского режима и войны, развязанной Гитлером, затем ставился вопрос вины и ответственности и в заключение следовал вывод, с которым все присутствующие явно были согласны — «что фашистская чума могла распространиться в Германии лишь потому, что в 1918 году виновники войны и военные преступники остались ненаказанными, а также и потому, что не велась борьба за истинную демократию, так как Веймарская республика предоставила свободу действий реакционным силам». Теперь для того, чтобы не повторились ошибки 1918 года очень важно преодолеть разногласия среди трудящихся и не проявлять никакого снисхождения к нацизму и реакции.

Решающие слова манифеста гласили:

«Одновременно с уничтожением гитлеризма необходимо дело демократизации Германии, дело гражданско-демократического преобразования, начатое в 1848 году, довести до конца, полностью устранить феодальные пережитки и уничтожить старопрусский реакционный милитаризм со всеми его экономическими и политическими ответвлениями.

Мы придерживаемся того мнения, что путь навязывания Германии советской системы ошибочен, так как этот путь не отвечает условиям развития современной Германии.

Напротив, мы придерживаемся того мнения, что главные интересы немецкого народа при современном положении Германии диктуют другой путь, а именно: путь установления антифашистского демократического режима, парламентарно-демократической республики со всеми демократическими правами и свободами для народа».

После этого Ульбрихт начал читать требования КПГ, которые были сведены к десяти пунктам. Они не выходили из рамок общих антифашистско-демократических программ. В этом Учредительном манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс не упоминались и даже ни разу не встречалось понятие «социализм».

В начале стояли требования полного устранения остатков гитлеровского режима, очищения учреждений от активных нацистов, наказания всех крупных военных преступников, борьбы с голодом, безработицей, бездомностью, перехода к нормальной жизни и восстановления промышленности.

Для нас было неожиданностью, когда Ульбрихт прочитал: «Совершенно беспрепятственное развитие свобод-

ной торговли и частной предпринимательской инициативы на основе частной собственности».

В дальнейших трех пунктах требовалось восстановление демократических свобод, демократических органов самоуправления и демократических выборов производственных представительств рабочих, служащих и чиновников, а также урегулирование по договору оплаты труда и условий работы. Кроме того ставились требования проведения земельной реформы, конфискации всего имущества преступников нацизма и военных преступников и передачи этого имущества, а также всех предприятий, оставленных хозяевами, в руки органов самоуправления.

В последних двух пунктах Учредительного манифеста говорилось о добрососедских отношениях с другими народами и признании обязательств по возмещению убытков. Вытекающие из этого тяготы для населения должны быть справедливо распределены, так, чтобы более богатые несли большую нагрузку.

Манифест заканчивался словами, что эта программная установка может служить фундаментом для создания блока антифашистско-демократических партий.

После того, как Ульбрихт прочел манифест, в зале воцарилась тишина. Явно чувствовалось, что особенно те товарищи, которые во время нацизма жили в Германии, а таких в нашей корпорации было большинство, ожидали от манифеста большего.

В то время еще были возможны свободные дискуссии среди коммунистов Германии. Товарищи откровенно высказывали свое мнение. Один партработник из Веддинга попросил слова:

— Товарищ Ульбрихт, хотя эта программа правильна и необходима, в этом мы, вероятно, все сходимся, но одно мне в ней неясно: чем она отличается от программы любой демократической партии.

Ульбрихт ухмыльнулся:

— Это ты скоро заметишь, товарищ! Только подожди еще немножко! — воскликнул он на своем классическом саксонском диалекте, подмигнув.

После этих слов были даны и указания: немедленно создать постоянный кадр из партийных активистов в отдельных частях города и районах; подготовить все для того, чтобы сразу же после выхода Учредительного манифеста можно

было созвать партийные собрания; собрания хорошо подготовить и наметить руководителей, которых, в зависимости от обстановки, предлагать собранию. Все это нужно делать, «не поднимая большого шума», пока еще не появился приказ советских оккупационных властей о разрешении антифашистско-демократических партий.

— Сколько у нас еще времени? Когда будут официально разрешены партии? — задавались вопросы с мест.

— Мы рассчитываем, что приказ выйдет 10 июня. На следующий день мы выступим с нашим Учредительным манифестом, а 13 июня, вероятно, выйдет первый номер «Дейче фольксцейтунг» («Немецкой народной газеты»), нашего центрального органа.

Оставалось еще три-четыре дня. Товарищи распрощались и отправились в различные городские районы, чтобы все подготовить. Нас всех тогда привлекли для выступлений на первых партийных собраниях. Для меня осталось незабываемым Учредительное собрание в одной из частей Шарлоттенбурга. Присутствовало около 120 товарищей и было видно их удовлетворение, даже гордость и радость, что они снова принадлежат коммунистической партии.

После моего доклада завязалась дискуссия и вскоре были упомянуты бесчинства красноармейцев, которые доставляли тогда так много забот берлинским коммунистам. В этот момент попросил слово один товарищ, сидевший в дальнем углу. Он взволнованно говорил о происшествиях, свидетелем которых он был, о вреде, который наносят немецким коммунистам поступки красноармейцев и о «необходимых выводах», которые должны сделать немецкие коммунисты из такого поведения. Такие слова в дискуссии еще не произносились. В зале царило возбужденное напряжение. Может быть эта атмосфера и побудила товарища открыть свою тайную мысль, в которой он был глубоко убежден, бросив в зал горячие слова:

— . . . и я говорю вам, мы должны построить в Германии социализм без Красной армии, а если это будет нужно, то и вопреки Красной армии! . .

На несколько секунд все будто окаменели. Затем послышались с разных сторон отдельные, сначала нерешительные, а потом и довольно резкие крики протеста.

Председательствующий тотчас пресек дискуссию на эту тему.

— Слово предоставляется товарищу Леонгарду.

В то время я еще был полностью предан партии.

— Я надеюсь, что высказывания товарища не являются мнением всех присутствующих. Мы должны говорить не о поведении оккупационных армий, а о наших собственных практических задачах.

Большинство начало аплодировать и дискуссия перешла на партийные задачи в районе.

Только по дороге домой мне вспомнились слова товарища: «Мы должны построить социализм без Красной армии, а если это будет нужно, то и вопреки Красной армии».

«Вопреки Красной армии, — думал я в тот вечер, — это, конечно, неправильно; товарищ так сказал, находясь в возбужденном состоянии. Но без Красной армии? Почему бы нет? Не надеялся ли и я, что развитие социализма в Западной Европе будет протекать иначе, чем в Советском Союзе? Не думал ли я так уже весной 1943 года, когда был распущен Коминтерн?»

Но у меня было слишком мало времени, чтобы задумываться над этим, так как ближайшие дни затенили все происшедшее, даже богатые событиями недели, пережитые нами в «группе Ульбрихта».

Когда 10 июня согласно приказу маршала Жукова антифашистско-демократичеекие партии были разрешены, Учредительный манифест был уже набран и его могли в любой момент начать печатать.

Ульбрихт обратился к Эрпенбеку и ко мне.

— Будет лучше всего, если вы оба поступите в распоряжение нашего центрального органа, пока мы не сумеем вас заменить. Но, Вольфганг, не оставайся слишком долго в газетном деле. Для тебя партия наметила кое-что другое.

Мы тотчас отправились в типографию, которая находилась в полуразбитом здании в центре города, чтобы все подготовить к печатанию манифеста. Незадолго до начала печатания к нам пришел Аккерман:

— Далем в ближайшие дни прибудет в Берлин. Еще и его подпись надо поставить под манифестом.

— На каком месте?

Мы достаточно долго жили в Советском Союзе, чтобы не знать, что последовательность имеет большое значение.

— На третьем месте, сразу после Ульбрихта и передо мной.

Из 16-ти человек, подписавших манифест, 13 провели гитлеровские времена в Советском Союзе. Во главе их стояли Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт и Антон Аккерман. К бывшим членам ЦК, вернувшимся из московской эмиграции, принадлежали также Герман Матерн, — депутат КП ландтага (провинциальный парламент) Восточной Пруссии; Густав Зоботка, бывший депутат КП ландтага из Рурской области; Эдвин Гёрнле, депутат КП рейхстага из Штутгарта, занимавшийся главным образом крестьянским вопросом; поэт Иоганн Р. Бехер; Элли Шмидт (которая была тогда женой Аккермана), подписавшая манифест своим московским псевдонимом «Ирэне Гертнер»; Марта Арендзее, симпатичная старая боевая подруга Клары Цеткин; Бернгард Кёнен, мой бывший учитель из школы Коминтерна. Из нашей «группы Ульбрихта» среди подписавших, кроме самого Ульбрихта было только двое: Отто Винцер и Ганс Мале.

Наряду с 13-ю эмигрантами манифест подписали три деятеля ЦК, которые нелегально работали в Германии или какое-то время сидели в концентрационном лагере. Двое из них — Оттомар Гешке и Ганс Жендрецкий работали уже с первых дней мая в «группе Ульбрихта». Франц Далем, освобожденный американцами из концлагеря, должен был прибыть на днях.

Дальнейший ход событий показал, что целый ряд подписавших манифест, как Зоботка, Эдвин Гёрнле, Михаель Нидеркирхнер и Марта Арендзее, привлечены были, главным образом, потому, что их имена были известны коммунистам в Германии еще до 1933 года. В дальнейшем развитии партии они больше не играли никакой значительной роли.

Как только Учредительный манифест был сдан в печать, мы схватились за следующее задание — выпуск «Дейче фольксцейтунг». Печатные машины были пущены в ход, а Пауль Вандель, Фриц Эрпенбек и я уехали в редакцию газеты. Перед разбитым зданием в центре города машина остановилась; если не ошибаюсь это была Мауерштрассе.

— Здесь должна быть наша редакция?

Она выглядела не очень нарядно. В пустых помещениях были кое-как расставлены какие-то столы и стулья. Окна были еще без стекол.

Не успели мы осмотреть помещение, как нас приветствовал товарищ, которому несколько дней тому назад было поручено разрешить все проблемы технического порядка

для новой газеты. Товарищ оказался довольно дельным, так как в тот же день помещения, с нашей помощью, были оборудованы и даже неожиданно для нас появились в достаточном количестве книжные полки и пишущие машинки. Прошел еще час и появились две стенографистки-машинистки, которые по-видимому были разысканы тихим, но усердным «секретарем по техническим вопросам».

Можно было начинать работу. Мы быстро распределили между собой, что именно должен писать каждый. Я получил задание прочесть комплект газеты «Фрейес дейчланд» («Свободная Германия») за последний год и выбрать оттуда что-нибудь подходящее для нас. Час спустя стук пишущих машинок возвестил, что дела редакции центрального органа КПГ пошли на лад.

В первом номере «Дейче фольксцейтунг» появился, как и было задумано, Учредительный манифест КПГ. В тот же день я получил мое первое большое редакционное задание:

— Нам необходимо завтра или послезавтра опубликовать отзывы о манифесте КПГ. Поезжай-ка по Берлину и запиши, что говорят по поводу манифеста. Но только не привози мнение наших товарищей. Спрашивай просто людей на улице. Внизу стоит машина, которую ты можешь взять.

Я подумал, что безусловно легче брать интервью у людей на улицах, чем назначать бургомистров, и тронулся в путь. Но после того, как я проехал часть пути, мой оптимизм поубавился. Как, собственно говоря, я должен это делать? Просто набрасываться на людей с вопросами? Ведь я никогда в своей жизни не был репортером . . . Но партийное задание есть партийное задание! Как только я замечал стоящих на улице людей я останавливался, преодолевал свою робость и спрашивал, что они думают по поводу Учредительного манифеста компартии.

Ответы были катастрофическими.

— Какой манифест? Какая партия?

— Никогда я о таком манифесте и не слыхал!

— Что, опять партия? Я еще и прошлой сыт по горло!

— Ваш манифест меня абсолютно не интересует. Последите лучше за тем, чтобы мы больше картошки получали.

— А других забот у вас нет, молодой человек?

Как только я садился в машину, я записывал все ответы, но употребить их в дело было, конечно, невозможно. После того, как я в течение трех часов исколесил шесть районов

Берлина в поисках пригодных «мнений народа о манифесте КПГ», я совершенно выдохся и в унынии остановился перед Шарлоттенбургской ратушей.

Тут я встретил одного из назначенных мной работников районного управления и рассказал ему о своей неудаче.

— Тебе нужны голоса из народа с фамилиями и адресами? И не наших товарищей, а именно людей из народа?

— Да, но, по возможности, среди них должны быть и представители мелкой буржуазии.

— Ладно, все будет в порядке! Я тебе все нужное пришлю.

Вскоре прибыли собранные им ответы. Он понял мое пожелание относительно мелкой буржуазии дословно, и вот я сидел озабоченный перед ворохом заявлений от мясников, мелких промышленников и ремесленников — и как нарочно из района Курфюрстендамма! — которые с восторгом говорили о манифесте КПГ.

Удрученный написал я длинное вступление и заключение, в которых стояло все то, чего люди не говорили, но могли бы сказать. Статья вышла с боевым заголовком, а я принял решение, никогда больше не играть роль репортера.

Официальное обнародование Учредительного манифеста произошло 12 июня 1945 года в большом зале берлинского магистрата. Присутствовало около 200 человек — почти все члены магистрата и ряд других деятелей-антифашистов. Это было первое политическое мероприятие в Берлине после конца войны. Сперва выступили с речами Вальтер Ульбрихт и Густав Дарендорф. В короткой речи Вальтер Ульбрихт приветствовал разрешение создания антифашистско-демократических партий и предложил 10 пунктов манифеста КПГ как действенную программу для общего блока антифашистско-демократических партий. Затем выступил Густав Дарендорф как представитель будущей СДПГ.

Как всегда живо и коротко говорил Дарендорф о желании большинства активных антифашистов создать единую социалистическую партию. К сожалению, продолжил он, сейчас это невозможно, так как представители коммунистической партии отклонили это, считая, что вопрос об объединении может быть поднят лишь после периода политического прояснения. Поэтому СДПГ будет формироваться как самостоятельная партия и в ближайшие дни выступит перед общественностью с Учредительным манифестом.

После этого начались прения. Все ораторы высказывались за создание единой социалистической партии.

Вернувшись в редакцию, я написал отчет для «Дейче фольксцейтунг». Однако все высказывания ораторов о необходимости создания единой партии я вычеркнул. Первое официальное собрание актива КПГ (наши встречи на Принценаллее с активом КП с начала мая до середины июня не были официальными) состоялось 25 июня в здании театра Метрополь в Берлине. Оно было созвано, как собрание актива берлинской КП, но среди присутствовавших было более трети товарищей из провинции Бранденбург. Еще за час до начала собрания можно было повсюду наблюдать сцены радостных встреч. Товарищи, не видевшиеся долгие годы, сердечно обнимались друг с другом. Здесь я нашел всех моих новых друзей, с которыми я познакомился во время бесконечных встреч и бесед, начиная с мая 1945 года. В поисках места шел я по большому залу. Меня подозвал Роман Хвалек. Я подсел к нему.

Это первое собрание актива КПГ началось классической музыкой в исполнении театрального оркестра. Это было сделано умышленно, с целью, чтобы присутствующие товарищи сделали вывод для организации будущих партийных собраний и манифестаций. Таким образом хотели покончить с сумбурным характером, который носили подчас собрания КПГ до 1933 года, и перейти на новую, серьезную линию 1945 года.

Когда Оттомар Гешке волнующими словами открыл первое, после 1933 года, собрание функционеров КПГ города Берлина, у сидевшего рядом со мной Романа Хвалека выступили на глазах слезы. С трудом сдерживал он рыдания. И другие, в особенности те, кто сидел во времена нацистов в концлагерях, переживали то же самое. Ульбрихт, напротив, был абсолютно невозмутим; сухой тон его речи резко противоречил чувствам большинства товарищей. Он говорил о предпосылках победы Советского Союза в борьбе против гитлеровской Германии, заявил, что Советский Союз является самым передовым государством в политическом, экономическом и военном отношениях. Он веско подчеркнул, что сознание общей вины и общей ответственности является предпосылкой к тому, чтобы немецкий народ порвал с реакционным прошлым и пошел новой дорогой. Не приукрашивая действительности, он упомянул об уступке земель вос-

точнее Одер-Нисы и требовал «укрепления сотрудничества с союзными оккупационными властями».

Ульбрихт, верный директивам, полученным нами в Москве, «основным направлением» партии назвал завершение буржуазно-демократической революции 1848 года и установление антифашистского демократического режима, причем высказался против настроений тех рабочих, которые хотели бы «немедленно построить социализм».

Ульбрихт говорил о «серьезном желании создать между коммунистической и социалистической партиями новые отношения, основанные на доверии», но высказался против немедленного основания единой социалистической партии. Для этого нужны некоторые предпосылки, прежде всего, «приобретение научных познаний передовыми силами рабочего класса и трудящимися о социализме в Советском Союзе и о мировоззрении марксизма-ленинизма».

В заключение Ульбрихт дал новое определение коммунистической партии, которое, как я знал, было выработано Фредом Ольснером. Вместо старых формулировок, действительных до 1933 года и определяющих лицо партийной организации как партии революционного пролетариата, теперь выставлялись лозунги о национальной партии, народной партии, партии мира. К партии должны принадлежать «лучшие мужчины и лучшие женщины из всех слоев трудящегося народа» и все «честные борцы против фашизма». Ульбрихт высказался против того, что в некоторых местах в партию принимают слишком мало новых членов, а некоторые местные руководители «ставят непозволительные условия для принятия в партию». Это серьезная ошибка. Раздались возгласы удивления, когда Ульбрихт бросил в зал:

— При поступлении в партию не должно играть никакой роли, принадлежат ли данные антифашисты к католическому, евангелическому или иудейскому вероисповеданию.

После того, как Ульбрихт закончил речь и запели «Интернационал», многие подняли кулак, как до 1933 года партийцы, в знак общей борьбы в «Союзе красных фронтовиков», приветствовали друг друга. Ульбрихт, члены президиума и те, кто уже освоился с «новой линией», этого не сделали. Заметив это, многие опустили свои кулаки. Это был маленький, но типичный пример перемены, которая произошла в КПГ с 1933 года. Из революционной оппозиционной партии, преследующей цель борьбы за диктатуру пролетариата, она прев-

ратилась в государственную партию, которая должна была защищать антифашистскую демократию, парламентарно-демократическую систему.

АНТИФАШИСТСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЕДИНЫЙ ФРОНТ

Первая часть директив, привезенных из Москвы в начале июня Вильгельмом Пиком и другими руководящими товарищами, была выполнена. Труднее было провести в жизнь вторую часть: основание других антифашистско-демократических партий и создание единого антифашистско-демократического фронта. 17 июня был опубликован Учредительный манифест СДПГ (SPD), который был несколько левее нашего и в котором упоминалось понятие социализма. СДПГ выпустила также собственную центральную газету. Она называлась «Дас фольк» («Народ») и была форматом и тиражом меньше, чем «Дейче фольксцейтунг» («Немецкая народная газета») — центральный орган КПГ.

Через несколько дней после образования СДПГ между руководствами СДПГ и КПГ было заключено соглашение. Решено было создать совместную рабочую комиссию, в которую входило бы по пяти представителей от обоих центральных бюро. Ее задачей было обеспечение совместной работы по борьбе с остатками нацизма и построение антифашистской, демократической, парламентарной республики, а также проведение совместных совещаний и других мероприятий для выяснения идеологических вопросов. Со стороны СДПГ соглашение подписали: Эрих В. Гнифке, Отто Гротеволь, Густав Дарендорф и Гельмут Леман (все они находились во времена нацизма в Германии). Со стороны КПГ — Вальтер Ульбрихт, Антон Аккерман, Оттомар Гешке и Отто Винцер (то есть трое эмигрантов из Москвы и один член нелегального движения сопротивления).

После того, как КПГ и СДПГ были основаны и между ними было установлено рабочее сотрудничество, вопрос об образовании других антифашистско-демократических партий стал актуальным. Мы были твердо убеждены, что прежняя Демократическая партия и «Центр» снова появятся на свет под своими старыми названиями. Нашим товарищам было предписано установить в отдельных районах с предста-

вителями этих партий единый фронт. Это было выполнено в различных частях Берлина и мы уже сообщали в «Дейче фолькспейтунг» об общих выступлениях с представителями Демократической партии и «Центра» хотя их, собственно говоря, еще и не существовало.

Прошло две недели, а у нас все еще не было буржуазных партий, с которыми мы могли бы создать единый антифашистско-демократический фронт. Здесь мы столкнулись с силой, которая, к сожалению, не поддавалась нашему планированию. Во время тех немногих часов, которые я проводил не в редакции, а в нашем партийном доме на Принценаллее, буржуазные партии были главной темой разговоров. Ульбрихт нервничал:

— Мы должны быть настороже, Гермес затягивает дело; он хочет организовать не «Центр», а единую буржуазную партию.

Члены бывшей «группы Ульбрихта», не назначенные, как Марон и Винцер, в магистрат, как Ганс Мале, на радиостанцию или, как я, в редакцию газеты, получили теперь совершенно новое задание: они должны были включиться в создание буржуазных партий. Иногда возникали курьёзы: типичный сталинский аппаратчик Гиптнер как нарочно получил задание связаться с «либеральными кругами».

25 июня Христианско-демократический союз выступил перед общественностью с Учредительным манифестом. Новая партия выпустила свою газету «Нейе цейт» («Новое время») такого же формата, как и наша. Вскоре пошли протесты со стороны социал-демократов, которые не были довольны маленьким форматом своей газеты. Но спорный вопрос был быстро улажен: не «Дас фольк» получила большой формат, а «Нейе цейт» должна была перейти на меньший. Большой формат оставался только за нами.

Учредительный манифест Христианско-демократического союза (CDU) повелительно ставил перед нами вопрос о «второй буржуазной партии».

— Ну, Рихард, как обстоит дело с твоими либералами?— допытывался у Гиптнера Ульбрихт.

— Да что я могу сделать, Вальтер? Я уже много раз был у них; они все крутят вокруг да около, а к основанию партии особенно не стремятся.

— Уж ты, Рихард, уговори их, — увещевал его Ульбрихт.

Имели успех уговоры Гиптнера или нет, я не знаю. Во всяком случае 5 июля стало, наконец, известно об образовании Либерально-демократической партии. Неделей позже, 14 июля, было обнародовано официальное сообщение об образовании антифашистско-демократического единого фронта между КПГ, СДПГ, ХДС и ЛДП. Тут также должна была существовать совместная комиссия, в которую каждая из четырех партий посылала по пяти представителей от своего руководства. Партийные руководства постановили совместно вести борьбу по очищению Германии от остатков нацизма, содействовать восстановлению страны на антифашистско-демократических основах, способствовать скорейшему восстановлению хозяйства, создать с другими народами отношения, основанные на взаимном уважении, и поддерживать проведение мероприятий оккупационных властей. Наряду с этим четыре партии обязались «восстановить полную гарантию прав человека на основе демократического правового государства» и «гарантии духовной свободы и свободы совести, а также гарантии уважения религиозных убеждений и нравственных мировоззрений».

Сообщение об образовании антифашистско-демократического единого фронта было помещено под большим заголовком на первой странице «Дейче фольксцейтунг». Итак, через два с половиной месяца по прибытии «группы Ульбрихта» и через пять недель после приезда Вильгельма Пика сверху были организованы все предвиденные партии, а также их сотрудничество в предвиденных формах.

Пока это было действительным, конечно, лишь для Берлина. В провинции во многих местах существовала пока что только КПГ. Спустя несколько недель СДПГ, а обе буржуазные партии — ХДС и ЛДП — лишь через несколько месяцев основали свои местные группы. Главное политуправление сообщило комендантам о наличии четырех партий и об образовании единого фронта. Им было предложено поддержать эти партии. Иногда происходили курьёзные истории. Вот что рассказывал товарищ из отдаленного Бранденбургского района о своем разговоре с комендантом после образования единого фронта четырех партий:

— Я получил важное сообщение из Берлина. Создались четыре антифашистских демократических партии и образовали единый фронт. Должен знать, как у нас в районе дела? Есть коммунистическая партия?

— Да.

— Есть социал-демократическая партия?

— Нет, еще нет, товарищ комендант.

— Очень плохо. Должны организовать социал-демократическую партию. Есть у нас христианско-демократический союз?

— Нет, товарищ комендант.

— Почему нет? Тут написано: христианско-демократический союз. Есть ли либерально-демократическая партия?

— Нет, товарищ комендант.

Комендант был явно раздражен.

— Тоже нет? Плохо! Должны иметь либерально-демократическую партию. Ты получишь задание: основать все партии, как тут написано!

— Но так нельзя, товарищ комендант! Я ведь секретарь местной группы КПГ и не могу основывать другие партии.

Это по-видимому коменданту было ясно.

— Ты знаешь социал-демократов?

— Да, товарищ комендант, но они теперь вступили в КПГ.

— Ничего, они должны выйти и создать СДПГ как тут стоит написано.

Так и случилось. Затем были найдены еще два гражданина, которые основали поместные группы двух других партий.

Комендант радостно потирал руки:

— Теперь хорошо, — сказал он, смеясь и приглашая секретаря на стакан водки, — теперь могу донести, что все четыре партии имеем, как стоит написано в директиве из Берлина. Теперь нужно только скорее образовать единый фронт.

Конечно, это был особенно яркий случай. Но, как мне кажется, нет сомнений, что все четыре партии были организованы сверху, из центра. В июле 1945 года, после того, как народ увидел многие бесчинства красноармейцев, уже не было той бурной активности, которая наблюдалась в мае того же года, когда антифашистские единые комитеты росли, как грибы. Это было настоящее движение снизу. Оно было задушено в зародыше. Созданные позднее партийные руководства, которые теперь начали искать себе членов, могли часто опереться на честные убеждения и готовность к работе. Но от больших надежд антифашистов, от бурной первоначальной активности и инициативы не осталось и следа.

Внешне все проходило по плану. Правда были небольшие задержки при создании буржуазных партий, их названия тоже не соответствовали тому, что мы предвидели, но общее проведение «линии» в жизнь пока что точно отвечало директивам, которые Вильгельм Пик привез из Москвы.

ГЛАВА VIII

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТНИК В ЦЕНТРАЛЬНОМ СЕКРЕТАРИАТЕ СЕПГ

В одно солнечное июльское утро 1945 года перед зданием на Принценаллее № 80 остановилось двенадцать больших грузовиков. Они должны были перевезти мебель, необходимую для нового здания партии. Первоначально предполагалось, что центральным зданием партии, в котором разместится аппарат КПГ будет прежний дом имени Карла Либкнехта. Это оказалось, однако, невозможным и потому было решено занять одно большое здание на Валльштрассе № 76-79, в самом центре Берлина.

Здесь работали днем и ночью, ремонтируя здание. Спустя уже короткое время можно было приняться за внутреннее устройство.

На первом этаже нового здания партии должны были получить свои рабочие кабинеты четыре высших партийных руководителя: Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Франц Далем и Антон Аккерман.

Столяры еще работали: Вильгельм Пик, сам бывший столяр и в то время еще не президент, а всего только партийный руководитель, — очень довольный тем, что снова очутился в Берлине, — нашел рабочую спецовку и с воодушевлением работал, наравне со столярами. Я редко видел его таким радостным и оживленным, как в эти дни.

Неделей позже переезд центрального партийного управления с Принценаллее 80 в наше новое здание партии был уже закончен. К этому же времени Вальдемар Шмидт и я поселились в частной квартире на Форхгеймер штрассе в Панкове.

С Вальдемаром, сидевшим во времена нацистов двенадцать лет в концлагере и ныне являвшимся первым секретарем берлинской компартии, я сдружился с первых майских дней. Он нашел для себя квартиру и предложил мне вселиться к нему.

К этому времени и остальные партийные работники подыскали для себя частные квартиры, по преимуществу — в Панкове.

Только наиболее «преданные» оставались в доме на Принценаллее 80, который теперь стал называться «Общежитием сотрудников ЦК партии». С переездом в новое здание закончился переходной период в нашей деятельности. Начиналась нормальная жизнь.

Я жил теперь вместе с главой берлинской парторганизации, а мой служебный адрес звучал так: Центральный комитет Коммунистической партии Германии, Валльштрассе 76-79.

Едва переезд закончился, как было предпринято распределение обязанностей. Он начинался с «четырех великих»: Вильгельм Пик был ответственным за общее руководство и общую политику; Вальтер Ульбрихт был ответственен за экономику, сельское хозяйство, профсоюзы и госаппарат; Франц Далем отвечал за партийную организацию, а Антон Аккерман ведал культурой, печатью, воспитанием, народным просвещением и партучебой.

До сих пор моим начальником был Ульбрихт. Но он уже показал мне бумагу, в которой значилось, что меня направляют в редакцию центрального органа партии, иными словами — моя дальнейшая работа должна была протекать в области печати и пропаганды.

Так оно и случилось. Еще наше здание не было полностью отремонтировано, как меня вызвал Антон Аккерман:

— Мы предполагаем назначить тебя заместителем заведующего отделом печати Центрального комитета. Доволен?

— Конечно! Очень рад. А кто будет заведовать отделом печати?

— Мы пока еще не подобрали. Пока ты будешь там один.

Вскоре я был завален работой. В течение нескольких дней наполнились все книжные полки и газетные шкафы. К тому же все сообщения и печатные издания, не имевшие пря-

мого отношения к какому-либо вопросу, которым занимался тот или иной отдел, поступали ко мне.

Ко мне же посылали всех случайных посетителей.

У меня создалось впечатление, что я руковожу отделом, который должен заниматься тем, от чего хотят избавиться другие отделы. К тому же стало обычным явлением посылать ко мне советских представителей, которые хотели иметь «понятие о работе в целом». Таких было немало.

Я должен был терпеливо, и это порою по несколько раз в день, разъяснять посетителям значение Учредительного манифеста партии, говорить об антифашистско-демократическом едином фронте и его целях, о восстановлении профсоюзов и о генеральной линии компартии.

К этому прибавлялась еще необходимость держать связь с «Дейче фольксцейтунг». Кроме того я должен был принимать участие в обсуждениях различных вопросов, выполнять особые работы, ездить с Ульбрихтом или Аккерманом, переводить с русского на немецкий отдельные статьи, давать сообщения в центральный печатный орган, составлять проекты речей и, наконец, один раз в год, 7 ноября, писать официальное «Обращение» Центрального комитета КПГ.

Мой рабочий день был предельно заполнен и какой же это был длинный рабочий день!

В ту пору в ЦК КПГ был установлен 10-часовой рабочий день: от 9 утра и до 7 часов вечера, но приходилось очень часто работать гораздо дольше и в поздние вечерние часы было не редкостью встретить в ЦК многих ответственных руководителей.

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» — ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

Однажды после обеда меня вызвал к себе Ульбрихт.

— Устрой свои дела так, чтобы ты завтра мог бы быть совсем свободным. Ты поедешь со мной в провинцию Бранденбург.

Когда я на следующее утро явился в здание ЦК, Ульбрихт был уже готов к отъезду. Он познакомил меня на ходу с двумя высокопоставленными советскими экспертами по хозяйству.

— Мы едем вместе с этими двумя товарищами.

Несколькими минутами позже мы уже ехали в двух элегантных лимузинах, находившихся в распоряжении ЦК. По дороге Ульбрихт рассказал мне, в чем дело:

— Мы должны выяснить некоторые вопросы, связанные с государственными поставками, и подготовить земельную реформу.

В различных пунктах провинции Бранденбург — особенно обстоятельно в Кирице — беседовали мы с комендантами, бургомистрами, со специалистами по сельскому хозяйству. Я лишь удивлялся, как точно был информирован Ульбрихт о малейших подробностях обязательных поставок во времена нацистов. Но еще больше я был изумлен, когда два наших советских спутника (говоривших бегло по-немецки), открыв свои портфели, извлекли пачки бланков, указаний и документов о поставках государству при гитлеровской власти. Особенно интересной была беседа с двумя специалистами из бывшего имперского органа снабжения. Ульбрихт был в курсе всех деталей. Он задавал один вопрос за другим и получал ответы короткие и деловые. Ульбрихт, казалось, находился в своей стихии. Так бывало с ним, впрочем, всегда, если дело касалось практических организационных вопросов.

Во всем этом деле я понимал не так уж много — в школе Коминтерна нас этому детально не обучали. Но насколько я мог уразуметь, говорилось о том, каким образом следует изменить характер поставок, чтобы они соответствовали новым условиям. Особенно подробно выяснялся и обсуждался стимул обязательных поставок. Я полагаю, что в этот день был решен вопрос о «свободных излишках». Через несколько недель были указаны размеры «излишков» (большей частью очень незначительные), которые могут оставаться у крестьян после сдачи госпоставок. Целый день прошел в узко специальных обсуждениях, касающихся практического обеспечения поставок, проводимых в кратком телеграфном стиле. Вопрос земельной реформы, к которой у меня был жгучий интерес, не был даже и затронут.

Перед отъездом из Кирица состоялось короткое совещание между двумя советскими офицерами и Ульбрихтом.

— Теперь нам всё ясно. Мы можем представить на утверждение соответствующие предложения, — сказали оба офицера.

— Пожалуй было бы не плохо остановиться в каком-нибудь маленьком местечке и поговорить с крестьянами о земельной реформе, — добавил один из них.

По пути из Кирица в Берлин мы остановились в одной небольшой деревне. Председатель общины был весьма поражен, увидя столь высоких гостей.

— Сможете ли вы собрать всех крестьян вашей деревни, — спросил Ульбрихт.

— Разумеется!

— Сколько вам на это понадобится времени?

— Наша деревня невелика. В какие-нибудь четверть часа крестьяне будут здесь.

Тем временем некоторые крестьяне уже собрались и стояли у домика своего председателя.

— Сейчас же пойдите по домам и зовите сюда всех людей. Скажите, что это очень важно.

Между тем Ульбрихт, в своей обычной манере, стал коротко и отрывисто расспрашивать председателя общины о делах в этом селе: о средней величине земельной площади, полагающейся на человека, об урожае и о других деталях сельского хозяйства.

Через 15-20 минут крестьяне собрались. Некоторые пробормотали что-то похожее на «добрый день», большинство же смотрело на нас с недоверием.

Ульбрихт задал им несколько вопросов об урожае и о поставках. На эти вопросы ответили только двое или трое из присутствующих после долгих заминок и притом очень односложно.

Некоторые посматривали с сомнением на двух советских офицеров, стоявших в углу комнаты. Только после того, как офицеры, дружески улыбаясь, сами задали на немецком языке несколько вопросов и угостили крестьян сигаретами, крестьяне мало-помалу разговорились. Они заговорили об урожайности их земель. Теперь разговор стал направлять опять Ульбрихт, сводя его к основному вопросу — к земельной реформе.

Ульбрихт сказал о разделе помещичьей земли и сообщил, что теперь крестьяне должны получить больше земли, чем имели ее раньше.

— Скажите же, что вы думаете насчет этого?

Крестьяне снова посмотрели на нас скептически. Воцарилось молчание. Наконец его нарушил один крестьянин:

— Это было бы неплохо, если бы мы получили больше земли.

После того, как председатель общины еще раз объяснил положение, несколько крестьян тоже выразили свое одобрение по поводу реформы. Молчавшие кивком головы дали понять, что и они также согласны.

Все прошло далеко не так, как я рисовал в своем воображении. Реформа не вызвала восторженного одобрения. Но все же присутствовавшие в той или иной форме высказались за реформу.

Я бы охотно остался с крестьянами подольше, но Ульбрихт посмотрел на часы, и советские офицеры предложили ехать дальше.

Я думал, что мы сделаем и в других деревнях подобные опросы, но Ульбрихт и оба советских офицера сочли это не нужным.

Вечером мы прибыли в Берлин.

Спустя несколько дней мне стало ясно, что в результате этой поездки не только были введены новые формы поставок, оставлявшие «свободные излишки», но началось и проведение земельной реформы в советской зоне Германии.

Само собою разумеется, согласие крестьян в маленьком селении между Кирицем и Берлином никакого влияния на осуществление земельной реформы не имело. Вопрос был принципиально уже давно решен. Но эта комедия принадлежала к сталинскому ритуалу: перед проведением уже заранее решенных мероприятий выслушивать в той или иной форме «мнение народа».

— Сегодня мы должны подольше поработать, — сказал мне несколькими днями позже Аккерман. — Позаботься, чтобы остались две стенографистки. Мы должны сделать очень важный перевод.

Я получил для перевода русский текст, написанный на пишущей машинке.

Аккерман просил меня каждую переведенную страницу приносить ему.

Этот текст был проектом земельной реформы!

По этому проекту все имения, величиною более ста гектаров экспроприировались вместе со всеми прилегающими к ним строениями, со всем инвентарем, одушевленным и не-

одушевленным, экспроприировались земельные участки военных преступников и активных поборников национал-социализма. По новой реформе отходила даже земельная площадь, принадлежащая государству, если только она не была связана с работой сельскохозяйственных исследовательских институтов, опытных станций и учебных заведений.

Земельные площади, принадлежавшие городским самоуправлениям, а также необходимые для снабжения городского населения не попадали под действие земельной реформы. Земельные участки сельскохозяйственных артелей и сельскохозяйственных школ, земельные владения церковных общин также не затрагивались реформой.

Осуществление земельной реформы возлагалось на общинные комиссии, выбираемые на общих собраниях батраков, малоземельных крестьян и бедняков. В округах должны быть созданы окружные комиссии во главе с советником, или его заместителем.

Проведение в жизнь земельной реформы должно было начаться немедленно после опубликования закона и быть закончено в октябре 1945 года.

При переводе проекта закона на немецкий язык мне бросилось в глаза, что многие статьи закона составлены сравнительно умеренно.

Так как я еще в начале июня знал, что земельная реформа будет проводиться уже в 1945 году, то я собрал для себя все имевшиеся материалы по поводу земельных реформ в Польше, Венгрии, Румынии, Югославии и т. д. и даже написал несколько статей на эту тему для «Дейче фольксцейтунг», центрального органа компартии Германии. При этом я установил, что высшим пределом владения землей в Польше и Румынии было 50 гектаров, а в Болгарии и Югославии — 35 гектаров.

Эта разница (у нас 100 гектаров) казалась мне признаком того, что в данном случае мы не действуем слепо по московской схеме, что мы можем осуществлять реформу так, как мы считаем нужным, так, чтобы она соответствовала условиям нашей страны.

Даже тот факт, что я переводил текст закона с русского языка, не поколебал моего убеждения. Я допускал тогда (сегодня я этого уже не думаю), что этот закон был разработан немецкими коммунистами и передан для просмотра представителям советских оккупационных властей. Там этот текст

был переведен на русский язык, а я сейчас делаю так называемый «обратный» перевод.

4 сентября я увидел снова свой перевод. Он был напечатан, как закон под заглавием: «Постановление о проведении земельной реформы в провинции Саксония». Соответствующие законы для остальных провинций советской зоны оккупации последовали немедленно вслед за этим законом.

Спустя около двух недель после опубликования закона о земельной реформе состоялось расширенное заседание ЦК партии, на которое был приглашен и я. Партийный аппарат в то время был невелик и тогда не соблюдалось особых формальностей. В зале заседания за поставленным на середину комнаты столом разместилось человек 25-30 партийных руководителей. В центре стола заняли места Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. Из Саксонии-Ангальт прибыл Бернгард Кёнен, из Мекленбурга — Густав Зоботка, из Саксонии — Герман Матерн.

Из ведущих руководителей, занятых в центральных управлениях в заседании приняли участие лишь Эдвин Гёрнле и Пауль Вандель. Основной темой заседания была земельная реформа. Один за другим докладывали руководители о положении в их провинциях. В этом кругу тогда говорили совершенно откровенно. По отчетам можно было видеть неприкрашенную картину, рисующую положение как в областях, в которых земельная реформа была проведена успешно, так и в тех местах, где в связи с проведением реформы возникли недостатки, ошибки и провалы.

Примерно через два часа после начала заседания произошел один спор, запечатлевшийся в моем сознании. Бернгард Кёнен, мой бывший преподаватель в школе Коминтерна, а ныне первый секретарь компартии в Саксонии-Ангальт в конце своего сообщения о реформе сказал:

— Я хотел бы в заключение изложить одну важную просьбу, которая непосредственно связана с проведением земельной реформы. На предприятиях «Лейна-Верке» должны быть демонтированы две установки, которые исключительно важны для производства удобрений. Я хотел бы поставить вопрос, нельзя ли посодействовать тому, чтобы эти два корпуса были исключены из списка демонтируемых объектов.

— Мы здесь не занимаемся вопросами демонтажа, — прервал его Ульбрихт.

— Но я хочу только указать на всю важность этой продукции для земельной реформы. Все необходимые мероприятия, исключающие возможность выпуска продукции, связанной непосредственно с военным производством уже проведены. Да и на собраниях рабочие сами обязались . . .

— Я уже сказал, что эти вопросы к нам не относятся, — оборвал его Ульбрихт, на этот раз пронзительно-резким голосом.

Бернгард Кёнен, однако, не сдавался.

— Нет, это не дело! Мы должны разрешить здесь этот вопрос. Я дал торжественное обещание рабочим приложить все усилия, чтобы эти два корпуса, не имеющие ничего общего с военным производством, связанные исключительно с производством удобрений . . .

Но Ульбрихт не дал ему договорить до конца:

— Я больше ничего не желаю слушать об этом! Иначе мы поговорим по-другому, на иных основаниях! — воскликнул он угрожающе.

Бернгард Кёнен замолчал. Угроза подействовала. По поводу этих двух корпусов «Лейна-Верке» больше не было сказано ни слова.

Заседание шло дальше, но этот спор глубоко врезался в мою память. Как в 1942 году на вечере самокритики, когда исключили товарища Вилли из школы Коминтерна, как при столкновении между Ульбрихтом и берлинскими коммунистами в мае 1945 года, так и теперь я стоял на стороне партийного работника, который чувствовал себя связанным с жизнью рабочих. Я не мог разделять точку зрения аппаратчика, который только выполнял приказы, полученные им сверху.

Земельная реформа осенью 1945 года стояла в центре нашего внимания и всей нашей работы. С середины августа происходили почти ежедневные совещания, связанные с этим вопросом. После того, как партработники или, как их обычно называют, партийные кадры, были тщательно проинструктированы — во всех деревнях и селах советской зоны состоялись собрания батраков и малоземельных крестьян.

«Землю юнкеров (прусских помещиков. — Прим. пер.) — крестьянам!» — был основной лозунг. Для успешной подготовки земельной реформы были «мобилизованы» даже

слова Гёте: «*Стоять на свободной земле со свободным народом*» . . .

Каждый день к нам поступали резолюции с требованиями раздела помещичьих владений.

В конце августа собрания достигли наивысшего размаха, а когда в сентябре 1945 года, уже не как проект, а как закон, было обнародовано «Постановление о проведении земельной реформы», началась новая фаза этого мероприятия. Теперь дело шло уже не о пропаганде этой идеи, а о порядке ее осуществления.

Для отдела агитации и пропаганды (агитпропа) работы стало гораздо меньше. Осуществление земельной реформы было, в первую очередь, обязанностью орготдела и отдела сельского хозяйства ЦК компартии.

Такое громадное преобразование было закончено в поразительно короткий срок. 5 декабря 1945 года Эдвин Гёрнле, от имени Германского управления сельским и лесным хозяйством, сообщил, что распределение помещичьих земель в основном закончено.

В один из дней (к сожалению, я не помню точной даты) Ульбрихт вызвал меня к себе.

— Утром состоится одно совещание в Карлсхорсте, в котором примут участие премьер-министры земель и председатели центральных управлений. Я просил бы тебя отправиться туда и сделать свои заметки, а вечером доложить мне обо всем, по возможности подробнее.

Ульбрихт дал мне пропуск, и я был представлен советскому офицеру связи.

— Утром в 9 часов, мы поедем отсюда в Карлсхорст!

После того, как мы миновали различные контрольные пункты и преграды этот советский офицер ввел меня в зал заседаний.

Обсуждение уже было начато. За столом сидел маршал Жуков в окружении пяти или шести генералов Советской армии, которые, как я выяснил по ходу обсуждения, — были советскими уполномоченными в отдельных землях и провинциях.

В совещании принимали участие от 30 до 40 человек, среди которых был тогдашний премьер-министр Саксонии доктор Фридрихс, тогдашний премьер-министр Тюрингии доктор Пауль, который в 1947 году перешел на Запад, — и тогдашний обербургомистр Берлина доктор Вернер. Из соста-

ва председателей центральных управлений я знал Пауля Ванделя, руководившего отделом народного просвещения, и Эдвина Гёрнле, заведующего сельским хозяйством.

К моменту моего прихода на совещании выступал доктор Фридрихс. Делал он свой доклад спокойно, в ясной форде и с большим знанием дела.

Через несколько минут после того, как я вошел в зал заседаний, с места поднялся премьер-министр одной из земель:

— Прежде чем начать мой отчет, мне хотелось бы выразить глубочайшую благодарность славной Советской армии...

Его немедленно прервал маршал Жуков.

— Пожалуйста оставьте это! Мы здесь не на общем собрании. Я прошу ограничиться только сообщением в области вашего задания с тем, чтобы мы могли уяснить положение.

Премьер-министр подавился на слове и замолк на мгновение. Я тоже был изумлен. Я еще не бывал в таких кругах, где могли прервать того, кто говорил о героической Красной армии . . .

Премьер-министр быстро взял себя в руки и теперь уже тщательно избегал дальнейших хвалебных гимнов. Жуков и другие генералы внимательно слушали. Изредка Жуков задавал вопросы. Чаще всего он спрашивал:

— Что бы вы, конкретно, могли предложить для устранения этих недостатков?

После того, как отчитались премьер-министры отдельных земель, должны были выступать председатели центральных управлений.

— Будет вполне уместно, если вы тоже затронете вопрос о недостатках, отмеченных в докладах премьер-министров.

Особенно подробно, разумеется, говорилось о земельной реформе. Во время одного из выступлений маршал Жуков впервые задал чисто политический вопрос:

— Можете ли вы мне хотя бы приблизительно сообщить о составе комиссий по проведению земельной реформы; какие партии участвуют наиболее активно и какие партии проявляют наименьшую активность в осуществлении земельной реформы?

Как и ожидалось, ответ гласил:

— В комиссиях по проведению земельной реформы сильнее всего представлены коммунисты, за ними следуют социал-демократы; потом — беспартийные. Христианские де-

мократы и либеральные демократы представлены в них слабо и во многих районах не участвуют активно.

Несколько секунд царила тишина.

— Хорошо. Можете продолжать, — сказал, улыбаясь, маршал Жуков.

В отчете одного из председателей центрального управления говорилось о том, что в его аппарате работает много профессионалов-чиновников, обладающих часто большими специальными знаниями, но совершенно не умеющих импровизировать и беспомощных в создании чего-либо нового.

Маршал Жуков, улыбаясь, бросил ироническую, но совсем не враждебную реплику в адрес прусских чиновников.

Следующим выступал Фердинанд Фриденсбург, в то время председатель Центрального управления топливной промышленностью. Уверенными шагами подошел он к трибуне и начал:

— Хотя я и принадлежу к той партии, которая, как было упомянуто, не столь активно участвует в земельной реформе как коммунистическая, и, несмотря на ироническое замечание по адресу прусских чиновников, мне хотелось бы, как бывшему прусскому чиновнику, указать . . .

Маршал Жуков смотрел на него с изумлением. Доктор Фриденсбург произнес эти слова спокойно и деловито. Хотя я полностью разделял мнение маршала Жукова относительно партии христианских демократов и прусских чиновников, но мужество доктора Фриденсбурга произвело на меня большое впечатление. Он импонировал мне куда больше, чем те люди, — к сожалению, их было немало, — которые делали тогда все, чтобы втереться в доверие советских властей, в то время как сегодня они захлебываются в выражениях ненависти к ним.

Доктор Фриденсбург сделал обстоятельный доклад о положении дел в топливной промышленности.

— Я хотел бы, господин маршал, обратить ваше внимание еще на одну трудность, — сказал он в конце своего отчета. — На продукцию топливной промышленности сильно влияет то, что коменданты не считаются с существующими указаниями и сами издают свои указания.

— Какие коменданты? Вы имеете в виду комендантов округов? — спросил маршал Жуков.

— Нет, я имею в виду советских офицеров, уполномо-

ченных на производствах, которые называют себя комендантами и распоряжаются как коменданты.

— Вы можете быть уверены, господин Фриденсбург, что мы сделаем все, чтобы устранить помехи и затруднения в вашей области работы, возникающие по вине советских учреждений и будем содействовать дальнейшему планомерному развитию топливной промышленности. Я самым точным образом разузнаю, какие обязанности должны нести коменданты на производствах.

Слушая это я невольно задумался. Я не сомневался в честном желании маршала Жукова помочь доктору Фриденсбургу, но я уже достаточно хорошо знал советскую структуру. Я знал, что существуют такие советские учреждения, которые находятся не в подчинении маршала Жукова, а подчиняются непосредственно хозяйственным органам в Москве. Я знал также об антагонизме между некоторыми советскими учреждениями. Как-то за несколько дней до этого совещания я ехал в автомобиле с одним офицером из Главного политуправления Красной армии по улицам советского сектора Берлина.

— Там живут наши враги! — сказал он, показывая рукой на несколько домов нового поселка.

— Кто? Нацисты?

— Нет, хуже: наши репарационные бригады!

НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЫПУСК ПОСОБИЙ ДЛЯ ПАРТУЧЕБЫ

Во второй половине октября 1945 года меня вызвал Франц Далем.

— Фред Ольснер мне сообщил, что наш отдел партийного просвещения находится в тяжелом положении. Для разработки недельного учебного материала они имеют там одного товарища, который, видимо, не справляется с этой работой. Через шесть дней должна быть готова уже следующая тетрадь. Не сможешь ли ты, в виде исключения, подготовить ее?

— На какую тему?

— Тема: К 28 годовщине Октябрьской революции.

— Хорошо, я это сделаю.

Не предчувствуя никаких последствий этого «исключения», я подготовил тетрадь с учебными пособиями и прочел инструктивный доклад для слушателей партшколы берлинской партийной организации.

После того как я справился с этими двумя поручениями, моя дальнейшая партийная карьера была решена: я был освобожден от обязанностей заместителя заведующего отделом печати ЦК КПГ и назначен ответственным редактором учебных пособий партшколы при ЦК КПГ.

Общее руководство всей сетью партпросвещения находилось в руках Фреда Ольснера, прибывшего вместе с Вильгельмом Пиком в Берлин в начале июля 1945 года.

Я встречал Ольснера еще в Москве. Тогда его звали «Ларев», он был главным редактором немецких передач на московском радио. Так же, как и Аккерман, Фред Ольснер посещал Ленинскую школу в Москве.

С июня появились «планы докладов» — в партийных кругах они назывались «Учебные тетради». Под главным руководством Ольснера учебные пособия были выпущены с точностью, которая в виду тогдашнего положения была поразительна. Как это всегда происходило — эти тетради были сейчас же переданы в руки партийных организаций. Каждый вторник все партийные организации советской зоны обязаны были устраивать по вечерам учебные занятия на основе этих планов.

Раньше, чем началась Потсдамская конференция, гораздо раньше, чем западные союзники вообще до какой-то степени уяснили себе, что же в Германии надо делать, — сотни тысяч членов коммунистической партии в советской зоне уже обучались раз в неделю определенным политическим вопросам, или, как тогда говорилось у нас, — их «ставили на верные рельсы».

Разговор с Фредом Ольснером о моей работе был коротким.

— Твоя работа состоит в том, чтобы аккуратно каждую неделю был готов текст учебной тетради.

— Когда я узнаю темы?

— Они будут решены на совместном заседании с Аккерманом — ты в нем тоже примешь участие — приблизительно за десять дней до того, как учебная тетрадь пойдет в набор.

Итак я каждую неделю должен был разрабатывать новую учебную тему. Они были пестро-разнообразны; я писал

о работе партии в деревне, о потребительских обществах, о проблемах питания, о равноправии женщин, о реформах школ, об организации партии, о борьбе против милитаризма и о прусской реакции.

Через несколько недель я рационализировал работу. Все выпускаемые партией книги, брошюры, материалы и газеты, были рассортированы по темам, которые когда-нибудь могли бы пригодиться для учебной тетради. Кроме того я составил каталог на все эти партийные издания.

По подобной системе важные цитаты из сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Вильгельма Либкнехта, Августа Бебеля, Карла Либкнехта и Розы Люксембург были так составлены по всем самым значительным вопросам для учебных тетрадей, что я при разработке темы в каждой тетради мог привести соответствующую цитату из классиков марксизма-ленинизма.

Я вскоре так освоился с работой, что учебные тетради сдавались в печать только с незначительными изменениями или совсем без них. Лишь один раз была маленькая задержка и то не из-за моего текста, а из-за одного определения Карла Маркса. Это была тема «Равноправие женщины». Актуальную часть я уже написал и искал только подходящую цитату Карла Маркса. Скоро я нашел одну фразу в письме Маркса к Кугельману в декабре 1868 года:

«Общественный прогресс можно с точностью измерить общественным положением прекрасного пола, включая и уродливых».

На другой день учебная тетрадь была готова, и я принес ее Фреду Ольснеру.

Звучит немного несерьезно, — сказал он, нахмурив лоб.

— Это же Карл Маркс, мы не можем ничего изменить.

Моя защита Маркса ничем не помогла. Ольснер взял ручку и зачеркнул «включая и уродливых».

Вскоре я получил нового «цензора»: Антона Аккермана. Из всех цензур, с которыми я до сих пор имел дело, эта была самая приятная. Так как учебные тетради сдавались в печать каждый понедельник, то вскоре так повелось, что я по воскресеньям вечером приходил к Аккерману в его виллу в Нидершёнгаузене, чтобы вместе с ним поужинать. Он просматривал учебную тетрадь, ставил свои инициалы—«А. А.», и после этого она беспрепятственно шла в печать. Каждый понедельник утром ко мне являлся представитель издатель-

ства Диц, который почти вырывал рукопись из моих рук и часто тут же, в моем присутствии делал технические пометки для типографии, а слева наверху писал цифру «120000» — тираж, в котором тогда выходили учебные тетради.

Наряду с еженедельными вечерами партучебы, уже осенью 1945 года были организованы первые краевые партийные школы в Мекленбурге, Бранденбурге, Саксонии-Ангальте, Тюрингии и Берлине. Они помещались большей частью в замках бывших крупных землевладельцев.

В этих краевых партшколах обучалось от 60 до 80 участников и курс обучения длился четыре недели. Кто бывал в те дни у Антона Аккермана в его рабочей комнате, тот мог увидеть его склоненным над большой картой советской зоны оккупации, на которой пестрело несколько дюжин красных крестов. Дело было в том, что подыскивалось подходящее здание для запланированной центральной высшей партийной школы. Все провинциальные парторганизации получили указание довести до сведения ЦК о подходяших для этой цели дворцах или других зданиях. Наконец мы нашли в Либенвальде, около 35 км северовосточнее Берлина, подходящее здание, и таким образом высшая партийная школа могла начать работу в конце 1945 года.

Наряду с нашими школами советское военное управление устроило в Кенигсвустергаузене большую политическую школу. Лекторами и руководителями семинаров были советские офицеры. Кроме того была еще привлечена как учительница Лена Бернер, с которой я в 1942 году был в школе Коминтерна. Эта школа официально не имела отношения к партии. Среди ее участников было много молодых членов Христианско-демократического союза и Либерально-демократической партии . . . Было очевидным желание советского руководства создать крепкую основу для политики блока партии и одновременно воздействовать в нужном направлении на членов Христианско-демократического союза и членов Либерально-демократической партии. Еженедельные вечера партучебы и партийные школы-интернаты, хотя и имели разные задачи, но в сущности составляли неразрывное целое: благодаря вечерам политучебы были ознакомлены с новыми заданиями и «переучены» по «новой линии» старые члены Коммунистической партии Германии, которые в 1945 году опять вернулись в свою партию, а новые молодые силы, устремившиеся в компартию были ознакомлены с основны-

ми идеями и мыслями партии. Растущее количество партийных школ-интернатов давало возможность широкой подготовки новых партийных кадров.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТЕЗИС АККЕРМАНА

Когда я однажды в воскресный вечер опять был у Аккермана в Нидершёнгаузене, я почувствовал, что он недостаточно сосредоточенно просматривает учебную тетрадь. Казалось, что он был чем-то радостно взволнован и мысли его были далеко.

После того, как рукопись была проверена и допущена к печати, он начал сразу же говорить о том, что его тогда, — да и не только тогда, — всецело захватывало.

— Мы стоим перед необходимостью заново сформулировать некоторые наши основные тезисы.

Он говорил о новой ситуации после Второй мировой войны, о возможностях новыми путями придти к социализму, на основании новых условий найти новые пути к нему, совсем иные, чем те, которыми шли к нему в России после Октябрьской революции.

Уже в феврале 1945 года в Москве написал Аккерман статью для радио «Свободная Германия» под названием: «Восемь стран — одно учение». Она была потом опубликована в газете Национального комитета. В этой статье Аккерман писал:

«Большевизм, это внутриполитическая система в Советском Союзе. Можно иметь различные мнения об этой общественной системе», — и дальше, бросая взгляд на восточные и юговосточные европейские государства: «Развитие в частностях проходит в разных странах различно, но как раз это и доказывает, что иностранная сила не довлеет».

Теперь, в ноябре 1945 года, Антон Аккерман решил тогдашние намеки воплотить в основной тезис партии о возможности особого немецкого пути к социализму. Он прочел мне наброски своей статьи, лишь половина которой была написана к тому вечеру.

Аккерман исходил из того, что Карл Маркс ограничивал неизбежность перехода к социализму революционным путем континентальными странами и считал, что в Англии и Америке возможен переход к социализму мирным, демок-

ратическим путем, так как в этих странах царила буржуазно-демократическая форма правления без ярко выраженного милитаризма и бюрократизма. Из этого Антон Аккерман заключил, «что было бы неправильным, при всех условиях, для всех стран и всех времен» отрицать возможность мирного перехода к социализму.

«Этот переход сравнительно мирным путем возможен в том случае, если класс буржуазии благодаря особым обстоятельствам не располагает бюрократическим и милитаристическим государственным аппаратом власти».

Для членов и руководящих работников КПГ это было совсем новым ходом мыслей. Цитаты из Маркса и Энгельса, в которых говорилось об этом, никогда до тех пор ни в Советском Союзе, ни в прежней КПГ не находились в центре идеологического или политического обсуждения. Даже в школе Коминтерна в 1942 году эти вопросы никогда не ставились.

В заключение Аккерман разъяснял, что для Германии после 1945 года как раз наступила возможность такого мирного развития.

«Если молодое демократическое государство попадет в руки реакционных сил и будет новым инструментом насилия, то переход к социалистическому преобразованию мирным путем невозможен. Если же антифашистско-демократическая республика станет государством всех трудящихся под водительством рабочего класса, тогда мирный путь к социализму вполне возможен. Никто не хочет так страстно, как мы, избежать новых боев, нового кровопролития».

В последней части статьи было, наконец, высказано то, о чем я давно думал, но не смел открыто защищать свою мысль: необходимо идти своим собственным путем к социализму, путем, который будет отличаться от русского. С довольной улыбкой Антон Аккерман прочел:

«Не кто иной как Ленин подчеркнул, что было бы огромной ошибкой преувеличивать правду о всеобщей значимости русского опыта, «не ограничивать ее некоторыми чертами нашей (т. е. русской) революции» . . . В этом смысле мы и должны утвердить особый немецкий путь к социализму».

Аккерман указал под конец — хотя и в сравнительно осторожной форме — на разницу развития социализма в Германии и в России. Россия далеко отстала в 1917 году от прогрессивных стран. Продуктивность труда была сравни-

тельно низкой, промышленность слабо развита, число рабочих незначительно. В Германии же, наоборот, уровень продукции мог бы очень скоро быть восстановлен и число квалифицированных рабочих сил было несравненно большее, чем в 1917 году в России.

«Это различие может привести к тому, что наши усилия будут гораздо меньше по сравнению с жертвами, которые должен был принести русский народ для построения социализма, и нарастание социалистического благосостояния может при этих обстоятельствах проходить скорее».

В отличие от России 1917 года рабочий класс Германии составляет большинство населения. «Это будет также иметь большое значение после победы рабочего класса в Германии, так как это облегчит внутреннюю политическую борьбу, уменьшит количество жертв и ускорит развитие социалистической демократии».

Я часто вел политические дискуссии с Аккерманом. Но никогда я не чувствовал, чтобы высказываемые мысли и взгляды так глубоко волновали его. Со мной происходило то же самое. Идеи, которые Аккерман высказывал теперь, были мне чрезвычайно близки. Моим желанием с давних лет было, чтобы каждая страна могла идти своим путем к социализму, иным, чем Советский Союз. Теперь Аккерман должен был написать об этом теоретическую статью в официальную партийную газету «Единство»! Она должна была наметить основную линию партии!

Это официальное изменение партийной линии в таком решающем вопросе заставило нас многое увидеть в совершенно другом свете. Злоупотребления и эксцессы при вступлении Красной армии в страну, демонтажи, политический контроль, осуществляемый советскими офицерами — все это было для нас только временными явлениями нескольких лет переходного периода; хотя это и наносит нам вред, но скоро всё будет преодолено. Скоро настанет день, — так я по крайней мере надеялся и верил, — когда уйдет оккупационная власть и немецкие социалисты, освобожденные от иностранной опеки, смогут найти свой путь к социализму на основе собственных традиций и соответственно существующим условиям.

В четыре часа утра шел я, охваченный новыми надеждами, в свою квартиру в Панкове. Наконец-то, думал я, станет действительностью то, чего я всегда так желал: мы

пойдем к социализму своим собственным путем, избегая тех явлений, которые в Советском Союзе на меня так угнетающе действовали. Через несколько недель, в декабре 1945 года, появилась статья Аккермана: «Существует ли особый немецкий путь к социализму?»

Статья подействовала, как взрыв бомбы. У всех, исключая совсем малую часть стопроцентно послушных Москве партработников, которым были противны какие бы то ни было новые мысли, статья вызвала глубокий вздох облегчения. Наконец-то, казалось нам, наконец-то путь найден! Правда, мы не предпринимали никаких шагов, чтобы открыто отмежеваться от мероприятий советских оккупационных властей, но произошло что-то другое, что для нас тогда было гораздо значительнее: принципиальное отмежевание от развития социализма в Советском Союзе.

Тезис Аккермана начал свое победное шествие в партии.

РАЗВОРОТ КАМПАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Теория об особом немецком пути в социализм сыграла важную роль, в особенности для партийных работников, в большой кампании объединения в советской зоне Германии. В 1945 году было совершенно очевидно, что многие социал-демократы и коммунисты под впечатлением горького опыта фашистской диктатуры хотели преодолеть расщепление рабочего движения и создать единую социалистическую партию, которая должна была быть ценнее, чем СДПГ и КПГ Веймарского периода. Этому основному настроению соответствовала теория об особом немецком пути к социализму.

Можно заключить из последовавшего осенью 1948 года запрещения этой теории, что она рассматривалась тогдашним руководством ВКП(б) только как средство, чтобы рассеять сомнения социал-демократов (да и многих коммунистов), опасавшихся слишком большой зависимости от СССР.

Непосредственно после основания СДПГ и КПГ в июне 1945 года Ульбрихт отклонил все предложения о создании единой социалистической партии, мотивируя тем, что объединению организационному должен предшествовать процесс идеологического сближения. После этого обе партии приступили к отстройке своего организационного аппарата. Без сомнения наша партия — КПГ — была в более выгодном по-

ложении. Мы могли основать наши организации в городах и деревнях прежде, чем СДПГ, наши материальные возможности были шире, тираж наших газет был выше и мы имели в нашем распоряжении больше автомобилей, — что в тот первый организационный период было особенно важно, так как мы могли скорее восстановить связь с местными органами.

Советская поддержка ни в коем случае не ограничивалась в предоставлении предпочтительно нам технических средств. Политически КПГ также открыто предпочиталась оккупационными властями. С другой стороны, советские органы власти вмешивались непосредственно и во внутренние дела СДПГ, чтобы политическим нажимом и мерами запугивания заставить замолчать все критические и независимые голоса.

Связи наши с находившейся в стадии отстройки СДПГ были многообразны. Непосредственно после основания обеих партий в июне 1945 года, была совместно создана рабочая комиссия. Подобные же рабочие комиссии существовали и на местах.

В некоторых местечках, районах и землях отношения были тесными, товарищескими и даже дружескими, в других чувствовалась напряженная, порой почти враждебная, атмосфера, так как социал-демократы в бесчисленных случаях чувствовали одностороннее предпочтение, оказываемое КПГ советскими оккупационными властями.

Тем не менее вскоре обнаружилось, что СДПГ развивалась значительно быстрее, чем это предполагало руководство КПГ в июне 1945 года. Количественный перевес КПГ становился все незначительнее. Все больше становилось мест, где число социал-демократов превышало число членов компартии.

9 ноября, в годовщину ноябрьской революции, предположено было устроить общее празднество КПГ и СДПГ в Берлине, но Центральный комитет СДПГ отклонил совместное празднование, отложив свое на 11 ноября, и прислал нам несколько пригласительных билетов. Вильгельм Пик предложил мне:

— Мы можем вместе поехать на праздник СДПГ. Будет выступать Гротеволь.

Нас вежливо приветствовали члены СДПГ и проводили в ложу, которая была предназначена для гостей. Гротеволь начал говорить. Уже после нескольких слов я почувствовал,

что эта речь совершенно не соответствовала «линии». Вместо пропагандируемого нами «антифашистско-демократического порядка» Гротеволь много и подробно говорил о социализме, понятии, от которого мы тогда уклонялись, даже боролись с ним, потому что по нашему разумению он не соответствовал тогдашней фазе развития, мог поставить под удар единство всех антифашистских сил и дискредитировать идею социализма. Еще сомнительнее были для нас хозяйственные требования Гротеволя: он, правда, не высказался прямо против демонтажа и репараций, но трактовал эти вопросы таким образом, что каждый присутствующий вполне мог понять подлинный смысл его слов. Вильгельм Пик стал очень серьезен.

Заканчивая выступление, Гротеволь сказал, что считает задачей СДПГ во внутренней политике — занять среднюю позицию между коммунистической и буржуазными партиями, а во внешней политике — играть роль посредницы между Советским Союзом и западными буржуазными демократиями. Об укреплении сотрудничества с КПГ и о желательности объединения этих двух партий в речи Гротеволя не было ни слова.

Когда Гротеволь кончил, мы из вежливости похлопали немного.

— Пойдем, — шепнул мне Вильгельм Пик.

Он был подавлен и серьезен. Я думал, что мы потом будем приглашены руководством СДПГ в гости. Но остаться там с таким настроением, какое было у нас после этого доклада, было просто невозможно. Через несколько минут мы сидели в машине, которая помчала нас в Панков. Вильгельм Пик все еще молчал.

— Я этого не ожидал! Что же теперь будет с Гротеволем? — нарушил я молчание.

— Гротеволь показал себя в своей сегодняшней речи совершенно ясно и открыто противником объединения.

На следующий день у нас в ЦК речь Гротеволя была главной темой разговоров. Где-то возник слух, что эта речь составлена совсем не Гротеволем, а Клингельгофером. Речь Гротеволя ни в одной газете советской зоны опубликована не была. Не появилась она и ни в двухтомнике его речей и статей, вышедшем в свет в 1948 году, ни в дальнейших изданиях.

В конце ноября 1945 года стали известны результаты первых австрийских парламентских выборов после войны. Выборы были катастрофой для компартии Австрии. Австрийская народная партия получила 85 депутатских мест, социал-демократическая партия — 76, а компартия только 4 места.

Незадолго до этого пришло сообщение, где австрийские товарищи заявляли, что они рассчитывают получить на выборах такое же количество голосов, какое получат социал-демократы. Австрийские выборы и выводы из них стали главной темой разговоров у нас в ЦК.

— Австрийские товарищи сделали две основные ошибки, из которых мы должны извлечь для себя урок. Самой главной ошибкой была недооценка социал-демократии . . .

С этого дня началась большая кампания объединения. Существовала одна только тема: объединение. При всех переговорах вопрос об объединении ставился во главу угла. Это было необходимо, так как первые недели в рядах членов КПГ имелись некоторые сомнения в необходимости объединения с социал-демократами и создания единой партии.

В отделе партобучения перед нами стояла первоочередная задача — направить окончательно по «линии» наших собственных членов, тем более, что некоторые товарищи совсем были не в восторге от новых формулировок. К великому удивлению многих членов партии сотни тысяч экземпляров старых социал-демократических программ были розданы среди партийцев. Там были Эйзенахская программа 1869 года, Готская программа 1875 года и Эрфуртская программа 1890 года. В отделе партобучения мы неожиданно получили редкое для нас задание: подыскать цитаты из произведений Августа Бебеля, Вильгельма Либкнехта и, по возможности, даже Каутского и Гильфердинга, которые можно было бы использовать для кампании объединения.

Затем мы получили указание пойти на еще большие уступки. До сих пор главная вина в поражении рабочего движения во времена Веймарской республики приписывалась СДПГ, в отношении КПГ допускалось признание лишь некоторых тактических ошибок (во время плебисцита 1931 года в оценке национального вопроса и при формулировке занимаемой позиции в отношении СДПГ). Теперь же следовало считать, что ошибки обеих партий были равнозначны.

Нам говорилось, что обе партии потерпели поражение, потому что не было единого рабочего движения*).

Хорошо дисциплинированные члены компартии сравнительно быстро привыкли к новым установкам. Для молодых членов партии в общем даже не было больших трудностей при этих перестановках. Они по существу уже вжились в мысль о необходимости объединения.

20 и 21 декабря 1945 года состоялось совместное заседание партийного руководства КПГ и СДПГ, так называемая «Конференция шестидесяти»; была принята официальная резолюция, в которой, между прочим, говорилось:

«Единая партия будет независимой немецкой социалистической партией. Она представит интересы трудящихся в городе и деревне.

Построение единой партии произойдет на демократических основах. Право на свободное мнение, на свободные выборы всех партийных инстанций — неотъемлемые права всех членов . . .

Единая партия стремится к установлению парламентской демократической республики. Ее цель — осуществление социализма в рамках социальной демократии. Товарищеское взаимопонимание и сотрудничество обеих партий должны подготовить объединение духовно».

Социал-демократы шли навстречу только при условии, если вопрос объединения будет решен на всегерманском партийном съезде социал-демократов. У самостоятельно думающих членов партии и руководящих работников КПГ формулировки резолюции о независимой германской социалистической партии и открытое признание необходимости допущения свободного мнения возбудили новые надежды.

— В новой партии будет все же кое-что совсем, совсем иначе, чем в теперешней КПГ, — часто можно было услышать тогда.

Через 2 недели, 3 января 1946 года, Вильгельму Пику исполнялось 70 лет.

Кое-как отремонтированный театр «Адмиралспаласт» на Фридрихштрассе был празднично украшен. На трибуне для огромного почетного президиума приготовили четыре или пять рядов мест. Собраны были все, кто тогда играл

*) В 1948 г. этот тезис снова был изъят из употребления.

хоть какую-то роль в политической жизни. По дороге в зал я встретил Элли Винтер, дочь Вильгельма Пика.

— Вильгельм станет сегодня почетным гражданином города Берлина, — шепнула она мне.

Одно за другим провозглашались поздравления и пожелания. Когда говорили старые товарищи, которых Вильгельм Пик знал еще со времен борьбы, он оживлялся. А в общем у меня было впечатление, что ему все это было немного неприятно. Обербургомистр д-р Вернер в трогательных выражениях поздравил юбиляра и торжественно передал ему грамоту почетного гражданина города Берлина. Затем выступил Отто Гротеволь, который, как было объявлено, приносит поздравления от имени Центрального комитета СДПГ. Еще и двух месяцев не прошло со дня его речи 11 ноября, но как многое с тех пор переменилось! Гротеволь закончил свое поздравление словами:

— Если мы и не имеем для тебя грамоты почетного гражданина, зато у нас есть нечто другое, хоть и более скромное, но идущее от сердца, а именно, дорогой Вильгельм Пик, — рукопожатие, рукопожатие, которое имеет значение не только сегодня: оно должно длиться так долго, чтобы руки более не разъединились.

Несколько фотографов бросились вперед и сфотографировали эту сцену. Эта фотография была опубликована во всех газетах и журналах. Вечером в честь Пика состоялся прием во дворце Гогеншёнгаузен.

После двух часов приветственных речей официальная часть закончилась. Оркестры заиграли танцевальную музыку. Общество, чувствовавшее себя вначале очень связанно, рассыпалось по группам. Представлялась редкая возможность, поговорить не только со всеми руководителями КПГ, но и с крупными советскими партийными работниками, присутствовавшими на этом вечере в большом количестве. Многие политики, прежде всего из числа членов Христианско-демократического союза советской зоны и Либерально-демократической партии, использовали этот редкий случай.

Ко мне подошли и сказали:

— Пожалуйста, пойди к политическому руководителю городской комендатуры города Берлина. У него разговор с председателем ЛДП Кюльцем, и он хотел бы, чтобы ты переводил.

Мы сели за стол, стоявший в отдалении. Вначале я переводил слово в слово, а потом во мне проснулся политический интерес. Мне казалось, что заместитель коменданта Берлина по политической части был не достаточно вежлив с председателем ЛДП и порою употреблял неподходящие политические формулировки. Я начал облекать его фразы в более вежливую форму, а потом даже стал прибавлять иногда еще и от себя добавочные предложения. Я ожидал, что Кюльц будет рад красивым формулировкам и предупредительной манере высокого советского чиновника, но он становился все серьезнее и серьезнее. Когда заместитель коменданта встал на минуту, чтобы заказать напитки, Кюльц шепнул мне:

— Благодарю Вас, что Вы пытаетесь изобразить коменданта более любезным и от себя стараетесь как можно сильнее выразить идею единого фронта, но дело в том, что я немного понимаю по-русски . . . и в данном случае хотел бы слышать мнение коменданта слово в слово.

Вскоре после дня рождения Пика в наш отдел пришел особый приказ: «Немедленно издать учебную тетрадь, посвященную исключительно конференциям делегатов профсоюзов, которые предполагается провести в начале февраля 1946 года».

Я был весьма удивлен, так как я до сих пор еще и не думал об учебной тетради для конференции Объединения свободных немецких профсоюзов (FDGB). Мне было сначала непонятно, почему это вдруг стало придаваться такое значение этим вещам.

Несколькими днями позже мое удивление возросло. Даже мы, сотрудники ЦК, получили точную инструкцию, где и когда мы должны будем принять участие в выборах в профсоюзы.

— Эти выборы самые решающие и важные из всех тех, какие вообще имеются. Каждый голос драгоценен, — разъясняли нам.

Некоторые из нас, — в том числе и я, — были даже на скорую руку переведены в другие профсоюзы, чтобы иметь возможность отдать там свои голоса.

Все смотрели, как зачарованные, на выборы в профсоюзах.

— Пойдем сегодня и завтра вечером со мной, у нас там теперь делают политику! — пригласил меня Вальдемар

Шмидт в берлинское руководство КПГ. В маленькой комнате сидели крупнейшие работники Берлинской парторганизации, а также некоторые профсоюзные специалисты из ЦК. В середине комнаты сидел Ульбрихт.

В соседней комнате было налажено телефонное дежурство.

В каждом районе находилось по несколько работников, поставленных для связи с берлинским руководством. Им было дано распоряжение передавать нам сразу же все новости из районов. Беспрерывно приходили сведения о настроении и состоянии на производствах.

Ульбрихт был полон энергии. Вся обстановка производила впечатление военного похода.

— Сейчас же сообщите всем: выбирать только коммунистов, только коммунистов! Теперь решается все!

Через несколько минут вошел партработник из соседней комнаты.

— Товарищи не хотят. Они говорят, что договорились с социал-демократами составить руководство профсоюзов на равных началах. Наши товарищи должны по этому голосовать и за социал-демократов.

— Это сейчас совершенно исключено! Надо быть очень твердым — выбирать только коммунистов.

Работник передал распоряжение. Через четверть часа он пришел опять.

— Товарищи недовольны. Они говорят, что если мы не будем держаться нашей договоренности с социал-демократами, то мы разобьем единство.

— Чем больше мы будем иметь коммунистов в профсоюзном руководстве, тем единство будет крепче. Скажи им это, — был ответ Ульбрихта.

Партийная дисциплина была сильнее, чем желания и чувства товарищей, готовых к честному сотрудничеству во всех частях Берлина.

На выборах в профсоюзы в Берлине КПГ получила большинство голосов. Ульбрихт сиял, но товарищи, работавшие в отдельных районах Берлина, были очень огорчены.

— Этого нам товарищи социал-демократы никогда не простят. От них же не укрылось, что мы выбирали только коммунистов. Этими выборами мы разрушили плоды работы долгих месяцев.

А потом, когда руководство берлинских профсоюзов «установилось», членам СДПГ от имени фракции КП было великодушно предложено работать на паритетных началах.

— Если это было запланировано, — сказал мне один районный партиец, — то было бы лучше, если б мы держались нашей договоренности с социал-демократами. Мы достигли бы тех же результатов, но не разрушили бы доверия к нам на предприятиях.

Ульбрихту это было безразлично. Он все поставил на карту, чтобы продемонстрировать силу КПГ в профсоюзах, а затем предложил паритет, с целью привлечь на свою сторону крупных работников СДПГ.

Через несколько дней, 9 февраля 1946 года, я присутствовал на большой конференции профсоюзных делегатов всей зоны. Она мало занималась вопросами профсоюзов; как вскоре обнаружилось, конференция служила исключительно целям объединения. Принятием общей резолюции вопрос объединения был разрешен, тем более, что 11 февраля большинством в Центральной комиссии СДПГ была проведена резолюция: «Вопрос объединения обеих рабочих партий по возможности скорее вынести на решение всех членов партии». Сепаратный съезд социал-демократической партии советской зоны должен был окончательно решить этот вопрос. Таким образом СДПГ отказалась от прежней установки — провести объединение по всей Германии.

— Все ясно, Вольфганг. Профсоюзная конференция решила вопрос. Объединение состоится вечером 22 апреля, — торжествовал днем позже Вальдемар Шмидт.

— Так уж точно не можешь даже ты этого знать, — сказал я.

— Нет, могу! Мы только что заседали с советскими друзьями и там все это было утверждено. Профсоюзная конференция дала нам эту возможность.

— А социал-демократы?

— Это все теперь пойдет, как по маслу!

У меня на душе стало несколько тревожно. Как я ни жаждал объединения, но было ли это верно: за два месяца вперед — в середине февраля — на закрытом заседании предрешать день и час, когда именно сотни тысяч коммунистов и социал-демократов целой зоны должны объединиться в единую партию?

А потом опять нашлось успокаивающее оправдание: создание единой партии из коммунистов и социал-демократов дает, в конце концов, основание питать большие надежды, что многое, что меня до сих пор в Советском Союзе и в зоне разочаровывало, может быть преодолено. Действительно ли так уж важно, при таком историческом решении, чтобы все прилагаемые методы были полностью безукоризненными? Разве не были опубликованы официальные заявления о новом характере будущей партии? Разве не был принят тезис Аккермана об особом немецком пути к социализму? Не было ли это все, — говорил я себе, — гораздо важнее, чем некоторые тактические отклонения?

ПУТЬ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

26 февраля 1946 года состоялась вторая общая конференция партийного руководства СДПГ и КПГ всей зоны. На этой конференции, в которой принимало участие тридцать руководящих товарищей — представителей обеих партий — было постановлено созвать съезд, посвященный объединению партий на 21 и 22 апреля. Одновременно был опубликован проект текста, трактующий принципы и цели организации, а также устав будущей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Таким образом началась «третья фаза объединения», как она называлась официально. «Первая фаза» — период сотрудничества, — продолжалась с июня 1945 года и до конференции 21 декабря 1945 года. Под «второй фазой» понимали время с 21 декабря 1945 года по 26 февраля 1946 года.

Все пережитое нами до сих пор в связи с кампанией объединения, поблекло перед тем, что началось теперь. Вся наша работа была направлена на объединение. Отдел массовой агитации, руководимый тогда Рудольфом Доллингом (впоследствии начальником политического управления народной полиции), получил подкрепление. Листовки, плакаты печатались непрерывно. Все мои учебные тетради посвящались только одной теме: объединению.

Ни один съезд, ни одно собрание, ни одна конференция, по какому бы вопросу они ни созывались, не проходили без того, чтобы под конец не принималась резолюция с требованием немедленного объединения КПГ и СДПГ. Пачками по-

ступали эти резолюции в ЦК и в редакцию «Дейче фолькс-цейтунг».

И вдруг, в разгар лихорадочного разворота кампании объединения, все работники отдела агитации и пропаганды были вызваны к Фреду Ольснеру. Мы увидали на столах большие цветные проекты знамени и значка будущей СЕПГ.

— Здесь первые проекты наших новых эмблем. Мы поручили ряду художников разработать значек для СЕПГ с символом в виде сплетенных рук.

Перед нами лежали восемь-десять эскизов круглых значков со сплетенными руками и словами: Социалистическая единая партия Германии.

— У меня есть сомнения, — сказал один работник нашего отдела, который сидел в концентрационном лагере в Германии. — Круглая форма мне не нравится. Она может вызвать воспоминания о нацистском значке, о конфетке.

Его замечание было сейчас же поддержано другими. Началась долгая дискуссия о том, какую форму должен иметь значек. Наконец мы решили — овальную. Новая директива была передана художникам и через несколько дней мы рассматривали ряд новых проектов.

Больше всего нам понравился один проект, на котором были видны сплетенные руки на белом фоне. Но и это не полностью устраивало нас. Отто Гротеволь, который в свободное время занимался рисованием, предложил на заднем плане изобразить еще красное знамя. Его предложение получило всеобщее одобрение. Опять художники взялись за работу. На нашем следующем обсуждении был окончательно принят проект партийного значка: в середине было видно красное знамя, перед ним — окрашенные золотом сплетенные руки, а вокруг, на серо-голубом фоне, также золотыми буквами, надпись: Социалистическая единая партия Германии.

Теперь у нас был устав, короткая программная декларация и даже значек, только одного еще не было — единой партии. Всё напряжение было сконцентрировано на том, чтобы основать СЕПГ в Берлине и по всей зоне к определенному сроку.

Между тем в СДПГ сопротивление против немедленных организационных мер в отношении объединения стало заметно сильнее, недоверие к КПГ возросло. В то время, как в зоне открытая манифестация такого сопротивления была не-

возможна, в Берлине социал-демократы — противники объединения с КПГ — добились в своей партии решения, чтобы все члены СДПГ проголосовали по этому вопросу. Всеобщее голосование должно было произойти 31 марта 1946 года. Центральный комитет СДПГ, находившийся под руководством Гротеволя и стоявший на стороне объединения, отказался от проведения голосования, а в советском секторе Берлина оно даже было просто-напросто запрещено советским комендантом. Это запрещение подверглось, между прочим, порицанию со стороны знакомых мне партработников.

— Конечно в СДПГ еще имеются большие сомнения относительно объединения, но таким запретом голосования настроение против объединения только обострится. Пусть товарищи социал-демократы сами решат этот вопрос, — сказал мне один товарищ, и я был с ним вполне согласен.

Вследствие запрета проголосовали лишь 32 547 членов СДПГ, живших в Западных секторах Берлина.

Голосование выявило следующие настроения:

1. За немедленное объединение СДПГ и КПГ: 2 937 голосов.

2. За союз СДПГ с КПГ, который гарантирует сотрудничество и исключает междоусобную борьбу: 14 763 голоса.

3. Против всякого объединения и против всякого союза: 5 559 голосов.

Таким образом, подавляющее большинство берлинских социал-демократов высказалось против немедленного слияния.

Когда эти результаты стали известны в ЦК КПГ, мы получили указание еще более усилить кампанию объединения. Конференции и собрания сменяли друг друга. На очень многих собраниях царили подлинное воодушевление и надежда, что наконец это злополучное разделение будет преодолено и новая партия воспримет лучшие традиции обеих партий.

На многих социал-демократов, которые противились объединению, был произведен новый нажим, — но даже мы в отделе агитации и пропаганды при ЦК ничего точно не знали об этих делах. В то время я узнал только об одном случае ареста среди противников объединения, а именно, в районе «Пренцлауер Берг». Этот случай очень взволновал некоторых работников берлинского руководства компартии.

— Эти русские с их арестами! Этим они только вредят нам. Если некоторые функционеры СДПГ еще не согласны на

слияние, надо их оставить в покое. Они позже сами убедятся в правильности пути объединения наших партий.

Мы тогда были еще полны иллюзий . . .

Одна история в районе Мекленбурга обошла в те дни всех партработников. Мне рассказал ее Вальдемар Шмидт: Во вторник на прошлой неделе оба районных секретаря — КПГ и СДПГ — были вдруг приглашены к 7-ми часам вечера в комендатуру округа. Они явились точно к назначенному времени. Комендант любезно поздоровался с ними, сделал величественно-таинственное лицо и повел их в соседнюю комнату — столовую. Стол был накрыт, как для дипломатического приема: на нем было все, что душе угодно.

— Пожалуйста, ешьте! — сказал комендант на ломаном немецком языке.

Оба секретаря райкома принялись есть.

— Пожалуйста, пейте, — пригласил комендант опять.

Оба секретаря стали пить. Потом комендант налил им по очень большому стакану водки. Секретари медлили и не решались, но комендант был неумолим.

— Безусловно должны вы пить! — потребовал он.

С тяжелым сердцем осушили секретари по стакану водки.

— Так, а теперь, оба дайте сюда руки.

Они сделали это.

— О-о-о, очень хорошо! — воскликнул комендант радостно. — Ну, я могу донести, что объединение у нас состоялось!

В марте 1946 года в округах, а потом и в землях советской зоны оккупации, все мероприятия организовывались обеими партиями совместно. Состоялись и совместные вечера партучебы. В Саксонии и Тюрингии, а потом также и в других землях совместно издавались большим тиражом газеты. 8 и 9 апреля Саксония, Тюрингия и Мекленбург сообщили, что на их поместных съездах объединение состоялось. 13 и 14 апреля в Берлине состоялись съезды компартии отдельных земель и сторонников объединения из СДПГ.

Я присутствовал на съезде компартии одной из земель, где основной доклад читал Вальдемар Шмидт, бывший в то время секретарем Берлинской парторганизации. Затем говорил Ульбрихт. Это была первая речь, в которой он резко

и ясно подчеркнул различие между зонами и существуюшие между ними противоречия.

— У них, в западных зонах, — у нас, в восточной, советской, зоне . . . — начались его противопоставления.

Всеобщий смех вызвала его оговорка (тогда еще не было никакого культа Ульбрихта):

— У нас в Советском Союзе . . .

Он густо покраснел:

— Я имею в виду, конечно, нашу советскую зону . . .

Через несколько дней состоялись оба центральных партийных съезда, — КПГ и СДПГ, — на которых должно было быть окончательно решено объединение. Только позже я узнал, сколь мало «партийный съезд СДПГ» отражал действительное настроение членов СДПГ в зоне и в Берлине, и что несогласные со слиянием партий делегаты, ехавшие на съезд, были сняты с поездов и арестованы. Тогда я еще верил, что этот партийный съезд представлял большинство членов СДПГ.

Утром 19 апреля я ехал с другими работниками при ЦК на XV съезд КПГ, который состоялся в Немецком театре на Шуманштрассе, празднично украшенном в честь съезда.

Трибуна была затянута ярко красными полотнищами, на задней стене огромными буквами стояли слова: мир, строительство, прогресс.

Вильгельм Пик от имени ЦК приветствовал всех присутствовавших, в том числе находившихся в зале представителей союзных оккупационных властей и выразил надежду, что будущая СЕПГ будет признана и поддержана союзниками. Тогда речи были еще сравнительно краткими. Ульбрихт говорил о политике партии, Франц Далем об организации ее. Он сообщил при этом, что уже было подано более 200 000 новых заявлений о приеме в СЕПГ. Особенно подчеркнул Далем стремление ко внутрипартийной демократии в будущей СЕПГ.

— В Социалистической единой партии воля членов партии будет высшим законом.

Антон Аккерман, говоривший по вопросам идеологии, еще раз убедительно охарактеризовал тезис о разных путях к социализму в различных странах:

— Во всяком случае было бы самой большой ошибкой,— ошибкой, которую мы в прошлом часто делали, — схематично переносить отдельные фразы Ленина и Сталина, фразы, которые родились от особенностей положения их страны, в наши совершенно иначе сложившиеся обстоятельства; или при совершенно иных предпосылках делать точно то же самое, что делали они. Этой ошибки мы должны остерегаться, если мы не хотим потерпеть поражения.

Было заметно, какое это имело для него значение, когда он с особым ударением говорил:

— Социалистическая единая партия будет независимой партией, потому что она будет совершенно свободна в своих решениях, потому что она будет рассматривать основные учения марксизма не как схемы, не как закостенелые догмы, — она будет применять их к специфически немецким условиям и к специфически немецкому пути развития.

Это объяснение было встречено дружными аплодисментами.

На другой день говорил Вильгельм Пик о будущей объединенной партии. Он не поскупился на критику прежней КПГ.

— Мы, коммунисты, — говорил Пик, — во многих случаях стремились опыт Октябрьской революции схематически переносить на Германию. При этом мы часто игнорировали национальные особенности Германии и немецкого рабочего движения.

После этого состоялись выборы партийного управления. Было выбрано 40 функционеров. После основания СЕПГ они должны были войти в правление СЕПГ, которое должно было состоять из 80-ти человек. Все еще надеялись, что вскоре после этого объединение партии состоится по всей Германии, так как из 40 членов правления 12 человек были из Западной Германии.

Партийный съезд единогласно принял резолюцию, в которой стояло:

«Съезд Коммунистической партии Германии и съезд Социал-демократической партии Германии 21 и 22 апреля 1946 года в театре «Адмиралспаласт» в Берлине сольются в единый партийный съезд, чтобы осуществить объединение обеих партий и учредить Социалистическую единую партию . . .»

ОСНОВАНИЕ СЕПГ

На следующее утро, 21 апреля 1946 года, в 10 часов утра открылся объединенный партийный съезд в «Адмиралспаласте» в Берлине.

Более тысячи делегатов и сотни гостей устремились в здание на первый объединенный съезд коммунистов и социал-демократов.

Перед «Адмиралспаластом» собрались тысячи людей, тогда еще никем и никак не организованные, а пришедшие стихийно, из интереса и симпатии; они нам кричали слова ободрения и приветственно махали руками. Наконец, мы заняли свои места. Коммунисты и социал-демократы сидели вперемежку; приветствовали друг друга, если раньше были знакомы, и представлялись, если раньше не знали друг друга. Оркестр играл увертюру к «Фиделио» Бетховена. Через несколько минут с разных сторон вышли на сцену Вильгельм Пик и Отто Гротеволь, сошлись посередине и подали друг другу руки под бурные аплодисменты, длившиеся многие минуты.

— Когда мы оба только что вышли на этот подиум, — сказал Гротеволь, — мне стало ясно символическое значение этого акта. Вильгельм Пик пришел слева, я справа, но мы оба пришли для того, чтобы посередине встретиться.

Делегаты вскочили с мест и закричали ура.

Что бы потом ни было, но в это утро 21 апреля 1946 года среди делегатов царил подлинный стихийный восторг.

Первый день конгресса прошел в приветствиях. Особенно часто выступали коммунисты и согласные с объединением социал-демократы из Западной Германии.

Второй, решающий день объединенного партийного съезда начался с неожиданности.

— Слово имеет товарищ Амборн из Лейпцига, который передаст один подарок и коротко объяснит его значение, — сообщили из президиума.

Из последних рядов встал один делегат и медленно пошел через весь зал к президиуму. Он нес в руке большую, опасно выглядевшую деревянную палку. Наконец он подошел, провожаемый любопытными взглядами делегатов, к столу президиума.

Торжественно передал он эту палку Гротеволю, который протянул ее Пику и оба стали держать ее вместе.

Оказалось, что палка принадлежала Августу Бебелю, — так объяснил лейпцигский делегат Амборн. Бебель сам обточил для себя эту палку. Когда он руководил Ерфуртским партийным съездом в 1890 году, палка была при нем.

— Тогда существовала оппозиция, так называемая «молодежь». И будто бы во время трудных споров, рассказывали потом делегаты съезда, Август Бебель «побил» этой палкой «молодежь».

Общий смех в зале.

По окончании партийного съезда Август Бебель отдал палку на верное хранение товарищу Рейсгаузу. Рейсгауз был сторонником объединения. Он хотел эту палку передать тому партийному съезду, который осуществит объединение.

— Как хранитель наследства Рейсгауза, я считал себя обязанным, — сказал Амборн, — передать эту палку настоящему партийному съезду или же новому управлению единой партии*).

Хотя эта интермедия, конечно, была подготовлена, но Вильгельм Пик казался искренне тронутым. Вспомнил ли он о своей юности, отданной им немецкому рабочему движению? Чувствовал ли он себя еще внутренне связанным с тем временем, несмотря на все переобучение, партийную дисциплину и советскую эмиграцию?

Я знал Вильгельма Пика достаточно хорошо, чтобы уметь различить наигранное от настоящего чувства.

Затем Гротеволь дал ему слово для доклада. Вильгельм Пик привел еще раз все основания, которые говорили за необходимость объединения и упомянул о конференциях и решениях, предшествовавших объединенному съезду. От делового изложения отошел он только один раз, когда заговорил о социал-демократическом партийном съезде противников объединения в Целендорфе и о голосовании. Совершенно недооценив сил социал-демократии, он назвал партийный съезд в Целендорфе «шуткой», а основанную там социал-демократическую партию Берлина «Целендорфским больничным клубом».

Никто в зале и не подозревал тогда, что «Целендорф-

*) Амборн, давнишний член СДПГ, был бургомистром в Бургхаузене. Через некоторое время после основания СЕПГ он был за «социал-демократизм» арестован органами МГБ.

ский больничный клуб» уже через полгода окажется самой сильной партией Берлина . . .

Кроме этого презрительного замечания, вся речь Пика была призывом к гармонической совместной работе социал-демократов и коммунистов в СЕПГ.

— Цель должна быть достигнута полным растворением друг в друге, — говорил Пик, — настолько, чтобы уже нельзя было различить, кто социал-демократ, а кто коммунист.

Он взывал ко всем членам партии «крепче беречь дух товарищества, дружбы и терпения».

И Гротеволь не говорил еще тогда тем стандартным жаргоном, который стал теперь неотъемлемой частью СЕПГ. Не догматически, живо, блистая прекрасными формулировками говорил он о современной и будущей Германии. Он говорил, что СЕПГ отклоняет антибольшевизм, «но это отклонение далеко от того, чтобы променять внутренние связи на чужие влияния». Самое большое одобрение всего партийного съезда получил Гротеволь после заявления:

— Я думаю, что не ошибусь, и думаю, что советские оккупационные власти не обидятся на меня, если я здесь заявляю, что созданная сегодня Социалистическая единая партия, по крайней мере в советской оккупационной зоне, благодаря ее огромной политической силе представляет из себя такую гарантию прочности, что мы не зависим больше от русских штыков.

Бурные, длившиеся несколько минут аплодисменты и восторженные возгласы были выражением надежды, что с основанием СЕПГ немецкие социалисты станут хозяевами в своем доме, чтобы затем на основе своих традиций вступить на свой путь к социализму.

Гротеволь особенно подчеркнул необходимость личной свободы в новой партии.

— Партия, — сказал он, — имеет задачу развить и раскрыть свободную личность . . . Ни в одной немецкой партии нет такого горячего и большого уважения к правам каждого человека, как в Социалистической единой партии.

А потом настал кульминационный момент: утверждение голосованием программы, устава и решения создания СЕПГ. «Основные принципы и цели СЕПГ» содержали наряду с требованиями момента, изложенными в 14 пунктах, краткую формулировку конечных целей СЕПГ.

«Цель Социалистической единой партии Германии — освобождение от всякой эксплуатации и угнетения, избавление от хозяйственных кризисов, бедности, безработицы и империалистической военной угрозы. Эта цель, это разрешение национальных и социальных жизненных вопросов нашего народа, может быть достигнута только на путях социализма . . .

Современное особое положение Германии, которое образовалось благодаря разрушению реакционного государственного аппарата насилия и происходящему построению демократического государства на новых хозяйственных основах, дает возможность помешать реакционным кругам путем насилия и братоубийственной войны стать поперек дороги окончательному освобождению рабочего класса. Социалистическая единая партия Германии стремится по демократическому пути к социализму; но она применит революционные средства, если капиталистический класс сойдет с рельс демократии . . .»

— Кто за предложенные основы и цели СЕПГ?

Все делегаты подняли свои билеты.

Программа была единогласно принята. Последовало голосование о новом партийном уставе. Я огляделся удивленно: в непосредственной близости от меня некоторые делегаты не подняли своих билетов.

— Кто против? — раздалось с трибуны.

Некоторые делегаты показали свои билеты. Их было 21 человек.

— Воздержавшиеся? — Четыре делегата воздержались.

— Партийный устав принят, при 21-м против и 4-х воздержавшихся.

На меня это обстоятельство произвело очень сильное впечатление. На собраниях комсомола и, наконец, в КПГ я никогда не слышал голосов против предложений руководства. «СЕПГ все же будет чем-то другим, не тем, что я до сих пор видел», — подумал я с удовлетворением. Я еще не подозревал, что это было в первый и в последний раз в истории СЕПГ, что на партийном съезде делегаты голосовали против предложения руководства.

Между тем председательство перенял Ульбрихт. Громко, с типичным для него саксонским акцентом, прочел он резолюцию об объединении.

«19 и 20 апреля 1946 года XL съезд Социал-демократической партии Германии и XV съезд Коммунистической пар-

тии Германии совместно пришли к решению объединения обеих рабочих партий. Социал-демократическая партия Германии и Коммунистическая партия Германии объединяются теперь в Социалистическую единую партию Германии».

Бурные аплодисменты помешали Ульбрихту говорить дальше. Наконец он мог продолжать.

— Кто за объединение, прошу поднять билеты?

На этот раз решение было принято единогласно. Под конец было объявлено, что партийное правление будет состоять из 80-ти человек, по 40 членов от обеих партий, тех, что были выбраны вчера на съезде КПГ и СДПГ. Еще оставалось выбрать председателей партии. Многие делегаты ухмылялись, когда Ульбрихт после имен Пика и Гротеволя не удовлетворился овациями, но — и это было тоже в первый и в последний раз на партийном съезде СЕПГ — спокойно и деловито потребовал:

— Я прошу товарищей поднять билеты.

Поднялся лес рук.

— Кто против? Кто воздержался?

— Я констатирую единогласный выбор товарищей Пика и Гротеволя, как новых председателей.

Мы услышали прерываемые аплодисментами заключительные слова Ульбрихта:

— С сегодняшнего дня нет больше социал-демократов и коммунистов. С сегодняшнего дня существуют только социалисты . . . Сегодня дело касается не только объединения социал-демократов и коммунистов, дело идет о возрождении немецкого рабочего движения . . .

Все вместе спели мы песню «Братья, к солнцу, к свободе». СЕПГ была основана.

Вечером собрались все делегаты и многие партруководители к «радостному финалу» во дворце «Фридрихсштадт». Все места в здании, вмещающем три тысячи человек, были заняты, а у входных дверей стояли еще сотни товарищей.

Так закончился этот полный надежд, богатый для нас событиями день. Казалось все говорило за осуществление наших желаний: распределение мест в руководстве на паритетных началах; слова, призывающие к товариществу и доверию, с которыми Пик обратился к коммунистам; заверения Гротеволя насчет свободы личности в новой партии; первое голосование, порвавшее с обычным единогласием и никем не осужденное; тезис об особом немецком пути к социализ-

му, нашедший свое отражение в программе СЕПГ; намеки Гротеволя о возможном скором конце советской оккупации...

В этот вечер я не мог предчувствовать, что почти половину участников объединительного партийного съезда в течение немногих последующих лет снимут с работы, уволят, оклевещут или сделают жертвами чисток.

Даже самые активные основатели СЕПГ не избежали этой судьбы.

Из 14-ти членов Центрального секретариата *Август Карстен* в 1947 году «по причине нездоровья» вышел в отставку. *Эрих В. Гнифке* бежал в октябре 1948 года в Западную Германию и впоследствии был назван Ульбрихтом «классовым врагом». *Отто Майер, Кэте Керн* и *Гельмут Леман* были в январе 1949 года переведены на незначительные должности. *Пауль Меркер* должен был в августе 1950 года сдать все партийные дела по обвинению, что он якобы «не имел доверия к советскому руководству» и в эмиграции исполнял «приказы американских империалистов». Не легче была судьба и *Франца Далема.* Его обвинили в «полной слепоте в отношении попыток империалистических агентов пробраться в партию».

Макс Фехнер был в январе 1949 года удален из Центрального секретариата, а в июле 1953 года исключен из партии как «враг партии и государства» и арестован по обвинению, что он 17 июня 1953 года, будучи министром юстиции, «использовал свое положение, чтобы защитить фашистских провокаторов от заслуженной кары». *Элли Шмидт* была также отстранена от руководства и в связи с событиями 17 июня 1953 года получила незначительный пост. *Антон Аккерман,* безусловно самая значительная личность в Центральном секретариате, осенью 1948 года должен был заняться самокритикой, в январе 1949 года был переведен из членов в кандидаты Политбюро, а после событий 17 июня 1953 года выбыл даже из состава ЦК, так как «занял примиренческую позицию».

Так из четырнадцати членов Центрального секретариата, избранных при объединении под ликование всех делегатов, в течение немногих лет десять крупных партийных руководителей были либо сняты со своей работы вовсе, либо понижены в должности, а частично даже разоблачены как «враги партии» и исключены из партии.

Не меньше жертв было среди вновь избранных 80 человек партийного руководства и среди более чем тысячи делегатов объединительного съезда. Они также, по большей части, стали жертвами начавшейся чистки (особенно после 1948 г.). Некоторые отделались сравнительно легко — лишь понижением в должности, многие были исключены из партии или даже арестованы.

Если бы я все это знал в тот вечер 23 апреля 1946 года, то мой восторг и моя радость были бы гораздо слабее . . . Но я этого и не подозревал, как не подозревали такого развития событий и другие делегаты, которые в этот вечер счастливые, полные надежд и радости расходились по домам с твердой верою; что были участниками большого дела объединения немецкого рабочего движения.

МОСКВА ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕЗИС АККЕРМАНА

Через несколько недель после основания СЕПГ я получил от советского офицера связи русскую рукопись.

— Пожалуйста, переведите это точно на немецкий язык, товарищ Леонгард. Это касается очень важного обстоятельства.

Заглавие было разочаровывающее: «Что такое демократия?». При чтении рукописи я вскоре заметил, что речь шла о совсем новой политической концепции. Статья пропагандировала для Германии форму средней демократии, которая «лежит между буржуазной и социалистической . . . Особенности этой демократии состоят в стремлении гарантировать господство большинства населения при сохранении основ капиталистического хозяйственного строя, при сохранении частных средств производства». Изменения должны были ограничиться ликвидацией империалистических монополий, проведением аграрной реформы и искоренением остатков фашизма, без принятия формы и содержания советской системы. «Нам кажется, что на сегодняшнем этапе этот тип демократии для Германии приемлемее всего».

Мой интерес возрос, когда я через несколько минут переводил с русского: «СЕПГ против механического перенесения советской системы так же, как она против механического перенесения английской, американской или французской системы в немецкие условия». Таким образом со стороны

высшей советской инстанции нашей партии было дано указание не копировать советскую систему, а найти государственную форму, лежащую между буржуазной демократией и советской системой!

Я напряженно ждал, что произойдет с этим документом. Было ли это только внутренним указанием для высших руководителей? Или он будет размножен для большего числа членов партии как директива?

— Рукопись будет опубликована, товарищ Леонгард, — сказал офицер связи, улыбаясь, когда приехал за моим переводом.

К удивлению многих партийных работников в следующем номере идеологического органа СЕПГ «Единство» появилась статья, подписанная не именем автора, а тремя звездочками. Это было единственный раз, — такого не случалось ни до, ни после. Каждый партработник понял, конечно, что это была статья, полученная от высшей инстанции. В следующие недели не прошло, пожалуй, ни вечера, чтобы эта статья не обсуждалась. Это было доказательством того, что тезис об особом немецком пути к социализму был не только теорией немецкой компартии, но поддерживался также из Москвы.

В 1946 году учение о различных путях к социализму и в коммунистических партиях других стран стало неотделимой частью «линии». Большой подъем, который пережили коммунистические партии всех стран за время с 1945 до 1948 года объясняется не только активным участием коммунистов в движении сопротивления, — хотя и это было одним из решающих моментов, — но и фактом, что они в то время открыто высказывались против копирования советского пути к социализму.

Вопрос остается открытым:

Было ли согласие Сталина и тогдашнего советского руководства на самостоятельный путь к социализму искренним? Были ли большевики сами убеждены в необходимости самостоятельного пути к социализму в разных странах? Или они этот тезис внушали и поддерживали только с целью укрепить коммунистические партии, а когда цель эта будет достигнута — собирались его сразу же положить под сукно?

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ

В прошедшие четыре месяца наша работа была сконцентрирована исключительно на осуществлении объединения. Теперь единая партия была создана. Что же дальше? У нас, партийных работников, для которых жизнь без постоянной политической активности, без кампаний была почти невообразима — появилось чувство пустоты. В первый раз кроме повседневной рутинной работы у нас не было никакой нагрузки. Центральный партийный аппарат был занят почти исключительно только своими внутренними делами: устройством, распределением комнат в новом огромном здании партии (так называемом «Доме единения» на Лотрингерштрассе № 1), слиянием редакций прежних газет СДПГ — «Народ» („Das Volk") и КПГ — «Немецкая народная газета» („Deutsche Volkszeitung"), а также распределением функций между членами Центрального секретариата.

Наше здание на Вальштрассе № 76-79, раньше вмещавшее весь Центральный комитет КПГ, было отведено теперь только под отдел агитации и пропаганды, получивший название отдела обучения и вербовки, а также под партийное издательство.

Функция, которая раньше падала на одного человека, теперь распределялась на двух — на одного работника от бывшей КПГ и одного от бывшей СДПГ. От этого партийный аппарат стал гораздо тяжеловеснее и медлительнее. Все шло гораздо спокойнее, чем в прежней КПГ.

До объединения Центральный комитет КПГ был единственным учреждением, имевшим официально десятичасовой рабочий день. На другой день после объединения у нас был введен восьмичасовой рабочий день.

Две недели спустя наш «отдел обучения и вербовки» устроил совещание. Отто Гротеволь передал нам предложение Центрального секретариата:

— Мы предполагаем устраивать день учебы не еженедельно, а только два раза в месяц . . . Я хочу, чтобы вы подумали, что перегрузка товарищей . . .

Ольснер дал мне слово, как первому дискуссионному оратору. Но моя речь, направленная на защиту еженедельной учебы не помогла. Лихорадочный метод работы компартии как везде в партийном аппарате, так и в нашем отделе был заменен более спокойным стилем СДПГ.

Прошло несколько недель. В партийных школах и в низовых партийных организациях чувствовалось заметное снижение воодушевления. Ничто не могло быть опаснее для такой партии, как несколько недель покоя, отсутствие непосредственного задания, держащего всех в напряжении.

К тому же пришло большое разочарование: откладывалось признание СЕПГ в Берлине. Только 29 мая, почти через 5 недель после своего основания, на 57-м заседании союзных комендатур СЕПГ была признана в Берлине, но одновременно была признана и вновь основанная весной того же года СДПГ.

У некоторых вдумчивых людей постепенно снова рождались сомнения. Может быть надо было еще некоторое время подождать? Может быть объединение было проведено слишком поспешно? Не пришло ли бы к настоящей органической спайке при более медленном развитии?

Задержка с признанием в Берлине, двойное количество людей на каждом участке партработы, так сильно раздувшее аппарат, а главное неделями длившаяся бездеятельность партийного аппарата не остались без последствий для партии. СЕПГ в июне 1946 года была далеко не такой, как в конце апреля.

Только во второй половине июня появились новые задания: 30 июня 1946 года должен был состояться плебисцит по вопросу экспроприации и конфискации имущества у военных и нацистских преступников в Саксонии. Однако плебисцит 30-го июня должен был, в основном, служить не этой цели. Подтверждение уже решенной раньше передачи в руки государства имущества военных и нацистских вождей — это было само собой, но в первую очередь преследовалась цель — выяснить царящие в народе настроения.

Партработники на местах, ставшие от бездействия, длившегося неделями, инертными, не рвались к выполнению нового задания. Работники нашего центрального аппарата, вернувшиеся из Саксонии, стонали:

— Это ужасно, что люди стали так пассивны!

Только постепенно партия пошла опять «на рысях».

У нас же еще до проведения плебисцита началась интенсивная работа: мы должны были придумать лозунги и плакаты для Саксонии. «Борись за мир! Предприятия военных и нацистских преступников в руки народа!». Такие ло-

зунги в сотнях тысяч экземпляров были распространены в Саксонии.

2 июля были опубликованы результаты плебисцита.

Приблизительно 2,7 миллиона человек (77,7%) проголосовали «за», почти 600 000 (16,5%) — «против» и около 200 000 голосов были объявлены недействительными. В других землях плебисцит не проводился. Первые предприятия, принадлежащие народу, были созданы.

После таких сравнительно благоприятных результатов было решено провести первые коммунальные выборы в зоне. Наилучших результатов ждали в Саксонии, там выборы должны были состояться 1 сентября, в Тюрингии и Прусской Саксонии — 8 сентября, в Бранденбурге и Мекленбурге, где мы ожидали наибольших затруднений, — 15 сентября. Принадлежавшие к «СС», к «СД», к Гестапо лишались права голоса. Не имели права голоса и члены национал-социалистической партии, начиная с руководителей местных групп, а также крупные работники всевозможных нацистских организаций.

Большие дискуссии шли у нас по вопросу: должны ли только три партии — СЕПГ, ХДС и ЛДП — выставлять кандидатов, или нам надо попробовать через наших людей склонить к составлению списков и массовые организации, вроде женских комитетов, Союза культуры, Объединения свободных немецких профсоюзов (FDGB), Союза свободной немецкой молодежи (FDJ), чтобы обходными путями приобрести голоса?

Большинство партработников, работавших прежде в Германии нелегально, стояли за чисто партийные выборы.

— Дело с надпартийными организациями не имеет смысла. Эти организации вряд ли кто будет выбирать, — говорили они.

Самый ярый сторонник участия массовых организаций был Ульбрихт, и он добился своего.

Были приложены все усилия, чтобы выборы стали успехом СЕПГ. Из СССР целые транспорты обученных антифашистских военнопленных прибывали ранее назначенного срока, чтобы участвовать в выборной кампании за СЕПГ.

Но важнее всего была следующая мера. 20 июня 1946 года, когда срок коммунальных выборов был опубликован, появилось заявление партийного управления: «СЕПГ и номинальные члены партии». Оно было уже давно подготовле-

но. «Мы не должны повторить ошибки компартии Австрии на выборах осенью 1945 года. Австрийские товарищи изолировались от населения тем, что своим примитивным антинацизмом оттолкнули от себя массу мелких нацистов», — был решающий аргумент (для внутреннего употребления) в новой точке зрения. Официально же гласило так: «СЕПГ считает, что настал момент втянуть в демократическое строительство рядовых членов бывшей нацистской партии и сочувствовавших ей».

Буря негодования и возмущения поднялась в наших собственных рядах, и в таких размерах, которых никто не ожидал. Какая бы тема ни ставилась на партийном заседании — первый же оратор непременно с возмущением говорил о «нацистском вопросе».

Оставалось одно: политучеба.

— Ты должен сейчас же составить учебную тетрадь по вопросу отношения СЕПГ к номинальным нацистам. Тема, назначенная ранее, будет пока отложена на две недели. Этот вопрос сейчас важнее, чем все другие.

Пятью днями позже я просидел все воскресенье у Аккермана, чтобы отточить последние формулировки этой самой сложной из всех учебных тетрадей. Наконец она была подписана к печати.

— Ольснер в Саксонии. Учебной тетради тоже не достаточно. Ты должен написать еще статью на эту же тему в «Нейес Дейчланд» („Neues Deutschland").

— Под каким заглавием?

— «Четкий курс партии в вопросе о нацистах».

Это мне показалось все же преувеличенным. Наконец решили выпустить разъяснительную статью под заглавием «Военные преступники, активные нацисты и номинальные члены национал-социалистической партии».

«Ясная, решительная дифференциация не по внешним признакам, а по поведению. Скорый, строгий суд над военными преступниками за совершенные ими преступления. Меры искупления вины для активных нацистов, носителей политики и преступных намерений национал-социалистической партии, стремящихся и теперь мешать восстановлению. Но никаких мер наказания для многих миллионов бывших номинальных членов национал-социалистической партии, честно идущих новым путем. Так и только так может быть

правильно разрешен вопрос об отношении к нацистам», — закончил я статью.

Это соответствовало моим убеждениям. Но не легко было защищать статью перед товарищами в следующий вечер политучебы. Все руководящие партработники были призваны на помощь. Антинацистские настроения, не делавшие различия между действительно виновными и номинальными членами национал-социалистической партии, были так сильны, что провести тезис о дифференциации было весьма трудно.

Вскоре СЕПГ начала организовывать собрания, приглашая бывших номинальных членов национал-социалистической партии.

— Это уж, действительно, слишком! — говорили некоторые товарищи.

Другие же, наоборот, были очень довольны этими собраниями.

— Среди них есть прекрасные люди, они смогут хорошо с нами работать — активно, организованно. Ворчат они мало.

Вальдемар Шмидт, имевший за плечами почти 10 лет концентрационного лагеря, пришел однажды, смеясь, с одного такого собрания с номинальными нацистами домой.

— Я уж много пережил, но такого и во сне еще не видал. Они были в совершенном восторге от заявлений СЕПГ. Один закончил свою страстную речь лозунгом, который сам придумал.

Вальдемар Шмидт посмотрел на меня с лукавой улыбкой.

— Ты ведь уж много лозунгов сфабриковал. Как ты думаешь, что он выкрикнул?

Я назвал несколько лозунгов, но он только отрицательно качал головой.

— Нет, лозунг бывшего нациста был куда лучше. Он крикнул: «Да здравствует СЕПГ, большой друг маленьких нацистов!»

После того, как улеглась тревога по поводу нашей новой партийной линии относительно номинальных нацистов, все члены партии и партруководители все свои силы направили на кампанию коммунальных выборов. У нас был большой плюс: каждая партия могла выставлять свою кандидатуру только в той местности, где у нее была местная организация. СЕПГ имела свои организации в каждой общине. ХДС и ЛДП

этого еще не имели. Поэтому во многих местностях были только кандидатские списки СЕПГ. Таким образом не было ничего удивительного в том, что СЕПГ получила на коммунальных выборах 1 сентября 1946 года больше голосов, чем обе другие партии вместе. 1 608 851 голосов было подано за СЕПГ и лишь 671 271 голосов за ЛДП и 655 147 голосов за ХДС. Так называемые «массовые организации» все вместе получили около 60 000 голосов.

В Прусской Саксонии и Тюрингии выборная борьба приняла более острые формы, и активность буржуазных партий была сильнее, чем мы ожидали. Особенное волнение вызвал у нас случай, когда в Галле определенные круги ЛДП прикрепили в день выборов на трамвайном вагоне, ехавшем через весь город, большой плакат:

«Чтобы присоединиться к Советскому Союзу — выбирайте СЕПГ».

Результат выборов в Саксонии-Ангальт и Тюрингии был для СЕПГ значительно менее благоприятным, чем в Саксонии. Тем больше усилий мы приложили, чтобы добиться успеха на выборах 15 сентября в Бранденбурге и Мекленбурге.

После поездок по зоне товарищи сообщали нам о постоянно всплывавшей в дискуссиях трудной теме: граница по Одер-Нисе. В особенности в Мекленбурге вопрос ставился остро, так как там было расселено большое число беженцев из области, находящейся за линией Одер-Ниса. «Надо что-то сделать», — повторяли пропагандисты.

В последний день перед выборами появилось под огромным заголовком заявление Макса Фехнера:

«По поводу германской восточной границы я хотел бы заявить, что СЕПГ будет противодействовать любому сокращению немецкой территории. Восточная граница лишь временна и может быть установлена только на мирной конференции при участии всех стран-победительниц»*).

Члены партии облегченно вздохнули. Заявление Фехнера цитировалось на всех предвыборных собраниях под бурные аплодисменты слушателей. По-видимому оно было уж слишком далекоидущим; кроме того, очевидно, было не очень желательно, чтобы путем такого заявления особенно выдвинулся один из крупных работников СЕПГ. Поэтому

*) «Нейес Дейчланд» от 14 сентября 1946 года.

вскоре появилось официальное заявление партийного руководства. В нем формулировка Фехнера была несколько ослаблена:

«Социалистическая единая партия Германии сделала все, чтобы и в вопросах будущих границ новой Германии на мирной конференции был услышан голос немецкого народа»*).

Как и ожидалось, коммунальные выборы кончились большой победой СЕПГ. Во всех пяти землях советской зоны СЕПГ было получено 76,2% всех голосов, а с так называемыми «массовыми организациями» — почти 82%. Мы в отделе обучения и вербовки все же не строили себе никаких иллюзий по поводу этих результатов. Мы знали, что это не соответствует действительному настроению, что победа была одержана лишь благодаря нашим политическим и материальным преимуществам.

Еще серьезнее пришлось отнестись к предстоящим выборам в ландтаги. Для них были составлены списки по землям. Избиратели имели везде возможность голосовать как за СЕПГ, так и за ХДС и ЛДП. Все имевшиеся в распоряжении средства были использованы до последнего.

И несмотря на величайшее напряжение сил СЕПГ не получила и половины всех отданных голосов. Из 519 депутатов ландтагов только 249 принадлежали фракции СЕПГ.

Здесь помогли «массовые организации», так как из 16 депутатов их — 12 были членами СЕПГ. Фактическая цифра делегатов СЕПГ поднялась до 261; этим еле-еле было достигнуто большинство СЕПГ в ландтагах зоны.

Следующие коммунальные выборы должны были по положению состояться через два года, то есть в 1948 году, а выборы в ландтаги — через три года, то есть в 1949 году.

— На следующих выборах будет легче! — говорили многие оптимистично настроенные партработники после 20 октября 1946 года.

Но следующих выборов не было совсем. Выборы в октябре 1946 года в советской зоне были первыми и последними, в которых от избирателей зависели еще политические решения. С тех пор избирателям предлагается единый список.

---

*) «СЕПГ к вопросу границ», заявление партийного руководства СЕПГ. «Нейес Дейчланд» от 21 сентября 1946 года.

ПОРАЖЕНИЕ В БЕРЛИНЕ

Нам было ясно, что коммунальные выборы и выборы в ландтаги в зоне были лишь прелюдией. Настоящее решение должно было произойти на выборах в Берлине 20 октября 1946 года.

26 сентября Вильгельм Пик официально заявил, что: «У СЕПГ есть все предпосылки, чтобы получить абсолютное большинство голосов», — и она, по меньшей мере, — «по количеству полученных ею голосов будет стоять во главе всех других партий».

В берлинском руководстве СЕПГ настроения были далеко не так оптимистичны. Так как мы часто совещались с Вальдемаром Шмидтом, я мог создать себе не прикрашенную общую картину. Кроме того, в течение нескольких недель до выборов я много разъезжал, посещал в западных секторах рестораны и кафе, слушал разговоры. Я был потрясен. Какая разница между моими личными впечатлениями и тем оптимизмом, который царил в «Доме единства»! Во время одного товарищеского вечера с ответственными партработниками кто-то предложил:

— Давайте проверим, насколько верно мы расцениваем положение. А что, если каждый из нас на записочке обозначит в процентах будущие результаты выборов?

Записанные мною числа вызвали всеобщее удивление: Я наметил: СДПГ — 30%, СЕПГ — 30%, ХДС — 25%, ЛДП — 15%. Из всех предсказаний о СЕПГ мое было самое пессимистическое и все же, как обнаружила действительность, оно было слишком оптимистичным.

В ночь с 20 на 21 октября я провел в редакции «Нейес Дейчланд». Сюда стекались все сообщения, и мы могли сразу же определить положение.

В ожидании большой победы на выборах, перед зданием, где помещалась редакция, были установлены громкоговорители, чтобы сообщать собравшимся на улице людям результаты выборов.

Первые результаты в некоторых «домах для престарелых» и больницах в восточном секторе были для нас довольно ободряющими. Среднее число находилось около предсказанных мною 30% для СЕПГ. Затем начала приходить одна печальная весть за другой. Наши лица вытягивались все больше. Диктор, который должен был сообщать о результа-

тах выборов, рвал на себе волосы. В отчаянии выискивал он из поступающих сведений самые выгодные для СЕПГ. Он пробовал спасти положение тем, что все время повторял первые результаты выборов из больниц и «домов для престарелых». Но когда протестующие крики с улицы: «Это мы уже слышали! Мы хотим получать новые сведения!» — становились все сильнее, он совсем растерялся.

— Довольно! — сказал один из руководящих членов редакции. — Прекрати эту дурацкую передачу!

Мы все еще старались себя успокоить.

— Большие рабочие районы Фридрихсгейм, Веддинг, Лихтенберг, Нейкёльн вытянут нас опять, — сказал один.

Но я этому больше не верил. Каждые четверть часа положение становилось все хуже и хуже.

Первые итоги донесений показали катастрофическое положение СЕПГ и огромную победу партии, которую мы за шесть месяцев до того называли «Целендорфским больничным клубом», а в последние недели «остатки СДПГ».

Лекс Энде, тогдашний главный редактор «Нейес Дейчланд», стонал:

— Я должен к завтрашнему утру написать передовицу. Что же мне писать?

Он оглядывался в поисках помощи.

— Напиши: все посыпалось, — сказал кто-то с юмором висельника.

— Нет, серьезно, я должен же завтра это обосновать!

Между тем окончательно выяснилось, что «остатки СДПГ» стали сильнейшей партией Берлина. В комнате редакции становилось все тише. Сообщения, поступавшие от телеграфных агентств, молча передавались из рук в руки. Молчание нарушалось только безнадежными возгласами Лекса Энде:

— Что же мне писать?!?

Я не дождался окончательных результатов и уехал в райком партии в Панков. Несколько ответственных партработников района собралось у радиоаппарата. Дружески, но почти без слов поздоровались они со мной. Многие работники аппарата ЦК жили тогда в Панкове, но я был единственным, пришедшим к ним в этот вечер. Радио как раз опять передавало сведения об общих результатах выборов по всем районам Берлина. СЕПГ находилась на третьем месте.

— Даже позади ХДС! — шепнул кто-то.

Остальные молчали.

В ранний утренний час мы услышали окончательный результат. Социал-демократическая партия получила 48,7%, Христианско-демократический союз — 22,1%, СЕПГ — 19,8% и Либерально-демократическая партия — 9,4% всех поданных голосов.

Причина поражения была мне, как и многим другим партработникам, вполне ясна. В народе нас называли «Русская партия». Хотя мы теоретически и выработали тезис об особом немецком пути к социализму, но это было известно и понятно только небольшому кругу населения. На практике мы поддерживали и защищали все мероприятия советских оккупационных властей. Мы получали от них бумагу, автомашины, дома и добавочные продуктовые пайки. Наши руководители жили в больших особняках и в виллах, оторванные от всего населения, охранялись солдатами Советской армии и ездили на автомобилях, имеющих частично советские опознавательные знаки.

Результат выборов был логическим следствием нашей зависимости от советских оккупационных властей. Жители Берлина голосовали против нас не потому, что мы были за социализм, — так говорил я себе, — они голосовали также не против жертвенных членов и руководящих работников, сделавших все, что было в их силах, чтобы облегчить участь населения. Они голосовали против нас потому, что они видели в нас, увы, не без основания, — партию, зависящую от Советского Союза.

Теперь нас могло спасти только одно: мы должны были отмежеваться от советских оккупационных властей, открыто выразить желание стать отныне независимой немецкой социалистической партией.

Может быть, так надеялся я в ту ночь, это поражение на выборах 20 октября приведет наконец к такому шагу, и таким образом, в конце концов, все же обернется в положительную сторону. Я надеялся, что теперь партийное руководство открыто признает причины поражения и сделает соответствующие выводы.

22 октября 1946 года в утреннем выпуске «Нейес Дейчланд» красовался заголовок: «Большая победа СЕПГ в зоне». После сообщения о результатах выборов в зоне (они были преувеличены) следовало наконец то, чего в это утро все

читатели с нетерпением ждали: комментарии к выборам в Берлине.

«Общий результат берлинских выборов . . . отражает политические колебания большой части мелкобуржуазных слоев . . . Политический смысл берлинских выборов не выразился с достаточной ясностью. Решение, принятое не в пользу Социалистической единой партии Германии произошло не вследствие отрицательного отношения к политическим и хозяйственным требованиям, а также к проведенным работам по восстановлению, но в результате длящейся уже неделями борьбы реакционной прессы против СЕПГ, пользовавшейся демагогическими аргументами, которые не затрагивали главных политических точек зрения».

Ни одного слова о том, что не только «мелкобуржуазные избиратели», но и абсолютное большинство берлинских промышленных рабочих голосовали против СЕПГ и за СДПГ, никакого объяснения, почему западная пресса могла иметь такое решающее влияние, ни малейшего намека на то, что это поражение произошло из-за тесной связи СЕПГ с Советским Союзом и с советскими оккупационными властями.

В сильном разочаровании, почти придя в отчаяние, я отложил центральный орган моей партии. Я знал, что главный редактор, мой друг Лекс Энде*), которого я очень ценил, не мог ничего сделать. Он выразил в своей статье только то, что ему было приказано свыше. И в официальном заявлении партийного руководства по поводу выборов — ни ситуация не была проанализирована, ни настоящая причина не была освещена.

Несколькими днями позже я был приглашен одним высокопоставленным офицером политического управления советской военной администрации. Он принадлежал к тем политическим работникам, которые уже во время войны были тщательно обучены. Я с ним познакомился в начале мая

*) Лекс Энде, один из способнейших и даровитейших коммунистических редакторов — он редактировал до 1933 г. «Красную почту» („Rote Post"), а во время эмиграции в Париже «Контратаку» („Gegenangriff") — был исключен из партии в связи с делом Ноэль-Фильда вместе с Паулем Меркером и другими «западными эмигрантами» потому, что они «оказывали в большой степени помощь классовому врагу». После исключения из партии Лекс Энде попал в Ауе и умер там через несколько месяцев от болезней и лишений.

1945 года в Брухмюле. Прошло всего несколько дней после поражения в Берлине, а он говорил о нем с таким спокойствием и равнодушием, будто дело шло о давно проигранной игре.

— Я последние дни анализировал и обдумывал результаты выборов, — бросил он мне небрежным тоном. — Они в высшей степени интересны.

Я не знал, что могу на это сказать, и молчал, думая, что он скажет что-либо о политике СЕПГ. Вместо этого я услышал нечто совсем иное.

— Знаете, товарищ Леонгард, к настоящему, окончательному анализу политического настроения в Берлине можно было бы придти, только в том случае, если бы на выборах участвовала пятая партия.

— Пятая партия?

— Да, пятая партия — скажем «Партия «Телеграфа»! 48,7% голосов за СДПГ совсем не все настоящие социал-демократические голоса. Многие выбрали социал-демократов, потому что «Телеграф» им это сказал. Я очень хотел бы знать, сколько имеется настоящих социал-демократов, и сколько, ну, скажем, «телеграфных партийцев».

Это было, правда, не то, что я ожидал от высокопоставленного советского офицера через два дня после катастрофического поражения СЕПГ, но его мысль показалась мне очень интересной, во всяком случае интереснее, чем официальные объяснения вождей СЕПГ.

— Я замечаю, товарищ Леонгард, что вы удивлены тем, что я все это не воспринимаю так трагично. Видите ли, я все это точно так и предвидел. Почему же я должен теперь поражаться этому? — сказал он в небрежном тоне.

Разговор перешел на другие темы. Неужели он меня вызвал только для того, чтобы сообщить мне о своей идее «телеграфной партии»?

Когда я встал, чтобы попрощаться, он сказал, слегка улыбаясь.

— Ах, да, я хотел Вас о чем-то спросить . . .

«Теперь он скажет самое важное» — подумал я.

— В эти дни мы с некоторыми друзьями обдумывали один интересный вопрос. Представьте себе, товарищ Леонгард, если бы в Берлине и в советской зоне провести выборы без всякого влияния — без пропаганды и без раздачи особых ордеров на бумагу — и всем допущенным к выборам задать

один только вопрос: «Вы за Восток или за Запад?». Какие результаты, по Вашему мнению, имели бы такие выборы?

Я немного заколебался, умный офицер заметил это.

— Ну, ну, товарищ Леонгард, без колебаний, мы же здесь с глазу на глаз. Меня интересует Ваше подлинное мнение.

— Хорошо. Так вот мое мнение: на таких выборах, по-моему, при теперешних условиях голосовали бы приблизительно 15-20% за Восток и 80-85% за Запад.

Он выслушал мой ответ не только спокойно, но даже с дружеской улыбкой.

— У Вас хорошее чутье в оценке массовых настроений. Мы пришли к тому же результату.

УЧЕБА, УЧЕБА, УЧЕБА

Через несколько дней после этого разговора наш отдел обучения и вербовки сделался центром внимания. Основной задачей стала вновь политучеба. Выборы показали, что лобовая атака, забрасывание населения миллионами листовок не привели к желаемой цели. Теперь начался временный отход для переформирования и укрепления сил. Для этого было необходимо интенсивное политическое обучение.

25 октября 1946 года появилось особое постановление партийного руководства, касающееся исключительно политобучения. Осуждалось, что «в последние месяцы работа по обучению была отодвинута на задний план», и прежние постановления по этому вопросу «были осуществлены в недостаточной мере».

Затем следовала сама директива:

«Ввиду такого положения партийное руководство СЕПГ считает важнейшей задачей всей партии в усиленной степени обратить внимание на работу по политическому обучению и образованию».

Посещение политических учебных вечеров «для каждого члена партии должно быть само собой разумеющейся обязанностью». Для обеспечения регулярного посещения учебных вечеров необходимо «сейчас же провести во всей партийной прессе систематическую пропагандную кампанию».

Управлениям СЕПГ всех шести земель советской зоны вменялось в обязанность организовать во всех 130 районах

районные школы-интернаты, в которых, смотря по величине района, должны были пройти двухнедельный учебный курс от 60 до 80 участников. Учебный курс в шести краевых (земельных) школах должен был быть продлен с четырех недель до трех месяцев.

Наш отдел обучения, который был в последние месяцы перед выборами действительно несколько отодвинут в тень, не мог теперь спастись от конференций, директив, поручаемых ему заданий. На другой же день после опубликования решения о проведении интенсивной политучебы, к нам пришел Гротеволь, чтобы разъяснить нам нашу работу в подробностях.

— Мы поставили себе задачей в течение одного года обучить 180 000 членов СЕПГ на двухнедельных курсах в окружных школах. Это задание должно быть проведено и будет проведено.

180 000 человек обучить в один год! Я ко многому привык, но это казалось мне почти невозможным. Хватит ли организуемых для этого районных школ? Пока Гротеволь говорил дальше я высчитывал: 130 районных школ с 60 курсантами в среднем при двухнедельных курсах. Если считать, что этот план будет осуществлен на 100%, то получается 187 800 курсантов.

Наш отдел получил задание в течение четырех недель выпустить обязательный учебник для организующихся 130 районных школ СЕПГ.

— К работе! — были последние слова Гротеволя.

Особоуполномоченные поехали в районы, здания были реквизированы, доставка продуктов была обеспечена и уже через две недели поступили первые донесения об открытии районных партийных школ.

В это время мы занялись составлением политического учебника для 180 000 человек, которые должны были следующие 12 месяцев посещать школы. О нормальном рабочем дне не могло быть и речи. Мы работали до поздней ночи. Через десять дней, как раз к сроку, перед нами лежала рукопись учебника. Она была просмотрена Ольснером и Аккерманом и сразу же сдана в набор в издательство Дица с директивой: все находящиеся в работе книги и брошюры должны быть отставлены. Учебник для районных школ СЕПГ во что бы то ни стало должен быть выпущен к сроку.

Через три месяца правление партии собралось снова. Вновь было опубликовано заявление об обучении: «Правление СЕПГ с удовлетворением отмечает, что при проведении постановления от 25 октября 1946 года о работе в области учебы сделаны значительные успехи».

Между тем краевые школы везде перешли на трехмесячный курс обучения, почти во всех районах начали работать районные школы и в декабре 1946 года были подготовлены учителя для районных школ. Всем районным школам было приказано придерживаться наших учебников, а редакциям газет опять было поручено поддерживать еще больше, чем до сих пор, работу по обучению. Все шесть краевых управлений СЕПГ получили задание, наряду с районными и краевыми школами учредить особые учебные съезды на высоком уровне для руководящих работников СЕПГ.

В середине апреля 1947 года нашим отделом был составлен отчет о проведенной работе. Ольснер назвал нам солидные цифры. Учебные тетради были выпущены общим тиражом в 2 миллиона экземпляров. Наши шесть краевых школ работали по твердому плану по 45-ти темам и подготовили уже большое число новых педагогов для районных школ.

В Высшей партийной школе имени Карла Маркса были организованы шестимесячные курсы для партийных работников, занимавших высокие должности и подготовительная работа по обучению специалистов по политическим наукам была закончена. Через несколько недель должны были начаться двухгодичные курсы в Высшей партийной школе. Несмотря на эти достижения, Ольснер не давал нам покоя.

— Наши успехи недостаточны и даже малы, если сравнить их с тем, что сегодня требует от нас партия.

Это были не пустые слова. Работа по политобучению с весны 1947 года была еще более усилена и расширена. Финансовый вопрос не играл при этом никакой роли; все необходимое великодушно предоставлялось. Функционеров, ответственных за обучение, не щадили: они до изнеможения разрабатывали учебные планы, вели преподавание. От 100 000 учеников районных школ, а еще больше от тысячи учащихся в краевых школах требовалась большая работа. Результаты не заставили себя ждать. Когда я, как докладчик, приезжал в Берлинскую краевую партшколу и в Бранденбургскую краевую партшколу во дворце Шмервиц, я чувствовал

каждый раз повышение политического уровня учащихся партийцев.

Так создавала себе СЕПГ, шаг за шагом, не поддаваясь влиянию неудач и поражений на выборах, упорно и терпеливо, партийный кадр из политически обученных и преданных работников.

СОВЕТИЗАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ

С каким бы рвением я ни отдавался учебной работе и как бы ни радовался успехам в этой области, но мои сомнения в правильности политики СЕПГ после поражения на выборах 20 октября 1946 года в Берлине становились все сильнее и сильнее. Мы не вступили на путь большей самостоятельности, наоборот, мы шли противоположным путем: связь с Советским Союзом и с советской оккупационной властью становилась все теснее.

7 ноября 1946 года состоялось большое празднество СЕПГ по случаю советского государственного праздника. В отличие от 1945 года впервые были полностью опубликованы речи советских вождей, произнесенные по этому поводу.

5 декабря 1946 года был торжественно, почти в подобострастном тоне, отмечен день советской Конституции, а 21 декабря, в день рождения Сталина (67 лет), появилась длинная статья Вильгельма Пика, в которой между прочим, было написано: «Гениальная дальновидность великого вождя Советского Союза указала и немецкому народу его путь».

В середине января 1947 года был сделан еще один шаг. Маршал Соколовский и его заместители, а также руководитель Политического управления полковник Тюльпанов, пригласили вождей СЕПГ Пика, Гротеволя, Ульбрихта и Фехнера на совещание. 16 января был опубликован результат его: «На просьбу Социалистической единой партии Германии об окончательном прекращении демонтажа было дано согласие. После того, как демонтирована военная промышленность, дальнейшего демонтажа производиться больше не будет».

Как ни радостно нам было услышать это обещание (позже выяснилось, что оно не было сдержано), но мне и некоторым другим партработникам казался сомнительным тот факт, что наше партийное руководство еще сильнее подчеркнуло свою тесную связь с оккупационной властью своим низкопоклонным благодарственным письмом.

Последовало официальное благодарственное заявление от Вильгельма Пика, затем от Ульбрихта, а под конец еще общая благодарность от всего партийного управления СЕПГ в адрес советской оккупационной власти.

— Я рад окончанию демонтажа, но я не знаю, хорошо ли это для нашей партии, выставлять себя напоказ как помесь просителей и составителей благодарственных посланий, — сказал мне один партработник.

— Надо надеяться, что мы это сделали в первый и в последний раз, — ответил я ему.

Хотя это и было в первый раз, но ни в коем случае не в последний. Напротив, эта форма стала обычной. В конце января 1947 года руководители Объединения свободных немецких профсоюзов (FDGB) были у Соколовского. Затем были исполнены некоторые их просьбы и снова последовали подобострастные благодарности. Потом подошла очередь руководителей Союза свободной немецкой молодежи (FDJ). Под конец даже небольшие улучшения в снабжении овощами по соглашению и общим договорам радостно приветствовались и вызывали со стороны СЕПГ письма, полные благодарностей.

Все растущая связь с Советским Союзом и с советской оккупационной властью отчетливо проявлялась и в других областях. Весной 1947 года руководство СЕПГ отказалось от своего самостоятельного мнения относительно немецкой восточной границы. В противоречии с официальной позицией перед выборами в ландтаги в октябре 1946 года, Франц Далем заявил теперь по поручению правления СЕПГ:

«Потеря восточных областей — тяжелый удар для немецкого народа, но жизнь должна идти дальше»*).

Наш тезис об особом пути к социализму все еще был официальной партийной линией, но разве он не был уничтожен прославлением Сталина, приветственными телеграммами и всякими пожеланиями счастья советскому правительству просьбами, договорами, благодарностями в адрес советской администрации, отказом от своего собственного мнения в вопросе о восточной границе?

Мои сомнения все усиливались.

Через несколько недель высшие партийные работники — да и не только они одни — пережили большое волнение. Те-

---

*) Франц Далем: «К вопросу о восточной границе». «Нейес Дейчланд» от 2 апреля 1947 года.

мой дня была так называемая Мюнхенская конференция. По приглашению главы баварского правительства в начале июня 1947 года должна была состояться конференция председателей советов министров всех немецких земель. Были приглашены также председатели советов министров из земель, лежащих в советской зоне. Вскоре последовал официальный ответ из советской зоны: конференция должна бы состояться не в Мюнхене, а в Берлине, и к ней надо привлечь еще представителей партий и профсоюзов. Со стороны Запада это было отклонено. Мнения в партийных кругах СЕПГ были различны.

— Совершенно все равно, где произойдет конференция и с кем; главное, чтобы она состоялась. Мы должны непременно послать туда наших людей, — говорили одни.

К ним принадлежал и я.

— Если они не принимают наших требований, то нечего нам туда ехать, — возражали другие.

С нетерпением мы ждали, каков будет ответ руководства партии. Я был очень рад сообщению, что восточная делегация в составе д-ра Фридрихса (Саксония), д-ра Гюбенера (Саксония-Ангальт), Гёкера (Мекленбург), д-ра Пауля (Тюрингия) и д-ра Штейнгофа (Бранденбург) поедет на конференцию. Но моя радость несколько остыла, когда я узнал, что вместо заболевшего председателя Совета министров Саксонии д-ра Фридрихса для поездки в Мюнхен был намечен его заместитель Курт Фишер. Я знал Фишера по Москве. «Если Фишер когда-нибудь будет иметь в руках власть, я бы не хотел попасть к нему в подчинение», — думал я тогда. Болезнь д-ра Фридрихса в такой момент показалась мне странной, а назначение Фишера, который без сомнения должен был быть чем-то вроде контролера, не предвещало по-моему ничего хорошего.

Через два дня конференция провалилась.

В центральном органе СЕПГ появилась статья под заголовком: «Бесцеремонность по отношению ко всем немцам в восточной зоне». Оказалось, что представители советской зоны поехали в Мюнхен с твердой директивой. Непосредственно после начала конференции они внесли предложение, чтобы первым пунктом повестки дня стоял вопрос об образовании Германского центрального управления путем соглашения между демократическими партиями и профсоюзами с целью создания единого германского государства. Это было

отклонено представителями западных зон Германии. В ответ на это делегация советской зоны покинула конференцию и вернулась в Берлин ни с чем.

Возвращение председателей советов министров земель советской зоны было обосновано тем, что «устроители конференции, злоупотребляя хозяйственной нуждой германского народа хотели добиться своих темных федералистских целей. Для этих враждебных народу махинаций они хотели использовать и представителей восточной зоны».

Прекрасная возможность путем общей конференции председателей советов министров западных зон и советской зоны придти к соглашению была упущена.

В этот же день я пошел в «Дом единства».

— Я вообще больше ничего не понимаю, — сказал мне один сотрудник. — Реальная возможность объединения Германии упущена. А Ульбрихт радуется, как никогда. Он и некоторые другие партработники говорят о большой победе. Можно подумать, что они радуются тому, что конференция провалилась.

Это предположение оправдалось через несколько минут. Я встретил Гиптнера, которого я знал еще со времен «группы Ульбрихта». Он был теперь секретарем Центрального секретариата. Он сиял.

— Это мы хорошо проделали. Это счастье, что так случилось. Но перед этим были некоторые затруднения в Центральном секретариате.

— Затруднения?

— Мы же сначала совсем не хотели ехать, но социал-демократы и некоторые из наших настаивали. Тогда решили выбрать такой путь: мы показали добрую волю, но одновременно эта конференция не состоялась.

Я промолчал. Гиптнер же продолжал с воодушевлением:

— Представь, что случилось. Ульбрихт сообщил на заседании Центрального секретариата, что он говорил с советскими друзьями и они дали ему этот совет. А тут встает один из социал-демократов и заявляет, ни с того, ни с сего, что Мюнхенская конференция — внутригерманское дело и

совершенно не обязательно придерживаться советских предложений.

«Абсолютно верно», — подумал я, но не высказал этого Гиптнеру. Гиптнер неодобрительно покачал головой:

— Представь себе только, Вольфганг, такая балда сидит теперь с нами в Центральном секретариате! С такими людьми мы должны вести партию!

— Ну и что же произошло?

— Его, конечно, переголосовали!

«Жалко», — подумал я, но одновременно испугался, что моя оппозиционность шагнула так далеко.

Когда я вернулся из «Дома Единства», к нам в здание отдела обучения — ко мне бросился Фред Ольснер:

— Будет особый вечер политучебы о Мюнхенской конференции. Мы должны срочно разработать экстренную тетрадь. Лучше всего начни сейчас же.

Я медлил.

— Что с тобой? В чем дело, Вольфганг?

— Знаешь, Фред, я плохо разбираюсь в этом вопросе, и, откровенно говоря, мне кое-что не ясно.

Ольснер посмотрел на меня с иронической улыбкой.

— Ну, ну . . . уж не принадлежишь ли и ты также к тем, которые получили из-за этого вопроса политические колики?

«Политические колики» — выражение, под которым подразумевались настроения и взгляды партийцев, несогласных с официальной линией.

— Частично, — ответил я. — Ни в коем случае я не хотел бы писать эту учебную тетрадь.

К счастью Фред Ольснер не затрагивал больше темы о политических коликах.

— Ты прав, Вольфганг, у тебя последние дни было слишком много дела. Отдохни немного. Я напишу сам тетрадь о Мюнхенской конференции.

У меня как камень с души свалился. Но когда я шел вверх по лестнице в мое бюро, я вдруг осознал свое странное положение. Неужели дело так далеко зашло, что я, сотрудник отдела обучения и вербовки Центрального секретариата СЕПГ, ответственный редактор учебных тетрадей, — так отошел от существующей партийной линии, что не могу с чистой совестью об этом писать?

ПОЕЗДКА В ЮГОСЛАВИЮ

Через несколько дней после драматических событий на Мюнхенской конференции меня вызвали к телефону из отдела кадров:

— Центральный совет Народной молодежи Югославии очень хотел бы войти в контакт с каким-нибудь руководящим молодым работником. Они предложили тебя, а с нашей стороны возражений нет. Был бы ты согласен поехать в Югославию?

— Конечно!

Я был бесконечно рад. Несколько недель тому назад я был на II съезде ССНМ (Союз свободной немецкой молодежи — FDJ) в Мейсене и познакомился там с двумя югославскими делегатами от Народной молодежи Югославии. Они передали ССНМ подарок и выразили желание, чтобы ССНМ вошел как равноправный член во «Всемирный союз демократической молодежи».

Народная молодежь Югославии — была первой иностранной организацией, которая прислала делегатов и приветствовала ССНМ и ее заявление было принято с огромным энтузиазмом. Никто из нас не мог тогда предчувствовать, что эта приветственная речь и высказанное в ней пожелание принять ССНМ во «Всемирный союз демократической молодежи» будет югославской молодежи поставлено в вину, так как она действовала самостоятельно, не договорившись с ВЛКСМ и со Всемирным союзом демократической молодежи.

Я подружился с югославскими делегатами и они предложили мне в Мейсене приехать как-нибудь в Югославию. Но я, конечно, и не подозревал, что официальное приглашение последует так скоро.

Не прошло и месяца, и я сидел, радостно взволнованный, с одним из югославских товарищей в чудесном вагоне, который вез нас через Дрезден, Прагу, Братиславу и Будапешт в Белград. Это было в последние дни июня 1947 года.

В то время Югославию — за год до разрыва с Москвой — многие иностранные журналисты описывали, как самую похожую на Советский Союз страну. Глядя с внешней стороны, можно было понять такое заключение. Ни в одной из стран народной демократии национализация не была настолько двинута вперед, нигде земельная реформа не проводилась столь решительно, нигде, кроме Советского Союза, общест-

венная жизнь настолько не определялась политикой коммунистов, как в Югославии. В Югославии не было никаких, сколько-нибудь имеющих вес партий, кроме коммунистической. Ни в какой другой стране не было вывешено так много красных флагов, как в Советском Союзе и в Югославии. Иностранные корреспонденты проходили однако мимо некоторых существенных фактов, которые уже тогда были заметны, во всяком случае иностранному коммунисту.

При первом же моем посещении Центрального совета Народной молодежи Югославии в Белграде завязалась свободная, интересная дискуссия с югославской молодежью о НМЮ и о ССНМ, о том, что было для этих обеих молодежных организаций общего и каковы были между ними различия. Вопросы о Германии так и сыпались, а я удивлялся, как эти партработники были хорошо информированы. «Иначе, чем в Советском Союзе, — подумал я, — свободнее, непринужденнее, самостоятельнее».

В последующие дни я посетил музей освободительной войны, фабрики, город пионеров около Белграда, газетные редакции и немецкое отделение Белградской радиостанции. Было много интересного во всем, что я видел, но одного я так и не нашел.

— Как же это так у вас? — спросил я своего переводчика и сопровождающего, — я не видал еще ни одного бюро коммунистической партии. И люди здесь не носят партийного значка?

— У нас нет больших партийных бюро, а также партийных значков, товарищ Леонгард. Практическая политическая работа у нас проводится Народным фронтом. Ты же наверное видел уже много бюро Народного фронта?

— Но каким образом выявляет себя партия?

Мой переводчик улыбнулся.

Наверное я был не первым иностранным коммунистом, ставящим подобный вопрос.

— В конце концов не требуется никаких партийных значков и больших партийных бюро, чтобы вести политику всей страны. Все члены партии у нас одновременно и в Народном фронте. Все члены коммунистического союза молодежи одновременно в Народной молодежи Югославии. Они выявляют себя тем, что работают самым примерным и активным образом.

— Гораздо умнее, чем у русских, и гораздо умнее, чем в СЕПГ, — подумал я. Это мне нравилось.

— Если у тебя есть охота, ты можешь завтра поехать по Югославской молодежной дороге. Будут еще два болгарских партработника.

О постройке Югославской молодежной дороги Шамац—Сараево я уже много слышал. За постройку этого пути в 247 км взялись 1 апреля 1947 года 18 000 человек молодежи. Они строили ее, работая в несколько смен. Каждая бригада прибывала туда на два месяца. Эта постройка имела целью не только хозяйственное, но и политическо-воспитательное значение. Молодежь Югославии различных национальностей должна была узнать друг друга и сблизиться в общей работе. Ведь раньше национальные противоречия очень мешали развитию страны. На постройку этой дороги приехала молодежь не только из всех частей Югославии, но также и из Италии, Польши, Болгарии, Англии, Чехословакии и других стран.

Наша группа тоже была интернациональной: кроме двух болгарских молодежных работников и меня в нашем купе сидели: два итальянца, одна гречанка и один англичанин. Они все ехали осматривать молодежную железную дорогу.

Чем ближе мы подъезжали к нашей цели — к городу Сенице в Боснии — тогдашней «столице молодежной дороги» — тем чаще мы видели колонны молодежи, занятые земляными работами и прокладкой рельс. Деревянные бараки были украшены цветами, гирляндами и лозунгами.

— Сеница. Мы приехали!

Удивленный шел я по этому своеобразному, странному городу, в котором так тесно сплеталось старое и новое, прошлое и будущее. Местное население состояло большей частью из магометан. Мужчины носили красные тюрбаны, а женщины черные чадры, называемые «фереджа», и белые, синие или черные платья, доходящие до щиколотки. Через несколько дней я узнал, что цвета были не случайными, они указывали на возраст женщины.

Магометанское население уже привыкло к работам на постройке дороги. Мужчины в тюрбанах и женщины в чадрах уже не оглядывались, когда американские джипы и грузовики, украшенные красными вымпелами народной молодежи, везли распевающую песни молодежь к участкам постройки.

Центр помещался в новом здании. Днем и ночью там кипела работа, так как сюда стягивались все нити этой стройки.

Ежедневно приезжали молодежные бригады, делегации и журналисты из всех частей света. Были слышны английский, сербский, чешский, венгерский, французский, греческий, немецкий, арабский и еврейский языки, так как кроме молодежи из Европы, Америки и Австралии на стройку прибыли также арабы и евреи из Палестины. В знак «братства и единства» они образовали общую бригаду и понимали друг друга прекрасно.

Только одна страна не была представлена — Советский Союз.

— Почему же здесь нет советской молодежи? — спросил я одного члена руководства.

— Советская молодежь занята стройками в своей собственной стране, — ответил он.

Это звучало не очень убедительно. Разве не было возможным из десяти миллионов комсомольцев прислать сюда несколько дюжин? Конечно, были другие причины, и мне их было не трудно отгадать.

За несколько дней мне стало ясно, что здесь воодушевление и энтузиазм были подлиннее и сильнее, молодежь независимее и свободнее, дискуссии менее шаблонны и вся жизнь молодежи непринужденнее, чем в Советском Союзе. Если я пришел к этому выводу уже через несколько дней, что сказали бы советские комсомольцы, проработав здесь два месяца? Это и было наверное настоящей причиной их отсутствия.

В политических докладах мне не нравились только три слова, которые я все время слышал: «после Советского Союза». Когда югославы в то время говорили о своих успехах, они ставили эти три слова впереди, чтобы подчеркнуть, что они никак не собираются сравнивать себя с Советским Союзом.

На обратном пути в Белград я разговорился с югославской молодежью.

— Вы были в Советском Союзе? — спросила меня молодая девушка с блестящими глазами. — Там должно быть замечательно.

— У вас, в Югославии, гораздо лучше, — сказал я уверенно.

Молодые люди посмотрели на меня с удивлением.

— Кое-что виденное и пережитое мною за три недели в Югославии нравится мне больше, чем в Советском Союзе.

Я попробовал это доказать примерами, но они качали головами.

— Нет, я этому не верю, мы еще далеко отстали от Советского Союза, — сказала одна югославка и другие согласились с нею. Позднее они меня все же наверное поняли.

В Белграде я имел еще последние переговоры с руководящими работниками Народной молодежи Югославии.

— Мы рады, что Вы у нас побывали и мы установили связь с ССНМ, которая наверняка теперь больше не прервется. На будущий год запланирована еще одна большая молодежная стройка. Мы хотим впервые пригласить бригаду ССНМ.

— Когда это приблизительно будет?

— Точно мы не можем сказать, может быть в июне или июле 1948 года.

Вечером перед моим отъездом в Берлин я встретил одного крупного партийного работника, бывшего во время освободительной войны редактором газеты «Борба» и членом Центрального комитета партии. Он свободно говорил по-немецки, бывал в Германии, знал многих членов СЕПГ и разбирался в положении в нашей стране.

Я ставил десятки вопросов о Югославии, остававшихся для меня еще открытыми. Вскоре мы заспорили, и он меня вдруг спросил.

— Скажи мне, что же тебе здесь *не* понравилось? Нам интересно, какое впечатление остается у иностранных товарищей о нашей стране, но прежде всего мы хотели бы знать, какие они могут нам сделать замечания.

— Только одно мне не понравилось, и я нахожу это не совсем правильным!

— Что же именно? — он с интересом взглянул на меня.

— Я слышал здесь много политических докладов, и мне были переведены некоторые речи и газетные статьи. И мне бросилось в глаза одно, всегда повторяемое утверждение, что вы далеко еще отстаете от Советского Союза. Я десять лет жил в Советском Союзе и потому имею возможность сравнивать. Я не согласен с вашим утверждением. Ваши партийные работники гораздо лучше обучены и образованы, чем советские, и ваша молодежь воодушевленнее и заинтересованнее,

чем комсомольцы. Правда, ваша партия не имеет роскошных зданий, но зато имеет гораздо большее влияние на народ; по моему убеждению вы идете по пути, лучшему, чем советский путь.

Я увлекся и выложил то, что было у меня на сердце. Югославский товарищ смотрел на меня задумчиво и серьезно.

— Не будем об этом говорить, — сказал он.

На следующее утро я должен был, к сожалению, вернуться опять в Берлин, к моей работе в отделе обучения Центрального секретариата СЕПГ.

Поездка в Югославию летом 1947 года дала мне новую силу и новую надежду, но одновременно усилила мои сомнения относительно «советского примера».

II ПАРТИЙНЫЙ СЪЕЗД

По возвращении я посетил своего друга детства Мишу Вольфа, с которым я учился и в школе Коминтерна. Теперь он работал комментатором по вопросам внешней политики под псевдонимом «Михаил Шторм» на радиостанции Восточного Берлина и, что было еще важнее, был ответственным контролером главных политических передач. Миша, у которого были отличные связи в высших советских кругах, занимал роскошную пятикомнатную квартиру на Байерн-Аллее, неподалеку от Рундфункхауза (радиостанция) в Западном Берлине*). За это время он успел жениться на Эмми Штенцер, голубоглазой блондинке, тоже учившейся в школе Коминтерна, которая так ловко составляла на бумаге «народные комитеты», и которая довела до сведения руководства школой мои высказывания, чем и была вызвана моя первая самокритика.

— Прекрасно, что ты пришел! Поедем с нами на дачу. Мы там всегда проводим выходные дни.

Через час мы остановились перед красивой виллой вблизи Глиникского озера. Вилла принадлежала Мише Вольфу, которому было тогда 25 лет.

Во время прогулки по берегу озера, Миша сказал между прочим:

---

*) Рундфункхауз находился на территории Западного Берлина, но административно принадлежал к Восточному Берлину. — Прим. пер.

— Знаешь, пора вам кончать с вашей теорией об особом немецком пути к социализму. Политическая линия вскоре изменится.

Я засмеялся.

— Миша, я ценю твой ум и положение, но политическую линию я все же знаю лучше тебя. Все-таки я работаю в Центральном секретариате и пишу брошюры для политзанятий. Они обязательны для всех рядовых членов партии и ответственных работников.

Миша закурил.

— Есть инстанции повыше вашего Центрального секретариата, — сказал он, иронически улыбаясь. Он, очевидно, с удовольствием произносил «ваш» Центральный секретариат.

— Но, Миша, тезис об особом немецком пути к социализму особо подчеркивается во всех основных документах СЕПГ.

Упоминание основных документов СЕПГ не произвело на Мишу ни малейшего впечатления.

— Значит их надо переделать.

Я с ужасом посмотрел на него.

— Вольфганг, я же не говорю, что это будет завтра. Я только хотел своевременно указать тебе на некоторые перемены. Мы недавно об этом говорили с Тюльпановым. Он сказал, — конечно, в узком кругу, — что с теорией об особом немецком пути пора покончить. Я бы на твоем месте поменьше об этом писал и говорил, тогда тебе будет легче во время предстоящей перестройки.

Он говорил об этом между прочим, не подозревая, что с отказом от этого тезиса рушились мои большие надежды. Для него же это было, очевидно, только средством для достижения цели. Кого напоминал он мне? Теперь я вспомнил: Миша был человеком такого же типа, как высший советский политофицер, который говорил в таком же небрежном тоне об исходе выборов 20 октября. Он был типом очень умного, спокойного ответственного работника, который глядел как бы со стороны на всё то, что другие товарищи принимали всерьез, за что они боролись, чем воодушевлялись, и считал это только большой шахматной партией. Миша был немцем, но национальность в этом деле не играет никакой роли. У него был тот же тон, те же движения, когда он закуривал, та же насмешливая улыбка в ответ на серьезность, с которой они проповедовали новые лозунги и директивы, как у со-

ветского политофицера, у которого я был в октябре 1946 года.

«Закулисных партийных работников» ничто, казалось, не могло вывести из равновесия. Они ограничивались тем, что разрабатывали новые тактические шаги и давали указания руководящим ответственным работникам, которые затем их громогласно проповедовали на многолюдных митингах, старались воодушевить массы и писали восторженные передовицы.

Через несколько дней должен был начаться II съезд СЕПГ. Если Миша окажется правым, то на партсъезде должны были бы меньше говорить об особом немецком пути к социализму и гораздо больше о связи с Советским Союзом.

Полный ожидания сидел я 20 сентября 1947 года в здании немецкой Государственной оперы. II партсъезд СЕПГ открылся под торжественные звуки бетховенского „Weihe des Hauses" («Освящение дома»). С напряжением ожидал я речей руководителей партии. Вильгельм Пик должен был говорить о политическом положении, Эрих В. Гниффке должен был сделать отчетный доклад, Отто Гротеволь должен был выступить с речью о проблемах единства Германии, Вальтер Ульбрихт — об экономическом и государственном восстановлении советской оккупационной зоны.

За пять дней партсъезда тезис об особом пути к социализму, хотя и не был официально отвергнут, но в постоянном подчеркивании «выдающихся достижений Советского Союза» я увидел тенденцию, которая меня обеспокоила и оправдать которую мне было все труднее и труднее. Во вступительном слове Макс Фехнер еще пытался найти синтез между сотрудничеством с Советским Союзом и самостоятельной политикой:

«Признание необходимости тесного экономического и культурного сотрудничества с Советским Союзом не означает отказа от самостоятельной политики, а наличие немецкой политической линии не означает проведения антисоветской пропагандной травли».

Но Отто Гротеволь пошел в своем докладе дальше:

«Мощь нового демократического порядка, создавшегося в Восточной и Юговосточной Европе, а также в советской зоне оккупации, базируется, кроме всего прочего, на поддержке Советского Союза».

Уже на следующий день я ощутил значение этого заявления для практической политики. В большом политическом докладе Вильгельм Пик выразил свое отношение к проблеме, доставлявшей нам тогда много трудностей — к проблеме демонтажа.

В начале 1947 года маршал Соколовский торжественно заверил руководство СЕПГ в том, что демонтаж окончен. На последовавших массовых митингах это обстоятельство праздновалось как победа и успех СЕПГ и сопровождалось верноподданническими заверениями благодарности в адрес великодушной СВАГ (Советская Военная Администрация Германии).

Но через несколько недель демонтаж начался снова. Это было открытое нарушение обещания. В партии стали раздаваться голоса, требующие, чтобы в этом особом случае, пусть в вежливой и скромной форме, партия отмежевалась от демонтажа.

Но нам и этого не разрешили. Партработники, выступавшие на фабриках и на открытых собраниях, находились в безвыходном положении.

На II партсъезде Пик должен был даже оправдать это нарушение обещания:

«ЦК партии приняло это великодушное обещание СВАГ с чувством величайшей благодарности и оценило его, как доказательство доверия к немецкому народу.

В последнее время, однако, стали известны случаи дальнейшего демонтажа, так, например, демонтаж железнодорожных путей, вызвавший серьезные затруднения в товаро-пассажирском сообщении. В указанном случае мы также ходатайствовали о максимальном сокращении демонтажа. По заявлению маршала Соколовского, демонтаж машин на некоторых шахтах не следует считать возобновлением демонтажа, как такового, это лишь окончание демонтажа оборудования шахт, запланированного раньше и временно приостановленного . . .»

Эти слова были встречены ледяным молчанием. Все присутствующие знали, что дело обстоит совершенно иначе, чем это изображал Пик, потому что как раз в это время демонтаж снова шел полным ходом. Его заявление показало мне, насколько мы связаны решениями и постановлениями СВАГ во всех вопросах, касающихся практической политики сегодняшнего дня. Тесная связь с Советским Союзом — в от-

личие от 1945-1946 годов — была, наконец, декларирована открыто.

Это было на третий день съезда. Из-за стола президиума поднялся Герман Матерн и крикнул в зал:

— А теперь я выполню почетную задачу и присоединяю ко многочисленным интернациональным приветствиям самое значительное приветствие съезду партии.

И он прочел советское приветствие, подписанное Сусловым, секретарем ЦК ВКП(б).

Взгляды всех обратились к ложе, в которой сидел гость партсъезда — Суслов. Суслов встал и воскликнул по-немецки:

— Да здравствует Социалистическая единая партия Германии!

Когда аплодисменты затихли, Матерн воскликнул:

— Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! Да здравствует ее Центральный комитет! Да здравствует их вождь Сталин!

За полтора года со времени объединительного съезда партии СЕПГ сильно изменилась. На объединительном съезде такое приветствие было бы еще немыслимым . . .

В воскресенье после партсъезда я ехал в автомашине с одним из наиболее видных членов СЕПГ. Мы могли говорить с глазу на глаз и я решил не упускать этой возможности.

— Говоря между нами, тебе, конечно, известно, что демонтажные работы идут полным ходом. Переговоры об их прекращении проводились от имени партии и нами пропагандировались. Ты себе можешь представить, что это для нас сейчас означает? Разве действительно нет никакой возможности добиться прекращения демонтажа, или разве не может партия хотя бы официально от него отмежеваться?

Он спокойно посмотрел на меня:

— Такой возможности нет.

— Но, что ты думаешь сам по этому поводу?

Он глубоко вздохнул, и его вздох прозвучал почти как стон. Тихо, чуть запинаясь, он произнес:

— Они на нас не обращают внимания.

Под «они» подразумевалось советское руководство. Но

даже при разговоре с глазу на глаз победила самодисциплина, внушаемая каждому партийному работнику как на партийных крусах, так и во время всей многолетней партийной работы:

— Лучше не будем об этом говорить.

Однако, через четверть часа мы снова подошли к «скользкой теме»: к поведению солдат советской оккупационной армии и к запрету для СЕПГ высказываться по этому вопросу. Я сделал новую попытку:

— Я все это могу прекрасно понять. При каждой оккупации могут произойти такие случаи, особенно если принять во внимание теперешний состав советской оккупационной армии в Германии. Лучшие кадры погибли в 1941 году, большинство солдат теперь набрано из отдаленных деревень. Их еще не успели воспитать. Но все же об этих вещах можно было бы говорить откровенно. Я хочу одного: чтобы партия могла говорить об этом свободно и открыто, чтобы она пыталась это объяснить, чтобы она от этого отмежевалась и тем самым не допустила бы сильного падения нашего авторитета. Если мы об этом не будем говорить, заговорят другие и используют инциденты для всеобщей националистической травли.

Мой собеседник кивал головой и, по-видимому, соглашался с моими доводами. Однако он молчал.

— Вы же за последние полтора года много раз бывали в Москве. Неужели не было сделано даже попытки поднять там этот вопрос?

— Мы сделали одну попытку — у Сталина.

И он снова замолчал. Но я не сдавался.

— И что же получилось?

— Сталин ответил русской пословицей, что в каждом стаде есть паршивая овца. Больше он ничего не сказал. Но когда один из нас начал говорить об этих вещах в более серьезном тоне и указал на возможные последствия — Сталин его прервал, сказав: «Я не допущу, чтобы марали честь Красной армии».

На этом разговор окончился.

Других щекотливых тем я не подымал, — но в это воскресенье в сентябре 1947 года я понял, насколько крепко мы прикованы к Советскому Союзу.

ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА

В сталинском аппарате обычно принято, чтобы партийный работник через каждые полтора-три года получал от партийного руководства новое назначение.

В течение двух лет я без перерыва готовил учебный материал для партии и читал доклады в Высшей партийной школе, в краевых школах СЕПГ и в Центральной школе ССНМ (в бывшей вилле Геббельса на берегу Богензее). Когда меня, в сентябре 1947 года, вызвали к себе мой непосредственный начальник Антон Аккерман и тогдашний начальник отдела кадров Франц Далем, я сразу подумал, что мне дадут новое партзадание. Оба сказали почти одно и то же:

— Партия считает необходимым расширить работу Высшей партийной школы имени Карла Маркса. В связи с этим поступило предложение командировать тебя на два года для усиления преподавательского состава нашей Высшей партшколы. Факультет ты можешь выбрать по собственному желанию. Согласен?

— Согласен.

Предложение меня обрадовало. Теперь, думал я, мне не нужно будет пропагандировать решения и мероприятия СЕПГ, теперь у меня будет возможность спокойно заняться теоретическими вопросами и отойти от политики сегодняшнего дня.

Высшая партийная школа находилась тогда в Либенвальде, приблизительно в 35 километрах на северо-восток от Берлина. Расположение зданий внешним видом чем-то напоминало мне школу Коминтерна в Кушнаренкове. Меня принял Рудольф Линдау, тогдашний директор Высшей партшколы. Я познакомился с ним в Москве, но тогда он носил имя «Пауль Гретц». Он был из числа немногих выживших ветеранов: в 1916 году он был членом оргбюро Союза «Спартак» и был членом компартии Германии со дня ее основания. В советской эмиграции он занимался, главным образом, подготовкой издания истории компартии Германии.

Рудольф Линдау принял меня по-дружески и посвятил в работу партшколы:

— До сих пор мы проводили шестимесячные курсы; теперь начнем первые двухгодичные курсы. Но и шестимесяч-

ные курсы — правда, с несколько измененным профилем — будут продолжаться.

— Что-то вроде сокращенных двухлетних курсов?

— Нет, есть существенная разница: на двухгодичных курсах мы хотим из молодых, способных товарищей, пришедших к нам после 1945 года и окончивших районные и краевые партшколы создать теоретически подкованных, ответственных партработников. Шестимесячные же курсы, в первую очередь, задуманы для товарищей с партийным стажем, занимавших посты в КПГ и СДПГ до 1933 года. Мы хотим познакомить их с новыми политическими задачами и улучшить их теоретическую подготовку. Особое внимание мы уделяем товарищам из Западной Германии.

— Из Западной Германии? . .

— Да. Приблизительно двадцать пять процентов наших курсантов как на двухгодичных, так и на шестимесячных курсах — из Западной Германии; мы взяли их обучение на себя. Они находятся здесь под другими фамилиями, разумеется, так же как и четверо норвежских товарищей, обучение которых взяла на себя наша партия, так как у норвежской компартии есть только курсы по субботам и воскресеньям.

Рудольф Линдау показал мне богатую библиотеку и повел затем в «отдел учебных пособий», в котором несколько сотрудников как раз печатали на гектографе учебные материалы.

— Здесь печатаются все учебные материалы для наших курсантов, — объяснил он. — Перед каждым докладом курсанты получают отпечатанные на гектографе тезисы доклада, в которых указывается также обязательная литература по данной теме. После лекции им выдается учебный материал по данному докладу, который они могут прорабатывать в читальне или в своих комнатах в индивидуальном порядке. На следующий день, — иногда им дается и больше времени, — проводится трехчасовой семинар. Каждые три месяца пишутся экзаменационные работы, а по окончании семестра проводятся письменные и устные экзамены по каждому предмету.

Сотрудники показали мне некоторые гектографические материалы. На первой странице каждого материала находилась отметка крупным шрифтом: ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ.

В конце материала значились имена партийных работников, ответственных за выбор материала, корректуру и редакцию. Таким образом легко было отыскать виновников возможных политических промахов. Учебные материалы, источники и цитаты для определенной лекции часто составляли десятки густо исписанных на машинке страниц. Программа же лекций была почти всегда ограничена короткими тезисами данной темы.

Вот пример тезисов по лекции в высшей школе СЕПГ:

Только для внутришкольного употребления
Ф. I - 43 - Д - 1 - 9 - 48

Философия.

Программа лекции:

Диалектика и формальная логика

Значение темы для понимания сущности диалектических противоречий и диалектического метода.

Ссылки на классиков по этому вопросу. Энгельс о формальной логике как о части философии. Ленин об ограниченности формальной логики и о единстве существа диалектики, логики и теории познания. В каком смысле оправдана и необходима формальная логика? Разница между диалектическим противоречием и абсурдом. Различные виды диалектических противоречий, различные стороны, тенденции, силы и явления, переходы, движение, неосновательность, антиномии и т. д.

Противоречие в свете современной науки (структура атома, двойственная природа света и материи).

Недостаточность законов логики как критериев истины.

Практическое значение взаимосвязи диалектики и формальной логики (единство многообразия, эластичность, подвижность, абсолютность с определенностью, ясность и глубина в диалектике).

Ответственный: Виктор Штерн.

Читал: Ганс-Иоахим Менке.

На следующий день Рудольф Линдау представил меня четырем руководителям факультетов Высшей партшколы.

Кафедрой истории заведовал Эрих Патерна, с которым я сотрудничал осенью 1945 года в отделе Агитпропа ЦК ком-

партии. Тогда он был докладчиком по вопросам школьного обучения. Эрих Патерна, ярый поборник школьной реформы, был во время Веймарской республики социал-демократом, но в 1931 году перешел в компартию. Во время национал-социализма он пробыл много лет в Бранденбургской тюрьме. Теперь, наконец, он получил возможность осуществить свои педагогические замыслы. С большим рвением и знанием дела без устали работал он над марксистским взглядом на всеобщую историю и на историю немецкого рабочего движения. Он был типом ищущего революционного ученого и исследователя.

Фрида Рубинер, руководительница факультета «Основы марксизма-ленинизма», также была моей старой знакомой. Я знал ее еще в Советском Союзе, где она была в последнее время сотрудницей VII отдела Главного политуправления Красной армии. Она сразу начала уговаривать меня идти на ее факультет.

— Мне нужен противовес против социал-демократов, — сказала она с отрезвляющей откровенностью.

Виктора Штерна я тоже знал по Москве. В двадцатых годах он играл важную роль в чехословацкой компартии и был делегатом чехословацкого парламента. В 1944 году, когда я бывал в его доме в Москве (он был одним из немногих, не живших в отеле «Люкс»), еще было неясно, в какой стране он будет проводить работу после победы над Гитлером. Но его командировали не в Чехословакию, а в Германию, где он дослужился до профессора, написал работу о диалектическом материализме*) и затем вторую — «Сталин как философ». В Высшей партшколе он заведовал философским факультетом.

С заведующим кафедрой политической экономии Альфредом Лемницом я до тех пор не был знаком; годы нацизма он провел в Германии в тюрьме.

Все четыре заведующих факультетами были из КПГ — Высшая партшкола была одним из немногих учреждений, в которых уже тогда не придерживались паритета при распределении мест между бывшими социал-демократами и бывшими членами компартии. Чтобы изобразить хотя бы «символическое равенство», директору партшколы Рудольфу

---

*) Эта книга была впоследствии осуждена и изъята из употребления.

Линдау был дан впридачу симпатичный, скромный, престарелый социал-демократ, в роли его заместителя, а именно Пауль Ленцер, работавший долгие годы в культотделе СДПГ и в Обществе трезвости. Конечно, против преобладания коммунистов в партшколе он ничего не мог сделать. Он вынужден был ограничиваться тем, что время от времени читал доклады и заботился о культурно-просветительных мероприятиях в партшколе.

Здесь я снова встретил Вальтера Кёппе из «группы Ульбрихта», которого тем временем успели перевести с политической работы на место завхоза Высшей партшколы. Здесь он чувствовал себя великолепно, хотя ревниво следил за тем, чтобы его величали «товарищ директор».

Поразмыслив, я выбрав исторический факультет и начал изучать методы работы в высшей «кузнице партийных кадров».

С первых же дней мне бросилась в глаза разница в сравнении со школой Коминтерна. Оборудование Высшей партийной школы СЕПГ в Либенвальде в 1947 году было образцовым, лучшим даже, чем в школе Коминтерна в 1942-43 годах. Несмотря на голодное время, питание было отличное. Курсанты получали карманные деньги, а семьям продолжали выдавать зарплату с места работы курсанта*).

Дисциплина в то время — осенью 1947 года — была далеко не такой строгой, как в школе Коминтерна. Курсанты имели право переписки и могли ездить по выходным дням в Берлин. Территорию школы можно было покидать также и в рабочие дни. Правда, были вечера критики и самокритики, но они никак не могли идти в сравнение с тем, что я пережил в школе Коминтерна. Семинары также не были столь строгими. «Ошибочные взгляды» и «неправильные» формулировки, правда, подвергались резкой критике, но в то время они не влекли за собой немедленного удаления из школы и исключения из партии.

Школа показалась мне, — по сравнению со школой Коминтерна, — почти либеральной. Курсанты, у которых не было возможности такого сравнения и которые не имели представления о том, как будет выглядеть партшкола через несколько лет, были другого мнения.

---

*) В 1952 году вышло общее распоряжение: женатые курсанты получали 800 марок, холостые — 600 марок в месяц.

— Мне кажется, что я здесь нахожусь в смирительной рубахе, — стонал один бывший социал-демократ.

Он рассказывал мне о прежних социал-демократических курсах. После этого я его понял.

Разница между Высшей партийной школой имени Карла Маркса и школой Коминтерна была не только в сравнительно более свободной атмосфере, но и в методах обучения. В школе СЕПГ не изучали ни военного дела, ни методов нелегальной работы. Теоретическая же подготовка была в ней частично более основательной, чем в школе Коминтерна.

По философии курсантам давалось сначала общее понятие о всемирной истории философии; только после этого начиналось подробное изучение марксистско-ленинской философии.

По политэкономии прорабатывались глава за главой «Капитал» Карла Маркса, выдержки из экономических работ Гильфердинга и Розы Люксембург, ленинская теория империализма и политэкономия социализма.

Мы, преподаватели исторического факультета, должны были дать общий обзор всемирной истории. Особенно подробно прорабатывались переходные периоды: переход от рабовладельческого периода к феодализму и переход от феодализма к капитализму. Затем следовали лекции и семинары о немецкой крестьянской войне, движении гусситов, об английской революции, о Великой французской революции и наполеоновских войнах, об американской войне за независимость и, особенно подробные, о революции 1848 года в разных странах Европы. После этого всеобщего обзора прорабатывалась история Германии, начиная с основания Бранденбурга, развитие прусского государства, роль Фридриха II и объединение Германии при Бисмарке. История немецкого рабочего движения не рассматривалась отдельно, а бралась в рамках общей германской истории с 1848 года до настоящего времени. Эта эпоха занимала, естественно, большую часть программы по истории в Высшей партшколе. Лекции по «Основам марксизма-ленинизма» были похожи на лекции в школе Коминтерна. Это были темы, общие для всех восточных партшкол от Эйзенаха до Пекина: класс и классовая борьба, учение о государстве, формальная и реальная демократия, роль рабочего класса, учение о партии, борьба с оппортунизмом, реформизмом и ревизионизмом, стратегия

и тактика, крестьянский вопрос, национальный и колониальный вопросы.

Так же, как и в школе Коминтерна, большое внимание обращалось на изучение и критику «враждебных» теорий и взглядов «противника».

Исторический факультет, наряду с другими заданиями, имел задание подчеркивать милитаристический характер основания Бранденбургской Марки, изгнание славян и (тогда еще не было «национального фронта»), реакционный характер прусского государства и, в особенности, развенчивать легенды о Фридрихе Великом.

Принимая во внимание наличие в школе партработников, пришедших из рядов социал-демократов, реформистские отступления Рудольфа Гильфердинга и Карла Каутского в их позднейший период прорабатывались тогда еще очень сдержанно. Так же осторожно относились к Лассалю. Правда, его взгляды критиковались, но его роль в немецком движении не изображалась столь негативно, как в школе Коминтерна. Август Бебель, значение которого так выдвигали на объединительном съезде в 1946 году, считался в то время еще полностью неприкосновенным и преподаватели-коммунисты шептались между собой:

— С ним надо обращаться, как с сырым яйцом.

В то время в партшколе считалось очень важным умение не только формулировать утверждения, но и приводить доказательства. Курсантам рекомендовали читать и изучать противоположные философские точки зрения. Курсанты изучали во всех подробностях, как следует разбивать утверждение о существующем, якобы, «марксистском детерминизме», подробно разбиралось взаимоотношение логики и диалектики и регулярно поступали отпечатанные на гектографе материалы под названием «Современные нападки на марксистскую философию», состоявшие исключительно из выдержек из буржуазной и социал-демократической литературы.

Правда, как в школе Коминтерна, так и здесь было сделано важное исключение: работ Троцкого, Бухарина и главных оппозиционных групп, а также книг бывших членов компартии, порвавших со сталинизмом, нельзя было найти в библиотеке и выдержек из них не было в гектографических материалах. Давать на прочтение эти книги казалось руководству СЕПГ в 1947 году в Берлине столь же опасным, как и руководству школы Коминтерна в 1942 году в Уфе.

Через некоторое время с этим стало еще строже. Нельзя было произносить даже имен ведущих членов компартии, порвавших со сталинизмом. Когда Артур Дорф, преподаватель факультета «Основы марксизма-ленинизма» и бывший участник испанской гражданской войны, однажды упомянул в своей лекции имя Пауля Фрёлиха (старого соратника Карла Либкнехта и Розы Люксембург, перешедшего в конце двадцатых годов в оппозицию), Фрида Рубинер, руководительница факультета, бросилась, как фурия, на подиум и закричала:

— Я не потерплю, чтобы здесь произносились имена троцкистских предателей!

Около двух третей лекций читались преподавателями Высшей партшколы. Ввиду того, что на каждом из четырех факультетов было от трех до четырех преподавателей и несколько ассистентов, у каждого из них было достаточно времени для подготовки лекций. Контроль был тогда еще не очень строгим — в настоящее время, как я выяснил, дело обстоит иначе. На совещаниях преподавательского состава факультета оговаривались заранее только основные мысли лекций и семинаров; доцентам и руководителям семинаров давалась, в общем, довольно большая свобода. Только от менее обученных, так называемых «слабых», доцентов или ассистентов уже тогда требовали письменно разработанного плана лекций и семинаров.

Кроме нас лекции читали гости из Центрального секретариата СЕПГ, из редакции центрального органа «Единство», из Восточно-Берлинского университета, а иногда и руководящие партработники из стран-сателлитов. Иногда это были лекции, входящие в план нашего обучения, иногда же они касались совершенно других тем, которые считались важными для расширения общего кругозора.

Так, например, Клаус Цвейлинг прочел лекцию «Введение в проблемы биологии», проф. Мейер — «Историческое развитие инструментальной музыки», доктор Поллак — «Вопросы конституции» и «Проблемы юстиции в управлении», проф. Мойзель из Берлинского университета — «О некоторых вопросах из истории XIX века».

Идеологические сдвиги в западном мире подробно разбирались. Например, когда в начале апреля 1948 года в Клаустале (Гарц) состоялся съезд физиков и философов, нас не только подробным образом информировали об этом, но и

прочли большое количество лекций, вводивших в проблемы, которыми занимался этот съезд.

Многим курсантам нелегко было заниматься теоретическими построениями физика Иордана или принципом Гейзенберга и тому подобными вещами.

Интересны были также лекции на международные темы. Уже в то время читались лекции о положении на Ближнем Востоке, о революции в Китае (членом партии, только что вернувшимся из Китая). Крупный работник болгарского партийного руководства Драмалев сделал подробное сообщение о положении в Болгарии, в котором сказал гораздо больше того, что можно было прочесть в прессе. В своих докладах по отдельным вопросам текущей политики СЕПГ, руководящие партработники говорили в Высшей партшколе, конечно, гораздо откровеннее, чем на открытых собраниях. Таким образом, мы получали ясное представление о ситуации в советской зоне и о внутренних трудностях партии, — в некоторых случаях нам даже запрещалось что-либо записывать.

Через несколько недель после моего приезда в партшколу, поздней осенью 1947 года, на конференции преподавательского состава нам сообщили:

— Соответствующие инстанции внесли предложение о расширении партийной школы. Помещения здесь, в Либенвальде, для этого недостаточны. В настоящее время уже проводятся работы по созданию новой партийной школы, которая будет находится в Клейн-Махнове, под Берлином. Переселение произойдет, вероятно, в начале 1948 года.

Принимая это решение, очевидно еще не рассчитывали на такое быстрое ухудшение взаимоотношений между Советским Союзом и Западом, так как новые здания партшколы находились всего в километре от границы американского сектора.

В конце сентября 1947 года Рудольф Линдау сказал мне:

— Сегодня я еду осматривать новые здания. Если хочешь, поедем вместе.

То, что я увидел в этот день, превзошло все мои ожидания, пять громадных, построенных по последнему слову техники, зданий с большими окнами были окружены парком. Гаражи, подземные ходы, соединяющие здания, сотни прекрасно меблированных комнат, каждая на двух-трех студентов. Несколько небольших вилл были отведены для руково-

дителей факультетов. Семейные преподаватели получали виллы в Клейн-Махнове, холостые — прекрасные квартиры в новом здании.

В первых числах января 1948 года мы переехали. После переезда деятельность школы была расширена, число шестимесячных курсов для ответработников было увеличено. Одновременно были введены различные новые курсы.

В начале 1948 года — через неполные три года после капитуляции гитлеровской Германии — этот громадный комплекс зданий, в которых одновременно обучались сотни ответработников, казался нам пределом возможного. Но это было только началом. Шестимесячные курсы для ответработников уже в 1949 году были продлены до девятимесячных; с 1950 года были введены, кроме того, годичные курсы, и осенью 1950 года началось особое заочное обучение при Высшей партийной школе, которое все расширялось и через три года было расширено до пятилетнего заочного курса. В феврале 1953 года начался первый трехгодичный курс; с 1954 года проводились только трехгодичные курсы, заканчивавшиеся государственным экзаменом. К этому времени Высшей партийной школе было дано право присвоения научных степеней.

Высшая партийная школа выпустила — и продолжает выпускать — сотни и тысячи обученных ответработников, убежденных в правильности своего мировоззрения.

ПОСЕЩЕНИЯ УЛЬБРИХТА И ТЮЛЬПАНОВА

Через несколько недель после нашего переселения — это было весной 1948 года — мы почувствовали, что предстоит изменение «генеральной линии». Гротеволь, Пик и Ульбрихт все чаще посещали Высшую партшколу. 16 апреля 1948 года Ульбрихт прочел пятичасовой доклад об общем положении в советской зоне, чтобы указать нам на предстоящие перемены. Ульбрихт открыто говорил о вещах, часть из которых стала «официальной» только через полгода. Важнейшие утверждения его инструктивного доклада были следующие:

В период между 1945 и 1947 годами о многом нельзя было говорить открыто. СЕПГ вынуждена была продвигаться вперед постепенно, как ввиду идеологическо-политической отсталости в партии, так и по внешнеполитическим причи-

нам. До 1947 года были созданы основы антифашистско-демократического порядка. Теперь, весною 1948 года, когда 40% всей продукции находится в руках народных предприятий и капитализм заметно ослаблен, этот период можно считать законченным. То же самое действительно и для сельского хозяйства — земельная реформа завершена, помещичьи земли окончательно и бесповоротно разделены. Теперь необходимо, оперевшись на крестьянина, — бедняка и середняка, — создать организацию для оттеснения кулачества.

Ввиду значительно изменившихся общественных отношений, заявил Ульбрихт, классовая борьба обострилась, но формы и методы классовой борьбы стали иными. «Теперь у нас есть возможность проводить наши требования в жизнь с помощью государственного аппарата. С другой стороны, мы должны стремиться к большей активизации массовых организаций и таким образом изменить политику блокирования в самой ее сущности».

Наша партия стала государственной партией, несущей всю полноту ответственности за народную полицию, плановое хозяйство, сельское хозяйство и культуру.

Политика «блокирования» играла в первый период большую роль. Но в настоящее время реакционные силы буржуазных партий снова подымают голову, чтобы под видом «контроля» свести на нет наши мероприятия.

В настоящее время мы еще не пойдем по пути перехода к однопартийной системе, но должны будем позаботиться о том, чтобы наша партия была ведущей силой в стране. Мы должны будем и в наступающем периоде сотрудничать с обеими партиями. «Было бы, вероятно, неплохо создать еще пару новых», — сказал Ульбрихт, саркастически ухмыляясь. Мы знали, что слова эти не были произнесены впустую — действительно, через два месяца после этого было объявлено о создании «Национал-демократической партии Германии» и «Крестьянской демократической партии Германии». Обе имели своей целью ослабление существующих буржуазных партий (Христианско-демократического союза и Либерально-демократической партии) и расщепление сил, стоящих вне СЕПГ.

Этот инструктивный доклад Ульбрихта подготовил нас, уже в середине апреля, к той перемене политического курса, которая радикально изменила всю жизнь советской зоны летом и осенью 1948 года. Теперь были сняты все «тормоза»,

которые были в силе до конца 1947 года, принимая во внимание ситуацию в остальной Германии и связи с западными союзниками.

С началом провозглашенной Ульбрихтом «новой фазы» на повестке дня оказалась «народная демократия», — система, развивавшаяся в государствах Восточного блока. До весны 1948 года определение содержания и существа понятия «народная демократия» было одной из «неразрешенных проблем», для которых еще не поступало официальных руководящих указаний. Поэтому можно себе представить наше напряжение, когда через несколько дней после доклада Ульбрихта Рудольф Линдау сообщил:

— Послезавтра товарищ Тюльпанов, политический советник при Советской Военной Администрации прочтет у нас доклад на тему о «народной демократии».

Полковник Тюльпанов изучал в Ленинграде философию. После этого был в течение многих лет видным партийным работником. Доклад он читал по-немецки.

Несмотря на то, что перед ним лежала рукопись, он говорил многое свободно, не заглядывая в нее. Более половины своего шестичасового доклада он посвятил анализу происхождения народной демократии. Тюльпанов говорил подробно о «двух признаках зарождения народных демократий» (наличие Советского Союза и общая борьба против фашизма), о «двойственном характере народно-демократической революции» (так как она одновременно и национальная и демократическая революция) и об особенностях классовых сил (союз рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, мещанства и патриотически настроенной части буржуазии). После этого наступило самое решающее. До сих пор мы рассматривали народные демократии — политическую систему стран Восточного блока, — как «прогрессивную» или как «реальную» демократию. Но теперь Тюльпанов разъяснил, что народно-демократическая революция, «если она протекает беспрепятственно, должна неукоснительно перейти в революцию социалистическую».

Народная демократия является переходной формой, создающей предпосылки для социалистического развития. Классовая борьба в народно-демократических странах протекает в особых, новых формах. «Можно было бы говорить о классовой борьбе сверху и снизу», так как партия располагает для ведения борьбы аппаратом власти. Народная демок-

ратия это «демократическая диктатура рабочих и крестьян», которая реализуется в форме коалиционного правительства.

— Если буржуазии удавалось проводить свою диктатуру в форме коалиционных правительств, то нам это удалось сегодня провести в обратном порядке, — воскликнул Тюльпанов. — Предоставим буржуазии бороться против государства.

Народная демократия разовьется в диктатуру пролетариата не через новую революцию, а посредством последовательного развития, для которого, однако, необходимо создание единой партии.

С окончанием народно-демократической революции начался, тем самым, процесс превращения этой революции в революцию социалистическую.

Особенно интересными были его замечания о положении в различных восточноевропейских странах весной 1948 года:

— Если мы представим себе реку, один берег которой назовем буржуазной, капиталистической демократией, а другой берег — социалистической формой государства, то мы могли бы сегодня сказать, что Югославия уже достигла другого берега, Болгария делает последние взмахи, чтобы его достичь, Польша и Чехословакия находятся на середине реки, за ними Румыния и Венгрия, проделавшие треть пути, в то время как советская зона Германии сделала только несколько движений, отплывая от буржуазного берега.

Я вспомнил о замечании Миши Вольфа, что Тюльпанов уже осенью 1947 года в узком кругу выступал против аккермановского тезиса, и ждал с напряжением, что он скажет на тему о различных путях к социализму.

Теперь, в середине апреля 1948 года, Тюльпанов, очевидно, счел своевременным уже в более широком кругу, хотя и осторожно, но сузить тезис о различных путях к социализму.

— Существуют специфические формы, отвечающие национальным условиям. Формы и методы могут быть различными, но содержание будет и должно быть всегда одинаковым . . . Опыт показал, что нет никакого специфического национально-болгарского, национально-югославского, нацио-

нально-польского, никакого особого венгерского или чехословацкого пути для перехода в социализм*).

Его доклад вызвал множество вопросов и он согласился обсудить с доцентами и лекторами школы еще несколько «дополнительных» тем и ответить на вопросы.

Через полчаса мы сидели с Тюльпановым в кабинете директора. Нам было сказано:

— Все, о чем здесь говорится, предназначено только для информации преподавателей и не должно выноситься на семинары.

Тюльпанов намекнул на предстоящее обострение международных отношений и на «быстрое политическое развитие событий» в советской зоне. Наконец, он начал оживленно рассказывать о подготовке к созданию новой партии.

— По инициативе СВАГ мы провели ряд расследований дел бывших членов и ответственных работников нацистской партии и пришли к убеждению, что там есть силы, которые можно использовать и которые неплохо было бы включить в существующие массовые и партийные организации. В настоящее время освобождается из заключения целый ряд бывших нацистов, с частью из них я вел продолжительные беседы. Чтобы активизировать эти силы, нами было внесено предложение рекомендовать создание партии, в которой бы эти силы сконцентрировались, объединились и смогли бы стать полезными для дальнейшего развития зоны. Партия будет, вероятно, называться национал-демократической партией.

В заключение он добавил:

— Этим силам надо будет дать в зоне достаточно большую возможность развития.

И в этой области мы, очевидно, находились на «новом этапе».

Национал-демократическая партия начала свою открытую деятельность приблизительно через два месяца, 16 июня

---

*) Доклад Тюльпанова в Высшей партшколе вскоре вышел в сокращенном и смягченном виде под псевдонимом «Е. Перлинг» в журнале «Нейе Вельт» („Neue Welt“). Всем высшим партийным инстанциям было отдано распоряжение изучить внимательно статью. Краевые и районные партшколы получили распоряжение внести ее в число обязательной литературы. Конечно, нигде не было упомянуто, что за псевдонимом «Е. Перлинг» скрывается политический советник Советской Военной Администрации Германии.

1948 года. Когда я вскоре после этого гулял по Клейн-Махнову со знакомым доцентом, мы увидели в непосредственной близости Высшей партшколы первый плакат этой новой партии. Мы увидели лозунг, напечатанный огромными буквами: «ПРОТИВ МАРКСИЗМА — ЗА ДЕМОКРАТИЮ!» Внизу, мельчайшим шрифтом были набраны слова: «С разрешения СВАГ», которая этот плакат не только разрешила, но, очевидно, даже рекомендовала . . .

Через несколько недель после доклада о «народной демократии», полковник Тюльпанов снова был у нас, но на этот раз не как докладчик. Он приехал для встречи с представителями ЦК иностранных компартий, среди которых находились также австрийский, чехословацкий и норвежский представители. От Центрального секретариата СЕПГ присутствовали, среди других, Пик и Далем, от Высшей партшколы — Рудольф Линдау и два преподавателя, один из которых был я. Члены ЦК из других стран сообщали в сжатой и непринужденной форме о положении на их участках.

В конце заседания Вильгельм Пик произнес несколько слов благодарности в адрес полковника Тюльпанова и советских оккупационных войск. Не успел он закончить, как Тюльпанов, с вежливой улыбкой, заметил:

— Товарищи, для меня большая честь, что наш товарищ Пик такого высокого мнения о советских оккупационных войсках, но я все же хотел бы сказать, что советские оккупационные войска допустили невероятно большое количество серьезных ошибок, которые, к сожалению, очень трудно исправить. Как единственное оправдание я могу сказать, что нам никогда до этих пор не приходилось проводить социалистической оккупации. Социалистическая оккупация была для нас чем-то совершенно новым. Я думаю, что в этом кругу я могу выразить уверенность, что если наши враги в будущем вынудят нас снова проводить социалистическую оккупацию, то на основании опыта в Германии, мы проведем ее лучше.

Задумчиво направился я домой, озабоченный новым понятием «социалистическая оккупация», — которое было произнесено Тюльпановым как нечто само собой разумеющееся. Это уже не был 1946 год и я ко многому относился гораздо более критически.

Социалистическая оккупация — разве это не исключающие друг друга понятия? Разве Фридрих Энгельс не писал:

«Победоносный пролетариат не может насильно осчастливить никакой другой народ, не погубив при этом своей собственной победы»*). К мозаике моих сомнений и размышлений прибавился новый камешек.

*) Фридрих Энгельс. Письмо Карлу Каутскому от 12 сентября 1882 года.

ГЛАВА IX

МОЙ РАЗРЫВ СО СТАЛИНИЗМОМ

В кругах коммунистических ответственных работников бытует специальное выражение: «политические колики»; под этим выражением подразумеваются сомнения, колебания, и воззрения, которые отклоняются от официальной линии партии. Большинство ответственных работников скрывают свои «политические колики», некоторые делятся возникшими сомнениями со своими близкими друзьями.

Естественно, что род этих «политических колик» зависит от области, в которой работает данное лицо в партии, — в экономике или в администрации, — а также от его политического образования и занимаемого им положения. Как бы отличны ни были «политические колики» внутри различных категорий ответственных работников, им всем присущи два общих признака:

Во-первых, в них едва ли можно обнаружить «западные» аргументы и «западное» мировоззрение. Они выражают оппозиционные настроения и воззрения внутри самой системы, выражают противоречия, возникшие между учением Маркса и Ленина, с одной стороны, и сталинской теорией и практикой, с другой.

Во-вторых, эти «политические колики» тщательно скрываются от беспартийных. Может случится, — и я это неоднократно испытывал, — что в дискуссиях с представителями Запада партийный работник, внутренне раздираемый тяжкими сомнениями, упрямо и с виду абсолютно убежденно защищает официальную партийную линию. Его западный собеседник отходит от него в твердом убеждении, что он говорил со стопроцентным сталинистом. Он считает состоявшийся разговор совершенно бессмысленным и бесполезным, а в действительности, тот же партийный работник, внутрен-

не оппозиционно настроенный, позже точно передаст свой разговор с ним, и часами будет вести дискуссии по затронутым вопросам со своими единомышленниками.

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОЛИКИ»

Несмотря на всю мою тогдашнюю нагрузку, несмотря на то, что всё мое время было заполнено партийной работой, что, впрочем, считалось вполне нормальным для всех партработников, — у меня то и дело появлялись критические мысли и сомнения. Нередко всплывали воспоминания о неприятных происшествиях и тяжелых для меня событиях, воспоминания, которые я загонял внутрь:

арест моей матери и мой, оставшийся без ответа, стук в ее дверь;

неспокойные мысли и опасения, связанные с процессами и арестами, которые мучали меня вечерами в детдоме, страх москвичей в годы ежовских чисток 1936-1938 годов и, — что еще хуже,—пришедшее в конце концов равнодушие ко всему;

арест моего друга Рольфа в спальне детдома в марте 1938 года;

пакт с фашистской Германией и последовавшее за ним изъятие антифашистской литературы;

изданные летом 1940 года драконовские законы, направленные против рабочих;

испуганные глаза одной студентки, которая под большим секретом созналась мне, что ее заставили работать осведомителем НКВД;

голодающие люди в Караганде и Уфе и, наряду с этим, привилегированное снабжение ответственных партработников, совершенно не знавших нужды;

ужасающая атмосфера на вечерах критики и самокритики в школе Коминтерна, в особенности во время исключения товарища Вилли;

печальный вид ответственного партработника, встреченного мною в Уфе, которого выгнали из школы Коминтерна, и его протянутая ко мне рука, просящая кусок хлеба;

заносчивое «превосходство» Ульбрихта по отношению к товарищам в Германии, которые там нелегально боролись, и его жесткость и резкость во время конфликта с Кёнёном на

заседании ЦК, его хитрость и коварство при проведении выборов в профсоюзы в Берлине.

Было и многое другое, что угнетало меня, но часто я внутренне боролся с такими воспоминаниями и сомнениями, потому что они не укладывались в привитое мне воспитанием представление о мире, потому что я не хотел, чтобы они ломали мою веру, мешали моей работе, разрушали мои надежды.

Чем дальше продвигалось мое политическое обучение, тем больше знаний получал я для опровержения своих сомнений и колебаний на «высшем» уровне, путем сложных теоретических рассуждений, которые далеко оставляли за собой официальную пропаганду для «масс».

С другой стороны, мои колебания и сомнения росли как раз по мере теоретического углубления моих знаний. Вскоре я установил, что был не одинок. Самые подкованные партработники часто особенно далеко заходили в своих «ересях». Поначалу все наши надежды устремились на то, что будущая социализация в Германии будет проводиться иными методами и в иных формах, нежели те, что мы наблюдали в Советском Союзе. В этом стремлении к независимой от Советского Союза и самостоятельной политике, к своему особому немецкому пути к социализму, мы находили обоснование в высказываниях Маркса, Энгельса и Ленина, труды которых каждый из нас хорошо знал и которые передавались у нас из рук в руки.

Мы все знали утверждение Карла Маркса в его речи в Амстердаме 15 сентября 1872 года:

«В один прекрасный день рабочий должен получить политическую власть в руки, чтобы обосновать реорганизацию труда . . . Но мы не утверждали, что пути достижения этой цели везде одинаковы. Мы знаем, что необходимо учитывать условия, порядки и обычаи различных стран». И Ленин, осенью 1916 года, указывал, что народы придут к социализму «не совсем одинаковыми путями», а «придадут различным сторонам общественной жизни свои особые черты».

На VIII съезде партии в марте 1919 года Ленин внушал большевистским делегатам: «Нельзя из Москвы рассылать приказы». В своей речи на III конгрессе Коммунистического Интернационала в 1921 году Ленин, обращаясь к своим иностранным товарищам, заявил, что «Коммунистический Интернационал никогда не потребует, чтобы вы рабски подра-

жали русским». В особенности нравилось нам изречение Ленина на IV конгрессе Коминтерна в 1922 году, когда он высмеивал иностранных ответственных партработников, которые русские резолюции «вешают, как икону, в угол и молятся перед ними».

Даже опубликованные Аккерманом в конце 1945 года и ставшие позже официальной партийной линией тезисы об особом пути к социализму рассматривались многими самостоятельно мыслящими партработниками, как недостаточные, так как, вопреки этим тезисам, на практике мы должны были поддерживать советский политический курс и советские мероприятия.

Чем явственней становилась связь с советскими оккупационными властями и с Советским Союзом, тем чаще появлялись «политические колики», тем шире был круг тем для разговоров «между собой». Нам становилось не по себе при мысли, что мы, возможно, пойдем теперь по тому пути, каким шел Советский Союз при Сталине. Часто нас, знавших жизнь в Советском Союзе по собственному опыту, спрашивали другие партработники, как «между нами говоря», выглядит всё в действительности в СССР. Совершенно естественно, что бывшие эмигранты встречались с бывшими нелегальными борцами в Германии и многое «между собой» критически продумывали.

Был ли пакт с Гитлером, действительно, только необходим внешнеполитическим компромиссом?

Как обстояло, в сущности, дело с освобождением Западной Украины и Белоруссии? Не было ли это заранее оговорено в договоре с фашистской Германией? Не было ли это фактически — страшно было даже подумать — империалистическим разделом Польши?

А война с Финляндией? Не Советский ли Союз напал на эту страну?

Не противоречили ли культ вождя, постоянное подчеркивание сталинского «мудрого руководства» и непогрешимости первоосновам живого социалистического движения? Разве не потребовал Маркс при своем вступлении в «Союз коммунистов», чтобы «из устава было выброшено всё, что способствует суеверному преклонению перед авторитетом»? Не заявляла ли Роза Люксембург, что «ошибки, которые делает подлинное рабочее движение, исторически неизмеримо пло-

дотворнее и ценнее, чем непогрешимость наилучшего Центрального комитета»?

Не противоречили ли введенные Сталиным и партией методы воззрениям Маркса и Энгельса о рабочей партии? «Все члены равны и являются братьями, и поэтому должны помогать друг другу в любом положении», гласило в уставе основанного Марксом и Энгельсом «Союза коммунистов».

У Сталина же мы читали:

«В рядах нашей партии насчитывается, если рассматривать руководящий слой, около 3000—4000 высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии.

Затем идут от 30000 до 40000 средних руководителей. Это наши партофицеры.

Затем идут от 100000 до 150000 низших командиров партии. Это, так сказать, унтер-офицерский корпус нашей партии».

Мы не могли не задуматься над резким противоречием между марксистским пониманием братства внутри партии и сталинским офицерским и унтер-офицерским корпусом партии.

Не находились ли претензии ВКП(б) на водительство, лозунг о «ведущей роли» Советского Союза в прямом противоречии с принципами международного движения, с принципами Маркса и Энгельса? Не писал ли Фридрих Энгельс во введении к своей книге «Немецкая крестьянская война» в 1874 году: «Совсем не в интересах этого движения, чтобы рабочие какой-либо отдельной нации маршировали во главе ее».

Мы вспоминали также слова Ленина во время Февральской революции 1917 года: «Русский пролетариат удостоился высокой чести начать серию революций . . . Мысль, однако, что русский пролетариат — пролетариат, избранный среди рабочих других стран, нам абсолютно чужда».

А национальная политика Сталина? Не были ли восхваление всего русского и провозглашение русского народа «ведущей нацией» полным отказом от социалистических принципов национальной политики?

Чаще всего мы обсуждали проблему чисток и в особенности большую чистку 1936-1938 годов. Прошло уже более десяти лет с тех пор, а мы все еще возвращались к этому вопросу. Разве те, кого уничтожало НКВД, не были соратниками Ленина, героями Октябрьской революции? Разве не

были другие сотни тысяч жертв больших чисток в свое время партизанами в гражданской войне и старыми большевиками? Могло ли это быть просто случайностью, что именно перед чисткой было ликвидировано Общество старых большевиков?

Когда я сегодня вспоминаю наши «разговоры между собой» тех времен, то, думается, можно выразить наши «политические колики» в следующих пунктах:

1. Зависимость СЕПГ (или партии сталинского типа какой-либо иной страны) от Советского Союза и ВКП(б) в противоположность требованию Маркса и Энгельса о равных правах для социалистического рабочего движения каждой отдельной страны.

2. Сталинский тезис, что страны «народной демократии» должны следовать Советскому Союзу, в противоположность провозглашенному Марксом и Энгельсом принципу, что движение к социализму в каждой стране должно идти соответственно собственным экономическим, политическим и культурным условиям.

3. Провозглашенный сталинизмом принцип неуклонного усиления государственной власти в СССР и странах Советского блока в противоположность учению Маркса и Энгельса, которое гласит, что социалистическое развитие приведет к ослаблению и, наконец, к отмиранию государства.

4. Всемогущество директоров государственных предприятий в Советском Союзе и в странах Советского блока в противоположность требуемому Марксом и Энгельсом руководству социалистических промышленных предприятий рабочими комитетами.

5. Претензии на непогрешимость «мудрого руководства» и суеверное преклонение перед авторитетом при сталинизме в противоположность к готовности свободно и открыто обсуждать проблемы, как мы находили это в сочинениях Маркса, Энгельса и Ленина.

6. Подавление свободы мнений в партии, что нам стало особенно ясно, когда мы в сочинениях Ленина читали об открытых и свободных дискуссиях, как это было обычным ранее в большевистской партии.

7. Огромные привилегии для ответственных работников в партии, в государственном аппарате и в экономике в противоположность учению Маркса, Энгельса и Ленина, согласно которому в социалистическом обществе никто не

имеет права «на оплату труда, превышающую заработок рабочего».

8. Неуклонное усиление подавления населения в противоположность к изложенным Марксом, Энгельсом и Лениным принципам, что ограничение свободы может рассматриваться лишь как временное мероприятие, направленное против класса эксплуататоров, оно должно быть снято после лишения их власти и заменено гарантией широчайших свобод для всех трудящихся.

Коротко очерченные и намеченные здесь «политические колики» могут показаться людям, привыкшим судить обо всем на основе собственного опыта и личных переживаний, весьма странными. Однако это были вопросы, которые нас глубоко затрагивали и которые мы обсуждали в наших «разговорах между собой». Нередко в библиотечных книгах высших партийных школ приведенные здесь цитаты и, конечно, многие другие, находящиеся в противоречии к сталинской политике, были жирно подчеркнуты.

Для нас, вышколенных в Советском Союзе и пропитанных коммунистической идеологией, эти цитаты значили порою больше, чем самые тяжелые и мрачные личные переживания. Они подтверждали наши сомнения и колебания и доказывали правильность наших оппозиционных воззрений. У ответственного партийного работника, выросшего при сталинской системе и воспитанного в этой идеологии, оппозиция начинается с марксистской точки зрения, с точки зрения защиты учения Маркса, Энгельса и Ленина против фальсификации сталинизма.

ПАЙКИ И ПРИВИЛЕГИИ

Одним из самых больших зол и частой причиной «политических колик» были привилегии ответственных партийных работников. Мои друзья и я, поскольку мы выросли в Советском Союзе, не знали иного положения и не видели поначалу никакой проблемы в материальных привилегиях, получаемых государственными, хозяйственными и партийными работниками. Хотя я уже и раньше, в 1942 году в Караганде, видел некоторую несправедливость в том, что различия во время войны были столь резки — рабочие массы и, между прочим, многие члены партии буквально голодали, в

то время как ответственные партработники не испытывали никаких материальных затруднений. Но я считал лишь, что размер этих привилегий преувеличен, а не осуждал самого факта их существования.

Случай заставил меня задуматься. Это было в октябре 1945 года в начале большой кампании объединения. Я шел из своего бюро в столовую ЦК. На лестнице со мной заговорил мужчина средних лет и симпатичной наружности.

— Извини, товарищ, ты здесь работаешь?

— Да, в Агитпропе.

— Как удачно! Меня пригласили как ответственного работника компартии Западной Германии. Только что мне дали талон на обед, но я не знаю, где здесь столовая.

— Это смотря по тому, какой у тебя талон.

Он удивленно посмотрел на меня и показал мне свой талон. Это был талон третьей категории — талон для «не столь ответственных» работников. Я указал ему дорогу.

— Скажи-ка, разве здесь, в ЦК, для сотрудников разные обеды?

— Конечно. Существует четыре категории талонов, смотря по тому, какую работу несет соответствующий сотрудник. Последние две категории — для технических работников и служащих.

— Да, но . . . разве это не наши товарищи?

— Само собой, — и уборщица, и шоферы, и ночные сторожа — проверенные члены партии.

Он с ужасом смотрел на меня.

— Разные талоны, разные обеды . . . но это же все наши товарищи!

Он, не прощаясь, повернулся и ушел; немногим позже я услышал, как скрипнула входная дверь. Товарищ ушел из здания ЦК.

Задумавшись, шел я через двор по направлению к столовой. Я проходил через помещения, в которых питались третья и четвертая категории, — низшие, и в первый раз, когда я открыл дверь в отдельный зал для моей категории, меня охватило неприятное чувство. За столами, накрытыми белыми скатертями, работники высшего ранга получали прекрасный обед из нескольких блюд. Странно, как это я не обращал прежде на это внимания!

Потом мне вспомнились роскошные виллы в Нидершёнгаузене, где жили Пик, Гротеволь, Ульбрихт, Далем, Аккер-

ман и другие. Почти каждую неделю я бывал там в гостях. Весь квартал был отгорожен и оба выхода охранялись советскими часовыми.

— Хорошо, я согласен, — сказал я одному из крупных ответственных работников, который там жил, — я понимаю, что необходимо принимать меры безопасности. Но почему охрану несут советские солдаты? Конечно, вам нужна просторная квартира, но почему это должна быть роскошная вилла? Это, правда, не принципиальный вопрос, но во времена общей нужды такие привилегии могут вызвать у населения озлобление.

Мой собеседник иронически улыбнулся.

— А что ты предлагаешь?

— Я бы предложил, чтобы все члены Центрального секретариата взяли себе трех- или, в крайнем случае, четырехкомнатные квартиры в рабочих районах. В нижних этажах можно поместить проверенных товарищей, хотя бы борцов бывшего «Союза красных фронтовиков», которые позаботятся о безопасности ничуть не хуже красноармейцев.

Мой собеседник стал серьезен.

— От тебя я не ожидал таких отсталых взглядов. Это означает отступление перед вражеской пропагандой. Это не что иное, как возвращение к мелкобуржуазной уравниловке. Почему наши руководящие товарищи не должны жить в этих виллах? Или ты хочешь вернуть их бывшим нацистам?

— Да я этого совсем не говорил, — ответил я, — я против таких роскошных вилл во времена общей нужды, когда в Берлине идет политическая борьба, когда всем известно, что ответственные работники социал-демократической партии на Западе живут гораздо скромней, и даже старый Кюльц из либерально-демократической партии занимает трехкомнатную квартиру в обычном жилом доме.

— Иногда у меня создается впечатление, что ты, несмотря на свое ответственное положение, сохранил нечто от революционного мечтателя.

Слова «революционный мечтатель» он произнес с холодным превосходством аппаратчика. Я ничего больше не возразил. Виллы, конечно, остались. Советская охрана — тоже. И то и другое стало предвыборным лозунгом социал-демократической партии на берлинских выборах 1946 года.

Кстати, некоторые товарищи сначала отказывались жить в этих роскошных виллах. Указание, что это нужно в инте-

ресах партии, было, однако, достаточно сильным. Некоторые чувствовали себя в этих роскошных домах совсем не так уж хорошо, и многих мучила совесть. Другие, напротив, быстро привыкли к своему новому положению. Среди самостоятельно мыслящих ответственных работников ходила меткая шутка, которую рассказывали шепотом: после лукулловского обеда какой-то крупный работник растянулся на диване и воскликнул: «Как хорошо принадлежать к господствующему классу!»

Виллы и иерархическое распределение обедов были не единственными привилегиями ответственных работников. Только что здание ЦК на Валльштрассе было отстроено и меблировано, как мы узнали об открытии дома отдыха, предназначенного специально для работников аппарата ЦК. Он находился в Бернике около Бернау, был по тогдашнему времени весьма роскошно оборудован, расположен в огромном парке и совершенно отгорожен от внешнего мира. Питание там было настолько прекрасным, что обеды в здании ЦК казались в сравнении с ним весьма скромными. Здесь мы проводили свои отпуска. Иногда ответственных работников посылали на несколько дней в дом отдыха в Бернике после какого-либо особого задания, чтобы они восстановили свои силы. Одного нельзя при этом забывать: насколько были велики привилегии, настолько большие требования партия предъявляла к ответственным работникам. Многие служили партии до полного физического изнеможения. Когда у них истрепывались нервы и они физически доходили до изнеможения, им разрешался короткий отдых. Однако ответственные партработники, которые не могли более выполнять заданий или требований партии по причинам надорванного здоровья или преклонного возраста — за исключением лишь самых высших партийных работников — выбрасывались, как выжатый лимон. И здесь принцип полезности был решающим.

При распределении привилетий точно учитывалось занимаемое положение. Дом отдыха в Бернике был сначала открыт для всех ответственных работников аппарата ЦК. Вскоре, однако, последовало разделение. Для самых крупных работников Центрального секретариата был создан еще более роскошный дом отдыха в Зеегофе.

Строгая иерархия проводилась также при раздаче знаменитых пайков, тех огромных пакетов с продовольствием,

сигаретами, табаком, спиртными напитками и шоколадом, которые мы регулярно получали наряду с питанием в столовой ЦК и продовольственными карточками. Так как пайки выдавались не только средним и высшим ответственным работникам партии, а также ответственным работникам государственного и хозяйственного аппарата, научным работникам, специалистам, писателям и работникам искусства, система раздачи была особенно тщательно разработана. Количество выдаваемых продуктов зависело от того, какую функцию несло то или иное лицо, насколько оно было «важно». Когда мы об этом говорили со стопроцентными, ответ их был весьма прост:

— Защита кадра! Наши товарищи должны так много работать, что само собой разумеется они должны быть освобождены от материальных забот.

Это может быть было и верно, но никак не объясняло иерархического распределения пайков. Кроме того, разве не работали рабочие на предприятиях и в шахтах, а также низшие партийные работники (которые не получали пайков) с полным напряжением сил?

В Саксонии я встретил одного партийного работника, который работал в организации Объединения свободных немецких профсоюзов (FDGB) и хорошо знал положение на заводах. Он доверял мне и ему хотелось поделиться со мной своими сомнениями.

— Между нами говоря, — сказал он, — зависимость от русских мы чувствуем внизу гораздо сильнее, нежели вы наверху, где разговор идет в более вежливой форме. В пайках есть тоже загвоздка . . .

— Могу себе представить! Рабочие наверняка озлоблены из-за этого.

— Да, и это тоже, но есть и нечто другое.

И он рассказал мне о судьбе одного ответственного работника из своего города, получавшего пайки.

Преданный партии товарищ, который провел многие годы в концентрационном лагере, вернулся на свой завод. Рабочие радостно его приветствовали. Он сделался ответственным работником и считался «первым человеком» на предприятии. Начинается демонтаж завода. Русские заявляют ему, что он должен оправдать проведение демонтажа перед рабочими. Когда демонтаж будет проведен — так они обещали ему — все будет на этом закончено и рабочие смо-

гут в дальнейшем спокойно работать. Товарищ поверил этому, а рабочие поверили его заявлению. Демонтаж был проведен. Рабочие думали, что теперь все закончено и горячо взялись за работу. Они притащили откуда-то снова машины и восстановили завод — не таким, каким он был, конечно, но все же он был пущен в ход. Прошло несколько месяцев. Товарища снова пригласили оккупационные власти. Ему сообщили, что его завод должен быть опять демонтирован. Он просил, напоминал об обещании, данном перед первым демонтажем, говорил, что потеряет доверие рабочих, указывал на вред, приносимый этим репутации партии? Ничто не помогло. Оккупационные власти настаивали на проведении повторного демонтажа. Он отказался объяснять это рабочим. Офицер насмешливо улыбнулся: «Если вы этого не сделаете, — сказал он, — я сообщу рабочим, что вы за это время получили в виде пайков и иных льгот». Тут он вынул список: все было аккуратно сосчитано и за полтора года набралось порядочно. Только тогда этот товарищ понял, что означают пайки. На следующий день он снова оправдывал демонтаж перед рабочими. Но он сейчас уже не прежний. Он сломленный человек.

После этого рассказа и я понял, что пайки это не только солидарная помощь жертвенным товарищам, и что служат они не только защите кадра . . .

ЗАПАДНАЯ ПРОПАГАНДА

Люди на Западе обычно удивляются, когда я говорю, что с 1945 года я каждый день читал крупные западные газеты.

— Ну и как? Как это на вас действовало? — спрашивают они сразу.

К сожалению, я могу только ответить:

— Никак. Если вообще можно говорить о действии, — за небольшим исключением, — то только о таком, что это изучение газет мне скорее мешало порвать со сталинизмом.

Три четверти места западные газеты, которые, естественно, должны считаться со своим, «западным», читателем, отводили и отводят описанию событий, которые нисколько не интересуют даже самого оппозиционно настроенного партработника. Большинство статей и комментариев написаны

таким языком, который хотя и понимает обученный на Востоке партработник и в который он может при желании вникнуть, но который оставляет его холодным.

«Эти ненаучные формулировки в западной прессе», — констатировали мы пренебрежительно, когда разговор заходил о «западных» статьях. Поскольку для нас все политические понятия, как народ, демократия, свобода, нация, социализм имели совершенно точное значение, любое употребление этих понятий, отклонявшееся от нашего определения, казалось нам «ненаучным», а статьи — написанными людьми, как мы тогда выражались, «лишенными какого-либо политического образования».

Естественно, что наш интерес вызывали, прежде всего, сообщения и статьи, которые трактовали вопросы, связанные с советской зоной, Советским Союзом или странами народной демократии. Мы только качали головами и нередко бывали глубоко разочарованы. Действительно важные события, которые вызывали среди нас широкие дискуссии и по поводу которых нам горячо хотелось прочесть серьезный западный комментарий, — совсем не упоминались. «Они вообще не знают, что происходит» — было лейтмотивом наших разговоров на эту тему.

Вместо этого, в западноберлинских и западногерманских газетах часто и подробно, со злорадством, сообщалось о недостатках и ошибках местных инстанций в советской зоне.

Ни один из моих друзей и знакомых не укрепился в результате таких статей в своей оппозиционности и не получил стимула к критическому обдумыванию положения; напротив, мы все без исключения были возмущены той заносчивостью, с которой на Западе высмеивали молодых бургомистров, попадавших на работу в государственный аппарат и делавших грамматические ошибки.

Таким образом мы всегда испытывали двойное разочарование: крупные события, которые нас занимали и которые мы обсуждали ночи напролет, от которых у нас начинались «политические колики» — не находили отклика в западной прессе, а относительно мелкие недостатки и промахи размазывались с великой охотой. Как раз это казалось нам несправедливым. В таких случаях мы из-за этих нападок чувствовали себя снова связанными с системой.

Нам хотелось услышать серьезные аргументы, которые помогли бы в разрешении наших принципиальных вопросов. Вместо этого нам рассказывали, насколько выше стандарт жизни рабочего на Западе по сравнению со стандартом жизни рабочего в советской зоне и в странах Советского блока. «Какие они делают открытия! — было нашей реакцией. — Как будто мы и сами этого не знаем! Конечно, жизненный стандарт в западноевропейских странах выше, чем в странах народной демократии. Это же совершенно ясно — погибающие системы общества во все времена истории имели высший стандарт жизни, чем развивающиеся».

Те немногие статьи, которые пытались более серьезно рассматривать проблемы, возникавшие в странах социалистических, кончались обычно славословием по адресу «частной инициативы» или «христианского Запада». Эти аргументы нас никак не убеждали, так как, в особенности у более молодого, политически подкованного поколения, резкая оппозиция к сталинскому режиму в большинстве случаев никак не означала приятия западной системы. Все попытки потрясти основы сталинской идеологии пропагандой «западной» системы, не имели для нас притягательной силы в сколько-нибудь заметной мере. Мы были противниками сталинизма, но мы не хотели вместо него восстановить старые капиталистические порядки. И мы внутренне протестовали против пропаганды, которая, как нам казалось, стремилась к восстановлению класса помещиков, к возвращению заводов их прежним владельцам, ко введению прежних партий и к автоматическому распространению западных систем на восточные страны.

Роковым образом действовал на нас иронический тон западных газет и радиопередач, в особенности по отношению к тому, что нам, даже оппозиционно настроенным, партийным работникам было свято: когда, например, Великую Социалистическую Октябрьскую революцию называли переворотом или нападали на Ленина и высмеивали его. Также и, зачастую с подтекстом превосходства, предпринимавшиеся попытки «опровержения марксизма» в газетах и радиопередачах не могли произвести на нас, ответственных партийных работников, желаемого впечатления. Они были большей частью рассчитаны на «массу» и столь примитивны, что мы вообще не принимали их всерьез.

Нередко положение в Советском Союзе обозначалось, как «осуществление марксизма». Наши «политические колики» происходили, однако, как раз из серьезных и обоснованных сомнений в том, что политическое развитие в Советском Союзе и в советской зоне идет в соответствии с принципами марксизма. А западные газеты — хотя и с обратным знаком — подтверждали нам, что официальный партийный тезис, пожалуй, верен.

Правда, были исключения и они навсегда останутся у меня в памяти. Однажды я, гуляя по Западному Берлину, обнаружил в одном из киосков около ратуши в Штеглице небольшую брошюру с интересным заглавием «Профсоюзы и социальная политика в Советском Союзе». Автор ее — Соломон Шварц. Имя мне ничего не говорило, оно было для меня совершенно неизвестно до той поры. Раскрыв брошюрку, я увидел, что она выпущена издательством «Нейе цейтунг» („Neue Zeitung") — до 1955 года официальной американской газеты на немецком языке в Германии.

«Вот, наверное, ерунда. Американцами издано!» — подумал я. Вернувшись на свою квартиру в Высшей партийной школе, я подготовил перо и бумагу, чтобы сразу записать все фальсификации и натяжки, в наличии которых я был твердо убежден.

Я начал читать: никакой ругани, деловой язык, множество цитат и таблиц и большой статистический материал, — так, как мы привыкли.

Я сравнил числа и цитаты. Они были верными. Мое перо все еще лежало наготове, но при всем желании я не находил ничего, что можно было бы подчеркнуть. Через два часа я прочел всю брошюру. Исключая двух-трех вопросительных знаков в отношении некоторых формулировок, мне нечего было противопоставить данным, статистическому материалу и цитатам из советской прессы. Всё, что я прочел, я знал и раньше, но я никогда не читал этого в такой обобщающей форме и никогда связь не была мне столь ясна.

Несколько месяцев спустя, в кругу оппозиционно настроенных ответственных работников ходила по рукам другая брошюра. Это были выдержки из книги Кестлера «Иоги и комиссар». Брошюра называлась «Советский миф и действительность» и вышла также в издательстве «Нейе цейтунг». Содержание ее меня сразу захватило, — уже на первых страницах речь пошла об Октябрьской революции. На

этот раз, однако, на нее не нападали и не высмеивали, как обычно в западных изданиях, и я прочел брошюру с интересом. Статьи или книги, в которых Октябрьская революция, — ее даже самые оппозиционно настроенные партработники считали одним из наиболее значительных событий в истории человечества, — поносилась или называлась переворотом, мы либо не дочитывали до конца, либо читали, как враждебный материал. Тем большим было мое удивление, когда я прочел в брошюре «Советский миф и действительность» восторженные слова Кестлера о российской революции, о героической эпохе захвата власти народом, о господстве рабочих и крестьян, о революционной войне, которая прокатилась по континенту в кильватере российской революции.

Многое, о чем я до того лишь догадывался, получило здесь связное изложение. Передо мной лежал труд, в котором современная система в СССР не рассматривалась как преемница Октябрьской революции, а служила доказательством, что сталинизм предал ее достижения и обратил их в их собственную противоположность.

Затем появился третий материал с Запада, показавший мне, что мы не одиноки в своих воззрениях. Это была книга Пауля Зеринга «По ту сторону капитализма» с подзаголовком «Попытка переориентации социализма».

Большая часть книги была посвящена Советскому Союзу и, несмотря на то, что многие ответственные партийные работники были несогласны с некоторыми высказанными в ней мыслями, произвела на нас глубокое впечатление; эта книга, среди той литературы, которую мы тогда получали, была первой попыткой дать анализ жизни Советского Союза, попыткой ответить на вопрос, почему развитие событий в Советском Союзе привело именно к такому типу государства, и насколько этот тип государства противоречит первоначальному учению классиков марксизма.

В Высшей партийной школе во многих комнатах студентов стояли радиоаппараты. Профессора имели также хорошие радиоприемники. Нередко слушали мы западные радиопередачи. Они обладали теми же недостатками, как и печатные издания.

Однажды мы сидели у меня в квартире и слушали радиостанцию РИАС. Почти каждое третье слово было — свобода. Один из нас встал и с раздражением выключил приемник.

— Что они пристали со своей свободой! Во-первых, на Западе нет свободы, а во-вторых, они там и не знают, что такое свобода.

Мы согласились с ним. Он отнюдь не был приверженцем генеральной линии, наоборот, он был настроен оппозиционно. Но эта оппозиция, — на Западе это часто забывают, — вращалась в кругу наших представлений, нашей терминологии, занималась решением наших проблем и не имела ничего общего с симпатией к Западу или с западным пониманием свободы.

Для нас свобода была осознанной исторической необходимостью. Так как мы были единственными, кто на основе научных теорий осознавал эту историческую необходимость, то мы и были свободны, в то время как люди на Западе, не обладавшие такой научной теорией и поэтому невежественно и беспомощно противостоявшие историческому развитию, становились игрушкой этого развития и были несвободны.

Однако и среди радиопередач были исключения: первым был радиоспектакль по книге Кестлера «Тьма в полдень». Об этой книге я еще ничего не слыхал, но так как я читал брошюру Кестлера, то включил приемник. Уже после первых реплик действие меня захватило. Радиоспектакль о старом большевике, который попал в тюрьму НКВД! Когда передача кончилась, я ушел и гулял несколько часов, чтобы иметь возможность обдумать слышанное. В течение ближайших дней я установил, что и другие партработники слышали эту радиопередачу; она произвела и на них глубокое впечатление. С того дня я начал чаще слушать западные радиопередачи, но по прошествии недели вновь забросил. Слушать не было смысла. Такие интересные передачи составляли исключение.

В середине января 1949 года мы вновь собрались целой компанией — один из нашей группы партработников был офицером народной полиции.

— Через полчаса будет передача РИАСа к годовщине смерти Розы Люксембург, — заметил один.

— Американская радиостанция о Розе Люксембург! — отозвался другой.

С недоверием включил офицер народной полиции радиоприемник. Но наше недоверие быстро исчезло. Объективными, даже хвалебными словами была обрисована эта крупная немецкая революционерка. Одновременно были да-

ны выдержки из ее работы «Российская революция», из работы, которая не цитируется ни одной газетой советской зоны и не выдается ни в одной партийной школе, как учебный материал. (И в позднейшее двухтомное издание речей и статей Розы Люксембург она не была включена). Эта работа ходила среди оппозиционно настроенных ответственных работников СЕПГ по рукам, и я сам получил ее от одного товарища не где-нибудь, а в здании одного из краевых управлений СЕПГ. И вдруг мы услышали выдержки из этой работы по радиостанции РИАС:

«В результате удушения политической жизни во всей стране, все более парализуется и жизнь в Советском Союзе. Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений — жизнь любого общественного организма прекращается, становится мнимой жизнью, в которой активна лишь бюрократия. Общественная жизнь постепенно замирает, несколько дюжин партийных вождей руководят и правят с неисчерпаемой энергией и безграничным идеализмом, но среди них в действительности руководит лишь десяток выдающихся голов. А рабочая элита от времени до времени созывается на собрания, чтобы аплодировать речам вождей, единогласно принимать предложенные резолюции. По существу, это означает правление одной клики, — то есть это несомненно диктатура, но не диктатура пролетариата, а диктатура кучки политиков . . .»

После передачи еще нескольких текстов под конец раздались слова, как удар хлыстом: «С кем была бы сегодня Роза Люксембург?»

В комнате царила тишина. Все молчали, и каждый думал: что-то думает сосед? На сей раз нелегко было ответить на этот вопрос: троих из присутствующих я не знал. Я был осторожен:

— Во всяком случае не с американцами.

— Но и не с нами, — сказал один из двух мне незнакомых партработников твердо. Остальные кивнули в знак согласия, офицер народной полиции также.

Эти несколько брошюр и радиопередач с Запада остались так ярко в памяти, вероятно потому, что отвечали нашим исканиям: разбор классового характера системы в понятиях и терминах, которые нам были близки, исследование степени отхода сталинской системы от марксистских прин-

ципов, и как должен был бы выглядеть Советский Союз, если бы он шел по марксистскому пути развития.

Так как газеты и радиопередачи с Запада не занимались столь важными, решающими для нас вопросами, мы, группа самостоятельно мыслящих и страдающих беспрестанными «политическими коликами» социалистов, — а с нами, вероятно, тысячи других членов и ответственных работников СЕПГ, — должны были, продвигаясь с трудом шаг за шагом, сами решать наши проблемы, не получая ни с какой стороны хотя бы побуждения к размышлениям и дискуссиям, которые могли бы нам помочь противопоставить что-либо сталинизму.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЮГОСЛАВИЕЙ?

Весной 1948 года произошли события, взволновавшие нас так, как мы не волновались со дня основания партии. Началось все совершенно безобидно, казалось бы, с незначительных случаев, которые мы не могли объяснить себе и по поводу которых мы не получили никаких разъяснений.

Произошла непонятная история с поездкой 150-ти членов Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ). После моей поездки в Югославию летом 1947 года я сделал доклад председателю ССНМ Гоннекеру. Связь между Союзом свободной немецкой молодежи и Народной молодежью Югославии (НМЮ) была налажена, а с осени того же года началась кампания под лозунгом «Лучшие 150 членов ССНМ едут летом 1948 года в Югославию». Центральный орган ССНМ «Юный мир» („Junge Welt“) печатал длинные статьи, на конференциях ответственных партработников выбирались лучшие члены ССНМ для поездки в Югославию.

Вдруг, за одну ночь все переменилось. Кампания была приостановлена. Никаких статей в газетах, никаких объяснений, — как будто никакой кампании и не бывало.

— Что случилось с вашей югославской кампанией? — спросил меня член Центрального совета.

— Я сам точно ничего не знаю. Дело очень странное: на нашем последнем совместном совещании советские друзья сказали нам, чтобы мы прекратили кампанию. 150 членов ССНМ, по всей вероятности, не смогут летом 1948 года ехать в Югославию. Обоснование не было дано. Они лишь сказали, что лучше всего незаметно прекратить кампанию.

Вскоре после этого я услышал, что в ближайшие недели четыре высших ответственных работника СЕПГ посетят страны народной демократии. Через несколько дней пришло официальное оповещение об этой поездке руководителей СЕПГ. В Югославию не поехал ни один.

Когда я был летом 1947 года в Белграде, я договорился, что приеду следующим летом снова. Дело было в мае 1948 года, вскоре я должен был получить отпуск. Я отправился в югославскую военную миссию, чтобы выяснить вопрос о моей поездке.

— Ты можешь ехать к нам в любое время. Ты же официально приглашен Центральным советом Народной молодежи. Мы будем очень рады.

Югославские товарищи были очень любезны, но когда я осторожно поставил вопрос, как обстоит дело с 150 членами ССНМ, они ответили мне весьма уклончиво:

— Мы ничего не можем сказать определенного. С нашей стороны приглашение остается в силе.

Больше они ничего не сказали, но и этого было достаточно. Я теперь знал: югославы согласны были на поездку 150 членов ССНМ. ССНМ был также за поездку. Оставалась лишь одна возможность: были против советские представители.

Но почему? Какие к этому основания?

Утром 29 июня 1948 года я пошел, как всегда, за газетой. Там, где раздавали у нас газеты преподавателям и руководителям факультетов, мне пришлось немного подождать, так как около меня получал газеты профессор Виктор Штерн. Сверху лежал «Телеграф» с огромным, броским заголовком: «Сталин порывает с Тито, Тито обвинен в троцкизме».

— Такая глупость! Вечно пишут какую-то ерунду! Что это значит: «Тито обвинен в троцкизме» — бессмыслица какая-то! Тито ведь как раз удалил троцкистов из руководства партией.

Раздраженно засопев, Виктор Штерн сложил свою газету и ушел.

Быстрым взглядом я окинул заголовки крупных западных газет и понял: это не было «уткой» «Телеграфа», это было объяснением странных событий последних недель.

В восточных газетах в это утро не было напечатано по югославскому вопросу ни строчки.

Я побежал в свою комнату и внимательно прочел сообщения всех западных газет. Они были так коротки, что невозможно было составить себе полной картины. Одно было ясно: Коминформом была принята и опубликована резолюция, которая обвиняла Югославию в политических ошибках и уклонах. С этой минуты я, почти не отрываясь, сидел у радиоприемника. Через два часа ко мне в Клейн-Махнов пришла моя подруга Ильза, которая относилась для меня к тем, кому можно было доверять. Она работала в здании Центрального секретариата в редакции газеты «Новый путь» („Neuer Weg"). Она, конечно, слышала новость и уже побывала в редакциях различных газет, чтобы поговорить с друзьями.

— Полного текста еще нет, но он должен появиться в наших газетах завтра утром. Уже сейчас везде царит большое волнение, но в точности еще ничего неизвестно.

Мы до глубокой ночи сидели у приемника. Все еще положение не прояснялось.

На следующее утро — 30 июня 1948 года — я получил, наконец, текст резолюции Коминформа. Внимательно читал я обвинения, предъявленные югославским коммунистам и все более приходил в ярость от этих примитивных и, как я знал, совершенно необоснованных нападок.

Не прошло еще и десяти месяцев после моей поездки в Югославию, и я не только с того времени, но уже и ранее регулярно читал всё, публикуемое в Югославии. Поэтому мне не трудно было установить, что обвинения были ложными.

Югославские коммунисты обвинялись в «буржуазном национализме». Как в разговорах с югославскими коммунистами, так и в их печати царил дух интернационализма, которого я часто безуспешно искал в Советском Союзе.

«Поддержка капиталистических элементов в деревне» — читал я в резолюции и знал, что югославские коммунисты не только провели наиболее последовательно земельную реформу, но и организовали первыми среди стран народной демократии сельскохозяйственные артели.

«Антисоветская установка!» Я вспомнил, как в югославской печати писалось о Советском Союзе, как югославы идеализировали СССР, как они свои большие достижения всегда ставили после достижений Советского Союза.

Над тем, что в югославской компартии якобы царит «военно-бюрократическая» система, я мог только рассмеяться. Не кто иной, как советская коммунистическая партия, в которой как раз и царит военно-бюрократическая система, которая, вопреки своим собственным уставам, с 1939 года, то есть уже девять лет, не созывает съезда партии, — становится в позу защитницы партийной демократии!

Затем снова шли нападки на югославскую земельную политику, на этот раз из-за так называемого «левого уклона». Ее обзывали «авантюристической», — а за несколько фраз до этого, — югославским коммунистам бросался упрек в «оппортунистических взглядах».

В общем все это было курам на смех.

«Кто может принять такой документ всерьез или верить в то, что там написано», — думал я. Однако в следующую же минуту я сам принял его всерьез, правда, не из-за содержавшихся в нем «аргументов», а из-за угрозы и предупреждения в конце резолюции:

«Задача этих здоровых сил компартии Югославии заключается в том, чтобы открыто и честно признаться в своих ошибках . . . или, если теперешнее руководство коммунистической партии Югославии окажется к этому неспособным, снять его и заменить новым интернационалистическим руководством коммунистической партии Югославии».

Это было ясно сказано — даже слишком ясно. Единственная страна в Европе, в которой за последние 20 лет произошла победоносная революция и во главе которой стояла коммунистическая партия, должна была быть приведена в повиновение. Мне было сразу понятно, — для этого я уже достаточно хорошо знал советскую политику, — что дело заключалось совсем не в содержавшихся в резолюции обвинениях, а в том, что югославские коммунисты, очевидно, вели до некоторой степени самостоятельную, собственную политику.

С первой же минуты я с твердым убеждением встал на сторону оклеветанных и обвиняемых югославских коммунистов и против тех, кто представлял резолюцию Коминформа.

Я был не одинок. В этот день я, к счастью, был занят лишь в предобеденные часы и после обеда поехал в Берлин, чтобы повидать друзей. Берлинская блокада, начавшаяся в эти же дни, почти не упоминалась в наших разговорах, хотя все они происходили в Берлине.

Все вертелось вокруг одного вопроса: что будут делать югославы? Подчинятся ли они и признают несовершенные ими ошибки, капитулируют ли перед недвусмысленными, массированными угрозами? Или найдут в себе мужество противостоять этой резолюции? Многие, сменяясь, дежурили у радиоприемников, чтобы ничего не пропустить: они ждали ответа Югославии.

— Лишь бы они не подчинились! — было лейтмотивом всех разговоров среди доверявших друг другу людей. Вечером пришла моя подруга Ильза из Центрального «Дома Единства».

— В стеклянном дворце — как в пчелином улье. Все страшно возбуждены. Некоторые симпатизируют югославам. Надо надеяться, что они устоят!

Снова сели мы к радиоприемнику. Прошло полчаса, час... Наконец мы услышали голос диктора Би-Би-Си: «Центральный комитет коммунистической партии Югославии отклонил обвинения Коминформа, как необоснованные».

Еще никогда я не был так наэлектризован каким-либо сообщением.

Радиостанция Би-Би-Си сообщала, что ЦК югославской компартии собрался, опроверг обвинения одно за другим и заявил, что он не собирается признавать ошибки, которые Югославия никогда не совершала.

Мы еле сдерживали свою радость. Наконец-то, наконец нашлась партия, у которой хватило смелости противоречить сталинскому руководству!

Но сразу же возникли и опасения.

— Смогут ли югославы держаться? Дело, ведь, наверняка не остановится на резолюции.

— Может быть, Болгария или какая-либо иная страна народной демократии перейдет на сторону Югославии, может быть, Польша. Может быть, дело дойдет до внутренних разногласий в компартиях стран народной демократии.

До поздней ночи мы обсуждали этот животрепещущий вопрос и пытались поймать радио Белград, но в тот вечер нам это не удалось. В ближайшие дни мы узнали, что были не единственными, взволнованно сидевшими у радиоприемника, чтобы выяснить все обстоятельства того невероятного факта, что одна из коммунистических партий опротестовала

резолюцию Коминформа и, таким образом, противостояла Сталину.

Нам все еще недоставало главного звена в цепи: у нас не было полного текста югославского ответа Коминформу. Некоторые оптимисты надеялись, что газеты Социалистической единой партии Германии опубликуют югославский ответ. Их ожидало, конечно, разочарование. Мы начали покупать все газеты, которые можно было в те времена получить в Берлине и слушали все западные радиопередачи. К сожалению они лишь резюмировали события.

Мы возмущались:

— Если бы они хоть дали полный текст ответа!

Но вот три дня спустя у нас в руках был, наконец, ответ. Его опубликовало агентство Танъюг в своем бюллетене. До того бюллетень Танъюг был лишь одним из многочисленных бюллетеней, которые валялись в редакциях газет. За одну ночь бюллетени югославского агентства печати стали наиболее волнующими и значительными документами среди тех, которые распространялись в СЕПГ. Теперь мы могли прочесть черным по белому то, что нам до той поры казалось невероятным: руководство одной из коммунистических партий отказалось признать резолюцию Коминформа и открыто объявляло ее лживой: «Критика, содержащаяся в резолюции, базируется на неточных и необоснованных утверждениях и представляет собою попытку подорвать престиж коммунистической партии Югославии за границей и в стране, вызвать в массах в стране, а также в международном рабочем движении замешательство».

Спокойно и по-деловому, с приведением большого количества фактов, были одно за другим опровергнуты утверждения резолюции Коминформа. В особенности интересен был для меня ответ на упрек в слежке за советскими военными и гражданскими специалистами в Югославии. Югославы не только отклонили обвинения в этом пункте, они заявили со своей стороны, что советская разведка пыталась насадить свою агентуру в братской компартии. Целый ряд членов компартии Югославии в особых заявлениях сообщали своим партийным организациям, что «органы советской разведки откровенно вербовали их. ЦК компартии Югославии придерживается мнения, что такое поведение по отношению к стране, в которой коммунисты являются правящей партией и ко-

торая движется к социализму, непозволительно и ведет к деморализации населения Федеративной народной республики Югославии, к ослаблению и подрыву партии и государства».

«Это должно было бы и наше руководство СЕПГ когда-нибудь сказать!» — с тяжелым вздохом сказал один из ответственных партработников, который так же, как и я, особенно жирно подчеркнул это место.

Югославы ясно и недвусмысленно закончили заявлением, что они отказываются признать обвинения резолюции Коминформа правильными, одновременно, однако, — что было для нас особенно важным, — будут продолжать «с еще большей выдержкой строить социализм».

Человеку на Западе трудно представить, какое глубокое впечатление произвели на нас те фразы югославского ответа, где осуждалось рабское подчинение, где югославы отказывались признать несовершенные ими ошибки — ведь на признании своих «ошибок» основана вся система критики и самокритики, вся сталинская система. Заявление ЦК КПЮ звучало для меня революционным призывом:

«ЦК коммунистической партии Югославии не считает, что своим отказом обсуждать несовершенные ошибки оно в какой-либо степени нарушило единство коммунистического фронта. Единство этого фронта основывается не на признании придуманных ошибок и сочиненной клеветы, а на том факте, является ли политика данной партии действительно интернационалистической или нет. Нельзя, однако, обойти молчанием тот факт, что Информационное бюро пренебрегало принципами, на которых оно основано и которые предусматривают добровольность принятия любой партией соответствующих резолюций. Информбюро не только принуждает руководство коммунистической партии Югославии признать несовершенные им ошибки, но и призывает членов КП Югославии к бунту в партии и к расколу единства партии. Центральный комитет КП Югославии никогда не сможет согласиться с тем, чтобы его политика обсуждалась на основе выдумок, нетоварищеского отношения и при отсутствии взаимного доверия».

Ответ югославских коммунистов по своему действию был равен разорвавшейся бомбе. Куда бы я ни пришел, все обсуждали его и многие вытягивали бюллетень агентства Танъюг из кармана.

— Вот бюллетень Танъюг, — шептал один другому, — но верни мне его завтра, на него уже записалась целая очередь.

Так бюллетень переходил из рук в руки.

Пока что в этом не было ничего нелегального: СЕПГ еще не высказала своего отношения к событиям и кое-кто надеялся на некоторого рода нейтралитет с ее стороны. Однако эти надежды не оправдались.

СЕПГ ВКЛЮЧАЕТСЯ

4 июля 1948 года все газеты СЕПГ дали на первых полосах так называемое «Заявление по югославскому вопросу». СЕПГ полностью солидаризировалась с резолюцией Коминформа, несмотря на то, что сама она в него не входила.

«Центральный секретариат Социалистической единой партии Германии разобрал коммюнике Информационного бюро коммунистических партий и считает *правильным* осуждение политики Центрального комитета Коммунистической партии Югославии».

Из этой резолюции стало еще более ясным, чем из самой резолюции Коминформа, в чем, собственно, состояли расхождения:

«В первую очередь ошибки Коммунистической партии Югославии показывают, куда это ведет, если ведущая рабочая партия отказывается от самой важной основы — братских отношений к социалистическому Советскому Союзу и к партии Ленина-Сталина . . . Особенно ошибки Коммунистической партии Югославии показывают нашей партии, что ясное, недвусмысленно-положительное отношение к Советскому Союзу является сегодня единственно возможной позицией для каждой социалистической партии . . .»

У меня по спине побежали мурашки. Зная партийный язык, я понял, что это значило: еще большее подчинение СЕПГ Советскому Союзу и советской политике, конец тезиса об особом германском пути к социализму.

Последний абзац этого документа гласил:

«Центральный секретариат СЕПГ осуждает также, что ведущие югославские коммунисты в Берлине распространяют материалы, которые направлены против коммюнике. Цент-

ральный секретариат видит в этом грубое нарушение традиций международного рабочего движения».

Это было уже верхом подлости! СЕПГ не только отказалась выполнить свой прямой долг и опубликовать оба материала, относящихся к этому политическому расхождению среди коммунистических партий, но она протестует даже, когда представители югославских коммунистов сами делают все, чтобы дать возможность узнать точку зрения их партии!

Теперь бюллетени Танъюг стали с официальной точки зрения СЕПГ «антипартийными». Но многие ответственные работники СЕПГ никак не соглашались с тем, чтобы материалы одной из коммунистических партий считать «антипартийными». Были присланы следующие номера бюллетеня Танъюг, в которых подробнее разбирались отдельные вопросы разыгравшегося конфликта. Мы выяснили, что обратные адреса и фамилии отправителей были вымышленными, а материалы запечатывались в различнейшие конверты, чтобы затруднить вылавливание.

— Дело мастера боится, — с довольной миной усмехнулся один из ответственных партработников, — югославы неплохо соображают.

Бюллетени агентства Танъюг были неистребимы. Все самые важные статьи югославской прессы сразу же появлялись в переводе на немецкий язык и по многим каналам проникали в среду ответственных партработников СЕПГ.

Ситуация была столь серьезной, что 29 июля 1948 года руководство СЕПГ приняло резолюцию об «организационном укреплении партии и чистке ее от выродившихся и враждебных элементов». Резолюция требовала «ускоренного процесса исключения следующих категорий членов партии: 1) членов партии, поддерживающих враждебную партии установку; 2) членов партии, обнаруживающих антисоветские настроения».

Каждый знал, что при этом в первую очередь имелись в виду те, кто, как тогда говорили в партии, «накренился в югославском вопросе».

Многие ответственные работники, с которыми мне пришлось разговаривать в те дни, были на стороне югославов, — хотя многие давали это понять лишь очень осторожно, — или, по крайней мере, придерживались мнения, что СЕПГ не должна была ни в коем случае становиться безоговорочно на сторону Коминформа. Даже приверженцы Коминформа не

соглашались полностью со всеми утверждениями резолюции.

В особенности интересен был для меня разговор с Паулем Ванделем, бывшим в то время начальником Центрального управления народного образования и являющимся с 1953 года секретарем ЦК СЕПГ.

Я знал Ванделя еще по школе Коминтерна, под партийной кличкой «Класснер», в бытность его там преподавателем и решил не высказывать открыто своего мнения. В полной уверенности, что я в югославском вопросе «верен СЕПГ» он стал жаловаться мне на действие бюллетеней Танъюг:

— Представь себе только, Вольфганг, это просто невероятно! Прихожу я вчера в свое бюро и должен был два раза громко позвать свою секретаршу, прежде чем она вообще как-то реагировала. Спросишь, что она делала? Читала бюллетень Танъюга. Она — член партии и до сих пор всегда тотчас же передавала мне все антипартийные материалы.

Мне стоило большого труда скрыть свою радость. «Значит не только в партийном аппарате, но и в главных управлениях читают бюллетени» — подумал я.

Я сидел у моего бывшего преподавателя по школе Коминтерна. Он сделал из меня ответственного партработника. Как он мне все объяснит?

— Говоря серьезно, Вольфганг, то, что написано в резолюции, конечно, упрощено для масс. Нельзя понимать все слишком буквально, а нужно распознавать политический смысл дела.

Пауль Вандель попытался оправдать резолюцию Коминформа, так сказать, «на высшем уровне», так как он считал, очевидно, что прошедшему хорошую выучку ответственному партработнику нельзя преподносить такую резолюцию.

— Я много занимался балканским вопросом благодаря своей бывшей деятельности в балканском секретариате. Следует представить себе дело таким образом . . .

Он начал с XIX века, описал особенности взаимоотношений между классами на Балканах, роль национально-революционной интеллигенции, которая хотя и была революционна, но никогда не была подлинно марксистски настроена, и влияние которой до сих пор ощущается в партии. Он говорил о троцкистах, которых хотя и удалили из югославской компартии, но мышление которых еще не преодолено, и о югославских партийных вождях, которые, хотя и были примерными борцами, но — поскольку они все время оста-

вались в своей стране — не имели возможности пройти соответствующую подготовку.

— Все эти факторы вместе взятые, — Пауль Вандель говорил уже более получаса, — создали ту ситуацию, которая привела к сегодняшнему положению.

Хотя это и был очень подробный доклад, он меня не убедил.

Может быть Антон Аккерман мог мне разъяснить проблему? Я считал его одним из самых умных людей в партийном руководстве, единственным, кого действительно с правом можно было назвать партийным теоретиком. Хотя я и знал, что он, говоря со мной, будет защищать резолюцию, я пошел к нему.

Мы сидели в одной из комнат его виллы, обставленной с большим вкусом.

— Давай-ка выпьем сначала коньяку. У тебя такое лицо, будто ты страдаешь «политическими коликами», — сказал он.

— Вполне соответствует истине. Знаешь, я думаю . . .

— Можешь не продолжать. Я могу себе представить в чем дело: Югославия.

Я не успел слова сказать. Мне показалось даже, что он боялся моих возможных аргументов в пользу югославов, которые могли бы затруднить его положение.

Он встал и начал ходить по комнате. В противоположность Ванделю он не искал никаких ни исторических, ни социологических обоснований резолюции Коминформа.

— Вольфганг, ты же, несмотря на свои молодые годы, уже старый партиец. Ко многому приходится привыкать. Представь, что ты плывешь на корабле, капитан которого, ты это знаешь, — всегда благополучно проводил корабль между всеми подводными камнями, скалами и рифами; и вдруг он делает резкий поворот, кажущийся тебе немотивированным или даже неправильным; нужно просто иметь доверие к капитану, так как он наверное знает, почему он так делает: надо думать, что он, вероятно, лучше видит и не мешать, а, наоборот, помогать ему, — даже если этот поворот совершенно непонятен.

Он не смотрел на меня, а глядел все время в пол перед собой.

Когда я сегодня вспоминаю этот разговор, он во многих отношениях кажется мне типичным для той раздвоенности

сталинской идеологии, которая притязает на то, что действует по стройному и логическому диалектическому методу, в то время как, в действительности, она пользуется им лишь как средством последующего оправдания, идеологии, в которой основной принцип политобучения состоит в том, чтобы держаться точно установленных определений, обосновывать все мероприятия логично и ясно, а потом, вдруг, без подготовки — именно при таких «поворотах» советской политики, которые просто невозможно логически обосновать — вводить иррациональные моменты слепой веры в «непогрешимого капитана».

КАМПАНИЯ ПРОТИВ ТИТОИЗМА

Мои лекции и семинары в Высшей партийной школе я продолжал вести, но сердце у меня к ним уже не лежало. Мои мысли все время возвращались к югославам, к партии, которая претворяла в жизнь то, что мне казалось верным: построение независимого от СССР социалистического общества. Мои мысли, мои симпатии, мои надежды, мои пожелания были с югославскими коммунистами, на которых нападал и клеветал Коминформ.

Спустя два дня я собирался посетить одного знакомого из югославской военной миссии, с которым я в прошлом году говорил о моей поездке в Югославию. Я решил дождаться темноты и идти пешком.

Чем ближе я подходил к Пфейльштрассе, где находились виллы югославов, тем чаще я оборачивался, чтобы проверить нет ли за мной слежки.

До моего сознания вдруг дошло мое совершенно новое положение: ответственный партработник, прошедший политическую школу в Советском Союзе, преподаватель Высшей партийной школы СЕПГ, собирающийся посетить югославского коммуниста и партизана, должен делать это тайком. Еще несколько недель тому назад эта мысль меня бы глубоко поразила. Сейчас мне было от нее лишь грустно. Внутренне я уже перестал быть ответственным работником СЕПГ — в ту минуту мне стало это особенно ясно. В первом доме по левой стороне Пфейльштрассе жил Пауль Маркграф, до 1949 года начальник полиции Восточного Берлина. Он в тот же день, что и я, прибыл самолетом из Москвы.

Думая о его деятельности, я со смешанным чувством посмотрел на его дом.

Мой югославский знакомый выглядел невыспавшимся, утомленным, почти больным. Прошедшие со времени вынесения резолюции Коминформа две недели наложили на него свой отпечаток. Когда он узнал, что я принадлежу к тем ответственным работникам, которые не только сомневаются в правильности резолюции Коминформа, но начисто ее отрицают, он дружески протянул мне руку. Мы порывисто обнялись.

— Через несколько недель, 29 ноября, годовщина нашей революции. В этот вечер мы устроим в нашем посольстве прием и я был бы очень рад, если бы ты мог принять в нем участие.

Я принял приглашение.

Когда я в конце следующей недели приехал из Высшей партийной школы домой на свою квартиру в Панкове, там ждал меня приятный сюрприз. Пришел пакет из Швейцарии. Я с любопытством вскрыл его. В нем было несколько толстых брошюр на немецком языке: речи Тито и Карделя, а также другие материалы V съезда Коммунистической партии Югославии, который состоялся в Белграде через несколько недель после разрыва с ВКП(б).

В те дни ничто не могло меня обрадовать больше, чем этот пакет. Несколько минут спустя я погрузился в чтение брошюр.

Вдруг в дверь резко постучали. Я вздрогнул. Это было в первый раз, что я в Восточном Берлине испугался стука в дверь.

Но испуг мой был напрасен, за дверью стоял случайный посетитель.

Вернувшись на свою казенную квартиру в Высшей партийной школе, я тщательно убрал и запер полученные брошюры и имевшиеся у меня с прежнего времени бюллетени Танъюг. В первый раз я сознательно прятал что-то от партии. Ни в малейшей степени я не чувствовал себя при этом виноватым, так как я знал, что югославские коммунисты были правы, а Коминформ — неправ. В этом вопросе я не признавал более никаких попыток оправдания. Мое отношение уже определилось.

Заявление партийного руководства от 3 июля и подробное разъяснение от 29 июля были не концом, а лишь нача-

лом большой кампании против югославских коммунистов и против «титоизма».

По этому вопросу в сентябре 1948 г. был созван чрезвычайный пленум Центрального Комитета. Это был XIII пленум и единственной целью его было осуждение югославских коммунистов. Резолюция Коминформа снова — вот уже во второй раз — верноподданнически приветствовалась в официальном коммюнике и было прокламировано полное согласие по всем вопросам с Советским Союзом.

После пленума была опубликована длиннейшая резолюция под широковещательным заголовком «Теоретическое и практическое значение резолюции Информационного бюро о положении в Коммунистической партии Югославии и уроки из этого для СЕПГ».

Льстиво благодарило партийное руководство СЕПГ «Политбюро ВКП(б) и лично товарища Сталина» за то, что они «своевременно вскрыли ошибки компартии Югославии». Примитивная и лживая резолюция Коминформа называлась «блестящим вкладом в теорию марксизма-ленинизма», а в порядке самокритики отмечалось, что «в СЕПГ до сих пор недооценивается значение документа Информационного бюро коммунистических партий» и «лишь в некоторой части партийного руководства и на отдельных общих собраниях членов партии вопрос обсуждался и приняты резолюции». Резолюция клеймила «явления отступления перед идеологией врага» (под этим подразумевались заявления югославских коммунистов) и констатировала, что было сделано «недостаточно, чтобы ознакомить членов партии с опытом борьбы за социализм в Советском Союзе и с уроками из истории ВКП(б), с ведущей ролью Советского Союза в борьбе за мир и против империализма и с освободительной ролью Советской армии».

И, наконец, у меня было отнято последнее, что еще связывало меня с партией: теория особого германского пути к социализму. Марксистский тезис об особом германском пути к социализму был осужден следующими словами:

«Центральный Комитет партии констатирует, что в СЕПГ также существуют «теории» об «особом германском пути» к социализму . . . Попытка искать особый германский путь к социализму повела бы к пренебрежению великим советским примером».

Многие видные ответственные работники партии высказались сразу же по поводу этой новой «линии». Аккерман, с именем которого была связана теория об особом германском пути к социализму, пока что молчал. Но 24 сентября он нарушил свое молчание и опубликовал — без сомнения против своего убеждения — развернутую статью под заголовком: «О единственно возможном пути к социализму». В ней он отказался от своей марксистской концепции особого германского пути к социализму:

«Эта теория содержит элементы отмежевания от рабочего класса и от большевистской партии Советского Союза» — писал Аккерман.

Осуждение югославских коммунистов обусловило мой внутренний разрыв с СЕПГ. Осуждение теории особого германского пути к социализму порвало последние нити, соединявшие меня с партией, в организации и основании которой я принимал участие с большим воодушевлением.

То были тяжелые недели, тяжелые месяцы. Травля Югославии, начавшееся поношение тех, кто очень активно распространял теорию особого пути к социализму, усиливались и принимали все более резкие формы.

Часто в Высшей партийной школе устраивались собрания и конференции, на повестке дня которых стояла резолюция Коминформа и осуждение теории об особом пути к социализму. Основные доклады делал Фред Ольснер, который теперь, после самокритики Аккермана, явно играл роль главного идеолога СЕПГ. После его доклада в дискуссии выступал целый ряд партработников. Все шло по плану — слишком даже чётко по плану. Я чувствовал, что выступления в дискуссии были подготовлены и организованы. Это было мне знакомо уже по собраниям в Советском Союзе. До сего времени, однако, ничего подобного в Высшей партийной школе не наблюдалось. СЕПГ сделала в направлении уподобления ВКП(б) еще один значительный шаг.

Нетрудно было себе представить, что за этим последует. Сначала, по плану, история ВКП(б) будет пропагандироваться с особым нажимом. Затем последуют критика и самокритика по сталинскому образцу и, наконец, в советской зоне начнутся «чистки» партии: честных, самостоятельно мыслящих партийных работников будут снимать с работы, исключать из партии, разоблачать как агентов и шпионов и арестовывать, приписывая им несовершенные ими преступления.

СВИДАНИЕ С МАТЕРЬЮ

В августе 1948 года я проводил свой отпуск в «закрытом» доме отдыха в Цинновице на Балтийском море.

Я лежал на пляже и дремал, когда вдруг кто-то крикнул мне:

— Телефон! Из Берлина!

Работник отдела кадров, позвонивший мне, коротко сообщил:

— Приехала твоя мать! Возвращайся сейчас же в Берлин!

Через несколько часов я мчался на машине в Берлин, чтобы увидеть свою мать после двенадцати лет разлуки.

Чего только не произошло с того вечера в октябре 1936 года, когда я видел свою мать в последний раз в Москве! В то время, как я окончил советскую школу, учился в университете, вступил в комсомол, затем закончил школу Коминтерна и сделался ответственным партработником в СЕПГ, моя мать видела жизнь в Советском Союзе совсем с другой стороны: она провела двенадцать лет в советских исправительно-трудовых лагерях.

Официально моя мать была осуждена «только» на пять лет, — срок, который считался в период чисток 1936-1938 годов небольшим. Срок этот истекал в октябре 1941 года. После начала войны, однако, освобождение всех политических заключенных — лишь за некоторым исключением — было приостановлено.

По окончании войны, казалось, наступило, наконец, время их освобождения. Неоднократно пытался я предпринять что-либо через отдел кадров, но каждый раз получал отрицательный ответ. Наконец, я обратился, — будучи у него в гостях, — к самому Вильгельму Пику, который знал мою мать еще со времен «Спартака» и «путча Каппа» 1920 года.

— Пока что ничего еще нельзя сделать, Вольфганг, — сказал мне Пик, — но мы будем пытаться дальше. Как только представится возможность, я тебе сообщу.

Наконец, в феврале 1947 года Пик пригласил меня в свою виллу в Нидершёнгаузене.

— Появилась одна возможность! Я узнал, что твою мать могут освободить и она приедет сюда. Подай соответствующее заявление, — сказал он мне.

На следующий день я подал прошение в секретариат Вильгельма Пика. Я надеялся, что теперь день свидания не-

далек. Но и я, — а еще в большей степени моя мать, — должны были еще долго терпеть и ждать.

«Дело передано дальше» — единственное, что я слышал. Я тогда еще не знал, что моя мать была вывезена в небольшой совхоз в Алтайском крае и что ей приходилось вести невероятную борьбу за то, чтобы добиться от местного отдела НКВД проведения решения центрального НКВД. Проходили недели и месяцы. Лишь в середине июля 1948 года моя мать получила от Барнаульского отдела НКВД разрешение на выезд и шесть недель спустя, 29 августа 1948 года, прибыла в Берлин. Она провела 13 лет в Советском Союзе, из них 12 лет в тюрьмах, лагерях и ссылке . . .

Когда я пришел в здание ЦК, меня встретил один из партработников:

— Твоя мать помещена в доме для гостей Центрального секретариата.

Двенадцать лет я не видал свою мать. Я просто не мог дождаться увидеть ее и бросился туда. Когда я ворвался в ее комнату, она вздрогнула и взглянула на меня радостно, но с оттенком сомнения: я ли это? Она помнила меня таким, каким я был двенадцать лет назад.

Но и она очень изменилась: у нее был загнанный вид — лишения и страдания этих лет наложили на нее свой отпечаток. Когда кто-нибудь проходил мимо лестницы и что-нибудь кричал, она вздрагивала. Уже в течение первого разговора я увидел, насколько она была запугана и растеряна. «Можно ли это? Разрешат ли мне это? Где я должна прописаться?» — спрашивала она меня испуганно. И лишь позже она рассказала мне, что произошло с 25-го на 26-е октября 1936 года, когда она была арестована в Москве.

Ее сначала привезли на Лубянку, а затем перевезли в пресловутые Бутырки. Только после восьми месяцев заключения, уже в июне 1937 года, ей объявили приговор: пять лет. Затем ее выслали в Коми АССР и после длительного пребывания во многих пересыльных лагерях в январе 1938 года она прибыла в Кочмесс, принадлежащий к лагерям Воркутинского района. Там и в лагере инвалидов в Адаке она провела более восьми лет своей жизни. Наконец в апреле 1946 года, через девять с половиной лет после ее ареста, ее выпустили из лагеря, но задержали вместе с другими немцами в Кожве на Печоре. Ей был сообщен приказ НКВД, что ни один немец не имеет права вернуться на свое прежнее место

жительства, а все они будут переселены в Сибирь. Омская область и Алтайский край предлагались немцам «на выбор». Мать выбрала небольшое селение Кальманку в горах Алтая. Она прибыла туда в мае 1946 года. Там жилось ей, однако, еще хуже, чем в лагерях на Воркуте. В конце концов, прожив более двух лет на Алтае, она получила 19 июля 1948 года разрешение на выезд и вернулась через Москву в Берлин с двумя женщинами*).

Оба мы, хотя и в совершенно различных условиях, прожили значительную часть нашей жизни в Советском Союзе. В жизни моей матери, так же как и в моей жизни, решающую роль играли мировоззренческие вопросы. Таким образом, было вполне понятно, что мы в самых первых наших разговорах задели и идеологические проблемы.

Поначалу мы не могли найти общего языка. Слишком разно прошли для нас эти двенадцать лет жизни: у нее — жизнь в лагерях, у меня — жизнь комсомольца и ответственного партработника. Оппозиционные мысли, которые она высказала во время первых наших разговоров, я сначала резко отверг. Я ни в коем случае не хотел, чтобы судьба моей матери влияла на мои политические убеждения. Только по прошествии недели, когда мать переехала ко мне жить, я решил отбросить мою сдержанность и открыто заявить ей, что и я, убежденный на вид, обученный в Советском Союзе ответственный партработник, в глубине души был настроен оппозиционно и симпатизировал Югославии.

Мать смотрела на меня большими, удивленными глазами:

— А я уж думала, что ты тоже стал стопроцентным, — сказала она, облегченно вздохнув.

Я рассказал ей о надеждах, которые окрыляли нас в 1944 году в Москве, о тезисах Аккермана об особом германском пути к социализму, о моих «политических коликах» и, в особенности, о Югославии, которая отделилась от Советского Союза, чтобы идти своим собственным, самостоятельным путем к социализму.

Мы оба были настроены оппозиционно к сталинизму, но наша оппозиция имела различные корни и затрагивала

---

*) О своих переживаниях моя мать пишет в книге «Украденная жизнь» — „Gestohlenes Leben", Europäische Verlagsanstalt Frankfurt/M.

разные вопросы. Мать видела страдания и лишения заключенных и ее возмущение было в это время, конечно, сильнее моего. Она рассказывала о миллионах заключенных, о десятках и сотнях тысяч старых заслуженных революционеров, которых Сталин объявил контрреволюционерами и приказал арестовать, о невероятных жертвах, об искаженном до неузнаваемости идеале . . .

— Советский Союз — не социалистическая страна! — говорила она.

Для меня это заходило в то время еще слишком далеко. Моя оппозиция ограничивалась тогда вопросом самостоятельного пути к социализму и равноправием социалистических стран. Я все еще, несмотря ни на что, был убежден, что Советский Союз — социалистическая страна. И все-таки этот разговор нас сблизил.

Моя мать уже по прошествии короткого времени вошла в жизнь и захотела работать.

— Обе мои спутницы и я переданы отделу кадров и должны получить в ближайшие дни сообщение о направлении на работу, — сказала мать.

Она хотела получить по возможности не политическую, а «нейтральную» работу. Наконец ее устроили в издательстве «Культура и прогресс» („Kultur und Fortſchritt“) в качестве лектора. Обе ее спутницы, напротив, вступили сразу в СЕПГ и одна из них получила ответственную политическую работу.

Это отнюдь не было исключением. С 1945 года я познакомился с целым рядом партработников, на долю которых в Советском Союзе выпали тяжелые испытания или же чьи ближайшие родственники сидели в советских концлагерях. Тем не менее они оставались верными СЕПГ и Советскому Союзу.

Первая моя такая встреча относится к июню 1945 года. Я сидел утром с Паулем Ванделем на Принценаллее 80, когда вошел один ответственный партработник. Он знал Пауля Ванделя по прежним временам и они радостно приветствовали друг друга. Сын этого ответственного работника попал в Советский Союз и там вырос.

— Когда вернется мой сын? — спросил он.

Он просидел долгие годы в нацистском концлагере и страстно хотел видеть своего сына.

— Боюсь, что он не вернется, — ответил Пауль Вандель спокойно.

— Почему? В чем дело?

До сегодняшнего дня у меня осталось в памяти испуганное лицо этого товарища.

— Он наделал там глупостей, но я надеюсь, что это на тебя не повлияет.

У того выступили слезы, но он быстро смахнул их рукой:

— Нет, нет . . . конечно, нет — сказал он с грустью и запинаясь. А потом продолжал совершенно другим тоном: — Так, а теперь поговорим о работе.

Он получил ответственную должность и до сих пор еще с искренним убеждением стоит на стороне политики СЕПГ и считает необходимой дружбу с СССР, хотя существующая там система отняла у него сына.

Я знавал также ответственных работников и работниц, которые сами отсидели в советских тюрьмах и лагерях, а после своего освобождения приехали в Восточный Берлин и служили там СЕПГ и Советскому Союзу верой и правдой.

Связанность с партией, в особенности у специально вышколенных партработников, настолько велика, что ее трудно понять людям Запада, которые гораздо глубже переживают судьбу отдельного человека и подпадают под большее влияние личных переживаний. Ответственных работников, прошедших соответствующую школу, личные переживания часто вообще не затрагивают. Их связь с партией, со сталинизмом порывается обычно лишь тогда, когда принципиальные теоретические соображения касаются основ сталинской идеологии.

Моя мать сняла себе недалеко от моей квартиры в Панкове комнату и вскоре я начал проводить конец недели постоянно у нее. Она удивительно быстро приспособилась к новым условиям жизни. У нее я мог открыто говорить обо всем, что лежало у меня на душе. И я посвятил ее в мой план побега в Югославию.

— Если ты убежишь, то мне тоже нужно уходить отсюда, — сказала она.

Нам не надо было много спорить и длительно обсуждать этот вопрос. Она сразу согласилась.

— Когда? — спросила она только. Она ко многому в жизни привыкла.

— Я останусь, пока это будет возможно. Я хочу рассказать как можно большему числу товарищей правду об югославском конфликте.

— На этой неделе? На будущей? — спрашивала она меня теперь каждый раз, когда я приходил к ней в конце недели.

— Подожди еще немного, подготовь все, я вовремя предупрежу тебя.

— Если все случится неожиданно и быстро, то позвони мне по телефону. Скажи мне просто — тогда-то ты пошлешь свою статью в редакцию. Это укажет мне дату твоего побега.

Мать невольно перешла на тон, которым она говорила в бытность свою на нелегальной работе.

— Согласен, — сказал я.

Этот вопрос был решен.

ПО СОВЕТСКОМУ РАСПИСАНИЮ

— Предстоят большие изменения, — сказал мне шепотом Фред Ольснер после одного из собраний в Высшей партийной школе, на котором он читал доклад.

Фред Ольснер и не подозревал насколько сильно мучили меня в то время «политические колики». Он мне особенно доверял, как своему бывшему сотруднику и единственному преподавателю Высшей партшколы имени Карла Маркса, который прошел обучение в Советском Союзе.

Он таинственно вытянул из кармана две телеграммы:

— Читай!

Они были из Бухареста от Коминформа.

«Сообщите о существующих изданиях истории ВКП(б) и общую цифру тиража» — гласила одна телеграмма.

Вторая передавала, также в виде вопроса, директиву по усилению изучения истории ВКП(б).

— Вопросы достаточно ясно поставлены, не правда ли?

Это было именно так. Десять дней спустя появилась соответствующая резолюция ЦК СЕПГ: «Об усилении изучения истории ВКП(б)»:

«Германский рабочий класс . . . должен в первую очередь учиться по истории ВКП(б) . . . В истории еще не было партии, которая добилась бы таких успехов, как Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). Благодаря своим

победам она стала признанным и неоспоримым вождем международного социалистического рабочего движения и международной борьбы против империализма».

Как удары хлыста падали на партию распоряжения об изучении истории ВКП(б). Всем ответственным работникам вменялось в обязанность изучить «Краткий курс». Партийная пресса получила директиву начать кампанию за усиление этого изучения, были устроены специальные бюро консультации по изучению истории ВКП(б) и в «Социалистических учебных тетрадях» — как я был рад, что не был больше их редактором! — должны были печататься разъяснения по главам. Выработанный нами в 1946 году учебный план для районных партийных школ должен был быть изменен, чтобы включить туда изучение истории ВКП(б) «в возможно больших размерах»; в краевых партийных школах «Краткий курс» должен был изучаться еще более основательно.

В особенности же дело затрагивало нас: «В Высшей партийной школе имени Карла Маркса «Краткий курс истории ВКП(б)» должен быть положен в основу всех учебных планов».

Мне всегда доставляло удовлетворение, что преподавание в Высшей партийной школе велось на высоком уровне. Что будет сейчас, если мы положим эту примитивную и — как я знал уже тогда, но еще не в полном объеме — изобилующую историческими подтасовками книгу в основу учебных планов! Я был не единственным, кого встревожили эти распоряжения. Многие курсанты и преподаватели, за исключением стопроцентных приверженцев партии, задумчиво покачивали головами, а некоторые в небольшом кругу друзей откровенно высказывали свои сомнения.

Один из преподавателей, бывший социал-демократ, назвал «Историю ВКП(б)» книгой сказок, а другой заявил:

— «Кратким курсом» можно, самое большее, пользоваться как общим руководством; работа в Высшей партийной школе должна базироваться, в первую очередь, на изучении источников.

Я тоже не мог смолчать. Одному из курсантов, который задал мне на семинаре вопрос, я ответил:

— Товарищи, надо при рассмотрении вопроса о «Кратком курсе истории ВКП(б)» видеть вещи в их историческом аспекте. Книга была издана в 1938 году для широких масс советского народа и без сомнения сыграла большую роль. Если мы сегодня, через десять лет, в Высшей партийной шко-

ле изучаем вопросы, затрагиваемые в этой книге, то это должно, естественно, идти в совершенно других формах. В наших условиях будет самым правильным рассматривать «Краткий курс» лишь как введение к дальнейшему серьезному изучению источников.

Курсанты моего семинара выслушали мое заявление с удовлетворением, но я не подозревал, что система доносительства процветала и в Высшей партийной школе и что среди курсантов также были доносчики. Через два дня среди преподавателей разнеслась неприятная весть:

— Будет созвано чрезвычайное собрание преподавателей. Критика и самокритика в связи с историей ВКП(б).

Каждый прикидывал, что у него в этом плане уже лежит на совести.

На следующий день действительно было созвано чрезвычайное собрание преподавателей. Рудольф Линдау произнес вступительную речь таким холодным и резким тоном, какого я уже несколько лет не слышал в кругах высших ответственных работников и который появился лишь за последние недели. Этот тон напомнил мне вечера критики и самокритики в школе Коминтерна в Кушнаренкове. Мне было тяжело слушать.

— Великая освободительная роль Советской армии . . . не давать спуска националистическим настроениям . . . измена югославского партийного руководства . . . антипартийная теория об особом немецком пути к социализму . . . Углубление изучения истории ВКП(б) . . . Сомнительные явления в коллективе преподавателей . . . необходимость критики и самокритики . . . Недооценка великого труда по истории ВКП(б) . . .

И, наконец, с особым ударением:

— . . . определенно указывают на то . . . из достоверных источников сообщают . . . что история ВКП(б) написана самим Сталиным . . .

Преподаватели и руководители факультетов Высшей партийной школы все покраснели, как раки. Заявление, что Сталин является автором истории ВКП(б) сделало ситуацию еще более затруднительной.

Я знал, однако, что это заявление было ложью. Уже несколько недель до собрания, когда я в первый раз услышал об этом, мне неясно припомнилось, что в Москве во время чисток появилось письмо Сталина к авторам «Краткого кур-

са». Я начал искать и нашел это письмо. Оно было опубликовано в «Правде» от 6 мая 1937 года. Покачивая головой, я прочел «Письмо товарища Сталина авторам истории ВКП(б)». Не оставалось никаких сомнений: Сталин не был ее автором! Я, конечно, не сообщил никому о моем открытии и не сделал намека об этом на собрании.

Первый вечер критики и самокритики преподавателей Высшей партийной школы имени Карла Маркса начался. Рудольф Линдау сделал затравку и многое в происходившей затем дискуссии показалось мне подготовленным и организованным. Точно по словам Линдау, сначала взяли на мушку преподавателей из социал-демократической партии. Они никогда не переживали еще ничего подобного, сидели все красные и, казалось, не понимали, что происходит. Не привыкшие к сталинской системе критики и самокритики, они пытались оправдаться, а один из них даже осмелился заявить, что надо смотреть на вещи объективно. Мне было жаль их — они и понятия не имели, что означает критика и самокритика . . .

Советизация пошла семимильными шагами. После того, как была осуждена теория особого пути к социализму, а «История ВКП(б)» положена в основу всех учебных планов и были введены собрания критики и самокритики по советскому образцу — в середине октября 1948 года «открыли» немецкого Стаханова. 13 октября Адольф Геннеке в одной из штолен шахты имени Карла Либкнехта в угольном районе Цвикау превысил дневную норму на 380 процентов. Это было сразу же сделано — так же, как в 1935 году после появления Стаханова в Советском Союзе — отправной точкой для развернутого «движения». Я очень хорошо помню, как мы в советской школе долбили стахановский рекорд от 31 августа 1935 года в шахте Ирминской в Сталино: Стаханов выполнил норму на 1400 процентов. С Геннеке все-таки вышло поскромнее. Он выполнил норму не на 1400, а «только» на 380 процентов. В остальном все было так же.

В Советском Союзе я постепенно узнал некоторые закулисные подробности о стахановском движении: сколько времени подготавливается какая-либо рабочая область, как создаются особо благоприятные условия труда, как целые бригады производят все подсобные работы, чтобы дать возможность поставить «рекорд». У меня не оставалось никаких иллюзий, и все-таки я был удивлен, с какой трезвой откровен-

ностью Рудольф Линдау информировал нас на внутренней преподавательской конференции о начавшемся «движении Геннеке»:

— Мы будем говорить здесь совершенно откровенно. Сейчас наступило время, когда сделался необходимым путь создания особого движения, чтобы достичь нового отношения к работе, нового огромного подъема производительности труда. Такие вещи сами по себе не делаются. Их надо тщательно планировать и организовывать. Уже два месяца назад началась подготовка. Сначала надо было выяснить, в какой части нашей зоны лучше всего начать такое движение.

После долгих дискуссий решено было начать движение в Саксонии.

Затем было вынесено решение, в какой отрасли промышленности должно зародиться движение. Как и в Советском Союзе угольная промышленность казалась самой подходящей. Далее, следовало ли выбрать для исполнения этой функции молодого или пожилого рабочего? В Советском Союзе решено было остановиться на комсомольце. У нас в зоне дело обстоит иначе. Молодое поколение легче привлечь к такому роду движения ударников. Главный вопрос заключался в том, чтобы поднять энтузиазм старшего поколения промышленных и квалифицированных рабочих. Поэтому было решено выбрать рабочего из старшего поколения.

Наконец, необходимо было выяснить еще один вопрос: следует ли поручить дело беспартийному или члену партии? После обстоятельного совещания решено было выбрать члена СЕПГ, чтобы подчеркнуть роль партии в этом важном вопросе.

После того, как были разрешены эти важнейшие вопросы, можно было приступить к поискам отвечающего этим требованиям лица. Несколько ответственных товарищей поехали в саксонский горно-промышленный район и доверительно посоветовались с местными секретарями партийных организаций и директорами предприятий, чтобы выискать подходящего рабочего — члена партии.

Так был найден Адольф Геннеке, который вполне соответствовал поставленным требованиям. Ему теперь 43 года, уже более двадцати лет он работает в горной промышленности, состоит в партии и даже посещал партийную школу СЕПГ.

Но неожиданно возникла одна трудность: Адольф Геннеке отказался. Он боялся, что его товарищи по работе рассердятся на него, если он согласится на эту роль. Только после того, как ему было разъяснено политическое значение этого мероприятия, а также показаны открывающиеся возможности его собственной карьеры, он взял на себя эту задачу. 13 октября он поставил свой рекорд и мы, таким образом, стоим у истоков движения ударников.

Несколько дней спустя появилось письмо Центрального секретариата об Адольфе Геннеке во всех газетах советской зоны. В письме говорилось о его «подвиге, указывающем путь», о его «революционном успехе при выполнении плана, который является уничтожающим ответом на политику Маршалл-плана на Западе». Поскольку я знал, как всё это было практически сделано, мне стало невыносимо стыдно, когда я читал это письмо:

«Отсюда с полной ясностью вытекает, что твой подвиг является результатом проснувшейся в тебе революционной традиции немецкого рабочего движения, жившей в Карле Либкнехте, имя которого носит твоя шахта. Этот подвиг — результат социального сознания, ответственности и высшего чувства долга по отношению к твоей партии, твоему классу и нашему народу».

МАТЕРИАЛ О ТИТО В ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ

22 ноября 1948 года меня постигла неожиданная неприятность. В вестибюле главного здания Высшей партийной школы был вывешен новый номер стенгазеты. В ней я увидел статью под крупным заголовком «Югославия и товарищ Леонгард». Я подошел ближе и прочел следующие строки, подписанные Рудольфом Фриче:

«При участии преподавателей и курсантов в нашей школе были основательно продискутированы ошибки Коммунистической партии Югославии, была внесена ясность в недостаточно четкое или ложное отношение к этим вопросам и таким образом достигнут единый взгляд на проблему.

Основой нашей дискуссии послужила резолюция Информационного бюро, а также резолюция Центрального секретариата СЕПГ.

Можно было бы считать дело законченным, если бы при всех обсуждениях здесь в школе, не только мною лично, но и другими товарищами не было замечено отсутствие соответствующего заявления со стороны товарища Леонгарда.

Я вспоминаю один из докладов товарища Леонгарда, в котором он, на основании своего богатого опыта и хороших знаний, обрисовывал положение в Югославии. В убедительных выражениях он рисовал нам достижения югославского народа и Тито. Работу Коммунистической партии Югославии представлял он как некий шедевр. Югославия двигалась по пути к социализму впереди всех стран народной демократии. Но достаточно. Я перечисляю все это не затем, чтобы вытаскивать на свет давно позабытое. Однако для нас всех, в том числе и для товарища Леонгарда, было бы весьма ценным, если бы мы услышали из его уст ясное и недвусмысленное самокритическое мнение, отсутствие которого до сих пор мы так болезненно ощущаем».

Мне стало сразу ясно, что курсант Рудольф Фриче с факультета экономики написал эту статью не по собственному почину. Это был предупредительный «холостой» выстрел сверху. Тенденция его была совершенно ясна. Я должен был заняться самокритикой. Что мне было делать? Я неустанно об этом думал. Целыми днями эта проблема сверлила мой ум.

В конце концов я сочинил ответ, — лишь в несколько строк, — в котором я указывал, что югославская проблема слишком сложна, чтобы разбирать ее в краткой статье в стенгазете. Я готов, однако, говорить на эту тему перед интересующимися товарищами.

Я принес свою заметку одному из редакторов стенгазеты. Он быстро пробежал ее и сказал, окинув меня скептическим взглядом:

— Ты думаешь, что они этим удовлетворятся, товарищ Вольфганг?

Особое ударение на словечке «они» заставило меня насторожиться. Вскоре мы с редактором стенгазеты углубились в живое обсуждение и я заметил, что и он в югославском вопросе страдал «политическими коликами». Этот редактор был молодой коммунист из Западной Германии, но-

сивший в Высшей партийной школе имя «Вундерлих». В действительности его имя было Герман Вебер*).

Статья в стенгазете показала мне, что против меня будут приняты новые меры, если я немедленно и решительно не выскажусь за резолюцию Коминформа. Но в этом вопросе для меня уже не было компромиссов и оправданий. И я начал готовить все для бегства в Югославию.

Через несколько дней, 29 ноября, в югославском посольстве в Западном Берлине был прием в честь национального праздника.

Я получил приглашение.

Принимая приглашение я подвергался немалому риску, так как следовало предполагать, что на приеме будут также советские представители, но я хотел показать югославам, что в конфликте между Коминформом и Югославией стою на их стороне.

На приеме присутствовали дипломаты всех не-советских стран и несколько советских представителей. Никто из гостей не подозревал, что среди них находился оппозиционный ответработник СЕПГ и преподаватель Высшей партийной школы имени Карла Маркса. Разумеется, я не выявлял себя ни малейшим намеком. Если у буфета или в небольших группах нельзя было избежать разговора, то я говорил по-английски, а с югославами по-русски.

Приблизительно в полночь дипломатический прием был окончен.

— Останься ненадолго, поговорим еще, — сказали мне.

Поскольку остались свои люди, настроение было прекрасное. Мы сидели небольшими группами. Вдруг один югослав встал и произнес несколько сердечных слов о революции и о предстоящей борьбе. Он с презрением говорил о коминформовской клевете и тут я впервые услыхал слова, которые мне так часто пришлось затем слышать в Югославии: «Истина мора победити» («правда должна победить»).

Крупный югославский партработник подошел к моему столу:

— Товарищ Леонгард, мы слышали, что вы хотели бы перейти к нам. Мы, со своей стороны, ничего против этого

---

*) Герман Вебер через несколько лет после меня также порвал со сталинизмом и живет сейчас в Германской Федеративной Республике. Оригинал стенгазеты с нападками на меня находится у него.

не имеем. Мы были бы рады, если бы вы были с нами именно в это время. Но, пожалуйста, не рисуйте себе ложной картины — у нас в Югославии жить не легко и следующие месяцы, а может быть и годы, будет еще труднее. Не смотрите на существующее положение сквозь розовые очки. Перед нами большие трудности. Может быть, вы хотите еще раз всё продумать.

— Нет, мне не о чем думать. Я думал достаточно долго. Мое решение непоколебимо. Я стою на вашей стороне и хочу быть вместе с вами.

Он улыбнулся и пожал мне руку.

— Хорошо, мы согласны, и до свидания — в Югославии!

После этого вечера 29 ноября мои мысли были целиком направлены только на Югославию. Но пока я еще находился в Высшей партшколе, я хотел сделать как можно больше для распространения моих убеждений.

Дискуссии о Югославии не прекращались. Все чаще приходили ко мне курсанты или берлинские ответработники.

— Скажи, Вольфганг, каково твое мнение? Ты ведь там был, что ты об этом думаешь?

К общему хору осуждения югославских коммунистов я присоединиться не мог, это было выше моих сил. С другой стороны я не мог высказывать своего мнения открыто. Таким образом я был принужден к двуличию, которое сталинизм неизбежно влечет за собой. «Правоверным» я давал уклончивые ответы; умеющим думать самостоятельно я намекал, что считаю резолюцию Коминформа ошибочной; оппозиционно настроенным я давал переводы югославских брошюр.

Успех не заставил себя долго ждать. Почти все указывали на один факт:

В Югославии опубликовали и то и другое — резолюцию Коминформа и югославский ответ, так что у каждого может создаться свое мнение самостоятельно. А у нас опубликовали только резолюцию Коминформа.

Поступок Югославии произвел сильное впечатление.

Иногда я встречал оппозиционные настроения там, где меньше всего этого ожидал. Однажды я гулял с одним ответственным работником, который был «вне всяких подозрений». С большими колебаниями я передал ему материал, для верности добавив, что это только для его личной инфор-

мации, «потому что мы принадлежим к кругам, в которых такие вещи можно спокойно читать».

Через три дня мы снова встретились на территории Высшей партшколы. Он оглянулся по сторонам. Никого поблизости не было.

— Я не могу этого больше выдержать, — признался он с удивительной откровенностью. — Эта история с Югославией — просто подлость; но это не только политическая клевета, за этим скрывается что-то другое. За этим стоит Сталин, этот полуграмотный варвар, который не может примириться с тем, что среди западноевропейских коммунистов другая компартия и другой вождь, Тито, вызывают большую симпатию. Если бы ты знал, как я ненавижу Сталина. Да — я ненавижу Сталина!

Он побледнел от гнева, а я от страха. Таких слов я еще никогда не слышал, да к тому же еще на территории Высшей партшколы. Он пришел в себя.

— Между нами? — он протянул мне руку.

— Между нами, — подтвердил я.

Этим утром я долго гулял один. Мне думалось о многом. Я вспомнил, что читал где-то о том, что воинствующие атеисты зачастую выходили из иезуитских школ. Может быть, это сейчас повторялось? Может быть Высшая партшкола имени Карла Маркса воспитала самых опасных еретиков*).

Но ведущие партийные руководители твердо оставались верными «генеральной линии». В один из выходных дней я снова посетил — в последний раз — огороженный забором квартал вилл в Нидершёнгаузене, где проживали десять наиболее выдающихся руководителей СЕПГ. Я говорил за последние недели и месяцы так много с оппозиционерами, что даже в доме руководителя партии, портреты которого можно было так часто видеть на страницах «Нейес Дейчланд», мне было трудно сдерживаться.

Руководитель СЕПГ предложил мне коньяк и сигареты.

— Почему у тебя такой удрученный вид? Политические колики из-за Югославии? — обратился он ко мне.

---

*) Это предположение через несколько лет подтвердилось. Когда я прибыл в ноябре 1950 года в Западную Германию, я нашел там многих, окончивших Высшую школу СЕПГ, которые после меня порвали со сталинизмом, — но остались социалистами.

— Я читал некоторые из последних югославских брошюр и . . .

— Не читай слишком много таких вещей, — сказал он, улыбаясь, но я почувствовал, что он не шутит.

— В этих брошюрах ставится не только вопрос о том, была ли справедливой резолюция Коминформа или нет, но и некоторые кардинальные вопросы, которые нельзя так просто отбросить.

Мой собеседник посмотрел на меня спокойно и холодно.

— В политике бывают положения, в которых приходится защищать хорошее дело при помощи плохих аргументов и плохое при помощи хороших.

Я был снова потрясен тем, что многие руководители партии пытаются ничего не значущими фразами совершенно отмести очевидные противоречия, делая это как для других, так и, в первую очередь, вероятно, для самих себя. Осторожно сделал я еще один, последний, шаг.

— Мне кажется, что дело не в плохих или хороших аргументах, а в некоторых основных принципах марксизма. Югославы в своих брошюрах утверждают, что с появлением народно-демократических стран создалось новое положение. Эти страны находятся на пути к социализму и этим самым возникает вопрос отношения этих стран к Советскому Союзу. Югославы выставляют, по моему мнению, совершенно правильное марксистское требование, что между странами народной демократии и Советским Союзом должно быть полное равноправие и что не может быть ведущих и зависимых социалистических стран, — все государства должны быть равны.

Мой собеседник явно занервничал. Он махнул рукой:

— Погоди, Вольфганг, давай будем трезво исходить из фактов. Что значит равноправие? Видишь ли: борьба, происходящая в мире, в конце концов, большая шахматная игра.

Он нарисовал в воздухе шахматную доску:

— На этой доске есть только белые и черные. Два противника стоят один против другого. У каждого различные фигуры, разные по своему значению, которыми он распоряжается. Но двигать этими фигурами может только один, это можно делать только из центра, а этот центр может быть только в Москве или . . . может быть, ты хочешь поставить Белград на место Москвы? — спросил он иронически.

Я вспомнил Маркса и Энгельса, которые всегда высказывались против ведущей роди одной партии внутри Интернационала, Ленина, который даже после победы революции в России отклонил и осудил мысль о ведущей роли победоносной большевистской партии.

Мое молчание было воспринято моим собеседником иначе: он, вероятно, подумал, что его теория шахматной доски произвела на меня впечатление.

— Мы должны подходить к делу трезво. Ты ведь не со вчерашнего дня на партийной работе. Разве ты никогда не замечал одной особенности в названиях «СССР» и «Советский Союз»?

Я не сразу понял, куда он метит.

— В этих названиях отсутствует понятие «Россия». Это ведь не случайно. Этим создается возможность вступления в этот союз последующих социалистических государств. Неужели ты думаешь, что мы сможем существовать как самостоятельные государства, независимо от СССР, если страны народной демократии, а позже советская оккупационная зона, достигнут основ социализма? Мы должны смотреть на эти вещи реально. Здесь, между собой, мы можем об этом говорить откровенно.

Несмотря на то, что мы были в комнате одни, он невольно понизил голос.

— Вполне возможно, — я не говорю, что это необходимо, — что в какой-то момент страны народной демократии войдут как новые республики в состав СССР. Конечно, сейчас еще рано об этом говорить и ты, пожалуйста, об этом не говори никому, — но ты должен об этом хотя бы знать. В этом все дело, а не в каких-то дискуссиях о равноправии между социалистическими странами.

Этот разговор подтвердил, что мне в этой партии делать больше нечего. Я стремился не к новой советской республике, а к независимой равноправной социалистической Германии.

Противоречие между моей официальной деятельностью в Высшей партшколе СЕПГ и распространением титоистической литературы среди партработников не могло долгое время оставаться незамеченным. Я знал, что не смогу этим заниматься. Поэтому я спешно готовился к бегству.

Часто я размышлял, не выступить ли мне во время открытого собрания перед всей партшколой и не сказать ли

правды о резолюции Коминформа, не доказать ли её лживость, не высказаться ли за независимый путь к социализму? Когда я думал об этом спокойно, то я понимал, насколько безумными были такие мысли.

Чего бы я достиг? Сразу же после первых фраз меня силой заставили бы замолчать и затем сослали бы в такие места, где я вообще ничего не смог бы сказать. «Революционный романтик», называл я самого себя. «Честно, но бесплодно». Поэтому мне показалось более рациональным остаться возможно дольше в Высшей партшколе, заставить размышлять все большее количество партийцев путем частных разговоров и, если я добьюсь их согласия, раздавать им материалы. Если бы это было вскрыто, то я еще мог попытаться бежать в Югославию. Такое бегство в Югославию должно было бы заставить размышлять еще большее количество партийных товарищей — ведь я был единственным ответработником СЕПГ, бывшим с официальным визитом в Югославии после 1945 года.

Наступил февраль 1949 года. СЕПГ все больше приспосабливалась к своему «советскому образцу». На I-й партийной конференции от 25 до 28 января 1949 года было ликвидировано равенство между бывшими членами социал-демократической и коммунистической партий, в пользу, прежде всего, тех членов коммунистической партии, которые были в московской эмиграции. Центральный секретариат СЕПГ был распущен. Вместо него было создано Политбюро, состоявшее из шести бывших членов компартии и трех бывших социал-демократов. Для проведения текущей работы был создан «малый секретариат» под председательством Ульбрихта. За ним последовала Центральная контрольная комиссия под председательством Германа Матерна. Все это происходило под лозунгом превращения в «партию нового типа» — но это было не что иное, как выравнивание СЕПГ по сталинской партии Советского Союза. Компартии Западной Европы ожидала та же участь. Руководители партий получили в конце февраля распоряжение открыто заявить, что коммунистические партии, в случае военного конфликта, будут поддерживать советские войска. 2 марта 1949 года соответствующее заявление было сделано также Политбюро СЕПГ. Этим шагом уничтожалась последняя видимость независимости. Партия открыто признала себя вспомогательным отрядом Советской армии.

Это было последнее заявление СЕПГ, которое застало меня в советской зоне Германии.

Через несколько дней в мою квартиру в Высшей партшколе зашел один ответработник.

Он немного замялся.

— Я хотел бы с тобой поговорить наедине.

— Политические колики?

— Да, причем серьезные.

— Останется между нами. В чем дело?

Полчаса мы говорили осторожными намеками. Потом он неожиданно сказал:

— Знаешь, у меня такое чувство, что не все правда, что говорят о Югославии.

Я радостно протянул ему руку.

— Твое чувство тебя не обманывает. Я уверен, что югославы правы.

Он посмотрел на меня с удивлением. Этого он не ожидал.

Я открыл ящик, который всегда держал запертым и выложил на стол целую стопку югославских брошюр на немецком языке.

— Дай мне это почитать, — сказал он почти лихорадочно. — Я до сих пор ничего не получал. Я ждал как раз этого.

— Не спеши, не спеши, — должен был я сдерживать моего нового единомышленника, — вот тебе сначала югославский ответ на резолюцию Коминформа и речь Тито на V съезде партии. Когда прочтешь, принеси назад, после этого получишь другие материалы. Но будь осторожен!

Он пообещал быть осторожным, спрятал материалы во внутренний карман и ушел.

Я озабоченно смотрел ему вслед. У него был правильный политический инстинкт. Но был ли у него, кроме того, опыт, чтобы скрыть свои чувства? Несмотря на то, что он был сравнительно крупным ответработником, он был на несколько лет моложе меня и не имел той строгой выучки.

На следующий день, рано утром, он снова появился. Он был полон воодушевления.

— Наконец-то я нашел товарища, с которым могу говорить откровенно!

И он засыпал меня оппозиционными мыслями. Теперь мои опасения увеличились. Его честность была вне подозрений, но его темперамент мог оказаться для нас роковым.

Через три дня я со страхом увидел его в столовой Высшей партшколы окруженным целой группой внимательно слушающих ответработников. Среди них были «стопроцентные», — но он продолжал говорить.

Я ушел. Позже я узнал, что во время этого обеда начали развиваться события. Действительно, в столовой Высшей партшколы он говорил открыто о Югославии и о резолюции Коминформа и отвечал на все заданные ему вопросы, среди которых, конечно, были и провокационные; он был знаком с материалами и защищал правое дело. Затем, в пылу спора, нарушая все правила конспирации, он призвал меня в свидетели.

— Вольфганг Леонгард сказал еще, что . . . — Он в тот же момент спохватился, но уже было поздно. Слова были произнесены.

ПОСЛЕДНЯЯ САМОКРИТИКА

На следующий день я пошел, ничего не подозревая, на один из моих обычных семинаров.

— Тебя вызывает, немедленно, Рудольф Линдау, — сказали мне.

Линдау стоял в дверях директорского кабинета.

Холодно и озлобленно, не подавая мне, как обычно, руки, он вымолвил:

— Я хочу переговорить с тобой после семинара.

Никогда мне не было так трудно проводить семинар. Я все время посматривал на часы. Наконец эти три часа прошли.

Я пошел к Линдау. Ни слова не говоря, он повел меня в директорский кабинет. Там сидело пять крупных партийных деятелей. Перед ними лежали карандаши и бумага.

Картина была такой же, как в школе Коминтерна в 1942 году. Теперь, весной 1949 года, я снова стоял перед этими холодными партаппаратчиками и снова мне предстояла «критика и самокритика».

Спокойно я смотрел на сидящих передо мной партийцев. Конечно, особенно приятно мне не было, но они не производили теперь на меня прежнего впечатления. «Они никакие не коммунисты, — думал я, — настоящие коммунисты

это те, кто борется против подчинения Советскому Союзу, против нечеловеческих методов слежки».

Допрос начался.

Кроме Рудольфа Линдау, директора партшколы, я знал только одного из присутствующих. Я не верил своим глазам: передо мной сидел Герберт Геншке, учившийся вместе со мной в школе Коминтерна. Тогда он был одним из самых слабых курсантов и Пауль Вандель («Класснер») поручил мне помочь ему в подготовке к экзамену.

Началось то же самое, что мне пришлось пережить шесть с половиной лет тому назад в школе Коминтерна — долгое, действующее на нервы ожидание, затем политическое введение, в котором указывалось на всеобщее положение, на необходимость верности партии и Советскому Союзу, на необходимость борьбы против отступлений и искажений. Но то, что меня когда-то потрясло до глубины души, не произвело на меня теперь никакого впечатления. Тогда я был еще полностью предан партии.

Теперь все было иначе. Внутренне я порвал с партией. Вся гнетущая обстановка не производила на меня ни малейшего впечатления. Во время всей этой процедуры я спокойно думал: тезис об особом пути к социализму обоснован учением Маркса, Энгельса, Ленина. Югославские коммунисты, идущие по пути, основанному на этих принципах, правы. Те, кто осуждают югославских коммунистов, отошли от основ марксистско-ленинского учения. Тезис о равноправии коммунистических партий в коммунистическом рабочем движении согласован с учением Маркса, Энгельса и Ленина. Те, кто на его место поставили тезис о «ведущей роли» Советского Союза, не стоят на основах марксистского учения.

Между тем Рудольф Линдау окончил свое введение. По этой же схеме говорили еще двое других. Но узы были разорваны, то, что на меня годами влияло, связывало меня, было преодолено.

Только когда начал говорить третий и когда должен был собственно говоря начаться допрос, я стал осознавать всю тяжесть моего положения. Дискутировать с этими аппаратчиками не имело ни малейшего смысла. Они не были борцами рабочего класса, несмотря на то, что постоянно объявляли себя таковыми. Теперь оставалось одно: выиграть время, чтобы попасть в Югославию! Значит нужно было применить тактику. Они меня этой тактике обучали. Теперь

я использую ее против них самих. Я решил сознаться в некоторых «ошибках» и представиться сомневающимся. Только таким образом я мог достичь того, чтобы против меня не были сразу приняты меры, а чтобы было назначено второе заседание. Выиграть время! Может быть, бегство в Югославию все же удастся.

— Я думаю, что теперь мы можем приступить непосредственно к вопросу, как к таковому.

Это был голос Линдау.

Это было в Клейн-Махнове около Берлина, весной 1949 года, но это был тот же голос и тот же тон, как и осенью 1942 года в Кушнаренкове, в далекой Башкирии: голоса сталинских партаппаратчиков всюду одинаковы.

На меня посыпались вопросы.

— Правда ли, что давал товарищам на прочтение враждебные партии югославские материалы?

— Да.

Все опустили головы. Во время короткой паузы после моего ответа все пятеро делали пометки.

— Правда ли, что во время разговора с одним из курсантов Высшей партшколы, ты говорил о двух типах партийных работников — о тех, кто боролся в стране нелегально и о тех, кто по указанию партии находились в СССР?

— Да, но я этим . . .

— У тебя будет еще время объяснить все подробно, пока ты обязан отвечать только «да» или «нет».

— Верно ли, что ты называл примерными партийцами тех, кто в это время боролся внутри самой страны и утверждал, что они борцы за самостоятельную политику? Называл ли ты в связи с этим следующие имена: Тито, Гомулка, Маркос, Мао Цзэ-дун . . .

— Мао Цзэ-дуна тоже? — с испугом спросил Герберт Геншке, для которого я, очевидно, все еще представлял политический авторитет.

Он покраснел под строгим взглядом старшего аппаратчика.

— Верно ли, что ты в присутствии другого курсанта выражал сомнение в оправданности существования Советских акционерных обществ в советской зоне Германии и советских политических советников в странах народной демократии?

— Да, — ответил я, сознавая, что все равно тут ничего не изменишь.

Но последние вопросы меня очень испугали. Об этом я говорил не с моим чересчур темпераментным другом. Это я сказал двум другим курсантам. Значит, они донесли.

— Верно ли, что ты дал курсантам выдержку из вражеского писания Кёстлера?

— Да, но я не говорил, что разделяю взгляды Кёстлера.

— Мы этого не спрашивали. Достаточно, что ты давал его читать.

— Высказывался ли ты в разговоре с курсантами за то, чтобы напечатать вражеские материалы югославских троцкистов и националистов в партийной прессе и вынести их на обсуждение?

— Да.

«Надо выиграть время, надо выиграть время!» — это было единственное, о чем я в данный момент думал.

Допрос окончился. Теперь должна была наступить «оценка» и анализ. Представитель отдела кадров взял слово:

— Товарищ Леонгард, излишне говорить о том, что всё это вещи чрезвычайно серьезного порядка.

Его тон был угрожающим, но у меня как будто камень с сердца свалился. Он продолжал называть меня «товарищем»! Значит немедленных оргвыводов еще не будет. Вероятно мне дадут возможность оправдать доверие.

— То обстоятельство, что ты один из товарищей, выросших в Советском Союзе, еще увеличивает твою вину. Вопрос о твоем поведении и о враждебных партии высказываниях будет еще обсуждаться. Но сегодня партия нуждается в каждом своем члене. Поэтому, несмотря на всю тяжесть твоей вины, партия даст тебе возможность — учитывая твою предыдущую работу — исправить свои тяжкие ошибки усиленным трудом. Однако ты не должен создавать себе ложной картины, — твои высказывания являются тяжелым злоупотреблением доверия партии.

После этого аппаратчик сделал паузу и серьезно, качая головой, посмотрел на меня. Для него было, очевидно, трудно понять мой «случай». До сих пор среди отклонявшихся от генеральной линии он встречал только бывших социал-демократов и старых членов партии.

— Скажи, товарищ Леонгард, как это могло произойти после пройденного тобой пути? Как могло случиться, что югославский вопрос настолько ввел тебя в заблуждение?

«Внимание, — думал я, — только внимание!»

Глаза всех были устремлены на меня.

— Дело в том . . . В конце концов не каждый день случается, что какая-нибудь коммунистическая партия вступает в конфликт с Советским Союзом и с Информационным бюро коммунистических партий. Это вопросы серьезные, их надо обдумать. Разве так удивительно, что я об этом размышлял?

Один из аппаратчиков, молчавший до этих пор, прервал меня:

— Ты скажи коротко и ясно: каково твое отношение к резолюции Информационного бюро коммунистических партий и к резолюции нашей партии по поводу Югославии? Или, может быть, ты стоишь за предательское белградское руководство?

С какой бы охотой я рассказал им о том, что я прочел и о чем размышлял за эти месяцы с 1948 года, о том, к каким выводам я пришел. Но я сдержался:

— Мне еще неясны некоторые вещи и поэтому я бы хотел иметь возможность дискутировать по этому поводу. Этот случай кажется мне настолько серьезным, что я считал бы необходимым разобрать дело более основательно.

— Как это ты себе представляешь — разобрать более основательно? — спросил другой, который еще не мог разобраться в партийце, обученном в СССР и теперь ставшем еретиком.

— Я могу понять, что при настоящем положении партии было бы, вероятно, безответственным, опубликовать материалы обеих сторон. Может быть даже здесь, в Высшей партшколе, перед курсантами, нельзя поставить проблему на дискуссию в таком виде. Но разве не было бы возможным, хотя бы для преподавательского состава школы, изучить и серьезно продискутировать материалы? В конце концов это вопрос идеологический, политический и, частично, даже теоретический.

Первый аппаратчик меня перебил:

— Товарищ Леонгард, ты ошибаешься, югославский вопрос не теоретический, а административный вопрос, — сказал он тоном, не терпящим возражений.

«Административный» — это слово было мне знакомо. Под это понятие попадали аресты 1936-1938 годов. Намек был достаточно ясным. Я зашел уже настолько далеко, что при теперешних обстоятельствах дальше идти было некуда. Еще один намек и я после допроса буду лишен свободы.

— Давайте заканчивать! Тебе известно, товарищ Леонгард, что все вопросы, касающиеся личных и политических вопросов преподавательского состава Высшей партийной школы решаются прямо и непосредственно Политбюро партии. Еще в большей мере это относится к твоему случаю. Отчет о твоих антипартийных высказываниях и о сегодняшнем заседании будет передан в Политбюро. Там и будет принято через несколько дней решение по твоему делу.

МОЕ БЕГСТВО В ЮГОСЛАВИЮ

Он сказал: «Через несколько дней» . . . Значит, у меня было еще время. Комиссия вышла. Я остался один. Медленно пошел я от центрального преподавательского здания в свою квартиру, которая находилась как раз напротив всегда охраняемого входа. Не исключена возможность, что я уже сейчас был под наблюдением. Поэтому я решил не делать ничего, что вызвало бы еще больше подозрений. Дома я взял самый маленький портфель, такой, какой был почти у каждого преподавателя, шедшего на семинар.

Я в последний раз осмотрел комнату. В ней находились еще некоторые важные вещи, некоторые записи из времен «группы Ульбрихта», приблизительно двадцатистраничный протокол заседания с маршалом Жуковым, письма партийцам и от партийцев, но которые нельзя было употребить как обвинительный материал. Брать с собой нельзя было ничего! Может быть, меня при выходе из Высшей партшколы обыщут. Если бы нашли при мне эти вещи, то я пропал бы. Сжечь я ничего не мог. Я оставил материал так, как он лежал, надел пальто и направился к выходу.

По дороге я встретил шофера, который всегда возил меня в город. Он еще ничего не знал. Для него я был еще важной персоной.

— Товарищ Леонгард, я должен как раз ехать в «Дом Единства». Подвезти?

— Хорошо, — ответил я равнодушно.

Так мое бегство началось в автомашине Высшей партшколы.

У ворот мы остановились. Дежурный увидел меня и сразу пропустил машину. Значит еще ничего не сообщили.

Машина подвезла меня к станции городской железной дороги Дюппельн, которая была как раз на границе между советской зоной и западными секторами Берлина.

— Я сойду здесь, — сказал я.

— До свидания, товарищ Леонгард!

— До свидания.

Только через несколько лет, от бывшего курсанта Высшей партшколы, который порвал со сталинизмом после меня, я узнал, что эта моя поездка на машине была признана особо коварной. На собрании Высшей партшколы после моего бегства было сказано:

— То, что этот агент выехал отсюда на машине Высшей партшколы, превосходит всё по своему нахальству.

Машина отъехала. Я поехал поездом в мою вторую квартиру в Панкове, тепло оделся, захватил в небольшой портфель самое необходимое, рассказал партработникам, с которыми вместе жил, что уезжаю в спецкомандировку и буду отсутствовать несколько недель.

Так я начал давно подготовленный побег из Берлина-Панкова в Белград.

Сначала я пошел в телефонную будку. У меня было три телефонных разговора.

— Сегодня вечером я закончу мои статьи, — сказал я в разговоре с моей матерью.

Это было условным знаком, чтобы сообщить о дате бегства. То же самое я сказал моей подруге Ильзе, которая со своей стороны закончила все приготовления, чтобы сразу после меня бежать в Югославию другим путем.

После этого состоялся третий разговор с паролем, означавшим начало моего побега.

Было пять часов вечера.

Через четверть часа после этого на условленном месте остановилась автомашина.

— Готов?

— Готов!

— Хорошо.

Сейчас было четверть шестого. Через пять с половиной часов, без четверти одиннадцать, я находился всего в не-

скольких километрах от границы. Это была граница между советской оккупационной зоной Германии и Чехословакией.

— Здесь, — сказал мой спутник.

Мы остановились в маленьком ресторанчике. Он подвел меня к столу, за которым сидело двое мужчин. Мы поздоровались и произнесли несколько ничего не значущих фраз.

— Я думаю, можно двигаться, — сказал один из них, после того, как мы расплатились в ресторане.

Последние приготовления были сделаны в небольшом домике. Пачка денег исчезла в кармане человека, который должен был провести меня через границу. Он не имел ни малейшего понятия, кто я такой; это его и не интересовало. Он должен был только перевести меня через границу и вернуться назад, чтобы получить еще большую сумму, которая для него была приготовлена.

Он посмотрел на меня с интересом и остался доволен, увидев, что на мне высокие сапоги и что я был хорошо подготовлен к такому походу.

— Вы как, выносливый?

— Да, мне не привыкать . . .

— Ну да, вы еще молоды! Тогда — вперед!

Автомашина с моим спутником исчезла из вида. Теперь я всецело зависел от ведущего меня нелегально через границу проводника. Высшую партшколу я покинул семь часов тому назад. Как только мое исчезновение будет замечено, меня начнут искать в Панкове у партработников, с которыми я жил в одной квартире, рассчитывал я. Они сообщат то, что я им сказал: что я нахожусь в «спецкомандировке». Пока наведут справки в различных партийных учреждениях, пройдет несколько дней. Спецкомандировки, к счастью, были обставлены большой таинственностью. Значит, у меня был некоторый выигрыш во времени.

— Надо идти побыстрее, — прошептал мой проводник.

До границы было еще четыре километра, но надо было быть очень осторожным.

Через час мы были рядом с границей. Мы больше не говорили ни слова. Время от времени мой проводник посматривал на часы. Был час ночи. Надо было до рассвета дойти «туда». Вдруг мой проводник схватил меня за руку. Мы бросились на землю. Перед нами протекал маленький ручей. Это была граница.

— Чехословакия, — шепнул он мне, показывая на другую сторону ручья.

На цыпочках, как можно тише, перешли мы вброд через ручей. Вдруг проводник насторожился и подал мне знак. Мы бросились в снег.

Теперь я тоже услышал голоса. Они, как будто, приближались. Прошли одна или две тяжких минуты. Наверное это были пограничники. Они говорили по-немецки. Что делать? Я думал все время об одном: что я скажу, если меня задержат? Говорить ли, что я преподаватель Высшей партшколы СЕПГ? Как я объясню, что я делаю ночью с субботы на воскресенье на границе между зоной и Чехословакией?

Вдруг я со страхом увидел, что мой проводник встает. Теперь конец, подумал я. Но он успокаивающе кивнул мне:

— Не бойтесь, это такие же, как и мы, идущие через границу. Я их знаю. — С этими словами он подошел к группе, я за ним. Они молча протянули мне руки. Они шли из Чехословакии с контрабандой. Один из них предложил сигареты.

У меня только хватило времени подумать, не начнут же они курить в пяти метрах от границы, как один из них уже протягивал огонь, чтобы прикурить.

Тщетно пытался я увести моего проводника.

— Ничего! В эти часы как раз на этом участке спокойно.

Другие, — очевидно также опытные контрабандисты, — закивали, подтверждая его слова. Меня это ни в коей мере не успокоило. Если попадусь я, то меня ожидает худшая участь, чем контрабандистов.

Между тем они говорили о том, где можно в Чехословакии дешевле всего купить товар и где его выгоднее всего сбыть в зоне.

Перекур тянулся без конца. Я все время пытался увести моего проводника, но он был упрям, как настоящий контрабандист.

Вначале они шептались, теперь говорили в полный голос. А я судорожно думал, куда бежать, если откуда-нибудь начнет подходить к нам пограничный патруль.

Наконец наступил конец этим мучительным минутам.

— Счастливого пути, — пожелали мы друг другу на прощанье.

— Скорей! — подгонял теперь меня проводник, — нам еще два часа надо идти, пока дойдем до дома, где нас ждут мои друзья.

Было три часа ночи. Холодный ветер дул в лицо. Мы шли теперь, не сгибаясь.

— Теперь уже не так опасно. Здесь не надо идти так осторожно, в это время чешские пограничники не усердствуют, — успокаивал меня проводник.

Поскольку мы преодолели первую опасность и были недалеко от цели — дома его друзей — мне тоже стало легче.

Через полтора часа мы увидели вдалеке маленькое, занесенное снегом, село. Было половина пятого утра.

— Надо поспешить добраться туда до пяти часов, чтобы нас никто не увидел.

Когда мы подошли поближе, то услышали лай собак. Проводник подал мне знак, но я уже бросился на землю.

— Это вон там, — прошептал он мне, показывая на маленький деревянный домик на краю села. Теперь мы пошли снова так же осторожно, как у чехословацкой границы.

— Никого не видно. Вперед!

Поспешно зашагал он к дому. Я следовал на некотором расстоянии за ним, услышал стук в дверь и с облегчением увидел, что она отворилась.

Итак, первая цель достигнута! Хозяйка дома и ее дочь по-дружески поздоровались с моим проводником на немецком языке. Наша мокрая одежда была развешена для просушки, а нам предложили горячего чая.

Мой проводник собирался уже через несколько часов возвращаться.

— А вы? — спросила меня хозяйка.

Я молчал, но он ответил за меня:

— Его надо доставить в Подмокли. Там его ждет друг, который будет ему помогать дальше.

— Когда вам надо быть в Подмокли?

— Между двенадцатью и двумя часами дня.

— Это вряд ли возможно, так как на этих днях прервано автобусное сообщение с Подмокли.

Это было для меня тяжелым ударом. Все мои мысли были направлены только на то, чтобы благополучно добраться до Подмокли.

— Разве нет никакой другой возможности?

Хозяйка задумалась.

— Тут один из местного комитета Народного фронта собирается ехать на санях в Теплице. Может быть удастся устроить, чтобы он вас взял. Оттуда вы могли бы поездом доехать до Подмокли.

Перспектива была не из приятных, к тому же очень рискованная, но другого выбора не было.

Вдруг в дверь постучали.

— Сюда, — прошептала она. Прежде, чем я понял, в чем дело, мы стояли в маленькой кладовой.

Посетитель вошел в комнату и стоял совсем близко от двери, за которой мы скрылись. Опять потянулись мучительные минуты. Наконец он ушел.

— Я должен попасть в Подмокли, — повторял я все время. Дочь хозяйки ушла, чтобы разузнать о возможностях поездки.

Наконец через час она вернулась.

— Человек из Народного фронта согласен подвезти до Теплиц мою мать и знакомого, который гостит у нас. Это вы, — обратилась она ко мне, улыбаясь.

Я думал о предстоящей поездке со смешанным чувством, тем более, что я ни слова не говорил по-чешски.

Но хозяйка меня успокоила:

— Не бойтесь, это очень молчаливый человек, он ничего не будет спрашивать. Вы должны только с ним поздороваться, а потом попрощаться.

Следующий час я занимался тем, что учил наизусть двадцать важнейших чешских слов. Через час это мне, наконец, удалось.

— Это правильно, — «насхледаноу»?

— Прекрасно! Вы уже говорите, как настоящий чех.

Когда сани подъехали, я поздоровался с местным партийцем по-чешски. Это прошло удачно, он ничего не заподозрил.

Через час мы были в Теплице.

— Насхледаноу! — сказал я на прощанье так уверенно, как будто всю жизнь иначе не прощался.

Через несколько минут поезд уже шел на Подмокли. Счастье, казалось, улыбалось мне. Скоро я встречу знакомого: он должен ждать меня справа от выхода из вокзала. Тогда все пойдет легче.

На перроне было написано большими буквами: «Подмокли».

С хозяйкой, все еще меня сопровождавшей, я поспешно вышел из вокзала.

Моего знакомого не было!

Я посмотрел на часы. Половина шестого. Почти четыре часа прошло после условленного срока.

— Может быть он ушел на минуту и скоро вернется, — успокаивала меня моя спутница. Полтора часа мы ходили по городу, все время возвращаясь к вокзалу.

Моего знакомого не было.

Что делать теперь?

— Я поеду назад, — сказала моя спутница. Она выполнила свое задание и привезла меня в Подмокли. Я не обижался на нее за то, что она меня покидала.

Я обменял у нее немного денег и теперь у меня было достаточное количество чешских крон, чтобы чувствовать себя до некоторой степени уверенно.

Полчаса ходил я еще перед вокзалом взад и вперед, раздумывая и не зная, что предпринять.

После этого я решил ехать в Прагу самостоятельно. Когда я стоял перед указателями на чешском языке и довольно беспомощно старался разобраться в них, ко мне подошел железнодорожник и заговорил по-чешски.

— Я не говорю по-чешски и хотел бы вас попросить помочь мне. Я хотел бы купить билет на Прагу, — сказал я бегло по-русски.

Железнодорожник вежливо поклонился, показал мне дорогу к кассе и заказал там для меня билет.

— Поезд отходит через три минуты.

Так же вежливо проводил он меня на перрон. Поезд почти сразу отошел. Через несколько минут я погрузился в глубокий сон, впервые за эти, богатые событиями, сутки.

— Прага, — толкнул меня один из пассажиров.

Я вышел вместе со всеми. Было половина одиннадцатого вечера.

Сейчас в моей голове было только одно: название улицы и номер дома. Это был пражский адрес на тот случай, если встреча в Подмокли не состоится. Я был немного знаком с городом по моей поездке в 1947 году. Найти улицу было не трудно.

Чем ближе я подходил к дому, тем больше росли мои надежды. Еще несколько минут и я свяжусь с друзьями, которые мне помогут добраться до Белграда.

Вот она! Спасительная квартира!

Я постучал. — Ответа нет.

Еще раз. — Никакого ответа.

Стучу снова и снова. Напрасно.

Теперь мое положение стало совсем серьезным. Я был в Праге совсем один. Чешских денег у меня было сравнительно мало, у меня не было никого, к кому я мог обратиться и, самое главное, время близилось к полночи.

Что делать?

Идти в отель? Невозможно. Я не говорил по-чешски и у меня не было чешских документов. О внезапном появлении иностранца немедленно сообщили бы «куда следует».

Ходить целую ночь по городу? Очень опасно. Особенно после двенадцати часов ночи на меня могли легко обратить внимание и потребовать документы.

Поехать в пригород и там переночевать у крестьянина? Для этого было уже слишком поздно.

Я судорожно пытался вспомнить все инструкции, которые мы получали в школе Коминтерна, проходя предмет «Нелегальная работа». Но инструкции, что ты должен делать во время побега в одиннадцать часов ночи, без денег, без документов, в столице страны, языка которой ты не знаешь, — такой инструкции мы тогда не получали.

Через несколько минут я принял решение. Сначала надо было выйти из безлюдных кварталов, туда, где много людей. Там я должен найти, даже с риском, место для ночевки.

Лучше всего идти еще раз на вокзал. Когда я туда прибыл, то было уже без четверти двенадцать. Здесь я чувствовал себя уже увереннее. Я не был одинок.

Только что начала меня эта мысль успокаивать, как я, взглянув случайно в зал ожидания, увидел, что два чехословацких милиционера проверяют документы.

Мои нервы напряглись до предела. Спокойствие! Спокойствие, только не показывать, что волнуешься! Совсем медленно я направился в уборную и заперся там. Конечно, я знал, что и там я не в безопасности. Но я мог быстро просмотреть мои карманы и уничтожить все, что могло бы вызвать подозрение во время возможного контроля.

В дверь постучали. Голос что-то крикнул по-чешски. Открыв, я увидел, что, к счастью, это был не милиционер, а железнодорожник. Я взялся за голову и инстинктивно заговорил по-русски:

— Извините, мне стало дурно. Наверно выпил лишнего.

Железнодорожник ухмыльнулся и проводил меня к выходу.

Я ушел от проверки. Но сколько их еще будет этой ночью?

На ступеньках, ведущих в здание вокзала, я закурил. Рядом со мной стоял человек средних лет. Я молча протянул ему сигарету. Он взял и что-то сказал по-чешски.

— К сожалению, я не говорю по-чешски, а только по-русски и по-немецки, — произнес я на обоих языках.

Он предпочел немецкий язык.

— А вы откуда?

— Из Берлина.

Я был просто не в состоянии, после всего пережитого, выдумывать еще одну историю.

Может быть он мог бы мне помочь устроиться на ночевку. Я начал осторожно.

— Собственно говоря, я должен был сегодня вечером ехать дальше, но ничего из этого не вышло. Теперь я могу ехать дальше только завтра, но не знаю, где мне сегодня ночевать.

— А вы куда едете?

Я решил поставить все на одну карту.

— В Белград.

— В Белград? — прошептал он и молниеносно оглянулся по сторонам.

— Пойдемте со мной. Я ждал кое-кого, но он сегодня все равно еще не приедет. Вы можете переночевать у меня.

Мы быстро отошли от вокзала. Я с трудом поспевал за ним. По дороге он не произнес ни слова и я уже начал сомневаться. Разве не было с моей стороны легкомыслием сказать совершенно чужому человеку, что я еду именно в Белград? Куда он меня поведет? Приведет ли он меня действительно к себе домой? Может быть мне надо бежать?

Но куда бежать?

Мы шли, приблизительно, четверть часа и были на безлюдной улице.

— Теперь недалеко, — прошептал он.

Наконец он остановился у подъезда, вынул из кармана ключ, а я быстро посмотрел, нет ли на стене какой-либо доски с названием учреждения. Нет, это был жилой дом. Но разве это означало, что я в безопасности? Разве самыми

опасными изо всех учреждений не являются именно такие, где нет дощечки с названием? Но почему-то у меня было чувство, что идти за ним можно, не опасаясь.

На третьем этаже он остановился. Он открыл дверь. Когда мы вошли, я увидел, что это простая двухкомнатная квартира.

Вдруг из одной комнаты вышел мужчина. Я вздрогнул.

— Не бойтесь, это мой друг, — успокоил меня хозяин.

— Немец? — спросил тот.

— Да, он хочет в Югославию.

Я снова заметил удивленный, радостный взгляд.

— Мы надеемся, что счастливо доберетесь туда.

В течение дальнейшего разговора я заметил, что мои новые знакомые столь же мало верят в официальное обвинение против Югославии, как и я.

Мой знакомый с вокзала должен был утихомирить своего друга, который с места в карьер был готов вступить со мной в дискуссию.

— Да оставь ты его в покое, он уже многое пережил в пути. Пусть сначала выспится.

Они уложили меня спать и пожелали спокойной ночи.

С облегчением я улегся. Чего только со мною не произошло за истекшие двадцать четыре часа! Бегство из Высшей партийной школы, переход границы, поездка в Подмокли и в Прагу, ужасная ночь, которой я так боялся — все было позади. Я был так утомлен, что скоро уснул. О наступающем дне я почти не думал.

— Эй, путешественник в Югославию, вставайте, — разбудили меня рано утром. — Мы должны оба отправляться на работу.

Я быстро оделся.

— Удастся ли вам сегодня двинуться дальше?

— Да, я твердо уверен, что сегодня все будет в порядке. И большое, большое спасибо! Понятия не имею, где бы я ночевал, если бы не вы.

— Не стоит благодарности. В наше время надо всегда помогать тем, кто бежит, счастливого пути в Югославию! Если счастливо доберетесь, то скажите там, что есть еще чехи, которые сохранили дружеские чувства к Югославии.

Я обещал.

Медленно брёл я по городу. Теперь прогулка по Праге была уже не такой опасной. Улицы были полны людей и я

никому не бросался в глаза. Отдохнувший, освежившийся я постучал в девять часов утра в ту самую дверь, перед которой я стоял вчера безрезультатно.

На этот раз дверь отворилась. Мой знакомый протянул мне руку с радостью и видимым облегчением.

— Вот прекрасно, что ты здесь! А я уже думал, что ничего не вышло.

Я рассказал ему о моих неудачах. Выяснилось, что он ждал меня в Подмокли до пяти часов вечера, затем вернулся на автомашине в Прагу, думая встретить меня там. Не найдя меня в Праге, он немедленно вернулся в Подмокли. Так мы разминулись.

— Самое важное, что ты здесь. Теперь мы не допустим ошибок и ты скоро будешь в Белграде.

Это было 14 марта. Я успокоился. У меня была теперь связь с партийцем из оппозиции, у которого в таких делах был большой опыт и который разделял мои взгляды.

Наступили дни, когда мои нервы напрягались до предела. Я никогда не знал, что принесет следующий час. Но постепенно я приближался к своей цели: к Белграду. Я никогда не забуду людей, помогавших мне во время бегства. Это были оппозиционно настроенные партийцы, которые помогали мне по внутреннему убеждению в правоте дела. Само собой разумеется, что я не назову ни имен, ни городов, в которых мне приходилось останавливаться.

25 марта 1949 года в шесть часов пополудни состоялось, наконец, мое прибытие в Белград. Я достиг своей цели. Мое бегство длилось тринадцать дней. Я словно ожил. Наконец-то я в Югославии!

Я сразу позвонил моему хорошему знакомому, крупному работнику югославской компартии. Через полчаса он заехал за мной на автомашине и отвез в свою квартиру.

— Жить ты можешь у меня. Сначала отдохни, обо всем дальнейшем поговорим после.

Через два дня меня пригласили в Центральный комитет югославской коммунистической партии.

— Велько Влахович вас уже ждет, — сообщила мне одна из секретарш.

Я знал, что Велько Влахович был одним из ведущих членов ЦК и руководителем иностранного отдела при партийном руководстве.

— Я рад, товарищ Леонгард, что ты благополучно прибыл, — сказал он на чистом русском языке.

Я смотрел на него и мне казалось, что я его уже где-то встречал, но не мог точно вспомнить, где.

Но он помнил:

— Я знаком с тобой уже давно. Ведь ты был в 1942-1943 годах в школе Коминтерна в Кушнаренкове? Он смотрел на меня улыбаясь. — Не была ли у тебя в школе Коминтерна кличка «Линден»?

Я очень удивился. За семь прошедших лет, я никому не называл моей клички в школе Коминтерна.

— Итак, товарищ Леонгард, как ты себе представляешь свою деятельность здесь, в Югославии?

— Я хотел бы, прежде всего, составить для моих немецких оппозиционно настроенных товарищей, подробное разъяснение причин и развития конфликта между компартией Югославии и Коминформом. Материалы, вышедшие до сих пор, касаются некоторых проблем, с которыми наши товарищи мало знакомы. Поэтому для них иногда затруднительно составить себе общую картину.

— Хорошо, напиши. Мы напечатаем это по-немецки здесь, в Югославии.

Он повернулся к моему спутнику.

— Можно достать для него немецкую машинистку?

Мой спутник кивнул. Вопрос был решен.

— Хорошо, это твоя работа на ближайшее время. Но как ты представлял себе свою постоянную работу в Югославии?

— Я хотел бы работать в немецкой редакции Белградской радиостанции, если такая возможность существует.

Он снял телефонную трубку и провел короткий разговор по-сербски.

— Ты можешь явиться через несколько дней к директору Белградской радиостанции, а как только окончишь брошюру, можешь там работать.

Разговор был окончен. Все было разрешено в несколько мгновений.

Меня никто не допрашивал. Меня только вежливо встретили, как иностранного партийного товарища, порвавшего, после долгой внутренней борьбы, со сталинизмом. Югославы были знакомы со мной давно и знали, как это происходит. Меня не волокли ни в какие комиссии, не задавали никаких наводящих вопросов, не помещали в «гостиницы», где

надо было писать отчеты; мне не пришлось бороться за какое-либо «признание».

Это было в конце марта 1949 года — почти через два года после моего первого посещения Югославии, через девять месяцев после резолюции Коминформа и разрыва с Москвой.

Последствия московской «анафемы» уже давали себя знать: из-за блокады странами Коминформа наступил недостаток товаров. Здесь меня ожидали многочисленные трудности. Благоустроенную жизнь ответственного партработника с пайками, квартирой, автомашиной, жизнь, полную фальшивок и лжи я сменил на жизнь с материальными трудностями, на жизнь, — тогда еще нельзя было знать, что предстоит Югославии, — сопряженную с большими опасностями. Но я был преисполнен радости, что нашел, наконец, приют в стране, поставившей своей задачей создать социалистический общественный строй без господства иерархического аппарата, без бюрократически централизованного руководства экономикой, без типичных черт бесчеловечной системы, в стране, свободной от террора и сталинских «чисток», от партдиректив для художников и ученых, от культа вождя, догматизма и ложной веры в авторитет.

Еще не успевши полностью придти в себя, я вышел из здания белградского ЦК КПЮ. На стене противоположного дома я увидел портреты Маркса, Энгельса и Ленина. Портрет Сталина отсутствовал.

Моя жизнь под сталинизмом кончилась.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вольфганг Леонгард
РЕВОЛЮЦИЯ УНИЧТОЖАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ

Автор этой книги тринадцатилетним мальчиком покинул нацистскую Германию вместе со своей матерью-коммунисткой. Леонгарды эмигрировали в Советский Союз в 1935 году, а во время большой чистки в 1936 году мать Вольфганга была арестована и сослана в район Воркуты. Вольфганг продолжал жить в детдоме №6, предназначенном для австрийских и немецких эмигрантов, куда его устроила мать, окончил десятилетку, учился несколько семестров в Московском педагогическом институте иностранных языков. В это же время он вступил в комсомол, будучи идейно предан коммунизму. Осенью 1941 года В. Леонгарда вывезли вместе с другими немцами из Москвы транспортом в Карагандинскую область. Ему удалось перебраться в Караганду и зацепиться там в учительском институте и затем в отделе МОПРа, откуда его взяли в школу Коминтерна — обучать для политработы в Германии. После роспуска Коминтерна Леонгард работал в Национальном комитете «Свободная Германия». Его политическое образование, преданность коммунистическим идеям и активность привели к тому, что он попал в первую группу из десяти ответственных работников, посланных вместе с Вальтером Ульбрихтом в апреле 1945 года

на самолете из Москвы в Брухмюле под Берлином. 23-летним убежденным и активным коммунистом возвращается Вольфганг Леонгард в Берлин, который он покинул десять лет назад юным пионером. Стоявшие перед ним задачи — после основания КПГ в июне 1945 года он был редактором учебных тетрадей для политзанятий в отделе обучения и вербовки при Центральном секретариате СЕПГ — часто сводили его по работе с ведущими коммунистами ДДР. Он многое видел «изнутри». С сентября 1947 по февраль 1949 года Леонгард занимал должность доцента в Высшей партийной школе СЕПГ в Клейн-Махнове под Берлином, откуда он бежал в Югославию после разрыва Тито со Сталиным. Рассказ В. Леонгарда о своей жизни в Советском Союзе и в советской зоне Германии чрезвычайно интересен и поучителен. В первый раз мы имеем возможность прочесть свидетельство немца о подготовке иностранных коммунистов к подрывной работе в их странах.

Книга написана живо, читается легко и дает обширный материал для размышления над методами, применяемыми коммунистами при стремлении их к своим целям. Автор хорошо раскрывает эволюцию полностью преданного режиму юноши к зрелому критику мероприятий власти, направленных на порабощение человека коммунистическому замыслу мировой революции.